

Ш. БРОНТЕ

Шена



## Annotation

Роман «Шерли» английской писательницы Ш. Бронте (1816–1855) получил на родине широкую известность — он много раз переиздавался, его экранизировали в кино и на телевидении, по нему готовили радиопередачи.

Вот уже полтора столетия читателей волнует история любви двух героинь романа к одному мужчине, их трагическая судьба.

---

- [Шарлотта Бронте](#)
  - [ГЛАВА I](#)
  - [ГЛАВА II](#)
  - [ГЛАВА III](#)
  - [ГЛАВА IV](#)
  - [ГЛАВА V](#)
  - [ГЛАВА VI](#)
  - [ГЛАВА VII](#)
  - [ГЛАВА VIII](#)
  - [ГЛАВА IX](#)
  - [ГЛАВА X](#)
  - [ГЛАВА XI](#)
  - [ГЛАВА XII](#)
  - [ГЛАВА XIII](#)
  - [ГЛАВА XIV](#)
  - [ГЛАВА XV](#)
  - [ГЛАВА XVI](#)
  - [ГЛАВА XVII](#)
  - [ГЛАВА XVIII,](#)
  - [ГЛАВА XIX](#)
  - [ГЛАВА XX](#)
  - [ГЛАВА XXI](#)
  - [ГЛАВА XXII](#)
  - [ГЛАВА XXIII](#)
  - [ГЛАВА XXIV](#)
  - [ГЛАВА XXV](#)

- [Глава XXVI](#)
- [ГЛАВА XXVII](#)
- [ГЛАВА XXVIII](#)
- [ГЛАВА XXIX](#)
- [ГЛАВА XXX](#)
- [ГЛАВА XXXI](#)
- [ГЛАВА XXXII](#)
- [ГЛАВА XXXIII](#)
- [ГЛАВА XXXIV](#)
- [ГЛАВА XXXV,](#)
- [ГЛАВА XXXVI,](#)
- [ГЛАВА XXXVII](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)

- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)

- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)

- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)

- [136](#)
  - [137](#)
  - [138](#)
  - [139](#)
  - [140](#)
  - [141](#)
  - [142](#)
  - [143](#)
  - [144](#)
  - [145](#)
  - [146](#)
  - [147](#)
  - [148](#)
  - [149](#)
  - [150](#)
-

**Шарлотта Бронте**  
**Шерли**



# ГЛАВА I

## Левиты<sup>[1]</sup>

За последние годы на севере Англии появилось великое множество младших священников; особенно посчастливилось нашей гористой местности: теперь почти у каждого приходского священника есть один помощник, а то и больше. Надо полагать, что они сделают немало добра, ибо они молоды и энергичны. Но мы собираемся вести повествование не о последних годах, мы обратимся к началу нашего столетия; последние годы подернуты серым налетом, выжжены солнцем и бесплодны; забудем же о знойном полудне, погрузимся в сладостное забытие, в легкую дремоту и в сновидениях увидим рассвет.

Читатель, если по этому вступлению ты предполагаешь, что перед тобой развернется романтическое повествование, — ты ошибаешься. Ты ждешь поэзии и лирических раздумий? Мелодрамы, пылких чувств и сильных страстей? Не рассчитывай увидеть так много, тебе придется довольствоваться кое-чем более скромным. Перед тобой предстанет простая будничная жизнь во всей ее неприкрашенной правде, нечто столь же далекое от романтики, как понедельник, когда труженик просыпается с мыслью, что нужно скорее встать и приниматься за работу. Возможно, в середине или в конце обеда тебе подадут что-нибудь повкуснее, но первое блюдо будет настолько постным, что и католик — и даже англо-католик<sup>[2]</sup> — не согрешил бы, отведав его в страстную пятницу: холодная чечевица с уксусом без масла, пресный хлеб с горькими травами и ни куска жареной баранины.

Итак, за последние годы север Англии наводнили младшие священники, но в тысяча восемьсот одиннадцатом или двенадцатом году такого наплыва не было: младших священников тогда насчитывалось немного; не было еще ни приходской кассы вспомоществования, ни благотворительных обществ, способных позаботиться об одряхлевших приходских священниках и предоставить им возможность нанять молодого деятельного собрата, только что окончившего Оксфорд или Кембридж. Нынешних

преемников апостолов, учеников доктора Пьюзи<sup>[3]</sup> и членов коллегии миссионеров, в те дни еще пестовали под теплыми одеяльцами и няни подвергали их животворному обряду омовения в умывальном тазу. Увидев их тогда, вы не подумали бы, что накрахмаленная пышная оборка чепчика обрамляет чело будущего носителя духовного сана, предопределенного свыше преемника св. Павла, св. Петра или св. Иоанна. И вы бы, уж конечно, не разглядели в складках их детских ночных рубашонок белый стихарь, в котором им предстояло впоследствии сурово наставлять своих прихожан и повергать в полное изумление старомодного священника, — этот стихарь так бурно колыхался теперь над кафедрой, тогда как прежде он лишь чуть шевелился внизу.

Однако и в те скудные времена помощники священников все же существовали, но лишь кое-где, как редкостные растения. Впрочем, один благословенный округ Йоркширского графства мог похвастать тремя такими жезлами Аарона,<sup>[4]</sup> которые цвели пышным цветом на небольшой площади в каких-нибудь двадцать квадратных миль. Сейчас ты их увидишь, читатель. Войди в уютный домик на окраине города Уинбери и загляни в маленькую комнатку, вот они обедают. Позволь тебе их представить: мистер Донн, помощник священника из Уинбери; мистер Мелоун, помощник священника Брайерфилда; мистер Суитинг, помощник священника из Наннли. Владелец этого домика — некий Джон Гейл, небогатый суконщик, у которого квартирует мистер Донн, любезно пригласивший сегодня своих собратьев отобедать у него. Подсядем к ним и мы, посмотрим на них, послушаем их беседу. Сейчас они поглощены обедом; а мы тем временем немного посудачим.

Джентльмены эти в расцвете молодости; от них веет силой этого счастливого возраста, силой, которую старые унылые священники пытаются направить на стезю христианского долга, убеждая своих молодых помощников почаще навещать больных и усердно надзирать за приходскими школами. Но молодым левитам такие скучные дела не по душе: они предпочитают расточать свою кипучую энергию в особой деятельности, — казалось бы, столь же утомительно однообразной, как труд ткача, но доставляющей им немало радости, немало приятных минут. Я имею в виду их непрерывное хождение в гости друг к другу, какой-то замкнутый круг или, вернее, треугольник

визитов, в любое время года: и зимой, и весной, и летом, и осенью. Во всякую погоду, не страшись ни снега, ни града, ни ветра, ни дождя, ни слякоти, ни пыли, они с непостижимым рвением ходят один к другому то пообедать, то выпить чаю, то поужинать. Что влечет их друг к другу, трудно сказать; во всяком случае не дружеские чувства — их встречи обычно кончаются ссорой; не религия — о ней они никогда не говорят; вопросы богословия еще изредка занимают их умы, но они никогда не касаются благочестия; и не чревоугодие — каждый из них и у себя дома мог бы съесть столь же добрый кусок мяса, такой же пудинг, столь же поджаристые гренки, выпить столь же крепкого чаю. По мнению миссис Гейл, миссис Хог и миссис Уипп — квартирных хозяек, — «это делается только для того, чтобы доставить людям побольше хлопот». Под «людьми» эти дамы подразумевают, конечно, себя, да и нельзя не согласиться, что постоянные нашествия гостей хлопот доставляют немало.

Как уже было упомянуто, мистер Донн и его гости сидят за обедом; миссис Гейл им прислуживает, но в глазах у нее сверкает отблеск жаркого кухонного огня. Она находит, что за последнее время ее жилец злоупотребляет своим правом приглашать к столу друзей без дополнительной оплаты, о чем была договоренность при найме квартиры. Сегодня еще только четверг, однако уже в понедельник к завтраку явился мистер Мелоун, помощник священника из Брайерфилда, и остался к обеду. Во вторник тот же мистер Мелоун вместе с мистером Суитингом из Наннли зашли выпить по чашке чаю, потом остались ужинать и переночевали на запасных кроватях, а в среду утром соизволили и позавтракать; и вот нынче в четверг оба они снова тут как тут! Обедают да наверняка еще и проторчат целый вечер. «C'en est trop», <sup>[5]</sup> - сказала бы она, если бы говорила по-французски.

Мистер Суитинг мелко режет ростбиф и жалуется, что он жесткий как подошва; мистер Донн сетует на слабое пиво. Вот это хуже всего! Будь они учтивы, хозяйке было бы не так обидно; если бы ее угощение пришлось им по вкусу, она бы им многое простила, но «молодые священники слишком уж заносятся и на всех смотрят сверху вниз; они дают ей понять, что она им не ровня», и позволяют себе дерзить ей только потому, что она не держит служанки и ведет хозяйство сама, по примеру своей покойной матери; вдобавок они постоянно бранят йоркширские обычаи и йоркширцев, а это, по мнению миссис Гейл,

говорит о том, что они не настоящие джентльмены, во всяком случае не благородного происхождения. «Разве сравнишь этих юнцов со старыми священниками! Те умеют себя держать и одинаково обходительны с людьми всякого звания».

«Хле-ба!» — крикнул мистер Мелоун, и его выговор, хотя он и произнес всего лишь двусложное слово, тут же выдал уроженца края трилистника и картофеля.<sup>[6]</sup> Этот священник особенно неприятен хозяйке, однако он внушает ей трепет — так он велик ростом и широк в кости! По всему его обличью сразу видно, что это истый ирландец, хотя и не «милезианского» типа, подобно Даниелю О'Коннелу,<sup>[7]</sup> его скуластое, словно у североамериканского индейца, лицо характерно лишь для известного слоя мелкопоместных ирландских дворян, у которых на лицах застыло высокомерно-презрительное выражение, более подобающее рабовладельцам, чем помещикам, имеющим дело со свободными крестьянами. Отец Мелоуна считал себя джентльменом; почти нищий, кругом в долгах, а надменности хоть отбавляй; таков же и его отпрыск.

Миссис Гейл поставила хлеб на стол.

— Нарезь его, женщина, — приказал гость.

И «женщина» повиновалась. Дай она себе в эту минуту волю, она, кажется, заодно отрезала бы и голову священнику; такой повелительный тон возмутил до глубины души гордую уроженку Йоркшира.

Священники, обладая изрядным аппетитом, съели изрядное количество «жесткого как подошва» жаркого и поглотили немало «слабого» пива; йоркширский пудинг и две миски овощей были уничтожены мгновенно, как листва, на которую налетела саранча; сыру также было воздано должное, а сладкий пирог вмиг исчез бесследно, как видение! И только на кухне ему была пропета отходная Авраамом, сыном и наследником миссис Гейл, малышом шести лет; он рассчитывал, что и ему кое-что перепадет, и при виде пустого блюда в руках матери отчаянно заревел.

Тем временем священники потягивали вино, правда, без особого удовольствия, ибо оно не отличалось высоким качеством. Что и говорить, Мелоун попросту предпочел бы виски, но Донн как истый англичанин не держал у себя такого напитка. Потягивая портвейн, они спорили; спорили не о политике, не о философии, не о литературе —

эти темы никогда их не интересовали — и даже не о богословии, практическом или догматическом; нет, они обсуждали незначительные частности церковного устава, мелочи, которые всем, кроме них самих, показались бы пустыми, как мыльные пузыри. Мистер Мелоун ухитрился осушить два стакана, в то время как его друзья выпили по одному, и настроение его заметно поднималось: он развеселился на свой лад — стал держать себя вызывающе, заносчивым тоном говорил дерзости и покатывался со смеху от собственного остроумия.

Каждый из сотрапезников по очереди становился мишенью для его острот. У Мелоуна всегда был наготове запас плоских шуточек, которыми он угощал своих приятелей при дружеских встречах, не пытаясь быть разнообразным; это и не требовалось, ибо сам он не находил себя скучным, а о том, что думают другие, нимало не заботился. Он высказался насчет чрезмерной худобы и вздернутого носа мистера Донна, поехидничал, критикуя некий весьма потертый шоколадно-коричневый сюртук, к которому сей джентльмен питал особое пристрастие во всех случаях жизни и при любой погоде, посмеялся над выговором приятеля и вульгарными словечками, которыми тот пересыпал свою речь, что, безусловно, придавало ей своеобразное «изящество» и колоритность.

Суитинга он попрекнул тщедушным видом, — тот рядом с верзилой Мелоуном и в самом деле казался чуть ли не ребенком, — посмеялся над его музыкальными талантами, ибо Суитинг играл на флейте и пел гимны ангельским голосом (по мнению некоторых его юных прихожанок), назвал его «дамским угодником» и в довершение всего принялся ехидничать насчет нежной привязанности юноши к матушке и сестрицам, о которых тот имел неосторожность говорить в присутствии ирландца, чье черствое сердце начисто лишено было родственных чувств.

Жертвы воспринимали его нападки каждый по-своему: Донн противопоставлял им броню самодовольной тупости и невозмутимой важности, заменявшей ему чувство собственного достоинства; Суитинг — равнодушие покладистого, веселого юнца, который о поддержании достоинства вовсе не заботится.

Но когда насмешки стали чересчур колкими, жертвы объединились и попытались отплатить обидчику той же монетой. Они полюбопытствовали, сколько мальчишек кричали ему сегодня вслед:

«Питер-ирландец!» (Мелоуна звали Питер — преподобный Питер Огест Мелоун); поинтересовались, не из Ирландии ли идет странный обычай — навещать своих прихожан с заряженными пистолетами в карманах и с дубинкой в руках, предложили разъяснить им значение слов: покр-ров, твер-рдость, р-руль, гр-роза (так, раскатывая «р», произносил их мистер Мелоун), — словом, пускали в ход все свое природное остроумие, чтобы побольнее его уколоть.

Разумеется, ни к чему хорошему это не привело. Мелоун, не отличавшийся ни благодушием, ни спокойным нравом, вышел из себя. Он кричал, размахивая руками, а Донн и Суитинг хохотали. Он вопил, что они саксы и снобы, и его пронзительный кельтский голос звенел на самых высоких нотах; они в ответ напомнили ему, что он уроженец завоеванной страны. От имени своей «рродины» он грозил им восстанием, изливал накипевшую в нем ненависть к господству Англии; они тыкали ему в глаза лохмотья, нищету, болезни его родной Ирландии. В маленькой гостиной поднялся невообразимый шум. Казалось, такая ядовитая перебранка неминуемо должна закончиться дракой. Было удивительно, что хозяева не пугаются, не посылают за констеблем для водворения порядка; но они уже привыкли к подобного рода бурным спорам, знали, что у священников ни обед, ни чай не обходились без состязаний в красноречии и что это ничем не грозит; знали также, что от их ссор больше шума, чем вреда, и что в каких бы отношениях не расстались друзья сегодня вечером, завтра утром они встретятся как ни в чем не бывало.

Итак, почтенные супруги сидели у кухонного очага, прислушиваясь к громким ударам кулака Мелоуна по обеденному столу красного дерева, к звону подсакивающих стаканов и графина, к насмешливому хохоту двух союзников-англичан и несвязным выкрикам их одинокого противника-ирландца, как вдруг на крыльце послышались чьи-то шаги и настойчиво застучал дверной молоток.

Мистер Гейл пошел отворять.

— Кто это у вас шумит наверху? — властно спросил чей-то гнусавый голос.

— Никак это мистер Хелстоун? В темноте я вас не сразу и разглядел... теперь так рано темнеет. Милости просим, сэр, входите.

— Сначала мне нужно знать, стоит ли входить. Кто у вас там?

— Молодые священники, сэр.

— Как, все трое?  
— Да, сэр.  
— Обедали здесь?  
— Да, сэр.  
— Отлично.

С этими словами в дом вошел пожилой мужчина, весь в черном. Он пересек кухню, отворил внутреннюю дверь и, подняв голову, прислушался. Да и было что послушать — спорщики, как нарочно, шумели пуще прежнего.

Посетитель буркнул что-то себе под нос; затем, обратясь к мистеру Гейлу, спросил:

— И часто они у вас этак развлекаются?

Мистер Гейл, бывший церковный староста, всегда проявлял снисходительность к особам духовного звания.

— Молоды еще, сэр, сами знаете, — сказал он примирительно.

— Молоды! Проучить их надо! Негодники, бездельники! Ведь если бы вы были диссидентом,<sup>[8]</sup> а не добрым сыном англиканской церкви, они бы все равно вели себя так же, они бы себя позорили... но уж я...

Не закончив фразы, он вышел из кухни, затворил за собой дверь и поднялся по лестнице. На верхней площадке он снова остановился и послушал. Затем без стука распахнул дверь комнаты и остановился на пороге.

Все трое смолкли, оторопело уставясь на него; неожиданный гость тоже замер на месте. Это был человек невысокого роста, но с очень прямым станом и широкими плечами, а его маленькая головка с острыми глазами и крючковатым носом делала его похожим на ястреба; не считая нужным снять или хоть приподнять свою широкополую шляпу, он скрестил руки на груди и, не двигаясь с места, спокойно, свысока разглядывал своих молодых приятелей, если только это были его приятели.

— Что я слышу! — начал он, произнося слова, уже не гнусавым, а глубоким раскатистым голосом. — Что я слышу? Уж не повторилось ли чудо духова дня?<sup>[9]</sup> Уж не снизошли ли с небес разделяющиеся языки? Но где они? Только что этот шум наполнял весь дом. Я различил семнадцать наречий сразу: парфяне, и мидяне, и еламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и



Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне — все они, по-видимому, были здесь, в этой комнате, две минуты тому назад.

— Извините, мистер Хелстоун! — начал Донн. — Не присядете ли вы, сэр, не налить ли вам вина?

На это учтивое предложение ответа не последовало; ястреб в черном одеянии продолжал:

— Что я толкую о даре языков! Дар, как бы не так! Я перепутал главы, и книги, и заветы! Новый завет с Ветхим, Деяния апостолов с книгой Бытия, Иерусалим с долиной Сенаар.<sup>[10]</sup> Нет, тот шум, что буквально оглушил меня, это не дар языков, а вавилонское столпотворение. Это вы-то апостолы? Вы трое? Разумеется, нет. Три самонадеянных вавилонских каменщика — вот вы кто!

— Уверяю вас, сэр, мы просто болтали за стаканом вина после дружеской трапезы. Ну и взялись разносить диссидентов...

— Диссидентов, вот оно что! И Мелоун тоже разносил диссидентов? А мне-то показалось, что он разносит своих собратьев. Вы просто ругали друг друга. И вы трое шумели ничуть не меньше, чем наш портной Моисей Барраклу вкупе со своими слушателями, когда они войдут в раж в методистской молельне. А ведь, наверно, все из-за тебя, Мелоун.

— Из-за меня? Что вы, сэр!

— Конечно, из-за тебя. До твоего приезда и Донн, и Суитинг вели себя смирно и опять присмирели, если ты уедешь. Тебе бы следовало, отправляясь к нам, оставить свои ирландские привычки по ту сторону пролива;<sup>[11]</sup> быть может, там, среди болот и в диких горах Коннота,<sup>[12]</sup> повадки дублинского студента сходят священнику с рук, но здесь, в благопристойном английском приходе, они неуместны. Вы все позорите и самих себя и, что еще хуже, церковь, скромными служителями которой вы являетесь.

В обращении маленького пожилого джентльмена с молодыми священниками, в том, как он их отчитывал, сквозила известная властность, — может быть, и неуместная при данных обстоятельствах. Мистер Хелстоун, прямой, как шест, с острым взглядом ястреба, несмотря на свою одежду — черный сюртук, широкополую шляпу и гетры, — больше походил на старого служаку-офицера, распекающего подчиненных, чем на почтенного священника, увещающего своих



духовных сынов. Евангельская доброта, апостольская кротость не наложили своего отпечатка на это смуглое энергичное лицо; его изваяла твердость, раздумье проложило на нем свои борозды.

— Мне только что повстречался Сапплхью, — продолжал он. — Невзирая на ненастье и поздний час, он брел по болотам читать проповедь сектантской общине Милдина. Как я уже упоминал, я слышал Барраклу, проповедовавшего в сектантской молельне, и голос его напоминал рев разъяренного быка; а вас, джентльмены, я застаю в полном бездействии, вы прохлаждаетесь за полпинтой дрянного портвейна и пререкаетесь подобно сварливым кумушкам. И не удивительно, что Сапплхью за один день смог окрестить шестнадцать новообращенных взрослых, как это случилось две недели тому назад, или что негодяй и лицемер Барраклу сумел привлечь в свою молельню всех этих девушек-ткачих, явившихся в уборе из лент и цветов, чтобы убедиться, насколько его пальцы тверже края деревянной купели. Стоит лишь предоставить вас самим себе — и вы частенько служите в пустой церкви и произносите свои сухие проповеди лишь для причетника, органиста и церковного сторожа. Но довольно об этом. Сейчас мне нужен Мелоун. У меня к тебе дело, вояка!

— Какое? — недовольно спросил Мелоун. — Для похорон как будто поздновато...

— Ты сейчас вооружен?

— Конечно! Я всегда вооружен... — И он вытянул свои могучие руки и ноги.

— Не шути! Я говорю о настоящем оружии!

— Я всегда ношу при себе пистолеты, которые вы мне дали; даже ночью они лежат наготове у моей постели. Есть у меня и палка.

— Отлично. Можешь ты сейчас отправиться на фабрику Мура?

— А что там стряслось?

— Пока ничего, да, может, ничего и не будет, но Мур там совсем один. Всех надежных рабочих он послал в Стилбро, а с ним остались только две женщины. Узнай его «друзки», что путь свободен, они не преминули бы его навестить.

— Но и я не принадлежу к числу его друзей, сэр; что он мне?

— Ого, Мелоун, ты трусишь?

— Вы, конечно, шутите. Если бы я мог предположить, что там и вправду завяжется потасовка, я бы пошел. Но ради удовольствия

провести вечер в обществе Мура — нелюдимого, странного и чуждого мне человека — я не сделаю и шагу.

— Потасовка может вспыхнуть. Конечно, настоящего бунта не будет, но вряд ли эта ночь пройдет спокойно. Ты ведь знаешь, что Мур решил во что бы то ни стало установить новые машины и сегодня вечером ждет из Стилбро два фургона с ткацкими и стригальными станками. Старший мастер Скотт и несколько надежных людей уже отправились за ними.

— Они доставят их в целости и сохранности, сэр.

— Мур тоже в этом уверен и считает, что никто ему не нужен. И все-таки на всякий случай не мешает кому-нибудь быть поблизости, хотя бы в качестве свидетеля. Мур слишком неосторожен: не закрывает ставен в конторе, поздно вечером бродит совсем один по склону лощины или среди кустов возле поместья Филдхед, словно он неуязвим, словно он у нас всеобщий любимец или заколдован от ненависти, которую сам снискал. Печальная судьба Пирсона и Армitedжа — в одного стреляли в его собственном доме, а в другого на пустоши — не служит ему предостережением!

— А не мешало бы ему вести себя поосмотрительнее, да он, наверно, и поостерегся бы, доведись ему услышать то, что я услышал на днях, — вмешался Суитинг.

— Что ты слышал, Дэви?

— Вы знаете Майка Хартли, сэр?

— Ткача-антиномиста?<sup>[13]</sup> Ну конечно.

— Так вот, после продолжительного запоя Майк обычно ходит в Наннли, к мистеру Холлу, высказывает ему свое мнение о его проповедях, порицает за приверженность к доктрине добрых дел и заявляет ему, что как сам мистер Холл, так и все его прихожане пребывают во мраке кромешном.

— Все это так, но при чем здесь Мур?

— Этот Майк не только антиномист, сэр, но к тому же убежденный якобинец и левеллер.<sup>[14]</sup>

— Это я знаю. Когда он основательно напьется, он только и думает что о цареубийствах. Майк довольно сведущ в истории, и любопытно послушать, как он перечисляет тиранов, которые «не ушли от кровавого возмездия». Он прямо-таки бредит убийствами коронованных особ и покушениями политического характера. Мне уже

намекали, что у него какой-то странный интерес к Муру. Ты это имеешь в виду, Суитинг?

— Вы угадали, сэр. Мистер Холл думает, что у Майка нет личной ненависти к Муру; Майк и сам признает, что он не прочь с ним поговорить, только он вбил себе в голову, что участь Мура должна послужить уроком для других. Совсем недавно он отзывался о Муре с похвалой, как об умнейшем фабриканте Йоркшира, и доказывал, что поэтому-то Мура и следует избрать искупительной жертвой. Не кажется ли вам, сэр, что он сумасшедший, этот Хартли? простодушно закончил Суитинг.

— Кто его знает, Дэви; может быть, сумасшедший, может быть, плут, а скорее всего — и то и другое.

— Он уверяет, что у него бывают видения.

— О да! Что касается видений, это второй Иезекииль<sup>[15]</sup> или Даниил. В прошлую пятницу он пришел ко мне, когда я уже собирался лечь спать, и поведал об одном видении, явившемся ему днем в Наннлийском парке.

— Кого же он увидел, сэр? — снова спросил Суитинг.

— О Дэви, на твоём черепе красуется большая шишка любопытства,<sup>[16]</sup> а вот Мелоун, как видно, ее лишен: ни видения, ни убийства его не интересуют. Взгляни-ка на этого рослого, ко всему безучастного Сафа.<sup>[17]</sup>

— Саф? А кто был Саф?

— Ну конечно же, я так и думал. Постарайся узнать это из библии, правда, мне и самому известно только его имя и колено, но его образ живо представляется мне еще с детского возраста. Мне кажется, он был честен, но неуклюж и несчастлив, этот Саф. Он погиб при городе Гоб от руки Сивхая.

— Ну, а видение, сэр?

— Подожди, сейчас услышишь. Донн уже покусывает ногти, а Мелоун зевает, так что я расскажу это одному тебе. Майк сейчас, к несчастью, без работы, как и многие другие, и мистер Грейм, управляющий сэра Филиппа Наннли, поручил ему обнести поместье живой изгородью; и вот, рассказывал мне Майк, когда он работал однажды перед самыми сумерками, ему почудились звуки горна, флейты и трубы, словно далеко в лесной чаще играл оркестр; удивленный, он огляделся и увидел, что среди деревьев мелькают

какие-то существа, красные, как мак, и белые, как яблоневого цвет; лес кишел ими; все прибывая, они проникали в помещичий сад, и тут он понял, что это солдаты, тысячи и тысячи солдат, но шума от них было не больше, чем от мошек, роящихся летним вечером. В стройном порядке они промаршировали полк за полком по парку. Майк последовал за ними и дошел до общинного луга; издали все еще доносилась тихая музыка. На лугу солдаты начали перестраиваться, повинаясь команде человека в алом одеянии, стоявшего в самой середине. Строй растянулся на пространстве свыше пятидесяти акров; с полчаса Майк наблюдал за ними; затем они неслышно удалились; за все время он не уловил ни звука их голосов, ни поступи, ничего, кроме музыки — торжественного марша.

— Куда же они направились?

— К Брайерфилду; Майк пошел было за ними, но когда они проходили мимо Филдхеда, столб серовато-синего дыма, словно от артиллерийского залпа, бесшумно разостлался над полями, дорогой и лугом и докатился до самых его ног. Когда дым рассеялся, Майк поглядел по сторонам, ища солдат, но их больше не было видно. Майк, как и подобает мудрому Даниилу, не только поведал нам о своем видении, но и дал ему толкование: по его мнению, оно предвещает кровопролитие и гражданские распри.

— И вы этому верите, сэр? — спросил Суитинг.

— А ты, Дэви?.. Однако, Мелоун, ты все еще здесь?

— Странно, сэр, что вы сами не остались у Мура. Такие вещи вам по душе.

— Я бы так и сделал, но, к сожалению, я пригласил Болтби поужинать со мной после заседания Библейского общества в Наннли. Я обещал Муру прислать тебя, за что, к слову сказать, он меня не поблагодарил, он предпочел бы мое общество. Но если что-нибудь случится, пусть ударят в фабричный колокол, и я поспешу к вам. Ступай же! А впрочем, — он повернулся к Суитингу и Донну, не пожелают ли заменить тебя Дэви или Джозеф Донн? Что скажете, джентльмены? Поручение почетное, связанное с известным риском, — для вас не тайна, что в округе неспокойно, что население ненавидит и самого Мура, и его фабрику, и его машины. Я не сомневаюсь, что у вас в груди бьются сердца, полные рыцарских чувств и благородной отваги. Может быть, я слишком пристрастен к моему любимцу

Питеру; пусть героем станет наш маленький Дэвид или наш непорочный Джозеф. А ты, Мелоун, оказывается, всего лишь огромный неуклюжий Саул,<sup>[18]</sup> тебе остается только вручить свои доспехи более достойным: вынимай же свои пистолеты, подай сюда свою палку — вон она в углу.

С многозначительной усмешкой Мелоун вынул из кармана пистолеты и протянул их своим братьям. Однако те не спешили завладеть ими; напротив, оба джентльмена с похвальной скромностью отступили на шаг.

— Я никогда не беру в руки оружия, — заявил Донн, — даже не прикасаюсь к нему.

— А я едва знаком с Муром, — пробормотал Суитинг.

— Если ты никогда не брал в руки оружия, не мешает коснуться его, чтобы знать, каково оно на ощупь, о великий сатрап Египта. Что же до нежного музыканта, он, по-видимому, намерен встретить филистимлян<sup>[19]</sup> с одной только флейтой в руках. Питер, подай им шляпы, они оба готовы отправиться в путь.

— Нет, сэр, нет, мистер Хелстоун, моя мать не одобрила бы этого, жалобно произнес Суитинг.

— Я придерживаюсь правила никогда не вмешиваться в подобного рода дела, — заметил Донн.

По лицу Хелстоуна скользнула презрительная усмешка, а Мелоун раскатисто захохотал; он положил пистолеты в карман, взял шляпу и палку и, заявив, что «сегодня он был бы не прочь ввязаться в хорошую потасовку и ему даже хотелось бы, чтобы компания грязных сукновалов нагрянула этой ночью к Муру», вышел из комнаты, сбежал по лестнице, прыгая через две-три ступеньки, и захлопнул за собой дверь с такой силой, что весь дом содрогнулся.

## ГЛАВА II

### Фургоны

На дворе была непроглядная тьма; звезды и луна скрылись за свинцовыми тучами, — вернее, свинцово-серыми они выглядели днем, а теперь превратились в непроницаемо черные. Но Мелоун вообще не склонен был предаваться созерцанию природы и обычно не замечал ее. Когда в переменчивый апрельский день случалось ему проходить по многу миль, он не видел милых шалостей неба и земли, не замечал, как солнечный луч целует вершины холмов и те благодарно улыбаются, окутанные зеленоватым сиянием, или как лохматая туча, прикрыв их вершины своими космами, орошает их слезами. Ему и в голову не приходило сравнивать небо этого ненастного вечера — окутанный тучами свод, непроглядно черный, кроме того краешка на востоке, где печи чугунолитейных заводов Стилбро отбрасывали бледное, дрожащее зарево, — с безоблачным небосводом ясных морозных ночей. Он не задумывался над тем, куда же девались созвездия и планеты, не сожалел о том, что иссиня-черный воздушный океан, с рассыпанными по нему серебристыми островками, невидим сейчас, застланный другим океаном, — стихией более плотной и тяжелой. Он следовал своим путем, чуть подавшись вперед и сдвинув шляпу на затылок, по ирландскому обычаю. «Топ-топ», — раздавались его шаги по шоссе, там, где дорога могла похвастать таким названием; «шлеп-шлеп», — по хлюпким колеям и слякоти, когда кончался булыжник. Взгляд его искал только путеводные вехи — шпиль церкви Брайерфилда, потом огни трактира. Когда же он поравнялся с ним и увидел свет, пробивавшийся сквозь неплотно задернутые занавеси, круглый, уставленный стаканами стол и компанию бражников на деревянных скамьях, он чуть было не поддался соблазну уклониться от своего пути. Мелоун с тоской подумал о стакане виски с водой; в другом месте он не замедлил бы удовлетворить свое желание, однако среди сотрапезников, пировавших на кухне, он заметил прихожан мистера Хелстоуна; все они его знали. И, тяжело вздохнув, он пошел дальше.

Вскоре Мелоун свернул с проезжей дороги и двинулся напрямик по ровным, пустынным полям, перепрыгивая кое-где через изгороди и плетни, что значительно сокращало расстояние до фабрики. На пути ему встретилось только одно здание, большое, казарменного типа, хоть и не совсем правильной формы: к высокой крыше, венчавшей длинный фасад, примыкала крыша пониже, с частым рядом дымовых труб; позади здания виднелись деревья. Весь дом тонул в темноте, ни одно окно не светилось; кругом царило безмолвие, слышно было только, как стекают струи дождя с карнизов да завывает ветер среди голых сучьев и труб.

В этом месте пологие поля обрывались крутым скатом: внизу лежала лощина, со дна которой доносилось журчание ручья. Невдалеке светился одинокий огонек, к нему-то и направился Мелоун.

Он подошел к невысокому домику, белевшему даже в густом мраке, и постучал в дверь; ему отворила румяная служанка; свеча, которую она держала в руке, осветила тесный коридор и узкую лестницу. Две двери, обитые темно-красным сукном, и красная ковровая дорожка на лестнице приятно оттеняли окрашенные в светлый тон стены и белизну пола; все здесь дышало свежестью и чистотой.

— Мистер Мур дома?

— Да, сэр, но здесь его нет.

— Нет? А где же он?

— На фабрике, в конторе.

Одна из дверей приотворилась, и женский голос спросил:

— Что там, Сара, — фургоны пришли?

И в дверях показалась женская головка. Возможно, то не была головка богини — этого нельзя было предположить хотя бы из-за папильоток над висками, но и головой Горгоны ее нельзя было бы назвать; однако, Мелоун, очевидно, увидел в ней нечто устрашающее. При виде этой особы наш великан пугливо отпрянул и, пробормотав: «Я пойду к нему», — в полном смятении, под дождем поспешил по дорожке вдоль живой изгороди, пересек темный двор и очутился перед черной громадой фабрики.

Рабочий день уже окончился, люди разошлись, машины бездействовали; дверь была заперта. Мелоун обошел вокруг здания; на

длинном закоптелом фасаде он высмотрел щелочку света и забарабанил в одну из дверей. Щелкнул ключ, и дверь отворилась.

— Это ты, Джо Скотт? Ну как с фургонами?

— Нет, это я. Меня послал к вам мистер Хелстоун.

— А-а, мистер Мелоун! — В голосе говорившего прозвучало легкое разочарование. Мгновение спустя хозяин дома вымолвил учтиво, хотя и несколько сухо: — Входите, пожалуйста, мистер Мелоун. Мистер Хелстоун напрасно побеспокоил вас, я говорил ему, что в этом нет никакой надобности... да еще в такую погоду. Входите же.

Мелоун прошел за хозяином через темное помещение, в котором ничего нельзя было разглядеть, в ярко освещенную, просторную комнату. В особенности светлой и веселой показалась она путнику, чьи глаза только что целый час напряженно всматривались в густой мрак ненастной ночи. Впрочем, только яркий огонь в камине да изящная лампа, разливавшая теплое сияние над столом, придавали некоторый уют этой совсем простой комнате. На дощатом полу не было ковра; три-четыре жестких стула, покрашенные зеленой краской, словно перенесенные из фермерской кухни, конторка солидного, делового вида, упомянутый уже стол; на стенах, покрашенных в серый цвет, чертежи строений и машин, планы разбивки садов — вот и вся обстановка.

Но какой бы ни была комната, она, очевидно, пришлась Мелоуну по вкусу. Сняв мокрый сюртук и шляпу, он пододвинул к камину один из неуклюжих стульев, уселся и протянул ноги к раскаленной докрасна каминной решетке.

— А вы тут уютно устроились, мистер Мур.

— Да, но сестра была бы, наверное, рада вас повидать, — не пройти ли вам в дом?

— Ну что вы! Дамам лучше не мешать. Я ведь не дамский угодник. Не путаете ли вы меня, чего доброго, с моим другом Суитингом?

— Суитинг? Который же это? Тот, что в коричневом сюртуке, или другой, такой маленький?

— Маленький, тот, что в Наннли; поклонник всех девиц Сайкс, влюбленный во всех шестерых сразу, ха-ха!



— Мне кажется, всегда безопаснее увлекаться несколькими сразу, чем одной.

— Но он и влюблен в одну из них особенно сильно; мы с Донном однажды попытались у него, кто его избранница в этом цветнике, и, как вы полагаете, кто?

— Дора, конечно, или Гарриет, — ответил Мур, усмехнувшись своим мыслям.

— Ха-ха! Вы догадливы! Но почему вы так думаете?

— Они самые рослые и красивые среди сестер; Дора к тому же самая дородная; мистер Суитинг, напротив того, мал ростом и тщедушен; ну, а всем известно, что противоположности сходятся.

— Вы правы: он влюблен именно в Дору. Однако надеяться ему не на что, как по-вашему?

— А что у него есть, помимо жалованья?

Вопрос этот привел Мелоуна в неопиcуемый восторг; минуты через три, насмеявшись вволю, он ответил:

— Что есть у Суитинга? У нашего Дэвида есть арфа или флейта, — впрочем, это все равно; у него есть часы накладного золота, такое же кольцо и такой же лорнет; вот и все, что есть у Суитинга.

— Да сможет ли он хотя бы одевать такую особу, как мисс Сайкс?

— Ха-ха! Это хорошо сказано! Не забуду спросить у него об этом при первой же встрече. Уж и подразню я его за самоуверенность! Но, вероятно, он рассчитывает, что Кристофер Сайкс даст за дочь хорошее приданое? Он как будто богат? У них такой большой дом.

— Да, он ведет крупные дела.

— Значит, он в самом деле богат?

— Значит, он весь свой капитал вкладывает в эти дела. Для него сейчас изъять деньги из оборота, чтобы дать их в приданое за дочерьми, так же безрассудно, как мне, скажем, снести свой домик и возвести на его развалинах величественное здание вроде Филдхеда.

— А знаете ли вы, что я слышал на днях?

— Нет; вероятно, что я и вправду замышляю что-нибудь в этом роде? Здешние жители способны на любую выдумку.

— Что вы собираетесь арендовать Филдхед — сейчас только проходил мимо этого мрачного места — и ввести туда хозяйкой одну из девиц Сайкс; короче говоря, что вы собираетесь жениться, ха-ха!

Ну-с, докладывайте, кто же ваша избранница? Дора небось, — сами же сказали, что она красивее других.

— С той поры как я поселился в Брайерфилде, меня то и дело женят! В окрестностях, кажется, нет ни одной невесты, которую бы мне не сватали: то двух девиц Уинн — сначала черненькую, потом беленькую, то рыжую мисс Армитедж, то перезрелую Энн Пирсон. А теперь вы хотите обременить меня целым выводком девиц Сайкс. Откуда берутся эти толки — один Бог ведает. Я нигде не бываю, избегаю общества женщин столь же старательно, как и вы, мистер Мелоун; в Уинбери я езжу только за тем, чтобы повидать Сайкса или Пирсона в их конторе, и говорим мы вовсе не о женитьбе, ибо головы наши полны забот, весьма далеких от сватовства и приданого. Сукно, которое некуда сбывать, рабочие руки, которые нечем занять, фабрики, которые приходится закрывать, неблагоприятное для нас стечение обстоятельств, которые мы бессильны изменить, — вот что действительно волнует нас... Где уж тут заниматься такими пустяками, как ухаживание за девушками.

— Я с вами согласен, Мур. Ничто так не противно мне, как брак; я подразумеваю пошлый, вульгарный брак, — брак только по сердечной склонности; двое нищих вступают в союз, скрепленный нелепыми узами любви, — какая чушь! Но выгодная партия, основанная на взаимном интересе и общности взглядов, дело не плохое, как по-вашему?

— Пожалуй, — рассеянно отозвался Мур; тема эта, казалось, вовсе его не занимала.

Разговор оборвался. Некоторое время Мур сидел молча, с озабоченным видом глядя на пламя камина; вдруг он повернул голову и насторожился.

— Что это? — воскликнул он. — Вы слышали? Стук колес!

Встав с места, он подошел к окну, отворил его, прислушался и опять закрыл.

— Увы! Мне показалось, — заметил он. — Это только шум ветра или ручей, вздувшийся от ливня, стремительно бежит по лощине. Я ожидал фургоны к шести часам; теперь же скоро девять.

— Вы в самом деле боитесь, что установка новых машин может оказаться опасной? — спросил Мелоун. — Хелстоун, кажется, в этом уверен.

— Только бы станки были доставлены в целости и стояли у меня на фабрике, и никакие разрушители машин мне уже не страшны; а если они наведаются сюда, — получают по заслугам. Моя фабрика — это моя крепость.

— Что и говорить, — низкие негодяи, — произнес Мелоун, как бы в глубоком раздумье. — Мне даже хочется, чтобы они пожаловали сюда сегодня ночью; однако на дороге, когда я шел, все было спокойно и я не заметил ничего подозрительного.

— Но ваш путь лежал мимо трактира?

— Да!

— Там-то все спокойно. Угроза со стороны Стилбро.

— Вы все-таки ждете нападения?

— Громили же других, могут напасть и на меня. Разница только в одном: я намерен защищать свое дело, фабрику и машины, а большинство фабрикантов сковано страхом. Взять хотя бы того же Сайкса: когда эти бандиты сожгли его склад, а сукна сорвали с сушилен, искромсали и бросили среди поля, Сайкс и пальцем не пошевелил, чтобы разыскать негодяев; он держался робко, как кролик в зубах у хорька. Нет, я не таков.

— Хелстоун говорит, что все это — ваши кумиры; вы считаете Приказы Совета<sup>[20]</sup> семью смертными грехами, Каслри — антихристом, а партию сторонников войны — его воинством.

— Ничего удивительного! Все эти Приказы разоряют меня; они создают препятствия на моем пути, не дают мне развернуть дело, разбивают все мои планы.

— Но вы же преуспеваете, вы богаты?

— Богат! Богат товаром, которому нет сбыта; загляните ко мне на склад, вы увидите, что он доверху завален грудями сукон. Рокс и Пирсон в таком же положении; Приказы Совета лишили нас нашего главного рынка — Америки.

У Мелоуна, казалось, не было охоты поддерживать такого рода беседу: он зевнул и начал постукивать каблуком о каблук.

— А при всем этом, — продолжал Мур (увлеченный своими мыслями, он не замечал, что гость его порядком скучает), — здесь, в Уинбери и в Брайерфилде, о тебе разносят нелепые слухи, без конца сватают тебе невест. Как будто в жизни и делать больше нечего, кроме как ухаживать за молодой девицей, потом повести ее к алтарю,

совершить с ней свадебное путешествие и круг положенных визитов, а затем, очевидно, «плодиться и размножаться»... Oh, que le diable emporte.

Он как-то сразу оборвал свою пылкую речь, затем добавил более спокойным тоном:

— Впрочем, у женщин только и разговоров, только и дум, что о браке; им невдомек, что мужчины заняты другим.

— Конечно. Да что нам до них, — отозвался Мелоун. Он засвистел и огляделся вокруг, проявляя признаки нетерпения. На этот раз намек был понят хозяином.

— Мистер Мелоун, вам нужно подкрепиться после такой прогулки под дождем. Простите, что я столь негостеприимен.

— Нет, что вы! — возразил Мелоун.

Но по выражению его лица Мур понял, что угадал. Он поднялся и открыл шкаф.

— Я люблю, чтобы все необходимое было у меня под рукой, — сказал он. Ни к чему на каждом шагу зависеть от женщин. Я часто провожу здесь вечер, ужинаю в одиночестве и ночую с Джо Скоттом на фабрике. Иногда я заменяю ночного сторожа: я мало сплю и не прочь тихой светлой ночью побродить с ружьем на плече часок-другой по лощине. Скажите, мистер Мелоун, сумеете ли вы поджарить баранью котлету?

— Еще бы... сотни раз проделывал это в колледже.

— Вот вам рашпер и котлеты. Вы знаете, их надо быстро переворачивать, тогда мясо останется сочным.

— Не беспокойтесь, все будет в порядке. Дайте мне, пожалуйста, нож с вилкой.

Священник загнул манжеты и с усердием принялся за дело. Хозяин поставил на стол тарелки, хлеб, бутылку с темной жидкостью и два бокала, затем достал из своего битком набитого тайничка небольшой медный котелок, налил в него воды из глиняного кувшина, стоявшего в углу, поставил на огонь возле шипящего рашпера, вынул лимоны, сахар, небольшую пуншевую чашу и принялся варить пунш. Стук в дверь отвлек его от этого занятия.

— Это вы, Сара?

— Да, сэр. Пожалуйста, ужинать.

— Нет, сегодня я к вам не приду; я переночую на фабрике. Передайте хозяйке, чтобы ложилась спать, и запирайте дверь.

Он снова подошел к камину.

— Н-да, у вас тут хозяйство налажено, — одобительно заметил Мелоун. Лицо его покраснело под стать горячим уголькам, над которыми он склонился, усердно переворачивая котлеты. — Вы человек независимый, не то что бедняга Суитинг, — фу ты, как брызнул жир, даже руку обожгло, — тому, видно, на роду написано быть рабом женщин. Ну, а мы с вами, Мур, — нате вот эту котлетку, она сочная и хорошо подрумянилась, — мы, конечно, не допустим, чтобы жены верховодили нами.

— Не знаю. Я как-то об этом и не думал; впрочем, если жена будет миловидной и сговорчивой, то пускай себе!

— Ну-с, котлеты готовы. А как пунш?

— Вот попробуйте, я вам налил... Надо будет попотчевать Джо Скотта и остальных, если только они доставят мои станки в целости.

За ужином Мелоун развеселился: громко смеялся по всякому поводу, отпускал плоские шуточки и сам их похваливал, — словом, совсем разошелся. Хозяин дома, напротив, сохранял невозмутимое спокойствие. Пора, однако, дать тебе, читатель, некоторое представление о его внешности; пока он сидит, задумавшись, за столом, я попытаюсь набросать его портрет.

На первый взгляд его облик может показаться несколько странным: он похож на иностранца, худощав, цвет лица у него изжелта-смуглый; пряди темных волос ниспадают на лоб; по-видимому, он не слишком занимается своей одеждой, иначе в ней было бы больше вкуса; он, кажется, и не подозревает о том, что у него привлекательное лицо южного типа, с изящным овалом и правильными, тонко обрисованными чертами. Но и другие замечают это, только приглядевшись к нему, — тревожное и несколько угрюмое выражение портит это красивое лицо. Большие серые глаза смотрят пристально и строго, скорее пытливо, чем ласково, скорее вдумчиво, чем приветливо. Когда он улыбается, лицо становится приятным, не то чтобы открытым или веселым, но оно подкупает вас своим мягким спокойствием и говорит — хотя, быть может, впечатление это обманчиво — о душе чуткой и нежной, о терпении, снисходительности, возможно, и о верности, — чертах характера,

столь драгоценных в семейной жизни. Он еще молод, — ему не более тридцати лет, — высок ростом и строен. Но говорит он неприятно: его иностранный выговор, который он старается замаскировать нарочитой небрежностью произношения, режет слух англичанина и тем более йоркширца.

Дело в том, что Мур не чистокровный англичанин. Мать его была француженкой; он родился и провел детство в чужих краях. Полуфранцуз-полуангличанин, Мур отличался половинчатостью чувств во многом, например, в чувстве патриотизма; по-видимому, он был неспособен связать себя с какой-либо партией, с вероучением, сродниться с одной страной и ее обычаями; возможно, он был склонен держаться особняком в любой общественной среде, куда могла его забросить судьба, и полагал, что самое лучшее для него, Роберта Жерара Мура, ставить превыше всего свои собственные интересы, не принимая во внимание филантропические соображения блага общественного, ибо подобные соображения были ему совершенно чужды. Наследственным призванием Мура была торговля. Антверпенские Жерары были коммерсантами на протяжении двух столетий; некогда они преуспевали, но неустойчивость и изменчивость политической обстановки и финансовые затруднения постепенно разоряли их; несколько неудачных торговых сделок подорвали их престиж; после этого торговый дом Жераров кое-как еще держался лет десять, но буря французской революции окончательно разорила его. В своем крушении он увлек за собой английскую и йоркширскую фирмы Муров, тесно связанных с антверпенской фирмой; один из компаньонов, Роберт Мур, был женат на Гортензии Жерар; в свое время он рассчитывал, что супруга его унаследует в деле долю своего отца, Константина Жерара, но случилось так, что в наследство ей достались одни лишь долговые обязательства. Говорили, что часть этого долга, — уменьшенного любовным соглашением с кредиторами, перешла по наследству к ее сыну Роберту и что он надеялся когда-нибудь выплатить этот долг и восстановить торговый дом Жерара и Мура хотя бы в его былом величии. По-видимому, перенесенные испытания оставили глубокий след в его душе, и если в самом деле горестные впечатления детства, проведенного возле угрюмой матери, в предчувствии надвигающейся катастрофы, и юности, исковерканной и смятой разразившейся бурей, мучительно

запечатлеваются в сознании человека, то в его памяти сохранялись отнюдь не лучезарные воспоминания.

Во всяком случае, если Мур и лелеял надежду восстановить торговую фирму Жераров, то у него не было ни средств, ни возможностей сделать это, и в ожидании лучших времен приходилось довольствоваться малым. Но по приезде в Йоркшир, где предки его владели складами в порту и фабриками в городе, имели там дом и поместье, он смог позволить себе только одно — арендовать суконную фабрику на окраине маленького городишки, поселиться в домике по соседству и присоединить к своим владениям несколько акров неудобной земли на склоне лощины, в которой шумел фабричный ручей; там можно было пасти лошадь и установить сушильни. В те военные годы все было дорого, и он платил большую арендную плату опекунам наследницы имения Филдхед.

К тому времени, о котором мы ведем свое повествование, Роберт Мур прожил в округе всего два года, но успел проявить себя человеком деятельным и энергичным. Заброшенный домик он превратил в уютное приятное жилье, на клочке одичалой земли разбил сад и возделывал его с редкостным, истинно фламандским усердием и рвением. Фабрика же была старая, механизмы изношенные, устарелые, и Мур с самого начала отнесся к своему приобретению с нескрываемым презрением и недовольством; он решил в корне все здесь переделать и добивался всего, что могли позволить ему его скромные средства. Однако вести дело с размахом Мур не мог, и это угнетало его, всегда стремившегося вперед. «Вперед» — было девизом его жизни, но бедность обуздывала его стремления; иногда, говоря образно, он готов был грызть удила, когда узда слишком натягивалась.

Нельзя было и ожидать, чтобы Мур в подобном положении беспокоился о том, как бы интересы его карьеры не нанесли ущерба другим. Он не был здешним уроженцем или хотя бы старожилом и не жалел тех, кого своими нововведениями обрекал на нужду; он не задумывался над тем, где добудут кусок хлеба рабочие, лишенные заработка на его фабрике, но в своем равнодушии ничем не отличался от множества других предпринимателей, от которых голодавшие бедняки Йоркшира имели больше оснований требовать сочувствия.

Время, о котором я пишу, было одной из самых тяжелых эпох в истории Великобритании, в особенности для ее северных областей.

Война была в разгаре, и в нее была ввергнута вся Европа. Затянувшиеся военные действия если и не окончательно истощили Англию, то в достаточной мере обессилили ее, народ устал и требовал мира на любых условиях. В глазах многих людей такие понятия, как честь нации, утратили всякий смысл, потому что зрение их было притуплено голодом и за кусок хлеба они продали бы свое первородство.

«Указ о контрблокаде», которым Англия ответила на миланский и берлинский декреты Наполеона, запрещавший нейтральным государствам торговать с Францией, оскорбив Америку, лишил йоркширских фабрикантов шерсти основного рынка сбыта и привел их на грань банкротства. На мелких иностранных рынках, заваленных товарами, был полный застой; на складах Бразилии, Португалии, Королевства Обеих Сицилии скопилось товаров на два-три года вперед. В это трудное время ткацкие фабрики на севере стали применять вновь изобретенные машины, вытеснявшие ручной труд; тысячи рабочих очутились на улице без заработка. Вдобавок год выдался неурожайный. Бедствие достигло своего предела. Мера терпения пострадавшего народа была переполнена, вспыхивали бунты. Казалось, на севере, в гористых графствах, слышался смутный гул подземных ударов, предвещавший общественные потрясения. Но в те дни, как и всегда в подобных случаях, мало кто понимал всю серьезность положения. Вспыхивал ли голодный бунт, горела ли фабрика, подожженная бунтовщиками, подвергался ли разгрому дом фабриканта, когда его имущество выбрасывалось на улицу, а сам он ради спасения жизни бежал, забрав семью, — местные власти откликались на эти события неохотно, да и не всегда: зачинщика иногда обнаруживали, но чаще он ускользал, сообщения о происшествии попадали в газеты, и на том дело кончалось. А бедняки, единственным достоянием которых был труд, лишившись работы, а следовательно, заработка и куска хлеба, продолжали владеть жалкое существование; это было неизбежно: нельзя было ни прекратить изобретательство, ни остановить прогресс науки. Войну тоже невозможно было прекратить, и облегчения ждать было неоткуда; обездоленным ничего другого не оставалось, как смириться со своей участью — испить до дна чашу горя.



Нужда порождает ненависть; обездоленные возненавидели машины, которые, как они думали, отняли у них хлеб; они возненавидели фабрики, где стояли эти машины; они возненавидели владельцев этих фабрик. В приходе Брайерфилд, о котором мы повествуем, предметом особой ненависти была фабрика Мура; самым ненавистным среди фабрикантов был Жерар Мур, полуиностранец и ярый сторонник прогресса. И, пожалуй, ему, человеку своеобразного склада, даже нравилось возбуждать к себе всеобщую ненависть, в особенности если он верил, что дело, за которое его ненавидят, — правое дело и выгодно для него; вот и сегодня ночью он в возбужденном, даже воинственном настроении поджидал прибытия фургонов с машинами; возможно, и Мелоун был для него сегодня нежелательным гостем; любя мрачное безмолвие и уединение, — пусть даже не безопасное, — он охотнее провел бы этот вечер в одиночестве; его ружье с успехом заменило бы ему любое общество; журчанье полноводного ручья, доносившееся снизу, звучало для его слуха приятнее человеческого голоса.

\* \* \*

Несколько минут Мур молча наблюдал за священником-ирландцем, без стеснения расправляющимся с его пуншем; внезапно странное выражение его серых задумчивых глаз изменилось, словно что-то другое привлекло его внимание.

— Шш! — произнес он и поднял руку, когда Мелоун неосторожно звякнул бокалом. С минуту он прислушивался, затем встал, надел шляпу и вышел из конторы.

Вечер был темен, тих и недвижим; слышно было только, как стремительно мчится ручей, вздувшийся от дождя; в глубокой тишине казалось, что это большая река. Однако слух Мура уловил в отдалении и другие звуки прерывистый стук тяжелых колес по каменистой дороге. Он вернулся в контору, зажег фонарь и, подойдя к воротам фабричного двора, отпер их. Показались громадные фугоны: слышно было, как тяжелые копыта ломовых лошадей шлепают по слякоти. Мур крикнул в темноту:

— Эй, Джо! Все в порядке?

Ответа не последовало, но, быть может, Джо Скотт был еще далеко и не расслышал его голоса.

— Все в порядке, я спрашиваю? — повторил Мур, когда могучая голова первой лошади чуть не коснулась его плеча.

Кто-то спрыгнул с переднего фургона; чей-то голос громко крикнул:

— Все в порядке, дьявол проклятый! Мы их переломали!

В темноте раздался быстро удаляющийся топот. Брошенные фургоны застыли на месте.

— Джо Скотт! — Никакого ответа. — Мергатройд! Пигхилс! Сайкс! Молчание. Мур поднял свой фонарь: фургоны были пусты — ни людей, ни машин.

Мур дорожил этими машинами. На их покупку он истратил последние деньги. От них зависели важнейшие операции с сукнами; но где же машины?

В ушах у него звенели слова: «Мы их переломали». Но как воспринял он известие о катастрофе? Свет фонаря падал на его лицо, и на нем, как ни странно, проступила улыбка — улыбка, которая появляется у человека волевого в те минуты, когда надо собрать все силы, призвать все свое мужество, чтобы выдержать испытание и не дать воле сломиться. С минуту он постоял на месте, раздумывая, что ему теперь делать, потом поставил фонарь на землю, скрестил руки на груди и задумчиво опустил глаза.

Одна из лошадей нетерпеливо била копытом. Мур поднял глаза и заметил, что на упряжи что-то белеет; поднеся фонарь поближе, он увидел сложенный листок бумаги — записку; он развернул ее, адреса не было, но письмо начиналось обращением: «Дьяволу с фабрики в лошине».

Мы не будем приводить это послание в том виде, как оно было написано, со всеми его ошибками, но стояло там примерно следующее:

«Обломки твоих проклятых машин валяются на Стилброской пустоши, а твои люди, связанные по рукам и ногам, брошены в канаву у дороги. Пусть это послужит тебе предостережением от голодных, которые, покончив с этим делом, вернутся домой, где их ждут такие же голодные жены и дети. А если попробуешь завести новые машины или будешь стоять на своем, ты о нас еще услышишь. Берегись!»

— Услышу о вас? Да, я о вас услышу, но и вы обо мне услышите. Я сейчас же поговорю с ними. Вы еще обо мне услышите!

Мур завел фургоны во двор и поспешил к домику; там он открыл дверь и торопливо, но спокойно сказал несколько слов двум женщинам, выбежавшим ему навстречу в прихожую. Одну из них, очень взволнованную, он постарался успокоить, осторожно рассказав ей о происшедшем, а другой приказал: «Вот вам ключ, Сара, бегите на фабрику и ударьте изо всех сил в колокол. Потом помогите мне зажечь все фонари».

Вернувшись к лошадям, Мур поспешно распряг их, завел в конюшню и задал им корму. По временам он останавливался, как бы прислушиваясь к ударам колокола, — не привычно размеренным, но громким и тревожным. В ночной тишине далеко вокруг разносился его гул, необычный для столь позднего часа; посетители, сидевшие на кухне трактира, всполошились, услышав его. «Видно, на фабрике Мура что-то стряслось», — решили они и, захватив с собой фонари, поспешили всей компанией на фабрику. Едва эти люди со своими мигающими фонарями ввалились всей гурьбой во двор, как послышался цокот копыт, и сухопарый человечек в широкополой шляпе, сидя очень прямо на своей маленькой косматой лошадке, въехал вслед за ними бойкой рысцой в сопровождении «адъютанта» на коне покрупнее.

Тем временем Мур оседлал верховую лошадь и с помощью служанки Сары осветил всю фабрику. На дворе теперь стало светло, как днем, и можно было не опасаться никакой суматохи из-за темноты. Вскоре со двора донесся неясный гул многих голосов. Из конторы вышел Мелоун, предварительно обдав голову и лицо холодной водой из кувшина, — эта благоразумная мера и внезапный испуг прояснили его мозг, слегка затуманенный щедрыми возлияниями. Он остановился на пороге конторы, отвечая наобум на вопросы, сыпавшиеся со всех сторон; шляпа его была сдвинута на затылок, в правом кулаке он сжимал палку. Следом за ним вышел и Мур, к которому тотчас же направил свою лошадку человечек в широкополой шляпе.

— Что вам нужно, Мур? Я так и знал, что нынче ночью мы вам понадобится, — мы с этим воякой, — он ласково потрепал лошадку по загривку, — да и Том на боевом коне. Как услышал я звон, уж не мог усидеть на месте и оставил Болтби заканчивать свой ужин в

одинокости. Но где же враг? Я что-то не вижу ни масок, ни вымазанных сажей физиономий,<sup>[21]</sup> да и окна все целы. На вас нападали, или вы только ждете этого?

— Вовсе нет! Никто не нападал, и ничего я не жду, — невозмутимо ответил Мур. — Я приказал ударить в колокол потому, что мне нужно кое-кого из соседей оставить здесь, а самому с двумя-тремя другими поехать на Стилброскую пустошь.

— Зачем? Встречать фургоны?

— Фургоны прибыли час тому назад.

— Значит, все в порядке. Что же вам еще нужно?

— Они приехали порожними, а Джо Скотт и остальные сброшены в канаву вместе с машинами. Почитайте это письмо...

Хелстоун принялся внимательно изучать уже известный нам документ.

— Гм! Они попотчевали вас тем же, чем потчуют и других! Однако пострадавшие, я полагаю, жаждут избавления. Пустошь — неподходящее место для ночевки в такое ненастье. Мы с Томом проводим вас, ну, а Мелоун пусть остается здесь охранять фабрику. Что это с ним? Глаза у него вот-вот выскочат из орбит.

— Он ел бараньи отбивные.

— Вот как! Питер Огест, будь осторожнее; не ешь больше отбивных. Тебе поручается этот дом. Почетное поручение!

— А кто-нибудь еще останется со мной?

— Выбирай кого угодно! Ну-с, друзья мои, кто из вас хочет остаться здесь, а кто не прочь отправиться со мной в Стилбро на помощь несчастным пострадавшим?

Всего трое вызвались идти; остальные предпочли остаться. Когда Мур сел на лошадь, мистер Хелстоун шепотом осведомился, не забыл ли он припрятать отбивные от Мелоуна. Мур утвердительно кивнул, и маленький отряд двинулся в путь.

## ГЛАВА III

### Мистер Йорк

Хорошее настроение зависит обычно не только от того, что происходит в нас самих, но и от всего, что окружает нас, совершается вокруг нас. Я делаю это банальное замечание потому, что, как мне известно, и Хелстоун и Мур выехали из ворот фабричного двора во главе маленького отряда в наилучшем расположении духа. Когда свет фонаря (каждый из пешеходов нес по фонарю) падал на смуглое лицо Мура, видно было, что оно дышит оживлением, что глаза его необычно блестят; да и суровые черты мистера Хелстоуна преобразились, озаренные ликованием. Однако непогожая ночь и опасное предприятие не должны были бы веселить тех, кто мокнул под дождем и рисковал жизнью. Если бы хоть один из участников нападения в Стилбро увидел этот отряд, он, конечно, не отказал бы себе в удовольствии пристрелить Мура или священника из-за угла; и те это знали, но опасность только воодушевляла их, ибо у людей этих были стальные нервы и закаленные сердца.

Я и сама знаю, читатель, что священника как пастыря душ человеческих украшает не воинственность, а миролюбие; я помню, какова его миссия, чье слово он доносит до нас, по чьим стопам следует; и все же, если ты сам ненавидишь духовенство, не думай, что и я готова по твоему примеру вступить на безотрадный, печальный путь отступничества; не думай, что и я присоединю свой голос к твоим проклятиям, проклятиям, в сущности, мелким и огульным, или что я разделю твою лютую, но неразумную ненависть к духовным лицам; что я, подняв глаза и руки к небу вместе с Сапплхью или же крича во всю мощь своих легких вместе с Барраклу, примусь обличать и клеймить дьявольское отродье — священника Брайерфилда.

А ведь, в сущности, он был вовсе не дьяволом, а просто человеком, к несчастью, не понявшим своего призвания: ему следовало бы стать воином, а обстоятельства сделали его священником. Это был добросовестный, неподкупно честный, храбрый, крутой в обхождении, строгий человек трезвого и проницательного ума, с железным характером, лишенный чувства

снисходительности к ближним, суровый, непреклонный в своих пристрастиях, но достойный, искренний и верный своим убеждениям. Мне кажется, читатель, что люди не всегда созданы для своей профессии и иному профессия его не подходит, как платье, сшитое не по мерке, поэтому я и не собираюсь осуждать Хелстоуна, хоть он и отчаянный вояка по характеру; правда, многие из прихожан его ненавидели, зато другие души в нем не чаяли, как это всегда бывает с теми, кто слишком снисходителен к друзьям и нетерпим к врагам, кто непоколебимо верен своим убеждениям, так же как и своим предубеждениям.

Видя, как Мур и Хелстоун едут рядом, оба в отличном настроении, объединенные одной целью, можно было бы предположить, что они дружески беседуют. Ничуть не бывало! Этим двум желчным, суровым людям редко случалось встретиться без того, чтобы не поспорить. Нередко яблоком раздора им служила война. Хелстоун был рьяным тори,<sup>[22]</sup> а Мур — заядлым вигом; во всяком случае он разделял точку зрения вигов на войну (виги были ее противниками), ибо тут были затронуты его собственные интересы, а вопросы торговли были единственным, что его интересовало в британской политике. Он не мог отказать себе в удовольствии побесить Хелстоуна, высказывая уверенность в непобедимости Бонапарта, в бессилии Англии и всей Европы тягаться с ним, и заявил с полнейшим хладнокровием, что сопротивляться ему бесполезно и что вскоре он разделается с последним противником и станет безраздельным властителем мира.

Подобного рода суждения обычно выводили Хелстоуна из себя; но, вспоминая, что Мур чужеземец, выходец из другой страны, что в его жилах английская кровь испорчена инородной примесью, он крепился, сдерживая желание отколотить собеседника. Отчасти же его негодование умерялось и тем, что самоуверенный тон Мура и его постоянная желчность внушали ему известное уважение.

Путники свернули на дорогу к Стилбро; и тут в лицо им ударил встречный ветер и захлестали струи дождя. Мур, словно подстрекаемый колючим дождем и порывами ветра, пустился донимать своего собеседника пуще прежнего.

— Вас все еще радуют известия с Пиренейского полуострова?

— Я вас не совсем понимаю, — хмуро ответил священник.

— Вы все еще верите в вашего Ваала — лорда Веллингтона?<sup>[23]</sup>

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы все еще верите, что этот кумир Англии с деревянным лицом и каменным сердцем властен ниспослать на французов небесный огонь и истребить их дотла?

— Да, я верю, что Веллингтон сбросит в море всех маршалов Бонапарта, стоит ему захотеть.

— Но, дорогой мой сэр, не можете же вы всерьез так думать! Маршалы Бонапарта — великие полководцы, и ими руководит величайший гений; ваш Веллингтон ничем не примечательный, самый что ни на есть заурядный военный педант, а наше невежественное правительство на каждом шагу связывает его и без того медлительные действия.

— Веллингтон — воплощение британского духа, защитник правого дела, достойный представитель могучей, решительной, умной и честной нации.

— Под правым делом вы, как видно, подразумеваете не что иное, как восстановление жалкого Фердинанда<sup>[24]</sup> на престоле, который он покрыл позором; достойный представитель честного народа напоминает мне тупого пастуха на службе у не менее тупого фермера; а им противостоит непобедимый гений, победоносный титан.

— На законную власть посягает захватчик; скромный, прямодушный, справедливый народ отважно обороняется против ополчившегося на него хвастливого, вероломного, себялюбивого и коварного честолюбца. Боже, помоги правому!

— Бог чаще помогает сильному.

— Что? Неужели же горстка израильтян,<sup>[25]</sup> стоявших станом на азиатской стороне Черного моря, которое они перешли, даже не замочив ног, была сильнее полчищ египетских, расположившихся на африканском берегу? Или их было больше? Или они оказались лучше снаряжены? Одним словом — были они могущественнее? Молчите, Мур, а не то вы солжете. Это была жалкая кучка измученных рабов; на протяжении четырех веков их угнетали тираны; часть этой и без того небольшой горстки составляли беспомощные женщины и дети, а грозные военачальники-эфиопы гнали войско египетское вслед за ними в расступившееся море, и эфиопы эти были сильны и свирепы, как ливийские львы; у них были колесницы и мечи, а бедные

иудейские странники были пешими, большинству из них оружием служили пастушьи посохи да кирки каменотесов; их кроткий и великий вождь держал в руках только жезл; но вспомните, Роберт Мур, — их дело было правое; бог брани был на их стороне, а фараоновым воинством командовали греховность и падший ангел, — и кто восторжествовал? Вы сами знаете: «И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян, и увидели сыны Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря» и «Пучины покрыли их; они пошли в глубину, как камень». Десница Господня прославилась силою; десница твоя, Господи, сразила врага.

— Все это так, только сравниваете вы неправильно: Франция — это Израиль, Наполеон — Моисей. Пресыщенная Европа с ее одряхлевшими империями и насквозь прогнившими королевскими династиями — растленный Египет; доблестная Франция — это двенадцать колен израилевых,<sup>[26]</sup> а ее энергичный завоеватель сам Моисей.

— Не считаю нужным отвечать вам.

Мур продолжал вполголоса, как бы рассуждая сам с собой:

— О да! В Италии он был велик, как Моисей! Только он и смог возродить народы. Не понимаю, как мог победитель в битве при Лоди<sup>[27]</sup> согласиться стать императором — такой нелепый, грубый обман... И почему страна, когда-то именовавшая себя республикой, снова впала чуть ли не в рабство. За это я презираю Францию! Если бы Англия продвинулась по пути цивилизации так же далеко, как Франция, она не повернула бы вспять столь постыдно!

— Словом, вы хотите доказать, что кровавая французская республика все же лучше этой нелепой французской империи? — грозно спросил Хелстоун.

— Ничего я не хочу доказывать, но у меня есть свое мнение о Франции и Англии, о революциях, цареубийствах и восстановлении монархии, о священном праве монархов, за которое вы ратуете в своих проповедях, и о долге непротивления властям, и о разумности войн...

Но тут рассуждения Мура были прерваны тарахтеньем двуколки, которая, поравнявшись с ними, внезапно остановилась посреди дороги; Мур и Хелстоун, увлеченные спором, не заметили ее приближения. Кто-то крикнул:

— Эй, хозяин, фургоны доехали?



— Ты ли это, Джо?

— Он, он самый! — раздался другой голос.

Вооруженные фонарями пешеходы немного отстали от всадников, но в двуколке мерцал свой фонарь и можно было разглядеть двух ездовых.

— Возвращаю твоего Джо Скотта, правда, в плачевном виде; я нашел на пустоши его и еще троих. Что ты мне дашь за то, что я доставил его в целости и сохранности?

— Что же, скажу спасибо. Я готов потерять кого угодно, только не его; но я как будто узнаю голос мистера Йорка, — это вы?

— Я, я, дружище! Ехал я домой с базара в Стилбро и только добрался до середины пустоши, а нахлестывал я коня всюду, теперь, говорят, дороги небезопасны (спасибо нашим властям), как вдруг слышу — стонет кто-то. Другой на моем месте поскорее дал бы тягу, а я остановился; чего мне бояться? В наших краях не найдется никого, кто вздумал бы напасть на меня, а найдись такой озорник — я тоже не останусь в долгу. Вот я и спрашиваю: «Что-нибудь стряслось с вами?» — «Еще как стряслось», — отвечает мне голос, словно из-под земли. «Да говорите толком — в чем дело?» — «Ничего особенного, только лежим все четверо в канаве», — отвечает мне Джо так спокойно. Я, конечно, решаю, что все они пьяны, принимаюсь стыдить их, приказываю вылезать из канавы, а не то, мол, попробуете моего кнута. «Мы бы давно отсюда выбрались, да у нас ноги связаны». Ну, я мигом спустился в канаву и перерезал веревки перочинным ножом; Джо захотел поехать со мной, чтобы по дороге рассказать обо всем, а остальные бегут где-то сзади...

— Ну, спасибо, очень вам благодарен, мистер Йорк!

— Неужели? Не может быть! Но вот подоспели и все остальные. Ба! Там еще кто-то идет? Бог ты мой, люди с факелами, прямо-таки воинство Гедеоны.<sup>[28]</sup> Ну, раз и пастырь наш оказался здесь, — добрый вечер, мистер Хелстоун! значит, все в порядке.

На приветствие человека в двуколке мистер Хелстоун ответил весьма сухо; тот продолжал:

— Нас тут собралось одиннадцать сильных мужей. Есть у нас лошади и колесницы. Попадись нам только эти оборванцы! Уж мы бы их одолели и прославились бы не хуже Веллингтона, — надеюсь, это сравнение вам по душе, мистер Хелстоун? А какую пищу дали бы мы

газетам и как бы прославили Брайерфилд! Впрочем, уже и так этому делу должны отвести столбец, а то и полтора в «Курьере Стилбро».

— Это я вам обещаю, мистер Йорк, я сам напишу статью, — сказал священник.

— Разумеется! Вот и отлично! И не забудьте позаботиться о том, чтобы негодяи, которые переломали машины и связали Джо Скотта, были повешены без отпущения грехов. За такие дела полагается виселица.

— Если бы их судил я, у меня с ними был бы короткий разговор, вскричал Мур, — но пусть еще погуляют на свободе — может, сами сломают себе шею!

— Что? Ты хочешь оставить их в покое? Это серьезно?

— Я хочу сказать, что не буду особенно стараться изловить их. Но если хоть один повстречается мне на пути...

— Ты его сцапаешь, конечно. Но тебе, видно, хотелось бы, чтобы они натворили что-нибудь посерьезнее, и тогда уж ты с ними рассчитаешься сполна. Но пока довольно об этом. Мы уже у дверей моего дома, и надеюсь, джентльмены, что вы не откажетесь заглянуть ко мне? Вам всем не мешало бы отдохнуть и перекусить...

Мур и Хелстоун начали было отказываться, но хозяин дома приглашал их так радушно, ночь была такой ненастной, а окна возвышавшегося перед ними дома, затянутые легкими муслиновыми занавесками, светились так приветливо, что они позволили уговорить себя.

Выйдя из двуколки и передав экипаж на попечение слуги, Йорк провел своих гостей в дом.

Следует заметить, что мистер Йорк любил разнообразить свою речь. То он говорил с резко выраженным йоркширским акцентом, то на чистейшем английском языке. Неровность отличала и его обращение с людьми: подчас он был учтив и приветлив, а подчас груб и суров. По его поведению и манере разговаривать трудно было бы определить его положение в обществе. Но, быть может, внутреннее убранство его дома подскажет нам кое-что.

Работникам он предложил пройти на кухню, сказав, что распорядится угостить их. Мур и Хелстоун вошли в парадный подъезд и очутились в вестибюле, устланном коврами и увешанном картинами чуть не до самого потолка. Затем их провели в просторную гостиную,

где в камине пылал яркий огонь. В этой комнате вам сразу становилось веселее на душе, и отрадное впечатление только усиливалось, когда вы принимались ее рассматривать; она не была обставлена роскошно, но на всем лежал отпечаток необычайно тонкого вкуса — вкуса путешественника, ученого и аристократа. Стены были украшены видами Италии, причем каждая картина представляла собой истинное произведение искусства; все это были подлинники, и очень ценные: сразу видно было, что собирал их знаток. Даже при свечах ярко-синее небо, зыбкие дали, голубой воздух, который, казалось, трепетал между холмами, свежие тона зелени и прихотливая игра света и теней ласкали глаз; на фоне этих залитых солнцем пейзажей разыгрывались пасторальные сценки. На диване лежала гитара к ноты; были в комнате камеи и прелестные миниатюры; на камине стояли вазы в греческом стиле. В двух изящных книжных шкафах были аккуратно расставлены книги.

Мистер Йорк попросил гостей садиться; позвонив в колокольчик, он велел слуге принести вино и позаботиться о том, чтобы на кухне хорошо угостили работников. Однако священник продолжал стоять; казалось, в этой уютной комнате ему было не по себе; отказался он и от вина, предложенного хозяином.

— Как вам угодно, — сказал мистер Йорк. — Вам, видно, вспомнились восточные обычаи, — вы не хотите пить и есть под моим кровом из опасения, что это обяжет вас к дружбе со мной? Успокойтесь, я не столь щепетилен или суеверен. Вы можете выпить хоть весь графин или угостить меня бутылкой лучшего вина из вашего погреба, я все равно буду с вами спорить, где бы мы ни встретились — в церкви или в суде.

— В этом я ничуть не сомневаюсь, мистер Йорк.

— Мистер Хелстоун, неужели вам в вашем возрасте не тяжело гоняться за бунтовщиками, да еще в такую непогоду?

— Мне никогда не тяжело выполнять мой долг, а в данном случае мой долг — истинное удовольствие. Поймать преступников — дело благородное, достойное самого архиепископа.

— Вас-то оно во всяком случае достойно. Но где же Мелуун? Уж не навещает ли он больных и страждущих? Или тоже ловит преступников, но в другом месте?

— Он сторожит фабрику Мура.

— Вот как! Надеюсь, Боб, — Йорк обернулся к Муру, — ты не забыл оставить ему вина для храбрости? — И, не дожидаясь ответа, быстро продолжал, по-прежнему обращаясь к Муру, расположившемуся тем временем в старинном кресле у камина: — А ну вставай, Роберт! Вставай, дружище! Здесь сижу я. Усаживайся на диван или на любой стул, только не сюда... Это мое место и больше ничье...

— Почему вы так пристрастны к этому креслу, мистер Йорк? — осведомился Мур, лениво повинувшись приказанию.

— Мой отец любил его прежде меня — вот тебе и весь сказ. Этот довод ничуть не хуже доводов мистера Хелстоуна, которые он приводит в оправдание многих своих взглядов.

— Мур, вы собираетесь уходить? — спросил мистер Хелстоун.

— Нет, Мур еще не собирается, — вернее, я еще не собираюсь отпустить его: этого скверного малого еще надо отчитать.

— За что, сэр? В чем я провинился?

— На каждом шагу наживаешь себе врагов.

— А мне-то что! Мне безразлично — любят или ненавидят меня ваши йоркширские болваны!

— То-то и оно! Ты считаешь себя чужим среди нас! Отец твой, тот никогда бы так не сказал. Что ж, отправляйся обратно в свой Антверпен, где ты родился и вырос, *mauvaise tête*.<sup>[29]</sup>

— *Mauvaise tête vous-meme; je ne fais que mon devoir: quant a vos lourdauds de paysans, je m'en moque!*<sup>[30]</sup>

— *En revanche, mon garçon, nos lourdauds de paysans se moqueront de toi; sois en certain,*<sup>[31]</sup> - ответил Йорк; он говорил по-французски почти столь же безукоризненно, как и сам Мур.

— *C'est bon! C'est bon! Et puisque cela m'est egal, que mes amis ne s'en inquietent pas!*

— *Tes amis! Ou sont-ils, tes amis?*

— *Je fais, echo, ou sont-ils? Et je suis fort aise que l'echo seul y repond. Au diable les amis! Je me souviens encore du moment ou mon pere et mes oncles Gerard appellerent autour d'eux leurs amis, et, Dieu sait si les amis se sont empresses d'accourir a secours! Tenez, M. Yorke, ce mot, ami, m'irrite trop; ne m'en parlez plus.*

— *Comme tu voudras.*<sup>[32]</sup> — Мистер Йорк замолчал; пока он сидит, откинувшись на резную спинку своего дубового кресла с треугольной

спинкой, я воспользуюсь возможностью набросать вам портрет этого йоркширского джентльмена, столь превосходно говорящего по-французски.

## ГЛАВА IV

### Мистер Йорк

*[Продолжение]*

Это был йоркширский джентльмен до мозга костей. Ему было около пятидесяти пяти лет, но на первый взгляд он казался даже старше — голова у него была совсем седая. У него был широкий, но невысокий лоб, свежий, здоровый цвет лица; в его чертах, так же как и в манере говорить, проступала резкость, свойственная северянам; его лицо типичного англосакса, без единой норманской черты, нельзя было отнести к разряду изящных, правильных, породистых. Люди изысканного вкуса нашли бы его грубоватым, проницательные назвали бы его характерным; тонкие люди сумели бы оценить ярко выраженное своеобразие, отмечавшее каждый изгиб, каждую морщинку этого сурового, умного, энергичного лица, и залюбовались бы им. Однако на нем была написана также и строптивость, высокомерие, насмешливость, — словом, оно показывало, что этому человеку нелегко приказывать, что он не терпит принуждения. Мистер Йорк был довольно высокого роста; строимый и подтянутый, он обладал величественной осанкой. Да, это был джентльмен с головы до пят.

Не легко было мне обрисовать внешность мистера Йорка, а определить его характер еще труднее. Ты ошибаешься, читатель, если предполагаешь, что я собираюсь вывести некоего безупречного героя или благодушного пожилого помещика-филантропа; правда, разговаривая с Муром, Йорк выказал немало здравого смысла и доброжелательности, но из этого вовсе не следует, что он всегда обходителен с людьми и справедлив в своих суждениях.

Во-первых, природа не наделила мистера Йорка чувством почтительности существенный недостаток, немало вредящий человеку в тех случаях, когда требуется быть почтительным. Во-вторых, ему было отказано в способности сопоставлять и сравнивать — недостаток, который лишает человека снисходительности к себе

подобным. В-третьих, природа скудно одарила его добродушием и склонностью к мечтательности, что лишило его характер мягкости и просветленности и обесценило в его глазах эти свойства, столь украшающие наш мир.

Неспособность быть почтительным делала его нетерпимым к сильным мира сего: ему были отвратительны короли, вельможи и духовенство, династии, парламенты и правительства, со всеми их деяниями, законами, образом правления, правами и требованиями; он считал, что от них нет ни проку, ни радости и человечество ничего не потеряет, если все высокие троны будут снесены и все высокопоставленные лица при этом погибнут.

Неспособность быть почтительным лишала его также и высшего наслаждения — восхищаться тем, что прекрасно; иссушило в его душе живительные родники множества чистых радостей и в корне убило ростки многих удовольствий. Неверующим его нельзя было назвать, хотя он и не исповедовал какой-либо определенной веры, но вера его не была исполнена смиренного почитания; он верил, что есть Бог и высшая справедливость, но без благоговения, воображения и чувствительности.

Не обладая способностью сравнивать, Йорк часто был непоследователен: он провозглашал высокие принципы терпимости и снисходительности, а сам тем не менее питал слепую неприязнь к некоторым слоям общества; он говорил о попах и о всех им подобных, о лордах и их прихлебателях в грубых, подчас оскорбительных выражениях, и это вызывало законное возмущение. Он не умел поставить себя на место тех, кого поносил, не умел найти оправдание их порокам и заблуждениям в тех искушениях и трудностях, которые их окружали, не мог вообразить себе, как повлияли бы на него те или иные обстоятельства, будь он в их положении, и часто высказывал самые жестокие, иногда бесчеловечные пожелания относительно тех, кого обвинял в жестокости и бесчеловечности. Если верить его угрозам, он не остановился бы перед самыми решительными, даже насильственными мерами, чтобы помочь делу Свободы и Равенства. Равенство! Да, мистер Йорк любил поговорить о равенстве, а ведь, в сущности, он был большим гордецом. Приветливый со своими рабочими и добрый с теми, кто стоял ниже него и покорно с этим мирился, он был надменен, как Вельзевул, с теми, кого свет считал

выше него, ибо сам он ни за кем не признавал превосходства. По природе человек непокорный, он никому не желал повиноваться; таковы же были его отец и дед, эту же черту унаследовали от него дети.

Отсутствие добродушия делало его нетерпимым к проявлениям людской глупости и к некоторым слабостям, которые ему, сильному и умному человеку, представлялись непростительными; поэтому в своей язвительной насмешливости он не знал удержу и способен был подчас колоть и колоть своего ближнего, не замечая, как яростно он нападает, не печалась о том, как больно ранит.

Что же до отсутствия мечтательности — это вряд ли можно назвать недостатком: тонкий музыкальный слух, глаз, умеющий видеть цвет и форму, наделили его хорошим вкусом, а кому нужно воображение? Разве оно не представляется большинству из нас бесполезным и даже опасным свойством, чем-то вроде болезни, близкой к безумию, или пагубным пристрастием, а не высоким даром?

Пожалуй, так думают все, кроме тех, кто наделен воображением или считает, что наделен им. Послушать их, так выходит, что сердца их были бы мертвы, если бы живительный ток воображения не омывал их; мир казался бы тусклым их глазам, если бы это пламя не проясняло их зрения; одиноко было бы им жить на свете, не будь с ними этого странного спутника. Можно подумать, что именно воображение дарит радужные надежды весне, тонкое очарование лету, тихие радости осенней поре и утешение зиме, — чего остальным людям не дано испытать. Все это, разумеется, не более как самообман. Однако мечтатели цепляются за свои призрачные иллюзии и не променяют их и на груды золота.

Мистер Йорк сам не обладал поэтическим воображением и считал это свойство совершенно излишним в других. Художников и музыкантов он еще терпел и даже поощрял, так как способен был наслаждаться произведениями их искусства, — понимал прелесть хорошей картины и с удовольствием слушал хорошую музыку, но скромный поэт, — пусть даже с пламенным сердцем и бурными страстями, — неспособный стать конторским клерком или биржевиком на товарной бирже, мог бы влачить свои дни в унижении и умереть с голоду на глазах у Хайрама Йорка.



В мире множество таких Хайрамов Йорков, и очень хорошо, что истинный поэт под внешним невозмутимым спокойствием и кротостью скрывает мятежный дух и проницательный ум; он способен оценивать по достоинству тех, кто смотрит на него свысока, и понимать, чего стоит та карьера, которую он отверг, за что навлек на себя их презрение; очень отраднo, что он, понимая язык великого друга, матери-природы, нашел в слиянии с ней свои радости и легко обходится без тех, кому он сам мало приятен и кто ему совсем не приятен. Справедливо и то, что хотя мир и обстоятельства не балуют его, поворачиваясь к нему нередко своей неприветливой, хмурой стороной, — не потому ли, что он и сам холодно и безучастно относится к ним? — в душе его царит лучистое сияние, неугасимый огонь, который согревает и освещает все вокруг него, тогда как постороннему наблюдателю его жизнь может показаться полярной зимой, без тепла, без солнца. Истинный поэт вовсе не заслуживает жалости и сам втихомолку смеется над тем непрошеным утешителем, который принимается оплакивать его печальную участь. Даже когда поклонники утилитарной философии<sup>[33]</sup> утверждают, что ни он, ни его искусство никому не нужны, он отвечает незадачливым фарисеям столь откровенной насмешкой, столь глубоким, беспощадным, бичующим презрением, что скорее заслуживает упрека, чем соболезнования. Обо всем этом, впрочем, мистер Йорк и не думает, а нам сейчас предстоит заняться мистером Йорком.

Я уже говорила тебе, читатель, о его недостатках, однако можно о нем сказать и два-три добрых слова: он был одним из самых уважаемых и дельных людей в Йоркшире; даже недруги вынуждены были его уважать. Бедняки его любили, он всегда был к ним ласков и добр. С рабочими он обращался по-отечески заботливо: увольняя своего работника, он старался устроить его на другое место, а если это не удавалось, то помогал ему переехать с семьей туда, где было легче получить работу. Следует, впрочем, заметить, что, когда кому-нибудь из его рабочих случалось проявить непочтительность, Йорк, — как и многие из тех, кто не терпит над собой принуждения, но отлично умеет принуждать других, — быстро подавлял бунтарские настроения в самом их зародыше, искоренял их, как сорную траву, чтобы они не разрослись и не возникали впредь в его владениях. Да, у него все обстояло благополучно, и поэтому он считал себя вправе строго

осуждать своих менее удачливых соседей, полагая, что во всех неприятностях виноваты они сами, и неизменно становясь на сторону рабочего, а не хозяина.

Род Йорка был одним из самых старинных и уважаемых в округе; мистер Йорк был хотя и не самым богатым, но одним из влиятельнейших людей. Образование он получил прекрасное; еще юношей, в годы, предшествовавшие французской революции, он много путешествовал по Европе и хорошо знал французский и итальянский языки. За свое двухлетнее пребывание в Италии он собрал коллекцию хороших картин и изящных антикварных вещей, которые теперь украшали его дом. При желании он держался как образованный джентльмен старинного закала. Речь его, когда он хотел понравиться, становилась занимательной и полной блеска; и если он чаще всего прибегал к родному йоркширскому диалекту, то делал это по прихоти, предпочитая его более изысканному способу выражения. «Картавость йоркширца, — утверждал он, настолько же приятнее шепелявости лондонского щеголя, насколько рев быка приятнее писка крысенка».

Мистер Йорк знал всех соседей на много миль кругом, и все знали его, но настоящих друзей у него почти не было. Будучи сам человеком своеобразного склада, он не любил людей заурядных. Люди самобытного, необычного склада любого звания были ему по душе, но благовоспитанный и бесцветный человек, даже самого высокого положения, вызывал в нем неприязнь. Он охотно проводил часок-другой в беседе с каким-нибудь смышленным работником или со старой крестьянкой, умной и острой на язык, но жалел минуты, потраченные на разговор с учтивым, но ничем не примечательным джентльменом или светской, элегантной, но легкомысленной дамой. В своих симпатиях и антипатиях он не знал никакой меры и забывал, что среди тех, кому отказано в своеобразии, могут попадаться приятные и даже превосходные люди. Иногда, впрочем, он изменял своему правилу; он чувствовал себя как нельзя лучше среди людей простых, чистосердечных, не тронутых воспитанием, неразвитых и неспособных оценить его образованность и ум: с ними он мог позволить себе колкости и насмешки, не боясь оскорбить их или задеть; да они и не вдумывались в его слова, не присматривались к его поступкам, не обсуждали его мнений. С ними он чувствовал себя весьма непринужденно и поэтому предпочитал их общество всякому

другому. Среди них он царил. Они подчинялись его воле слепо и бездумно, не отдавая себе отчета в его власти над собой; в их безоговорочном повиновении не было и тени услужливости или подобострастия, поэтому-то их доверчивость и покорность были удобны ему, как удобны человеку кресло, в котором он сидит, или пол, по которому он ходит.

Читатель, наверно, уже заметил, что мистер Йорк выказывал некоторое расположение к Муру; для этой благосклонности имелись свои причины: как это ни странно, но одной из причин было то, что Мур говорил по-английски с акцентом, а по-французски безукоризненно правильно и что его смуглое, тонко очерченное худощавое лицо было отнюдь не йоркширского и вообще не британского типа. Казалось бы, такое незначительное обстоятельство едва ли могло повлиять на человека, подобного Йорку; но дело в том, что эти особенности пробуждали в его душе давние и приятные воспоминания, унося его вновь к поре юности, к годам путешествий. В Италии, в ее городах и селениях, Йорк видел лица такого типа, как у Мура; в Париже, в театрах и кафе, он слышал говор, подобный говору Мура; тогда он был молод, и вот всякий раз, когда он видел или слышал этого иностранца, ему казалось, что благословенная пора юности снова вернулась.

Кроме того, он в свое время знал отца Роберта и вел с ним торговые дела; это было уже существенной, хотя и нельзя сказать, чтобы приятной связью между ними: банкротство торгового дома Мура нанесло Йорку некоторый ущерб.

К тому же он питал уважение к Роберту как к умелому дельцу. Наблюдая за ним, он все больше убеждался, что Роберт в конце концов тем или иным путем разбогатеет; ему нравились его решительность, проницательный ум, а возможно, жесткость характера. К тому же Йорк был одним из опекунов несовершеннолетней наследницы, на чьей земле была расположена фабрика Мура, и тому часто приходилось советоваться с ним по всякого рода делам, и это тоже их сближало.

Что касается Хелстоуна, то между ним и хозяином дома чувствовалась взаимная неприязнь, вдвойне сильная, ибо она была порождена различием характеров и житейскими обстоятельствами. Вольнодумец не выносил догматика, поклонник свободы —

страстного приверженца существующего порядка; кроме того, по слухам, они в былые годы добивались руки одной и той же девушки.

Мистер Йорк в молодости отдавал предпочтение веселым и бойким женщинам: его пленяли эффектность, живой ум и острый язычок. Однако ни одной из этих блестящих красавиц он не сделал предложения и вдруг не на шутку влюбился; его избранница была ничуть не похожа на тех, кому он до сих пор дарил свою благосклонность; это была девушка с лицом мадонны, ожившее мраморное изваяние, воплощенная кротость и смирение. Неважно, что она едва отвечала, когда он к ней обращался; неважно, что она будто не слышала его вздохов, не видела его нежных взглядов, редко улыбалась его шуткам, не уделяла ему внимания и не питала уважения; неважно, что она не обладала теми достоинствами, которые всегда восхищали его в женщине; для него Мэри Кейв была совершенством, потому что он, по той или иной причине, полюбил ее.

Мистер Хелстоун, в то время младший священник Брайерфилда, тоже любил Мэри или во всяком случае увлекался ею. Многие пленялись этой девушкой, прекрасной, как те мраморные ангелы, что украшают гробницы. Однако всем своим поклонникам она предпочла священника из уважения к его сану; этот сан, по-видимому, наделил его ореолом, достаточным для того, чтобы она сделала свой выбор, — тем ореолом, которого мисс Кейв не видела в других своих поклонниках-коммерсантах. Мистер Хелстоун не питал к Мэри ни всепоглощающей страсти, подобно мистеру Йорку, ни почтительного благоговения, подобно большинству ее поклонников. Не в пример другим он видел ее такой, какой она была на самом деле, и потому ему было нетрудно полностью подчинить себе ее волю. На его предложение она без колебаний ответила согласием, и они поженились.

Однако по самой своей природе Хелстоун не мог быть хорошим мужем, в особенности женщине тихой и мягкой; он полагал, что, если жена молчит, значит, ей ничего не надо, ничто ее не беспокоит. Если она на жалуется на одиночество, — значит, постоянное одиночество ей не в тягость. Если она не требует к себе внимания, не заявляет, что к тому-то у нее лежит сердце, а к тому-то не лежит, — значит, у нее нет собственных вкусов и склонностей и ее мнения можно и не спрашивать; он и не пытался понять, что женщина во многом не

похожа на мужчину; он видел в ней лишь существо иного, скорее всего низшего порядка. Жена не могла быть ни другом своего мужа, ни тем более его советницей или опорой. Два-три года спустя он почти охладел к ней и был чрезвычайно изумлен, когда в один прекрасный день увидел на супружеском ложе бездыханным ее прекрасное тело; он почти не замечал, что она таяла, хотя все кругом давно уже это видели. Утрата, казалось, не потрясла его, хотя — как знать? — его равнодушие могло быть и напускным, ибо скорбь не легко исторгала слезы из его глаз.

Его сухие глаза и внешне бесстрастный вид оскорбляли чувства старой домоправительницы и служанки, — ухаживая за больной, они имели случай лучше ее супруга узнать, что у их госпожи было доброе и любящее сердце; обряжая тело усопшей, они усердно сплетничали, вдаваясь во всевозможные подробности и не жалея прикрас, об истинной и предполагаемой причине ее смерти; словом, они всячески разжигали друг в друге негодование против сурового маленького человечка, который занимался делами в соседней комнате, не подозревая о том, как его осуждают за спиной.

И вот едва бранные останки миссис Хелстоун были преданы земле, как в округе поползли слухи о том, что ее сгубило тайное страдание. Слухи вскоре превратились в подробные рассказы о холодности и даже бессердечии ее супруга, и эта явная клевета была всеми с легкостью принята на веру. Дошли толки и до мистера Йорка, который отчасти поверил им. Он и без того не питал дружеских чувств к своему счастливому сопернику; хотя он и был женат, притом на женщине совсем иного склада, чем Мэри Кейв, он не мог забыть безответной любви своей юности, а узнав, что Хелстоун не любил и, быть может, даже оскорблял ту, которая была ему так дорога, Йорк проникся к нему жгучей неприязнью.

О причине и силе этой неприязни мистер Хелстоун лишь смутно догадывался; он не знал, как сильно Йорк любил Мэри Кейв, что пережил он, потеряв ее; вдобавок ходившие на его счет слухи не достигали ушей священника. Он предполагал, что его с Йорком разделяли только политические и религиозные разногласия, и знай он подоплеку этой неприязни, никакая сила не заставила бы его переступить порог дома своего бывшего соперника.

Мистер Йорк оставил Мура в покое, и разговор перешел на более общие темы, порой, однако, вновь сбиваясь на спор. Тревожное положение в стране и частые случаи нападения на фабрики в здешних краях давали собеседникам обильную пищу для подобных споров, тем более что все трое по-разному смотрели на происходящее: Хелстоун считал хозяев пострадавшими, а рабочих безрассудными; он осуждал недовольство властями, охватившее население, так же как растущее нежелание народа терпеливо сносить неизбежное, по его мнению, зло; он требовал крутых мер со стороны правительства, беспощадных приговоров смутьянам и в случае необходимости быстрого применения военной силы.

Мистер Йорк спрашивал, насытят ли эти строгие насильственные меры голодных, дадут ли работу тем, кто безуспешно ее ищет, и с негодованием отвергал идею неизбежности зла; он говорил, что чаша терпения народа уже полна и что сопротивление в наши дни стало гражданским долгом; утверждал, что широко распространенный дух недовольства властями — весьма отрадное знамение нашего времени; да, фабрикантам приходится сейчас трудно, но виновато в этом их собственное «растленное, продажное и кровавое» правительство. Всему виной безумцы, подобные Питту,<sup>[34]</sup> дьяволы, подобные Каслри, злобные болваны, подобные Персевалю, — вот они тираны, проклятье Англии, губители ее торговли. Это их тупое упорство в ведении ничем не оправданной, безнадежной, разорительной войны завело страну в тупик; это их непомерные налоги и позорные Приказы Совета камнем висят на шее нашей страны; и за это они заслуживают осуждения и виселицы.

— Но что толку говорить? — вопрошал Йорк. — Нет никакой надежды, что доводы разума будут услышаны в стране, угнетаемой королями, попами и пэрами, в стране, где номинальный монарх — умалишенный, а подлинный правитель беспринципный распутник;<sup>[35]</sup> где терпят такое издевательство над здравым смыслом, как наследственные законодатели, такую нелепость, как епископы-законодатели, где благоговейно почитают государственную церковь, разжиревшую, проникнутую духом нетерпимости и злоупотребляющую своей властью, где держат постоянную армию и целое полчище попов-тунеядцев, которые со своими нищими семьями обирают страну.

Тут мистер Хелстоун поднялся и, надев свою широкополую шляпу, ответил, что ему случалось два-три раза в жизни встречать людей, которые придерживались подобного образа мыслей до тех пор, пока они были здоровы, полны сил и преуспевали. Но, добавил он, грядет час, «когда стражи содрогнутся; когда узрят они перст всевышнего и страх встанет у них на пути; это время будет временем испытания для вождя анархии и мятежа, врата религии и порядка»; был случай, когда его, священника Хелстоуна, призвали, чтобы прочесть молитвы, предназначенные церковью для болящих, — прочесть их у изголовья несчастного умирающего, одного из самых лютых врагов нашей религии; и он увидел, как тот, охваченный раскаянием, жаждал найти путь к покаянию и не мог этот путь найти, хотя искал его усердно, со слезами на глазах. Вот он и считает своим долгом напомнить мистеру Йорку о том, что всякое богохульство — это смертный грех и что наступит когда-нибудь день Страшного суда.

Да, мистер Йорк тоже верит, что наступит когда-нибудь день Страшного суда, иначе как же будет воздано по заслугам всем негодьям, которые торжествуют в этом мире, безнаказанно разбивают невинные сердца, злоупотребляют незаслуженными привилегиями, позорят свое высокое звание, вырывают изо рта у бедняка кусок хлеба, подавляют своим высокомерием честных людей и подло раболепствуют перед знатными господами. Когда же будет им отплачено той же монетой?

— И вот, — говорил Йорк, — когда я готов был пасть духом при виде зла, торжествующего на этой нечестивой, мерзкой планете, я брал в руки вон ту книгу, — он указал на стоявшую в книжном шкафу библию, — наугад открывал ее, и мне неизменно попадалось изречение, как бы светившееся сернистым голубым пламенем. И мне становилось ясно, — утверждал Йорк, — что ожидает в будущей жизни иных из нас, словно ангел с большими белыми крыльями появился на пороге и возвестил мне это.

— Сэр, — ответил Хелстоун со всем достоинством, на какое был способен, — высокая мудрость человека состоит в том, чтобы познавать самого себя и тот предел, куда он направляет стопы свои.

— Да, да, но вспомните, мистер Хелстоун. Невежество было унесено от самых врат небесных и брошено у врат ада на склоне горы.

— Но я помню также, мистер Йорк, что слепая Гордыня, не видя дороги, рухнула в глубокую пропасть, вырытую князем тьмы, чтобы завлекать туда тщеславных дураков, и разбилась вдребезги.

Тут Мур, который, не принимая участия в споре, давно прислушивался к нему с любопытством беспристрастного свидетеля, — ибо его равнодушие к политике, так же как и к досужей болтовне соседей, позволяло ему быть беспристрастным судьей в подобного рода перепалках, — счел нужным вмешаться:

— Хватит вам оскорблять друг друга и доказывать, как искренне вы друг друга ненавидите и презираете. Что касается меня, то вся моя ненависть направлена против негодяев, переломавших мои машины, и ее не осталось ни для моих приятелей, ни тем более для столь смутных понятий, как вера или правительство. Но должен вам сказать, джентльмены, вы оба показали себя в весьма невыгодном свете. Я не решаюсь провести ночь под крышей такого бунтовщика и богохульника, как вы, мистер Йорк; боюсь я и возвращаться домой вместе с таким жестоким, деспотичным священником, как вы, мистер Хелстоун.

— Я-то во всяком случае уйду, — мрачно заявил священник. — Поедьте вместе, если хотите, или оставайтесь — как вам угодно.

— Нет, совсем не «как угодно». Он тоже отправится с вами, — заявил Йорк. — Уже за полночь; а у меня в доме никому не позволено засиживаться позднее. Ступайте оба.

Он позвонил в колокольчик.

— Сара, — сказал он вошедшей служанке, — выпроводи людей из дома, запри дверь и ложись спать. А вы, джентльмены, пожалуйста уходите, — добавил он, обращаясь к гостям.

Он посветил им, пока они шли к выходу, и чуть ли не вытолкнул их вон.

На дворе они увидели своих людей, тоже спешно выгнанных из кухни; у ворот стояли их лошади; они сели верхом и поехали, Мур, посмеиваясь над тем, как бесцеремонно их выставили за дверь, а Хелстоун — сердясь и негодуя.



## ГЛАВА V

### Домик в лощине

Когда Мур проснулся на следующее утро, хорошее настроение еще не покинуло его. Он вместе с Джо Скоттом переночевал на фабрике, соорудив для себя ложе из всех подходящих предметов, какие оказались под рукой в различных уголках конторы. Хозяин — всегда ранняя птичка — на этот раз поднялся раньше обычного; одеваясь, он даже принялся напевать французскую песенку и разбудил Джо.

— Да вы, я вижу, не унываете, хозяин?

— Ничуть, *mon garçon*, что означает «дружище», — вставай-ка и ты поживее, и пока мы с тобой будем обходить фабрику, до начала работы я успею посвятить тебя в свои планы. У нас все-таки будут машины, Джозеф: слышал ли ты что-нибудь о Брюсе?<sup>[36]</sup>

— И о пауке? Слышал, как же; я читал историю Шотландии и знаю ее небось не хуже вашего; вы хотите сказать — не уступим?

— Вот именно.

— Любопытно, а много в ваших краях таких вот упорных, как вы? осведомился Джо, складывая и убирая в угол свою временную постель.

— В моих краях? А где же это — мои края?

— Как же! Франция — разве нет?

— Ну уж нет! Правда, Франция завладела Антверпеном, где я родился, но это еще не делает меня французом!

— Значит, Голландия?

— Тоже нет. Я не голландец; ты путаешь Антверпен с Амстердамом.

— Так Фландрия?

— Что ты выдумываешь, Джо! Какой я фламандец! Разве у меня лицо фламандца? Нескладный нос картошкой, низкий, словно срезанный, лоб, водянистые глаза а *fleur de tête*?<sup>[37]</sup> Или я коротконогий толстяк, как все эти фламандцы? Впрочем, ты и представления не имеешь, как они выглядят нидерландцы. Нет, Джо, я

уроженец Антверпена, так же как и моя мать, но родом она была из Франции, вот почему я и говорю по-французски.

— Зато отец ваш был йоркширцем, — значит, и вы немного йоркширец; да оно и видно, что вы нам сродни, вам только бы наживать денежки да идти в гору!

— Джо, ты просто наглец! Правда, такой тон для меня не новость. И в Бельгии рабочие держатся очень развязно с хозяевами, то есть я хочу сказать *brutalement*, что, пожалуй, вернее всего перевести как «грубо».

— Что ж, у нас тут принято говорить, что думаешь, без обиняков! Молодые священники и большие господа из Лондона иной раз поражаются на нашу неотесанность, а мы и рады подразнить их; смешно смотреть, как они негодуют, закрывают глаза и разводят руками, словно им выворачивает душу, да так и сыплют словами: «Ужас! Вот дикари! До чего же грубы!»

— Вы и есть дикари, Джо. Что ты думаешь, вы здесь образованные?

— Не то чтобы очень, но кое-что знаем! Мне сдается, рабочий люд на севере посмышленнее, да и посметливее этих пахарей-южан. Ремесло отточило нам мозги; а механикам вроде меня и подавно приходится шевелить мозгами; сами знаете, что значит следить за машинами, — вот я уже и наострился; если мне что не понятно, я стараюсь дойти своим умом, и бывает, соображу что к чему; да и почитать я охотник — интересуюсь, что наши правители думают делать с нами и для нас; а есть у нас и посмышленнее меня! Среди тех же замасленных парней и красильщиков, измазанных краской, найдется немало толковых, что и в законах разбираются не хуже вас и старого Йорка и, уж конечно, лучше этого слюнтяя, Кристофера Сайкса из Уинбери, или того же долговязого, хвастливого болтуна — ирландского Питера, помощника Хелстоуна.

— Знаю, Джо, ты считаешь себя умником!

— Н-да, меня не проведешь, разберу что к чему, да и подходящего случая не упущу; я половчее тех, кто считает меня за низшего. Что толковать, в Йоркшире у нас много таких, как я, а есть и лучше меня.

— Ну, разумеется — ты великий человек, ты просто самородок. Но вместе с тем ты наглец и самодовольный болван; если ты

понахватался кое-каких начатков практической математики да, глядя в красивый чан, усвоил в химии кое-какие азы, тебе еще не стоит считать себя каким-то непризнанным ученым. Ни к чему также спешить с выводом, что если в торговом деле не всегда все идет гладко и ваш брат, рабочий, остается иной раз без работы и куска хлеба, то значит, все вы мученики и весь образ правления в нашей стране никуда не годен. И незачем вбивать себе в голову, что добродетель ютится только в хижинах и никогда не заглядывает в каменные дома; должен признаться, меня раздражает эта ерунда, — уверяю тебя, род людской везде одинаков, будь то под соломенной кровлей или черепичной крышей, в каждом живом существе перемешаны и пороки и добродетели, а уж чего больше — это определяется отнюдь не званием или положением; мне приходилось встречать негодяев среди богатых, и бедных, и среди людей среднего достатка, которые умеют довольствоваться малым. Но вот уже и шесть часов! Хватит болтать, Джо, пора звонить в колокол!

Была середина февраля: в шесть часов заря едва занималась, под ее бледными лучами плотный мрак ночи редел, переходя в полупрозрачную молочную мглу. В это утро заря была особенно бледной: восток не заалел, розовое сияние не согрело его. День медленно поднимал веки, мутным и скучным взглядом окидывал холмы, и вам уже не верилось, что может выглянуть солнце, что его не загасил ночной ливень. Дыхание утра было таким же холодным, как его лик. Сырой ветер разгонял ночные тучи, и когда они разошлись, глазам открылся тускло-серебристый круг, опоясавший горизонт, и застланный пеленой тумана небосвод. Дождь перестал, но земля была еще совсем мокрая, лужи и ручейки набухли от воды.

Окна фабрики засветились, колокол зазвонил — и вот уже начали сбегаться детишки; будем надеяться, что в спешке они не успели очень прозябнуть в это неприветливое утро; но, быть может, оно показалось им не особенно суровым они ходили на фабрику и в ливень, и в метели, и в трескучие морозы.

Мур стоял у ворот, считал их и пропускал во двор; тем, кто опаздывал, он делал замечание, а Джо Скотт, со своей стороны, добавлял два-три словечка покрепче, когда они входили в цех; однако ни хозяина, ни старшего мастера нельзя было упрекнуть в излишней суровости; ни тот, ни другой не были грубыми или жестокими людьми,

хотя такое впечатление и могло создаться, ибо один опоздавший рабочий был оштрафован; Мур тут же у ворот взял с него пенни и предупредил, что в следующий раз взыщет вдвое.

В подобных случаях правила, разумеется, необходимы, и понятно, что чересчур строгие и жестокие хозяева вводят у себя чересчур строгие и жестокие правила, иногда даже и бесчеловечные, как это бывало в описываемое время; но хоть я и показываю характеры, далекие от совершенства (каждое лицо, выведенное в этом романе, будет страдать кое-какими недостатками, ибо перо мое отказывается рисовать идеальные образы), однако я не ставлю своей задачей показывать совсем уж скверных, порочных людей. Истязателей детей, мучителей и тиранов я препоручаю ведению тюремщиков: романист же вправе не пятнать страниц своей книги описанием их позорных деяний.

Итак, я не стану терзать моего читателя, поражая его воображение рассказами о бичеваниях и побоях, но рада буду сообщить ему, что ни Мур, ни его старший мастер ни разу не ударили ребенка, из числа работавших на фабрике. Правда, Джо однажды высек собственного сына за ложь и упорство во лжи; однако, будучи, как и его хозяин, человеком уравновешенным, спокойным и благоразумным, предпочитал избегать телесных наказаний.

Мур бродил по фабрике, заходя то в красильню, то на фабричный двор, то на товарный склад до тех пор, пока не рассвело. Но вот наконец взошло и солнце, — бледное, бесцветное, словно ледяной шар, — оно показалось из-за темного гребня холма, слегка посеребрило тускло-свинцовый край плывшего над холмом облака к словно нехотя заглянуло во все концы той лощины, или узкой долины, за которой мы с вами наблюдаем. Пробило восемь часов; огни на фабрике погасли; прозвучал сигнал к завтраку; дети, освободясь на полчаса от своего тяжелого труда, принялись за еду: в корзиночках у них был хлеб, а в маленьких жестянках — кофе. Будем надеяться, что этот скучный завтрак утолит их голод, и очень жаль, если это не так.

Теперь наконец Мур покинул фабричный двор и направился к своему жилищу. Оно было расположено недалеко от фабрики, но живая изгородь и насыпь по обе стороны дорожки придавали ему вид уединенного, тихого уголка. Это был небольшой, чисто выбеленный домик с зеленым крыльцом; возле него, так же как и под окнами,

вытянулись тонкие коричневые стебли вьющихся растений, еще совсем голые, но обещавшие одеться к лету пышной листвой и цветами. Перед домом расстилалась лужайка, были разбиты цветочные грядки, на их темных полосах кое-где в укромных уголках из земли уже пробивались первые ростки подснежника и изумрудно-зеленого крокуса. Весна в этом году была поздняя; зима была суровой и затяжной, последний снег сошел только перед ливнем прошлой ночью, и отдельные его клочья еще тускло белели кое-где на склонах холмов и на их вершинах; на лужайке, на пригорках и под живой изгородью трава была не сочно-зеленой, но блекло-желтой. Позади домика возвышались три стройных дерева, не особенно раскидистых, но так как у них не было соперников, то и они радовали взгляд и хоть немного украшали садик. Таким было жилье Мура; это уютное гнездышко, созданное для тихих радостей, для созерцательной жизни, показалось бы тесным человеку энергичному и честолюбивому.

Скромное, приятное жилье это, очевидно, не слишком привлекало к себе владельца; не входя в дом, Мур взял из-под навеса лопату и принялся работать в саду. С четверть часа он копал землю, когда вдруг отворилось окно и женский голос окликнул его:

— Eh bien! Tu ne déjeunes pas ce matin?<sup>[38]</sup>

Мур ответил тоже по-французски, и дальнейшая беседа между ними продолжалась на том же языке; однако я предпочитаю перевести тебе, читатель, их разговор.

— А завтрак готов, Гортензия?

— Конечно, уже с полчаса, как он тебя ждет.

— И я тоже жду; я голоден как волк.

Бросив лопату, Мур поднялся на крыльцо и узким коридором прошел в маленькую столовую, где был уже приготовлен завтрак — кофе, хлеб с маслом и отнюдь не английское блюдо — пареные груши. За столом хозяйничала дама, только что беседовавшая с ним. Я хочу описать ее, прежде чем продолжать повествование.

Эта особа высокого роста, в меру полная, выглядела чуть постарше Мура ей было лет тридцать пять; у нее были очень темные волосы, накрученные на папильотки, румяные щеки, короткий нос и черные глазки-бусинки. Нижняя часть лица казалась тяжеловатой в сравнении с верхней, так как у нее был низкий лоб, изрезанный морщинами; выражение лица не то чтобы злое, однако несколько

недовольное; в ее внешности было нечто забавное и вместе с тем раздражающее. Особенно нелепым был ее костюм — полотняная кофта в полоску и короткая шерстяная юбка, открывавшая до щиколоток не слишком изящные ноги.

Читатель, тебе, конечно, показалось, что я вывела перед тобой неряху? Вовсе нет. Гортензия Мур (она приходилась Муру сестрой) была хозяйственной и аккуратной женщиной; юбка, кофта и папильотки составляли ее домашний утренний наряд, в котором она привыкла до полудня «заниматься хозяйством» на родине. Она не считала обязательным для себя одеваться на английский лад только потому, что вынуждена была жить в Англии; сохраняя верность старинным бельгийским модам, она ставила себе это в заслугу.

Мадемуазель была самого высокого мнения о своей особе, и нельзя утверждать, чтобы такое мнение было совершенно незаслуженным, — кое-какими хорошими и даже ценными качествами она обладала. Однако она несколько преувеличивала ценность этих качеств, не придавая никакого значения сопровождавшим их недостаткам. Вам не удалось бы убедить ее в том, что она женщина ограниченная, не свободная от предрассудков, мелочно обидчивая, слишком носится со своей собственной персоной, со своим достоинством, а ведь это было именно так. Но когда никто не оспаривал ее притязаний на изысканность и не оскорблял ее предрассудков, она становилась доброй и дружелюбной. К обоим своим братьям (кроме Роберта, у нее был еще один брат) она была очень привязана. Последние представители угасающего рода, оба они были для нее почти священны; Луи, однако, она знала гораздо меньше, чем старшего брата; еще совсем мальчиком он был отправлен в Англию и окончил там английскую школу. Ни по образованию, ни по природным склонностям он не годился в предприниматели, и когда рухнули его надежды на наследство и ему пришлось подумать о заработке, он избрал суровый и скромный путь учителя. Сперва он был репетитором в школе, а сейчас, по слухам, служил гувернером в частном доме. О Луи мадемуазель отзывалась как о человеке, не лишенном способностей, но чересчур робком и тихом; ее похвала Роберту звучала по-иному, без всяких оговорок, она гордилась им и считала его величайшим человеком в Европе: в ее глазах все его слова и поступки были достойны похвалы, и весь мир должен был разделять

ее мнение. Ничто не может быть чудовищнее и постыднее, чем мешать Роберту в его делах, — разве не мешать ей самой.

И вот едва лишь ее любимый Роберт сел за стол, как она, положив ему на тарелку пареных груш и большой кусок сладкого пирога, принялась ахать и изливать свое негодование по поводу ночного происшествия.

— Quelle idee! Ломать машины! Quelle action honteuse! On voyait Bien que les ouvriers de ce pays etaient a la fois betes et mechants. C'etait absolument comme les domestiques Anglais, les servantes surtout: rien d'insupportable comme cette Sarah, par exemple! <sup>[39]</sup>

— Она производит впечатление опрятной и старательной девушки, — заметил Мур.

— Не знаю уж, какое она производит впечатление! Да я и не говорю, что она ленива или грязна, mais elle est d'une insolence! <sup>[40]</sup> Вчера, например, спорила со мною целых четверть часа насчет приготовления говядины; говорит, что я ее вывариваю и она становится как тряпка, что ни один англичанин не стал бы есть такого блюда, как наша bouilli, <sup>[41]</sup> что мой бульон — просто теплая, мутная вода, а что касается choucroute, <sup>[42]</sup> так ее и в рот не возьмешь! Бочонок, который стоит у нас в погребе, отлично приготовленный моими собственными руками, она называет свиным пойлом, помоями! Я измучилась с этой девчонкой, а прогнать ее не решаюсь — вдруг попадется еще худшая. Так-то вот и ты, мой бедный дорогой брат, бьешься со своими рабочими!

— Боюсь, что ты не очень хорошо чувствуешь себя в Англии, Гортензия.

— Мой долг, дорогой брат, чувствовать себя хорошо там, где находишься ты; если бы не это, многое заставило бы меня пожалеть о нашем родном городе. По-моему, люди здесь дурно воспитаны, они позволяют себе насмехаться над моими привычками: если работница с твоей фабрики, зайдя иной раз к нам на кухню, застаёт меня за стряпней (ты же знаешь, я не могу доверить Саре ни одного блюда), она позволяет себе усмехаться при виде моей кофты и юбки. А если я принимаю приглашение и еду в гости, как это было раза два-три, я замечаю, что на меня не обращают внимания, мне не оказывают должного уважения. Представительница таких достойных семей, как Жерары и Муры, вправе требовать к себе уважения и, не видя его,

чувствовать себя задетой. В Антверпене ко мне относились почтительно! Здесь же стоит мне открыть рот в обществе, как все начинают переглядываться, словно я скверно говорю по-английски, а ведь я-то знаю, что мое произношение безупречно.

— Не забывай, Гортензия, что в Антверпене мы слыли богачами; в Англии нас считают бедняками.

— Разумеется, но до чего же люди корыстолюбивы! Помнишь, мой друг, в прошлое воскресенье лил дождь, и я, отправляясь в церковь, надела свои опрятные черные сабо, — в них, конечно, неудобно выйти на улицу большого города, но нет ничего предосудительного в том, чтобы шлепать в них по грязи здесь, — и вот когда я спокойно и с достоинством, по своему обыкновению, вошла в церковь, четыре дамы и четыре джентльмена фыркнули и уткнулись носами в молитвенники.

— Ну что ж, не надевай больше сабо... Я и раньше говорил тебе, что здесь это не принято.

— Но, брат, это не простые сабо, какие носят крестьяне. Это *sabots noirs, tres-propres, tres-convenables*.<sup>[43]</sup> Весьма почтенные жители городов Монс и Лёз, расположенных неподалеку от такой элегантной столицы, как Брюссель, в зимнюю пору чаще всего надевают именно такие башмаки. Пусть бы кто отважился походить по грязи фламандских дорог в парижских ботинках, *on m'en dirait des nouvelles*.<sup>[44]</sup>

— Что нам теперь Монс и Лёз и фламандские дороги! С волками жить по-волчьи выть, и мне кажется, тебе не следует носить здесь кофту и юбку. Я что-то не видел, чтобы английские дамы так одевались. Спроси хотя бы Каролину Хелстоун.

— Каролину? Мне спрашивать Каролину? Советоваться с ней насчет моих платьев? Это она должна во всем со мной советоваться — она еще совсем девочка.

— Ей восемнадцать или во всяком случае семнадцать лет. В этом возрасте девушки уже знают, как надо одеваться.

— Нет уж, прошу тебя, брат, не балуй Каролину. Не нужно, чтобы она о себе возомнила; сейчас она скромна и неприязнительна, пусть такой и останется.

— Это и мое желание. А сегодня ты ее ждешь?

— Да, как всегда к десяти часам, на урок французского языка.



— Она-то, надеюсь, не смеется над тобой?

— Нет, она уважает меня больше, чем кто бы то ни было; правда, у нее была возможность ближе познакомиться со мной. Она убедилась, что я умна, образованна, справедлива, обладаю хорошими манерами и всеми достоинствами настоящей дамы из порядочной семьи.

— И ты ее любишь?

— Люблю? Этого я не могу сказать. Я не из тех, кто способен на пылкие чувства, но зато на мою дружбу всегда можно положиться. Она мне родственница, и я отношусь к ней с участием; как сирота, она вызывает мое сострадание, да и поведение ее на уроках до сих пор было таково, что могло только увеличить мою зародившуюся симпатию к ней.

— Она хорошо себя ведет на уроках?

— Очень хорошо. Ты знаешь, я умею пресекать фамильярность, внушать к себе уважение и почтение! Но я проницательна и вижу, что Каролина отнюдь не безупречна; характер ее оставляет желать лучшего.

— Налей мне еще кофе и, пока я буду пить, позабавь меня рассказом о ее недостатках.

— Дорогой брат, как я рада, что ты завтракаешь с аппетитом после столь утомительной ночи! Что и говорить, у Каролины есть недостатки, но при моей чуть ли не материнской заботе и твердом руководстве она, надо надеяться, исправится. Есть в ней какая-то скрытность, и это мне не нравится: девушке подобает быть кроткой и покорной. И потом я замечаю в ней излишнюю восторженность, и это тоже меня раздражает. Но чаще всего она тиха, даже задумчива и печальна. Надеюсь, что со временем мне удастся выработать в ней более ровный, степенный характер и искоренить эту непонятную задумчивость. Все непонятное я не одобряю.

— Должен сказать, я ничего не понял. Что ты подразумеваешь под излишней восторженностью?

— Лучше всего, пожалуй, объяснить примером: иногда, как тебе известно, для улучшения произношения я заставляю ее декламировать французские стихи. На таких уроках я познакомила ее с Корнелем и Расином, и она изучала их вдумчиво, с похвальным благонаравием, которое я постоянно стараюсь ей привить; но иногда она вдруг делается вялой, на лице у нее появляется скучающее выражение, а я не

терплю равнодушия в тех, кому посчастливилось учиться у меня; кроме того, неприлично выказывать скуку, изучая классические произведения. На днях я вручила ей томик стихов малоизвестных поэтов и предложила сесть у окна и выучить что-нибудь наизусть. Когда же я вскоре взглянула на нее, она нетерпеливо листала книгу, пробежала глазами строчки, и губы ее презрительно кривились. Я сделала ей выговор. «Ma cousine, ответила она, — tout cela m'ennuie a la mort».<sup>[45]</sup> Я заметила, что так говорить неприлично. «Dieu! Il n'y a donc pas deux lignes de poesie dans toute la literature française?»<sup>[46]</sup> — воскликнула она. Я осведомилась, что она хочет этим сказать. Она попросила прощения с должной скромностью, притихла и продолжала читать, улыбаясь иногда своим мыслям. Спустя полчаса она подошла ко мне, вернула книгу и, сложив руки, как я всегда ее учила, принялась декламировать небольшое стихотворение из Шенье, «La Jeune Captive».<sup>[47]</sup> Если бы ты только слышал, с каким пылом она читала и какие невразумительные суждения высказывала потом, тебе стало бы понятно, что я подразумеваю, говоря об «излишней восторженности»; можно было подумать, что Шенье способен волновать гораздо глубже, чем Корнель или Расин. Ты человек проницательный и, конечно, согласишься, что такое нелепое предпочтение говорит о неуравновешенности. К счастью, у нее есть хорошая наставница; я научу ее понимать литературу, привью правильные взгляды и хороший вкус. Я научу ее владеть своими чувствами и руководить ими.

— Научи, Гортензия, непременно научи. Но вот как будто и она сама.

— Ты прав, — однако она пришла на полчаса раньше, чем всегда. Что это ты так рано, дитя мое? Я еще не успела позавтракать.

Слова эти были обращены к девушке, появившейся в комнате; зимняя накидка, падавшая изящными складками, скрывала ее стройную фигурку.

— Мне не терпелось узнать, как вы оба себя чувствуете. Вы, должно быть, расстроены тем, что случилось ночью? Дядя сейчас за завтраком рассказал мне обо всем.

— Не правда ли, какая неслыханная наглость! Так ты нам сочувствуешь? И дядя твой тоже нам сочувствует?

— Дядя возмущен. Но ведь он ездил с вами, Роберт, на пустошь в Стилбро?

— Ну как же! Мы с ним отправились туда в самом воинственном настроении; но пленники, которых мы собралась выручать, встретились нам по дороге.

— Никто не пострадал?

— Нет, только у Джо на руках были ссадины от веревок, которыми его скрутили.

— А вас там не было? Вы не присутствовали при нападении?

— Увы! Человеку редко выпадает удача находиться там, где следовало бы!

— А куда вы едете сейчас? Мергатройд седлает вашу лошадь во дворе.

— В Уинбери. Сегодня базарный день.

— Мистер Йорк тоже отправился туда. Он проехал мимо меня в своей двуколке. Вот бы вам и вернуться вместе!

— Почему?

— Вдвоем всегда лучше, чем одному; кроме того, никто не питает вражды к мистеру Йорку; уж во всяком случае не бедняки.

— Следовательно, я буду как бы под охраной, я, которого все ненавидят?

— Скорее не понимают, это, пожалуй, будет вернее. Вы поздно вернетесь? Он поздно приедет, Гортензия?

— По всей вероятности; у него всегда много деловых встреч в Уинбери; ну, а ты, девочка, принесла свою тетрадь?

— Да. Когда же вы вернетесь, Роберт?

— Обычно я возвращаюсь часам к семи. А вам хочется, чтобы я вернулся пораньше?

— Постарайтесь быть дома засветло — часам к шести; в семь уже темнеет.

— А чего я должен опасаться, Каролина? Что угрожает мне в темноте?

— Я и сама толком не знаю, но все мы сейчас тревожимся за друзей. Дядя часто говорит, что сейчас время беспокойное, что фабрикантов здесь не любят.

— И я один из самых нелюбимых, не так ли? Вы не хотите говорить открыто, а в глубине души опасаетесь, что я разделю участь Пирсона! Но ведь он погиб у себя в доме — пуля влетела в окно в ту минуту, когда он поднимался по лестнице в спальню.

— Энн Пирсон показывала мне пулю, застрявшую в двери, — печально сказала Каролина, складывая на столике у стены свою накидку и муфту. — Не забывайте, что вдоль всей дороги до Уинбери тянется живая изгородь, а возле Филдхеда вам придется ехать через рошу. Возвращайтесь к шести часам или еще раньше.

— Он вернется раньше, — заявила Гортензия. — Ну-с, девочка, теперь повторяй свои уроки, а я тем временем замочу горох для супа.

И она вышла из комнаты.

— Так вы считаете, что я нажил себе много врагов, — заметил Мур, — и уверены, что друзей у меня нет?

— Это неверно; у вас есть друзья, Роберт: ваша сестра, ваш брат Луи, еще не знакомый мне, — мистер Йорк, мой дядя, да и многие другие.

— Вам, наверное, трудно было бы назвать этих «многих других», — с улыбкой возразил Мур. — Покажите-ка мне лучше свою тетрадь. Ого, да вы старательны в чистописании! Вероятно, сестра моя требовательна и строга; она старается сделать из вас примерную фламандскую школьницу. Что-то ждет вас в жизни, Каролина? Пригодится ли вам французский язык, рисование, да и все, чему вы еще обучитесь!

— Вы правильно сказали — чему я обучусь; что скрывать — пока Гортензия со мной не занималась, мои знания были весьма скудными; а что ждет меня — не знаю, наверное, буду хозяйничать в доме дяди до тех пор, пока...

Она замялась и умолкла.

— Пока что? Пока он не умрет?

— Ах, что вы! Нехорошо так говорить! У меня этого и в мыслях не было, ведь ему всего пятьдесят пять лет. Нет, до тех пор, пока... пока у меня не появятся другие обязанности.

— Весьма неопределенное будущее! И оно вас удовлетворяет?

— Прежде удовлетворяло. Дети, как известно, ни над чем не задумываются, а живут только в своем особом фантастическом мире. Но теперь мне этого уже недостаточно.

— Почему?

— У меня нет денег, я ничего не зарабатываю.

— Ах вот оно что, Лина, и вам тоже хочется зарабатывать деньги?

— Да, мне хотелось бы работать; будь я мальчиком, все было бы проще, я могла бы с легкостью научиться настоящему делу и проложить себе дорогу в жизни.

— Любопытно — что же это за дорога?

— Я могла бы научиться вашему ремеслу, ведь вы все-таки мой родственник и не отказались бы обучить меня кое-чему. Я бы вела конторские книги и переписку во время ваших отлучек. Я знаю, вы стремитесь разбогатеть и выплатить долги вашего отца, вот я и помогла бы вам нажить состояние.

— Помогли бы мне? Вам следовало бы думать о самой себе.

— Я так и делаю. Но неужели люди должны думать только о себе?

— О ком же еще думать? О ком я смею думать? Бедные не должны быть щедры на чувства, им следует их ограничивать.

— Нет, Роберт...

— Да, Каролина. В бедности поневоле становишься эгоистичным, мелочным, вечно недовольным. Бывает, правда, что сердце бедняка, согретое лучами любви, готово пустить свежие побеги, подобно вешней зелени в саду; оно чувствует, что для него настала пора одеться молодой листвой, может быть, расцвести, но бедняк не смеет поддаваться обольщению, он обязан воззвать к благоразумию, которое своим холодным, как северный ветер, дыханием заморозит это цветение.

— Что же, в хижинах счастье невозможно?

— Видите ли, я имею в виду не привычную бедность рабочего, но стесненное положение человека в долгах. Образ промышленника, живущего в неослабной борьбе и напряжении, изнемогающего от забот, всегда стоит перед моим взором.

— Забудьте о своих тревогах, надейтесь на удачу; вас слишком неотвязно терзают одни и те же мысли. Не сердитесь на мою смелость, но мне кажется, что ваше представление о счастье не совсем правильно, так же как не совсем правильно, не совсем справедливо...

Она замялась.

— Я слушаю вас внимательно.

— Ваше обращение (смелее! Надо же сказать правду!), не отношение, а именно обращение со здешними рабочими...

— Вам давно хочется поговорить со мной об этом, Каролина?

— Давно.

— Я, может быть, несколько суров с ними, но это оттого, что сам я человек молчаливый, замкнутый, мрачный, а вовсе не от гордости. Да и мне ли гордиться в моем положении?

— Но ваши рабочие — это живые люди, а не бездушные предметы, как ваши станки и стригальные машины. Со своими вы ведь совсем другой.

— Для своих я не чужеземец, каким меня считают йоркширские мужланы. Я мог бы, конечно, разыгрывать из себя доброжелателя, но притворство не мое forte.<sup>[48]</sup> Я считаю их неразумными и тупыми; они чинят всевозможные препятствия на моем пути к успеху. Я обращаюсь с ними по справедливости — как они того заслуживают.

— Тогда трудно рассчитывать, что вы завоюете их расположение!

— Я к этому и не стремлюсь.

— Увы!

Юная наставница тяжело вздохнула и покачала головой; видно было, что ей очень хочется в чем-то убедить своего кузена, но она бессильна это сделать. Склонив голову над грамматикой, она принялась искать урок, заданный ей на сегодня.

— Боюсь, что я не особенно добрый и привязчивый человек, Каролина. Мне достаточно привязанности немногих.

— Роберт, не будете ли вы так любезны очинить мне два-три перышка?

— Пожалуйста, и вдобавок разлуню вам тетрадку, а то у вас строчки всегда ложатся косо... Вот так... теперь давайте перья. Вам очинить их тонко?

— Как вы всегда чините для меня и Гортензии; не с широкими концами, как для себя.

— Будь я учителем, как Луи, я остался бы дома и посвятил бы все утро вам и вашим занятиям. А мне придется провести весь день на складе шерсти Сайкса.

— Но вы заработаете много денег.

— Скорее потеряю их.

Когда он кончил чинить перья, к калитке подвели оседланную и взнузданную лошадь.

— Вот и Фред уже меня ждет, пора идти; посмотрю только, как в нашем садике хозяйничает весна.

Он вышел в сад. Там, у фабричной стены, на солнце расцветала ласкающая взгляд полоса свежей зелени и цветов — подснежники, крокусы, даже примулы. Мур нарвал букетик, вернулся в гостиную, достал из рабочей шкатулки сестры шелковинку, перевязал его и положил на письменный стол перед Каролиной.

— Всего хорошего!

— Спасибо, Роберт, какая прелесть! На цветах словно сверкают еще отблески солнца и лазурного неба! Всего хорошего!

Мур направился к выходу. Внезапно он остановился в дверях, как бы собираясь что-то сказать, но так ничего и не сказал; потом вышел за калитку и уже сел было на лошадь и вдруг соскочил с седла, бросил поводья Мергатройду и вернулся в комнату.

— Я забыл взять перчатки, — заметил он, подходя к столику у двери. Кстати, вас ждут сегодня вечером какие-нибудь неотложные дела, Каролина? добавил он как бы между прочим.

— У меня их не бывает; я обещала, правда, связать детские носочки для благотворительной корзинки по просьбе миссис Рэмсен, но это может подождать.

— Ох уж эта корзинка!.. Название, правда, ей дано подходящее, нельзя и представить себе ничего более благотворительного, чем ее вещицы и цены; по вашей лукавой улыбке я вижу, что вы и сами это понимаете. Итак, забудьте о вашей корзинке и оставайтесь на весь день у нас. Это немного развлечет вас, а дядюшка, надеюсь, не заплачет в одиночестве?

Каролина улыбнулась.

— Разумеется, нет.

— Что ему сделается, старому вояке! — пробормотал Мур. — Словом, оставайтесь у нас; пообедаете с Гортензией, ей это будет приятно, а я вернусь сегодня пораньше, и вечером мы почитаем вслух. Луна восходит в половине девятого, и в девять я провожу вас домой. Согласны?

Она кивнула головой, и глаза ее вспыхнули радостью.

Мур помедлил еще немного. Он наклонился над письменным столом и заглянул в грамматику Каролины, повертел в руках перо, затем букет; у ворот лошадь от нетерпения била копытом; Мергатройд покашливал и кричал у калитки, недоумевая, что могло задержать его хозяина.

— Всего хорошего, — повторил Мур и наконец ушел.

Минут десять спустя вошла Гортензия и очень удивилась, увидев, что Каролина даже не раскрыла учебника.



## ГЛАВА VI

### Кориолан

Ученица Гортензии была в то утро на редкость рассеянной. Она поминутно забывала объяснения своей наставницы и со смиренным видом выслушивала вполне заслуженные выговоры. Она сидела у окна, залитая лучами солнца, которое, казалось, дарило ей вместе с теплом и частицу светлой радости, — оттого-то она и выглядела такой счастливой и кроткой. В эту минуту нельзя было не залюбоваться ею.

Природа не обидела эту девушку красотой. Чтобы полюбить ее, не требовалось долгое знакомство, она с первого взгляда располагала к себе. Девически стройная, гибкая и легкая фигурка поражала изяществом и соразмерностью линий; лицо было нежное и выразительное, тонко очерченный рот, бархатистая кожа; прекрасные большие глаза излучали сияние, проникавшее в душу человека и будившее теплое чувство. Она красиво причесывала свои густые шелковистые каштановые волосы, — локоны рассыпались по плечам в живописном беспорядке, что очень шло ей, — и одевалась со вкусом. Каролина не гналась за модой, но ее непритязательные, сшитые из недорогих тканей платья хорошо сидели на ее тонкой фигурке и по тону гармонировали с нежным цветом лица. Сейчас на ней было зимнее шерстяное платье того же оттенка, что и каштановые волосы; его украшала только розовая лента, подложенная под небольшой круглый воротничок и спереди завязанная бантом.

Вот вам портрет Каролины Хелстоун. Что касается свойств ее ума и характера, то они проявятся в свое время.

Историю ее жизни можно рассказать в двух словах. Родители Каролины вскоре после рождения дочери расстались из-за несходства характеров. Мать ее приходилась сводной сестрой отцу Мура, так что Каролина считалась родственницей Роберта, Луи и Гортензии, хотя кровного родства между ними не было. Отец ее, брат Хелстоуна, был из тех людей, о которых их близкие предпочитают не вспоминать, после того как смерть разрешит все земные споры. Жена была несчастлива с ним. Слухи о его семейной жизни, вполне правдивые, придали вид достоверности ложным слухам, ходившим о его брате, —

человеке куда более добропорядочном. Каролина совсем не знала своей матери, она была увезена от нее в младенчестве и с тех пор ни разу ее не видала. Отец ее умер сравнительно молодым, и вот уже несколько лет ее единственным опекуном был дядя, мистер Хелстоун. Однако ни по складу характера, ни по привычкам он не годился в воспитатели юной девушке; он мало заботился об ее образовании, да, пожалуй, и вовсе не позаботился бы, если бы она сама, видя, что никто ею не занимается, не встревожилась и не попросила дядю дать ей возможность приобрести хоть какие-нибудь знания... Каролине было грустно сознавать, что она невежественна, менее образованна, чем девушки ее круга, и когда приехала ее родственница Гортензия Мур, она с радостью воспользовалась любезным предложением научить ее французскому языку и рукоделию. Мадемуазель Мур тоже была довольна — эти занятия придавали ей вес; кроме того, ей нравилось командовать послушной и понятливой ученицей. Мнение Каролины о себе самой как о неразвитой и даже невежественной девушке она полностью разделяла и потому, видя, что ученица ее делает большие успехи, приписала это отнюдь не ее способностям и усердию, а только своему умению преподавать; даже обнаружив, что Каролина, не получившая систематического образования, все же обладает довольно разнообразными, хотя и случайными познаниями, она не удивилась, ибо решила, что девушка, сама того не замечая, почерпнула эти ценные крупинки знания от нее же — из бесед; она продолжала так думать даже после того, как обнаружилось, что ученице известно о некоторых предметах много больше, чем самой наставнице; это было уже совсем не логично, но разуверить Гортензию никому бы не удалось.

Мадемуазель гордилась своим *esprit positif*<sup>[49]</sup> и питала пристрастие к сухому методу обучения, который она неукоснительно применяла, занимаясь со своей юной кузиной. Она заставляла ее усердно зубрить французскую грамматику и заниматься бесконечными *analyses logiques*,<sup>[50]</sup> самым полезным, по ее мнению, упражнением в языке. Все эти «analyses» основательно докучали Каролине; ей казалось, что отлично можно было бы изучить французский язык, не тратя столько времени на *propositions principales, et incidentes*<sup>[51]</sup> и прочие тонкости французского синтаксиса. Иногда, совсем запутавшись, она отправлялась за советом к Роберту (без ведома Гортензии, которая нередко чуть не полдня просиживала у себя

наверху, неизвестно зачем роаясь в комодах, раскладывая, укладывая и перекладывая свои вещи), и все непонятное сразу становилось ясным. Мур обладал ясным логическим умом; стоило ему заглянуть в книгу — и маленьких трудностей как не бывало; в одну минуту он все объяснял, в двух словах разрешал все загадки. «Вот если бы Гортензия так преподавала, — думала Каролина, — насколько быстрее можно было бы все узнать!» Поблагодарив кузена улыбкой, полной восхищения и благодарности, и, как всегда, не поднимая глаз, Каролина неохотно возвращалась в белый домик и, заканчивая упражнение или решая задачу (мадемуазель Мур преподавала ей и арифметику), досадовала, что не родилась мальчиком, — Роберт взял бы ее тогда в помощники и сидела бы она около него в конторе, вместо того чтобы сидеть с Гортензией в гостиной.

Иногда, правда, очень редко, она проводила в домике целый вечер. Однако Мур не всегда бывал с ними: он уезжал на базар или к мистеру Йорку или сидел в соседней комнате, занятый деловым разговором с посетителем; но когда он бывал свободен, то посвящал свой досуг Каролине. Тогда вечерние часы пролетали быстро, словно на светлых крыльях, увы, слишком быстро.

Во всей Англии не найти было уголка приятнее этой гостиной, когда в ней собирались Каролина, Гортензия и ее брат. Гортензию в те минуты, когда она не преподавала, не сердилась, не стряпала, нельзя было назвать женщиной неприятной. К вечеру она обычно становилась добрее и обращалась ласковее со своей молоденькой родственницей-англичанкой; если же ее просили спеть что-нибудь под аккомпанемент гитары, она и совсем смягчалась и приходила в прекрасное расположение духа; к тому же играла она неплохо и обладала приятным голосом, так что слушать ее можно было с некоторым удовольствием, именно некоторым, ибо присущий ей церемонный и натянутый вид и тут не оставлял ее и портил впечатление.

Мур, отдыхая от обычных забот, хотя и не казался особенно оживленным, но с удовольствием смотрел на Каролину, слушал ее болтовню, охотно отвечал на ее вопросы. Каролине доставляло удовольствие быть около него, сидеть рядом с ним, говорить и даже просто смотреть на него; а если ему случалось развеселиться, то он становился почти приветливым, внимательным и любезным.

К сожалению, на следующее же утро он снова замыкался в себе. По-видимому, эти тихие семейные вечера были ему по душе, но он почти никогда не высказывал желания повторить их. Это очень озадачивало его неискушенную кузину. «Если бы у меня была возможность доставлять себе радость, я бы делала это как можно чаще, пользуясь любым случаем», — говорила она себе.

Однако сама она не решалась следовать этому правилу; как ни радовали ее вечера, проведенные в белом домике, она никогда не ходила туда без приглашения. И даже если ее приглашала Гортензия, а Роберт не поддерживал сестру или поддерживал, но не очень настойчиво, девушка отказывалась. Сегодня же утром он впервые сам предложил ей остаться; вдобавок он так ласково говорил с ней, что Каролина почувствовала себя счастливой, и это счастливое настроение не покидало ее весь день.

Утро прошло как обычно: Гортензия хлопотливо бегала из кухни в столовую и обратно, то отчитывая Сару, то проверяя упражнения, заданные Каролине. Но даже если девушка безупречно знала урок, она никогда ее не хвалила, придерживаясь правила, что уважающей себя учительнице не подобает хвалить ученицу и что необходимо всегда бранить ее; мадемуазель Мур полагала, что бесконечные замечания только укрепляют авторитет преподавателя; и если в ответе ученицы нельзя было обнаружить ни одной ошибки, она находила изъяны в ее манере держаться, наружности, одежде или выражении лица.

Обычная сцена разразилась по поводу обеда, когда Сара, внеся наконец суповую миску, в сердцах чуть не бросила ее на стол, всем своим видом как бы говоря: «В жизни не подавала такой гадости! Собаки и те есть не станут!» Однако обед, столь презираемый Сарой, был довольно вкусен; на первое суп-пюре из сушеного гороха, который мадемуазель готовила, непрерывно сетуя на то, что в этой несчастной Англии не найти белых бобов. На второе мясо, неизвестно какое — вероятно, смесь, перемешанное с кусочками хлеба, запеченное в тесте и своеобразно, но вкусно и остро приправленное; это замысловатое блюдо, поданное с гарниром мелко нарубленной зелени, отнюдь не было несъедобным. Обед завершал пирог с вареньем, приготовленный на патоке вместо сахара по особому рецепту, унаследованному госпожой Жерар Мур от ее бабушки.

Каролина охотно ела эту бельгийскую стряпню, столь непохожую на ее обычный стол; и хорошо, что это было так, — выкажи она неодобрение, она навсегда лишилась бы благосклонности Гортензии, которая простила бы что угодно, только не отвращение к своему национальному блюду.

После обеда Каролине удалось уговорить свою наставницу подняться наверх и переодеться, однако это потребовало умелого подхода. Намекнуть, что папильотки, юбка и блуза отнюдь не украшают женщину и что их нужно снять, было бы непростительной ошибкой и только привело бы к обратному: Гортензия из упрямства не снимала бы их весь день. Осторожно обходя все подводные камни и водовороты, Каролина под благовидным предлогом увела свою наставницу наверх, в спальню, и убедила ее переодеться, чтобы не подниматься вторично; и пока мадемуазель произносила торжественную проповедь в осуждение женских прихотей по части нарядов, ставя себе в заслугу свое пренебрежение к капризам моды, Каролина сняла с нее блузу, облачила ее в приличное платье, прикрепила воротничок, пригладила волосы и превратила в довольно благообразную женщину. Однако Гортензия настойчиво пожелала сделать завершающие штрихи сама, а эти завершающие штрихи в виде плотной косынки, завязанной под самым горлом, и большого черного, как у служанки, фартука сразу все испортили. Мадемуазель ни под каким видом не соглашалась показываться в своем собственном доме без этой плотной косынки и широченного фартука: первая была атрибутом строгой нравственности, — она считала неприличным ходить с открытой шеей; второй — отличительным признаком хорошей хозяйки, — она как будто и вправду верила, что, нося фартук, экономит деньги своего брата. Гортензия преподнесла Каролине косынку и фартук, сшитые своими руками; и единственная серьезная ссора между кузинами, оставившая неизгладимую обиду в душе старшей, возникла из-за того, что младшая отвергла эти изысканные подарки.

— Я ношу закрытые платья с воротничками и совсем задохнусь, если надену еще и косынку; а мои короткие фартучки ничуть не хуже, чем этот длинный, и мне не хочется их менять.

Упрямая мадемуазель Мур безусловно настояла бы на своем, заставив Каролину одеваться по своему вкусу, если бы ее брат,

случайно услышав их разговор, не вмешался, заявив, что, по его мнению, Каролине вполне подходят ее короткие фартуки и что ей, совсем еще девочке, незачем носить косынку, тем более что ее длинные локоны закрывают плечи.

Мнение Роберта было законом, и сестра уступила скрепя сердце; но втайне она не одобряла кокетливые, опрятные платья Каролины, так же как и женственное изящество ее облика; побольше простоты, побольше степенности вот что было, по ее мнению, *beaucoup plus convenable*.<sup>[52]</sup>

После обеда дамы занялись шитьем. Мадемуазель, как и большинство бельгийских дам, была искусной рукодельницей. Бесчисленные часы, посвященные тонким вышивкам, утомительному для глаз плетению кружев, затейливой вязке или больше всего искусной штопке чулок, не представлялись ей потерей времени. Она могла просидеть целый день за штопкой двух-трех дырочек и, заштопав их, чувствовать, что ее миссия достойно выполнена. Для Каролины же было сущей мукой обучаться этой сложной манере штопания и аккуратно класть стежок за стежком, подражая ткани чулка; это утомительнейшее занятие считалось как самой Гортензией, так и всеми ее предками по женской линии одной из первых обязанностей женщины. Ей и самой еще в ту пору, когда она носила детскую *coiffure*<sup>[53]</sup> на темной головке, дали в руки изорванный чулок, штопальную иглу и нитки; когда ей было всего лишь шесть лет, ее мать с гордостью показывала дамам *hauts faits*<sup>[54]</sup> дочери по части штопки, и, естественно, что, обнаружив полное невежество Каролины в столь важном искусстве, она готова была заплакать от жалости к несчастной девушке, воспитанием которой столь преступно пренебрегали.

Не теряя времени, она извлекла никуда не годную пару чулок с начисто сношенными пятками и засадила свою родственницу за починку; но хотя с того знаменательного дня прошло уже целых два года, эта пара чулок все еще не покинула рабочей сумочки Каролины. Делая по несколько рядов каждый день, она видела в этом занятии наказание за свои грехи и не раз уже готова была бросить чулки в огонь; однажды Мур увидел, как она томится и вздыхает над ними, и предложил тайно предать их сожжению у себя в конторе, но Каролина понимала, что это не поможет, — Гортензия тотчас же найдет новую,

быть может еще более сношенную пару, а потому лучше из двух зол выбрать меньшее.

Обе женщины просидели за шитьем немало часов; наконец у младшей устали глаза и пальцы и она вся поникла. Небо во второй половине дня заметно потемнело; пошел проливной дождь. Каролину втайне терзала тревога, что Сайкс или Йорк уговорят Мура подождать в Уинбери, пока не пройдет дождь, а он лил все сильнее. Вот уже пробило пять часов, стрелка двинулась дальше, а дождь все не переставал; в ветвях деревьев, осенявших крышу дома, шелестел ветер. Сгущались сумерки, огонь в камине горел багровым пламенем.

— Теперь не прояснится, пока не взойдет луна, — заметила мадемуазель Мур, — значит, брат до тех пор не вернется, да и незачем ему возвращаться. Давай-ка пить кофе, ждать его бесполезно.

— Я устала, можно мне теперь отложить работу?

— Конечно, уже стемнело, и ты все равно не сможешь делать ее как следует. Положи шитье аккуратно в сумочку да пойди на кухню и попроси Сару принести gouter.

— Но ведь шести часов еще нет. Роберт может и приехать.

— Не приедет он, говорю тебе. Я всегда предвижу, как он поступит, уж я знаю своего брата.

Всем известно, как тягостна неопределенность и как горько разочарование. Каролина послушно направилась на кухню. Сара, сидя у стола, шила платье.

— Вас просят принести кофе, — безучастно сказала молодая девушка; она подсела к кухонному столу, склонила голову и замерла.

— Что это вы такая грустная, мисс? Ваша кузина совсем замучила вас работой. Как ей только не стыдно!

— Вовсе нет, Сара! — коротко ответила Каролина.

— Как бы не так. Вот вы готовы заплакать, и все потому, что просидели не сходя с места целый день. И котенок бы затосковал, если бы его держали взаперти.

— Сара, в непогоду ваш хозяин, наверное, задерживается в городе?

— Да, почти всегда. Но только не сегодня.

— Что вы хотите сказать?

— А то, что он уже вернулся. Сама видела минут пять тому назад, когда ходила за водой, как Мергатройд вел его лошадь во двор. Сейчас

он, кажется, в конторе с Джо Скоттом...

— Да вы ошиблись...

— С чего это мне ошибаться? Разве я не знаю его лошадь?

— Но вы не видели его самого?

— Нет, зато слышала его голос. Он говорил Джо Скотту, что уже насчет всего распорядился и не пройдет и недели, как на фабрику придут новые машины, и что на этот раз он потребует для их охраны четырех солдат из гарнизона Стилбро.

— Сара, это вы платье шьете?

— Да, хорошо получается?

— Превосходно! Вот что: вы готовьте кофе, а я скрою вам этот рукав. У меня найдется и отделка, — узенькая атласная ленточка подходящего цвета, — я ее вам подарю.

— Вы очень добры, мисс.

— Поторопитесь, милая; но сперва поставьте к огню его туфли, он, конечно, захочет снять сапоги. Вот и он, я слышу его шаги.

— Мисс, да вы не так кроите!

— Верно, верно, но я только еще надрезала, ничего страшного.

Дверь в кухню отворилась, и вошел Мур, промокший и озябший. Каролина оторвалась было от материи, но сейчас же опять склонилась над работой, словно хотела скрыть лицо и придать ему спокойное выражение; однако это ей не удалось, и когда глаза их встретились, она вся сияла радостью.

— А мы вас уже не ждали, меня уверили, что вы задержитесь.

— Но я обещал вам вернуться пораньше, и уж вы-то, надеюсь, меня ждали?

— Нет, Роберт, и я уже отчаялась, ведь шел такой дождь. Но вы промокли, озябли, скорей переоденьтесь; если вы простудитесь, я... мы все будем виноваты.

— Я не промок, ведь я был в плаще. Все, что мне нужно, — это сухие туфли... До чего же приятен огонь после того, как проедешь несколько миль под дождем и ветром.

Мур стоял рядом с Каролиной у плиты, грелся, наслаждаясь благодатным теплом, и смотрел на медную посуду, блестящую на полке. Случайно опустив взгляд, он увидел покрасневшее личико, обрамленное шелковистыми прядями волос, сияющие от счастья лучистые глаза. Сары в эту минуту в кухне не было — она понесла



поднос в гостиную и теперь выслушивала там очередной выговор хозяйки.

Мур положил руку на плечо кузины, наклонился к ней и поцеловал в лоб.

— Ах, — вырвалось у нее, словно этот поцелуй придал ей смелости, — я чувствовала себя такой несчастной, когда думала, что вы не приедете. Зато теперь я счастлива! А вы счастливы, Роберт? Вам приятно возвращаться домой?

— Да, — во всяком случае сегодня.

— Вы в самом деле не думаете больше о машинах, о делах, о войне?

— Сейчас нет.

— Значит, вам уже не кажется, что ваш домик слишком тесен и беден для вас?

— В эту минуту нет.

— И вас уже не печалит мысль, что богатые и влиятельные люди забыли о вас?

— Хватит, Лина. Вы напрасно думаете, что я добиваюсь милостей сильных мира сего. Мне нужны только деньги, прочное положение, успех в делах.

— Вы всего добьетесь своими достоинствами и талантом. Вам суждено стать большим человеком — и вы им станете!

— Если вы говорите от чистого сердца, то укажите мне способ достичь такого благополучия. Впрочем, я и сам знаю этот способ не хуже вас, но выйдет ли что из моих усилий? Боюсь, что нет!.. Мой удел — бедность, невзгоды, банкротство. Жизнь совсем не такая, какой она представляется вам, Лина.

— Но вы такой, каким мне кажется.

— Нет, не такой.

— Значит, лучше?

— Гораздо хуже.

— Нет, лучше, я знаю: вы хороший.

— Откуда вам это известно?

— Я вижу это по вашему лицу; и я чувствую, что вы на самом деле такой.

— Вы это чувствуете?

— Да, всем сердцем.

— Вот как! Ваше суждение обо мне, Лина, идет от сердца, а должно бы идти от головы.

— И от головы тоже; и тогда я горжусь вами, Роберт. Вы и не представляете себе, что я о вас думаю!

Смуглое лицо Мура покраснело; легкая улыбка скользнула по его сжатым губам, глаза весело заискрились, но он решительно сдвинул брови.

— Не преувеличивайте моих достоинств, Лина. Мужчины в большинстве случаев порядочные негодяи и весьма далеки от вашего представления о них; я не считаю себя ни выше, ни лучше других.

— А иначе я бы вас на уважала, именно ваша скромность и внушает мне уверенность в ваших достоинствах.

— Уж не льстите ли вы мне?

Он порывисто повернулся к ней и стал внимательно вглядываться в ее лицо, словно стремясь прочесть ее мысли.

Она засмеялась и только мягко уронила «нет», как бы не считая необходимым оправдываться.

— Вам все равно, что я об этом думаю?

— Да...

— Вам так ясны ваши намерения?

— Мне кажется, да.

— А каковы же они, Каролина?

— Высказать то, что у меня на душе, и заставить вас лучше думать о самом себе.

— Убедив меня в том, что моя кузина — мой искренний друг?

— Вот именно; я — ваш искренний друг, Роберт.

— А я... впрочем, время и обстоятельства покажут, кем я смогу стать для вас.

— Надеюсь, не врагом, Роберт?

Мур не успел ответить — в эту минуту Сара и ее хозяйка распахнули дверь в кухню, обе в сильном волнении. Пока мистер Мур беседовал с мисс Хелстоун, у них возник спор относительно *café au lait*.<sup>[55]</sup> Сара утверждала, что в жизни еще не видела такой бурды и что варить кофе в молоке — это расточать понапрасну дары божьи; что кофе должно прокипеть в воде, — так уж ему положено. Мадемуазель же утверждала, что это — *un breuvage royal*<sup>[56]</sup> и что Сара по серости своей не способна оценить его.

Мур и Каролина перешли в гостиную; Гортензия еще с минуту задержалась на кухне, дав Каролине возможность повторить свой вопрос: «Надеюсь, не врагом, Роберт?», и Муру серьезно ответить ей тоже вопросом: «Возможно ли это?» Затем он сел за стол, усадив Каролину рядом с собой.

Каролина едва слышала полные негодования речи Гортензии; пространные тирады относительно *conduite ingigne de cette mechante creature*<sup>[57]</sup> почти не достигали ее ушей, сливаясь со звоном посуды. Роберт вначале посмеивался, затем очень мягко и ласково принялся успокаивать сестру, предлагая ей взять в служанки любую девушку из фабричных работниц; правда, они вряд ли ей подойдут, так как большинство из них не имеет никакого понятия о ведении домашнего хозяйства; дерзкая, своевольная Сара, по всей вероятности, не хуже большинства женщин ее сословия.

Мадемуазель с этим согласилась: по ее мнению, *ces paysannes Anglaises etait toutes insupportables*,<sup>[58]</sup> и она многое отдала бы, чтобы иметь в услужении *bonne cuisiniere Anversoise*<sup>[59]</sup> в высоком чепце, короткой юбочке и подобающих служанке скромных сабо, — девушку куда более приятную, чем эта наглая кокетка в пышном платье с сборками и даже без чепца на голове! Сара, не разделяя мнения св. Павла, что «женщине непристойно ходить с непокрытой головой», решительно отказывалась прятать под полотняным или муслиновым чепцом свои пышные золотистые волосы и любила укладывать их в высокую прическу, скрепляя сзади изящным гребнем, а по воскресеньям еще и завивала спереди.

— А и в самом деле, не выписать ли тебе служанку из Антверпена? предложил Мур; суровый на людях, он был, в сущности, очень добрым человеком.

— *Merci du cadeau!*<sup>[60]</sup> — был ответ. — Антверпенская девушка не выдержит здесь и десяти дней, ее спугнут насмешки фабричных *soquines*.<sup>[61]</sup> — Затем, смягчившись, она добавила: — Ты очень добр, дорогой брат, прости, что я погорячилась, но уж очень мне тяжело приходится; что ж, видно, так мне суждено; помнится, и незабвенная наша матушка немало с ними мучилась, хотя к ее услугам были лучшие служанки Антверпена. Служанки всегда и везде народ испорченный и грубый.

Мур тоже помнил кое-что о страданиях незабвенной матушки; она была ему хорошей матерью, и он чтит ее память, но не мог забыть и о том, сколько жару задавала она у себя на кухне в Антверпене так же вот, как и преданная ему сестрица здесь, в Англии. Поэтому он промолчал, и разговор оборвался, а как только посуда была убрана, Мур принес Гортензии ноты и гитару, чтобы немного утешить ее, — он знал, что это было лучшим средством ее успокоить, когда она выходила из себя, — заботливо расправил у нее на шее ленту и попросил спеть любимые песни их матери.

Ничто не действует на человека столь благотворно, как участие; раздоры в семье ожесточают, а согласие смягчает. Гортензия, довольная и благодарная брату, выглядела в ту минуту даже изящной и почти красивой: кислое выражение лица исчезло, его сменила *sourire plein de bonte*.<sup>[62]</sup> Она с большим чувством спела несколько песен. Они напомнили ей о матери, к которой она питала искреннюю привязанность, напомнили о днях ее юности. Она заметила, что Каролина слушает ее с простодушным удовольствием, и еще больше повеселела. А восклицание: «Если бы я могла петь и играть, как Гортензия!», вырвавшееся у Каролины, окончательно довершило метаморфозу и сделало мадемуазель Мур очаровательной до конца вечера.

Правда, Каролине пришлось выслушать небольшое поучение о том, что только хотеть недостаточно, что необходимо добиваться желаемого. Было сказано, что подобно тому как Рим был построен не в один день, так же и музыкальное образование мадемуазель Мур было приобретено не за одну неделю и не только благодаря желанию, — для этого потребовалось немало усилий; она всегда славилась усердием, прилежанием, и учителя отмечали в ней редчайшее и приятнейшее сочетание таланта и трудолюбия. Мадемуазель всегда становилась словоохотливой, как только речь заходила о ее достоинствах.

Наконец, исполнившись блаженного самодовольства, умиротворенная Гортензия взялась за вязание. Вечером, при спущенных шторах, озаренная ярко пылавшим камином и мягким светом лампы, маленькая гостиная выглядела веселой и уютной. Это, видимо, чувствовали все трое, и все они казались счастливыми.

— Чем же нам теперь заняться, Каролина? — спросил Мур, снова садясь возле своей кузины.

— Чем же нам заняться, Роберт? — шутливо повторила она. — Решайте сами.

— Не сыграть ли в шахматы?

— Нет.

— В триктрак или в шашки?

— Нет, нет, оба мы не любим таких игр, когда приходится молчать.

— Пожалуй, вы правы; так посплетничаем?

— О ком? Мы никем не интересуемся настолько, чтобы разбирать его по косточкам.

— Что верно, то верно. Может быть, это звучит нелюбезно, но должен признаться, меня никто не интересует.

— И меня тоже. Но вот что странно: хотя нам не нужен сейчас третий, то есть я хочу сказать четвертый, — она поспешно бросила смущенный взгляд на Гортензию, — как все счастливые люди, мы эгоистичны и нам нет дела до остального мира, все же нам приятно было бы кинуть взгляд в прошлое, вызвать к жизни тех, кто проспал не один век в могилах, — хотя и от их могил, наверное, давно уже не осталось и следа, — услышать их голос, узнать их мысли, их чувства.

— Кого же мы выберем в собеседники? И на каком языке будет он говорить? На французском?

— Нет, ваши французские предки не умеют говорить таким возвышенным, торжественным и в то же время волнующим сердце языком, как ваши английские праотцы. На сегодняшний вечер вы станете чистокровным англичанином. Вы будете читать английскую книгу.

— Старинную книгу?

— Да, старинную книгу, любимую вами, а я выберу в ней то, что созвучно вашей натуре. Книга эта разбудит вашу душу и наполнит ее музыкой, подобно искусной руке, коснется струн вашего сердца, и струны эти зазвучат; ваше сердце, Роберт, — это лира, но жребий ваш не исторгает из него сладостных звуков, подобно менестрелю; оно часто молчит; пусть же великий Вильям коснется его, и струны зазвучат прекрасными английскими мелодиями.

— Вы хотите, чтобы я читал Шекспира?

— Вы должны приобщиться к его мыслям и услышать его голос своим сердцем; вы должны принять в свою душу частицу его души.

— Словом, это чтение должно сделать меня чище и возвышеннее? Должно повлиять на меня так, как влияют проповеди?

— Оно должно взволновать вас, вызвать в вас новые чувства; вы должны увидеть себя во всей полноте: не только свои хорошие, но и дурные, темные стороны...

— Dieu! Que dit-elle!<sup>[63]</sup> — воскликнула Гортензия. Она считала петли, не прислушиваясь к разговору, но эти два слова неожиданно резанули ей слух.

— Оставь ее, сестра, пусть говорит свободно все, что ей хочется, — она любит пожурить твоего брата, но меня это очень забавляет, так что не мешай ей.

Каролина тем временем взобралась на стул, порылась в книжном шкафу и, найдя нужную книгу, снова подошла к Роберту.

— Вот вам Шекспир, — сказала она, — и вот «Кориолан». Читайте, и пусть чувства, которые он пробудит в вас, откроют вам, как велики вы и как ничтожны.

— А вы садитесь рядом со мной и поправляйте меня, если я буду неправильно произносить слова.

— Я буду вашей учительницей, а вы моим учеником?

— Ainsi, soit-il!<sup>[64]</sup>

— А Шекспир — предмет, который нам предстоит изучить?

— По-видимому, так.

— И вы откажетесь от своего французского скептицизма и насмешливости? И не будете думать, что ничем не восхищаться — признак высокой мудрости?

— Ну, не знаю...

— Если я это замечу, я отниму у вас Шекспира и, оскорбленная в своих лучших чувствах, надену шляпу и тут же отправлюсь домой.

— Садитесь, я начинаю.

— Подожди минутку, брат, — вмешалась Гортензия. — Когда глава семьи читает, дамам следует заниматься рукоделием. Каролина, дитя мое, бери свое вышивание; ты успеешь вышить за вечер две-три веточки.

Лицо Каролины вытянулось.

— Я плохо вижу при свете лампы, глаза у меня устали, да я и не способна делать два дела сразу. Если я вышиваю, я не слышу чтения; если слушаю внимательно, я не могу вышивать.

— Fi, donc! Quel enfantillage!<sup>[65]</sup> — начала было Гортензия, но тут Мур, по своему обыкновению, мягко вступился за Каролину:

— Позволь ей сегодня не заниматься рукоделием; мне хочется, чтобы она как можно внимательнее следила за моим произношением, а для этого ей придется смотреть в книгу.

Мур положил книгу между собой и Каролиной, облокотился на спинку ее стула и начал читать.

Первая же сцена «Кориолана» захватила его, и, читая, он все больше воодушевлялся. Высокомерную речь Кая Марция перед голодающими горожанами он продекламировал с большим подъемом. Хотя он и не высказал своего мнения, но видно было, что непомерная гордость римского патриция находит отклик в его душе. Каролина подняла на него глаза с улыбкой.

— Вот сразу и нашли темную сторону, — сказала она. — Вам по душе гордец, который не сочувствует своим голодающим согражданам и оскорбляет их. Читайте дальше.

Мур продолжал читать. Военные эпизоды не взволновали его; он заметил, что все это было слишком давно и к тому же проникнуто духом варварства; однако поединок между Марцием и Туллом Авфидием доставил ему наслаждение. Постепенно чтение совершенно захватило его; сцены трагедии, исполненные силы и правды, находили отклик в его душе. Он забыл о собственных горестях и обидах и любовался картиной человеческих страстей, видел, как живых, людей, говоривших с ним со страниц книги.

Комические сцены он читал плохо, и Каролина, взяв у него книгу, сама прочла их. Теперь они, видимо, ему понравились, да она и в самом деле читала с тонким пониманием, вдохновенно и выразительно, словно природа внезапно наделила ее этим даром. Да и вообще, о чем бы она ни говорила в этот вечер: о вещах незначительных или серьезных, веселых или грустных, — в ней светилось что-то своеобразное, непосредственное, самобытное, порывистое, что-то неуловимое и неповторимое, как неповторимы огнистая черта падающей звезды, переливный блеск росинки, очертание и окраска облачка в лучах закатного солнца или струящаяся серебристая рябь ручейка.

Кориолан в блеске славы; Кориолан в несчастье; Кориолан в изгнании, образы сменяли друг друга подобно исполинским теням;

образ изгнанника, казалось, потряс воображение Мура. Он мысленно перенесся к очагу в доме Авфидия и видел униженного полководца, — еще более великого в своем унижении, чем прежде в своем величии; видел «грозный облик», угрюмое лицо, на котором «читается привычка к власти», «могучий корабль с изодранными снастями». Месть Кая Марция вызвала у Мура сочувствие, а не возмущение, и Каролина, заметив это, снова прошептала: «Опять сочувствие родственной души».

Поход на Рим, мольбы матери, длительное сопротивление, наконец, торжество добрых чувств над злыми, — они всегда берут верх в душе человека, достойного называться благородным, — гнев Авфидия на Кориолана за его, как он считал, слабость, смерть Кориолана и печаль его великого противника сцены, исполненные правды и силы, увлекали в своем стремительном, могучем движении сердце и помыслы чтеца и слушательницы.

Когда Мур закрыл книгу, наступило долгое молчание.

— Теперь вы почувствовали Шекспира? — спросила наконец Каролина.

— Мне кажется, да.

— И почувствовали в Кориолане что-то близкое себе?

— Пожалуй.

— Вы не находите, что наряду с величием в нем были и недостатки?

Мур утвердительно кивнул головой.

— А в чем его ошибка? Что возбудило к нему ненависть горожан? Почему его изгнали из родного города?

— А как вы сами думаете?

— Я вновь спрошу:

То гордость ли была, что при удачах  
Бессменных развращает человека;  
Иль пылкость, неспособная вести  
Весь ряд удач к одной разумной цели;  
Иль, может быть, сама его природа  
Упорная, не склонная к уступкам,  
Из-за которой на скамьях совета  
Он шлема не снимал и в мирном деле



Был грозен, словно муж на поле брани?<sup>[66]</sup>

— Может быть, вы сами ответите, Сфинкс?

— Все вместе взятое; вот и вам не следует высокомерно обращаться с рабочими; старайтесь пользоваться любым случаем, чтобы их успокоить, не будьте для них только неумолимым хозяином, даже просьба которого звучит как приказание.

— Так вот как вы понимаете эту пьесу! Откуда у вас такие мысли?

— Я желаю вам добра, тревожусь за вас, дорогой Роберт, а многое, что мне рассказывают в последнее время, заставляет меня опасаться, как бы с вами не случилось беды.

— Кто же вам обо мне рассказывает?

— Дядя; он хвалит вашу твердость и решительность, ваше презрение к подлым врагам, ваше нежелание «подчиниться черни», как он говорит.

— А вы считаете, что я должен был бы подчиниться?

— Вовсе нет! Я не хочу, чтобы вы унижались; но мне кажется несправедливым объединять всех бедных тружеников под общим и оскорбительным названием «черни» и смотреть на них свысока.

— Да вы демократка, Лина; если бы вас услышал дядюшка, что бы он сказал?

— Вы же знаете, я редко разговариваю с дядей, тем более о таких вещах; по его мнению, для женщины существуют только стряпня и шитье, а все остальное выше ее понимания, и незачем ей вмешиваться не в свое дело.

— А вы думаете, что разбираетесь в этих сложных вопросах достаточно хорошо, чтобы давать мне советы?

— В том, что касается вас, я разбираюсь; я знаю, для вас лучше, если рабочие будут любить вас, а не возненавидят, уверена и в том, что добротой вы скорее завоюете их уважение, чем гордостью. Будь вы холодны или надменны со мной или с Гортензией, разве мы любили бы вас? Когда вы бываете холодны со мной, как это подчас случается, я и сама не отваживаюсь быть приветливой с вами.

— Что ж, Лина, вы уже преподали мне урок языка и морали, слегка коснувшись и политики. Теперь моя очередь: Гортензия говорила мне, что вам пришлось по вкусу одно стихотворение

несчастливого Андре Шенье, «La Jeune Captive», и вы его выучили наизусть; вы все еще его помните?

— Мне кажется, да.

— Ну так прочитайте, не торопясь, тщательно следя за произношением.

Каролина начала декламировать пленительные стихи Шенье, и ее дрожащий голос постепенно становился все более уверенным; особенно выразительно прочитала она последние строфы:

Я только вышла в путь, — он весь передо мной,  
Зовет и манит вдаль тенистых вязов строй,  
Я первые лишь миновала.  
Пир жизни закипел, роскошен и широк;  
Но я пока смогла всего один глоток  
Отпить из полного бокала.  
Покамест для меня еще цветет весна,  
А мне хотелось бы все года времена  
Познать и увидеть воочью;  
Цветок, сверкающий росой в родном саду,  
Я утро встретила, теперь полудня жду.  
Чтоб опочить лишь с солнцем, ночью.

Мур слушал, опустив глаза, затем украдкой поднял их на девушку; откинувшись в кресле, он незаметно для нее принялся ее разглядывать. Разрумянившаяся, с сияющими глазами, она была полна того оживления, которое скрасило бы и невзрачную внешность; но здесь такое слово неуместно. Солнце проливало свой свет не на бесплодную сухую почву, а на нежное цветение юности. Все черты ее лица были изящны, весь ее облик дышал очарованием. В эту минуту — взволнованная, увлеченная, полная воодушевления — она казалась красавицей. Такое лицо способно было пробудить не только спокойные чувства, уважение или почтительное восхищение, но и более нежные, теплые, глубокие: симпатию, увлечение, быть может, любовь.

Окончив читать, она повернулась к Муру, и глаза их встретились.

— Ну, как я читала — хорошо? — спросила она, и на губах ее заиграла беззаботная улыбка счастливого ребенка.

— Право, не знаю...

— Как не знаете? Вы не слушали?

— Слушал и смотрел. Вы очень любите стихи, Лина?

— Прекрасные стихи не дают мне покоя, пока я не выучу их наизусть и не сроднюсь с ними навсегда.

Мур ничего не ответил, и несколько минут прошло в молчании. Пробило девять часов; вошла Сара и сказала, что за мисс Каролиной пришли.

— Вот и окончен наш вечер, — заметила Каролина. — Не скоро еще удастся мне провести здесь другой такой же.

Гортензия давно уже клевала носом над вязаньем; в полудремоте она, очевидно, не расслышала слов Каролины.

— А почему бы вам не оставаться у нас почаще? — заметил Роберт. Взяв со столика ее зимнюю накидку, он заботливо укутал кузину.

— Я люблю приходить сюда, но навязывать свое общество, добиваться приглашений мне не хочется, — вы и сами это понимаете.

— О, я все понимаю, девочка. Подчас, Лина, вы журите меня за желание разбогатеть; но ведь если бы я стал богатым, вы всегда жили бы здесь; вернее, вы были бы со мной, где бы я ни жил.

— Это было бы хорошо, но даже если бы вы остались бедным, очень бедным, мне было бы хорошо с вами! Спокойной ночи, Роберт!

— Я обещал проводить вас.

— Да, но мне показалось, что вы об этом забыли, и я не решалась напомнить вам, хоть мне и очень хотелось. Стоит ли вам идти? На дворе холодно, и раз за мной пришла Фанни, право, нет никакой необходимости...

— Вот ваша муфта. Не станем будить Гортензию, идемте.

Быстрым шагом прошли они короткий путь и расстались в саду, даже не поцеловав друг друга, а только обменявшись коротким рукопожатием. И все же, когда Роберт ушел, Каролина продолжала ощущать радостное возбуждение. Он был необычно внимателен к ней весь этот день, но проявилось это не в громких словах, комплиментах или признаниях, а в ласковом обращении, взгляде и теплых нотках голоса.

Сам же Роберт вернулся домой сумрачный, даже угрюмый; прислонясь к калитке, он постоял некоторое время в саду,

погруженный в глубокую задумчивость, глядя на залитую бледным лунным светом лощину, на обступившие ее холмы, на безмолвную темную фабрику, и вдруг громко воскликнул: «Нет, с этим надо покончить! Все это может оказаться губительным. — Затем добавил уже спокойнее: — Ничего, это мимолетное наваждение, оно пройдет, как проходило и раньше, я знаю, завтра от него не останется и следа».

## ГЛАВА VII

### Священники в гостях

Каролине Хелстоун только что исполнилось восемнадцать лет; в таком возрасте настоящая повесть жизни едва начинается. До этой поры мы только внимаем сказке, чудесному вымыслу, иногда веселому, иногда печальному, но почти всегда фантастическому. До этой поры мы живем в мире возвышенном; его населяют полубоги или полудемоны; его пейзажи — как бы видения сна; просторы этой зачарованной страны украшают более темные леса и причудливые холмы, более лучезарное небо и опасные воды, более нежные цветы и соблазнительные плоды, более обширные равнины, более унылые пустыни, более веселые поля, чем те, какие мы видим в действительности. Какой дивной луной мы любуемся в ранней юности! Сердце наше замирает при виде ее несказанной красоты, а наше солнце — это пылающее небо, обиталище богов.

Но когда нам минет восемнадцать лет, мы приближаемся к пределу этого призрачного, обманчивого мира, — страна Мечты, край эльфов остается позади, а впереди уже виднеются берега Действительности. Берега эти, еще далекие от нас, окутаны голубой дымкой, сквозь которую проступают пленительные очертания, — и мы жаждем поскорее подойти к ним. Под ясным лазурным небом нам мерещится свежая зелень — зелень вешних лугов; наши глаза ловят серебристый, переливный блеск, и нам кажется, что это струятся живые воды. Только бы добраться до этой страны — там мы будем избавлены от голода и жажды! Но ведь нам предстоит еще пересечь дикие пустыни, быть может, и поток смерти или пучину горестей, часто такую же холодную и мрачную, как сама смерть, прежде чем дано будет вкушать истинное блаженство. Малейшую радость жизни приходится завоевывать. И завоевывать, не щадя сил; это хорошо знает тот, кто бился за высокие награды. Чело воина всегда покрывается алыми рубинами крови, прежде чем над ним зашелестит победный венец.

Но в восемнадцать лет эти истины нам еще неведомы. Мы слепо верим надежде, когда она улыбается нам и обещает счастье назавтра;

когда любовь постучится в наши двери, словно заблудившийся ангел, мы тотчас впускаем ее, приветствуем и лелеем, не замечая ее колчана; пронзенные ее стрелой, мы ощущаем живительный трепет. Мы не страшимся яда этих зазубренных стрел, извлечь которые бессильна рука врача; эта пагубная страсть, всегда в чем-то мучительная, а для многих мучительная от начала до конца, считается, однако, неслыханным благом. Короче говоря, в восемнадцать лет мы еще не вступили в школу Опыта, где наш дух будет усмирён и переплавлен, но также закалён и очищён.

Увы, Опыт! Ты — наставник с самым суровым и бесстрастным лицом, облаченный в самое мрачное одеяние, с грозной лозой в руках. Непреклонный, ты неумолимо заставляешь новичка творить твою волю, ты властно приказываешь ему не отступать ни перед чем. Только благодаря твоим наставлениям люди способны находить безопасный путь в дебрях жизни; без твоих уроков они сбиваются с пути, спотыкаются и падают, вторгаются в запретные чащи, срываются в ужасные пропасти!

У Каролины по возвращении домой не было ни малейшей охоты провести конец вечера в обществе дяди; его комната была для нее заповедным местом, и она редко туда заходила. Вот и сегодня она просидела у себя наверху до тех пор, пока колокол не возвестил час молитвы; вечернее богослужение благочестиво соблюдалось в доме мистера Хелстоуна. Он монотонно читал молитвы гнусавым, но внятным и громким голосом. Когда он кончил, племянница, как всегда, подошла к нему проститься:

— Спокойной ночи, дядя.

— Хм! Ты где-то пропадала весь день! У кого-то была в гостях, даже обедала?

— Только у Муров.

— Занималась?

— Да.

— И сшила рубашку?

— Не до конца.

— Ну что ж, довольно и этого; тебе нужно думать только об одном, учись обращаться с иглой, шить рубашки и платья, печь пироги, и со временем выйдет из тебя толковая хозяйка.

Ну, ложись спать; я занят тут одной брошюрой. И вот Каролина одна в своей маленькой спальне; дверь заперта, надет белый капотик, волосы распущены и длинными пышными волнами падают до талии; устав расчесывать их, она оперлась на локоть, устремила глаза вниз, и перед ней возникли, замелькали те видения, какие являются нам в восемнадцать лет.

Каролина мысленно беседует сама с собой, и, по-видимому, беседа эта приятна — она улыбается. Она очень мила сейчас, погруженная в раздумье; но в этой комнате незримо присутствует еще более прекрасное создание — Юная Надежда. Эта добрая предсказательница шепчет Каролине, что ей нечего больше опасаться огорчений или разочарований: для нее уже наступил рассвет лучезарного дня, ей светит не обманчивое сияние, но лучи весеннего утра, и солнце ее восходит. Мысль о том, что она жертва самообольщения, не приходила ей в голову; казалось, мечты ее — не пустые грезы, она вправе надеяться, что они сбудутся.

«Полюбив друг друга, люди женятся, — рассуждала она сама с собой. — Я люблю Роберта, и он любит меня, я в этом теперь уверена. Мне и прежде так казалось, но сегодня я это почувствовала. Когда я прочитала стихи Шенье и взглянула на него, глаза его (как они красивы!) открыли мне правду. Иногда я боюсь говорить с ним, боюсь быть слишком откровенной, слишком нескромной, ибо я уже не раз горько упрекала себя за несдержанность, и мне казалось, что он порицает меня за слова, которые, быть может, мне не следовало ему говорить. Но сегодня вечером я могла бы смело говорить о чем угодно, он был таким снисходительным. Как ласков был он со мной, пока мы шли по тропинке! Правда, он не льстил мне, не говорил глупостей; он ухаживает за мной (вернее, дружески относится, я еще не считаю его своим возлюбленным, но надеюсь, со временем он меня полюбит) не так, как описывают в книгах, а гораздо лучше, как-то по-своему, более мужественно, более искренне. Мне он очень нравится, и я буду ему преданной женой, если только он на мне женится; конечно, я укажу ему его недостатки (кое-какие недостатки у него есть), но стану печься о нем и лелеять его, — словом, сделаю все, чтобы он был счастлив. Надеюсь, он не будет холоден со мной завтра; я уверена, что завтра вечером он либо придет сюда, либо пригласит меня к ним».

Каролина снова принялась расчесывать свои длинные, как у русалки, волосы и, повернув голову, чтобы заплести их на ночь, увидела свое отражение в зеркале. Некрасивые не любят смотреться в зеркало — они понимают, что глаза других не видят в них прелести; зато красивые думают совсем другое: лицо в зеркале очаровательно и должно очаровывать. Каролина увидела в зеркале отражение прелестной головки и фигуры, которое словно просилось на портрет, и это вселило в нее еще больше веры в свое счастье; в безмятежно радостном настроении она легла спать.

И в таком же безмятежно радостном настроении встала Каролина на следующее утро; когда же, войдя в столовую к завтраку, она ласково — и приветливо поздоровалась с дядей, то даже этот маленький бесстрастный человек не мог не заметить, что племянница его становится «премилой девушкой».

Обычно она была тиха и робка, послушна, отнюдь не словоохотлива, но сегодня она разговорила. Их беседы ограничивались повседневными мелочами: с женщиной, тем более с девушкой, мистер Хелстоун не считал нужным говорить на более серьезные темы. Каролина уже побывала в саду и теперь сообщила ему, какие цветы начинают показываться на клумбах, спросила, когда садовник придет привести в порядок лужайки, и заметила, что скворцы уже поселились на колокольне (церковь Брайерфилда была расположена рядом с домом священника), — удивительно, однако, что их не отпугивает звон колоколов!

Мистер Хелстоун на это ответил, что «птицы, как и все другие глупцы, которые только что соединились, заняты друг другом и бесчувственны ко всяким неудобствам». Но Каролина, счастливая и потому осмелевшая, отважилась на этот раз возразить дядюшке:

— Дядя, вы всегда говорите о супружеской жизни с оттенком презрения. Вы считаете, что люди не должны вступать в брак?

— Разумеется! Самое умное — жить в одиночестве, в особенности женщинам.

— Разве все браки неудачны?

— Почти все, а если бы люди не скрывали правды, то выяснилось бы, что счастливых браков вообще не бывает.

— Вы всегда недовольны, когда вам приходится венчать, — почему?



— Не особенно приятно быть посредником в явных глупостях.

Мистер Хелстоун разговаривал очень охотно, казалось, он был рад поучить племянницу уму-разуму. Она же, видя, что ее дерзость сходит ей с рук, отважилась спросить:

— Но почему брак — это глупость? Если двое любят друг друга, почему им не соединить свои жизни?

— Они наскучат друг другу, наскучат не позже, чем через месяц, — двое в одном хомуте не могут быть друзьями: они товарищи по несчастью.

— Можно подумать, дядя, что вы сами никогда не были женаты и прожили всю свою жизнь холостяком!

Замечание Каролины было продиктовано отнюдь не простодушной наивностью, но чувством протеста, досадой на дядю за его нелепые взгляды.

— Да так оно и есть.

— Но ведь вы были женаты! Почему же вы изменили своим взглядам?

— Нет человека, который бы хоть раз в жизни не наглупил!

— И что же, вы с тетей наскучили друг другу и страдали, живя вместе?

Мистер Хелстоун только презрительно выпятил нижнюю губу, наморщил свой смуглый лоб и буркнул что-то невразумительное.

— Разве она не была для вас подходящей женой? Доброй и послушной? Разве вы не были к ней привязаны? Не горевали, когда она скончалась?

— Каролина, пойми раз и навсегда, — проговорил мистер Хелстоун, ударив рукой по столу, — смешивать общее с частным — смешно и глупо: для всего в жизни есть правила и есть исключения; ты задаешь ребяческие вопросы; позвони, если ты уже позавтракала.

Посуда была убрана со стола; обычно после завтрака дядя с племянницей расставались до обеда. Но сегодня Каролина, вместо того чтобы покинуть комнату, направилась к окну и уселась в его широкой нише. Хелстоун раза два недовольно оглянулся на нее, как бы намекая, что предпочитает остаться в одиночестве, но она смотрела в окно, забыв о его присутствии, и он продолжал читать утреннюю газету, на сей раз особенно интересную, ибо на Пиренейском полуострове разыгрались важные события и целые столбцы были посвящены

официальным сообщениям генерала Веллингтона. Занятый чтением, он и не подозревал, какие мысли роятся в голове его племянницы, — мысли, которые их беседа оживила, но отнюдь не породила; сейчас эти мысли метались, как потревоженные в улье пчелы, но уже давно таились они в ее головке.

Каролина пыталась разобраться в характере и взглядах дяди, понять его странное отношение к браку. Не впервые раздумывала она об этом, пытаясь разгадать, почему они с дядей так далеки друг от друга, и всегда по ту сторону разделявшей их пропасти возникала, как возникла и сейчас, еще одна фигура, призрачная, туманная, зловещая — полузабытый образ ее родного отца, Джеймса Хелстоуна, брата Мэттьюсона Хелстоуна.

Кое-что ей было известно о нем из разговоров: старым служанкам случалось обронить намек; она знала, что он не был хорошим человеком и неласково обращался с ней. У нее сохранились воспоминания, хотя и очень смутные, о каком-то времени, проведенном с отцом в большом незнакомом городе, где у нее не было даже няни, которая бы заботилась о ней; ее держали взаперти в высокой мансарде, почти без мебели, без ковра на полу, без полога над кроватью. Отец уходил из дому с раннего утра, нередко пропадал по целым дням, оставляя девочку без всякой еды, а когда возвращался поздно вечером, казался свирепым, страшным или, что еще хуже, полубезумным. Наконец она тяжело заболела, и однажды ночью, когда ей было очень плохо, отец ворвался в комнату, крича, что она для него обуза и что он убьет ее. К счастью, к девочке поспешили на помощь и отняли ее у отца. Впоследствии ей довелось увидеть его еще только один раз — в гробу.

Таков был ее отец. Была у нее также и мать, и хотя мистер Хелстоун никогда не упоминал ее имени, хотя у самой Каролины не сохранилось о ней никаких воспоминаний, ей все же было известно, что мать ее жива. Итак, она была женой пьяницы. Какова же была их совместная жизнь? Каролина отвела глаза от скворцов, на которых она глядела невидящим взглядом, и повернулась спиной к частому переплету окна. Ее зазвеневший печалью голос нарушил молчание.

— Мне кажется, пример моих родителей заставляет вас считать все браки несчастливыми. Да, если моя мать выстрадала все, что мне

пришлось выстрадать, пока я жила с отцом, то у нее действительно была ужасная жизнь...

Мистер Хелстоун круто повернулся в кресле и бросил поверх очков быстрый взгляд на племянницу: слова Каролины ошеломили его.

Ее родители! Что заставило ее вспомнить о родителях, о которых он никогда за все двенадцать лет, прожитые под одним кровом, не сказал ей ни слова? Ему и в голову не приходило, что мысли эти созревали сами по себе, что Каролина вспоминала и раздумывала о своих родителях.

— Твои родители? Кто говорил с тобой о них?

— Никто. Но я помню, каким был отец, и мне жаль маму. Где она?

Этот вопрос не раз уже готов был сорваться с губ Каролины, но она не решалась задать его.

— Право, не знаю, — ответил мистер Хелстоун, — я почти не был знаком с ней, и вот уже много лет ничего о ней не слышал; впрочем, где бы она ни была, она, видно, совсем о тебе забыла и не интересуется тобой. У меня есть основания полагать, что она не хочет тебя видеть. Однако тебе пора собираться на урок к твоей кухне — уже пробило десять.

Каролина хотела еще о чем-то спросить, но тут вошла Фанни и сказала хозяину, что к нему пришли церковные старосты. Он поспешил к ним, а племянница его вскоре отправилась на занятия.

Путь от церковного дома до фабрики в долине лежал под гору, и Каролина всю дорогу чуть ли не бежала. Прогулка на свежем воздухе и мысль о том, что сейчас она увидит Роберта или хотя бы побудет в его доме, поблизости от него, вскоре рассеяла ее грусть. Вот уже показался белый домик, до ее слуха донесся фабричный грохот и шум бегущего ручья, и она сразу же увидела Мура у садовой калитки; на нем была полотняная блуза, перетянутая поясом, и легкая фуражка — простой домашний костюм, который очень ему шел; он стоял, глядя на дорогу, но не в ту сторону, откуда появилась его кузина. Каролина остановилась и принялась внимательно разглядывать его, притаившись за стволом ивы.

«Нет никого, равного ему, — думала она, — он и красив и умен! Какие у него пронзительные глаза! И какое прекрасное, одухотворенное лицо вдумчивое, выразительное, с правильными тонкими чертами! Мне нравится его лицо, мне нравится он весь — я

люблю его! Никто не может сравниться с ним! Насколько он лучше этих лукавых священников, да и вообще лучше всех! Милый мой Роберт!»

Она бросилась к «милому Роберту». Но тот, увидев представшую перед ним девушку, казалось, рад был бы раствориться в воздухе, подобно видению; однако, будучи не видением, а человеком из плоти и крови, он вынужден был поздороваться, но держался очень сухо: так мог бы держаться кузен, брат или родственник, но не влюбленный. Того обаятельного Роберта, которого Каролина видела вчера, словно подменили; перед ней стоял совсем другой человек; во всяком случае сердце у этого человека было другое. Острая боль разочарования пронзила ее. В первую минуту девушка не могла поверить своим глазам — так разительна была перемена. Как трудно было опустить руку, не дождавшись хотя бы легкого пожатия, трудно было отвести взгляд от его глаз, не увидав в них чувства более теплого, чем спокойная приветливость!

Влюбленный мужчина, обманутый в своих надеждах, вправе расспрашивать, требовать объяснений — влюбленная женщина должна молчать, не то она будет наказана стыдом, страданием, укорами совести за измену своей скромности. Несдержанность в женщине противна самой природе, и природа заставит провинившуюся расплачиваться острым презрением к самой себе, презрением, которое втайне ее истерзает. Женщины, принимайте случившееся как должное: не задавайте вопросов, не выказывайте неудовольствия, — в этом ваша мудрость. Вы просили хлеба, а вам дали камень; ломайте об него зубы, но, даже если сердце разрывается, сдерживайте стон боли. Не бойтесь, у вас хватит сил перенести это испытание. Вы протянули руку за яблоком, а судьба вложила в нее скорпиона: не показывайте своего ужаса, крепко сожмите в руке этот дар; жало вонзится вам в ладонь — и пусть: ладонь и рука распухнут и будут долго еще дрожать от боли, но со временем скорпион погибнет, а вы научитесь страдать молча, без слез. Зато потом, если вы переживете это испытание, говорят, некоторые его не выдерживают, — вы закалитесь на всю жизнь, станете умнее и менее чувствительной к боли. Но вам этого знать еще не дано и в этой мысли вы не можете почерпнуть мужество; и только сама природа — ваш лучший друг — подсказывает, как вести себя: она налагает на ваши уста печать молчания и приказывает вам скрывать

свои чувства под притворным спокойствием, вначале даже окрашенным налетом беззаботности и веселости, сквозь которые постепенно проступают уныние и печаль: со временем они переходят в стоицизм, укрепляющий дух, — в стоицизм с примесью горечи.

С примесью горечи? Но разве это плохо? Нет, пусть будет горечь: эта горечь закаляет нас, в ней мы черпаем силу. После острого страдания никто не может оставаться мягким, нежным; говорить об этом — значит, сознательно обманывать себя. Пережив эту пытку, человек становится обессиленным, вялым; если же он сохранит свою энергию, то это уже опасная сила, которая становится даже грозной при столкновении с новой несправедливостью.

Кто из вас, читатели, знаком со старинной шотландской балладой «Бедняжка Мэри Ли», сложенной в давние времена неизвестным певцом? Мэри обманул ее возлюбленный, а она принимала ложь за правду. Она не жалуется, но сидит одна-одинешенька, — а кругом бушует вьюга, — и высказывает свои чувства; это не чувства идеальной героини, это чувства крестьянской девушки с любящим сердцем, глубоко переживающей обиду. Страдание прогнало ее от теплого камелька на покрытые снежным саваном льдистые кручи; она сидит, скорчившись у сугроба, и перед ней встают кошмарные видения: «желтобрюхий ящер», «волосатый змей», «старый пес, воющий на луну», «пучеглазое привидение», «разъяренный бык», «молоко жабы», и воспоминания о Робине Ри, которые для нее ужаснее всех кошмаров.

Беспечно я пела, встречая весну,  
Гори, огонек мой, гори!  
А ныне под стоны метели клян  
Жестокого Робина Ри.  
Пускай же деревья скрипят на ветру,  
Шумят над моей головой,  
Покойно мне будет, когда я умру,  
В могиле моей снеговой.  
Укрой меня снегом, метель, поскорей  
От света постылой зари,  
От злобы и смеха коварных людей,

## Похожих на Робина Ри!

Впрочем, все это не имеет отношения ни к Каролине, ни к чувствам, связывающим ее с Робертом Муром; Роберт не причинил ей ни малейшего зла: он ее не обманывал, и ей приходится пенять только на себя; она сама виновница своего горя, непростено полюбив, что иногда случается не по нашей воле, но всегда чревато страданием.

Правда, иногда казалось, будто Роберт питает к Каролине не только братские чувства, но не сама ли она своим вниманием к нему пробуждала эти чувства, против которых восставали его разум и воля? Теперь же он решил пресечь возникавшую между ними близость, потому что не хочет, чтобы его привязанность крепла и пускала глубокие корни, не хочет вступать в брак, который считает безрассудным. Как же следует вести себя Каролине? Дать волю своей любви или затаить ее? Добиваться расположения Роберта или постараться вырвать его из сердца? Если она слаба духом, то изберет первое, уронит себя в глазах Мура и вызовет к себе презрение; если же она умна, то возьмет себя в руки, успокоит свои смятенные чувства, постарается взглянуть на жизнь трезво, постичь ее суровую правду и понять всю ее сложность.

По-видимому, Каролина обладала здравым смыслом, ибо спокойно, без жалоб и расспросов рассталась с Робертом; девушка не изменилась в лице, глаза ее остались сухими, и она заставила себя заниматься с Гортензией как обычно, а к обеду, не задерживаясь, поспешила домой.

После обеда, оставив дядю в столовой за стаканом портвейна, она перешла в гостиную и задумалась — как ей пережить этот мучительный день.

Накануне она верила, что он пройдет так же, как и вчерашний, а вечером она встретится с Робертом, со своим счастьем. Теперь она знала, что на это надеяться нельзя, и все же ничем не могла заняться, не могла примириться с мыслью, что ее не позовут в белый домик и что никакая случайность не приведет к ней Мура.

Он иногда приходил провести часок-другой с ее дядей, после чая, в сумерки, когда она уже не надеялась на такое счастье; колокольчик у двери звонил, и в передней раздавался знакомый голос. Случалось ему

приходить и после того, как он выказывал ей некоторую холодность; он редко заговаривал с ней в присутствии дядюшки, но во время своих визитов, сидя неподалеку от ее рабочего столика, поглядывал на нее как бы с раскаянием: те немногие слова, с которыми он обращался к ней, успокаивали ее, а уходя, он особенно тепло с ней прощался. Вот и сегодня вечером он еще может прийти, внушала ей Ложная Надежда; она и сама понимала, что Надежда эта ложная, но позволяла ей нашептывать слова утешения.

Она пыталась читать, но мысли ее разбегались; пыталась вышивать, но дело двигалось плохо, каждый стежок требовал усилий; тогда, вынув из письменного стола тетрадь, она попыталась написать французское сочинение, но и тут поминутно ошибалась.

Вдруг раздался резкий звонок. Каролина затрепетала от радости; она побежала к двери гостиной и, приотворив ее, осторожно заглянула в щелку: Фанни впустила гостя, высокого, ростом с Мура; на мгновение Каролина подумала, что это он, и была счастлива, но голос, спросивший, дома ли мистер Хелстоун, вывел ее из заблуждения: гость говорил с ирландским акцентом, следовательно то был не Мур, а Мелоун. Его провели в столовую, где он, вне всякого сомнения, охотно помог хозяину дома осушить графин.

Следует отметить, что стоило одному из трех священников зайти в какой-либо дом в Брайерфилде, Уинбери или Наннли и остаться там на обед или чай, в зависимости от часа, как следом за ним появлялся второй, а часто еще и третий. Это происходило не потому, что они уславливались о встрече, — нет, просто все они ходили в гости в одно и то же время. Если Донн, зайдя к Мелоуну, не заставал его дома, он спрашивал у квартирной хозяйки, куда тот направил стопы свои, и спешил по указанному адресу. Точно так же поступал и Суитинг. И, таким образом, сегодня после обеда Каролину три раза тревожил звон колокольчика и появление нежеланных гостей; вслед за Мелоуном пожаловал Донн, а вслед за Донном — Суитинг; в столовую — подали еще вина из погреба (хотя старик Хелстоун и бранил своих младших братьев, заставляя их за «пирушкой», как он говорил, но у себя, как старший, любил попотчевать гостей стаканчиком), и Каролина слышала доносившиеся из-за дверей звуки их голосов и громкий хохот. «Как бы они не остались пить чай», — думала она с тревогой, ибо угощать их не доставило бы ей ни малейшего удовольствия. До

чего же различны люди! Эти трое тоже молоды и образованны, как и Мур; но какая между ними разница! В их обществе ей невыносимо скучно, в обществе Мура ей так хорошо!

Но судьбе в этот день угодно было побаловать ее и другими гостями, вернее, гостьями, которые, теснясь в коляске, запряженной низкорослой лошадкой, через силу тащившей ее, катили в это время из Уинбери; пожилая леди с тремя краснощеками дочками ехали навестить ее по-дружески, как водится между добрыми соседями. Вот и в четвертый раз затрезвонил колокольчик, и Фанни доложила:

— Миссис Сайкс с дочерьми.

Когда Каролине случалось принимать гостей, она, вся вспыхнув, начинала нервно потирать руки и, стараясь побороть свое замешательство, поспешно выходила им навстречу, втайне желая провалиться сквозь землю. В такие минуты ей весьма не хватало умения держаться, хотя она и пробыла целый год в пансионе. И сейчас тоже она нервно потирала свои маленькие ручки, ожидая появления миссис Сайкс.

Вскоре в комнату торжественно вступила миссис Сайкс, высокая, желчного вида особа, которая любила всячески выставить напоказ свое благочестие, впрочем, достаточно искреннее, — и славилась гостеприимством по отношению к священникам. За ней в комнату вплыли ее дочери, все три видные, статные и довольно красивые.

Следует отметить, что английских провинциалок роднит одна особенность: у всех — или почти у всех, молоды они или стары, хороши собой или дурны, жизнерадостны или печальны — застыло на лице многозначительное выражение. «Я знаю, — как бы говорит оно, — я этим не хвастаюсь, но твердо знаю, что я образец благопристойности; поэтому пусть все, кто приближается ко мне или кому приближаюсь я, глядят в оба, ибо если что-либо отличает их от меня — в одежде или манере держаться, во взглядах, убеждениях или в поступках, — то это совсем не похвально».

Миссис Сайкс и ее дочери не только не были исключением из этого правила, но, напротив, представляли собой его блистательное подтверждение. В мисс Мэри, привлекательной, любезной и добродушной девушке, самодовольство проявлялось довольно мягко, в виде величавости; но в красавице Гарриет, которая держалась высокомерно и холодно, оно сказывалось резче, а тщеславная, бойкая,



дерзкая, вертлявая мисс Ханна и не думала скрывать высокого мнения о своей особе; что касается их матери, то в ней это чувство таилось под степенностью, приличествующей ее возрасту и славе доброй христианки.

Первые минуты встречи прошли довольно благополучно. Каролина была рада их видеть (отъявленная лж!), выразила надежду, что все они в добром здоровье, что миссис Сайкс уже не так сильно кашляет (миссис Сайкс кашляла уже лет двадцать), справилась, здоровы ли оставшиеся дома сестры; на последний вопрос все три мисс Сайкс, сидевшие на стульях напротив вращающегося табурета, на который, после небольшого колебания, уселась Каролина, сообразив, что кресло следует предложить миссис Сайкс, — впрочем, эта дама предупредила ее, завладев им без приглашения, — все три мисс Сайкс ответили дружным, чрезвычайно величественным кивком. Столь торжественный кивок потребовал молчания, и оно наступило на целых пять минут.

Миссис Сайкс нарушила его, осведомившись, не было ли у мистера Хелстоуна приступа ревматизма, не утомительны ли для него две воскресных проповеди и в силах ли он отправлять церковную службу полностью. Услыхав, что он ни на что не жалуется, она и три ее дочери хором воскликнули, что он «для своих лет удивительно сохранился».

Вновь воцарилось молчание.

На этот раз мисс Мэри попыталась поддержать беседу и спросила Каролину, была ли она в прошлый четверг на собрании библейского общества в Наннли. Каролина, не умевшая лгать, вынуждена была признаться, что не была, — в прошлый четверг она весь вечер просидела за романом, который ей дал Роберт, — и гости в один голос выразили изумление.

— А мы все были, — заявила мисс Мэри, — и мама, и даже папа; трудно было уговорить его, но Ханна настояла; правда, во время проповеди немецкого священника, члена секты моравских братьев, <sup>[67]</sup> мистера Лангвейлига, он задремал и так клевал носом, что мне было за него стыдно!

— Был там и доктор Бродбент, — воскликнула Ханна, — вот прекрасный проповедник! А на вид никак не скажешь — такое у него грубое лицо!

— Зато славный человек, — вмешалась Мэри.

— Да, хороший, полезный человек, — подтвердила мать.

— А выглядит как мясник, — вставила гордая красавица Гарриет, — я не могла смотреть на него; я слушала, закрыв глаза.

Мисс Хелстоун нечего было добавить, — она никогда не видела доктора Бродбента и теперь глубоко почувствовала свою невежественность. Наступила третья пауза, и пока она длилась, Каролина размышляла о том, что она, в сущности, просто наивная мечтательница, оторванная от настоящей жизни, не знающая людей и не умеющая жить их жизнью, всецело поглощенная тем, что происходит в белом домике: весь мир для нее сосредоточен на одном из обитателей этого домика. Она понимала, что так не годится и что рано или поздно все это придется изменить; не то чтобы ей хотелось во всем походить на сидевших перед нею дам — нет, ей только хотелось бы иметь хоть немного больше уверенности в себе, не чувствовать себя подавленной их превосходством.

Разговор не клеился, и, чтобы хоть что-нибудь сказать, она предложила гостям выпить по чашке чая, хотя эта любезность стоила ей больших усилий. Миссис Сайкс уже начала было отказываться: «Мы, конечно, очень благодарны за приглашение, но...» — когда в комнату вновь вошла Фанни с поручением от мистера Хелстоуна.

— Джентльмены проведут у нас весь вечер, мисс.

— Какие джентльмены? — полюбопытствовала миссис Сайкс.

Каролина назвала их имена; мать и дочери обменялись многозначительными взглядами: для них общество молодых священников было совсем не тем, чем оно было для Каролины. Суитинг был их любимцем, нравился им и Мелоун — как-никак он тоже носил сан.

— Что ж, раз у вас еще гости, я думаю, и нам следует остаться, заявила миссис Сайкс. — Провести вечер в обществе священников всегда приятно.

Каролине пришлось проводить дам наверх, помочь им снять шали и поправить прически; когда они кончили прихорашиваться, она снова привела их в гостиную и принялась занимать, как умела, показывая им книжки с гравюрами и всевозможные вещицы из «Палестинской корзинки». Покупать она была принуждена, но неохотно вносила свою лепту, и когда эту громоздкую корзину приносили к ним в дом, она,

кажется, предпочла бы купить всю целиком — будь у нее деньги, — чем пополнить ее хотя бы одной подушечкой для булавок.

Не лишнее сообщить для пользы тех, кто не *au fait*,<sup>[68]</sup> что представляет собой «Палестинская корзинка» и «Миссионерская корзинка»: эти *meubles*,<sup>[69]</sup> величиной с корзину для белья, сплетены из ивовых прутьев, и назначение их состоит в переноске из дома в дом несметного количества подушечек для булавок, игольниц, коробочек для карт, рабочих мешочков, детского белья и прочего; все это сшито руками благочестивых прихожанок, охотно или по обязанности, и продается чуть ли не насильно варварам мужчинам по баснословно высоким ценам. Выручка от такой принудительной продажи идет на обращение иудеев в христианство, на розыски исчезнувших десяти колен израилевых<sup>[70]</sup> и на обращение цветных рас земного шара. Каждая из дам-благотворительниц по очереди держит у себя корзину в течение месяца, изготавливает для нее разные вещи и сбывает их всячески сопротивляющимся мужчинам. В этом-то и заключается самое интересное. Женщины деятельные, с торговой жилкой, всей душой отдаются этому занятию, приходя в восторг, когда им удастся навязать суровым труженикам-ткачам совершенно ненужную вещь по цене вчетверо или впятеро выше ее настоящей стоимости. Менее предприимчивые со страхом ждут своей очереди и, кажется, предпочли бы увидеть у своих дверей самого князя тьмы, чем эту роковую корзину, которую им вручают в одно прекрасное утро со словами: «Миссис Рауз шлет вам поклон и просит передать, что теперь ваша очередь».

Итак, мисс Хелстоун выполнила свою роль хозяйки дома без всякой радости и с большим волнением, после чего поспешила на кухню, чтобы обсудить с Фанни и Элизой, чем угощать гостей.

— Принесло же их столько! — воскликнула кухарка Элиза. — А я сегодня и хлеба не пекла, думала, до утра нам хватит. Да где там!

— Нет ли у нас кексов? — спросила молодая хозяйка.

— Только три и булка. Сидели бы все они лучше дома, покамест их не позовут. А я-то собиралась отделать свою шляпку!

— Вот что, — сказала Каролина (необходимость найти выход придала ей энергии), — пусть Фанни сбегает в Брайерфилд и купит сдобных булок, пышек, печенья. Не сердись, Элиза, раз уж так вышло — что поделать!

— Какой же подавать прибор к чаю?

— Самый лучший, серебряный. Я сейчас его принесу.

Она побежала наверх в буфетную и вернулась с чайником, сливочником и сахарницей.

— А чайник вы нам дадите?

— Конечно, и сделай все побыстрее, — я надеюсь, они уйдут сразу после чая.

«Уф! Хоть бы поскорее ушли! — со вздохом прошептала Каролина у дверей гостиной. — И все-таки, приди сейчас Роберт, все выглядело бы иначе! Насколько мне было бы легче занимать этих людей при нем! Я бы хоть слушала его, — впрочем, в обществе он довольно молчалив, — и охотнее разговаривала бы сама, зная, что он здесь. А слушать их разговоры и говорить с ними мне скучно. Воображаю, как они затрешат, когда войдут священники, и как это будет тоскливо! Однако я порядочная эгоистка, они очень уважаемые люди, и я должна была бы гордиться такой честью. Да я и не считаю, что они хуже меня, отнюдь нет, просто мы очень разные».

Она вошла в гостиную.

В Йоркшире в те времена пили чай солидно и основательно. Полагалось, чтобы стол был уставлен множеством тарелок со всевозможными булочками, намазанными маслом; чтобы в середине стола возвышалась большая стеклянная ваза с вареньем; среди прочих яств непременно должны были красоваться ватрушки и сладкие пирожки; а если можно было добавить блюдо ветчины, нарезанной тонкими ломтиками и украшенной свежей петрушкой, то ничего лучшего не приходилось и желать.

К счастью, кухарка Элиза хорошо знала свое дело; она заворчала только в первую минуту при виде незваных гостей, но стоило ей хлопотать, и веселое настроение вернулось к ней, поэтому чай был сервирован наилучшим образом, на столе появились ветчина, и сладкий пирог, и варенье.

Священники, приглашенные на столь роскошное угощение, весело и шумно вошли в столовую, но при виде дам, о чьем присутствии они не были предупреждены, замерли на месте. Мелоун шел впереди; он резко остановился и отступил назад, чуть не сбив с ног Донна, следовавшего за ним. Донн покачнулся, в свою очередь отступил на три шага и толкнул Суитинга прямо в объятия Хелстоуна,

замыкавшего шествие. Послышались восклицания, хихиканье; Мелоуна попросили быть поосторожнее и потребовали, чтобы он вошел первым, что он и сделал; однако лицо его до корней волос залилось багрово-сизым румянцем. Но тут Хелстоун, выступив вперед из-за спин застенчивых священников, приветствовал прекрасных гостей, обменялся с каждой из них рукопожатием и любезной шуткой и уютно уселся между прелестной Гарриет и бойкой Ханной, попросив при этом мисс Мэри занять место напротив, чтобы он мог хоть любоваться ею. С девицами он всегда держался обходительно и непринужденно и поэтому пользовался их расположением; но, в сущности, женщин он не уважал и не любил, и те из них, кому доводилось короче познакомиться с ним, скорее побаивались, чем любили его.

Священники уселись кто где хотел; Суитинг, оробевший меньше других, пристроился под крылышком миссис Сайкс, которая, — он это отлично знал, относилась к нему чуть ли не как к родному сыну. Донн, отвесив с присущим одному ему «изыществу» и наглым видом общий поклон, сказал Каролине визгливым голосом: «Здравствуйте, мисс Хелстоун», — и опустил на стул возле нее, к ее крайнему неудовольствию, ибо Донна она особенно не любила за тупое, несокрушимое самомнение и ограниченность. Мелоун, бессмысленно ухмыляясь, уселся по другую сторону от нее, так что Каролина очутилась между двумя кавалерами, однако толку от них было мало, — ни тот, ни другой не способен был поддержать разговор за столом, передать чашку чая, тарелку с булочками или чистое блюдо. Суитинг, тщедушный, как мальчик, был куда проворнее и обходительнее.

Неутомимый говорун в обществе мужчин, Мелоун лишился дара речи, как только попадал в общество дам; однако три фразы всегда имелись у него наготове:

Первая: «Вы сегодня гуляли, мисс Хелстоун?»

Вторая: «Давно ли вы видели вашего кузена?»

Третья: «Как идут дела в воскресной школе?»

Когда эти вопросы были заданы и ответы на них получены, разговор иссяк, и между Каролиной и Мелоуном прочно воцарилось молчание.

С Донном дело обстояло хуже. Он был нуден и надоедлив, а его пошлая болтовня отличалась к тому же и ядовитостью: он бранил

обитателей Брайерфилда, да и весь Йоркшир в целом; сетовал на отсутствие здесь хорошего общества и на всеобщую невежественность; возмущался непочтительностью простолюдинов к дворянам; насмехался над привычками здешних жителей, которым, по его мнению, не хватало хорошего вкуса и умения одеваться, словно сам он принадлежал к сливкам общества, что, однако, трудно было предположить по его манерам и внешнему облику. Он, очевидно, полагал, что подобного рода нападки должны бы возвысить его во мнении мисс Хелстоун или любой другой дамы; между тем он достигал обратного — во всяком случае с Каролиной — и окончательно ронял себя в ее мнении; иногда, слушая, как этот ничтожный болтун порочит ее родной край, она, уроженка Йоркшира, загоралась негодованием и, резко обернувшись к нему, высказывала ему в глаза горькие истины: она говорила, что упрекать других в неотесанности — еще не признак хорошего воспитания и что плох тот пастырь, который постоянно высмеивает свою паству. Ему, как служителю церкви, доказывала она, не пристало сетовать на то, что приходится посещать только бедняков и произносить проповеди только перед бедняками. Неужели он полагает, что духовный сан принимают ради того, чтобы облачаться в роскошные одежды и восседать во дворцах? В подобного рода суждениях все трое младших священников усматривали недопустимую дерзость и неблагочестие.

Чаепитие тем временем шло своим чередом, гости болтали без умолку, как и предвидела хозяйка. Мистер Хелстоун был в ударе (впрочем, он всегда блистал в обществе, в милом, дамском обществе; ведь только наедине со своей юной племянницей он угрюмо замыкался в себе) и поддерживал непринужденную беседу со своими соседками, не забывая и о мисс Мэри, сидевшей напротив; правда, к ней пожилой вдовец не проявлял особого интереса — Мэри была самой умной из сестер и наименее кокетливой, а Хелстоун терпеть не мог умниц. Он предпочитал им женщин глупеньких, тщеславных, ветреных и даже со смешными слабостями, — ведь тогда они отвечали его представлению о них, они и на самом деле были такими, какими он хотел их видеть, — куклами, с которыми можно позабавиться на досуге, а потом выбросить.

Его любимицей была Ханна; эгоистичная и самовлюбленная красавица Гарриет была все же недостаточно пуста, чтобы вполне

удовлетворять его вкус; наряду с ложным самолюбием Гарриет обладала также и врожденным чувством собственного достоинства; если она и не изрекала мудрых истин, как оракул, то и глупостей особых не болтала. Она не позволила бы обращаться с собой как с игрушкой, куклой, ребенком: она требовала поклонения.

Ханна же ценила не уважение, а одну только лесть, стоило ее поклонникам сказать ей, что она ангел, и она позволяла обращаться с собой как с дурочкой. Она была так легковерна и ветрена, так глупела, когда ее окружали лестью, вниманием, восхищением, что Хелстоун в иные минуты поддавался соблазну вновь вступить в брак, избрав Ханну спутницей жизни; и только спасительное воспоминание о бремени супружества, некогда столь тяготившем его, да взгляд на семейную жизнь вообще охлаждали его чувства, подавляли нежный вздох, готовый вырваться из его старой закаленной груди, и не позволяли ему сделать Ханне предложение руки и сердца, которое польстило бы ей, а быть может, и обрадовало бы.

Весьма вероятно, что она вышла бы за него замуж; родители дали бы благословение на этот брак, и ни пожилой возраст Хелстоуна, ни его душевная черствость не испугали бы их; он был священник, жил в достатке, дом у него был хороший, по слухам, он даже располагал значительным состоянием (на этот счет люди ошибались: пять тысяч фунтов, унаследованные им от отца, он пожертвовал до последнего пенни на постройку и украшение новой церкви в его родной деревне в Ланкашире, — он любил иной раз позволять себе царственно щедрые жесты и, если что-нибудь забирало его за живое, готов был, не задумываясь, многим пожертвовать) и родители Ханны без колебаний вверили бы дочь его любви и попечению; и блистательная бабочка, вторая миссис Хелстоун, нарушив все законы природы, порхала бы в первый, медовый месяц, а остальную жизнь ползала бы жалкой, раздавленной гусеницей.

Суитинг сидел между миссис Сайкс и мисс Мэри, которые наперебой ухаживали за ним, видел перед собой сладкие пирожки, а на тарелке у себя варенье и печенье и был на вершине блаженства. Он любил всех мисс Сайкс, и все они отвечали ему тем же; он считал их очаровательными девушками, любая из них могла составить счастье порядочного человека. Единственно, что омрачало для него эту счастливую минуту, было отсутствие мисс Доры; мисс Дора была

именно той девушкой, которую он втайне надеялся в один прекрасный день назвать миссис Суитинг; с ней, величественной, как королева, он мечтал важно прогуливаться по Наннли. Да и в самом деле, если бы королевами становились благодаря внушительным размерам, она непременно стала бы королевой, так она была дородна и могуча: сзади ее можно было принять за раздобревшую даму лет сорока; но лицо у нее было красивое и характер довольно добрый.

Наконец с чаепитием было покончено; да и затянулось оно, собственно говоря, из-за Донна, который почему-то все медлил над чашкой недопитого, остывшего чая, несмотря на то что все вокруг него отпили, да и сам он вдоволь насладился едой; гости за столом начали выказывать признаки нетерпения: уже и стулья закрипели, уже и разговор иссяк и наступило молчание; тщетно Каролина спрашивала соседа, не желает ли он горячего чая вместо остывшего, не налить ли ему свежего, — он почему-то не мог ни допить свою чашку, ни отодвинуть ее: ему, очевидно, казалось, что такое особенное поведение придает ему важности; что оставаться последним и заставлять ждать себя — признак величия и благородства. Чайник успел остыть, когда наконец хозяин дома, не заметивший в пылу приятного разговора с Ханной, как затянулось чаепитие, нетерпеливо спросил:

— А кого мы ждем?

— Меня, по-видимому, — снисходительно уронил Донн с таким видом, словно это очень похвально задерживать столько людей.

— Ах вот как? — воскликнул Хелстоун. — Прочтем благодарственную молитву, — добавил он, поднимаясь; гости тоже встали из-за стола.

Однако Донн и после этого просидел еще минут десять в полном одиночестве как ни в чем не бывало, пока мистер Хелстоун не позвонил и не приказал убирать со стола; тут уж ему волей-неволей пришлось допить чай и отказаться от выигрышной роли, которая, по его мнению, выделила его среди других и привлекла к нему всеобщее лестное внимание.

После чая, как и следовало ожидать, гостям захотелось послушать музыку (Каролина уже успела открыть фортепьяно и приготовить ноты). Суитингу представился прекрасный случай показать себя с лучшей стороны, и ему не терпелось поскорее начать; поэтому он с жаром взял на себя трудную задачу упросить хоть одну из дам



осчастливить общество и исполнить какой-нибудь романс. Он упрашивал, отклонял отговорки, устранял трудности с таким рвением, что наконец добился успеха: мисс Гарриет милостиво разрешила подвести себя к фортепьяно. Тогда Суитинг вынул из кармана разобранную флейту (он носил ее в кармане постоянно, как носят носовой платок) и свинтил ее. Тем временем Мелоун и Донн стояли рядом и посмеивались над ним, что не ускользнуло от внимания случайно оглянувшегося Суитинга; впрочем, в предвкушении своего торжества, он ничуть не обиделся, убежденный, что в них говорит зависть.

И торжество началось. Мелоуну и вправду стало досадно, когда он слышал, как Суитинг бойко играет на флейте, и он решил тоже чем-нибудь отличиться, — ну, скажем, разыграть роль нежного вздыхателя (ему уже случалось разок-другой выступать в этой роли, но довольно безуспешно, ибо его старания, как ни странно, не были оценены должным образом); он приблизился к дивану, где сидела мисс Хелстоун, и, грузно опустившись рядом с ней, попытался завязать светскую беседу, всячески при этом гримасничая и ухмыляясь. Стремясь очаровать ее, он вертел в руках диванные подушки и соорудил наконец нечто вроде преграды между собой и предметом своего внимания. Каролина, желая от него отделаться, под первым же благовидным предлогом перешла в другой конец комнаты и уселась рядом с миссис Сайкс; по ее просьбе эта любезная дама с большой охотой принялась показывать ей новый узор для вязки; и, таким образом, Питер Огест остался ни при чем.

Он заметно приуныл, увидев себя покинутым, и не знал, что ему теперь делать на диване с подушками в руках. А он-то собирался серьезно поухаживать за мисс Хелстоун; подобно многим, он полагал, что ее дядя обладает значительным состоянием, и раз детей у него нет, оно, вероятно, со временем перейдет к его племяннице. Жерар Мур был на этот счет лучше осведомлен; он своими глазами видел красивую церковь, воздвигнутую на деньги благочестивого мистера Хелстоуна, и в глубине души не раз проклинал эту дорогостоящую прихоть, вставшую на его пути к желанной цели.

Бесконечно тянулся для Каролины этот вечер. По временам она роняла на колени вязанье, опускала голову, закрывала глаза и погружалась в полузабытье, уставшая от бессмысленного гула,

наполнявшего комнату, от слишком громкой и фальшивой игры на фортепьяно, пискливых, прерывистых звуков флейты, от смеха дяди, развеселившегося в обществе Ханны и Мэри (хотя, по ее мнению, в их словах не было ничего забавного), но более всего от неумолкаемо трещащей у нее над ухом миссис Сайкс, болтовня которой сводилась к четырем темам: ее собственное здоровье и здоровье многочисленных членов ее семьи; «Миссионерская» и «Палестинская» корзины; последнее собрание библейского общества в Наннли и то, которое состоится на следующей неделе в Уинбери.

Но вот к миссис Сайкс подошел Суитинг, и вконец утомленная Каролина ухватилась за представившуюся ей возможность выскользнуть из комнаты. Она направилась в столовую, чтобы передохнуть с минутку в одиночестве у камина, где еще тлели угли; здесь было пусто и тихо, со стола убрано, стулья расставлены по местам; Каролина опустилась в большое удобное дядино кресло и сомкнула веки, чтобы отдохнуть, не слушать пустые разговоры, не глядеть на пустых людей. Однако мысль ее тотчас же унеслась к белому домику, воображение помедлило на пороге гостиной и заглянуло в контору в поисках благословенного места, очастливленного присутствием Роберта. Однако Роберт был вовсе не там, он находился на расстоянии полумили от дома и был гораздо ближе к Каролине, чем она могла предположить. В эту минуту он уже пересекал церковный двор и подходил к их дому, однако он пришел вовсе не к Каролине, просто ему нужно было кое о чем сообщить мистеру Хелстоуну.

И вот ты снова слышишь, Каролина, как зазвонил дверной колокольчик; он звонит сегодня уже в пятый раз; ты вздрогнула, ты уверена, что уж это-то он, — он, о ком ты все время мечтаешь. Ты сама не знаешь почему, но сердце твое чувствует, что это так; Фанни открывает дверь, ты напряженно прислушиваешься: так оно и есть! Это его голос — низкий, с легким иностранным акцентом, в котором для тебя столько прелести; ты привстала — «Фанни скажет ему, что у дяди гости, и он тотчас уйдет! Нет, нет, этого нельзя допустить» — и против воли, наперекор рассудку, ты идешь к дверям и замираешь у порога, готовая броситься вперед, не дать гостю уйти; но нет, он входит в переднюю и говорит: «Раз уж ваш хозяин занят, проводите меня,

Фанни, в столовую да принесите чернила и перо, я напишу ему записку».

При звуках его голоса и приближающихся шагов Каролине теперь уже хочется ускользнуть, скрыться куда-нибудь, но в столовую ведет только одна дверь; выхода нет, она в западне; а ведь Муру, наверно, будет неприятно ее видеть; только что она готова была бежать ему навстречу, — сейчас она готова бежать прочь от него. Но бежать некуда, и кузен уже входит в столовую. Да, этого она и боялась, — на его лице мелькнули недовольство и удивление, мелькнули и исчезли. Каролина растерянно пробормотала что-то вроде: «Я только на минутку зашла сюда... отдохнуть...»

Услыхав ее грустный голос, увидав ее такой смущенной и подавленной, всякий понял бы, что в ее жизни произошла какая-то горестная перемена, лишив ее веселости и самообладания. Муру, наверно, вспомнилось, как, бывало, вся просияв, она доверчиво бросалась ему навстречу; он, конечно, заметил, что потрясение, пережитое утром, не прошло для нее даром; сейчас была возможность еще раз выказать своей кузине холодность, если уж он твердо решил изменить их отношения. Но, как видно, на фабричном дворе, днем, среди деловых забот это сделать было легче, чем в тихой комнате, в минуту вечернего отдохновения. Фанни зажгла стоявшие на столе свечи, принесла чернила, перо и бумагу и удалилась. Каролина метнулась было за ней, и Мур, будь он последователен в своем поведении, должен был бы позволить ей уйти; однако он продолжал как ни в чем не бывало стоять в дверях, преграждая ей путь; он не просил ее остаться, но и не выпускал из комнаты.

— Не сообщить ли дяде о вашем приходе? — спросила она все тем же сдавленным голосом.

— Зачем же? Я могу передать через вас все, что нужно, а вы будете моим гонцом.

— Хорошо, Роберт.

— Так вот, мне удалось напасть на след одного из негодяев, сломавших мои машины; он из той же шайки, которая напала на склады Сайкса и Пирсона, и я надеюсь, что завтра утром он будет уже в тюрьме. Вы запомните?

— Да, конечно. — Эти два слова были произнесены еще более печальным тоном; она даже покачала головой и вздохнула. — Вы

хотите, чтобы его судили?

— Безусловно.

— Не надо, Роберт.

— Почему же, Каролина?

— Вы еще больше восстановите против себя всю округу.

— Но не могу же я из-за этого отказаться от выполнения своего долга, от защиты своей собственности. Этот человек — опасный негодяй, его необходимо обезвредить, лишить возможности причинять зло!

— Да, но его сообщники отомстят вам. Вы не знаете, насколько у нас люди злопамятны. Некоторые хвастают тем, что способны держать камень за пазухой целых семь лет, затем перевернуть его, подождать еще семь лет и наконец бросить в намеченную жертву.

Мур засмеялся.

— Что ж, столь хвастливые заявления даже делают честь вашим милым землякам! Но не беспокойтесь за меня, Лина. Я всегда начеку с вашими добродушными соотечественниками. Не тревожьтесь за меня.

— Могу ли я не тревожиться? Вы мне родной. Если что-нибудь случится... — Она умолкла.

— Ничего со мной не случится. Как вы сами говорите, — на все воля Божья, не так ли?

— Конечно, дорогой Роберт. Да храни вас Господь!

— И если молитвы имеют силу, ваша молитва будет хранить меня. Вы иногда за меня молитесь?

— Вовсе не иногда, Роберт, я всегда поминаю в своих молитвах и вас, и Луи, и Гортензию.

— Я так и думал. Когда усталый и злой я бросаюсь в постель, как язычник, мне приходит в голову, что кто-то молится о прощении моих грехов, содеянных за день, и о мирной ночи для меня. Я не верю в силу официальных молитв, но молитвы искренние, слетающие с невинных уст, восходят к небесам и принимаются как жертва Авеля, если тот, о ком молятся, хоть немного достоин их.

— Как вы можете в этом сомневаться?

— Когда человека с детства приучали лишь наживать деньги и он живет только для этого, дышит воздухом одних только фабрик и базаров, странно произносить его имя в молитве и вспоминать о нем среди благочестивых помыслов; и тем более странно, что доброе

чистое сердце готово приютить его, защитить его, хотя он этого и не заслуживает. Будь я советчиком моего великодушного друга, я просил бы его забыть о недостойном, у которого единственная цель в жизни — склеить свое разбитое состояние и очистить свое имя от позорного пятна банкротства.

Намек, хотя и выраженный в мягкой и тактичной форме, проник глубоко в сердце девушки.

— Конечно, я думаю о вас только... вернее, я буду думать о вас только как о родственнике, — с живостью ответила она. — Теперь я уже лучше понимаю жизнь, Роберт, чем в дни вашего приезда в Англию, лучше даже, чем неделю тому назад, чем вчера. Знаю, ваш долг — поправить свои пошатнувшиеся дела, и вам сейчас не до сентиментальностей. Но и вы не должны впредь истолковывать ложно мое дружеское отношение к вам, — ведь сегодня утром вы меня неверно поняли.

— Что заставляет вас так думать?

— Ваш взгляд, ваше обращение со мной.

— Что вы! Взгляните же на меня...

— О, сейчас вы совсем другой, сейчас я не боюсь разговаривать с вами...

— Да нет, я тот же самый, только Мур-торговец остался там, в лошине; перед вами ваш родственник, Каролина.

— Да, мой кузен Роберт, а не мистер Мур.

— Вовсе не мистер Мур. Каролина...

Но тут из соседней комнаты донесся шум, гости собрались уходить. Дверь в прихожую отворилась: приказано было подать к крыльцу коляску, гости попросили свои шали и шляпки; мистер Хелстоун позвал племянницу.

— Роберт, мне надо идти.

— Да, идите, не то они еще заглянут сюда и увидят меня. А я, чтобы не встретиться с ними в коридоре, выберусь через это окно, — к счастью, оно открывается, как дверь. Но подождите минутку, поставьте подсвечник, я должен еще пожелать вам спокойной ночи. Мы родственники, и нам разрешается поцеловаться; да, как родственник я могу поцеловать вас — и один раз, и второй, и третий... Спокойной ночи, Каролина.

## ГЛАВА VIII

### Ной и Моисей

На следующее утро Мур встал чуть свет и успел съездить верхом в Уинбери, прежде чем его сестра сварила кофе и приготовила бутерброды. Он не сказал ей ни слова о цели своей поездки, и Гортензия ни о чем не расспрашивала; так уж у них было заведено. Деловые тайны — сложные, а подчас и неприятные — хранились глубоко в его сердце, и лишь изредка прорывались наружу, пугая Джо Скотта или какого-нибудь корреспондента за границей; сдержанность и скрытность во всех важных делах вошла у него в плоть и кровь.

После завтрака Мур отправился в контору. Генри, сын Джо Скотта, принес ему почту и газеты; Мур сел за стол, вскрыл письма и пробежал их глазами. В них, очевидно, не сообщалось ничего хорошего, скорее даже они содержали неприятные известия, потому что, окончив просматривать последнее письмо, Мур с досадой фыркнул: он ничего не сказал, но злой блеск его глаз говорил о том, что мысленно он клянет эти вести на чем свет стоит. Выбрав перо и резким движением оборвав его верхушку, только в этом и сказался его гнев, а лицо, как всегда, было невозмутимо спокойным, — он набросал несколько писем, запечатал их, затем вышел и направился к фабрике; спустя некоторое время он вернулся и принялся просматривать газеты.

Однако чтение не увлекло его; он то и дело опускал листок на колени и, скрестив руки на груди, то задумчиво глядел на огонь камина, то в окно, то на часы — словом, явно был чем-то озабочен. Может быть, он думал о том, что на дворе прекрасная погода, — утро было на редкость ясным и теплым для февраля, — и что неплохо было бы побродить по полям. Дверь конторы была отворена настежь, легкий ветерок и солнечный свет свободно проникали в нее, хотя первый из этих приятных посетителей время от времени приносил на своих крыльях не весеннее благоухание полей, а запах черного удушливого дыма, валившего из высокой фабричной трубы.

Темно-синяя фигура обрисовалась на мгновение в дверях (Джо Скотт только что вышел из красильни); рабочий произнес: «Он пришел, сэр!» — и снова исчез.

Но Мур даже не потрудился поднять глаза. В комнату вошел грузный широкоплечий мужчина, одетый в бумазейный костюм и серые шерстяные чулки; Мур небрежно кивнул ему и предложил присесть, что тот и сделал. Затем он снял поношенную шляпу, засунул ее под стул и отер лоб грязным носовым платком, вынутым из тульи, заметив, что, «пожалуй, жарковато для февраля». Мур в ответ только буркнул что-то невнятное, что можно было принять за согласие. Посетитель осторожно поставил в уголок возле себя свой жезл, потом посвистал, желая, вероятно, показать этим, что чувствует себя вполне свободно.

— Вы захватили с собой все нужное? — осведомился Мур.

— А то как же!

Он снова засвистал, а Мур снова погрузился в чтение. Газета, по-видимому, стала интересней. Вскоре, однако, он повернулся к буфету, не вставая открыл дверцу, вынул оттуда темную бутылку, из которой на днях потчевал Мелоуна, стопку и кружку, поставил все это на стол и, обратясь к своему гостю, сказал:

— Пейте, вода в том кувшине.

— Что ж, не помешает, утром что-то в горле пересыхает, — ответил посетитель в бумазейном костюме, вставая и наполняя стопку. — А вы сами не выпьете? — спросил он, привычным движением помешивая напиток, затем сделал порядочный глоток и откинулся на стуле, довольный и благодушный.

Мур, как всегда скупой на слова, отрицательно мотнул головой и снова что-то буркнул.

— Выпили бы! Уж как славно! Один глоток, и сразу на душе веселее. Добрая водка! Небось выписали из-за границы?

— Да.

— Послушайте меня, выпейте стопку; наши дружки как разговорятся, так и конца-краю не будет! Надо подкрепиться.

— Вы видели сегодня мистера Сайкса? — спросил Мур.

— Видел этак за полчаса... да нет, — верно, за четверть часа до того, как отправился сюда. Он сказал, что придет, да, думается мне, и старик Хелстоун пожалеет: когда я проходил мимо его дома, ему седлали лошадку.

И действительно, минут пять спустя на дворе послышалось цокание копыт и раздался характерный гнусавый голос:

— Парень (видимо, это относилось к Гарри Скотту, ибо он постоянно слонялся возле фабрики с десяти утра до пяти вечера), отведи-ка мою лошадь в конюшню!

После этого Хелстоун вошел в контору, как всегда, прямой, смуглый и подвижный, а вид у него был оживленнее и деловитее обычного.

— Какое погожее утро, Мур! Как поживаете, друг мой? Ба! Кого я вижу! воскликнул он, заметив человека с жезлом. — Сегден! Как! Вы во всеоружии? Н-да, вы не теряете времени даром. Но я жду объяснений; мне передали ваше сообщение, но уверены ли вы, что попали на правильный след? Что вы намерены предпринять? Есть у вас разрешение на арест?

— Да, он у Сегдена.

— Значит, вы сейчас отправляетесь? Я еду с вами.

— Вы избавлены от лишних хлопот, сэр. Он сам явится ко мне. Я готовлю ему торжественную встречу.

— Да кто же это? Один из моих прихожан?

Никем не замеченный, в контору вошел Джо Скотт и остановился у стола; выглядел он довольно зловеще, ибо его рабочий костюм, так же как и лицо, были основательно измазаны темно-синей краской; Мур не ответил на вопрос Хелстоуна и только усмехнулся; тогда Джо с вкрадчивым и лукавым видом выступил вперед и заявил:

— Это один из ваших друзей, мистер Хелстоун, вы о нем частенько вспоминаете.

— В самом деле? Как же его зовут? Ты что-то сегодня повеселел, Джо, как я замечаю.

— Это не кто иной, как преподобный Моисей Барраклу; вы его, кажется, называете «оратор на бочке».

— Вот как, — произнес мистер Хелстоун; он вынул табакерку и взял основательную понюшку. — Вот бы не подумал! Ведь этот благочестивый человек — портной и никогда у вас не работал, Мур?

— Вот это меня и возмущает больше всего. Зачем он вмешивается в мои дела? С какой стати натравливает на меня людей, которых я выгнал?

— Неужели он принимал участие в битве у Стилбро? Ведь он калека, с деревянной ногой!



— Да, сэр, — ответил Джо, — только он был верхом, чтобы скрыть деревяшку. Он их всех и вел, и на нем была маска, а остальные только вымазали физиономии сажей.

— И как же все это открылось?

— Давайте уж я расскажу вам, — ответил Джо. — Хозяин не любит тратить слов попусту, я не прочь поговорить. Так вот, Моисей ухаживал за Сарой, служанкой мистера Мура, но, видно, ничего от нее не добился; то ли ее отпугнула деревянная нога, или она просто смекнула, что он шельма, но, возможно (женщины, между нами говоря, престранный народ), она его поощряла, невзирая на деревяшку и плутоватость, — просто забавы ради; они это любят, даже самые приятные и скромные. Этакая чистенькая, аккуратненькая, на вид нежный цветочек, а как узнаешь поближе, так всего-навсего кусачая крапива.

— Джо смысленый парень, — вставил Хелстоун.

— Однако Сара имела еще кое-кого на примете; приглянулась она Фреду Мергатроиду, одному из наших работников; этот собой пригож, не в пример Моисею, а что еще нужно женщинам? Вот она и пустилась любезничать с ним. И вот не то два, не то три месяца тому назад Моисей и Мергатройд повстречались воскресным вечером; оба шатались возле хозяйского дома, чтобы вызвать Сару погулять, ну и повздорили; завязалась драка, и тут Фред сплоховал; да и не мудрено, он еще молод, мал ростом, а Барраклу — тот силач, даром что одноногий, не уступит и самому Сегдену. Послушайте, как он орет на своих молитвенных собраниях, сразу видно, что он не из слабых.

— Ты просто невыносим, Джо, — вмешался Мур. — Тянешь, тянешь, ну прямо как тот же Моисей свои проповеди! Короче говоря, Мергатройд приревновал Сару к Барраклу, и вот прошлой ночью он с одним приятелем укрылся от ливня под навесом амбара и случайно подслушал, как внутри в амбаре Моисей сговаривался со своими сообщниками: открылось, что он был вожаком в ту памятную ночь на Стилброской пустоши, а также и при нападении на склад Сайкса; далее выяснилось, что на сегодня у них намечено явиться ко мне целой делегацией во главе с Моисеем, чтобы самым мирным и благочестивым образом уговорить меня уничтожить ненавистные им машины. Утром я съездил в Уинбери, попросил прислать мне констебля с разрешением на арест и вот сижу здесь, чтобы встретить

моего приятеля с должными почестями. А-а, вот уже к нам жалует и Сайкс. Мистер Хелстоун, постарайтесь подбодрить его; одна мысль о передаче дела в суд приводит его в трепет.

Во дворе затарахтела двуколка. Через минуту в комнату вошел Сайкс, высокий дородный мужчина лет пятидесяти, с приятным, но бесхарактерным лицом; вид у него был растерянный.

— Они уже были? Уже ушли? Вы его схватили? Все уже кончилось? — один за другим посыпались вопросы.

— Нет еще, — хладнокровно бросил Мур. — Мы как раз их ждем.

— Да не придут они; уже около двенадцати. Лучше оставить эту затею; мы только их раздразим, разозлим и лишь ухудшим дело.

— Вы можете не показываться, — ответил Мур, — я сам встречу их во дворе, а вы сидите здесь.

— Но мое имя будет упомянуто на судебном процессе! Жена и дети, мистер Мур, поневоле заставляют человека быть осторожным.

Лицо Мура выразило отвращение.

— Отступайте, если хотите; предоставьте мне действовать одному, я не возражаю. Только имейте в виду, — вы напрасно ищите спасения в уступках; ваш компаньон Пирсон, как известно, уступал и терпеливо мирился со многим, но это не остановило негодяев, пристреливших его в собственном доме.

— Дорогой сэр, выпейте вина с водой, — предложил Хелстоун.

Вино с водой, — вернее, все та же голландская водка с водой, — не замедлило оказать свое действие на Сайкса, как только он одним глотком опорожнил стакан. Он сразу преобразился, румянец окрасил его побледневшие щеки и он сделался удивительно храбрым, по крайней мере на словах; он не намерен, заявил он, позволять простолудинам топтать его ногами, с наглостью рабочих пора покончить; он взвесил все и твердо настроен не останавливаться ни перед чем; если деньги и мужество могут усмирить бунтовщиков, то они будут усмирены; Мур, конечно, волен поступать, как ему заблагорассудится, но он — Кристи Сайкс — готов просудить все свои деньги до последнего пенни, прежде чем отступить. Он расправится с бунтовщиками, вот увидите.

— Еще стаканчик? — предложил Мур.

Мистер Сайкс охотно согласился: сегодня так холодно (Сегдену казалось, что тепло); в такое время года надо беречься, и, конечно, не

мешает согреться, а то он совсем окоченел; он и без того кашляет (тут он кашлянул в подтверждение своих слов); этот вот напиток (он приподнял темную бутылку) очень полезен как лекарство (он наполнил свой стакан); не в его правилах употреблять спиртное с утра, но в известных случаях это только благоразумно.

— Вполне благоразумно, пейте на здоровье, — подтвердил Мур.

Теперь Сайкс обратился к Хелстоуну, который стоял у камина, не снимая шляпы, и многозначительно смотрел на него своими умными глазами.

— Вы, сэр, — священнослужитель, и вам, должно быть, неприятно присутствовать при такого рода шумных, волнующих и, можно даже сказать, опасных происшествиях. Осмелюсь заметить, это не для ваших нервов; вы, сэр, человек миролюбивый, ну а мы, промышленники, живем в самой гуще жизни, кипим в ее котле, и мы — народ воинственный; право же, самая мысль об опасности возбуждает, заставляет сердце трепетать. Миссис Сайкс боится, боится каждую ночь, что к нам вломятся и разгромят наш дом, ну, а я... я чувствую прилив энергии. Я не могу выразить вам моих чувств, сэр, но уверяю вас, если что-нибудь произойдет, — влезут ли воры или что другое, — мне кажется, я буду только доволен, такова уж моя натура.

У священника вырвался короткий приглушенный смешок. Мур начал было уговаривать отважного фабриканта выпить еще и третий стакан, но священник, сам человек воздержанный и никому не позволявший в своем присутствии переступать границы приличия, остановил его:

— Хорошенького понемножку, не так ли, мистер Сайкс? — заметил он.

Мистер Сайкс с ним согласился. Приятно, но бессмысленно улыбаясь, он с некоторым сожалением наблюдал за Джо Скоттом, который по знаку Хелстоуна убрал бутылку со стола. Мур, казалось, был не прочь еще позабавиться и подтрунить над своим гостем. Что сказала бы его молодая родственница, если бы могла именно в эту минуту увидеть своего любимого, дорогого, замечательного Роберта, своего Кориолана? Нашла бы она в этом озорном, насмешливом лице что-либо общее с тем лицом, на которое поднимала любящий взгляд, когда оно с такой нежностью склонилось над ней накануне вечером? Неужели это тот самый человек, который провел позавчера вечер в

тихом семейном кругу с сестрой и кузиной — такой снисходительный с одной, такой ласковый с другой, — читая Шекспира и слушая стихи Шенье?

Да, это был тот же человек, но сейчас сказались другие особенности его характера, о которых Каролина только смутно догадывалась. Ну что ж, ведь и сама она, вероятно, не лишена недостатков, как и всякий человек, и, случись ей узнать Мура с худшей стороны, она не осудила бы его слишком строго. Любовь прощает все, кроме низости. Низость убивает любовь, ослабляет даже родственную привязанность; без уважения нет настоящей любви. Мур, невзирая на все свои недостатки, заслуживал уважения: у него не было постыдных и пятнающих человека пороков, как, например, лживость; не был он и рабом своих страстей; деятельная жизнь, к которой его предназначили и подготавливали чуть ли не со дня рождения, поставила перед ним цели более достойные, чем легкомысленная погоня за развлечениями. Поклонник разума, а не раб своих чувств, он никогда и ничем себя не унижил. Таков же был и старик Хелстоун. Для этих двоих ложь, будь то на словах, в помыслах или действиях, была невозможна; ни для того, ни для другого не представляла соблазна только что убранная злополучная темная бутылка; каждому из них подходило гордое звание «венца творения», ибо животные инстинкты не имели над ними власти: они были неизмеримо выше жалкого Сайкса.

Со двора донесся неясный гул голосов и шагов, затем все стихло. Мур подошел к окну, за ним Хелстоун; младший и более высокий стал позади старшего так, чтобы, оставаясь незамеченными, следить за происходившим во дворе; время от времени они молча обменивались красноречивыми взглядами, и в их обычно строгих глазах светилась насмешка.

Раздалось многозначительное покашливание, — очевидно, будущий оратор готовился произнести речь, — затем энергичное «ш-ш» по адресу расшумевшихся. Чтобы лучше слышать, Мур чуть приотворил окно.

— Джозеф Скотт, — заговорил кто-то гнусавым голосом (Скотт стоял как часовой у дверей конторы), — разрешите узнать, находится ли ваш хозяин в конторе и может ли нас выслушать?

— А где же ему еще быть! — небрежно бросил Джо.

— Тогда не будете ли вы так добры, — посетитель сделал ударение на «вы», — не будете ли вы так добры доложить, что двенадцать джентльменов желали бы повидать его.

— А коли он спросит, зачем он им нужен, что прикажете ему сообщить?

— Есть к нему дело.

Джо вошел в контору.

— Смею доложить, сэр, двенадцать джентльменов желали бы повидать вас, говорят, «есть дело».

— Хорошо, Джо. Я к их услугам. Сегден, выходите, как только я свишну.

Мур вышел из конторы, сухо улыбаясь; держа одну руку в кармане, другую заложив за борт жилета, он с независимым видом вышел на середину двора; его фуражка была надвинута на самые глаза и затеняла взгляд, светившийся презрением. Его поджидали двенадцать человек, кто в одних рубашках, кто в синих фартуках; как бы возглавляя группу, впереди стояли двое: невысокий человечек со вздернутым носом, вертлявый и жеманный, и широкоплечий мужчина, весьма приметный не только из-за своего хитрого лица и лукавых кошачьих глаз, но и благодаря деревянной ноге и костылю; губы его беспрестанно кривились, словно он все время исподтишка усмехался, да и весь его облик не производил впечатления искреннего, честного человека.

— Доброе утро, мистер Барраклу, — довольно приветливо промолвил Мур.

— Мир да пребудет с вами, — прозвучало в ответ, и мистер Барраклу совсем прикрыл свои и без того сощуренные глазки.

— Спасибо за пожелание; мир — отличная штука; я и сам больше всего на свете ценю мир. Но я полагаю, это не все, что вы хотите мне сказать? Я думаю, вы пришли сюда не из мирных побуждений?

— Что до наших побуждений, они могут показаться странными и нелепыми таким людям, как вы, — ведь вы, сыны мирские, считаете себя умнее «детей света».

— Поближе к делу: что вам надо?

— Сейчас услышите, сэр; если я сам не сумею толком разъяснить вам, то здесь еще одиннадцать человек, они мне помогут: перед нами

великая цель и, тут он перешел с несколько глумливого тона на плаксивый, — даже больше того — это цель самого нашего господина!

— Вы, очевидно, собираете пожертвования, чтобы открыть новую молельню, мистер Барраклу? Какое еще у вас может быть дело ко мне?

— Нет, не это было у меня на уме, сэр; но раз провидение внушило вам эту мысль, приму от вас всякую лепту, какую сообразоволю пожертвовать, даже самую малую.

Он снял с головы шляпу и протянул ее за подающим, наглая усмешка мелькнула на его лице.

— Если я дам вам шесть пенсов, вы их пропьете.

Барраклу воздел руки ладонями кверху, закатил глаза и застыл в смехотворно ханжеской позе.

— Хороши вы, нечего сказать, — хладнокровно продолжал Мур, — даже не считаете нужным скрывать от меня, что вы отъявленный лицемер и мошенник, что ваша профессия — плутовство; грубо играя свою шутовскую роль, вы рассчитываете меня позабавить и в то же время одурачить людей, которые пришли вместе с вами.

Лицо Моисея вытянулось; он понял, что зашел слишком далеко; пока он обдумывал свой ответ, другой жоак, — ему тоже не терпелось себя показать, выступил вперед. Этот человек при всей своей самонадеянности и заносчивости все же не походил на предателя.

— Мистер Мур, — заговорил он гнусавым и сиплым голосом, растягивая слова как бы для того, чтобы присутствующие могли оценить его изысканную манеру выражаться, — правильное было бы сказать, что мы не столько ратуем за мир, сколько взываем к разуму. Мы пришли, во-первых, чтобы просить вас внять голосу рассудка, если же вы откажетесь это сделать, то считаю своим долгом вас предупредить, притом самым решительным образом, что мы вынуждены будем прибегнуть к мерам, которые, возможно, приведут к тому, что вы... что вы поймете все безрассудство, всю... всю глупость, которые, очевидно, руководят вашей деятельностью как фабриканта в здешнем промышленном округе... гм... я позволю себе заметить, что вы, сэр, как чужеземец, прибывший с дальних берегов, из другой четверти... из другого полушария земли, выброшенный, можно сказать, на скалы, скалы Альбиона, вы не можете понять нас и наших обычаев и не знаете, что идет на пользу рабочим людям, — короче говоря, неплохо было бы вам оставить эту фабрику и без промедления

убраться восвояси туда, откуда вы явились. По-моему, так будет правильно. Что скажете, друзья? — обратился он к остальным, которые хором откликнулись: «Правильно, правильно!»

— Бр-р-раво, Ной О'Тимз! — пробормотал Джо Скотт, стоявший рядом с Муром. — Куда там Моисею! Скалы Альбиона, другое полушарие! Ну и ну! Да не из Антарктики ли вы прибыли к нам, хозяин? Моисею крыть нечем!

Моисей, однако, не пожелал признать себя побежденным и, метнув неприязненный взгляд на Ноя О'Тимза, снова заговорил, на этот раз более серьезно, отказавшись от язвительного тона, который не принес ему успеха.

— Пока вы не раскинули свои шатры среди нас, мистер Мур, мы жили в мире и покое; можно даже сказать — в дружбе и любви; хотя сам я еще не старый человек, однако помню, как здесь жилось лет двадцать тому назад, когда ручной труд уважали и поощряли и ни один вредный человек не пытался навязать нам эти проклятые машины; я-то сам не суконщик, я — портной, но сердце у меня мягкое, я человек добрый, и когда вижу, как моих братьев притесняют, то, как и мой тезка, великий пророк древних веков, я за них заступаюсь; вот почему я сегодня и говорю с вами напрямик и советую вам выкинуть ваши чертовы машины и взять на работу еще людей.

— А что, если я не последую вашему совету, мистер Барраклу?

— Господь да простит вас. Господь да смягчит ваше ожесточенное сердце, сэр.

— Вы теперь член веслеянской секты, <sup>[71]</sup> мистер Барраклу?

— Хвала всевышнему! Да будет благословенно имя его! Да, я принадлежу к методистскому братству.

— Что не мешает вам быть пьяницей и жуликом. С неделю тому назад я возвращался поздно вечером из Стилбро и видел, как вы валялись на дороге мертвецки пьяный. На словах вы проповедуете миролюбие, а на деле только и помышляете о том, чтобы сеять раздоры и распри. Несчастливым, попавшим в беду, вы сочувствуете ничуть не больше, чем мне; из каких-то темных побуждений вы подбиваете их на дурные дела, и точно так же поступает субъект, именуемый Ноем О'Тимзом. Оба вы неисправимые интриганы и наглые негодяя, и вами руководит только пустое, но очень опасное

честолюбие и корысть. Среди тех, кто пришел с вами, есть люди честные, хотя и заблуждающиеся, но вы оба закоренелые мерзавцы.

Барраклу хотел было возразить.

— Молчите! Вы свое сказали, теперь буду говорить я. Я не потерплю, чтобы мной командовали вы, или еще какой-нибудь Джек или Джонатан. Вы хотите, чтобы я уехал отсюда; вы желаете, чтобы я отказался от своих машин; вы пускаете в ход угрозы, на случай если я откажусь это сделать; но я отказываюсь, и наотрез. Я остаюсь здесь, я не покину своей фабрики, а в ее стенах поставлю самые лучшие машины, какие только придумают изобретатели. Как вы можете помешать мне? Самое большее, что вы можете сделать, но никогда не осмелитесь, — это сжечь мою фабрику, разгромить ее и застрелить меня самого. Ну, а что дальше? Предположим, от фабрики останутся одни развалины, да и меня уже не будет в живых — и что же? Отвечайте, вы все, стоящие за спинами этих мерзавцев: разве это приостановит прогресс науки и изобретение новых машин? Ни на секунду! Другая, более совершенная суконная фабрика поднимется на ее развалинах, и другой, возможно, более предприимчивый владелец придет на мое место. Так вот: я по-прежнему буду выделять свои сукна как смогу лучше и буду пользоваться теми способами, какими мне заблагорассудится. И если после всего сказанного кто-нибудь еще осмелится мешать мне, пусть пеняет на себя! Вы сейчас убедитесь, что я не шушу!

Он громко свистнул. Констебль Сегден, держа в руках свой жезл и разрешение на арест, тотчас же вышел из конторы.

Мур круто повернулся к Барраклу.

— Я знаю, что вы тоже были в Стилбро, у меня есть тому доказательства. Вы были в маске и своей рукой сбили с ног моего рабочего, вы — проповедник слова Божьего! Сегден, арестуйте его!

Моисей был схвачен; у присутствующих вырвался крик, они бросились было к нему на выручку, но тут Мур поднял руку (которую до того держал за бортом жилета), и в ней блеснул пистолет.

— Оба ствола заряжены, и шутить с вами я не намерен! Назад!

Пятясь и не спуская глаз со своих противников, Мур проводил Барраклу до конторы; затем он приказал Джо Скотту войти туда вместе с Сегденом и арестованным и заложить дверь на засов. Сам же он принялся ходить взад и вперед перед фабрикой, задумчиво потупив



взор и все еще держа пистолет в небрежно опущенной руке. Оставшиеся некоторое время наблюдали за ним, тихонько переговариваясь; наконец один из них подошел к Муру. Человек этот не походил на двух предыдущих ораторов; его мужественное лицо было несколько суровым, но держался он скромно и с достоинством.

— Я не очень-то верю Моисею Барраклу, — начал он, — и хочу поговорить с вами сам по себе, мистер Мур. Я пришел сюда не со злым умыслом, а чтобы сказать вам — надо что-то изменить, сейчас все идет неладно. Нам приходится туго, очень туго. Семьи наши бедствуют, голодают, из-за машин нас выбрасывают на улицу, мы не находим работы, ничего не зарабатываем; что же нам остается? Сказать — пропади все пропадом, лечь и умереть? Нет! Говорить я не мастер, хозяин, но знаю твердо: недостойно человека, наделенного разумом, сразу сдаться без борьбы, умереть с голоду, как бессловесная скотина, нет, это не годится. Я против кровопролития; не то чтобы убить, но даже обидеть человека не мог бы, и я против того, чтобы разрушать фабрики и ломать машины; вы верно сказали — ничего от этого не изменится; но говорить я буду, и пусть все слушают. Изобретения, может, и хорошая штука, но нельзя же, чтобы люди из-за них умирали с голоду. Те, кто наверху, должны помочь нам, должны найти какой-то выход, завести другие порядки. Вы скажете — это очень трудно. Ну что ж, стало быть, тем громче нам придется требовать, потому что там, в парламенте, им не захочется браться за такое трудное дело.

— Требуйте от парламента всего, что вам угодно, — оборвал его Мур, — но бессмысленно предъявлять такие требования к владельцам фабрик. Я лично этого не потерплю.

— Жестокий вы человек, мистер Мур, — заметил рабочий. — Может, вы не будете так спешить? Может, повремените с вашими машинами?

— Что же, по-вашему, я представляю всю корпорацию суконщиков Йоркшира? Ну, отвечайте.

— Нет, только самого себя.

— Да, только самого себя. И стоит мне на минуту остановиться, отстать от других, как меня раздавят. Если бы я вас послушался, то не далее как через месяц я был бы разорен. Но разве мое разорение дало бы вашим голодным детям кусок хлеба? Нет, Вильям Фаррен, я не подчинюсь ничьим требованиям ни вашим, ни ваших товарищей. И не

говорите со мной больше об этом; я буду поступать, как нахожу нужным. Завтра же мне доставят новые машины, а сломаете вы их, я закажу новые, и ни за что не отступлюсь.

Фабричный колокол возвестил час обеда. Мур круто повернулся и вошел в контору.

Его последние слова произвели гнетущее впечатление на присутствующих, да и сам он упустил случай приобрести верного друга, поговорив сердечно с Вильямом Фарреном, честным рабочим, который не питал ненависти и зависти к людям более преуспевающим, не смотрел на необходимость трудиться как на тягостное бремя, а напротив, был всем доволен, если только ему удавалось получить работу. Странно, что Мур отвернулся от такого человека, не сказав ему доброго слова, не посочувствовав ему. Изможденный вид бедняги говорил о том, как трудна его жизнь, о том, что он неделями, а может, и месяцами лишен был достатка и благополучия. Однако лицо его не выражало ни ожесточенности, ни озлобления. Оно было измученным, удрученным, суровым, но взгляд был терпеливым. Как же мог Мур сказать ему «я не отступлюсь» и уйти без единого слова участия, ничего не пообещав, ничем его не обнадежив?

Об этом и раздумывал Фаррен, возвращаясь к себе; дом его — некогда уютное, чистое, приятное жилье — теперь выглядел мрачно, хоть и по-прежнему сверкал чистотой. В нем царила нужда. Фаррен наконец решил, что этот иностранец, должно быть, себялюбивый, черствый и просто неразумный человек и что даже переезд в чужие края, — имея он только для этого средства, — лучше, чем работа у такого хозяина. Придя к этому выводу, он совсем расстроился и пал духом.

Как только Вильям вошел в комнату, жена поставила на стол скудную еду: это была всего лишь миска овсянки, да и той было мало. Младшие детишки съели свою порцию и попросили добавки; этого Вильям не мог выдержать. Он встал и вышел за дверь, между тем как жена его осталась успокаивать малышей. Для бодрости он принялся насвистывать веселую песенку, однако из его серых глаз скатились по щекам и упали на порог две крупные слезы, куда больше похожие на «первые капли грозового ливня»,<sup>[72]</sup> чем кровь, сочившаяся из раны гладиатора. Он вытер глаза рукавом и, поборов отчаяние, серьезно задумался.

Фаррен все еще стоял на пороге, когда невдалеке показался человек в черной одежде, — по виду священник, но это был не Хелстоун, не Мелоун, не Донн и не Суитинг. Ему можно было дать лет сорок; у него было смуглое, ничем не примечательное лицо и преждевременно поседевшие волосы; он шел слегка сгорбившись и казался задумчивым, даже печальным; но, приблизившись к дому, он заметил Фаррена, и приветливая улыбка озарила его озабоченное, серьезное лицо.

— Это ты, Вильям? Как поживаешь?

— Неважно, мистер Холл. Вы сами-то как поживаете? Не хотите ли зайти передохнуть?

Мистер Холл (имя его уже знакомо читателю) был приходским священником в Наннли; там же родился и вырос Фаррен, всего лишь три года как перебравшийся в Брайерфилд, чтобы жить поближе к фабрике Мура, где он нашел работу. Войдя в домик и приветливо поздоровавшись с хозяйкой и детишками, он принялся оживленно говорить о том, как много воды утекло с тех пор, как они виделись в последний раз, ответил на вопросы хозяев о его сестре Маргарет, затем принялся в свою очередь расспрашивать их о том о сем, и, наконец, бросив быстрый и тревожный взгляд сквозь очки (он был близорук) на голую комнату, на исхудалые, бледные лица детей, обступивших его тесным кругом, на стоявших перед ним Фаррена и его жену, он спросил коротко:

— Ну, а с вами-то что? Как вам живется?

К слову сказать, мистер Холл, хотя и вполне образованный человек, вообще говорил с отчетливым северным акцентом, а иногда переходил и на местное просторечье.

— Туго нам приходится, работы нет, — ответил Вильям. — Сами видите, уже продали все, что только можно было, а что будем дальше делать, один Бог ведает.

— Разве мистер Мур вас уволил?

— Уволил; и теперь я так его узнал, что, предложи он мне вернуться, я и сам к нему не пойду.

— Ты никогда прежде так не говорил, Вильям.

— Знаю, но я никогда прежде и не был таким; я стал совсем другим человеком; я бы не тревожился, если бы не жена и ребяташки. Вон какие они у меня худые, изголодавшиеся.

— Ты тоже плохо выглядишь, дружок; уж я-то вижу. Тяжелые настали времена; куда ни глянешь — везде горе. Ну что же, присядь, Вильям, присядь, Грейс; давайте потолкуем.

Чтобы спокойнее потолковать, мистер Холл посадил себе на колени самого маленького и положил руку на голову другого малыша; те принялись было щебетать, но он унял их, помолчал с минуту, задумчиво глядя на горстку золы, тлевшую в камине, затем промолвил:

— Да, печальные времена. И конца им не видно; так уж Богу угодно! Да будет его святая воля! Но тяжело испытывает он нас. — Священник снова призадумался. — Итак, у тебя нет денег, Вильям, и нечего продать, хотя бы на небольшую сумму?

— Нечего; я продал и комод, и часы, и этажерку красного дерева, и чайный поднос, и фарфоровый сервиз, что я получил за женой в приданое.

— А если бы кто-нибудь дал тебе в долг фунт-другой, сумел бы ты их с толком употребить? Сумел бы снова встать на ноги?

Вильям молчал, но жена поспешила ответить за него:

— А то как же, сэр, конечно сумел бы: он смысленный, наш Вильям. Будь у него два-три фунта, он мог бы заняться торговлей.

— Что скажешь, Вильям?

— С Божьей помощью! — неторопливо ответил тот. — Я набрал бы бакалейного товара, тесьмы, ниток и всего, что ходко раскупается, и поначалу занялся бы торговлей в разнос.

— И уверяю вас, сэр, — вмешалась Грейс, — Вильям не станет ни лениться, ни пьянствовать и не растратит деньги попусту. Он мой муж, и не годится мне хвалить его, но я должна сказать, что во всей Англии не сыщешь более честного, степенного человека.

— Ну что ж, я поговорю кое с кем из друзей и думаю, мне удастся достать пять фунтов через денек-другой. Но я их не дарю, а даю в долг; потом ты их вернешь.

— Я понимаю, сэр, и охотно соглашаюсь.

— А пока, Грейс, вот тебе несколько шиллингов на первое время, пока не заведутся покупатели; ну-с, ребяташки, встаньте-ка вокруг меня и покажите, как вы знаете Закон Божий, а мать отправится за покупками к обеду, — ведь обед-то у вас был не слишком сытный, я знаю. Ну, начнем с тебя, Бен.

Мистер Холл просидел у Фарренов до возвращения Грейс и затем собрался уходить; он пожал руки Вильяму и его жене и уже с порога обратился к ним с коротким наставлением и теплыми словами утешения; затем они расстались, взаимно пожелав друг другу: «Да благословит вас Бог, сэр», «Да благословят вас Бог, друзья мои!»

## ГЛАВА IX

### Брайермейнс

Когда Мур после разговора с ткачами вернулся в контору, Хелстоун и Сайкс приветствовали его шумными поздравлениями и веселыми шутками. Однако Мур так равнодушно выслушивал комплименты по поводу своего мужества и твердости характера и вид у него был такой хмурый, что священник, бросив на него пристальный взгляд, замолк и сказал Сайксу (ибо тот не отличался догадливостью и не способен был без посторонней помощи понять, что своим присутствием и разговорами докучает людям):

— Пойдемте, сэр, нам с вами по пути, вот и составим друг другу компанию. Простимся с хозяином, ему не до нас: у него сейчас мечтательное настроение.

— Но где же Сегден? — спросил Мур, озираясь по сторонам.

— Вот то-то! — вскричал Хелстоун. — Вы были заняты, но и я не сидел сложа руки и скажу без хвастовства, немного помог вам. Я решил не терять времени зря, и, пока вы разговаривали с Фарреном, — так, кажется, зовут этого унылого субъекта, — я отворил окно на задний двор и приказал Мергатройду, который был в конюшне, подать двуколку Сайкса к крыльцу; потом выпроводил Сегдена и Моисея с его деревяшкой, посмотрел, как они садились в экипаж (все это, разумеется, с разрешения нашего доброго приятеля Сайкса) и как Сегден взял в руки вожжи, — а правит он отлично. Словом, через каких-нибудь четверть часа наш Барраклу будет в надежном месте — в стенах Стилброской тюрьмы.

— Отлично, очень вам благодарен, — ответил Мур и затем, помолчав, добавил: — Прощайте, джентльмены.

Он вежливо проводил их до дверей конторы и смотрел им вслед, пока они не скрылись из вида.

Весь день он был молчалив, угрюм и ни разу не обменялся шуткой с Джо Скоттом; тот, со своей стороны, обращался к хозяину только за самым необходимым, однако то и дело забегал в контору помешать в камине и при этом краешком глаза поглядывал на хозяина. Уже запирая двери по окончании работы (в торговле был застой, и

фабрика оканчивала теперь работу ранее обычного), он заметил, что сегодня прекрасная погода и он позволит себе посоветовать мистеру Муру прогуляться; это его развлечет.

Мур только коротко рассмеялся и спросил Джо, что, собственно, означает эта удивительная заботливость, — уж не принимает ли он его за женщину или ребенка? Затем выхватил у него из рук связку ключей и подтолкнул к двери. Однако не успел Джо дойти до фабричных ворот, как Мур его окликнул:

— Джо, ты, кажется, знаешь этих Фарренов? Что, худо им приходится?

— А то как же — Вильям не работает уже больше трех месяцев. Вы сами видели, как он сдал. Они распродали чуть ли не все, что было в доме.

— Он ведь, кажется, был неплохим рабочим?

— Лучшего у нас не было, сэр, с тех пор как вы ведете дело!

— А семья у него хорошая?

— Еще бы! Жена такая милая, работающая женщина и до чего же опрятная! Держит дом в такой чистоте, что, как ни старайся — не найдешь и пылинки. Но теперь-то им туго приходится. Хорошо бы Вильяму устроиться куда-нибудь садовником, что ли, он эту работу знает, жил когда-то у одного шотландца, тот и обучил его разным премудростям.

— Ладно, Джо, можешь идти; чего ты на меня уставился?

— У вас нет больше распоряжений, хозяин?

— Только одно — чтобы ты поскорее убрался отсюда.

Джо повиновался.

\* \* \*

Весной вечера нередко бывают холодными и сырыми, и хотя весь день с самого утра держалась ясная и солнечная погода, однако на закате похолодало и землю прихватило изморозью; в сумерки серебристый иней покрыл первую траву и набухшие почки, побелил площадку перед Брайермейнсом — жилищем мистера Йорка — и прихватил нежные ростки в саду и на бархатистой лужайке. Что до могучего дерева, осенявшего своими раскидистыми ветвями дом, то

оно, казалось, ничуть не страшилось заморозков, — да и что могло сделаться его голым сучьям! Так же гордо держалась еще не одевшаяся листвою ореховая рощица, высоко поднявшая свои вершины за домом.

Окна дома ярко светили во мгле безлунного, хотя и звездного вечера. Место здесь не было ни мрачным, ни уединенным, ни даже тихим. Дом стоял у проезжей дороги, но выстроен он был в старину, когда этой дороги еще не было, и в те времена к нему вела лишь извилистая тропинка среди полей. Не далее мили отсюда лежал Брейерфилд, — его шум ясно слышался здесь, и виднелись его огни. Поблизости возвышалась методистская молельня — большой, суровый, сумрачный дом; несмотря на поздний час, в его стенах шло молитвенное собрание, из окон падали на дорогу полосы света, и дикий псалмы, от которых самый мрачный из квакеров способен был бы пуститься в пляс, будили веселое эхо в окрестностях. Из дома доносились отдельные фразы; вот несколько отрывков из различных псалмов, ибо поющие с необычайной легкостью переходили от гимна к гимну, от напева к напеву.

Кто объяснит  
Смысл жизни сей?  
Голод томит,  
Войны все злей,  
Смуты терзают,  
Горе гнетет.  
Но все возвещает  
Иисуса приход!  
Наша судьба  
Бой без пощады.  
Кровь и борьба  
Смелых отрада.  
Время ль укорам?  
Все мы умрем,  
Сраженные мором,  
Огнем и мечом!



Тут пение внезапно сменилось молитвой, выкрикиваемой в полный голос, и ужасающими стонами; одинокий вопль: «Я обрел свободу! Дод О'Биллс обрел свободу!» — разнесся далеко вокруг, и в ответ снова грянул хор.

Милость так высока!  
Благость так велика!  
Сколь я счастлив, не в силах сказать!  
Как овечки в стада,  
Собрались мы сюда,  
Жизнь и гибель готовы принять.  
Славословить Христа  
Не устанут уста!  
За великое счастье почту  
Божий стяг поднимать  
И везде прославлять  
Неземную его доброту.  
Нас Господь возлюбил,  
Труд наш благословил;  
Словно пастырь сзывает нас он!  
Отовсюду сошлись.  
Струи в реки слились,  
И, смотри, стало нас легион!  
Что собрало всех нас?  
Может, ангельский глас?  
Нет! Сошлись мы сюда для того,  
Чтобы дух наш воскрес,  
Чтобы с хором небес  
Славить Бога и агнца его!

Снова раздались восклицания, вопли, неистовые выкрики, мучительные стоны, затем с предельным воодушевлением и страстью были пропеты следующие строфы:

Днем и ночью, каждый час  
Ад подстерегает нас,

И от дьявольских тенет  
Только вера нас спасет!  
Даже в логовище льва  
Вера в Господа жива,  
Даже через море вброд  
Нас Христос перенесет!

Последняя строфа прозвучала душераздирающим визгом:

В очистительном огне  
Славим Господа вдвойне;  
Выше пламя, громче глас:  
Не покинь, Всевышний, нас!

И крыша не взлетела на воздух от этих воплей, что как нельзя более красноречиво свидетельствует о ее прочности.

В Брайермейнсе тоже царило оживление, хотя, конечно, куда более умеренное, чем в молельне. Кое-где в окнах нижнего этажа, выходящих на лужайку, виднелся свет; спущенные занавеси скрывали от посторонних взоров ярко освещенные комнаты, но не совсем заглушали звуки голосов и смеха. Что ж, воспользуемся возможностью войти туда, проникнуть в святая святых этого дома.

В жилище мистера Йорка так весело сейчас вовсе не потому, что туда съехались гости. Нет, там никого не видно, кроме его домашних, и все они собрались в самой дальней комнате правого крыла, в небольшой гостиной, отведенной для вечернего досуга.

Днем вы увидели бы здесь сверкающие окна из цветных, главным образом янтарных и лиловых, стекол, которые поблескивают вокруг двух темных медальонов — на одном изображена величественная голова Шекспира, а на другом безмятежно спокойное лицо Джона Милтона. Стены увешаны видами Канады с ее зелеными лесами и голубыми водами, а среди них пылает ночное извержение Везувия. Багровое зарево кажется особенно ярким на фоне остальных картин с их холодными тонами — лазурью и белоснежной пеной водопадов и сумрачными лесными дебрями.

Комнату освещает огонь, какого тебе, читатель, если ты приехал из южных краев, наверно, не доводилось еще видеть ни в одном жилище, — это горит жарким чистым пламенем груды угля, заполнившая большой камин. Мистер Йорк приказывает поддерживать такой огонь даже в теплую летнюю пору. Сейчас он сидит у огня с книгой в руках, а возле на небольшой круглой подставке стоит зажженная свеча; однако он не читает, а смотрит на своих детей. Напротив него сидит подруга его жизни; я могу сейчас подробно описать ее, хотя это не доставит мне большого удовольствия. Она отчетливо видна мне, эта дородная особа весьма мрачного вида; ее чело и вся осанка говорят о бремени забот, не то чтобы гнетущих и неотвратимых, нет, но о тех повседневных, мелких заботах и тяготах, которые любят добровольно возлагать на свои плечи люди, считающие своим долгом выглядеть хмурыми. Увы! У миссис Йорк было именно такое представление о своих обязанностях, и она упорно выглядела угрюмой и мрачной во всякое время дня и ночи. И она жестоко осуждала то несчастное существо, — в особенности женского пола, — которое осмеливалось в ее присутствии радостной улыбкой проявлять свой веселый нрав; веселость она неукоснительно считала признаком неблагочестия, приветливость — признаком легкомыслия.

Впрочем, она была очень хорошей женой и заботливой матерью, неустанно пеклась о своих детях, была искренне привязана к мужу; плохо было только одно: если бы ей дали волю, она бы приковала к себе мужа и заставила его забыть обо всех своих друзьях; его родню она не выносила и держала их всех на почтительном расстоянии.

Супруги жили в полном согласии, несмотря на различие характеров: муж был по природе общительным, гостеприимным человеком, любил всех своих многочисленных родичей, а в юности, как уже упоминалось, предпочитал общество веселых, бойких женщин; и почему он выбрал в жены именно эту особу, как случилось, что они подошли друг другу, представляется трудно разрешимой загадкой, которую можно, однако, разрешить, если дать себе труд вникнуть в существо дела. Сейчас же я ограничусь замечанием, что в натуре мистера Йорка наряду с жизнерадостностью уживалась и некоторая мрачность, и потому-то ему пришлась по душе угрюмость его супруги. Впрочем, это была женщина трезвого ума; с ее уст ни разу не слетело ни одно необдуманное или пустое слово. Она

придерживалась строгих демократических взглядов на общество в целом и несколько циничных на человеческую натуру; самое себя она считала безупречно добродетельной, а весь остальной мир — порочным. Основным ее недостатком была неискоренимая подозрительность, мрачное предубеждение против всех людей, их поступков и взглядов; эта подозрительность туманила ей глаза и была ей плохим советчиком в жизни.

Трудно предположить, чтобы у таких супругов были заурядные, ничем не примечательные дети; и заурядными они, конечно, не были. Перед вами, читатель, их шестеро: самого младшего, грудного младенца, мать держит на руках; он пока еще безраздельно принадлежит ей, в нем — одном-единственном она еще не сомневается, не подозревает его, не осуждает; она его кормилица, он тянется, льнет к ней, любит ее превыше всего на свете, в этом она уверена, — ведь его жизнь всецело зависит от нее, иначе он относиться к ней не может, и поэтому-то он так ей дорог.

Две девочки, Роза и Джесси, стоят возле отца; они всегда сторонятся матери и никогда по своей воле к ней не подходят. Старшей, Розе, двенадцать лет; она похожа на отца больше всех братьев и сестер — образно говоря, ее головка воспроизводит в слоновой кости черты отца, как бы высеченные из гранита, — все линии и краски гораздо мягче, чем на жестком лице Йорка; лицо дочери лишено жесткости, однако особенно хорошеньким назвать его нельзя; это обыкновенное детское личико с круглыми румяными щечками; только взгляд ее серых глаз отнюдь не детский, в нем уже светится серьезная мысль, — правда, пока еще незрелая, но она разовьется, если девочке дано будет жить, и тогда уж дочь намного опередит своих родителей. Их характеры получают в ней иное воплощение — более светлое, благородное, сильное. Сейчас это тихая девочка, в которой иногда проскальзывает упрямство; мать хотела бы воспитать из нее женщину, подобную самой себе, — рабу сурового и скучного долга; однако у Розы уже намечается особый склад ума, в ее головке зреют мысли, о которых мать не имеет и понятия; она по-настоящему страдает, когда взрослые смеются над этими мыслями. Против воли родителей она еще не восставала; но если чересчур натянуть удила, она взбунтуется и раз и навсегда выйдет из повиновения. Роза любит отца, он обращается с ней мягко, без

деспотизма, он к ней добр. Мистеру Йорку иногда кажется, что его дочь не жилища на этом свете, — слишком пытливый ум сквозит в ее глазах и в ее суждениях, и поэтому его отношение к Розе окрашено налетом печальной нежности.

Что касается малютки Джесси, то отец далек от мысли, что она недолго проживет: она ведь так весела, так мило болтает, уже и сейчас такая лукавая, такая остроумная! Она может вспылить, если ее заденут, но зато как она ласкова, если с ней добры! Послушание сменяется в ней шаловливостью, капризы — порывами великодушия; она никого не боится — даже своей матери, и не всегда подчиняется ее неумеренно строгим и жестким требованиям, зато она мила и доверчива с теми, кто к ней добр. Очаровательной Джесси суждено быть всеобщей любимицей, — и сейчас она любимица своего отца. Если Роза похожа на отца, то эта девчушка, как ни странно, вылитая мать, хотя в выражении их лиц нет ничего общего!

Мистер Йорк, как вы думаете, что бы вы увидели в волшебном зеркале, если бы вам показали в нем ваших дочерей, какими они станут через двадцать лет? Вот оно, это волшебное зеркало; оно поведаст вам об их судьбах и прежде всего о судьбе вашей любимицы Джесси.

Знакомо ли вам это место? Нет, никогда прежде вы его не видели; но вы узнаете эти деревья и зелень — это кипарис, ива, тисс. Вам случалось видеть и такие каменные кресты, и такие тусклые венки из бессмертника. Вот оно, это место, — зеленый дерн и серая мраморная плита — под ней покоится Джесси. Она прожила только весну своей жизни; была горячо любима, и сама горячо любила. За время своей короткой жизни она нередко проливала слезы, извела много огорчений, но и часто улыбалась, радуя всех, кто ее видел. Умерла она мирно, без страданий, в объятиях преданной ей Розы, которая служила ей опорой и защитой среди многих житейских бурь; обе девушки были в тот час одни в чужом краю, и чужая земля приняла усопшую Джесси в свое лоно.

Теперь взгляните на Розу еще два года спустя. Необычно выглядел тот уголок земли с крестами и венками, но еще необычнее представшие перед вами сейчас горы и леса. Эта местность, одетая буйной, роскошной растительностью, конечно, лежит далеко от Англии. Перед нами девственная глушь, диковинные птицы порхают у

опушки леса; не европейская это река, на берегу которой сидит погруженная в раздумье Роза — скромная йоркширская девушка, одинокая изгнанница в одной из стран южного полушария. Вернется ли она когда-нибудь на родину?

Трое старших детей — мальчики: Мэттью, Марк и Мартин. Вот они сидят все вместе в углу, занятые какой-то игрой. Присмотритесь к ним: на первый взгляд вам покажется, что они как две капли воды похожи друг на друга, затем вы подметите, что у каждого есть что-то свое, отличающее его от других, и наконец придете к выводу, что они совсем разные. Все трое темноволосые, темноглазые, краснощекие мальчуганы с мелкими чертами лица — характерная особенность английского типа; у всех разительное сходство с отцом и матерью, и в то же время у каждого на лице отпечаток своеобразия, у каждого из них свой характер.

Я не стану обстоятельно описывать первенца — Мэттью, хотя лицо его привлекает внимание и невольно заставляет призадуматься о тех свойствах, о которых оно говорит открыто или которые скрывает. Мальчик не лишен привлекательности; черные как смоль волосы, белый лоб, яркий румянец, живые темные глаза — в отдельности все его черты приятны. В этой комнате его можно сравнить лишь с одной картиной, притом зловещей, которая чем-то напоминает вам внешность Мэттью, а именно — «Извержение Везувия». Душа мальчика, кажется, состоит из двух стихий: из пламени и мрака; в ней не светит ясный солнечный свет, не мерцает зыбкое холодное лунное сияние; за его наружностью англичанина кроется не английский характер; его хочется сравнить с итальянским кинжалом в ножнах британской выделки. Вот что-то досаждало ему и как грозно он нахмурился! Мистер Йорк замечает это, но что же он говорит? Тихим, вкрадчивым голосом он просит: «Марк, Мартин! Зачем вы сердите брата?» — и никогда ничего другого.

На словах родители осуждают всякое пристрастие; казалось бы, в их доме не должно быть права первородства. Однако младшим детям не разрешается задевать Мэттью, ему нельзя даже возражать: родители стараются оградить его от малейшей неприятности так же усердно, как ограждали бы от огня бочку с порохом. «Уступите, не спорьте» — вот их девиз, как только дело коснется их первенца. Эти республиканцы прилагают все усилия к тому, чтобы их родной сын вырос деспотом.

Такое явное предпочтение до глубины души возмущает младших сыновей; они не понимают поведения родителей, но видят разницу в обращении и чувствуют несправедливость. Драконовы зубы уже посеяны<sup>[73]</sup> среди юных оливковых деревьев в семье Йорка, и урожаем будет междоусобная война.

Второй сын Марк красивее других детей, у него очень правильные черты лица. Он всегда невозмутимо спокоен, но улыбка у него лукавая и он умеет с самым хладнокровным видом говорить самые неприятные и обидные вещи; несколько нависший лоб свидетельствует о том, что, несмотря на внешнюю невозмутимость, у мальчика есть характер, и вы невольно вспоминаете, что в тихом омуте черти водятся. Кроме того, он слишком замкнут, неподвижен и флегматичен, чтобы стать счастливым. Жизнь никогда не будет казаться ему радостной; в двадцатипятилетнем возрасте он уже будет удивляться при виде смеющихся людей и считать глупцами всех, кто веселится. Поэзия, как в жизни, так и в литературе, не найдет отклика в его душе; прекрасные лирические выражения чувств он будет воспринимать как пустословие и относиться с презрением к душевным порывам и восторгам; Марку не дано изведать молодости; с виду еще цветущий юноша, в душе он будет уже почти стариком. И сейчас у этого четырнадцатилетнего мальчика душа тридцатилетнего мужчины.

Совсем другой склад характера у младшего из сыновей — Мартина. Никто не может сказать, будет ли его жизнь короткой или долгой, но несомненно одно: она будет блистательной. Он изведает все земные обольщения, отчасти поверит в них и полностью насладится ими, но затем они потеряют над ним свою власть. У этого мальчика ничем не примечательная внешность, он не так красив, как его старшие братья; он весь словно скованный, на нем — жесткий панцирь отрочества, который он сбросит только к двадцати годам, и сразу окажется красивым юношей; но до той поры он останется неуклюжим подростком, всегда одетым очень просто; однако со временем куколка неизбежно превратится в бабочку. Тогда он станет, — правда, ненадолго, — тщеславным юнцом, чуть ли не фатом, жаждущим поклонения, жадным до удовольствий, но жадным также и до знаний; он будет тянуться ко всему, что можно взять от жизни, ко всей полноте наслаждений, ко всей полноте знаний; он припадет к этим двум источникам и будет пить жадно, захлебываясь. Но вот жажда его

утолена, — и что дальше? Не знаю. Мартин может стать выдающимся человеком, но станет ли он им — это скрыто от провидца.

Теперь посмотрим на семейство мистера Йорка в целом. Если бы все сокровища ума, энергии, предприимчивости, которые таятся в этих шести головках, распределить между двенадцатью заурядными детьми, то на каждого из них пришлось бы, пожалуй, частица ума и способностей побольше средней меры. Мистер Йорк это знает и гордится своим потомством.

Кое-где в Йоркшире среди его холмов и лесов попадаются такие семьи своеобразные, колоритные, полные жизни. Бурные и необузданные от избытка энергии и природной силы, может быть, не слишком воспитанные, деликатные и послушные, но зато здоровые, смелые и породистые, как орел на утесе, как чистокровный жеребец в степи.

В дверь гостиной негромко постучали. Мальчики шумели, увлеченные игрой. Джесси напевала отцу прелестную шотландскую песенку, — мистер Йорк любил шотландские и итальянские песни и обучил им свою способную дочь, — и потому никто не слышал, как позвонил колокольчик у входной двери.

— Войдите, — медленно произнесла миссис Йорк, подчеркнуто торжественным тоном; в ее голосе всегда звучало какое-то уныние, нечто погребальное, даже когда она распоряжалась на кухне, просила мальчиков повесить шапки на место или усаживала дочерей за шитье. — Войдите, — повторила она, и в гостиную вошел Роберт Мур.

Серьезность и воздержанность Мура (во время его вечерних посещений на стол никогда не подавалось вино) расположили миссис Йорк в его пользу, и он ни разу еще не послужил предлогом для супружеской перепалки; миссис Йорк еще не удалось выяснить, что он волк в овечьей шкуре или что у него есть тайная связь, которая не позволяет ему жениться; выйдя замуж, она очень скоро обнаружила, что за многими холостыми приятелями ее мужа водятся кое-какие грешки, и немедленно отказала им от дома. Что ж, нельзя не признать, что подобного рода твердость имеет наряду с дурной и хорошую сторону.

— Кого я вижу! — сказала она Муру, когда тот подошел к ней и протянул руку. — Что это вы бродите в такой поздний час? Вам следовало бы сидеть дома.



— Какой же дом у холостяка, миссис Йорк? — возразил Мур.

— Чушь! — бросила миссис Йорк, которая, как и ее муж, не признавала светских условностей; ее грубоватая прямолинейность была иногда рассчитана на восхищение людей, но чаще их отпугивала. — Нечего говорить мне такой вздор! И холостой человек может при желании иметь уютный дом... разве ваша сестра не создает вам семейного уюта?

— Ну уж нет, — вмешался мистер Йорк, — Гортензия, безусловно, весьма достойная особа, но ведь и у меня в его возрасте было целых пять или шесть сестриц, очень милых и приятных, однако это не помешало мне искать и найти себе жену.

— И сколько раз потом горестно сожалеть об этом, — вставила миссис Йорк, любившая иной раз съязвить по поводу брака, хотя бы это касалось и ее собственной супружеской жизни, — и, посыпав пеплом главу, оплакивать свою ошибку! Да вы и сами в этом убедитесь, Роберт Мур. Видите, как он расплачивается, — она указала на детей. — Кому охота обзаводиться целой кучей сорванцов, если можно этого избежать? Мало того что нужно произвести их на свет Божий, — хотя это само по себе дело тяжкое, — нет, изволь еще каждого накормить, одеть, воспитать и направить в жизни. Так-то, молодой человек, когда у вас будет соблазн жениться, вспомните о наших четырех сыновьях и двух дочерях и примерьте семь раз, прежде чем отрезать.

— Пока еще женитьба меня не соблазняет, да и не такое сейчас время, чтобы обзаводиться семьей.

Это мрачное суждение, разумеется, пришлось по вкусу миссис Йорк. Она одобрительно закивала головой и тяжело вздохнула; однако минуту спустя заметила:

— Не очень-то я доверяю такой соломоновой мудрости в ваши годы! Она улетучится, как только кто-нибудь вскружит вам голову. Но сделайте милость, садитесь, сэр, ведь беседовать сидя можно так же хорошо, как и стоя.

Это была свойственная ей манера приглашать человека сесть; но едва Мур повиновался, как Джесси, соскочив с колен отца, бросилась в объятия гостя, охотно раскрывшиеся ей навстречу.

— Что это вам вздумалось женить его? — с негодованием обратилась она к матери, после того как Мур усадил ее к себе на

колени. — Да ведь он уже женат или почти женат; он обещал жениться на мне еще прошлым летом, когда в первый раз увидел меня в новом белом платьице с голубым поясом. Не правда ли, отец? (Дети Йорков не привыкли называть родителей — «папа» или «мама», подобного рода «нежностей» миссис Йорк не допускала.)

— Как же, моя девочка, конечно, обещал; я сам свидетель; но заставь-ка его повторить свое обещание, Джесси; молодые люди часто оказываются обманщиками.

— Нет, он не обманщик; он слишком красив, чтобы быть обманщиком, заявила Джесси, закинув голову и глядя в глаза своему любимцу взглядом, полным несокрушимого доверия.

— Красив! — воскликнул Йорк. — Вот это как раз и доказывает, что он негодяй.

— Для обманщика он слишком печален, — вмешался тихий голосок из-за кресла отца, — если бы он постоянно смеялся, я бы поверила, что он может забыть о своем обещании, но он всегда задумчив.

— Твой sentimentalный красавчик — первый плут в мире! — заметил мистер Йорк.

— Но он вовсе не sentimentalный!

Мур обернулся и удивленно, хотя и с улыбкой, взглянул на девочку.

— Почему ты думаешь, что я не sentimentalен?

— Так по крайней мере сказала одна дама.

— *Voilà, qui devient intéressant!*<sup>[74]</sup> — воскликнул мистер Йорк, пододвигая кресло ближе к огню. — Одна дама! Тут уже пахнет романтикой! Кто же это? Ну-ка, Роза, шепни отцу на ухо ее имя, да тихонько, чтобы он не услышал.

— Ты ведешь себя чересчур нескромно, Роза, — раздался ледяной голос миссис Йорк, способный заморозить любое веселье, — и ты, Джесси, тоже; детям, в особенности девочкам, полагается молчать в присутствии старших.

— Так на что же нам дан язык? — бойко спросила Джесси, а Роза только взглянула на мать, и взгляд ее говорил о том, что она запомнила замечание матери и призадумается над ним; действительно, минуты две спустя она спросила:

— А почему же в особенности девочкам?

— Хотя бы потому, что я так говорю; и еще потому, что скромность и сдержанность — лучшее украшение девушки.

— Дорогая миссис Йорк, — заметил Мур, — ваши правила безукоризненны, в таком же духе всегда высказывается и моя сестра; однако мне кажется, что к этим девочкам они еще не применимы. Разрешите Розе и Джесси говорить со мной вполне свободно и непринужденно, не то я лишусь самого большого удовольствия, какое здесь нахожу. Я люблю слушать их болтовню, мне становится веселее на душе.

— Не правда ли? — подхватила Джесси. — Вам веселее с нами, чем с нашими сорванцами-братцами? Матушка и сама называет их грубыми.

— Да, моя крошка, гораздо веселее. Целый день я только и вижу вокруг себя грубиянов.

— Всех занимают одни мальчики, — продолжала Джесси, — наши тети и дяди, кажется, думают, что их племянники лучше, чем племянницы, а когда к обеду приходят гости, они разговаривают только с Мэттью, Мартином и Марком, а со мной или с Розой никогда. Но мистер Мур наш друг, и мы его не отдадим. Только помни, Роза, он больше мой друг, чем твой. Он мой собственный знакомый! — И она предостерегающе подняла свою маленькую ручку.

Роза привыкла повиноваться мановению этой ручки; ее воля ежедневно подчинялась воле маленькой взбалмошной Джесси; младшая сестра во многом ею руководила и повелевала. Во всех случаях, когда можно было покрасоваться и развлечься, на первое место выступала Джесси, а Роза скромно отходила в тень; когда же дело касалось жизненных будней, трудов, забот и лишений, Роза добровольно брала на себя сверх своей доли и часть сестриной. Джесси уже решила, что она со временем выйдет замуж, а Роза должна оставаться старой девой, чтобы жить при ней, ухаживать за ее детьми, вести ее хозяйство. Такие отношения нередко складываются между сестрами в тех семьях, где одна сестра хороша собой, а другая нет. Здесь же, если одну из девочек и можно было считать привлекательнее другой, то это была именно Роза; черты лица у нее были тоньше и правильнее, чем у хорошенькой Джесси. Зато Джесси, помимо живости ума и душевной пылкости, наделена была еще и обаянием, умением пленять кого угодно, когда угодно и где угодно. Роза обладала

благородным и развитым умом, любящим, преданным, великодушным сердцем, но не обаянием.

— Ну, пожалуйста, Роза, скажи мне имя тон дамы, которая говорила, что я вовсе не сентиментальный.

Розе представлялась отличная возможность подразнить Мура, если бы она умела это делать, но простодушная девочка только коротко ответила:

— Не могу. Я не знаю ее имени.

— Ну хотя бы опиши мне ее, как она выглядит? Где ты ее видела?

— Когда мы с Джесси ездили в Уинбери в гости к Кэт и Сьюзен Пирсон, они тогда только что вернулись домой из пансиона, — в гостиной были и взрослые дамы, — они сидели кучкой в уголке и говорили о вас.

— И ты никого из них не знаешь?

— Знаю Ханну, Гарриет, Дору и Мэри Сайкс.

— И что же, они меня ругали?

— Некоторые — да; они называли вас мизантропом; я даже запомнила это слово и потом посмотрела в словаре: оно означает «человеконенавистник».

— И что же еще они говорили?

— Ханна Сайкс сказала, что вы надутый фат.

— Час от часу не легче, — воскликнул, смеясь, мистер Йорк. — Прекрасно! Ханна, это которая — рыжая? Славная девушка, только полоумная.

— Ну, на этот раз она оказалась вполне умной, — чем я не надутый фат! И что же дальше, Роза?

— Мисс Пирсон сказала, что вы любите порисоваться и что с вашим бледным лицом и черными волосами вы представляетесь ей каким-то сентиментальным чудачком.

Мистер Йорк опять рассмеялся, улыбнулась даже миссис Йорк.

— Вот видите, вы занимаете воображение наших дам, а вам и невдомек, заметила она. — Однако эта же мисс Пирсон, несмотря на свой возраст, была бы не прочь поймать вас в свои сети: она имеет на вас виды с самого вашего приезда сюда.

— А кто же защитил меня, Роза? — спросил Мур.

— Я не знаю этой дамы, потому что она не бывает у нас, но в церкви я вижу ее каждое воскресенье; она сидит неподалеку от

кафедры. Я всегда смотрю на нее и забываю смотреть в молитвенник; она точь-в-точь, как девушка с голубем, что на картине у нас в столовой, у этой незнакомки такие же большие глаза и прямой нос и лицо тонкое и правильное, какое-то ясное.

— И ты не знаешь, кто она? — воскликнула Джесси с видом крайнего изумления. — Как это похоже на нашу Розу, мистер Мур! Я часто замечаю, что моя сестрица витает в облаках, а не живет с нами на земле; она иногда и понятия не имеет о том, что знают решительно все! Подумать только — каждое воскресенье она отправляется в церковь, не сводит там глаз с одной и той же особы и даже не догадывается узнать ее имя! Она имеет в виду Каролину Хелстоун, племянницу нашего священника; я помню, как все это было: мисс Хелстоун очень рассердилась тогда на Энн Пирсон и возразила ей: «Роберт Мур вовсе не рисуется и ничуть не сентиментален, вы глубоко ошибаетесь в нем, а вернее, просто никто из вас его не знает». Хотите, я опишу вам ее внешность? Я сумею рассказать, как человек выглядит и как одет, получше, чем Роза.

— Ну-ка, послушаем.

— Она милая, даже очень хорошенькая; у нее белая точеная шея, длинные локоны светло-каштановые и очень мягкие; разговаривает она спокойно, приятным, чистым голосом, да и все движения у нее мягкие и сдержанные; на ней чаще всего светло-серое шелковое платье; вся она с ног до головы такая аккуратненькая! И одета со вкусом, все у нее изящно — и платье, и туфли, и перчатки! Вот такой и должна быть, по-моему, настоящая леди, и когда я вырасту, я стану такой же, как она. Тогда я вам понравлюсь? Вы и вправду женитесь на мне?

Мур ласково потрепал Джесси по головке; казалось, он хотел было привлечь ее к себе, но передумал и даже слегка отстранил.

— Я вам не нравлюсь? Вы меня отталкиваете?

— Ах, Джесси, ты и сама меня не любишь, никогда не зайдешь навестить!

— Но вы меня не приглашали!

Тут Мур торжественно пригласил обеих девочек нанести ему завтра визит, пообещав купить им подарок в Стилбро, куда ему придется съездить рано утром, — какой именно, он не открыл, пусть

сами придут и увидят. Джесси хотела что-то сказать, как вдруг один из мальчиков перебил ее:

— Знаю я эту мисс Хелстоун, о которой вы столько наболтали; это противная девица — и ничего больше! Я ее терпеть не могу! Я терпеть не могу вообще всех женщин. На что они нужны?

— Мартин! — крикнул отец.

Мальчик обернул к нему полусердитое, полунасмешливое лицо.

— Пока ты еще маленький фанфарон, но я вижу, что из тебя выйдет большой фат! Так вот, запомни свои теперешние слова: давай-ка запишем их. — Он вынул записную книжечку в сафьяновом переплете и что-то написал в ней. — Лет через десять, Мартин, если мы оба будем живы, я напому тебе наш сегодняшний разговор.

— Я и тогда скажу то же самое, я всегда буду ненавидеть женщин. Это просто куклы, они думают только о нарядах, им только бы повертеться и покрасоваться перед мужчинами; нет, я никогда не женюсь, лучше оставаться холостяком.

— Смотри же не изменяй своим взглядам! Эстер, — обратился мистер Йорк к жене: — И я был в его возрасте точно таким же лютым женоненавистником, но когда мне исполнилось года двадцать три, — я, помнится, тогда путешествовал по Франции и Италии и невесть где еще! — я начал перед сном накручивать волосы на папильотки, продел серьгу в ухо и готов был бы продеть ее в ноздрю, если бы ввели такую моду; и все ради того, чтобы нравиться дамам, пленять их; то же самое будет и с тобой. Мартин.

— Со мной? Вот уж никогда! У меня есть голова на плечах. Ох, и смешон же ты был, отец! А я клянусь всю жизнь одеваться так же просто, как сейчас. Мистер Мур, глядите, я хожу в синем с ног до головы, и в школе надо мной смеются и дразнят меня матросом. Я же смеюсь еще громче и называю их сороками и попугаями, так как у них сюртучки одного цвета, жилеты другого и панталоны третьего; я всегда буду носить только синее и ничего, кроме синего; я считаю, что одеваться пестро — унижать свое достоинство.

— Через десять лет, Мартин, на твой привередливый вкус не угодит ни один портной, какие бы разнообразные ткани любого цвета он тебе ни предлагал; ни в одной парфюмерной лавке ты не найдешь духов, достаточно изысканных для твоего изощренного обоняния.

Мартин презрительно улыбнулся, но ничего не добавил; вместо него заговорил Марк, — он стоял у небольшого столика в углу комнаты, перебирая книги. Мальчик заговорил очень медленно и спокойно, причем на лице у него застыло ироническое выражение.

— Мистер Мур, вы, может быть, полагаете, что мисс Каролина Хелстоун сделала вам комплимент, сказав, что вы не сентиментальны; вы смутились, услышав об этом, — значит, вы были польщены; вы покраснели, точь-в-точь как у нас в классе один тщеславный мальчишка, который считает необходимым краснеть, когда его хвалят. Я проверил это слово в словаре, мистер Мур, оно означает — окрашенный чувствительностью. Но дальше корень этого слова объясняется так: «Мысль, идея, понятие». Следовательно, сентиментальный человек — это тот, у кого есть мысли, идеи, понятия; не сентиментальный человек лишен мыслей, идей, понятий.

Мальчик не улыбнулся, не посмотрел вокруг, рассчитывал на одобрение; он просто сказал то, что хотел, — и замолчал.

— *Ma foi! Mon ami,* — сказал Мур, — *ce sont vraiment des enfants terribles, que les votres!*<sup>[75]</sup>

Роза, внимательно слушавшая Марка, возразила ему:

— Да, но мысли, понятия и идеи бывают разные — и хорошие и дурные; под «сентиментальными», очевидно, подразумеваются дурные или во всяком случае мисс Хелстоун понимала это в таком смысле, она ведь не бранила мистера Мура, а защищала его.

— Ах ты моя милая маленькая заступница, — сказал Мур, ласково взяв Розу за руку.

— Да, она защищала его, — повторила Роза, — как сделала бы и я на ее месте, потому что остальные говорили о нем дурно.

— Дамы всегда дурно говорят о людях, — заметил Мартин, — это у них в крови.

Тут в разговор вмешался Мэттью:

— Ну и балбес наш Мартин! Вечно рассуждает о том, чего не понимает.

— Рассуждать о чем угодно, — это мое право свободного человека, отпарировал Мартин.

— Да, но ты слишком часто пользуешься этим правом, — вернее, даже злоупотребляешь им и тем самым доказываешь, что тебе следовало бы родиться рабом, — продолжал старший.

— Рабом! И это Йорк осмеливается говорить Йорку! Этот субъект, — Мартин привстал и указал пальцем на брата, — как видно, забывает о том, что известно каждому фермеру в Брайерфилде, — что у нас у всех в семье такой крутой изгиб ступни, что под ней может протечь струйка воды, а это доказывает, что в роду Йорков не было рабов на протяжении трех столетий.

— Ах ты фигляр! — бросил Мэттью.

— Мальчики, замолчите! — приказал Йорк. — Мартин, какой ты задира! Вечно затеваешь ссору!

— Неужели? Разве это справедливо? Кто затеял, я или Мэттью? Я с ним даже не разговаривал, а он вдруг объявил, что я болтаю как балбес!

— Да, как самонадеянный балбес! — повторил Мэттью.

При этих словах миссис Йорк начала беспокойно раскачиваться, — грозный признак, часто предвещавший истерический припадок, особенно в тех случаях, когда ей казалось что кто-то обижает Мэттью.

— Почему я должен сносить всякие дерзости от Мэттью? Кто дал ему право грубить мне? — запальчиво крикнул Мартин.

— Никто не давал ему такого права, друг мой, — примирительным тоном сказал мистер Йорк, — но прости своему брату до семидесяти семи раз.

— Всегда одно и то же, всегда поступки противоречат словам, пробормотал Мартин, направляясь к двери.

— Куда ты идешь, сын мой? — спросил мистер Йорк.

— Туда, где я не буду подвергаться оскорблениям, если в этом доме мне удастся найти такое место.

Мэттью презрительно рассмеялся; Мартин, дрожа всем своим худеньким телом, бросил на брата красноречивый взгляд, — видно было, что он едва сдерживается.

— Я полагаю, вы не станете возражать, если я вас покину? — спросил он.

— Нет, нет, ступай, мой мальчик, но советую тебе не быть злопамятным.

Мартин удалился, а Мэттью все еще презрительно смеялся. Роза, приподняв свою изящную головку с плеча Мура, пристально и серьезно взглянула на старшего брата и сказала:



— Мартин огорчен, а тебя это радует, но я предпочла бы быть Мартином, а не тобой. Мне противен твой характер.

Тут Мур, желая предотвратить семейную сцену или хотя бы не присутствовать при ней, — ибо всхлипывания миссис Йорк были весьма зловещими, — встал, поцеловал Джесси и Розу и еще раз напомнил им, что ждет их у себя завтра днем. Простясь с хозяйкой дома, он спросил мистера Йорка: «Не можете ли вы уделить мне минутку?» — и тот проводил его до вестибюля, где и состоялась их краткая беседа.

— Не найдется ли у вас места для хорошего работника? — спросил Мур.

— Нелепый вопрос в наше время, когда у каждого хозяина не хватает работы и для своих хороших работников.

— Вы оказали бы мне большую услугу, взяв к себе одного человека.

— Друг мой, я никого больше не могу взять к себе, даже если я этим окажу услугу всей Англии.

— Я непременно должен найти для него какую-нибудь работу.

— Да кто это?

— Вильям Фаррен.

— Ну что ж, Вильяма я знаю. На редкость честный человек.

— Он без работы уже три месяца, а семья у него большая, и без его заработка им не прожить. Он был в депутации ткачей, которая явилась ко мне сегодня утром с жалобами и угрозами; Вильям не угрожал мне, он только просил меня повременить, — не очень спешить с новыми машинами. Но ведь вы знаете, я этого сделать не могу, на меня давят со всех сторон, я вынужден спешить. Объяснять им это я не стал и отослал их прочь, а одного упрятал в тюрьму, негодяя, который проповедует вон в той молельне, — и, надеюсь, его отправят на каторгу.

— Уж не Моисея ли Барраклу?

— Его самого.

— И ты отдал его в руки властей? Отлично! Из мошенника ты сделал мученика. Умно — нечего сказать!

— Во всяком случае, справедливо. Но сейчас мне важно другое — так или иначе обеспечить Фаррена работой, и в этом я рассчитываю на вас.

— Ну и ну! — воскликнул Йорк. — Да какое же ты имеешь право рассчитывать, чтобы я заботился об уволенных тобой рабочих? Мне-то какое дело до всех твоих Фарренов и Вильямов! Правда, я слышал, что он честный человек, но не обязан же я помогать всем честным людям в Йоркшире. Ты еще скажешь, что мне не так трудно это сделать? Трудно или легко, но я этого не сделаю!

— А все-таки, мистер Йорк, какое дело могли бы вы найти для него?

— Найти для него дело! Да ты заставишь меня заговорить с тобой таким языком, каким я не привык разговаривать с гостями! Не пора ли тебе домой? Вот дверь, отправляйся!

В ответ на это Мур уселся на стул.

— Вам трудно взять его на фабрику, — допустим; но в вашем поместье может найтись для него занятие.

— Мне всегда казалось, что тебе наплевать на наших *lourdauds de paysans*,<sup>[76]</sup> Боб. Отчего вдруг такая перемена?

— Вот отчего: этот парень высказал мне чистую правду, а я ответил ему так же грубо, как и всем остальным, кто нес чепуху; в ту минуту на фабричном дворе я не мог поступить иначе. Но его лицо сказало мне яснее всяких слов, как тяжело ему приходится в последнее время. Да что там толковать! Возьмите его.

— Раз это тебя так волнует, бери его к себе, придумай что-нибудь.

— Будь у меня возможность что-нибудь придумать, я бы давно это сделал, но сегодня утром я получил несколько писем и теперь ясно вижу, что нахожусь на краю гибели: на экспорт во всяком случае рассчитывать нечего. Если ближайшее время не принесет перемен, если не забрезжит надежда на мир, не будут отменены Приказы Совета и не откроются пути в Америку, то я и не знаю, откуда ждать спасения. Вокруг меня такая тьма, словно я замурован в скале! Так что с моей стороны просто нечестно делать вид, будто я могу обеспечить человеку надежный заработок.

— Пройдемся немного по саду, сегодня такая звездная ночь, — предложил мистер Йорк.

Они вышли на воздух и принялись расхаживать рядом по белой от инея площадке перед домом.

— Ну, решайте же с Фарреном, — настаивал Мур. — У вас большие фруктовые сады возле фабрики, возьмите его в садовники, он

хорошо знает это дело.

— Ладно, будь по-твоему. Завтра я пошлю за ним, и мы что-нибудь придумаем. А теперь, друг мой, я вижу, тебя тревожит и твое собственное положение?

— Да. Еще один крах, который я могу отдалить, но предотвратить бессилён, и имя Мура окончательно исчезнет из коммерческого мира, а вы знаете, что у меня было самое искреннее желание выплатить все долги и полностью восстановить старую фирму.

— Деньги — вот все, что тебе нужно!

— Разумеется, но с таким же успехом можно сказать: дыхание — вот все, что нужно умершему.

— Я знаю, деньги не заводятся только оттого, что они нужны, и если бы у тебя на руках были жена и дети, как у меня, я, может быть, и считал бы твое положение безнадежным. Однако перед человеком молодым и неженатым могут открыться особые возможности; до меня доходят толки о том, что ты собираешься жениться то на одной девице, то на другой, но я не особенно им верю!

— И правильно делаете! Куда уж там! Я и не думаю о женитьбе. Я даже слова «женитьба» не могу слышать, до того это кажется мне сейчас несбыточным и нелепым. Любовь и супружество — излишняя роскошь, доступная только богатым, не задумывающимся над тем, как им прожить завтрашний день; или же, напротив — безрассудный, отчаянный шаг, последняя радость неудачника, которому уже не подняться со дна.

— Я бы на твоём месте рассудил иначе: чем падать духом, искал бы лучше хорошую жену с хорошим приданым.

— Где же я её найду?

— А если такой случай представится, ты им воспользуешься?

— Не знаю. Это зависит от многого.

— Женился бы ты на старухе?

— Уж лучше дробить камни на мостовой!

— Я тебя понимаю. А уродливую взял бы?

— Бр-р! Уродство мне ненавистно, я поклонник красоты; юное, красивое, нежное личико радует мой взор и сердце, а унылые, грубые, мрачные лица мне отвратительны; меня привлекает мягкость, изящество, нежные краски, а грубость отталкивает. Нет, на уродливой женщине я не женюсь.

— Даже на богатой?

— Даже на осыпанной драгоценностями. Я не смог бы ни полюбить ее, ни привязаться к ней, и вскоре она стала бы мне ненавистна. Если жена окажется не в моем вкусе, она найдет во мне тирана или, что еще хуже, человека чужого и равнодушного.

— Ну, а если бы ты женился на честной девушке, богатой, с добрым нравом, но некрасивой, — неужели ты не мог бы примириться с тем, что она скуласта, что у нее большой рот и рыжие волосы?

— Нет, ни за что, говорю прямо. В жене я хочу видеть изящество и еще то, что я считаю красотой.

— И бедность, и малышей, которых ты не в состоянии прокормить и одеть, и мать их, вечно озабоченную, преждевременно увядающую, и, наконец, банкротство, унижение и тяжелую борьбу за существование до конца своих дней.

— Полно вам, Йорк!

— Если ты настроен романтически, Роберт, может быть, даже влюблен, продолжать этот разговор бесполезно.

— Я вовсе не романтичен. В моей душе нет и следа романтики так же, как в сушильных, вон там, на поле, нет и следа сукон.

— Всегда прибегай к таким сравнениям, это в моем вкусе. И никакая любовь не заставит тебя отказаться от твоих взглядов?

— Мне кажется, я достаточно ясно высказался. Мне любить? Чепуха!

— Отлично. Если у тебя сердце и разум холодны и трезвы, почему бы тебе не воспользоваться случаем, если он представится? Так что жди и дождешься.

— Вы говорите как оракул, Йорк.

— Может быть, я в некотором роде и оракул. Правда, я ничего не обещаю и ничего не советую, но прошу тебя: не унывай, а подвернется счастливый случай — не упusti его.

— Астрономический альманах моего тезки<sup>[77]</sup> не мог бы выразиться более осторожно!

— А пока твое время не пришло, ты меня не интересуешь, Роберт Мур; ты мне не родня, ты мне никто. Потеряешь ли ты или приобретешь состояние — не моя печаль! Ступай-ка домой — уже пробило десять, и мисс Гортензия, наверное, беспокоится!

## ГЛАВА X

### Старые девы

Время шло своей чередой, и весна расцветала. Облик Англии изменился к лучшему. Ее луга зазеленели, холмы оделись свежим покровом, сады украсились цветами; но жизнь в стране не улучшилась, бедняки по-прежнему бедствовали, предприниматели вконец разорялись. Торговля в некоторых отраслях была на грани катастрофы, ибо война все не кончалась; лилась кровь Англии, истощалось ее богатство, и все во имя каких-то бессмысленных целей. Правда, с Пиренейского полуострова изредка приходили известия о победах британского оружия, но в промежутки между ними по всему миру гремела наглая похвальба Наполеона по поводу его нескончаемых триумфов. Те, кто страдал от тягот войны, дошли до предела терпения, находя безнадежной эту затянувшуюся войну против, как им казалось, неодолимой силы, — одни считали ее неодолимой со страха, другие потому, что это было им выгодно. Они требовали заключения мира на любых условиях: люди, подобные Йорку и Муру, и тысячи других, доведенных войной до грани банкротства, настаивали на этом с энергией отчаяния. Они устраивали собрания, произносили речи, составляли петиции о том, в чем видели свое единственное спасение; какой ценой будет куплен этот благословенный мир, их вовсе не интересовало.

Каждый человек в той или иной мере эгоистичен; если же людей что-либо объединяет, то эгоизм сказывается в них с особой силой. Английский коммерсант не является исключением из этого правила; напротив, все торговое сословие ярко его подтверждает, ибо оно занято одной только мыслью — о наживе; коммерсантов не волнуют никакие национальные интересы, кроме расширения английской (то есть их собственной) торговли. Благородство, бескорыстие, высокое чувство чести — все это давно уже умерло в их сердцах. Если бы страной управляли только они, то правительство слишком часто проявляло бы позорное смирение, руководствуясь, однако, не учением Христа, а скорее внушениями Маммоны. Во время последней войны английские коммерсанты не только стерпели бы от французского завоевателя

пощечину, но даже подставили бы ему и другую щеку; не только отдали бы Наполеону верхнее платье, но вежливо предложили бы и сюртук, и даже жилет, если бы он этого потребовал. Они попросили бы только разрешения оставить себе ту принадлежность костюма, где находится карман с кошельком. В них не заговорило бы мужество, они бы и не подумали о сопротивлении, пока корсиканский разбойник не протянул бы руку к их драгоценному кошельку; тогда, и только тогда, они с яростью английских бульдогов вцепятся грабителю в горло и, не разжимая зубов, будут на нем висеть — ожесточенные и неумолимые — до тех пор, пока не вырвут у него свое сокровище. Выступая против войны, торговцы красноречиво говорят о своей ненависти к ней как к дикому варварству; послушать их, так подумаешь, что они чрезвычайно гуманны и, главное, преисполнены самых лучших чувств к своим соотечественникам. Однако это не так. Большинство из них — люди ограниченные, черствые, не питающие никаких добрых чувств ни к одному сословию, кроме своего собственного, равнодушные, даже враждебные ко всем остальным представителям рода человеческого; они считают их бесполезными и не признают за ними даже простого права на существование; кажется, им жаль даже воздуха, которым те дышат, и, уж конечно, они уверены, что желание низших классов пить, есть и жить в сносных условиях просто нелепо. Все, что предпринимают другие люди, помогая друг другу, обучая себе подобных или доставляя им радость, их не касается; они не дают себе труда этим поинтересоваться; всякого, кто не занимается торговлей, они обвиняют в том, что он даром ест хлеб и влачит бесполезное существование. Не дай Боже нашей Англии превратиться в нацию лавочников.

Как мы уже знаем, Мур отнюдь не был преисполнен самоотверженных патриотических чувств, и знаем также, какие обстоятельства вынуждали его сосредоточивать все свои помыслы и всю энергию на собственном преуспевании. Очутившись на краю гибели во второй раз в жизни, он изо всех сил боролся против тех общественных тенденций, которые могли бы снова сбросить его вниз. Он прилагал все усилия к тому, чтобы вызвать на севере движение против войны, стараясь найти поддержку у людей более богатых и влиятельных, чем он сам; правда, временами у него мелькала мысль, что от всех требований его партии к правительству толку мало. Когда

он слышал, что Бонапарт угрожает всей Европе и вся Европа вооружается, чтобы сопротивляться ему, когда видел, что угроза нависла над Россией и эта суровая Россия в гневе поднялась на защиту своей скованной морозом земли, своих диких рабских вотчин, своего мрачного деспотизма от тяжелой пяты, от тирании чужеземного захватчика, он понимал, что Англия, свободная страна, не может заставить своих сынов идти на соглашение и подчиниться условиям алчного, бесчестного французского владыки. Когда время от времени с полуострова приходили известия о военных действиях Веллингтона, олицетворения Англии на Пиренеях, о его движении от успеха к успеху, об его действиях, обдуманых, неторопливых, но уверенных и упорных, когда Мур читал на страницах газет собственные сообщения лорда Веллингтона, документы, написанные Скромностью под диктовку Истины, он в глубине души понимал, что на стороне британских войск стоит бдительная, выносливая, подлинная, а не показная сила, которая в конечном счете должна принести победу своей стране.

В конечном счете — да! Но до этого еще далеко, а к тому времени он сам, фабрикант Мур, будет раздавлен и мечты его развеются в прах. Значит, нужно думать только о себе, добиваться своего, взять в свои руки свою судьбу.

И он так рьяно защищал свои интересы, что это вскоре привело к разрыву отношений между ним и старым тори, его приятелем-священником. Они поссорились при встрече, затем обменялись ядовитыми письмами в газетах; Хелстоун назвал Мура якобинцем и перестал бывать у него, не разговаривая даже при случайных встречах; он также весьма решительно потребовал от своей племянницы прекратить знакомство с обитателями ложины и отказаться от занятий французским языком.

«Скверный и легкомысленный язык, — добавил он. — Да и вся хваленая французская литература тоже скверная и легкомысленная, очень вредная для женского ума. И кто только ввел эту глупую моду учить женщин французскому языку, — заметил он мимоходом. — Он им вовсе не нужен; это то же самое, что кормить рахитичного ребенка кашцей на воде; Каролине незачем заниматься французским языком и поддерживать знакомство со своими родственниками — это опасные люди!»

Хелстоун ожидал возражений, даже слез. Его мало интересовали чувства Каролины; однако он смутно догадывался, что она любит бывать у Муров и что ее радуют редкие визиты Роберта. От него не укрылось, что если Мелоун заходил провести у них вечер и всячески старался занять и развлечь его племянницу, — дергал за уши почтенную черную кошку, любившую повалиться на скамеечке у ног своей хозяйки, или же, выйдя в сад с охотничьим ружьем, принимался, пока не стемнело, палить по сарайчику, не забыв при этом оставить все двери в доме распахнутыми настежь, с тем чтобы ежеминутно забегать, шумливо сообщая о своем попадании в цель или промахе, — Каролина, невзирая на эти увлекательные забавы, старалась незаметно ускользнуть и скрывалась у себя в комнатке до самого ужина. Напротив, стоило зайти к ним в гости Муру, который не заигрывал с кошкой, разве только брал ее на колени или позволял ей влезать к себе на плечи и с мурлыканьем тереться мордой о его щеки, не оглушал обитателей дома ружейной пальбой, от которой в воздухе разливался едкий запах пороха, не шумел и не хвастал, как эта же самая Каролина не покидала гостиной и, по-видимому, находила большое удовольствие в шитье подушечек и вязанье носков для благотворительных корзин.

Она держалась всегда очень скромно, и Роберт не обращал на нее внимания, лишь изредка заговаривая с ней; но мистер Хелстоун не принадлежал к числу добродушных пожилых дядюшек, которых легко провести; он умел смотреть в оба и однажды увидел их в минуту расставания. Он заметил, как их взгляды встретились всего лишь на мгновение; всякого другого растрогал бы этот взгляд, в котором не было ничего предосудительного и светилась радость; то не был многозначительный взгляд двух сговаривающихся любовников — между ними ведь не существовало любовной тайны; не было в нем ни лукавства, ни хитрости; только взгляд Мура сказал Каролине, что у нее ясные, кроткие глаза, а глаза Каролины выразили восхищение его смелым, открытым взглядом; каждый из них по-своему любовался другим: Мур слегка улыбнулся, Каролина слегка покраснела. Хелстоун чуть не набросился на них, так ему стало досадно — но почему же? В этом, пожалуй, он и сам не отдавал себе отчета, однако, будь его воля в эту минуту, он, кажется, отхлестал бы Мура хлыстом, а Каролине надрал уши. Если бы его спросили, чем они заслужили такое суровое наказание, он разразился бы яростной речью против кокетства и



любовных шашней и поклялся бы, что не допустит в своем доме подобных глупостей.

Все эти соображения вместе с причинами политического характера склонили Хелстоуна к мысли о необходимости разлучить молодых родственников. Он объявил Каролине о своем решении однажды вечером, когда она сидела за работой у окна в гостиной и свет лампы падал прямо на нее. Он заметил, что она выглядит бледнее и смирнее обычного; не ускользнуло от его внимания и то, что за последние три недели она ни разу не произнесла имени Мура, да и сам он перестал бывать у них в доме. У Хелстоуна зародилось подозрение — уж не встречаются ли они тайно? Недолголюбивая женщин, он всегда подозревал их во всяческих кознях и считал, что за ними нужен глаз да глаз. Тонем, не допускающим возражений, он потребовал от нее прекратить ежедневные визиты к Мурам; он ожидал, что она вздрогнет, что ее взор выразит мольбу; да, она слегка вздрогнула, но не подняла глаз от работы.

— Ты слышала, что я сказал? — спросил он.

— Да, дядя.

— Я надеюсь, ты меня послушаешься?

— Конечно, дядя.

— И чтобы не было никаких записочек, никакого общения между тобой и Гортензией. Убеждения этой семьи мне не нравятся; они — якобинцы!

— Хорошо, — негромко ответила Каролина.

Итак, она послушна его воле. Румянец обиды не залил ее щеки, слезы не навернулись на глаза; ее сумрачно-задумчивое лицо не дрогнуло; да, она покорилась.

И покорность эта шла из самого сердца; требование дяди совпало с ее собственным желанием, — посещения домика стали для нее тягостны. Там ее не ждало ничего, кроме разочарования; любовь и надежда покинули это маленькое обиталище вместе с Робертом, который в нем почти не показывался. Когда же Каролина спрашивала о кузене, — впрочем, очень редко, ибо стоило ей произнести его имя, как лицо ее вспыхивало, — ей отвечали, что его нет дома, что он занят делами. Гортензия с тревогой говорила, что он убивает себя непосильным трудом; он буквально переселился в свою контору, и редко случалось, чтобы он пообедал дома.

Каролина могла видеть Роберта только в церкви, но и там она старалась не смотреть на него. Вместе с радостью это причиняло ей слишком много душевной боли, вызывало слишком много лишних волнений; ведь теперь она понимала, что ей не на что надеяться.

Но вот в одно пасмурное дождливое воскресенье, когда в церкви было мало прихожан и отсутствовали некие дамы, чьих нескромных глаз и острых язычков Каролина особенно побаивалась, она позволила себе взглянуть в ту сторону, где обычно сидел Роберт, и задержать на нем взгляд. Он сидел там один, Гортензия не решилась выйти из опасения, что дождь может испортить ее новую весеннюю шляпку. В продолжение всей проповеди Мур сидел неподвижно, с невеселым, отсутствующим видом, скрестив руки на груди и опустив глаза. Когда он бывал угрюм, лицо его казалось темнее, чем при хорошем настроении; вот и сегодня его щеки и лоб были особенно смуглыми, землистыми. Каролина инстинктивно поняла, всматриваясь в это сумрачное лицо, что мысли его заняты совсем незнакомыми ей и, видимо, не очень приятными делами; они витают где-то далеко не только от нее самой, но и от всего, что ей понятно и близко и о чем им случалось беседовать друг с другом. Мура отделяли от нее интересы и обязанности, недоступные ее пониманию.

Каролина задумалась о его взглядах, его жизни, его невзгодах, его судьбе; старалась постигнуть смысл таинственного слова «коммерческая деятельность», о которой имела лишь самое поверхностное представление, уяснить себе ее сложности, обязательства, требования, связанную с ней ответственность; старалась увидеть себя на месте «делового человека», понять, что он чувствует, к чему стремится; ей хотелось разглядеть жизнь в ее подлинной сущности, а не в романтическом свете. Напряженно думая, она уловила, как ей казалось, кое-какие проблески истины, и в ней пробудилась смутная надежда — этот слабый луч света может помочь ей найти путь к его душе.

«И в самом деле, — заключила она, — духовный мир Роберта совсем иной; я думаю только о нем, ему же некогда думать обо мне, он занят важными делами; одно только чувство владело моим сердцем за последние два года — любовь. Она жила в нем постоянно, никогда не угасая; совсем иные мысли занимают его ум и руководят его поступками. Но вот он встает, сейчас уйдет из церкви — служба ведь

уже окончилась; посмотрит ли он в мою сторону? Нет, не захотел — ни одного раза не взглянул он на меня; это тяжело, — ведь один ласковый взгляд сделал бы меня счастливой на весь день, но — увы! — он не подарил мне его. Вот он и ушел; странно даже, как может болеть сердце из-за того, что кто-то на тебя не взглянул!»

Когда Мелоун, по своему обыкновению, зашел провести со священником воскресный вечер, Каролина после чая поспешила удалиться к себе в комнату, где в камине пылал веселый огонь, разведенный заботливыми руками Фанни, ведь на дворе было сыро и ветрено. Что оставалось ей делать, как не думать все об одном и том же, сидя в четырех стенах своей комнаты, в тишине и одиночестве? Каролина бесшумно шагала взад и вперед по ковру, опустив голову и скрестив руки на груди. Ей не сиделось на месте; лихорадочные мысли теснились у нее в голове; необычное возбуждение овладело ею.

Тишина царила в комнате, как и во всем доме; двойная дверь кабинета священника не пропускала голоса мужчин. Служанки сидели на кухне за книгами, которые, как сказала им их юная госпожа, можно читать и в воскресенье. Перед ней самой на столе лежала столь же нравоучительная книга, однако она ее не читала. Всевозможные мысли волновали ее, и она не могла сосредоточиться на благочестивых рассуждениях — они оставались для нее непонятными.

В ее памяти всплывали воспоминания о встречах с Муром: зимние вечера у пылающего камина; знойный день, проведенный вместе в лесной глуши Наннли; прелестные картины ласковой весны и золотой осени, когда они, сидя рядом в рощице, раскинувшейся по склону лощины, прислушивались к зову майской кукушки или вкушали дары сентября: орехи и спелые ягоды черной смородины. Каким удовольствием было для нее собирать поутру эти лесные лакомства в корзиночку, заботливо прикрывать листьями и цветущими веточками и потом угощать Мура, передавая ему ягоду за ягодой, орех за орехом, подобно птице, кормящей своего птенца!

Роберт стоял перед ней как живой: она ясно слышала его голос, ощущала прикосновение его ласковых рук. Но эти призрачные видения былой радости вскоре развеялись: лицо расплылось, голос замер; рука, сжимавшая ее пальцы, растаяла, а на лоб, где его губы только что запечатлели теплый поцелуй, теперь, казалось, упала холодная капля дождя.

Из зачарованного мира она вернулась к действительности; вместо привольного июньского леса увидела свою тесную комнатку; вместо пения птиц в густой листве различила, как дождь хлещет в окно; вместо шелеста теплого южного ветерка слышала завывание мрачного восточного ветра, и с ней рядом был уже не друг, а ее собственная смутная тень, падавшая на стену; эта тень в своих очертаниях представила ей поникшую фигуру с опущенной как бы в тяжком раздумье головой, и Каролина отвернулась от нее; в полном унынии опустила она на стул и принялась рассуждать сама с собой. «Весьма вероятно, что я проживу лет до семидесяти, — здоровье у меня как будто хорошее; значит, передо мной еще целых полвека. Чему же отдать свои силы? Чем заполнить время, лежащее между сегодняшним днем и моим смертным часом? По-видимому, я не выйду замуж, Роберту я не нужна, — значит, мне не суждено иметь любимого мужа, заботиться о своих детях. До последнего времени я надеялась, что меня ждет обычная женская доля жены и матери, что это составит смысл моей жизни и ничего другого мне не придется искать; но теперь мне ясно, что этого не будет, что я останусь в девушках, увижу, как Роберт женится на другой, на богатой; а я никогда не выйду замуж. Для чего же я создана? Где мое место в жизни?»

Она вздохнула и продолжала думать: «Теперь я понимаю: над этим вопросом задумываются все старые девы. Правда, кое-кто решает его за них весьма просто: «Ваша участь — делать добро, помогать людям». В какой-то мере это правильно и, главное, очень удобно для тех, кто это проповедует; есть люди, склонные считать, что их ближние обязаны посвящать им свои заботы и свою жизнь, они же вознаграждают их одними восхвалениями, называя добродетельными и благочестивыми. Но разве этого довольно? Разве это означает «жить»? Разве не мученичество такая вот жизнь, отданная на служение чужим людям из-за того, что у вас нет ничего своего, родного, чему вы могли бы посвятить свои силы, — разве не скрывается за ней страдание, неудовлетворенность, пустота? Мне кажется, это именно так. Разве добродетель состоит в самоотречении? Я в это не верю. Чрезмерное самоуничтожение порождает деспотизм; чрезмерная уступчивость порождает эгоизм. Католическая религия предъявляет к своим служителям особенно суровые требования полного самоотречения и покорности, и, однако, нигде нет такого множества алчных деспотов,

как среди католического духовенства. Каждый человек имеет какие-то свои права. Мне кажется, если бы каждый отстаивал свои права так же страстно, как мученик свою веру, это привело бы ко всеобщему счастью и благоденствию. Но что за странные у меня мысли! Правильно ли я рассуждаю? Кто знает!

Ну что ж, жизнь коротка: семьдесят лет пролетят как дым, как сновидение; и все человеческие тропы ведут к одному пределу — к могиле, к маленькой трещинке на поверхности огромного земного шара, борозде, в которую могучий сеятель с косой сбрасывает со стебля созревшие семена; там они лежат и смешиваются с прахом и снова дают всходы, после того как земля еще несколько раз совершит свой оборот. Все это происходит с телом, а душа, воспарив ввысь, складывает крылья на берегу зеркального моря огня и различает в этой горячей ясности отражение христианской троицы: Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа, — по крайней мере такими словами принято выражать невыразимое, описывать то, что не поддается описанию. А что на самом деле происходит с душой — кто знает».

В камине догорал последний уголек; Мелоун ушел, колокольчик в кабинете священника возвестил час вечерней молитвы.

На следующий день Хелстоун отправился обедать в Уинбери к своему старому приятелю, преподобному Болтби, и Каролина в полном одиночестве бесконечно рассуждала сама с собой все об одном и том же: что ждет ее в будущем, какая жизнь ей предстоит. Фанни, то и дело забегаая в ее комнату по разным делам, видела, что ее молодая хозяйка весь день сидит на одном месте, склонившись над какой-то вышивкой; она ни разу даже не подняла головы, чтобы сказать слово-другое служанке. Фанни наконец заметила, что погода сегодня прекрасная и не мешало бы барышне прогуляться, но Каролина ответила только:

— Слишком холодно.

— Уж очень вы прилежны сегодня, мисс Каролина, — продолжала служанка, подходя к ее рабочему столу.

— Я даже устала, Фанни!

— Так зачем же вы так работаете? Бросьте шитье, почитайте или развлекитесь немного.

— Как тоскливо у нас в доме, Фанни! Ты не находишь?

— Нет, мисс; мы с Элизой всегда вместе, и нам не скучно, а вот вы и в самом деле живете словно взаперти, вам следовало бы почаще ходить в гости. Послушайтесь меня: приоденьтесь-ка и ступайте выпить чаю запросто к мисс Мэнн или к мисс Эйнли; я уверена, они обе будут вам очень рады.

— Но у них тоже так уныло; мне кажется, все старые девы — пренесчастные создания.

— Ну, про них этого не скажешь, уж очень они пекутся о самих себе: все они эгоистки.

— Мисс Эйнли вовсе не эгоистка, Фанни, она всегда делает добро. Пока ее мачеха была жива, как заботливо она ухаживала за старушкой! А теперь, когда она одна-одинешенька на свете, не имеет ни братьев, ни сестер, ни одного близкого существа, она заботится о бедных и помогает им, сколько может. А вот о ней самой никто не подумает, ни у кого даже нет охоты навещать ее. А мужчины смеются над ней!

— Вот это уж не годится, мисс. Вы правы, она добрая и хорошая. Но мужчины ценят в женщинах только хорошенькое личико!

— И правда, схожу-ка я к ней, — воскликнула Каролина, вскакивая со стула. — И останусь у нее выпить чаю, если она предложит. Нехорошо пренебрегать людьми только потому, что они немолоды, нехороши собой и невеселы. Заодно навещу и мисс Мэнн; правда, она, может быть, примет меня нелюбезно, но с чего ей быть любезной? Что хорошего дала ей жизнь?

Фанни помогла Каролине убрать работу и одеться.

— Уж вы-то не останетесь в девушках, мисс Каролина, — сказала она, завязывая пояс коричневого шелкового платья и приглаживая густые шелковистые локоны. — Не ваша это участь.

Но Каролина, глядя на себя в зеркало, думала обратное; за последний месяц она очень переменилась — румянец поблек, под глазами легли тени, взгляд печален, словом, она уже не так хороша и свежа, как прежде. Она намекнула об этом Фанни, но Фанни, уклонившись от прямого ответа, заметила, что внешность людей иногда меняется, — впрочем, в молодости это ровно ничего не значит: она скоро поправится и снова станет румяной. Затем, решив, что теперь Каролина успокоилась, Фанни принялась с таким усердием

кутать ее в теплые шали и платки, что девушка чуть не задохнулась и решительно запротестовала.

Каролина решила начать с менее приятного визита — к мисс Мэнн, которую, безусловно, нельзя было назвать приятной особой. До сих пор девушка не чувствовала к ней ни малейшего расположения и вместе с Робертом нередко подшучивала над ее странностями; как правило, Мур не склонен был насмехаться над людьми, в особенности над слабыми и униженными, но как-то раз ему случилось встретить мисс Мэнн у себя в доме, слышать ее разговор с Гортензией и как следует разглядеть ее. Затем он вышел в сад и, увидав свою юную кузину, ухаживающую за цветами, принялся забавы ради сравнивать ее цветущую юность, нежную и привлекательную, с морщинистой, мертвенно-бледной, не радующей взгляд старостью и шутливо повторять кислые рассуждения угрюмой старой девы так смешно, что Каролина не смогла удержаться от улыбки. Как-то раз, когда такой случай повторился, Каролина подняла глаза от пышного ползучего растения, которое она подвязывала к шпалере, и заметила:

— Ах, Роберт! Вы, я вижу, не благоволите к старым девам! И я попалась бы вам на язычок, будь я старой девой.

— Это вы-то старая дева! — возразил он. — Забавно услышать такое из ваших свежих, румяных уст. Я могу представить себе вас и в сорок лет скромно одетой, поблекшей, осунувшейся, но у вас сохранится вот эта прямая, тонкая линия носа, белый лоб, кроткий взгляд. Думаю, что и голос у вас останется того же тембра, как сейчас, и не станет таким надтреснутым, как у мисс Мэнн. Нет, вам нечего опасаться, Кэри! Даже и в пятьдесят лет вы не станете отталкивающей.

— Мисс Мэнн не виновата в своей внешности и тембре своего голоса, Роберт!

— Природа сотворила ее в минуту дурного настроения, заодно с колючками и шипами, а иных женщин она создала на заре майского дня, в те часы, когда кропила росой и лучами примулы в лугах и лилии на лесном мху.

\* \* \*

Каролина застала мисс Мэнн в ее маленькой гостиной, где все, по обыкновению, блистало чистотой и дышало уютом. Несмотря на одиночество, старые девы, как правило, не опускаются, не становятся неряхами, и это, конечно, их большая заслуга; на полированной мебели и на ковре не было ни пылинки, на столе в вазе стояли свежие цветы, в камине пылал яркий огонь. Сама же мисс Мэнн, несколько натянутая и чопорно-опрятная, сидела и вязала: это было ее любимым занятием, потому что не требовало особых усилий. При виде Каролины она только чуть-чуть приподнялась с подушек в своем кресле-качалке; избегать каких бы то ни было волнений было главной задачей в жизни мисс Мэнн. С той самой минуты, как она спустилась из своей спальни вниз, она старалась настроиться на спокойный лад и уже погрузилась было в приятное полузабытье, когда внезапный стук в дверь все испортил. При виде мисс Хелстоун она не выказала особого удовольствия, сухо поздоровалась с ней, холодно пригласила присесть и, как только гостя уселась, вперила в нее свой холодный взгляд.

Выдержать взгляд мисс Мэнн было трудным испытанием. Роберт Мур подвергся ему однажды и потом никак не мог забыть. По его словам, взгляд мисс Мэнн был подобен взгляду Медузы; он высказывал опасение — не изменилась ли его плоть под воздействием этого взгляда, не происходит ли в ней какого-либо окаменения. Взгляд этот произвел на него такое впечатление, что он поспешно покинул мисс Мэнн и сразу направился к церковному домику; там, представ с расстроенным видом перед Каролиной, он немало позабавил ее просьбой немедленно поцеловать его, чтобы разрушить действие злых чар.

Приходится признать, что столь грозные глаза, как у мисс Мэнн, не украшают женщину. Большие, сильно навывкате, они смотрели на вас пристально, не мигая, — ни дать ни взять два стальных шарика, впаянные в голову, — и когда, уставясь на вас исподлобья, она принималась говорить своим глухим и монотонным голосом, без малейшего выражения или изменения интонации, вам и вправду начинало казаться, что перед вами каменный идол; но все это только казалось. Угрюмой ведьмой она была только с виду, так же как многие прелестницы — только по виду ангелы.

На самом же деле мисс Мэнн была честнейшей женщиной, с высоко развитым чувством долга; в свое время она взвалила на свои



плечи такие тяжелые обязанности, от которых в ужасе отпрянули бы нежные создания с шелковистыми кудрями, ясными глазами и серебристым голосом. Ее не пугали самые страшные картины человеческого горя, она была способна на самоотверженные поступки, жертвовала и временем, и деньгами, и здоровьем, а заплатили ей за это черной неблагодарностью; и вот теперь ее основным, вернее, ее единственным недостатком была склонность осуждать весь род человеческий.

Эта черта тотчас же сказала: не успела Каролина просидеть и пяти минут, как хозяйка дома, все еще не сводя с нее грозного взгляда Горгоны, принялась разносить в пух и прах все соседские семьи. Она предавалась этому занятию с самым рассудительным и холодным видом, словно хирург, кромсающий ножом бесчувственное тело. Она никого не пощадила, разобрала по косточкам всех своих знакомых, и всем было отказано в добрых свойствах. Когда ее гостя время от времени отваживалась вставить слово-другое в их защиту, хозяйка дома с презрением отмахивалась от нее. Но как ни жестоко расправлялась она со своими соседями, ее все еще нельзя было назвать злостной сплетницей: особого вреда она никому не желала, и сердце у нее, в сущности, было совсем не злым.

Каролина впервые поняла это сегодня и сейчас же упрекнула себя в несправедливом отношении к несчастной женщине; поэтому она постаралась выразить ей свое сочувствие если не словами, то хотя бы ласковым, приветливым тоном. Ей внезапно открылась вся горечь одинокой жизни, и изможденное, некрасивое, мертвенно-бледное лицо показалось уже менее отталкивающим. Девушка от всей души пожалела женщину, перенесшую столько горя, и ее взгляд красноречиво говорил об этой жалости; а ведь милое личико привлекательнее всего в те минуты, когда его оживляет сердечное участие. Заметив это, мисс Мэнн была тронута; она оценила внимание, проявленное столь неожиданно к ней, привыкшей встречать только холодность и насмешки, и доверчиво отвечала собеседнице. Старая дева не отличалась словоохотливостью, когда дело касалось ее собственной жизни, — ведь никому не интересно было ее слушать; но сегодня ее уста разомкнулись, и гостя не могла удержаться от слез, слушая горестное повествование о жестоких, медленно, но упорно подтачивающих силы страданиях. Не удивительно, что мертвенно-

бледная мисс Мэнн походила на призрак; не удивительно, что она была угрюма и никогда не улыбалась; не удивительно, что она всячески избегала волнений и жаждала одного — покоя! Услышав историю ее жизни, Каролина вынуждена была признать, что следовало скорее восхищаться душевным мужеством мисс Мэнн, чем порицать ее за мрачность.

Читатель! Если тебе случится встретить человека, чью угрюмость ты не сможешь объяснить и она покажется тебе беспричинной, несносной, — знай, что этот человек скрывает свою рану, и рана эта болит, хоть она никому и не видна.

Мисс Мэнн почувствовала, что ее начинают понимать, и ей захотелось большего; ибо как бы мы ни были стары, некрасивы, унижены, раздавлены горем, пока в нашем сердце сохраняется искорка жизни — чуть тлеющий уголек, в нем не угасает и мучительная, острая жажда людского внимания и привязанности. Но страдалец лишен даже крохи участия; и вот когда уста его уже ссохлись от голода и жажды, когда все человечество, казалось, забыло об умирающем обитателе полуразрушенного жилища, божественное милосердие нисходит к несчастному и благодатная манна падает с небес на уста, которым уже отказано в земном хлебе. Евангельские обещания, которым мы внимали равнодушно в дни здоровья и юности, звучат теперь утешением у нашего ложа скорби; страдалец чувствует, что милосердный Бог заботится о нем, всеми забытом; он вспоминает о нежном сострадании Иисуса; потухающий взор смотрит за грань времени и видит отчий дом, и друга, и прибежище в Вечности.

Мисс Мэнн, тронутая добрым вниманием своей слушательницы, принялась во всех подробностях рассказывать ей о своей прошлой жизни. Она говорила одну только правду, с большой простотой и сдержанностью; она себя не превозносила и ничего не преувеличивала. Перед глазами Каролины вставал образ преданной дочери и сестры, которая многие годы самоотверженно и неустанно посвящала себя трудному уходу за неизлечимо больными, что, однако, не прошло для нее безнаказанным, — теперь ее самое снедал мучительный недуг; многим был ей обязан и один несчастный опустившийся родственник, — только ее помощь спасла и все еще спасает его от окончательного падения и гибели.

Каролина просидела у нее весь вечер, забыв о визите к мисс Эйнли. Расставшись с мисс Мэнн, она дала себе слово не замечать впредь ее недостатков и странностей, не смеяться над ней и, главное, не забывать и навещать ее хоть раз в неделю, — несчастной приятно будет видеть участие и уважение со стороны хотя бы одного человека; сейчас Каролина вполне искренне готова была подарить обездоленной женщине эти чувства.

По возвращении домой Каролина сказала Фанни, что она немного развлеклась, побывав в гостях, и очень рада, что послушалась ее совета. На следующий день она отправилась с визитом к мисс Эйнли. Эта соседка находилась в более стесненных обстоятельствах, чем мисс Мэнн, а между тем мисс Эйнли, этой почтенной, но обедневшей женщине было не по средствам держать служанку, она сама вела хозяйство, и только одна девушка с соседней фермы иногда приходила помогать ей.

Мисс Эйнли была не только беднее, но и еще невзрачнее мисс Мэнн. Даже в ранней молодости она, по всей вероятности, была нехороша собой; теперь же, в пятьдесят лет, она выглядела просто безобразной. При первом взгляде на ее отталкивающее лицо всякий, кроме очень воспитанного человека, невольно отшатывался с чувством досады и неприязни и составлял себе о ней предвзятое мнение. Кроме того, ее чопорность, манера держаться и разговаривать, одежда и весь внешний вид не оставляли никаких сомнений в том, что она старая дева.

Мисс Эйнли приветливо, хотя и несколько сухо, поздоровалась с Каролиной, но та не обиделась, зная, какое любвеобильное сердце прячется под ее накрахмаленной косынкой; все соседи, во всяком случае все соседки, знали это, никто не мог сказать худого слова о мисс Эйнли, хотя случалось, что какой-нибудь легкомысленный юнец или человек дурно воспитанный позволял себе посмеяться над ее уродливой внешностью.

Каролина сразу почувствовала себя как дома в этой крохотной гостиной; заботливая рука помогла ей снять шаль и шляпку и усадила ее на самое уютное место — у огня. Обе женщины, юная и пожилая, вскоре дружески беседовали, и Каролина невольно поддавалась тому влиянию, какое всегда оказывает на других чистый, самоотверженный, отзывчивый человек. Мисс Эйнли никогда не говорила о себе, всегда о

других. Их недостатки ее не занимали; она стремилась помочь им в их нуждах, облегчить их страдания. Она была глубоко набожна, — ее можно было бы назвать «святой женщиной», — и, беседуя на религиозные темы, она прибегала порой к несколько высокопарным выражениям, давая повод для шуток и глумления недалеким насмешникам, неспособным правильно и справедливо судить о человеке. Они впадали в глубокое заблуждение: искренность не может быть смехотворной и всегда заслуживает уважения. Каким бы языком ни говорила религиозная или нравственная истина — красноречивым или бесхитростным, — ей следует внимать с благоговением. Тем же, кто не способен безошибочно отличить искренность от ханжества, следует воздерживаться от насмешек, ибо их смех может оказаться неуместным и они, полагая, что показывают свое остроумие, выказывают только неблагочестие.

Каролина знала о добрых делах мисс Эйнли, но не от нее самой; бедняки Брайерфилда только о них и говорили. Она не раздавала милостыню, для этого старушка была слишком бедна (впрочем, она обрекала себя на всевозможные лишения, чтобы вносить и свою посильную лепту); нет, она помогала людям как самоотверженная, не отступающая ни перед какими трудностями сестра милосердия, а не как дама-благотворительница. Она ухаживала за тяжелобольными, стараясь облегчить их страдания, ухаживала за последним всеми покинутым бедняком и всегда оставалась кроткой, скромной, ласковой и ровной в обращении.

Но за все ее благодеяния судьба весьма скудно вознаградила ее. Бедняки привыкли к ее добрым делам и едва благодарили ее. Богатые только молча дивились, — должно быть, стыдясь ничтожности своих пожертвований в сравнении с этим подвигом самоотречения. Правда, многие дамы, — может быть, сами того не желая, — глубоко уважали ее, но только один человек, один-единственный, питал к ней самые дружеские чувства и ценил ее по достоинству; то был мистер Холл, священник Наннли. Он говорил, что за всю свою жизнь не встретил человека, который вел бы более святую жизнь, чем мисс Эйнли, и его суждение было вполне справедливым. Не думай, читатель, что характер мисс Эйнли — плод авторского воображения; нет, образец для ее портрета я взяла из реальной жизни.

Каролина с интересом присматривалась к этой женщине, открывшей ей сокровища своего сердца и ума; правда, глубокого ума она не увидела — всего лишь здравый смысл, зато доброты, деятельной, искренней любви к ближнему, терпеливости и кротости в ней было хоть отбавляй, и Каролина невольно преклонилась перед мисс Эйнли. Чего стоили ее собственные достоинства: любовь к природе, чувство прекрасного, душевная пылкость, восприимчивость и чуткость — в сравнении с добродетелями этой женщины? Все это лишь красивые формы эгоистического наслаждения; сейчас они потеряли цену в ее глазах.

И все же Каролина чувствовала не без грусти, что самоотречение, в котором мисс Эйнли нашла свой счастье, не для нее; такого рода жизнь, при всей ее чистоте и полезности, обрекала человека на одиночество, не согревала его любовью. Но, несомненно, убеждала себя Каролина, занимаясь делом, будешь чувствовать себя спокойнее. Нельзя вечно носиться со своими сердечными горестями, предаваться пустым воспоминаниям, растратить молодость в томительном бездействии и тоске и состариться после бесполезно прожитой жизни.

«Надо взять себя в руки, — решила она, — делать добро хотя бы из соображений благоразумия, если не по влечению сердца».

Она спросила мисс Эйнли, не может ли чем-нибудь помочь ей; та с радостью назвала ей кое-какие бедные семейства в Брайерфилде, которые желательно было бы навестить; сверх того, по ее просьбе, она дала ей сшить кое-что для детей, матери которых не умеют обращаться с иглой.

Придя домой, Каролина составила распорядок своего дня и дала себе слово строго ему следовать; она отвела определенное время для различных своих занятий, для поручений мисс Эйнли и, наконец, для прогулок, не оставив ни минуты для тех гнетущих раздумий, которые терзали ее в прошлое воскресенье.

Надо отдать ей справедливость, — она старалась строго следовать этому расписанию. Это было трудно, в особенности с непривычки, но помогало ей крепиться, рассеивало тоску, заполняло время и мысли; у нее становилось легче на душе от сознания, что она сделала людям что-то полезное, а иногда и приятное и облегчила их страдания.

Но — увы! — эта деятельность не вернула ей ни душевного мира, ни здоровья, она по-прежнему чахла, бледнела, становилась все

печальнее; в ее памяти непрестанно звучало одно, — имя Роберта Мура, не умолкала элегическая песня о прошлых днях, а иногда эта песня сменялась стоном глубокого отчаяния; на сердце у нее лежал тяжелый камень, юная душа была подавлена горем. Словно зима пахнула ледяным дыханием на раннюю весну ее жизни и все сокровища ее души застыли в мертвом оцепенении.

# ГЛАВА XI

## Филдхед

И все же Каролина не хотела падать духом. Она призвала на помощь все свое душевное мужество, стараясь усилием воли побороть гнетущую тоску; но трудна борьба в одиночестве, когда нет ни свидетелей, ни советчиков, ни друзей и не от кого ждать поддержки, совета, сочувствия.

Все это изведала Каролина. Но острота страдания как бы подхлестывала ее. Твердо решив побороть смертельную боль, она делала все, чтобы заглушить ее. Никогда еще ее день не был так насыщен, ни минуты не сидела она без дела; в любую погоду она отправлялась гулять, подолгу бродила по уединенным местам и возвращалась домой только в сумерки, бледная, измученная, но, по-видимому, еще полная бодрости; едва успев снять шляпку и шаль, она, вместо того чтобы передохнуть, принималась расхаживать взад и вперед по комнате до тех пор, пока совсем не валилась с ног. Она утверждала, что тогда ей лучше спится, но, видно, ей это не очень помогало, ибо ночью, когда все в доме затихало, она металась на подушках или неподвижно сидела на краю постели, словно забыв о том, что пора отдыхать. Очень часто бедняжка плакала — нахлынувшее на нее отчаяние лишало ее всякой выдержки, и она становилась беспомощной как дитя.

Когда силы изменяли девушке, ее мучило искушение написать Роберту и поведать ему о том, что ей запрещено видеться с ним и с Гортензией, что она несчастлива и боится, как бы он не лишил ее своего расположения (нет, не любви) и совсем ее не забыл; что она просит помнить о ней и время от времени давать о себе весточку. Раза два она писала ему письма, но стыд и здравый смысл не позволили ей послать их.

Наконец она почувствовала, что дальше так продолжаться не может, что она не вынесет такого напряжения и ей необходимо найти какой-то выход. Ей очень хотелось бы покинуть Брайерфилд, уехать куда-нибудь далеко. И еще одна мысль все больше и больше завладевала ею: разыскать свою мать. Однако вместе с этим желанием

возникало и сомнение — полюбит ли она ее, если им суждено встретиться? Поводов для таких опасений было достаточно; она никогда не слышала о своей матери ни одного доброго слова, — все, кто ее знал, отзывались о ней с холодком. Дядя, казалось, относился к невестке со скрытой неприязнью; пожилая горничная, недолго служившая у миссис Хелстоун после ее свадьбы, если и заговаривала о своей прежней госпоже, то всегда сдержанно и сухо, иногда называла ее странной, иногда говорила, что вообще отказывается понимать ее, — и дочери становилось больно от этих слов, и она невольно думала, что, пожалуй, лучше совсем не знать своей матери, чем встретить ее и не полюбить.

В конце концов Каролина решила, что спасение только в одном — найти для себя место гувернантки, ведь ничего другого она не умела. Один случай придал ей решимости поговорить об этом с дядей.

Для вечерних прогулок, как мы уже упоминали, Каролина выбирала обычно самые глухие, уединенные места; но где бы ни случилось ей гулять — по окраине мрачной Стилброской пустоши или по залитому солнцем лугу у Наннли, обратный путь ее всегда лежал мимо лощины. Вниз она сходила редко, но появлялась на склоне в сумерки почти так же неизменно, как звезда над вершинами окрестных холмов. Местом отдыха служила ей приступка у перелаза, под кустом боярышника; отсюда она видела домик Мура, и фабрику, и свежую зелень сада, и тихое озерцо воды у плотины; отсюда было ей видно также и знакомое окно конторы, в котором в определенный час ярко вспыхивал свет знакомой лампы; этого только и ждала она, радуясь, когда блестящий луч внезапно прорезал воздух ясным вечером или тускло мерцал сквозь туман, сквозь завесу дождя, — она ведь приходила сюда в любую погоду.

В иные вечера огонек не светил в окне, — значит, Роберт отсутствовал, и Каролина возвращалась домой еще более печальная, чем обычно; если же в окне горел свет, у нее на душе становилось легче, точно воскресали неясные надежды. Когда же за окном с частым переплетом мелькала чья-то тень, заслоняя свет лампы, сердце ее грохотало: это был Роберт, ей удалось увидеть его, хотя бы мельком! И Каролина возвращалась домой несколько утешенная; его образ отчетливее вставал перед ней, она яснее слышала его голос, припоминала его улыбку, все его движения; в этих воспоминаниях она



находила отраду, и ей казалось, что если бы она встретилась с Робертом, он обрадовался бы ей; а может быть, в эту самую минуту ему самому хотелось протянуть к ней руки, привлечь ее к себе и заключить в объятия, как бывало прежде. В такие ночи Каролина не так горько плакала; и подушка, на которую падали ее слезы, казалась ей мягче; и голова, покоившаяся на ней, не так болела.

Кратчайшая дорога от лощины до церковного домика огибала пустынный помещичий дом, мимо которого проходил Мелоун в своем ночном путешествии (мы упоминали об этом в одной из первых глав нашего повествования), — старинную усадьбу под названием Филдхед. Усадьба эта, пустовавшая уже лет десять, не производила, однако, впечатления заброшенной благодаря внимательному надзору мистера Йорка и старика садовника с женой, которые жили там и ухаживали за прилежавшим к дому парком, поддерживая порядок также и в самом доме.

Если усадьба и не имела особых архитектурных достоинств, то ее смело можно было назвать живописной: причудливая форма постройки, мшисто-зеленые тона, наложенные рукой времени, оправдывали этот эпитет. Старинные с решетчатыми переплетами окна, каменное крыльцо, стены, крыша и трубы были словно испещрены штрихами сепии. За домом возвышались статные дубы, раскидистые и могучие, на лужайке перед фасадом высился величественный кедр; гранитные вазы, украшавшие ограду, и резная арка ворот порадовали бы глаз художника.

Однажды майским вечером, незадолго до восхода луны, Каролина проходила мимо этих ворот; несмотря на усталость, ей не хотелось возвращаться домой, где ее ожидало только тернистое ложе и печальная бессонная ночь, и она опустила на траву у ворот, устремив взгляд сквозь решетку на красивый дом и кедр.

Прохладный вечер был тих и безоблачен. На фронте дома, обращенном к западу, играли янтарные отблески догорающего заката; на его фоне отчетливо вырисовывались темные дубы и еще более темный кедр. В прорезях бархатно-черных густых ветвей задумчиво синело небо, озаренное теперь полной величественной луной, которая со своей высоты мягко лила сияние и на Каролину.

Эта вечерняя картина пленила девушку своей печальной прелестью; в эту минуту она так жаждала счастья, так жаждала

душевного мира; почему провидение не сжалится над ней, не дарует ей помощь или утешение? Ее воображению представились радостные встречи счастливых влюбленных, воспетых в старинных балладах; как упоительно, должно быть, свидание в таком уголке! Где-то теперь Роберт? Дома его не было, тщетно ждала она весь вечер заветного огонька лампы; суждено ли им еще встречаться и говорить, как бывало?

Внезапно дверь, выходящая на каменное крыльцо, отворилась, и из дома вышли двое: пожилой мужчина с седыми волосами и молодой высокий брюнет. Они пересекли лужайку и вышли из парка боковой калиткой. Каролина видела, как они перешли дорогу, обогнули перелаз, спустились по пологому склону поля и скрылись из виду. Это были Роберт Мур и его приятель мистер Йорк; ни тот, ни другой не заметили девушку.

Они мелькнули у нее перед глазами и исчезли, но в ее жилах словно вспыхнуло пламя, и все в ней взбунтовалось. До их появления она была в унынии, а теперь пришла в полное отчаяние.

— Почему он был не один, почему не увидел меня! — вскричала Каролина. Он сказал бы мне хоть два-три слова, пожал бы мне руку! Должен же он, не может же он не любить меня, хоть немного! И я, может быть, увидела бы хоть чуточку любви; я почерпнула бы утешение в его взгляде, в его улыбке! Но и в этом мне отказано! Ни ветерок, ни тень от облака не умчится так неслышно, так бесследно, как он. Какая насмешка судьбы! Небеса жестоки ко мне!

Изнывая от тоски, в беспредельном отчаянии она вернулась домой.

На следующее утро Каролина сошла к завтраку очень бледная, с растерянным, блуждающим взглядом, словно смертельно испуганная чем-то, и сразу же обратилась к мистеру Хелстоуну с неожиданным вопросом:

— Вот что, дядя: я хочу искать место гувернантки в каком-нибудь доме. Как вы на это смотрите?

Дядя, ничуть не подозревавший о переживаниях племянницы, не поверил своим ушам.

— Это еще что за новости? — спросил он. — Да ты что, с ума сошла? Объясни, в чем дело.

— Я плохо себя чувствую, мне нужна какая-то перемена.

Внимательно взглянув на племянницу, мистер Хелстоун обнаружил, что перемена уже произошла — во всяком случае в ее внешности. Он и не замечал, как ее румяные щечки бледнели, блекли и теперь своей окраской напоминали скорее подснежники, чем розы; лицо потеряло свежесть и осунулось; она сидела перед ним поникшая, худенькая, чуть ли не прозрачная. И только кроткие глаза, тонкие черты лица, пышные волны волос все еще давали ей право называться хорошенькой.

— Да что с тобой такое? — спросил он. — Что случилось? Что тебя мучает? Уж не больна ли ты?

Ответа не последовало, только глаза наполнились слезами и бледные губы задрожали.

— Придумает тоже — искать себе место! Да что ты умеешь делать? Что с тобой происходит? Ты плохо себя чувствуешь?

— Я, наверное, почувствовала бы себя лучше, если бы уехала отсюда.

— Пойми этих женщин! Кто, как они, умеют поставить человека в тупик, преподнести ему неприятный сюрприз. Сегодня она цветущая и веселая, румяна, как вишня, и кругла, как яблочко, а завтра становится изможденной, как мертвый плевел, вялой, разбитой. А причина? В том-то и загадка. У нее всего вдоволь — есть и крыша над головой, и хороший стол, и наряды, и полная свобода, словом, все как должно. Совсем недавно этого было достаточно, чтобы быть хорошенькой и веселой, а теперь вот она сидит вся съежившаяся, бледная, такая несчастная, хнычущая девчонка. Непонятно! Но что-то, однако, надо предпринять. Я приглашу к тебе доктора, — хорошо, детка?

— Нет, дядя, незачем. Доктор мне не поможет. Перемена места и обстановки — вот все, что мне нужно.

— Ну, раз уж такова твоя прихоть, я готов удовлетворить ее. Поезжай на воды полечиться, на расходы я не поскуплюсь. Фанни поедет с тобой.

— Но, дядя, ведь настанет день, когда мне придется самой о себе позаботиться. У меня нет состояния. Так не лучше ли начать сейчас же?

— Покамест я жив, не быть тебе гувернанткой, Каролина! Я не допущу, чтобы люди говорили — «его племянница в гувернантках».

— Но чем позднее в жизни происходит такая перемена, тем это труднее и мучительнее; мне хотелось бы приняться за работу раньше, чем у меня сложится привычка к легкой и независимой жизни.

— Каролина, пожалуйста, не серди меня; я намерен позаботиться о твоём будущем, я всегда об этом помню. Я оставлю тебе ежегодную ренту. Господи, да ведь мне всего пятьдесят пять лет, здоровье у меня превосходное. Еще успею принять меры и отложить для тебя деньги! О будущем тебе нечего тревожиться. Тебя это беспокоит?

— Нет, дядюшка, просто мне необходима перемена.

Мистер Хелстоун рассмеялся и воскликнул:

— Вот уж настоящая женщина! Перемена, да и только! Вечные капризы и прихоти! Ну что ж, это у вас в крови.

— Дядя, это совсем не капризы и не прихоти!

— Что же тогда?

— Необходимость! Я слабею с каждым днем; я думаю, мне следовало бы чем-нибудь заняться.

— Великолепно! Она слабеет, поэтому-то ей и следует заняться тяжелой работой, «clair comme le joir»,<sup>[78]</sup> как говорит Мур... Да что он нам! Ты поедешь в Клифбридж. И вот тебе две гинеи, купи себе новое платье. Подбодришь, Кэри. В Галааде<sup>[79]</sup> мы найдем исцеление.

— Ах, дядюшка, мне хотелось бы видеть вас менее щедрым и более...

— Каким?

«Участливым» — чуть не сорвалось у нее с языка, но она вовремя спохватилась. Дядя только посмеялся бы над таким «чувствительным» словом.

Не дождавшись ответа, мистер Хелстоун заметил:

— Вот видишь, ты и сама не знаешь, чего хочешь.

— Только одного — стать гувернанткой.

— Фу ты, какая глупость! И слышать об этом не желаю, и не приставай ко мне. Вот уж чисто женская прихоть. Я кончил завтракать, позвони. Выкинь все это из головы, поди погуляй, развлекись немного...

«Чем же? В куклы поиграть?» — спросила себя Каролина, выходя из комнаты.

Прошла неделя-другая; здоровье и настроение Каролины не ухудшались и не улучшались. Состояние у нее было подавленное, и

будь она предрасположена к малокровию, лихорадке или чахотке, эти болезни быстро развились бы и преждевременно унесли бы ее в могилу. Люди не умирают из-за одних любовных горестей, но некоторые умирают от тяжелых болезней, которые под влиянием таких потрясений преждевременно начинают свое разрушительное действие. Здоровые же люди слабеют, становятся бледными, хрупкими, похожими на тени; их красота и цветение юности блекнут, но жизнь их не угасает. Кажется, что вскоре они слягут и уже не встанут, что в круг здоровых и счастливых их больше не вернешь; но нет, они продолжают жить. Юность и веселость покинули их навсегда, но силы и душевный мир постепенно вернутся к ним. Цвет, побитый мартовским заморозком, но не сброшенный с ветки, может провисеть до поздней осени, превратясь в сморщенный, высохший плод; уцелев при последних весенних заморозках, он не погибнет и при первых зимних морозах.

Все замечали, что мисс Хелстоун сильно изменилась, и многие высказывали опасение, что дни ее уже сочтены. Но сама она этого не думала; она не чувствовала себя умирающей, у нее не было никаких болей, никаких скрытых недугов. Правда, она лишилась аппетита и становилась все слабее, но это только потому, что она много плакала по ночам и поздно забывалась беспокойным сном, полным кошмаров. И все же она надеялась, что время сделает свое — исцелит ее от горестей и принесет душевный покой, хотя счастья ей уже не знать.

Дядя упорно уговаривал ее развлекаться, принимать частые приглашения соседей и навещать их, но она избегала следовать этому совету, ибо не могла заставить себя быть веселой в обществе; вдобавок она замечала, что за ней наблюдают, причем больше с любопытством, чем с сочувствием. Старые дамы советовали ей прибегнуть к тому или иному испытанному средству лечения, а молодые бросали на нее взгляды, которых она страшилась, — их смысл был ей ясен: эти дамы понимали, что Каролина была «обманута», согласно избитому выражению, только они не догадывались, кем именно.

Заурядные молодые дамы отличаются такой же жестокостью, как и заурядные молодые люди, — они так же суетны и черствы сердцем. Тем, кто страдает, лучше держаться от них подальше; по их мнению, горести и невзгоды заслуживают одного лишь презрения; таков удел, уготованный Господом Богом для малых мира сего; для них же

«любить» — означает добиваться выгодной партии, «быть обманутой» — убедиться, что твоя игра разгадана и твои расчеты не оправдались, — только и всего. Предполагая, что чувства и намерения остальных людей в любви ничем не отличаются от их собственных, они и судят обо всех по своей мерке.

Врожденный инстинкт и наблюдательность открыли это Каролине, и она старалась, чтобы ее бледное, осунувшееся лицо поменьше попадалось людям на глаза. Она жила очень замкнуто и до нее не доходили слухи обо всех мелких происшествиях в жизни соседей.

Однажды дядя, войдя в гостиную, где Каролина сидела за мольбертом и с большим усердием писала маслом букетик полевых цветов, сорванных на склоне оврага, решительно заявил ей:

— Вставай, девочка, вечно ты сидишь с кистью, или с книгой, или с вышивкой. Оставь свою мазню. Кстати, когда ты пишешь, не притрагиваешься ли ты иной раз кисточкой к губам?

— Иногда случается, дядя, по рассеянности!

— Вот то-то и оно! Это тебя и отравляет. Ведь краски очень вредны. В их состав входит белый и красный свинец, и яр-медянка, и гуммигут, да и множество других ядов. Живо убери их в ящик и надевай шляпку. Ты пойдешь со мной в гости.

— С вами в гости?

В ее голосе звучало удивление: дядя никогда не брал ее с собой, им ни разу не случилось гулять или ездить куда-либо вместе.

— Живо, живо! У меня, как всегда, масса дел, а времени в обрез.

Каролина поспешно убрала палитру и краски и спросила у дяди, куда он собирается ее вести.

— В Филдхед.

— В Филдхед? Но зачем? Проведать старого садовника Джеймса Бута? Он заболел?

— Мы идем навестить мисс Шерли Килдар.

— Мисс Килдар? Да разве она в Йоркшире? Вернулась в свое поместье?

— Да, уже с неделю. Я встретился с ней вчера у одних знакомых, помнишь, я звал тебя к ним, а ты не пошла. Мне она очень понравилась, вот я и хочу познакомить тебя с ней. Тебе это будет полезно.

— Она теперь уже, наверно, совершеннолетняя?

— Она совершеннолетняя и собирается некоторое время провести у себя в поместье. Я вчера наставлял ее, объяснял ей ее обязанности и увидел, что она девушка умненькая, понятливая. Она тебе покажет, что значит быть жизнерадостной! Уж ее-то не назовешь мечтательницей!

— Но захочется ли ей со мной встречаться? На что я ей нужна? Какая ей от меня польза или радость?

— Ш-ш! Надевай шляпку.

— Она, верно, гордая, дядя?

— Не знаю. Да и не станет же она выказывать свою гордость передо мной! Совсем еще девочка, хоть и богатая, вряд ли позволит себе важничать со священником своего прихода!

— Конечно нет, но какова она с остальными?

— Право, не заметил. Она высоко держит голову, и я думаю, при случае сумеет постоять за себя, — на то она и женщина! Ну, хватит, иди за хвоей шляпкой, и в путь!

Каролина, которая никогда не отличалась самоуверенностью, а теперь вдобавок еще ослабела и пала духом, что не прибавило ей самообладания и непринужденности и не укрепило ее смелости, с замиранием сердца, но всячески стараясь взять себя в руки, последовала за дядей по широкой мощеной аллее Филдхеда, тянувшейся от ворот к крыльцу дома. Нехотя поднялась она на крыльцо и очутилась в старинном темном вестибюле.

Длинный и просторный, он тонул в полумраке; единственное решетчатое окно почти не пропускало дневного света; в большом старинном камине не пылал огонь, — на дворе было уже тепло, и камин был заложен ивовыми сучьями. Галерея, расположенная наверху, прямо против входа, видна была очень смутно, ибо под потолком еще больше сгустились тени; резные олени головы с настоящими рогами смотрели со стен. Этот старинный, причудливо построенный дом не отличался пышностью и благоустроенностью ни снаружи, ни внутри. К нему прилегал земельный участок, приносящий около тысячи фунтов годового дохода; имение перешло в женские руки, так как в роду не осталось мужчин. В округе многие семьи коммерсантов обладали в два раза большим доходом, но Килдары превосходили всех древностью рода и к тому же владели фамильным поместьем.

Мистер и мисс Хелстоун были проведены в гостиную. Как и следовало ожидать, гостиная такого старинного готического здания была отделана дубом: красивые, темные, глянцевиые панели украшали стены, придавая комнате величественно-мрачный вид. Да, читатель, прекрасное впечатление производят эти полированные панели мягкого коричневого тона, но когда знаешь, какого труда стоит весной их полировка, то не хочется и смотреть на них. Всякий, кто хоть раз видел, как служанки в теплый майский день натирают эти стены воценой суконкой до глянца, должен признать, — если он не совсем лишен человеколюбия, — что они ласкают глаз, но возмущают сердце. Я считаю, что достоин всяческих восхвалений милосердный варвар, приказавший выкрасить в нежно-розовый тон другую, более просторную гостиную, прежде тоже обшитую дубом; быть может, кое-кто и упрекнет его за такое бесчинство, но и сама комната стала выглядеть веселей, и целые поколения служанок избавились от тяжелой работы.

Гостиная с панелями была выдержана в готическом стиле и обставлена старинной мебелью; по обе стороны высокого камина стояли дубовые кресла, массивные, как троны лесного царя, и на одном из них сидела дама. Однако если то была мисс Килдар, ее следовало бы уже лет двадцать считать совершеннолетней. Хотя эта почтенная дама еще не прятала под чепец свои каштановые, не тронутые сединой волосы и лицо ее с мелкими чертами сохраняло девически простодушное выражение, ее нельзя было назвать молодой, да она, как видно, и не заботилась об этом. Платье ее было старомодным и оставляло желать лучшего. Возможно, что в хорошо сшитом изящном наряде она выглядела бы более привлекательно, теперь же странно было видеть ее платье из дорогой материи, сшитое устаревшим фасоном, и невольно думалось, что его обладательница — особа со странностями.

Прием, оказанный этой дамой гостям, был чисто английский вежливо-церемонный, но несколько натянутый; только англичанке, и притом немолодой, свойственна такая манера держаться, полная неуверенности в себе, в своих достоинствах, в своем умении занять гостей, несмотря на очевидное желание соблюсти приличия и быть любезной. Однако в данном случае смущение было что-то слишком уж сильным, даже для застенчивой англичанки. Каролина, заметив это,



отнеслась с сочувствием к своей новой знакомой и, зная по опыту, как лучше всего ободрить боязливого человека, спокойно уселась возле нее и заговорила с ласковой непринужденностью, бог весть откуда взявшейся у нее, как только она очутилась в присутствии женщины, еще более застенчивой, чем она сама.

Наедине они быстро сошлись бы; почтенная дама обладала на редкость чистым, звучным голосом, гораздо более мягким и певучим, чем можно было ожидать при ее возрасте и склонности к полноте. Ее голос понравился Каролине, своей теплотой он искупал несколько чопорную манеру разговаривать. Дама, вероятно, скоро заметила бы, что понравилась гостю, и минут через десять обе уже стали бы друзьями. Но здесь был также мистер Хелстоун; он стоял на ковре и глядел на них обеих, в особенности на старшую, и когда его проницательный взгляд останавливался на ней, в нем сквозила нескрываемая насмешка и досадливое презрение, вызванное ее чопорностью и скованностью. Она же все больше терялась от его недружелюбного взгляда и резкого голоса, хоть и пыталась произносить какие-то вымученные, отрывистые фразы относительно погоды, прелестных видов и тому подобного, но тут нелюбезный Хелстоун внезапно стал туг на ухо: он притворился, будто не слышит ее слов, и ей приходилось повторять то несколько раз свои пустые, ничего не значащие фразы. Наконец бедняжка не выдержала, она поднялась и, вся трепеща, нервно забормотала, что ей непонятно, почему задержалась мисс Килдар, и что она, пожалуй, сходит за ней, — но в эту минуту мисс Килдар своим появлением избавила ее от беспокойства; во всяком случае были все данные предположить, что молодая особа, вошедшая из сада через застекленную дверь, и есть сама наследница.

Непринужденность обращения всегда подкупает, что почувствовал и старый Хелстоун, когда к нему приблизилась стройная, изящная девушка; поддерживая левой рукой край шелкового фартучка, полного цветов, она протянула ему правую руку и любезно сказала:

— Я была уверена, что вы зайдете проведать меня, мистер Хелстоун, хотя и считаете, что мистер Йорк воспитал меня якобинкой. Доброе утро.

— Но мы не позволим вам быть якобинкой, — возразил священник. — Нет, мисс Килдар, им не удастся похитить лучший

цветок моего прихода; теперь, когда вы снова среди нас, я сам займусь вашим образованием — и политическим и религиозным. Я привью вам здоровые понятия.

— Миссис Прайор уже опередила вас, — возразила девушка, указав на пожилую даму. — Вы знаете, миссис Прайор была моей гувернанткой и осталась моим другом, а ведь она самая рьяная среди рьяных и неумолимых тори; она первая среди преданнейших дочерей нашей высокой церкви. Смею заверить вас, мистер Хелстоун, мы с ней достаточно глубоко проходили как историю, так и богословие.

Священник отвесил миссис Прайор низкий поклон, заметив, что он ей чрезвычайно благодарен.

Миссис Прайор принялась отрицать свое умение разбираться в тонкостях политики и религии и объяснила, что считает эти предметы выше женского понимания; однако в общем она подтвердила свою приверженность существующему порядку и законам, а также свою преданность англиканской церкви; заявила о своем недоверии ко всякого рода переменам и едва слышно пролепетала, что совсем незачем с такой готовностью воспринимать любые новые веяния, чем и закончила свою речь.

— Я надеюсь, мисс Килдар придерживается того же образа мыслей, что и вы, сударыня?

— При разном возрасте и разных характерах не может быть одинаковых взглядов и чувств, — отпарировала мисс Килдар. — Трудно рассчитывать, чтобы пылкая юность придерживалась тех же взглядов, что и холодный зрелый возраст.

— Ого, как мы независимы! Хотим жить своим умом! Да вы и впрямь маленькая свободомыслящая якобинка! Ну-ка расскажите, во что вы верите.

Взяв обе руки юной наследницы в свои, — причем весь ворох цветов упал на пол, — он усадил ее возле себя на диван.

— Прочтите Символ Веры, — приказал он.

— Апостольский?<sup>[80]</sup>

— Да.

Она, как ребенок, повторила его.

— Ну, а теперь Символ Веры святого Афанасия. Вот это — пробный камень.

— Дайте мне сначала собрать цветы, не то их растопчет Варвар.

Варвар, крупный, свирепого вида пес, очень уродливый — помесь бульдога с мастифом, вошел в комнату, направился прямо к ковру и с сосредоточенным видом обнюхал разбросанные там цветы. Рассудив, что в пищу цветы непригодны, но что их бархатистые лепестки могут послужить удобной подстилкой, рыжий пес принялся топтаться возле них с явным намерением привольно разлечься. Но тут Каролина и мисс Килдар одновременно бросились спасать положение.

— Благодарю вас, — произнесла молодая наследница, протягивая концы своего фартука Каролине, помогавшей ей подбирать цветы.

— Так это ваша дочка, мистер Хелстоун? — обратилась она к священнику.

— Моя племянница — Каролина.

Мисс Килдар протянула девушке руку и внимательно посмотрела на нее. Каролина в свою очередь посмотрела на молодую хозяйку дома.

Родители Шерли Килдар страстно желали иметь сына, но когда после восьмилетнего бесплодного супружества провидение подарило им всего лишь дочь, они дали ей то имя, которое предназначалось столь желанному сыну. Шерли отнюдь не была нехороша собой; напротив, ее внешность радовала взгляд: ростом и фигурой она походила на Каролину, только была чуть повыше; сложена она была изящно, а ее матово-бледное, умное, выразительное лицо обладало той прелестью, которую принято определять словом «обаяние». Она не была светло-русой, как Каролина, в ее внешности прихотливо сочетались очень светлые и очень темные тона: кожа у нее была белая, глаза чистейшего темно-серого цвета, без зеленоватого отблеска, волосы темно-каштановые. Черты лица Шерли были полны благородства. Я подразумеваю не чеканную резкость римского типа, напротив, они были мелки и тонки, fins, gracieux, spirituels:<sup>[81]</sup> лицо, подвижное и выразительное, отражало изменчивые настроения ее души, но уловить прихотливую игру этого лица удавалось не сразу.

Склонив голову набок, Шерли некоторое время с вдумчивым видом присматривалась к Каролине.

— Вы видите, она совсем еще цыпленок, — заметил мистер Хелстоун.

— Да, она выглядит моложе меня. Сколько же вам лет? — спросила она, и вопрос ее мог бы показаться покровительственным,

если бы не был задай очень просто и серьезно.

— Восемнадцать с половиной.

— А мне уже двадцать один.

Больше она ничего не добавила и принялась разбирать цветы, лежавшие теперь на столе.

— Ну, как же насчет Символа Веры святого Афанасия? — настаивал священник. — Вы и его знаете, не так ли?

— Я не помню его до конца. Я сделаю букет для вашей племянницы, мистер Хелстоун, и для вас.

Составив небольшой букетик из двух-трех нежно окрашенных цветков и одного яркого, она оттенила его веточкой темной зелени, перевязала шелковинкой и положила на колени Каролине; потом, заложив руки за спину и чуть наклонясь к своей гостье, она постояла несколько минут, пристально глядя на нее, похожая в этой позе на почтительного, внимательного кавалера. Этому впечатлению способствовала и ее прическа, — волосы, разделенные пробором у виска, блестящей волной обрамляли ее лоб и свободно падали на плечи легкими локонами.

— Вас не утомила прогулка? — спросила она.

— Нет, нисколько; да и путь недалекий — не больше мили.

— Вы что-то бледны. Она всегда такая бледная? — обратилась Шерли к священнику.

— Прежде она была розовенькая, как этот вот цветок!

— Что же произошло? Она была больна?

— Она говорит, что ей нужна перемена.

— Да, по-видимому, это так; вам следовало бы позаботиться о ней, послать ее к морю.

— Непременно пошлю еще до конца лета. А пока мне бы хотелось, чтобы вы подружились, если вы ничего не имеете против.

— Я уверена, мисс Килдар будет только рада, — вмешалась миссис Прайор. — Беру на себя смелость заверить вас, что, если мисс Хелстоун будет часто бывать у нас, мы почтем это за честь.

— Сударыня, вы очень верно выразили мои собственные чувства, подтвердила Шерли. — Благодарю вас. Позвольте сказать вам, — продолжала она, обернувшись к Каролине, — что и вам следовало бы поблагодарить мою гувернантку; не всякого принимает она так, как приняла вас. Вам оказана большая честь, чем вы полагаете. И как

только вы уйдете, я спрошу миссис Прайор, что она о вас думает. Я очень доверяю ее суждениям о людях, у меня были случаи убедиться в ее проницательности. Но сейчас я предвижу самый благосклонный отзыв. Не так ли, миссис Прайор?

— Да, моя дорогая, но как вы сами сказали, мы поговорим об этом после ухода мисс Хелстоун; не могу же я говорить о госте в ее присутствии.

— Увы, мне придется набраться терпения и ждать, пока вы не соизволите высказаться. Ах, мистер Хелстоун, своей крайней осторожностью миссис Прайор немало мучает меня. Не удивительно, что ее суждения верны, они вынашиваются иной раз так же долго, как приговоры лорда-канцлера. О некоторых людях она упорно не желает высказать своего мнения, сколько ее ни упрашивай.

Миссис Прайор улыбнулась.

— Да, да, — продолжала ее воспитанница, — я знаю, почему вы улыбаетесь: вы подумали о моем арендаторе? Вам знаком мистер Мур, который живет в лощине? — спросила она мистера Хелстоуна.

— Ах правда, ведь он ваш арендатор! Вы, должно быть, частенько встречаетесь с ним с тех пор, как приехали?

— Мне приходится с ним встречаться, у нас ведь общие дела. Дела! Стоит мне произнести это слово, и я чувствую, что я и вправду не девочка, а вполне взрослая женщина, — и даже более того: я — эсквайр. Шерли Килдар, эсквайр, вот мое звание и титул. Меня называли мужским именем, я занимаю в обществе положение мужчины, и это наделяет меня некоторой мужественностью, а когда такие люди, как этот статный англобельгиец, этот Жерар Мур, серьезно разговаривают со мной о делах, я и в самом деле начинаю чувствовать себя мужчиной. Вам следовало бы в следующий раз выбрать меня церковным старостой; пусть меня выберут в судьи или назначат капитаном Территориальных войск; ведь была же полковником мать Тони Лэмкина, а его тетя — мировым судьей; так почему бы и мне не последовать их примеру?

— Я бы от всей души поддержал вас. Выдвиньте только свою кандидатуру, и я первый отдам за вас свой голос. Однако мы говорили о Муре?

— Ах да! Я никак не могу понять, что он за человек, и не знаю, как к нему относиться, стоит ли с ним знакомиться короче или нет.

Таким арендатором всякий помещик может, конечно, только гордиться, и в этом смысле я горжусь им, но вот как сосед — что он собой представляет? Сколько я ни прошу миссис Прайор высказать свое мнение о нем, она все уклоняется от ответа. Надеюсь, мистер Хелстоун, вы будете откровеннее и скажете мне напрямик: нравится он вам?

— С некоторых пор совсем не нравится! Его имя вычеркнуто из списка моих добрых знакомых.

— Но почему же? Чем он так провинился?

— Просто дядя не сошелся с ним в политических взглядах, — раздался тихий голосок Каролины. Разумеется, ей не следовало этого говорить, — она все время молчала, не вступая в общий разговор, и совсем некстати вмешалась именно теперь; с чуткостью нервного человека она и сама поняла, как неуместны были ее слова, и покраснела до ушей.

— Какие же у Мура политические взгляды? — осведомилась Шерли.

— Взгляды торговца, — ответил священник, — взгляды мелкого эгоиста, лишённого чувства патриотизма. Он постоянно выступает, устно и письменно, за окончание войны. Я уже потерял с ним всякое терпение.

— Война мешает ему развивать свое дело, он говорил мне об этом не далее как вчера. А что еще вы имеете против него?

— По-моему, и этого достаточно.

— На меня он произвел впечатление человека благородного в том смысле, как я это понимаю, — продолжала Шерли. — Мне хотелось бы верить, что он и на самом деле таков.

Каролина, которая в это время теребила алые лепестки самого яркого цветка в своем букетике, проговорила отчеканивая слова:

— Он, безусловно, благородный человек!

Услыхав это решительное заявление, Шерли метнула на говорившую испытующий взгляд, и в ее выразительных глазах засветилось лукавство.

— Вы-то во всяком случае ему друг, — заметила она, — вы защищаете его даже в его отсутствие.

— Я ему не только друг, но и родственница, — поспешила объяснить Каролина, — он ведь мне доводится кузеном.

— О, так от вас я могу узнать все, что меня интересует. Пожалуйста, обрисуйте мне его характер.

Невыразимое замешательство охватило Каролину; выполнить эту просьбу было выше ее сил; к счастью, миссис Прайор вывела ее из затруднения, очень кстати спросив мистера Хелстоуна, не знаком ли он с двумя-тремя семействами, жившими неподалеку, — она имела случай познакомиться на юге с их друзьями. Шерли вскоре отвела глаза от лица Каролины и, не возобновляя своих расспросов, снова занялась цветами, составляя бутоньерку для священника. Она преподнесла ее Хелстоуну при расставании, за что была удостоена почтительного поцелуя ручки.

— Надеюсь, вы будете носить ее ради меня, — сказала она.

— Как же, у самого сердца, — ответил он. — Миссис Прайор, поручаю вашим заботам этого будущего судью, будущего церковного старосту, будущего капитана Территориальных войск, этого юного сквайра Брайерфилда; следите, чтобы он не переутомлялся и не сломал себе шеи во время охоты; и, главное, не позволяйте ему нестись галопом на лошади по опасному спуску в лощину.

— Я люблю крутые спуски, — сказала Шерли, — люблю мчаться по ним, пустив лошадь во весь опор, и не могу высказать вам, до чего мне нравится сама лощина — она так романтична!

— Романтична, несмотря на фабрику?

— Романтична, несмотря на фабрику. Старая фабрика и белый дом тоже прекрасны, каждый в своем роде.

— Ну, а контора, мистер Килдар?

— Контора мне нравится даже больше, чем моя нежно-розовая гостиная. Я в восторге от конторы!

— И от фабрики, от сукон, от жирной шерсти, от грязных красильных чанов?

— Фабрика заслуживает всяческого уважения.

— А сам фабрикант, конечно, герой? Отлично.

— Очень приятно, что мы сошлись во взглядах; я тоже нахожу, что фабрикант выглядит героем.

Она вся сияла оживлением и радостью, лукаво перекидываясь шутками со старым воякой, который также находил большое удовольствие в этой шутиливой перестрелке остротами.

— Капитан Килдар, в ваших жилах нет ни капли коммерческой крови откуда же такое пристрастие к торговле?

— Не забывайте, что я владелица фабрики в лощине и именно от нее получаю добрую половину моих доходов.

— Только смотрите, не станьте компаньоном этого фабриканта!

— Вы подали мне отличную мысль! Отличную! — воскликнула Шерли, заливаясь смехом. — Теперь она прочно засядет у меня в голове; благодарю вас!

И, помахав на прощание белой, как лилия, и изящной, как у волшебницы, ручкой, она скрылась в доме, а священник и его племянница направились к сводчатым воротам.



## ГЛАВА XII

### Шерли и Каролина

Радужно приглашая Каролину почаще навещать ее, Шерли была вполне искренней и сама искала поводов для встреч: да иначе этих встреч и не было бы вовсе, — мисс Хелстоун нелегко сходилась с новыми людьми. Ей всегда казалось, что людям скучно в ее обществе, что она не умеет быть занимательной и потому можно ли ожидать, чтобы за любезным приглашением избалованной, блистательной владелицы поместья Филдхед крылось подлинное желание сблизиться с такой скромной особой, как она.

Шерли и вправду была блистательна, а возможно, и избалованна; однако всякий человек нуждается в добром друге; и хотя за один месяц она успела перезнакомиться со многими семьями в окрестностях и была на короткой ноге чуть ли не со всеми мисс Сайкс, мисс Пирсон и двумя отменными мисс Уинн из поместья Уолден, ни одна не пришлась ей по вкусу; ни в одной из них она не нашла, как она выразилась, родной души. И если бы ей, Шерли Килдар, действительно посчастливилось быть владельцем поместья Филдхед, эсквайром, вряд ли хоть одна из них показалась бы ему достойной стать хозяйкой поместья Филдхед.

Этими мыслями поделилась она однажды с миссис Прайор, но та, уже привыкнув к причудам своей воспитанницы, спокойно ответила:

— Дорогая моя, смотрите, как бы у вас не вошло в привычку говорить о себе как о мужчине: это производит очень странное впечатление. Если вас услышит посторонний, он подумает, что вы и вправду стремитесь подражать мужчине.

Шерли никогда не смеялась над замечаниями своей бывшей гувернантки; относясь к ней с большим уважением, она прощала ей некоторый педантизм и безобидные странности; только недалекие люди позволяют себе смеяться над слабостями достойных, в общем, людей, а Шерли не принадлежала к их числу; поэтому она промолчала. Стоя у окна, она задумчиво наблюдала за птичкой, сидевшей на ветке могучего кедра, потом вдруг принялась насвистывать, как бы подражая

ее чириканию, — все громче и громче; и вот уже Шерли насвистывала какую-то мелодию, притом очень искусно.

— Дорогая моя! — раздался негодующий возглас миссис Прайор.

— Разве я свищу? — спросила Шерли. — Я забылась. Прошу прощения, сударыня. Я дала себе слово никогда не свистеть в вашем присутствии.

— Но, мисс Килдар, где вы научились свистеть? Наверное, уже здесь, в Йоркшире. Прежде у вас не было этой привычки.

— Что вы! Я научилась свистеть уже давным-давно.

— Кто же научил вас?

— Никто; сама научилась по слуху, потом отвыкла; но вот вчера вечером, возвращаясь домой, я услышала, как один джентльмен по другую сторону изгороди насвистывает эту самую песенку, и невольно сама засвистела.

— Кто же это был?

— У нас здесь есть только один джентльмен, сударыня, — мистер Мур; во всяком случае единственный не седовласый среди наших джентльменов; правда, мои почтенные любимцы, мистер Хелстоун и мистер Йорк, — превосходные старые рыцари; здешние юнцы глупы, и им далеко до стариков!

Миссис Прайор молчала.

— Вы не очень жалуете мистера Хелстоуна, сударыня?

— Сан мистера Хелстоуна не позволяет мне судить о нем.

— Я заметила, что вы под любым предлогом покидаете комнату, как только о нем докладывают.

— Вы пойдете сегодня гулять?

— Да, я собираюсь зайти за Каролиной Хелстоун, — ей не мешает подышать воздухом, — и мы отправимся побродить по лугу у Наннли.

— Если вы туда пойдете, прошу вас напомнить мисс Хелстоун, чтобы она оделась потеплее, — сегодня ветрено, а ей следует беречься.

— Ваша просьба будет исполнена, миссис Прайор, но, быть может, и вы составите нам компанию?

— Нет, дорогая; боюсь, что я вас стесню: при моей полноте я не могу ходить так быстро, как вы.

Шерли без труда уговорила Каролину погулять с ней; когда же они вышли на пустынную дорогу, пересекавшую широкое раздолье луга, ей с такой же легкостью удалось завязать с Каролиной

непринужденный разговор. Застенчивость, сковывавшая Каролину в первые минуты, вскоре прошла, и она охотно беседовала с мисс Килдар. Обменявшись всего лишь двумя-тремя фразами, они уже составили себе некоторое представление друг о друге. Шерли сказала, что ей нравится этот обширный луг, особенно вереск, растущий по его краям, ибо он приводит ей на память вересковые равнины на границе с Шотландией. В особенности запомнилось ей одно место, — Шерли проезжала там летом, в томительный, душный, бессолнечный день; от полудня до заката ехали они по необозримому, покрытому густым вереском степному простору, не видя ничего, кроме диких овец, не слыша ничего, кроме крика диких птиц.

— Я представляю себе, как выглядит вересковая равнина в такой день, подхватила Каролина, — темно-багровая, еще темнее тоном, чем зловещее небо.

— Да, небо было зловещим, только края облаков светились медью, — во всех его концах вспыхивали белые зарницы, и это придавало ему еще более грозный вид. Так и казалось, что сейчас сверкнет ослепительная молния.

— И гром гремел?

— Да, в отдалении были слышны глухие раскаты, но гроза разразилась позднее, вечером, когда мы уже добрались до постоянного двора — уединенного домика у подножия горной гряды.

— А видели вы, как на горные вершины опускаются облака?

— Да, я стояла у окна и целый час любовалась этой картиной; сначала холмы окутала серая пелена тумана, когда же ливень хлынул сплошной белой завесой, их очертания совсем скрылись из виду, словно их смыло с лица земли.

— И мне случалось наблюдать такие ливни среди холмов Йоркшира; в самый разгар грозы, когда небо превращалось в сплошную струящуюся мглу, а земля скрывалась под сплошными потоками воды, я живо представляла себе, каким был всемирный потоп.

— Зато после бури так отрадна наступающая в природе тишина, когда в разрывы облаков пробиваются ласковые лучи и утешают вас, возвещая, что солнце не угасло.

— Мисс Килдар, остановитесь на минутку и взгляните отсюда на долину и лес.

Обе замерли на склоне небольшого холма, глядя вдаль, на долину, расстилавшуюся в весеннем убранстве, на ее лужайки, золотые от лютиков и жемчужно-белые от маргариток; сегодня свежая зелень долины улыбалась под лучами солнца, сверкая прозрачными изумрудами и янтарем. Тень от облаков окутывала Наннлийский лес — остаток тех древних заповедных чаш, что некогда покрывали равнины северной Англии в старину, когда ее горы устилали густые, высокие, чуть ли не в рост человека, заросли вереска. Отдаленные холмы были испещрены темными и светлыми бликами, меркнувшая даль переливалась перламутровыми оттенками: серебристо-голубые, нежно-пурпурные, прозрачно-зеленые и дымчато-розовые, они таяли среди белых, как горный снег, облачков, представляясь восхищенному взору наблюдателя мимолетным видением сказочной небесной обители. Лица девушек обвевал легкий, живительный ветерок.

— Чудесный край Англия, — заметила Шерли, — а наш Йоркшир — один из самых прелестных ее уголков.

— Разве вы сами родом из Йоркшира?

— Я — йоркширка и по рождению и по крови. Пять поколений моих предков спят под приделами Брайерфилдской церкви; и сама я появилась на свет в том полутемном мрачном доме, который вам знаком.

— Значит, мы землячки, — сказала Каролина и протянула руку.

Шерли крепко пожала ее.

— Да, — произнесла она и торжественно кивнула головой. — А вон там это Наннлийский лес? — продолжала она, указывая на лесную грядку.

— Да.

— Вы туда ходили?

— Много раз!

— В самую глушь?

— Да.

— И каков же он?

— О, это словно лагерь лесных великанов. Если стоять у подножья этих вековых, могучих деревьев, то кажется, что их вершины ушли в заоблачную высь; мощные стволы неподвижны, словно колонны, а ветви шевелятся при малейшем дуновении. Даже

при полном затишье листва чуть слышно шелестит, а при ветре над вами словно колыхнутся волны, словно бушует море.

— Кажется, в этом лесу было пристанище Робина Гуда?

— Как же, и там все еще многое о нем напоминает. Да, мисс Килдар, отправиться в глубь этого леса — это как бы отправиться в глубь седой старины. Виден вам просвет между деревьями в самой чаще?

— Да, хорошо виден.

— Там небольшая долина; у нее вид глубокой чаши с ровными краями, и она вся заросла травой, короткой и ярко-зеленой, как вот здесь, на лугу: у края впадины стоят купами лесные великаны — корявые могучие дубы, а на самом дне — развалины женского монастыря.

— Пойдемте туда как-нибудь вдвоем? Выберем погожее утро и отправимся туда на целый день; захватим с собой альбомы, карандаши и интересную книгу; у меня есть две маленькие корзиночки, в них моя экономка, миссис Джилл, уложит нам еду, и мы возьмем их с собой. Но, может быть, такая длительная прогулка утомит вас?

— Нет, нет, в особенности если мы будем целый день в лесу, — я знаю там самые прелестные уголки, знаю, где можно нарвать орехов, когда они созреют, и где растет дикая земляника, знаю совсем уединенные, нехоженые тропинки, по которым стелются причудливые мхи, то желтые с золотистым отливом, то бледно-серые, то изумрудно-зеленые. Знакомы мне и места, где в живописном беспорядке растут деревья, радуя взгляд: могучий дуб возвышается рядом с нежной березкой и глянцевитым буком; а ясени, величественные, как Саул, стоят поодиночке, так же как и совсем древние патриархи леса, одетые густым плющом, словно ризой. Да, мисс Килдар, я могу вам показать эти места.

— А вы не соскучитесь со мной?

— Что вы! Мне кажется, у нас много общего! Да и кого нам пригласить еще, чтобы не испортить удовольствие?

— Правда, среди наших сверстниц мы не найдем подходящей спутницы, а что касается мужчин...

— Это будет уже совсем не то, — перебила ее Каролина.

— Да, я согласна, это будет уже не то.

— Ведь мы хотим посмотреть на старые деревья, на древние развалины; провести денек как бы в прошлом среди векового лесного безмолвия и покоя.

— Да, вы правы; присутствие мужчин испортит все очарование; если они скучны, как Мелоун, или молодой Сайкс, или Уинн, — они только портят настроение; если же они интересны, то все равно что-то меняется, — я не могу точно определить, что именно; это чувствуешь, но выразить трудно.

— Во-первых, мы тогда не обращаем внимания на природу.

— И природа мстит нам за это; она набрасывает покрывало на свое высокое, ясное чело, скрывает свой лик и не дарит нам той безмятежной радости, какой она наполнила бы наши сердца, если бы мы пришли для того, чтобы благоговейно преклониться перед ней.

— И что же она дает нам взамен?

— Волнение и тревогу; волнение, при котором часы проходят как миг, и беспокойство, нарушающее их мирное течение...

— Способность быть счастливым во многом зависит от нас самих, рассудительно заговорила Каролина. — Помнится, я гуляла в этом лесу с большой компанией; там были молодые священники, соседние помещики и несколько дам, и эта прогулка показалась мне невыносимо утомительной и пустой. Но когда я ходила совсем одна или вдвоем с Фанни, у меня весь день было безмятежно-счастливое настроение, — Фанни все сидела в домике лесника, беседуя с его женой и занимаясь шитьем, а я бродила где хотела, рисовала пейзажи или читала. Правда, я тогда была моложе, — это было два года тому назад.

— А вам случалось гулять там с вашим кузеном Робертом Муром?

— Да, прежде случалось.

— Он, должно быть, интересный спутник?

— Как вам сказать: кузен — это ведь не то, что посторонний!

— Я знаю. Но если кузены глупы, они досаждают нам еще больше посторонних — их ведь труднее держать на расстоянии. Но ваш кузен не глуп?

— Нет конечно, но...

— Так что же?

— Видите ли, общество глупцов несносно, вы правы, зато в присутствии умных мужчин всегда появляется странное чувство

неловкости: если ваш спутник умен, благороден, образован, то вы невольно начинаете сомневаться, достойны ли вы его общества.

— О нет, тут я с вами не согласна; такое самоуничижение мне чуждо: я не считаю себя недостойной даже лучшего из них — то есть лучшего из джентльменов, хотя это, конечно, звучит нескромно; мне кажется, когда они благородны, то уж в полном смысле этого слова! Кстати сказать, ваш дядюшка, несомненно, относится к лучшим представителям своего поколения. Где бы я его ни встретила, я всегда рада видеть его смуглое, характерное и умное лицо. А вы его любите? Он к вам добр? Ответьте мне откровенно.

— Видите ли, ведь он воспитывал меня с раннего детства и уделял мне столько же внимания, сколько уделил бы родной дочери. Он, конечно, сделал мне много добра, однако я не могу сказать, что люблю его. Я предпочитаю видеть его как можно меньше.

— Странно! Ведь он, несомненно, умеет завоевывать симпатии!

— В обществе — да, но дома он суров и молчалив, и прячет общительность в книжный шкаф или в ящик письменного стола точно так же, как убирает на место трость и шляпу. Своему очагу он дарит только хмурое лицо и отрывистые слова, а улыбку, шутку, острое словцо приберегает для общества.

— У него деспотичный характер?

— О нет, ничуть; он не деспот и не лицемер; о нем можно сказать, что он скорее щедрый, чем добрый, скорее блестящий, чем непосредственно искренний, скорее щепетильно беспристрастный, чем справедливый. Не знаю, понятны ли вам все эти тонкости?

— Понятны. Доброта обычно влечет за собой снисходительность, а ее нет; при непосредственности и искренности неизбежна отзывчивость, а ее тоже нет; справедливость возникает из участия и уважения к ближним, в чем наш почтенный строгий друг никак не повинен!

— Вот я и думаю, Шерли, — неужели все мужчины в семейном кругу таковы, как мой дядя? Неужели женщины их пленяют, внушают им уважение к себе только прелестью новизны и необычности, а видя их каждый день и привыкнув к ним, мужчины уже не способны питать те же чувства?

— Не знаю. Я и сама нередко об этом думаю, но пока не могу рассеять ваши сомнения. Впрочем, откровенно говоря, будь я уверена,

что мужчины и вправду так непохожи на нас, так непостоянны, так быстро охлаждаются и перестают любить, так нечутки и невнимательны, я предпочла бы совсем не выходить замуж. Мне было бы очень тяжело обнаружить, что любимый человек ко мне равнодушен, что я ему наскучила и что все мои усилия угодить ему тщетны, ибо так уж ему положено — быть изменчивым и охладевать. Поняв это, мне не оставалось бы ничего другого, как уйти, навсегда покинуть человека, которому я бессильна подарить счастье.

— Но вы не смогли бы уйти, если бы были замужем.

— Вот то-то и оно, я уже не была бы сама себе госпожа! Я содрогаюсь при одной мысли об этом! Это, должно быть, невыносимо — сознавать, что тобой тяготятся, видят в тебе только обузу, — ненавистную, гнетущую обузу! Сейчас, если я чувствую, что я лишняя, я спокойно окутываюсь своей независимостью, как плащом, прикрываюсь своей гордостью, как вуалью, и удаляюсь в уединение. А замужняя этого не может.

— В таком случае удивительно, что все девушки не дают клятву оставаться старыми девами, — заметила Каролина. — Если верить людям, умудренным опытом, это было бы разумнее всего. Вот и дядя всегда говорит о супружестве как о тяжком бремени и на всякого вступающего в брак смотрит как на безумца или во всяком случае как на глупца.

— Но ведь не все мужчины таковы, как ваш дядюшка, Каролина; разумеется, нет... я надеюсь, что нет, — проговорила Шерли и задумалась.

— Мне кажется, каждая из нас считает исключением из общего правила того, кого она полюбит, но только до замужества, — заметила Каролина.

— Я с вами согласна; и наш избранник кажется нам идеалом; мы верим, что он похож на нас, что между нами полная гармония; в его голосе звучат для нас самые искренние, самые нежные обещания сердца, которое никогда не охладит к любимой; в его глазах мы видим чувство, которому можно доверять, — любовь. Наверное, нельзя доверять так называемой страсти, — она вспыхнет ярко, как огонь в сухой соломе, но лишь на минуту, и тут же угаснет! Наблюдая за нашим избранником, мы видим, что он ласков к животным, к детям, к бедному люду; и к нам он тоже ласков, добр, внимателен. Он не льстит



женщинам, но кроток и терпелив с ними; видно, что ему легко и приятно в их обществе; он любит не из тщеславных и эгоистичных расчетов, а так же, как и мы, — от чистого сердца. Мы замечаем, что он справедлив, не способен лгать, честен, порядочен; как только он входит в комнату, на душе становится светло и радостно; уходит он — мы впадаем в уныние и тоску. Мы узнаем, что он любящий сын и заботливый брат; кто осмелится утверждать, что такой человек не будет хорошим мужем?

— Мой дядя первый же заявит без малейшего колебания: «Через месяц он к тебе охладает».

— То же самое скажет и миссис Прайор.

— Миссис Йорк и мисс Мэнн будут мрачно намекать на то же.

— Ну, если они правдивые оракулы, то лучше не влюбляться.

— Что может быть лучше! Если только вам это удастся!

— Я предпочитаю сомневаться в их правоте.

— Как, значит, вы уже попались?

— Нет, а уж если бы попалась, то знаете, у каких правдивых советчиков попросила бы я совета?

— Любопытно узнать.

— Не у мужчин, не у женщин, молодых или старых, а у босоногого мальчугана-ирландца, что приходит к моим дверям просить подаяния; у мышки, что украдкой вылезает из норки; у птицы, что в снежную стужу стучит клювом в мое окно, прося бросить ей крошку; у собаки, что лижет мне руки и сидит у моих ног.

— А случилось ли вам встретить человека, ласкового к этим безобидным существам?

— А вам случилось ли встретить человека, к которому льнули бы такие существа, шли бы за ним следом, доверяли бы ему?

— У нас в доме есть старый пес и черная кошка. И я знаю человека, на коленях у которого обязательно усядется эта кошка или влезет к нему на плечо и с мурлыканьем начнет тереться о его щеку, а стоит ему показаться во дворе, как старый пес вылезает из своей конуры, и машет хвостом, и визжит от радости.

— А как же ведет себя этот «некто»?

— Ласково поглаживает кошку, позволяя ей расположиться как можно удобнее, а если встанет, то осторожно поднимет ее и опустит на

пол, но никогда не отбросит грубо; так же и с собакой — он посвистит ей и приласкает ее.

— Правда? Уж не Роберт ли это?

— Ну конечно, Роберт.

— Прекрасный человек, — с жаром проговорила Шерли, и глаза ее сверкнули.

— Он и вправду прекрасен! Разве у него не красивые глаза, не тонкие черты лица, не высокий благородный лоб!

— Да, все это так, Каролина! Он и великодушен и хорош собой.

— Я была уверена, что вы сумеете оценить его! С первого же раза, увидев ваше лицо, я это поняла.

— Я была расположена к нему и до того, как узнала его; когда я его увидела, он мне понравился; теперь я восхищаюсь им; красота очаровывает сама по себе, Каролина; если же она сочетается с добротой, то очарование становится всеильным.

— А если прибавляется еще и ум, Шерли?

— Тогда никто не может устоять.

— И тут нам не мешает вспомнить о моем дяде и о наших дамах — Прайор, Йорк и Мэнн.

— Вспомнить, как квакали египетские лягушки! Он — благородный человек! Я уже вам говорила: когда мужчина благороден, — он венец творения, он истинный сын Бога. Он вылеплен по образу и подобию своего создателя, несет в душе его божественную искру и возвышается над всем человечеством! Да, великому, доброму, прекрасному мужчине принадлежит первенство в мироздании!

— Он стоит выше нас, женщин?

— Мне кажется, оспаривать у него первенство — унинительно для нас самих; неужели левая рука должна состязаться в превосходстве с правой? Пристало ли пульсу соперничать с сердцем? Или венам — с наполняющей их кровью?

— Однако мужчины и женщины, мужья и жены ужасно ссорятся, Шерли.

— Несчастные! Испорченные, падшие создания! Им был уготован творцом иной жребий, иные чувства.

— Но можем мы, женщины, считать себя равными мужчинам или нет?

— Я только радуюсь, если мужчина во всех отношениях выше меня и дает мне почувствовать свое превосходство.

— И вы такого встретили?

— Надеюсь встретить когда-нибудь; и если он будет намного выше меня, тем лучше: снисходить — унизительно, преклониться — сладостно. Но вот что грустно — всякий раз как я готова благоговейно преклониться, я обнаруживаю, что введена в заблуждение, что мой избранник — это ложный Бог, недостойный моего почитания.

— Мисс Килдар, не зайдете ли ко мне? Мы у дверей моего дома.

— Сегодня нет, но завтра я зайду и уведу вас к себе на весь вечер. Каролина, если вы и на самом деле такая, какой мне кажется сейчас, мы с вами близко сойдемся. Еще ни с одной девушкой мне не случалось беседовать так откровенно, как нынче с вами. Ну, поцелуйте меня на прощание.

\* \* \*

Миссис Прайор не меньше самой Шерли искала встреч с Каролиной. Она, никогда не ходившая по гостям, вскоре после знакомства явилась к ней с визитом. Священника в это время не было дома. День выдался томительно-душный, она покраснелась и выглядела возбужденной то ли от жары, то ли оттого, что пришла в незнакомый дом: ведь она вела очень замкнутую жизнь. Когда Каролина вышла к ней в столовую, миссис Прайор сидела на диване, обмахиваясь носовым платком, дрожала и, казалось, была близка к истерике.

Каролина в душе подивилась на такое неумение владеть собой в ее возрасте и на такую слабость при таком цветущем виде. Миссис Прайор поспешила сослаться на духоту и усталость от прогулки; пока она, в который уже раз, торопливо, но бессвязно объясняла, чем вызвано ее столь неожиданное волнение, Каролина принялась ласково ухаживать за гостьей, снимая с нее шаль и шляпку. Надо сказать, что миссис Прайор не от всякого соглашалась принимать такие знаки внимания; бывало, стоит кому-нибудь только прикоснуться к ней или подойти близко, как она отпрянет с растерянным и холодным видом, отнюдь не лестным для того, кто вознамерился проявить эту

учтивость; однако она с готовностью позволила проворным ручкам Каролины распоряжаться собой и, казалось, даже находила в этом облегчение. Спустя несколько минут она перестала дрожать и успокоилась.

Когда к ней вернулось самообладание, она заговорила о повседневных делах. В многолюдном обществе миссис Прайор редко открывала рот; а если ей все же приходилось вступать в разговор, то она говорила, мучительно стесняясь и с трудом связывая слова; но с глазу на глаз она была приятной собеседницей, отсутствие живости в речи искупалось изяществом оборотов, она судила обо всем здраво и рассудительно и могла поддерживать разговор на самые разнообразные темы; Каролина даже не предполагала, что беседа с этой дамой доставит ей столько удовольствия.

На стене, против дивана, на котором они сидели, висели три портрета; в середине, над камином, — женский портрет, по бокам от него — два мужских.

Миссис Прайор, нарушив минутное молчание, воцарившееся после получасовой оживленной беседы, заметила:

— Какое прекрасное, безукоризненно правильное лицо у этой дамы; здесь даже резцу скульптора нечего было бы исправить. Это портрет?

— Это портрет миссис Хелстоун.

— Миссис Мэттьюсон Хелстоун? Жены вашего дядюшки?

— Да; и говорят, что здесь она как живая. До свадьбы она слыла первой красавицей в наших местах.

— Ну что ж, она заслуживала эту славу. Лицо прекрасное, точеное, только его несколько портит безжизненное выражение; эту особу вряд ли можно назвать женщиной с характером.

— Мне кажется, она была на редкость тихой и молчаливой.

— Вот бы не подумала, что ваш дядюшка выберет себе такую жену! Он ведь как будто любит, чтобы его развлекали, занимали веселой болтовней.

— В обществе — да; но, по его собственным словам, он не ужился бы с женой-болтушкой, у себя дома ему нужен покой. В гости ходят, чтобы развлечься, говорит он, а домой возвращаются, чтобы почитать и поразмышлять.

— Я слышала, что миссис Мэттьюсон скончалась вскоре после своего замужества?

— Спустя пять лет.

— Так вот, моя милочка, — проговорила миссис Прайор, вставая, надеюсь, вы будете частой гостьей у нас в Филдхеде. Хорошо? Вам, вероятно, бывает тоскливо в этом доме, где у вас нет даже близкой вам женщины.

— Я уже привыкла. Я ведь и росла одна. Разрешите, я помогу вам накинуть шаль.

Миссис Прайор покорно приняла ее услуги.

— Если вам понадобится помощь в ваших занятиях, прошу вас, обращайтесь ко мне.

Каролина поблагодарила ее за любезность.

— Я надеюсь часто беседовать с вами совсем запросто, как сегодня. Мне хочется быть вам чем-нибудь полезной.

Каролина снова поблагодарила ее, подумав про себя, что в груди этой дамы под внешней холодностью бьется горячее, доброе сердце. Заметив, что миссис Прайор, направляясь к выходу, еще раз бросила внимательный взгляд на портреты, Каролина как бы между прочим объяснила:

— Портрет, что у самого окна, — дядя, каким он был лет двадцать тому назад; а на этом, слева от камина, изображен его брат Джеймс — мой отец.

— Они немного похожи; однако очертания лба и рта говорят о различии в характерах.

— А в чем оно заключается? — с любопытством спросила Каролина, провожая гостью к выходу. — Джеймса Хелстоуна, моего отца, обычно считают более красивым. Всякий, увидав его впервые, восклицает: «Какой красавец!» А вы, миссис Прайор, с этим согласны?

— Конечно, черты лица у него гораздо приятнее и тоньше, чем у вашего дяди.

— А в чем, скажите, разница в их характерах, о которой вы упомянули? Мне любопытно узнать, правильно ли вы угадали?

— Дорогая моя, дядя ваш человек долга; его лоб и рот выражают твердость характера, а взгляд — спокойствие, уверенность в себе.

— А мой отец? Не бойтесь обидеть меня, я всегда предпочитаю правду.

— Вы предпочитаете правду? Это очень похвально; всегда придерживайтесь правды, не отклоняйтесь от нее. Так вот, ваш отец, — останься он в живых, вряд ли мог бы служить опорой для своей дочери; но голова у него на редкость изящная, — вероятно, его писали в молодости. Дорогая, — внезапно обернулась она к Каролине, — понимаете ли вы неоценимую важность твердости характера?

— Без этого ни один характер нельзя считать положительным.

— Вы говорите от души? Вам случалось задумываться над этим?

— Часто. Этого требовали от меня обстоятельства моей жизни.

— Значит, урок не прошел даром, хотя и был преждевременным; по-видимому, почва не пустая и не каменистая, иначе семена, упавшие раньше срока, не дали бы всхода. Не стойте на сквозняке, дорогая; желаю вам всего хорошего.

Каролина вскоре стала дорожить своим новым знакомством и очень ценила общество Шерли и миссис Прайор. Она поняла, что упустить такой случай внести в свою жизнь известное разнообразие — было бы ошибкой; новые впечатления отвлекли ее от тяжелых мыслей, неустанно сосредоточенных на одном и том же, устремлявшихся по одному и тому же руслу, непрестанно терзавших ее наболевшую душу.

Вскоре она стала охотно проводить целые дни в Филдхеде, в обществе Шерли и миссис Прайор, — обе, казалось, ни минуты не могли обойтись без нее. В постоянном теплом внимании пожилой дамы не было и тени навязчивости, хотя оно и было бдительным и неусыпным. Мне уже приходилось говорить, что она была особа со странностями, и это было очень заметно в ее отношении к Каролине: она не спускала с нее глаз, готова была охранять каждый ее шаг; ей всегда доставляло удовольствие, когда Каролина обращалась к ней за советом или за помощью, и она дарила ей свои советы и помощь с такой радостью, что и Каролина стала ценить эту ласковую опеку.

Полное послушание Шерли своей бывшей наставнице вначале немало удивляло Каролину, так же как и то, что эта замкнутая, сдержанная дама, по-видимому, чувствовала себя совершенно свободно в доме своей юной воспитанницы и, занимая чрезвычайно зависимое положение, держалась весьма независимо; но стоило только ближе сойтись с ними обеими, и все становилось понятным; всякий, так думала теперь Каролина, кому довелось коротко узнать миссис

Прайор, не мог оставаться к ней равнодушным, не полюбить, не оценить ее. Пусть она питала пристрастие к старомодным нарядам, разговаривала излишке церемонным языком и была очень замкнутой, пусть за ней водилось множество странностей, — зато она была помощницей, добрым советчиком и по-своему ласковым другом, и всякому, кто привык к ней, уже трудно было обходиться без нее. И если сама Каролина, дружа с Шерли, не испытывала чувства зависимости или унижения, то почему же оно должно было возникнуть у миссис Прайор? Правда, хозяйка поместья была богата, даже очень богата в сравнении со своей новой приятельницей: у одной была тысяча фунтов чистого годового дохода, у другой — ни пенни; однако Шерли никогда не подчеркивала своего превосходства, и все ее друзья чувствовали себя с нею на равной ноге, что было не принято среди помещиков Брайерфилда и Уинбери.

Причина этого заключалась в том, что интересы Шерли не сосредоточивались только на деньгах или положении в обществе. Разумеется, она ценила богатство — основу своей независимости, и временами мысль о том, что она владелица поместья и земельных угодий, что у нее есть свои арендаторы, приводила ее в восторг; особенно отрадно становилось у нее на душе, когда она мысленно обзревала все свои владения, расположенные в долине и состоявшие из образцовой суконной фабрики, красильни, склада товаров, а также дома, сада и служб, обозначаемых общим названием «усадьба в долине». Но все эти ничуть не скрываемые восторги были удивительно наивны; что же касается более серьезных стремлений, то они были направлены совсем на другое: почитать все великое, уважать все доброе и радоваться всему веселому — вот в чем выражались наклонности ее души. Она уделяла куда больше сил удовлетворению этих наклонностей, чем упрочению своего высокого положения в обществе.

Сначала мисс Килдар приняла участие в Каролине только потому, что увидела в ней тихое, замкнутое, хрупкое существо, которое как бы требовало забот о себе. Этот интерес стал значительно глубже, когда она заметила, что все ее собственные мысли находят отклик в сердце новой приятельницы. Она бы этого никогда не подумала. Сперва ей показалось, что от хорошенькой Каролины, с ее изящными манерами и приятным голосом, трудно ожидать, чтобы она к тому же могла

выделяться по своему развитию среди заурядных девушек. Поэтому Шерли была приятно удивлена при виде лукавой усмешки, озарившей миловидное личико, когда разок-другой позволила себе несколько смелую шутку. Еще больше удивилась она, обнаружив целую сокровищницу самостоятельно накопленных знаний и свежих незаученных мыслей в этой девичьей головке, обрамленной легкими кудрями. Вкусы, понимание прекрасного совпадали у обеих. Книги, которые больше всего доставляли удовольствие мисс Килдар, нравились также и мисс Хелстоун. Точно так же многое из того, что не терпела Каролина, не нравилось и Шерли, — и той и другой, например, была не по душе ходульная напыщенность и фальшивая чувствительность в литературе.

По мнению Шерли, лишь немногие люди обладают хорошим вкусом в поэзии, тем чутьем, которое помогает отличить подлинное от подделки. Нередко бывало, что, прочтя те или иные стихи, вызывающие искренний восторг людей образованных и неглупых, она сама не находила в них ничего, кроме сентиментальности, цветистых выражений, внешнего блеска или в лучшем случае некоторого изящества стиля; правда, в них попадались иной раз умные мысли, ценные сведения и кое-где даже блестящие фантазии, но — увы! — они так же отличались от подлинной поэзии, как отличается тяжелая великолепная мозаичная ваза от небольшой чаши, отлитой из чистого золота; или, приводя читателю другое сравнение, — как отличается искусственная гирлянда цветов от свежего, только что сорванного ландыша.

Шерли обнаружила, что Каролина умеет ценить подлинное золото и презирает блестящую мишуру. Словом, души обеих подруг были настроены на один лад и звучали подчас согласно.

Однажды под вечер девушки сидели вдвоем в дубовой гостиной. Весь этот дождливый день они провели вместе и ничуть не скучали; сумерки уже сгущались, однако свечей еще не зажигали, и, сидя в полутемной комнате, подруги притихли и погрузились в раздумье. Западный ветер яростно завывал вокруг дома и гнал с далекого океана косматые дождевые тучи; снаружи, за старинными окнами с частым переплетом, бушевала непогода, внутри все дышало миром и тишиной.

Шерли, сидя у окна, смотрела на потемневшее небо и парк, окутанный мглой, прислушивалась к завыванию ветра,



напоминавшему стоны неприкаянных душ, завыванию, которое, будь она не столь юна, здорова и весела, болезненно отозвалось бы в ее сердце, подобно погребальному напеву или недоброму предзнаменованию; а сейчас звуки эти только навяли на нее задумчивое настроение, спугнув веселость. Отрывки старинных баллад звенели у нее в ушах. Она нет-нет да и принималась напевать, и голос ее, как бы подражая завыванию ветра, то крепнул, то замирал. Каролина бродила в дальней темной части комнаты, слабо освещенная пламенем догоравших в камине угольков, декламируя вполголоса отрывки своих любимых стихов; но как ни тихо она читала, Шерли уловила кое-какие слова и, негромко напевая, прислушалась. Вот эти стихи:

Все небо сплошь окутал мрак,  
Шел океан стеною,  
Когда такой, как я, бедняк  
За борт был смыт волною.  
Друзья, любовь, надежда, дом  
Исчезли вместе с кораблем.

Внезапно чтение оборвалось; Каролина заметила, что голос Шерли, только что звучавший в полную силу, теперь совсем затих.

— Продолжайте, что же вы умолкли? — сказала Шерли.

— Но тогда и вы продолжайте петь! Я вспоминаю поэму «Отверженный».

— Я знаю. Если вы помните ее всю до конца, прочтите.

В полутьме, перед одной-единственной отнюдь не придиричивой слушательницей Каролина отважилась продеklamировать все; она сумела найти верные оттенки — разъяренное море, тонущий моряк, корабль, гонимый бурей, все эти картины живо встали перед глазами Шерли благодаря выразительному чтению; с особенной силой передала Каролина самый конец поэмы — крик глубочайшего отчаяния, вырвавшийся у поэта; он не оплакивал отверженного, но, создав в минуту бесслезной скорби образ, отражавший трагедию его собственной жизни, воскликнул в порыве отчаяния:

И Божий глас не звучал из тьмы,  
И свет не рассеял ночи,  
Из сил выбиваясь, тонули мы,  
Гибли поодиночке...  
Но бездна подо мной была  
Страшней, чем океана мгла!

Будем надеяться, что душа Вильяма Купера<sup>[82]</sup> обрела на небесах мир и утешение, — заметила Каролина.

— Вы сочувствуете ему в его земных страданиях? — спросила Шерли.

— Сочувствую ли я? Разумеется, как может быть иначе? Его стихи — крик израненного сердца, и крик этот ранит читателя. Но я верю, что, написав их, страдалец нашел в них утешение, и мне кажется, что поэтический дар — самый высокий из всех, дарованных человеку, — служит для умиротворения страстей, когда их сила грозит стать губительной. По-моему, Шерли, не следует писать стихи ради того только, чтобы блеснуть умом, похвастать знаниями, — кому это нужно? Кто обращается к поэзии ради знаний, ради блестящей игры слов? И кто не жаждет увидеть в ней чувство глубокое, настоящее чувство, пусть даже выраженное простым, безыскусственным языком?

— Вы, как видно, ищете именно чувств. Но действительно, слушая эту поэму, понимаешь, что Купер был во власти побуждения, могучего, как ветер, гнавший корабль, — побуждения, которое, заставляя его писать стремительно, не думая о том, чтобы расцветить, приукрасить ту или иную строфу, вместе с тем дало ему силу насытить свое произведение предельной выразительностью. Но каким твердым, не дрогнувшим голосом вы читали — даже удивительно!

— Рука самого Купера не дрожала, когда он писал эти строки, почему же мой голос, произнося их, должен был дрогнуть? Уверяю вас, Шерли, что на рукопись «Отверженного» не упало ни одной слезы, в его строках не рыдает скорбь, только слышен крик отчаяния; но после того как этот крик вырвался у поэта, смертельная тоска притупилась, и он заплакал горячими слезами.

Шерли снова принялась было напевать старинную рыцарскую балладу, но вдруг остановилась и заметила:

— Мне кажется, одно лишь желание облегчить его муки заставило бы меня полюбить Купера.

— Никогда бы вы не полюбили Купера, — с живостью возразила Каролина, он не способен был пробудить любовь в женщине.

— Что вы хотите этим сказать?

— Именно то, что говорю. Я знаю, в мире есть такие люди, — и люди очень благородные и возвышенные, — которых обходит любовь. Допустим, вы искренне стремились бы полюбить Купера, но, узнав его ближе, вы только пожалели бы его и отошли; понимание неизбежности, неотвратимости его гибели заставило бы вас покинуть его, так же как «яростный ветра порыв» помешал экипажу корабля спасти их тонущего товарища.

— Пожалуй, вы правы! Но кто вам все это открыл?

— Кстати, все, сказанное мной о Купере, применимо и к Руссо. Был ли Руссо любим какой-нибудь женщиной? Сам он любил страстно, но был ли любим взаимно? Никогда, я в этом уверена. И найдись в мире женщины, подобные Куперу или Руссо, их, несомненно, постигла бы та же участь.

— Да кто же, скажите, открыл вам все это? Уж не Мур ли?

— Почему кто-то должен был мне это открыть? Разве у меня самой нет чутья? Разве я не могла многое отгадать, читая и раздумывая? Мур никогда не говорил со мной о Купере, Руссо или о любви. Все, что я об этом знаю, поведал мне голос, которому мы внимаем в уединении.

— Ну, а вам самой нравятся личности, подобные Руссо?

— В общем — ничуть. Конечно, некоторые их свойства находят отклик в моей душе; иной раз божественная искра в них ослепляет мой взор и согревает мое сердце. Но многое для меня неприемлемо. Они — как бы смесь золота и глины, слишком слабая, рыхлая масса. В целом мне они кажутся нездоровыми, противоестественными, даже отталкивающими.

— Я, пожалуй, терпимее отнеслась бы к Руссо, чем вы, Кэри: натуры такого мягкого, созерцательного склада, как ваша, тянутся обычно к натурам решительным и деятельным. Кстати, вы, должно быть, очень скучаете, не видясь теперь с вашим кузеном Робертом?

— Да, скучаю.

— И он, по всей вероятности, тоже?

— Нет, не думаю.

— Я не сомневаюсь, — продолжала Шерли (последнее время она постоянно, кстати или некстати, заговаривала о Муре), — я ничуть не сомневаюсь, что он питает к вам самые нежные чувства; иначе зачем бы ему уделять вам столько внимания, беседовать с вами, многому учить вас?

— Нет, он никогда не питал ко мне нежных чувств и не давал никакого повода так думать; напротив, он всячески старался показать, что только терпит меня.

Каролина твердо решила не льстить себя надеждой на то, что между нею и Муром может быть что-либо, кроме родственных отношений. У нее были свои причины полагать, что теперь уже ничто не изменится к лучшему и, следовательно, неблагоприятно терзаться воспоминаниями о радостном прошлом.

— Значит, — продолжала Шерли, — и вы только терпели его?

— Ах, Шерли, мужчины и женщины так несхожи! И положение их различно; круг интересов у женщин узок, а у мужчин — широк и разнообразен; вы можете питать самые дружеские чувства к мужчине, совершенно равнодушному к вам. Он может скрашивать вашу жизнь тогда как ни в его сердце, ни в его мыслях нет места для вас. Вот, например, когда Роберту приходилось уезжать в Лондон по делам на неделю-другую, его отсутствие всегда было для меня очень заметно; мне чего-то не хватало, в Брайерфилде становилось пусто и тоскливо. Конечно, я жила, как и раньше, но очень скучала без него. И вот по вечерам я, бывало, задумаюсь о нем, и у меня возникает такая странная уверенность: если бы какой-нибудь волшебник или добрый дух предложил мне подзорную трубу принца Али (помните «Тысячу и одну ночь»?) и я смогла бы в эту минуту увидеть Роберта, увидеть, где он, чем занят, мне сразу стало бы ясно, как глубоко различие между нами; я всей душой тянусь к нему, а он и не думает обо мне...

— Каролина, — неожиданно прервала ее Шерли, — вам не хотелось бы заняться каким-нибудь делом?

— Я очень много об этом думаю и часто спрашиваю себя — где же мое место в жизни? Я жажду настоящего дела, которое захватило бы меня целиком.

— Но разве может человек найти счастье только в работе?

— Нет. Но работа отвлекает от одной и той же непрерывно терзающей вашу душу мысли. Да и, кроме того, всякий усердный труд приносит какие-нибудь плоды, а пустое, одинокое, бесцельное прозябание — никаких.

— Однако считается, что от тяжелого труда или ученых занятий женщина становится грубой, неженственной, мужеподобной!

— А не все ли равно, привлекательна или нет женщина незамужняя и обреченная оставаться незамужней? Ей достаточно быть опрятной и аккуратной, держаться скромно и прилично. От старых дев можно требовать только одного не оскорблять своей внешностью взгляд окружающих. А если они нелюдимы, суровы, некрасивы, бедно одеты, за это на них нечего пенять!

— Уж не думаете ли вы, что и сами останетесь в девушках? Что-то чересчур горячо вы о них говорите!

— Да я в этом не сомневаюсь: такова моя судьба. Я никогда не выйду замуж за такого, как Мелоун или Сайкс, а никто другой на мне не женится.

Наступило молчание. Шерли нарушила его и снова заговорила о человеке, который, по-видимому, завладел ее мыслями:

— Лина, — мне кажется, Мур иногда называл вас так?

— Да, у него на родине это уменьшительное от Каролины.

— Так вот, Лина: помните, я как-то заметила, что в ваших волосах есть прядь короче других, и вы сказали мне, что это Роберт срезал локон с вашей головы?

— Помню.

— Но если он всегда был равнодушен к вам, как вы утверждаете, зачем же ему понадобился ваш локон?

— Право, не помню... Ах нет, кажется, вспоминаю: это произошло по моей вине, подобные глупости выдумывала именно я. Он как-то собрался уехать в Лондон, а накануне отъезда я заметила в шкатулке его сестры короткий черный завиток; Гортензия сказала, что она хранит на память волосы брата. Роберт сидел тут же, я посмотрела на его голову, на густые мелкие завитки волос, подумала, как мне было бы приятно получить от него на память такой завиток, и попросила его об этом. Он согласился, но при условии, что и я позволю ему отрезать прядь моих волос; вот так-то мы и обменялись. Я храню его прядь, но уверена, что он давно уже потерял мою. Да, это была одна из тех

глупостей, за которые впоследствии краснеешь, одна из тех мелочей, воспоминание о которых колет самолюбие словно иголкой.

— Что вы, Каролина!

— Да, Шерли, я часто бываю глупа, я знаю, и ругаю себя за это. Однако чего ради я откровенничаю с вами? Вы не сможете открыться мне в таких же слабостях: у вас их нет. Что вы так испытующе смотрите? Отведите от меня свои ясные всевидящие глаза орлицы, — такой взгляд даже оскорбляет.

— Интересный у вас характер! Слабый — это правда, но не в том смысле, как вы думаете. Войдите!

Это было сказано в ответ на стук; Шерли в эту минуту стояла у самой двери, а Каролина была в другом конце комнаты. Она увидела, что Шерли было подано письмо, и услышала:

— От мистера Мура, мисс...

— Принесите свечи, — сказала молодая хозяйка.

Каролина настороженно ждала.

— Какое-нибудь деловое сообщение, — небрежно обронила Шерли; однако свечи были принесены, а письмо так и осталось нераспечатанным. Вскоре доложили о приходе Фанни, и Каролина отправилась домой.

## ГЛАВА XIII

### Дальнейшие деловые отношения

По временам приятная истома овладевала Шерли. Бывали минуты, когда она находила наслаждение в безмятежной праздности, давая полный отдых телу и уму, — минуты, когда ее мысли, само ощущение жизни, природы, неба над головой, — все дарило ей полноту счастья, к которому уже нечего прибавить. Нередко после хлопотливого утра она проводила самые знойные часы, растянувшись на траве под благодатной тенью дерева или куста; ей никто не был нужен, хотя и приятно было, если Каролина находилась поблизости; ничего не хотелось видеть, кроме необъятного неба с облачками, плывшими высоко-высоко по его бездонной синеве; ничего не хотелось слышать, кроме гудения пчел и шелеста листвы. Книгой в такие минуты ей служила туманная летопись воспоминаний или пророческая страница предвидения, и читать ей было легко: ее ясные глаза излучали столько света на эти строки! Улыбка, игравшая у нее на губах, позволяла угадывать, что пророчество не предвещало ничего печального, ничего мрачного. Судьба, до сих пор благоволившая к счастливой мечтательнице, обещала осыпать ее своими милостями и впредь. У нее было много отрадного в прошлом, и радужные надежды озаряли будущее.

Однажды Каролина, подойдя к Шерли, чтобы вывести ее из приятного, но несколько затянувшегося полузабытья, заметила, что лицо подруги мокро, как от росы, а большие глаза сияют влажным блеском и полны слез.

— Шерли, вы-то от чего плачете? — спросила Каролина, невольно выделяя слово «вы».

Шерли улыбнулась и, повернув к ней свою очаровательную головку, ответила:

— Потому что мне доставляет удовольствие поплакать; в моем сердце и радость и печаль. Но почему вы, тихое, кроткое дитя, не поплачете вместе со мной? Я плачу от радости — эти слезы быстро просыхают, а ваши слезы были бы полны горечи.

— Почему мои слезы были бы полны горечи?

— Вы такая одинокая, сиротливая птица.

— А вы, Шерли, разве не одиноки?

— Сердцем — нет.

— И кто же свил там свое гнездышко?

Но Шерли только рассмеялась, с живостью вскочила на ноги и сказала:

— Я видела сон, всего лишь сон наяву, прекрасный, но, наверное, несбыточный!

\* \* \*

К этому времени Каролина почти распростилась со своими призрачными надеждами и будущее рисовалось ей в довольно мрачном свете: она знала — так по крайней мере ей казалось, — как сложится в дальнейшем ее жизнь и жизнь ее друзей. Однако воспоминания прошлого еще сохранили над ней власть и часто по вечерам невольно приводили ее к приступке у перелаза над обрывом, поросшим боярышником.

На следующий вечер после только что описанного эпизода Каролина долго прождала на своем излюбленном месте, не блеснет ли огонек, но — увы! — лампы так и не зажгли. Она ждала до тех пор, пока замерцавшие на небе звезды не возвестили ей, что час уже поздний и что пора возвращаться. Но, проходя мимо Филдхеда, она невольно остановилась, любуясь живописным зрелищем: купа деревьев и дом величаво рисовались на фоне ночного неба, ярко светила полная луна, обливая дом серебристо-жемчужным светом; у подножья он был окутан мраком; темно-зеленые тени стлались на крыше, осененной ветвями дуба; площадка перед домом отсвечивала матовым блеском — ее темный гранит словно преобразился в паросский мрамор, и на серебристом фоне покоились резко очерченные тени двух человеческих фигур, застывших в безмолвной неподвижности; но вот они зашевелились, согласно двинулись рядом, и беседа их тоже течет согласно. Каролина впиалась в них взглядом, когда они выступили из-за ствола могучего кедра. «Это, наверное, Шерли и... миссис Прайор?..»



Да, несомненно, это Шерли. Кто еще обладает такой гибкой, изящной фигурой и горделивой осанкой? Можно разглядеть уже и лицо ее со своеобразным выражением беспечности и задумчивости, мечтательности и веселости, лукавства и нежности. Не опасаясь вечерней прохлады, она гуляет с непокрытой головой; волосы ее развеваются и падают на плечи легкими кудрями. Золотое ожерелье поблескивает сквозь складки шарфа, обвивающего ее легкий стан, крупный драгоценный камень горит на белой руке. Да, это, несомненно, Шерли.

Но кто же рядом с ней — миссис Прайор, надо полагать?

По-видимому, если только ее рост равняется шести футам и если она сменила свой скромный вдовый наряд на мужской костюм. Мисс Килдар сопровождает мужчина, высокий, статный, молодой, — ее арендатор, Роберт Мур.

Они беседуют вполголоса, так что слов нельзя разобрать. Постоять минуту и посмотреть на них — вовсе не значит быть соглядатаем; да и трудно оторвать взгляд от этой красивой пары, которую сейчас ярко озаряет луна. Каролине во всяком случае трудно, и она не спешит уйти.

Бывало, в летние вечера Мур любил погулять со своей кузиной, вот как сейчас он гуляет с ее подругой. Часто после захода солнца бродили они по лощине, наслаждаясь прохладой и благоуханием усеянного цветами уступа над оврагом и прислушиваясь к доносящемуся из его мрака глухому рокоту журчанью уединенного потока, который бежал внизу по своему каменному ложу меж густых зарослей, под сенью ольховых кустов.

«Только мы с ним держались ближе друг к другу, — думала Каролина, — ко мне он не обязан был проявлять почтительность, я нуждалась только в ласке. Он держал меня за руку, а ее руки он не касается: а ведь Шерли не высокомерна с теми, кого любит, и сейчас в ней не чувствуется высокомерия, разве что немножко, но это уж ее особенность, так она держится всегда, как в самые беспечные, так и в самые напряженные минуты. Роберт, наверно, думает сейчас, как и я, что лицо ее очень красиво, и видит это лицо глазами мужчины. Как ярко и в то же время мягко сверкают ее глаза! Она улыбается... Почему эта улыбка так нежна? Конечно, Роберт видит, как пленительна ее улыбка, и восхищается ею по-мужски, не так, как я.

Оба они кажутся сейчас великими, счастливыми, блаженными духами; посеребренная луной площадка словно тот светлый берег, который ждет нас после смерти; они уже достигли его, уже ступают по нему, соединенные навеки. А я — что я такое? Почему я притаилась здесь в тени и на душе у меня темнее, чем в моем темном убежище? Я — не лучезарный дух, а бедная простая жительница земли, и я вопрошаю в слепоте и безнадежности, зачем родилась я на свет, ради какой цели живу? Как суждено мне встретить конец мой и кто поддержит меня в этот страшный час?

Тяжелее этого у меня еще ничего не было в жизни, хотя я давно ко всему готова; я отказалась от Роберта, и отказалась ради Шерли, как только узнала о ее приезде, — как только увидела ее — богатую, молодую, прелестную. И вот он с ней. Он ее возлюбленный, она его любимая; и будет еще более любима, когда они поженятся; узнавая ее ближе, он будет все сильнее к ней привязываться. Они будут счастливы, и я не хочу завидовать им; но я не могу не роптать на свою горестную судьбу; я так жестоко страдаю! Лучше бы мне и не рождаться на свет! Лучше бы меня умертвили при первом крике!»

Вдруг Шерли свернула в сторону, чтобы сорвать цветок, обрызганный росой, и оба вышли на дорожку, тянувшуюся вдоль ограды; теперь отдельные слова стали слышны; Каролина не хотела подслушивать и бесшумно удалилась; а лунное сияние ласково коснулось ограды, на которую только что падала тень девушки. Читателю же предоставляется возможность остаться и послушать разговор этой пары.

— Странно, — говорила Шерли, — почему это природа, наделив вас упрямством и цепкостью бульдога, не наградила вас и его внешностью?

— Какое нелестное сравнение! Неужели я так отвратителен?

— У вас и приемы бульдога: вы не предупреждаете, а бесшумно подкрадываетесь — хватать! — и уже не выпускаете своей жертвы.

— Это все игра вашего воображения, ничего такого вы не могли видеть, с вами я не был бульдогом.

— Даже скрытность ваша указывает, что вы из их породы; вы мало говорите, зато как тонко ведете игру! Вы дальновидны, каждый ваш шаг рассчитан.

— Потому что я знаю, чего можно ждать от этих людей, мне было передано о том, что они замышляют. В своем письме я уже сообщил вам, что суд признал Барраклу виновным и приговорил его к ссылке на каторгу; его сообщники, конечно, замышляют месть. Мое намерение — заранее расстроить их козни или, на худой конец, приготовиться к решительному отпору. Ну вот, теперь я обрисовал вам положение дел, насколько это возможно, и хочу спросить, — могу ли я рассчитывать на ваше одобрение?

— Да, я останусь на вашей стороне до тех пор, пока вы будете защищаться.

— Отлично. Скажу прямо — и без вашего одобрения или содействия я поступил бы так, как задумал, но, конечно, с другим настроением. Теперь я доволен. В общем, мне по душе эта борьба.

— Оно и видно. Мне кажется, что даже правительственный заказ на поставки сукна для армии не радовал бы ваше сердце больше, чем предвкушение этой схватки.

— Пожалуй, вы правы.

— То же чувствовал бы и старый Хелстоун; правда, по причинам совсем иного характера, чем ваши. Что ж, поговорить мне с ним? Хотите?

— Поговорите, если считаете нужным, — вы сами знаете, что делать; я не побоялся бы положиться на вас и в более трудном случае. Но должен предупредить вас, мисс Килдар: священник сейчас настроен против меня.

— Да, я уже слышала о вашей ссоре; ничего, он быстро смягчится. При создавшемся положении он не устоит против соблазна заключить с вами союз.

— И я был бы рад иметь его на своей стороне; это человек надежный.

— Я тоже так думаю.

— Старый боевой клинок отличной закалки; немного заржавел, но еще может послужить.

— Ну что ж, он к вам присоединится, мистер Мур. Конечно, если только мне удастся его убедить.

— Вы сумеете убедить всякого!

— С нашим священником не так-то легко иметь дело. Но я постараюсь.

— Постарайтесь! Это будет стоить вам одного слова, одной улыбки.

— Вовсе нет. Это будет стоить мне нескольких чашек чая, нескольких пирожков и пирожных и множества доводов, объяснений и уговоров. Однако становится прохладно.

— Вы как будто дрожите. Может быть, я напрасно удерживаю вас здесь? Но сегодня такой тихий и теплый вечер и мне так редко выпадает удовольствие побыть в таком обществе, как ваше... Будь вы одеты потеплее...

— Мы могли бы погулять еще, забыв о позднем часе и о том, что миссис Прайор уже беспокоится? Мы с ней ведем размеренный образ жизни и рано ложимся, так же как и ваша сестра, вероятно?

— Да, но у меня с Гортензией есть договоренность о полной свободе действий для нас обоих. Так гораздо удобнее.

— И как же вы пользуетесь своей свободой?

— Три раза в неделю ночью на фабрике; но я не люблю много спать, и если ночь тихая и ясная, я готов до рассвета бродить по лощине.

— Когда я была совсем маленькая, мистер Мур, я нередко слушала сказки нянюшки про фей, которых якобы видели в лощине. До того как мой отец построил здесь фабрику, это было совсем глухое, уединенное место; смотрите, как бы вас там не околдовали!

— Боюсь, что это уже произошло, — тихо проговорил Мур.

— Советую остерегаться: там бывает кое-кто пострашнее всяких фей, продолжала мисс Килдар.

— Кое-кто пострашнее, — согласился Мур.

— Куда страшнее. Например, как бы вам понравилось встретиться с Майком Хартли, этим сумасшедшим ткачом, кальвинистом и якобинцем? Говорят, он любит охотиться в чужих владениях и частенько бродит ночью с ружьем в руках по уединенным местам.

— Я уже имел удовольствие с ним встретиться: как-то ночью мы с ним побеседовали по душам, — был такой любопытный случай. Мне даже понравилось!

— Понравилось! Ну, знаете, у вас странный вкус! Майк ведь не в своем уме. Где вы его встретили?

— На самом дне лощины, под сенью густого кустарника у потока. Мы с ним посидели у бревенчатого мостика, луна ярко светила, но

небо было облачное и дул ветер. Мы тогда славно побеседовали.

— О политике?

— И о религии тоже. Было полнолуние, и Майк был совсем как сумасшедший. Он все выкрикивал какие-то странные проклятья — богохульствовал в антиномистском духе.

— Простите меня, но и сами-то вы хороши! Надо же вам было сидеть и слушать его разглагольствования!

— Его фантазии очень любопытны; он мог бы стать поэтом, не будь он вполне законченным маниаком; или пророком, если бы уже не стал забулдыгой; он торжественно изрек, что мне уготован ад, что на лбу у меня он видит печать зверя,<sup>[83]</sup> что я — отверженный с самого сотворения мира, что Бог покарает меня, — и при этом он добавил, что прошлой ночью ему было видение, возвестившее, когда и от чьей руки мне суждено погибнуть. Тут мне уже стало любопытно, но он покинул меня со словами: «Конец еще не настал!»

— А после этого вы с ним виделись?

— Да, месяц спустя, возвращаясь с базара; он и Моисей Барраклу стояли у края дороги пьяные и истово молились. Они приветствовали меня воплем: «Изыди, сатана», и молили Бога избавить их от искушения... А потом, совсем на днях, Майк пожаловал ко мне в контору, остановился на пороге, без шляпы, — выяснилось, что он оставил куртку и шляпу в залог в кабаке, — и торжественно предупредил меня о том, что мне следовало бы привести в порядок все свои дела, ибо похоже на то, что Господь скоро призовет мою душу.

— И вы можете этим шутить?

— Да ведь после долгого запоя бедняга был на грани белой горячки!

— Тем хуже! Похоже, что он сам способен выполнить свое зловещее пророчество.

— Однако нельзя же и распускать себя, позволять, чтобы всякий вздор действовал на нервы!

— Мистер Мур, ступайте-ка домой!

— Так скоро?

— Идите напрямик через луга, но ни в коем случае не кружным путем, не через рощу.

— Да ведь совсем еще рано.

— Нет, поздно. Что до меня, я иду домой. Вы обещаете мне не бродить сегодня вечером по лощине?

— Если таково ваше желание...

— Я на этом настаиваю. Скажите мне, неужели жизнь не имеет цены в ваших глазах?

— Напротив, в последнее время жизнь представляется мне бесценным благом.

— В последнее время?

— Да. Она уже не бесцельна и безнадежна, какой была всего лишь три месяца тому назад. Я был тогда как выбившийся из сил утопающий, который уже готов покориться неизбежному. И вдруг мне на помощь протянули руку, вернее, нежную ручку, я едва посмел опереться на нее, — и, однако, у нее хватило силы спасти меня от гибели.

— И вы действительно спасены?

— Во всяком случае, на время; ваша помощь позволяет мне надеяться.

— Живите и не падайте духом. Смотрите, только не подставьте себя под пулю Майка Хартли! Спокойной ночи!

\* \* \*

Пообещав накануне зайти под вечер к Шерли, Каролина считала себя связанной словом; но мрачные часы провела она в ожидании вечера. Она почти весь день просидела взаперти у себя в комнате и сошла вниз только дважды, чтобы позавтракать и пообедать с дядей; избегая расспросов, она сказала Фанни, что занята переделкой платья и предпочитает шить наверху, где ее ничто не отвлекает.

Она и в самом деле шила; но как ни проворно мелькала ее игла, мысли ее мелькали еще проворнее. Никогда еще ей так не хотелось посвятить себя какому-то настоящему делу, пусть даже неблагоприятному и утомительному. Нужно еще раз поговорить с дядей, но сначала хорошо бы посоветоваться с миссис Прайор. Строя всевозможные планы, Каролина в то же время усердно шила легкое муслиновое платье, разостланное на кушетке, в ногах которой она сидела. Но как ни старалась бедняжка отвлечься от грустных мыслей,

слезы то и дело навертывались ей на глаза; впрочем, это бывало редко, и ей удавалось быстро пересилить свое волнение; острая боль затихала, слезы, туманившие взор, высыхали; Каролина снова продевала нитку в иголку, выравнивала складки и продолжала шить.

Под вечер она переоделась и отправилась в Филдхед; в дубовую гостиную она вошла, когда подавали чай. На вопрос Шерли, почему она так запоздала, Каролина ответила:

— Я занималась шитьем. В такие ясные солнечные дни стыдно ходить в зимнем платье, вот я и привела в порядок свой весенний наряд.

— В нем вы мне особенно нравитесь, — заметила Шерли. — Не правда ли, миссис Прайор, наша маленькая Каролина выглядит настоящей леди?

Миссис Прайор никогда не делала комплиментов и редко высказывала в присутствии человека свое мнение — пусть даже благоприятное — о его внешности. И сейчас, подсев к Каролине, она только ласково отвела рукой пряди волос, упавшие ей на лоб, погладила ее по щеке и заметила:

— Что-то вы все бледнеете и худеете, милочка моя. Вы, наверное, плохо спите? Да и глаза у вас невеселые. — И миссис Прайор тревожно взглянула на девушку.

— Мне часто снятся печальные сны, — призналась Каролина, — а в те часы, когда мне не спится, я почему-то все думаю о том, как стар и мрачен наш церковный домик; он стоит у самого кладбища, и я слышала даже, будто службы в давние времена были построены на месте старого погоста, прямо на могилах. Мне бы очень хотелось уехать из этого дома.

— Дорогая моя! Неужели вы так суеверны?

— Нет, миссис Прайор, но у меня, кажется, нервы расстроены. Все представляется мне в каком-то мрачном свете, меня терзают страхи, каких прежде никогда не было, но я боюсь не привидений, а грозных ударов судьбы, губительных событий; точно камень давит мне на сердце, и я дала бы что угодно, лишь бы избавиться от этого гнетущего ощущения.

— Странно! Я ничего подобного не испытываю! — воскликнула Шерли.

Миссис Прайор промолчала.

— Ни погожий день, ни солнечный свет, ни природа — ничто меня не радует, — продолжала Каролина. — Тихие ясные вечера не дарят моей душе покоя; ласковый лунный свет теперь наводит на меня одну тоску. Как вы думаете, миссис Прайор, уж не душевная ли это болезнь? Я ничего не могу с собой поделать; я стараюсь побороть это уныние, стараюсь взять себя в руки, — но все бесполезно.

— Вам следует побольше гулять, — заметила миссис Прайор.

— Гулять! Я гуляю до полного изнеможения.

— Старайтесь меньше сидеть дома, ходите в гости.

— Миссис Прайор, я готова совсем не сидеть дома, но не ради праздных прогулок и хождений по гостям. Я хочу стать гувернанткой, как вы. Поговорите об этом с моим дядей, вы меня этим чрезвычайно обяжете.

— Какие глупости! — вмешалась Шерли. — Придумали тоже! Стать гувернанткой! Это хуже, чем стать рабыней. Что за надобность? Что это вам пришло в голову?

— Дорогая моя, вы еще слишком молоды, да и недостаточно сильны, возразила миссис Прайор. — А обязанности гувернантки очень трудны.

— Вот и хорошо. Трудные обязанности больше займут меня.

— Больше займут ее! — вскричала Шерли. — Да вы и так ни минуты не сидите без дела. Всегда за работой! Я в жизни не встречала более трудолюбивой девушки. Сядьте-ка лучше рядом со мной, выпейте чаю, и вам станет веселее на душе. Как видно, вы не дорожите моей дружбой, раз собираетесь покинуть меня?

— Что вы, Шерли! Я очень дорожу вашей дружбой. Мне самой грустно, что придется покинуть вас; где еще я найду такого друга!

При этих словах мисс Килдар схватила Каролину за руку, и лицо ее озарилось нежностью.

— Если так, то вам следовало бы подумать и обо мне, а не оставлять меня, — сказала она. — Это нелегко — расставаться с теми, к кому привяжешься! Вот и миссис Прайор иногда грозит покинуть меня, — говорит, мне больше подошла бы компаньонка помоложе и поинтереснее. Но ведь это все равно, что променять старомодную маму на какую-нибудь светскую модницу! Что касается вас, то я уже льстила себя надеждой, что мы задушевные подруги; что вы любите



Шерли почти так же горячо, как и она вас. А если Шерли полюбит то от всего сердца!

— Я очень люблю Шерли. Я люблю ее с каждым днем все больше. Но это не делает меня ни счастливее, ни здоровее.

— А зависимое положение в чужой семье, по-видимому, сделает вас счастливее или здоровее? Нечего и думать об этом — все равно ничего не выйдет; безотрадная жизнь гувернантки совсем не для вас; вы не выдержите и свалитесь с ног; выкиньте это из головы!

Решительно произнеся этот приговор, мисс Килдар умолкла. Несколько минут спустя она продолжала все с тем же сердитым видом:

— А для меня уже стало приятной привычкой высматривать каждый день, когда же мелькнет между деревьями шляпка и шелковый шарф моей тихой, рассудительной, задумчивой подруги; знать, что сейчас она войдет, сядет возле меня и я буду смотреть на нее и говорить с ней или предоставлю ей заниматься, чем она сама найдет нужным. Может быть, я рассуждаю эгоистично, но я обычно говорю то, что думаю!

— Я буду писать вам, Шерли!

— Письма! Это всего лишь *pis-aller*.<sup>[84]</sup> Выпейте чаю, Каролина, и съешьте что-нибудь; ну улыбнитесь, успокойтесь и оставайтесь с нами.

Мисс Хелстоун покачала головой и вздохнула. Она поняла, что ей не удастся убедить друзей в необходимости изменить свою жизнь. Но ее не покидала уверенность, что она должна поступить так, как решила, что только серьезное и трудное дело даст ей исцеление от душевной муки. Но так как она никому — а тем более Шерли — не могла открыть свое сердце, то друзьям ее решение представлялось непонятной причудой, и потому они пытались отговорить ее.

У Каролины нет никакой необходимости покидать свое спокойное убежище и наниматься в гувернантки; нечего и сомневаться, что дядя обеспечит ее в будущем, выделив ей долю в наследстве. Так рассуждали ее друзья, — и рассуждали по-своему правильно, — им ведь не все было известно о ее жизни. Они не догадывались о ее затаенном горе, изнемогая от которого она искала спасения в бегстве, не знали и о том, как мучительны для нее ночи и безотрадны дни. Она не могла быть с ними откровенной, да ее никто бы и не понял; оставалось только ждать и терпеть. Многим из тех, кто нуждается в пище и одежде, жизнь представляется не столь безотрадной, как

Каролине, да и в будущем им брезжит надежда; многие из тех, кого угнетает бедность, не так горюют, как она.

— Стало у вас веселее на душе? Вы согласны, что лучше не уезжать из дому? — допытывалась Шерли.

— Я не уеду из дому без одобрения друзей, но я убеждена, что и они в конце концов признают мое решение правильным, — ответила Каролина.

Прислушиваясь к разговору подруг, миссис Прайор выглядела несколько встревоженной. Врожденная сдержанность не позволяла ей ни свободно высказывать свое мнение, ни тем более расспрашивать; вопросы замирали у нее на губах; ей хотелось бы дать добрый совет, но она не решалась. Наедине с Каролиной она, конечно, постаралась бы утешить ее, но в присутствии даже такого близкого ей человека, как мисс Килдар, она стеснялась выразить свое участие; сейчас, как и во многих случаях жизни, необъяснимое замешательство овладело ею, не позволяло ей высказать свое мнение. Но она по-своему проявила внимание к девушке, — спросила, не жарко ли ей, заботливо поставила между нею и камином экран, затворила окно, из которого будто бы дуло, и часто с беспокойством поглядывала на нее.

Шерли между тем продолжала:

— Отговорив вас от вашего намерения, — а я надеюсь, что это так, — я предложу вам кое-что получше. Каждое лето я отправляюсь путешествовать. В этом году я предполагала провести два месяца на шотландских или английских озерах; но я поеду только в том случае, если вы согласитесь сопровождать меня, а если нет — так и я останусь здесь.

— Как вы добры, Шерли...

— Вернее, буду добра, если вы позволите мне проявить доброту, а я только этого и желаю. У меня дурная привычка прежде всего думать о самой себе; но кто создан иначе? Однако когда капитан Килдар доволен, имеет все, что ему надо, и даже приятного товарища по путешествию, для него нет большего удовольствия, чем порадовать этого товарища. Разве мы с вами не будем счастливы, Каролина, в горах Шотландии? Мы там побываем. Если вы хорошо переносите путешествие по морю, поедem на острова — Шотландские, Гебридские, Оркнейские. Разве вам это не улыбается? Я уже вижу, что да. Миссис Прайор, взгляните, она вся просияла.

— Да, я была бы рада посетить все эти места, — ответила Каролина. Она чувствовала, что оживает при мысли о таком заманчивом путешествии. Шерли радостно захлопала в ладоши.

— Я могу дарить людям счастье, могу делать добро! — воскликнула она. Моя тысяча фунтов в год — это не только грязные бумажки и гинеи (впрочем, я люблю их и хочу говорить о них с должным уважением); они могут принести здоровье больному, силу — слабому, утешение — страдальцу. Я всегда хотела сделать на эти деньги что-нибудь хорошее, — мне мало жить в красивом старинном доме и носить шелковые платья; мне мало уважения знакомых и признательности бедняков. И начнем вот с чего: этим летом миссис Прайор, Каролина и я пускаемся в плавание по северной части Атлантического океана к Шотландским и Фарерским островам. Увидим тюленей в Сюдерё, а может быть, и русалок в Стрёме. Вот она и рассмеялась, миссис Прайор, мне удалось рассмешить ее, кое-что хорошее уже сделано!

— Конечно, я с радостью поеду, — повторила Каролина. — Моя давняя мечта — услышать плеск океанских волн, увидеть их наяву такими, какими они рисуются моему воображению: изумрудно-зеленые сверкающие гряды, и гряды эти колышутся, увенчанные белоснежной каймой непрестанно набегающей пены. Какое это будет удовольствие любоваться, проплывая мимо, скалистыми дикими островками, где привольно гнездятся морские птицы; или плыть путем древних викингов там, где вот-вот покажутся на горизонте берега Норвегии. Да, ваше предложение для меня радость, пусть смутная, но все-таки радость.

— Извольте теперь думать, когда вам не спится, о Фитфул-Хед, о чайках, с пронзительными криками кружащих вокруг него, о валах, которые с шумом разбиваются о его подножье, а не о могилах под вашим домом.

— Постараюсь выбросить из головы гробы, саваны, человеческий прах и буду представлять себе тюленей, греющихся в лучах солнца на уединенных берегах, куда еще не ступала нога рыбака или охотника; расселины в скалах, где среди морских водорослей покоятся перламутрово-белые яйца; непуганых птиц, что веселыми стаями красуются на белой отмели.

— И невыносимая тяжесть, которая гнетет вас, исчезнет?

— Я постараюсь преодолеть ее, раздумывая о бездонной глубине океана, о стадах китов, кочующих в этой синевато-серой пучине, покинув полярную зону; их великое множество; поблескивая мокрыми спинами, они величественно плывут следом за китом-патриархом, гигантом, который, кажется, уцелел еще со времен, предшествовавших всемирному потопу; такой вот кит представлялся несчастному Смарту, [85] когда он писал:

Борясь с волной, огромный кит  
Плывет навстречу мне...

— Надеюсь, однако, что мы не повстречаемся в пути с подобным стадом, Каролина. Вы, очевидно, представляете себе таких морских мамонтов, пасущихся у подножия «вечных гор» и пожирающих странный корм в обширных долинах, по которым перекатываются морские валы. Мне вовсе не хочется оказаться в волнах по милости одного из таких китов-патриархов.

— Зато вы надеетесь увидеть русалок?

— Да, хотя бы одну — непременно. И вот как она должна появиться: поздним летним вечером брожу я по палубе в одиночестве, глядя на полную луну, которая тоже глядит на меня сверху, медленно и величаво поднимаясь все выше и выше, и, наконец, застывает на месте, разливая мягкий свет, а прямо под ней на водяной глади вдруг что-то забелеет, заскользит, исчезнет из виду и снова всплывет. До меня донесется крик — это человеческий голос! Я зову вас взглянуть на видение, что возникло над темной волной, прекрасное, как мраморное изваяние; нам обеим теперь хорошо видны ее длинные волосы, ее поднятая рука, белая, как пена, а в ней овальное зеркальце, оно сверкает, как звезда. Но вот видение подплывает ближе, уже можно различить человеческое лицо, похожее на ваше, Каролина; правильное, тонкое лицо, прекрасное даже в своей бледности; русалка смотрит на нас своими удивительными, нечеловеческими глазами; в их коварном блеске столько сверхъестественных чар! Вот она манит нас; мужчина сразу ответил бы на этот призыв и бросился бы в холодные волны, презрев опасность ради объятий еще более холодной обольстительницы, но мы — женщины, мы в безопасности, нам только

немного жутко; она это понимает, видя наш спокойный взгляд; она чувствует бессилие своих чар, и чело ее омрачает гнев; бессильная околдовать, она хочет нас напугать! Она поднимается все выше и выше на темном гребне волны, предстает нам в своем грозном обличье. Обольстительное чудовище! Жуткое подобие нас самих! И вы, Каролина, вздыхаете с облегчением, — не правда ли? — когда она, наконец, с пронзительным воплем скрывается в морских глубинах.

— Но, Шерли, почему же она наше подобие? Ведь мы не соблазнительницы, не страшилища, не чудовища?

— Некоторых женщин считают и соблазнительницами, и страшилищами, и чудовищами; есть мужчины, которые представляют себе женщин только такими.

— Дорогие мои, — вмешалась миссис Прайор, — вы, наверное, и сами не замечаете, что ваш разговор — сплошная фантазия?

— Но разве предаваться фантазиям нехорошо?

— Мы прекрасно знаем, что на свете нет русалок; зачем же говорить о них как о чем-то существующем, реальном? Как может занимать вас разговор о какой-то призрачной мечте?

— Не знаю, — сказала Шерли.

— Дорогая моя, к нам кто-то идет; мне слышались чьи-то шаги в аллее; да вот и калитка скрипнула!

Шерли посмотрела в окно.

— Да, к нам идет гость, — обронила она, спокойно отвернувшись от окна и села на свое место; но легкий румянец окрасил ее щеки и в глубине глаз засветился трепетный луч. Она склонила голову на руку, опустила взгляд и словно задумалась в ожидании.

Доложили о приходе мистера Мура, и Шерли повернулась к дверям, в которые уже входил гость. Он словно стал еще более рослым, или так показалось трем женщинам, из которых ни одна не была особенно высокой. Никогда еще за весь последний год он не выглядел так хорошо, как сейчас: он помолодел, щеки его оживляли румянец, глаза блестели, да и в осанке появилось больше уверенности, — ведь теперь у него возродились надежды на достижение желанной цели. Выражение лица его оставалось энергичным и твердым, но суровость и замкнутость сменились оживлением. Здороваясь с мисс Килдар, он сказал ей:

— Я только что из Стилбро и решил заглянуть к вам, рассказать, как обстоят мои дела.

— И очень хорошо, а то я беспокоилась; вы заглянули к нам как раз вовремя, к самому чаю. Присаживайтесь; надеюсь, вы уже достаточно освоились с английскими обычаями и полюбили этот напиток? Или вы все еще преданы кофе?

Мур взял предложенную ему чашку.

— Я превращаюсь в настоящего англичанина, — заметил он, — и мои прежние привычки понемногу оставляют меня.

Он поклонился миссис Прайор — почтительно и учтиво, как и подобает кланяться пожилой даме. Затем он взглянул на Каролину, — впрочем, уже не в первый раз, — подошел к ней, пожал ей руку и спросил, как она поживает. Каролина сидела спиной к окну, и свет не падал ей на лицо, к тому же сумерки уже окутывали комнату, и девушке удалось ничем не выдать овладевшего ею замешательства. Она ответила спокойным, хотя и несколько сдавленным голосом, продолжая сидеть в неподвижной позе; никто не мог бы сказать, что она вздрогнула или залилась румянцем, предположить, что она очень волнуется или что у нее сильно колотится сердце; никаких признаков волнения не было заметно; они обменялись самым сдержанным приветствием, какое только можно вообразить.

Мур занял свободное место рядом с ней, напротив Шерли; такое близкое соседство лишало его возможности наблюдать за кухней, и под покровом сгущавшихся сумерек она вскоре овладела собой не только внешне, но и на самом деле справилась с чувством, которое властно заговорило в ней, когда служанка доложила о приходе Мура.

— Я ходил в казармы и беседовал с полковником Райдом, — сказал он, обращаясь к Шерли. — Он одобрил мои планы и обещал помощь; готов был даже предоставить в мое распоряжение больше солдат, чем мне нужно, — с меня хватит и пяти. На что мне целый полк солдат? Они нужны мне для видимости, в основном же я полагаюсь на своих друзей.

— И на капитана? — сказала Шерли.

— На капитана Килдара? — спросил Мур, улыбаясь, но не поднимая на нее глаз; некоторая вольность шутки смягчалась почтительностью тона.

— Нет, на капитана Жерара Мура, который очень верит в доблесть своей правой руки, — возразила Шерли, тоже с улыбкой глядя на собеседника.

— Вооруженной к тому же конторской линейкой, — шутливо ответил Мур, затем продолжал уже серьезно: — С вечерней почтой я получил из министерства внутренних дел ответ на мое письмо: там встревожены тем, что происходит здесь, на севере, и нас, фабрикантов, упрекают в малодушии и пассивности; там разделяют мою точку зрения, что в данный момент бездействие и малодушие вредны и равносильны преступлению; мы только потакаем беспорядкам, которые в конце концов приведут к кровопролитию. Вот это послание, прочтите его; и вот пачка газет, в них вы найдете новые сообщения о событиях в Ноттингеме, Манчестере и других местах.

Мур вынул из кармана газеты и письма и положил их на стол перед мисс Килдар; пока она читала, он медленно пил чай; но хотя язык его бездействовал, внимание не дремало. Он полностью отдавал его двум девушкам, даже не замечая миссис Прайор, сидевшую несколько в стороне.

Удобнее всего было ему разглядывать мисс Килдар — она сидела напротив него, озаренная лучами догорающего заката, четко выделяясь на темном фоне дубовой панели. Щеки Шерли все еще окрашивал румянец, вспыхнувший несколько минут тому назад; черная кайма опущенных ресниц, тонкая линия бровей, блестящие кудри оттеняли краски ее разгоревшегося лица, делая его похожим на яркий цветок. В ее позе было непринужденное изящество, а ее строгое шелковое платье, падавшее свободными живописными складками, казалось роскошным из-за переливчатого цвета, — ткань платья была выткана из ярких нитей разных тонов. Золотой браслет поблескивал на ее руке, матово-белой, как слоновая кость; весь ее облик был блистателен. Похоже, что все это не ускользнуло и от Мура, ибо он долго не отводил от нее взгляда; однако лицо его, как всегда, не выдавало волновавших его мыслей и чувств: человек хладнокровный, он предпочитал сдержанность и невозмутимую серьезность, — но, конечно, не грубость, — всяким проявлениям чувства.

Разглядывать Каролину он не мог, ибо она сидела рядом с ним; поэтому Муру пришлось откинуться на спинку стула, и теперь она вся была перед ним. Во внешности мисс Хелстоун не было ничего

поражающего взгляд. Одета в скромное белое платье с узкой голубой каймой, не украшенное ни цветком, ни брошью, она сидела в тени, бледная, ко всему безучастная, и даже ее карие глаза и каштановые волосы, проигрывая от неясного сумеречного света, казались сейчас тусклыми. Юная хозяйка дома затмевала ее, подобно тому как яркая картина затмевает нежную пастель. Со времени их последней встречи она очень изменилась; заметил ли это Роберт — неизвестно, он ничего не сказал.

— Как чувствует себя Гортензия? — тихо спросила Каролина.

— Хорошо. Но ее тяготит безделье; ей очень не хватает вас.

— Передайте ей, что и я скучаю без нее, но не забываю ежедневно читать и писать по-французски.

— Она обязательно спросит, передавали ли вы ей привет. Вы помните, наверное, что она щепетильна на этот счет и очень ценит внимание.

— Передайте ей самый сердечный привет и скажите, кстати, что если она улучит минутку написать мне письмецо, то очень меня порадует.

— А вдруг я забуду? На меня ведь в таких вещах трудно полагаться.

— Нет, Роберт, не забудьте: это не просто любезность — это от чистого сердца.

— И, следовательно, должно быть передано в точности?

— Да, пожалуйста.

— Гортензия наверняка прольет слезу. Она питает самые нежные чувства к своей ученице и иной раз даже досадует на вас за излишнее послушание дядюшке. Дружба, как и любовь, бывает несправедлива.

Каролина, взволнованная до глубины души, ничего не ответила; дай она себе в эту минуту волю, она бы расплакалась и поведала ему о том, как дорого ей все, что с ним связано; что о маленькой гостиной в его доме она вспоминает, как о земном рае; что она жаждет вернуться туда так же страстно, как, быть может, жаждала вернуться в Эдем изгнанная оттуда Ева. Не смея, однако, высказать свои чувства, она молча сидела рядом с Робертом и ждала, не скажет ли он ей еще что-нибудь. Давно уже не приходилось ей сидеть вот так, около него, давно уже его голос не ласкал ее слуха; каким блаженством было бы верить, что их встреча хоть сколько-нибудь приятна и ему! Но даже



сомневаясь в этом, боясь, что ему скучно с ней, она все же радовалась, как радуется пойманная птичка солнцу, заглянувшему к ней в клетку; она не рассуждала, она слепо отдавалась чувству охватившего ее счастья: находиться вблизи Роберта означало для нее ожить.

Мисс Килдар отложила газеты.

— Что ж, эти угрожающие известия печалят вас или, наоборот, радуют? спросила она Мура.

— Ни то, ни другое; но хорошо, что я предупрежден. Наша единственная задача сейчас — проявить твердость; должным образом подготовленные, мы решительно отразим удар и, надеюсь, сумеем избежать кровопролития.

Затем он спросил, обратила ли Шерли внимание на одно особенно примечательное сообщение, и когда она ответила отрицательно, подошел к ней, чтобы указать его; он продолжал разговор, стоя возле нее. Из содержания их беседы явствовало, что в окрестностях Брайерфилда ожидаются волнения, неизвестно только, в какую форму они могут вылиться. Миссис Прайор и Каролина не участвовали в разговоре: события, очевидно, недостаточно назрели, и не было смысла открыто обсуждать их; поэтому они не докучали своим любопытством помещице и ее арендатору, не пытаясь узнать все подробности дела.

Оживленно и доверчиво беседуя с Муром, Шерли сохраняла присущую ей величавость. Но вот служанка принесла зажженные свечи и помешала в камине, и вся комната наполнилась светом; теперь стало заметно, что лицо Шерли дышит оживлением, что беседа ее захватила; однако в ней не было ни тени кокетливости; какое бы чувство ни питала она к Муру, это было серьезное чувство. Таким же серьезным было и его отношение к ней, и намерения его не оставляли никакого сомнения; он не прибегал к дешевым уловкам, стараясь ослепить или покорить. Однако он, как и всегда, оставался господином положения; несмотря на то что он старался говорить тихо, его глубокий голос нередко звучал повелительно, заглушая более мягкий голос собеседницы и как бы невольно и неумышленно подчиняя его себе, так же как его твердость и решительность, по-видимому, оказывали воздействие на восприимчивую, хотя и гордую натуру Шерли. Мисс Килдар сияла счастьем, говоря с ним, и в ее счастье как

бы сливалась радость настоящего и прошлого, воспоминаний и надежд.

Все, сейчас написанное, не что иное, как мысли и чувства Каролины; глядя на Шерли и Мура, она старалась подавить охватившее ее отчаяние, но не могла. Несколько минут назад ее истомившаяся душа вкусила каплю влаги и крупинку пищи, которые могли бы поддержать ее таявшие силы; но прежде чем она успела отведать роскошных яств, они были отняты у нее и отданы другой; она же осталась зрителем на чужом пиру.

Пробило девять часов, пора было собираться домой. Сложив свое рукоделие в сумочку, Каролина спокойным голосом пожелала доброй ночи миссис Прайор, которая простилась с ней теплее, чем всегда, затем подошла к Шерли.

— Спокойной ночи, Шерли!

Шерли вздрогнула.

— Вы уже уходите? Почему так рано?

— Уже пробило девять часов.

— А я и не слышала! Но завтра вы придете, а сегодня будете спокойны и веселы, хорошо? И помните о наших планах.

— Да, — ответила Каролина, — я помню.

Но сердце говорило ей, что ни эти планы, ни какие-либо другие не смогут вернуть мир ее душе. Повернувшись к Роберту, она подняла голову, и свет от стоявших на камине свечей упал на ее бледное, измученное лицо, такое осунувшееся и грустное. Глаза у Роберта были зоркими; но если он это и заметил, то не показал вида.

— Спокойной ночи, — произнесла Каролина, вся дрожа и торопливо протягивая ему свою худенькую руку, чтобы поскорее покончить с тягостным прощанием.

— Вы идете домой? — спросил Мур, не взяв ее руки.

— Да.

— Разве Фанни уже пришла за вами?

— Да.

— Что ж, я провожу вас немного. Не до самого дома, конечно, не то мой старый друг Хелстоун, чего доброго, еще пристрелит меня из окна.

Он засмеялся и взял шляпу. Каролина начала было возражать, говорила, что не стоит ему утруждать себя, но он прервал ее, попросив

поскорее собираться. Она накинула шаль, надела шляпку, и они вышли. Мур дружески взял ее под руку, совсем как в былые дни, когда он был так ласков к ней!

— Вы можете идти вперед, Фанни, — сказал он, — мы вас нагоним.

Когда служанка отошла от них на несколько шагов, он сжал руку Каролины и заговорил о том, как он рад был встретить ее в Филдхеде, где она, по-видимому, стала постоянной гостьей; он надеется, что ее с мисс Килдар будет связывать все более тесная дружба, добавил он, и она найдет в этой дружбе много приятного, да и полезного для себя.

Каролина сказала, что полюбила Шерли.

— Несомненно, она отвечает вам тем же, и знайте, что, выказывая вам свое расположение, она вполне искренна; ей чуждо притворство и ложь. Ну, а нам с сестрой уже не суждено видеть вас у себя, Каролина?

— Боюсь, что нет, если только дядя не передумает.

— Вы часто сидите одна?

— Да. Мне никого не хочется видеть, кроме мисс Килдар.

— Скажите, хорошо ли вы себя чувствуете в последнее время?

— Хорошо.

— Вам следует беречь свое здоровье, побольше бывать на воздухе. Мне что-то показалось, будто вы изменились, — побледнели и осунулись. Ваш дядя добр к вам?

— Да, как всегда.

— Иначе говоря — не слишком, не слишком заботлив и не очень внимателен. Что же с вами такое, скажите мне, Лина?

— Ничего, Роберт, — ответила она, но голос ее дрогнул.

— Вернее, ничего такого, в чем вы могли бы открыться мне; вижу, что я лишен прежнего доверия. Неужели разлука сделает нас чужими?

— Не знаю, Роберт; боюсь, что да.

— Но этого не должно быть. «Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней?»<sup>[86]</sup>

— Я не забываю, Роберт.

— Вы не были у нас уже целых два месяца.

— У вас в доме — да.

— А вам случалось проходить мимо?

— Я часто приходила по вечерам к обрыву и смотрела вниз. Однажды я видела, как Гортензия поливала в саду цветы, и я знаю час,

когда вы зажигаете лампу в конторе; сколько раз я ждала, когда она засветится, сколько раз видела и вас за столом, — я не могла ошибиться, ваш силуэт отчетливо вырисовывался в освещенном окне.

— Странно, что я не встречал вас. Я и сам ведь нередко на закате брожу по краю лощины.

— Знаю! Я чуть было не заговорила с вами однажды вечером — вы прошли так близко от меня.

— Не может быть! Я прошел мимо и не заметил вас? Я, верно, был не один?

— Да. Я видела вас два раза, и оба раза вы были не один.

— Но кто же был моим спутником? Одно из двух: либо Джо Скотт, либо в лунную ночь — моя собственная тень.

— Нет, не Джо и не ваша тень, Роберт. В первый раз с вами был мистер Йорк; во второй раз та, которую вы называете тенью, обладала белым личиком и черными локонами, а на шее у нее сверкало ожерелье; впрочем, я только издали увидела вас и это прекрасное видение: не желая слушать ваш разговор, я поспешила уйти.

— Вы, как видно, бродите невидимкой. Я сегодня заметил кольцо на вашей руке, — это, чего доброго, волшебное кольцо Гигеса?<sup>[87]</sup> Впредь, засиживаясь поздно вечером в конторе, я буду воображать, что Каролина, наклонясь над моим плечом, читает ту же книгу, что и я, или сидит рядом со мной и вышивает, но по временам поднимает на меня глаза, стараясь угадать мои мысли.

— Вам незачем опасаться моей навязчивости; к вам я не приближаюсь, только издали, со стороны наблюдаю за вашей жизнью.

— И когда вечером, заперев фабрику, или ночью, бродя по окрестностям вместо ночного сторожа, я услышу шорох птички в гнезде или шелест листвы, мне почудится, что это вы идете рядом; тени деревьев во мраке будут принимать ваши очертания; вы будете мелькать предо мной среди белых ветвей боярышника. Лина, ваш образ будет преследовать меня.

— Нет, я никогда не буду докучать вам, никогда не увижу и не услышу того, что вы хотели бы сохранить в тайне.

— Вы будете являться мне даже среди бела дня, на фабрике; впрочем, я уже видел вас там, не далее как с неделю тому назад. Я стоял в одной из мастерских, наблюдая за девушками, работавшими на другом ее конце; и вдруг мне показалось, будто среди них мелькнули

вы. Не знаю, что именно вызвало этот обман зрения, — был ли то луч солнца или игра светотени. Я подошел к этой группе, но виденье уже исчезло, передо мной были только две краснощекие работницы в фартуках.

— Я не последую за вами на фабрику, Роберт, пока вы сами не позовете меня туда.

— Но воображение сыграло со мной шутку и в другой раз. Вернувшись домой поздно вечером, вхожу я в гостиную, ожидая застать там Гортензию, и вдруг вижу, или мне кажется, что вижу, — вас; уходя спать, Гортензия унесла с собой свечу, но ставни не были закрыты, комнату заливало яркое лунное сияние, и там стояли вы, Лина, у окна, чуть наклонясь — в вашей обычной позе. На вас было белое платье, в котором я видел вас на каком-то вечере. Мне показалось, что ваше свежее, оживленное личико обращено ко мне, что вы смотрите на меня; я даже подумал — вот подойду к ней, возьму за руку, скажу, как я рад ее видеть, и побраню за долгое отсутствие. Но стоило мне сделать два шага, как очарование рассеялось: изменились линии платья, краски побледнели и растаяли, и я увидел только белую занавеску да покрытый яркими цветами бальзамин на окне, — словом, *sic transit*.<sup>[88]</sup>

— А я уже подумала, что это был мой двойник!

— Нет, всего лишь кисея, фаянсовый вазон и розовый цветок. Пример обманчивости мирских иллюзий.

— И как только вы, такой занятой человек, находите время для подобных иллюзий!

— Нахожу! Во мне, Лина, уживаются два разных человека. Один принадлежит миру и делам, другой тяготеет к тихим радостям домашнего очага; Жерар Мур это кремень, фабрикант и торговец; тот, кого вы зовете кузеном Робертом, своего рода мечтатель, и его интересует не только контора и биржа.

— Ну что ж, эти два человека, видно, легко уживаются друг с другом; вы, кажется, отлично себя чувствуете и в хорошем настроении; озабоченное выражение лица, которое так огорчало меня еще недавно, бесследно исчезло.

— Вы это заметили? Да, мне удалось выпутаться из многих трудностей, благополучно обойти подводные камни и выплыть в открытое море!

— И при благоприятном ветре вы надеетесь успешно завершить свое путешествие?

— Могу надеяться, конечно, но надежды бывают обманчивы; для волн и ветра нет законов: грозные шквалы и мертвая зыбь, — сколько помех на пути мореплавателя! Он всегда должен быть готов ко встрече с бурей.

— Ну что ж, вы выдержите все, вы ведь закаленный моряк, умный капитан, искусный кормчий; вы проведете свой корабль и сквозь бурю.

— Моя кузина, как всегда, безгранично верит в меня; но я хочу видеть в ваших словах пророчество, а в вас самой — ту птицу, которую моряки называют вестницей счастья.

— Хороша вестница счастья! Я слишком слаба и ничтожна, чтобы принести вам удачу. Что толку говорить о том, как мне хочется быть вам полезной, раз я бессильна это доказать на деле; и все же я желаю вам успеха, богатства, настоящего счастья.

— Кто-кто, а вы всегда желали мне добра! Но что это Фанни остановилась? Я же просил ее идти вперед. А! Мы уже поравнялись с кладбищем. Значит, пора расставаться, а жаль; если бы с нами не было Фанни, мы могли бы посидеть немного на ступеньках церкви. Вечер такой тихий, такой теплый, что мне не хочется возвращаться домой.

И он повернул к церкви.

— Но ведь не можем же мы сейчас сидеть на ступеньках.

— Пожалуй, но велите Фанни идти домой; скажите, что мы идем вслед за ней, — несколько минут не имеют значения.

Часы на колокольне пробили десять.

— Сейчас появится дядя. Он каждый вечер как часовой обходит кругом церковь и кладбище.

— Ну и пускай! Если бы не Фанни, которая знает, что мы здесь, я, право, шутки ради поиграл бы с ним в прятки: направится он к паперти — мы притаимся под восточным окном, направится ли к северной стене — мы свернем к южной, да и за памятниками можно неплохо спрятаться, — чем не надежное укрытие тот же огромный памятник Уиннов?

— Ах, Роберт, вы сегодня все шутите, — заметила Каролина. — Уходите, уходите скорей! — поспешно добавила она. — Я слышу скрип двери...

— Но мне вовсе не хочется уходить, — я бы лучше остался.

— Но поймите, дядя рассердится. Он запретил мне встречаться с вами, он считает вас якобинцем.

— Хорош якобинец!

— Ступайте, Роберт, он уже близко. Слышите, он покашливает.

— Черт побери! У меня как нарочно непреодолимое желание побыть здесь!

— Помните, что он сделал, когда Фанни со своим... — начала было Каролина и тут же осеклась; «возлюбленный» — было то слово, которое она не решалась выговорить; это могло бы создать впечатление, что она хочет внушить ему определенные мысли, — мысли обманчивые и порождающие тревогу, — а такого намерения у нее не было. Однако Мур не проявил такой щепетильности.

— Когда Фанни гуляла со своим возлюбленным? — подхватил он. — Кажется, ваш дядюшка угостил его холодным душем из насоса? Он, наверно, с удовольствием угостил бы меня тем же самым. И я, со своей стороны, был бы не прочь подразнить старого тирана, да боюсь, он накинется на вас. Однако должен же он понимать, что есть разница между кузеном и поклонником.

— О, таких мыслей у него нет, ведь ваша размолвка с ним касается только политики. Мне просто не хотелось бы еще углублять разрыв между вами, вы же знаете, какой он вспыльчивый. Вот он уже у калитки! Уходите, Роберт, я прошу вас ради вашего и моего спокойствия!

Эта просьба сопровождалась умоляющим жестом и еще более умоляющим взглядом. Мур взял ее сложенные руки в свои, ласково сжал их, посмотрел ей в глаза, шепнул «спокойной ночи» и удалился.

В одно мгновение Каролина очутилась рядом с Фанни у двери в кухню, и тут же тень широкополой шляпы упала на залитую лунным светом могилу; выйдя из своего садика, священник, прямой как шест, заложив руки за спину, размеренным шагом двинулся по кладбищу. Мур чуть было не попался: ему пришлось и вправду «поиграть в прятки», крадучись обойти вокруг церкви и затем, согнувшись в три погибели, укрыться за величественным фамильным памятником семьи Уинн. Ему пришлось прождать там минут десять, опустившись на одно колено и низко пригнув непокрытую шляпой голову, но глаза его сверкали веселым смехом, и он улыбался нелепости своего положения;

священник тем временем стоял в двух-трех шагах от него, нюхал табак и с сосредоточенным видом взирал на звезды.

К счастью, мистер Хелстоун был далек сейчас от всяких подозрений; его мало беспокоило, как проводит время Каролина, он этим никогда не интересовался и даже не знал, что ее вечером не было дома; он полагал, что она, как всегда, читает или вышивает у себя в комнате. Впрочем, в эту минуту она и в самом деле была там, но не вышивала, а с замиранием сердца смотрела в окно, дожидаясь, чтобы дядя вернулся домой, а кузен благополучно покинул кладбище. Наконец у нее вырвался вздох облегчения; она услышала, как мистер Хелстоун отворил дверь, увидела, как Роберт пробрался между могил и перескочил через ограду; только тогда Каролина сошла вниз к вечерней молитве. Когда же она вернулась к себе в комнату, на нее нахлынули воспоминания о Роберте. Спать ей ничуть не хотелось, и она долго просидела у окна, глядя вниз на старый сад, на старинную церковь, на серые безмолвные памятники, залитые лунным сиянием. Она следила за шествием ночи по ее звездному пути, долго-долго, вплоть до рассвета; все время в мечтах она была с Муром: она сидела с ним рядом, слышала его голос, ее рука покоилась в его горячей руке. Когда же били часы или раздавался неясный шорох, когда мышка, частая гостья в ее комнате, — Каролина ни за что не позволяла Фанни ставить мышеловку, — шмыгала по туалетному столику в поисках приготовленного для нее сухарика и случайно задевала медальон с цепочкой, кольцо или другие вещицы, девушка поднимала голову, на мгновение возвратившись к действительности, и произносила вполголоса, словно оправдываясь перед невидимым судьей:

— Нет, нет, я не лелею любовных надежд, я только раздумываю, потому что мне не спится; я прекрасно знаю, что он женится на Шерли.

Но когда умолкал звон часов, когда ее маленькая *protegee* забивалась в свою норку и снова воцарялось безмолвие, Каролина вновь предавалась мечтам льнула к своему видению, слушала его голос, отвечала ему. Наконец оно стало бледнеть; с наступлением рассвета, когда занялась заря, а звезды померкли, потускнело и видение, созданное ее фантазией; пение пробудившихся птиц заглушило его шепот. Увлекательную ночную повесть, проникнутую страстным чувством, развеял утренний ветер, и от нее остались лишь



смутные шорохи. Образ, который при лунном сиянии казался живым и трепетным, обладал бодростью и свежестью молодости, стал серым и призрачным на фоне алеющей зари. Он растаял, оставив ее в одиночестве. В полном унынии и изнеможении она наконец легла в постель.

## ГЛАВА XIV

### Шерли ищет успокоения в добрых делах

«Я знаю — он женится на Шерли, — с этой мыслью Каролина проснулась утром. — Да это и хорошо, Шерли поможет ему в его делах — тут же с решимостью добавила она. — Но когда они поженятся, я буду забыта! — пронзила ее сознание горестная мысль. — Совсем забыта! Что же будет со мной, когда у меня навсегда отнимут Роберта? Моего Роберта! О, если бы я имела право назвать его моим! Но — увы! Я для него — бедность и ничтожество, а Шерли богатство и власть и также красота и любовь, этого не отнимешь. Тут нет корыстолюбивого расчета: Шерли любит его, и ее любовь — не поверхностное чувство; а если еще не любит, то вскоре полюбит всем сердцем, и он сможет только гордиться ее чувством. Против этого брака нечего возразить. Так пусть они поженятся, а я исчезну из его жизни. Оставаться подле него на правах сестры я не в силах. К чему обманывать себя, к чему лицемерить? Для Роберта я хочу быть всем или ничем. Как только они поженятся, я уеду отсюда. Играть при них жалкую роль, притворяясь, что тебя удовлетворяет спокойная дружба, в то время как сердце разрывается от других чувств, до этого я не унижусь. Ни стать общим другом мужа и жены, ни превратиться в их смертельного врага для меня невозможно: я не смогу ни жить их жизнью, ни мстить им; Роберт в моих глазах — идеал человека, единственный, кого я любила, люблю и буду любить. Я с радостью стала бы его женой, но это мне не суждено, и я уеду далеко отсюда, чтобы никогда его больше не видеть. Одно из двух — или слиться с ним в одно целое, или стать для него чужой и далекой, как далек Южный полюс от Северного. Так разлучи же нас, судьба, разлучи скорее!»

Так терзалась Каролина до самого вечера, когда вдруг она увидела, что та, которая занимала ее мысли, показалась за окном гостиной. Шерли шла медленно; на лице у нее было свойственное ей выражение легкой задумчивости и рассеянности; когда же она бывала

оживлена, рассеянность исчезала, а задумчивость, сочетаясь с мягкой веселостью, придавала ее улыбке, взгляду и смеху невыразимое очарование, — очарование неподдельной искренности; ее смех никогда не походил на треск тернового хвороста под котлом.<sup>[89]</sup>

— Вы не пришли ко мне сегодня, а ведь обещали. Как это понимать? спросила она Каролину, входя в комнату.

— Мне просто не хотелось, — откровенно ответила Каролина.

Шерли посмотрела на нее пытливым взглядом.

— Да, я вижу, что вам не хочется дружить со мной, на вас напали уныние и тоска и все люди вам в тягость. Что ж, с вами это бывает!

— Вы к нам надолго, Шерли?

— Да, я пришла выпить чашку чая и без этого не уйду. Позволю себе снять шляпку, не дожидаясь приглашения.

Она сняла шляпку и остановилась у порога, заложив руки за спину.

— Ваше лицо красноречиво говорит о ваших чувствах, продолжала она, все еще глядя на Каролину испытующим взглядом, в котором, однако, не было и тени неприязни, а скорее даже светилось участие. — Вы ни в ком не нуждаетесь, ищете только, уединения, бедная раненая лань! Неужели вы боитесь, что Шерли начнет вас мучить, узнав, что вы страдаете, что истекаете кровью?

— Я никогда не боюсь Шерли.

— Но нередко дуетесь на нее, часто ее сторонитесь. А Шерли чувствует, когда ею пренебрегают, бегут от нее. Если бы вы ушли от меня вчера не в обществе известного вам спутника, вы были бы сегодня совсем другая. В котором же часу вы вернулись домой?

— Около десяти.

— Гм! Вы потратили целых три четверти часа, чтобы пройти одну милю! Кому же не хотелось расставаться — вам или Муру?

— Полно говорить глупости, Шерли!

— Он, конечно, наговорил вам глупостей, в этом я не сомневаюсь, по крайней мере взглядами, если не языком, что еще хуже. Я вижу отражение этих взглядов в ваших глазах. Я готова вызвать его на дуэль — будь у меня надежный секундант; я очень сердита на него, рассердилась еще вчера вечером и сержусь весь сегодняшний день.

Вы даже не спрашиваете, за что? — продолжала Шерли после минутного молчания. — Ах вы, маленькая, тихая скромница; вы,

собственно говоря, не заслуживаете моего чистосердечного признания, но уж так и быть, скажу вам, что вчера вечером мне страстно захотелось последовать за Муром с самыми кровожадными намерениями: у меня есть пистолеты, и я умею стрелять!

— Полно, Шерли! Кого же вы собирались подстрелить — его или меня?

— Может быть, ни вас, ни его, может быть, просто себя, — а скорее всего летучую мышь или древесный сучок. Он фат, ваш кузен; этакий степенный, серьезный, умный, рассудительный и честолюбивый фат; я так и вижу, как он стоит передо мной, разговаривая серьезно и в то же время очень любезно, и старается подавить меня своим превосходством, — о, я это прекрасно понимаю, — своей непреклонной решимостью и тому подобным... Словом, он выводит меня из терпения!

Мисс Килдар принялась расхаживать по комнате, повторяя, что она терпеть не может мужчин, в особенности же своего арендатора.

— Вы ошибаетесь, — взволнованно заговорила Каролина. — Мур вовсе не фат и не сердцеед. За это я ручаюсь.

— Вы ручаетесь! Так я вам и поверила! Если дело касается Мура, вам можно доверять меньше, чем кому бы то ни было. Ради его благополучия вы бы отрубили себе правую руку.

— Но не стала бы лгать; и вот вам чистая правда, — вчера вечером он был очень вежлив со мной, но ничего больше.

— Каким он был, я не спрашиваю, кое-что я и сама понимаю; я видела из окна, как он сразу же взял в свои длинные пальцы вашу руку.

— Ну и что же? Вы знаете — я ему не чужая. Я с ним давно знакома, и вдобавок я его родственница.

— Словом, я возмущена — вот и все, — ответила мисс Килдар и через минуту добавила: — Он нарушает мой покой, постоянно становясь между нами; не будь его, мы были бы добрыми друзьями, но этот долговязый фат то и дело омрачает нашу дружбу; вновь и вновь он затмевает ее лик, который мне хотелось бы видеть всегда ясным; из-за него вы подчас начинаете видеть во мне помеху и врага.

— Да нет же, Шерли, нет.

— Да! Вот вы не захотели прийти ко мне сегодня, и мне это очень обидно. Вы по природе очень замкнуты, а я общительна и не могу жить в одиночестве. Если бы нам никто не мешал, мы могли бы почти

не разлучаться; и никогда ваше общество не наскучило бы мне. А вот вы не можете сказать мне того же.

— Шерли, я скажу все, что вам хочется: я очень люблю вас.

— Но завтра же вы захотите, чтобы я оказалась за тридевять земель отсюда.

— Вовсе нет. С каждым днем я все больше привыкаю к вам, все сильнее к вам привязываюсь. Вы знаете, у меня чисто английский склад характера, я нелегко схожусь с людьми, но я вижу, что вы такая умница, что вы так не похожи на других, и я глубоко уважаю и ценю вас. И никогда не думаю о вас как о помехе. Вы мне верите?

— Отчасти, — ответила мисс Килдар, но в улыбке ее сквозило недоверие. Вы ведь очень своеобразный человек; под внешней скромностью в вас таятся незаурядные способности, большая сила, но это не сразу удастся заметить и оценить. Кроме того, вы несчастны, это видно.

— А несчастные люди редко бывают добры — не так ли?

— Вовсе нет; я хочу сказать, что несчастные люди всегда чем-нибудь озабочены и им подчас не до болтовни с легкомысленными приятельницами вроде меня. Кроме того, горести не только удручают, но и подтачивают силы, — и я боюсь, что именно таков ваш удел. Поможет ли тебе сострадание друга, Лина? Если да, возьми его у Шерли, она предлагает его не скупясь, от чистого сердца.

— Шерли, у меня никогда не было сестры и у тебя тоже, но вот сейчас я поняла, какие чувства питают друг к другу сестры: привязанность входит в их плоть и кровь, ничто не может искоренить ее, а если даже из-за какой-нибудь обиды она и поблекнет ненадолго, то только затем, чтобы расцвести еще более пышным цветом, когда размолвка будет забыта. Никакая страсть не способна вытеснить из сердца эту привязанность, даже любовь может только соперничать с ней в силе и искренности. Но любовь, Шерли, причиняет нам столько боли: она мучает и терзает, в его пламени сгорают наши душевные силы, а привязанность не причиняет страданий и не сжигает, в ней мы черпаем только отраду и исцеление. Вот и я чувствую себя успокоенной, умиротворенной, когда ты — только ты одна, Шерли, — возле меня. Теперь-то ты мне веришь?

— Я всегда охотно верю тому, что мне по душе. Значит, мы друзья, Лина, и затмение прошло?

— Близкие друзья, — ответила Каролина, беря Шерли за руку и сажая ее возле себя, — что бы ни случилось.

— Ну и хватит говорить о нарушителе нашего спокойствия, поговорим о чем-нибудь другом.

Но тут в комнату вошел мистер Хелстоун и помешал разговору, и только перед самым уходом, уже в прихожей, Шерли посвятила Каролину в свои намерения.

— Каролина, я должна тебе признаться, — у меня на душе большая тяжесть; с некоторых пор моя совесть неспокойна, словно я совершила или готова совершить преступление. Правда, это не моя личная совесть — она вполне чиста, чего нельзя сказать о совести помещицы и землевладелицы; она-то и попала в лапы орла с железными когтями. Увы, я подчинилась чужой, очень сильной воле и не могу противиться ей, хотя и сама тому не рада; в ближайшее время произойдет нечто такое, о чем мне даже думать неприятно. И вот с целью предотвратить зло, если это еще возможно, или хотя бы немного облегчить свою совесть, я собираюсь заняться добрыми делами. Пусть тебя не удивляет, если я вдруг с большим рвением посвящу себя благотворительности. Я понятия не имею, как за это браться, но надеюсь на твою помощь; завтра мы поговорим об этом подробнее. Кстати, попроси милейшую мисс Эйнли заглянуть ко мне, — я надеюсь найти в ней наставницу. Не правда ли, у нее будет превосходная ученица? Намекни ей, что желание у меня большое, но очень мало знаний, не то мое невежество по части всяких благотворительных дел и обществ изумит ее.

Зайдя к Шерли на следующее утро, Каролина застала ее за письменным столом, на котором лежали хозяйственная тетрадь, пачка банкнот и туго набитый кошелек. Вид у нее был весьма серьезный и вместе с тем несколько растерянный; она сказала, что взглянула на записи еженедельных расходов по хозяйству, чтобы выяснить, нельзя ли их немного сократить, и обсудила этот вопрос с миссис Джилл, после чего та удалилась в полной уверенности, что у ее хозяйки голова не совсем в порядке.

— Я прочла ей длинную нотацию, — говорила Шерли, — о необходимости соблюдать бережливость, что было для нее новостью; я так красноречиво доказывала ей пользу экономии, что и сама себе дивилась: ведь и для меня все это внове, я до сих пор никогда об этом

не думала и, уж конечно, не говорила. Но все было хорошо только в теории, когда же дошло до практической стороны дела, выяснилось, что нельзя урезать ни шиллинга. У меня не хватило духа убавить хотя бы один фунт масла или потребовать отчета в том, куда девается у нас в доме столько жира, свиного сала, хлеба, говядины и прочей еды: мы как будто не устраиваем иллюминаций в Филдхеде, но я не решилась спросить, что означает непомерный расход свечей; у нас не стирают на весь приход, но я безмолвно взирала на указанные в счетах пуды мыла и крахмала, способные успокоить самого взыскательного человека, вздумай он осведомиться, как у нас обстоит дело в этом отношении. Ни я, ни миссис Прайор, ни даже миссис Джилл не плотоядные животные, однако я только захлопала глазами и закашлялась, когда увидела счета мясника, ибо они явно опровергают этот факт, — вернее сказать, подтверждают факт жульничества. Каролина, ты вправе смеяться надо мной, но ничего не поделаешь! В некоторых вопросах я малодушна, — есть за мной этот грех, есть в моем характере эта черточка. Я только опустила голову и залилась краской стыда, тогда как именно миссис Джилл следовало бы в замешательстве оправдываться передо мной. Я не решилась ни сказать ей напрямик, ни даже намекнуть, что она мошенница. Нет во мне спокойной твердости, внушающей уважение, нет и настоящего мужества!

— Что это ты на себя наговариваешь, Шерли? Дядя, который не склонен хвалить женщин, заявляет, что во всей Англии не насчитаешь и десяти тысяч мужчин равных тебе по отваге.

— Да, опасность меня никогда не пугает. Я не потеряла присутствия духа, когда однажды на лугу передо мной откуда ни возьмись появился рыжий бык мистера Уинна, заревел, пригнул к земле свою перемазанную свирепую морду и двинулся на меня, а ведь я была совсем одна. Но я очень боялась увидеть, как миссис Джилл растеряется и покраснеет от стыда. В некоторых вопросах у тебя, Каролина, вдвое, нет, в десять раз более твердый характер, чем у меня; пройти мимо самого смиренного быка тебя не убедишь никакими силами, но у тебя хватило бы решимости уличить мою экономку в нечестности, затем тактично, не говоря лишнего, побранить ее и от души простить, если бы она выказала раскаяние. Признаюсь, я на это не способна.

Однако, несмотря на непомерные расходы, я пока еще не разорена: у меня есть деньги на добрые дела. Бедняки Брайерфилда живут очень плохо, им надо помочь, но как? Не начать ли сразу же раздавать им деньги?

— Нет, Шерли, так делать не нужно. Ты думаешь, что, раздавая направо и налево шиллинги и полукроны, делаешь добро, но ничего хорошего из этого не выйдет; тебе нужно иметь около себя разумного помощника, не то ты себе наделаешь неприятностей; ты сама назвала мисс Эйнли, — я переговорю с ней, а ты пока сиди смирно и не вздумай швырять деньгами. Но как много их у тебя, Шерли! Ты, наверно, чувствуешь себя богачкой!

— Да. Я чувствую себя важной птицей. Сумма, по правде говоря, не так уж велика, но распределить ее следует с толком, — и это тяготит меня больше, чем я думала. Говорят, в Брайерфилде есть семьи, чуть ли не умирающие с голоду; бедствуют и многие из моих батраков, вот им-то мне и хочется поскорее помочь.

— Многие считают, Шерли, что милостыня вредна.

— Ну и напрасно. На сытый желудок легко рассуждать о том, что милостыня развращает; люди забывают, что жизнь коротка и полна горестей; все мы недолговечны, так будем же посильно помогать друг другу в годы нужды и горя, невзирая на все сомнения досужих философов.

— Что ж, ты и помогаешь своим ближним. Ты для них много делаешь, Шерли.

— Нет, недостаточно; я должна делать гораздо больше, или кровь моих братьев возопит к небесам против меня. Скажу тебе прямо, если подстрекатели сумеют разжечь в наших краях мятежи и на мою собственность будут покушаться, я как тигрица ринусь на ее защиту. Я готова прислушиваться к голосу милосердия, пока он мне слышен, но как только этот голос заглушат крики бунтующих головорезов, во мне сразу же вспыхнет желание усмирить их, постоять за себя! Если бедняки соберутся в мятежную толпу и двинутся на меня, я пойду против них как аристократка; если они бросят мне вызов, я отвечу им ударом; если на меня нападут, я должна защищаться — и я буду защищаться всеми силами!

— Ты говоришь, совсем как Роберт!



— У меня и чувства те же, что у Роберта, даже более яростные! Пусть только нападут на Роберта, или на его фабрику, или хоть в чем-нибудь нанесут ему ущерб, — и я возненавижу их. Пока я не чувствую себя патрицианкой и не считаю бедняков плебеями, но если они причинят настоящее зло мне или близким мне людям и осмелятся навязывать нам свои требования, то презрение к их невежеству и возмущение их наглостью возьмут в моей душе верх над жалостью и состраданием к их горестям и бедности!

— Шерли, как сверкают у тебя глаза!

— Потому что это задевает меня за живое; ты сама разве не встала бы на защиту Роберта, если бы ему угрожала толпа?

— Будь у меня твои возможности помочь Роберту, я поспешила бы ему на помощь! Если бы я могла быть ему таким надежным другом, каким можешь быть ты, я готова была бы умереть рядом с ним.

— Теперь и твои глаза, Лина, вспыхнули, хоть пока и не очень ярко. Не опускай ресниц — я уже подметила сверкнувший огонек. Но дело еще не дошло до схваток. Моя цель — предотвратить зло; я ни на минуту не забываю, что ожесточение бедных против богатых порождено страданием; если бы им не казалось, что мы счастливее их, они не стали бы нам завидовать, не стали бы нас ненавидеть. Вот я и намерена облегчить их страдания и смягчить ненависть и от своего богатства щедро оделить их. Но, для того чтобы мой дар принес нужные плоды, надо действовать осмотрительно... Словом, призовем на наш совет человека, наделенного здравым смыслом и трезвым умом, а посему приведи ко мне мисс Эйнли.

Каролина сейчас же надела шляпку и ушла. Тебе может показаться странным, читатель, почему ни она, ни Шерли не подумали обратиться за советом к миссис Прайор, однако они поступили правильно: они чувствовали, что обратиться в данном случае к этой даме — значило бы поставить ее в затруднительное положение; она, безусловно, была образованнее, начитаннее и умнее мисс Эйнли, но совершенно лишена деловых способностей, энергии, решимости; она, конечно, охотно внесла бы посильную лепту, — творить добро было в ее характере, но в благотворительных начинаниях большого размаха она не могла принимать участия, и уж во всяком случае не могла сама ничего придумать; поэтому Шерли не сочла нужным обратиться к

миссис Прайор; это не принесло бы пользы и только лишний раз напомнило бы почтенной даме о ее недостатках.

Светлый то был день для мисс Эйнли, когда ее пригласили в Филдхед поговорить о делах, столь любезных ее сердцу, и, усадив с почетом и уважением за стол, на котором лежали стопка бумаги, перо, чернила и, самое главное, туго набитый кошелек, попросили составить подробный план вспомоществования беднякам Брайерфилда. Она их всех знала, была посвящена в их горести и отлично понимала, в чем и как им можно помочь, если только найти необходимые средства; ее доброе сердце радовалось, когда она могла подробно рассказать взволнованно расспрашивавшим ее девушкам о положении бедняков, которое она так хорошо знала.

Шерли отдала в ее распоряжение триста фунтов, и при виде такой крупной суммы мисс Эйнли заплакала от радости; она уже видела, что голодные накормлены, нагие одеты, больные выздоравливают. Она сразу прикинула, как целесообразнее всего распределить эту сумму, и уверила девушек, что теперь для здешних бедняков наступят лучшие времена, ибо благородному примеру владелицы Филдхеда, несомненно, последуют и другие, а сама она постарается открыть дополнительную подписку, чтобы составить фонд помощи нуждающимся. Но прежде всего нужно посоветоваться с лицами духовного звания, — в этом она была непреклонна. Необходимо обратиться за советом к мистеру Хелстоуну, к преподобному Болтби, а также и к мистеру Холлу (ведь нельзя же забывать, что, кроме Брайерфилда, есть еще Уинбери и Нанли), и с ее стороны было бы непростительной дерзостью предпринять хоть один шаг в таком важном деле без их одобрения.

Любое духовное лицо было священо в глазах мисс Эйнли; неважно, если они как люди не обладали особыми достоинствами, — их сан облакал их святостью. Даже молодых священников, заносчивых и высокомерных, недостойных завязать шнурки на ее башмаках или нести за ней ее дешевенький зонтик или клетчатый плед, даже их она по чистоте душевной считала чуть ли не святыми; как бы ни пытались окружающие открыть ей глаза на их мелкие слабости и смешные стороны, она ничего не замечала: белизна их стихаря ослепляла ее, не позволяя увидеть скрытых под ним грехов.

Шерли, зная о ее безобидном пристрастии, настаивала на том, чтобы молодые священники не принимали участия в распределении денег; пусть даже не протягивают к ним своих алчных рук. Вот к пожилым священникам непременно нужно обратиться за советом, на них во всем можно положиться: у них есть опыт и проницательность, а мистер Холл к тому же славится своей добротой. А их помощников следует отстранить самым решительным образом, да и вообще не мешает держать их в строгости и почаще внушать им, что их положению и возрасту более всего приличествует скромность и послушание.

Мисс Эйнли содрогалась, слушая эти дерзкие суждения, но немного успокоилась, когда Каролина замолвила словечко за Суитинга, — Суитинг был любимцем старой девы. Она старалась относиться с уважением и к Мелоуну и Донну, но только Суитинга при каждом визите в ее скромный домик угощала она с материнской заботливостью ломтиком пирога и стаканом домашней настойки. Как-то раз она предложила и Мелоуну свое неприхотливое угощение, но тот отказался, не скрывая своего презрения, и она больше не отваживалась потчевать его. Донну она всегда предлагала перекусить, заметив, что ее стряпня ему по вкусу, да и то сказать, он съедал сразу по два куска пирога, а третий уносил с собой в кармане, радуя сердце доброй хозяйки.

Мисс Эйнли, неутомимая в своих усилиях делать добро, порывалась тут же отправиться в путь, пройти с десятков миль, повидать всех трех священников, посвятить их в затеваемое дело и смиренно испросить у них одобрения; но Шерли шутливо пожурив ее за чрезмерное усердие и предложила другое пригласить священников вечером в Филдхед и устроить нечто вроде совещания избранных, главным лицом на котором, само собой разумеется, будет мисс Эйнли.

Старшие священники собрались все вместе еще до прихода мисс Эйнли, и Шерли постаралась привести их всех в самое благодушное настроение. Преподобным Болтби и Хелстоуном она занялась сама. Первый — старый валлиец крутого и упрямого нрава — делал немало добра, но и немало трубил об этом; второй нам уже хорошо знаком. Шерли была расположена к обоим, в особенности к Хелстоуну, и ее любезность по отношению к ним не стоила ей никакого труда. Она пригласила их в сад, преподнесла им по букету цветов, — словом, вела

себя как нежная дочь. Мистера Холла она поручила Каролине, или, вернее, он сам отдался под ее покровительство.

Вообще если мистеру Холлу случалось встретиться в обществе с Каролиной, он от нее не отходил. Это был что называется книжник, рассеянный, близорукий, в очках; он не был дамским угодником, но все женщины его любили; с пожилыми дамами он держался как почтительный сын. Прямодушный и благородный, скромный и простой, глубоко набожный и благочестивый, он нравился всем без исключения и всюду завоевывал друзей; его причетник и пономарь души в нем не чаяли; владелец поместья, на чьей земле был расположен его приход, питал к нему глубокое уважение. И только в обществе молодых модниц чувствовал он себя неловко; его, человека некрасивого и скромного, отпугивала их бойкость, элегантность, высокомерие. Но мисс Хелстоун не отличалась ни бойкостью, ни высокомерием, а ее скромная девическая прелесть была прелестью полевого цветка, прячущегося в траве. Мистер Холл был занимательным, живым собеседником, и Каролина охотно беседовала с ним *tête-a-tête*,<sup>[90]</sup> радуясь, когда на каком-нибудь вечере он садился подле нее, избавляя ее от общества Питера Огеста Мелоуна, Джозефа Донна или Джона Сайкса. Мистер Холл никогда не упускал такого случая. Предпочтение, оказываемое холостяком молодой девушке, казалось бы, должно было дать пищу всяким сплетням и пересудам, но Сирилу Холлу было сорок пять лет, он уже начинал лысеть и сидеть, и никому не приходило в голову, что он может иметь виды на руку мисс Хелстоун. Да он об этом и не помышлял; он был всецело предан своим книгам и делам своего прихода; его добрая сестра Маргарет, такая же ученая особа, в таких же очках, как и он сам, сумела сделать его одинокую жизнь по-своему счастливой, и он считал, что ему уже поздно что-либо менять. Кроме того, он помнил Каролину еще хорошенькой девочкой, которую он сажал к себе на колени, которой дарил игрушки и книги; он знал, что она питает к нему дружеское чувство, к которому примешивалось дочернее почтение, и не собирался придавать этому чувству иной оттенок; он спокойно любовался ее хорошеньким личиком, и это не смущало покой его тихой, чистой души.

Мисс Эйнли была приветливо встречена всеми присутствующими. Миссис Прайор и Маргарет Холл усадили ее на

диван между собой; увидев это своеобразное трио, ветреные молодые насмешники не преминули бы подтрунить над некрасивыми пожилыми дамами — вдовой и двумя старыми девами; однако они обладали многими, пусть не бросающимися в глаза достоинствами, о чем хорошо знали многие страдальцы и одинокие горемыки.

Шерли рассказала присутствующим о своем замысле и показала намеченный план.

— Узнаю руку, которая все это начертала, — сказал мистер Холл, с кроткой улыбкой взглянув на мисс Эйнли.

Его одобрение было завоевано сразу, зато Болтби слушал и размышлял, насупясь и выпятив нижнюю губу; он считал свое мнение слишком веским, чтобы высказать его так скоро. Хелстоун бросал по сторонам подозрительные, пытливые взгляды, как бы желая разгадать, что у женщин на уме, — уж не стараются ли они забрать чересчур много воли, придать себе уж очень много важности? Это не укрылось от Шерли.

— Наш план — пока не более чем набросок, — пояснила она как бы вскользь. — Мы очень просим вас, господа, указать, что нам следует делать дальше.

Она подошла к столу и, лукаво улыбаясь, вынула из лежавшего на нем бювара лист бумаги и перо; затем пододвинула к столу кресло и любезным жестом предложила Хелстоуну занять его. Он с минуту недоверчиво постоял в раздумье, наморщив свой смуглый лоб, и наконец проворчал:

— Что ж, вы ведь мне не жена и не дочь, — так и быть, позволю вам покомандовать, но заметьте, я понимаю, что мной командуют; вы меня не проведете своими женскими уловками.

— Нет, нет, — сказала Шерли, обмакнув перо в чернила и подавая его священнику. — Сегодня я для вас только капитан Килдар и мы с вами занимаемся чисто мужским делом, ваше преподобие. Эти дамы — всего лишь помощницы, и мы не дадим им и слова сказать: решать будем только мы с вами.

Хелстоун ответил кислой улыбкой и принялся писать. Прерывая свое занятие, чтобы задать тот или иной вопрос своим собратям, он всякий раз упорно глядел поверх двух кудрявых девичьих головок и чепцов пожилых дам только в ту сторону, где поблескивали очки и кивали седые головы священников. Последовавшее затем обсуждение

показало, что они, к их чести, прекрасно знают, как живет бедным семьям в их приходах, и могут даже сказать, кому нужна одежда, кому пища, а где можно дать и деньги с уверенностью, что они не будут истрачены попусту. Когда же им изменяла память, на помощь приходили мисс Эйнли или мисс Холл; но они не позволяли себе вмешиваться в обсуждение, только отвечали на вопросы и не старались привлечь к себе внимание; искренно желая быть полезными, они радовались тому, что священники благосклонно позволяли им это.

Шерли стояла возле Хелстоуна, наклонясь над его плечом, читала то, что он писал, прислушивалась к замечаниям, которыми обменивались священники; по временам на губах у нее мелькала улыбка — не насмешливая, но полная скрытого смысла и слишком многозначительная, чтобы ее можно было назвать любезной. Люди, как правило, не любят тех, кто умеет читать в их душе, угадывать их мысли. Некоторая близорукость, особенно в женщинах, всегда приятна окружающим; очень хорошо, если у них притупленное, затуманенное зрение, не проникающее дальше видимой оболочки, неспособное отличить кажущееся от действительного; очень многие, понимая это, держат веки полузакрытыми, оставляя, однако, щелочку, сквозь которую взгляд их исподтишка многое замечает. Я помню одну пару голубых глаз, на вид задумчивых и мечтательных, которые, однако, не дремали и без усталости выслеживали; однажды в них мелькнуло такое неожиданно хищное, пытлиное выражение, что я невольно содрогнулась, и мне стало ясно, что глаза эти давно подсматривают за людьми и читают чужие тайны. Свет называл обладательницу этих глаз не иначе, как *bonne petite femme*<sup>[91]</sup> (то была не англичанка); мне же удалось впоследствии хорошо узнать ее, изучить ее характер обстоятельно, во всех его тайных извилинах; она оказалась одной из самых умных, ловких и хитрых интриганок во всей Европе.

Когда все наконец было решено так, как хотелось мисс Килдар, и священники настолько прониклись ее благотворительным настроением, что открыли подписной лист, пожертвовав каждый по пятидесяти фунтов, она велела подавать ужин. Сегодня миссис Джилл получила наказ — проявить с полным блеском свое искусство. Мистер Холл, отнюдь не *bon-vivant*,<sup>[92]</sup> был чрезвычайно воздержан и равнодушен к роскоши; но Болтби и Хелстоун умели ценить хорошую кухню, и ужин, весьма изысканный, привел их в отличное

расположение духа; они отдали ему должное, не выходя, однако, из границ приличия, что, несомненно, произошло бы с Донном, находишься он в числе гостей; с искренним удовольствием выпили они по стакану превосходного вина. Гости поздравили капитана Килдара с тонким вкусом, и это доставило ему большое удовольствие; он хотел угодить своим важным гостям и преуспел в этом.

## ГЛАВА XV

### Изгнание мистера Донна

На следующий день Шерли высказала Каролине свое удовольствие по поводу удачного вечера.

— Я люблю принимать у себя мужчин, — сказала она. — Забавно смотреть, как они радуются хорошей еде; мы, женщины, не умеем ценить редкостные вина и изысканные блюда, а мужчины сохранили в этом детскую непосредственность. Вот и хочется угодить им, разумеется, тем из них, у кого есть чувство меры, как у наших почтенных священников. Я иногда нарочно наблюдаю за Муром и все никак не могу понять — чем можно доставить ему удовольствие? У него нет этой черточки — детской простоты. А тебе не удалось подметить в нем какую-нибудь слабость, страсть к чему-нибудь? Ты ведь знаешь его куда лучше, чем знаю я.

— Во всяком случае, тех слабостей, какие водятся за дядей и преподобным Болтби, у него нет, — ответила Каролина, улыбаясь (она всегда испытывала робкую радость, когда Шерли заводила разговор о ее кузене. Сама она не решалась затрагивать этой темы, но когда ее касались другие — поддавалась соблазну поговорить о том, о ком она думала денно и нощно). Право, мне трудно сказать, к чему он питает пристрастие. За ним невозможно наблюдать он перехватывает твой взгляд и принимается сам наблюдать за тобой, а это, конечно, мешает.

— Вот именно! — воскликнула Шерли. — Стоит только остановить на нем взгляд, как его глаза сразу же сверкнут в ответ; он всегда настороже, его врасплох не застигнешь! Даже если он на тебя не смотрит, все равно чувствуешь, что он угадывает твои мысли, раздумывает про себя, что заставило тебя сказать или сделать то или другое, какими ты руководствовалась побуждениями, — словом, читает в тебе, как в открытой книге. О, такие характеры мне знакомы, и меня они почему-то очень раздражают, а тебя?

Это было особенностью Шерли — задавать совершенно неожиданные вопросы. Вначале Каролина терялась, но вскоре научилась парировать их с истинно стоическим хладнокровием.



— Раздражают? — спросила она. — А почему, собственно, они тебя раздражают?

— Вот он и явился! — внезапно воскликнула Шерли, вскочив с места и подбегая к окну. — Нам предстоит развлечение! Я еще не успела похвастаться своей новой блестящей победой: это было на одном из тех званых вечеров, куда тебя, упрямыцу, никак не вытащишь. Впрочем, одержала я ее, сама того не желая, без всяких усилий. Вот и звонок, — ба! Да это уже совсем хорошо! Их сразу двое! Неужели они никогда не расстанутся? Предлагаю тебе, Лина, любого на выбор! Не правда ли, я великодушна? Но что это с Варваром?

Рыжий пес с черной мордой, — мы уже имели случаи упомянуть о нем в той главе, где представляли читателю хозяйку Филдхеда, — в эту минуту залился оглушительным лаем, который гулко отдавался в высоком пустом вестибюле; затем последовало ворчание, пожалуй, еще более грозное, чем лай, — ворчание, напоминающее глухие раскаты грома.

— Ты слышишь? — со смехом сказала Шерли. — Можно подумать, что готовится серьезная схватка, наши гости не на шутку перепугаются! Они не знают моего Варвара и не догадываются, что шум этот ничего не значит.

Послышалась возня. «Пошел, пошел прочь!» — крикнул кто-то визгливым, повелительным голосом; раздался звук удара не то палкой, не то хлыстом, затем какая-то беготня, крики, — словом, поднялась суматоха.

— Мелоун, Мелоун!

— Пошел, пошел от меня! — снова раздался визгливый голос.

— Да он и вправду на них набросился! — воскликнула Шерли. — Они его ударили, а он к этому не привык и теперь не даст им спуска.

Она бросилась в вестибюль; по дубовой лестнице стремительно бежал мужчина, очевидно, надеясь найти спасение на галерее или в одной из комнат верхнего этажа; второй гость пятился к лестнице, яростно размахивая перед собой узловатой палкой и покрикивая «да пошел ты, пошел!» на рыжую собаку, которая лаяла, рычала и взвизгивала. На шум из кухни выбежали слуги. Собака ринулась на врага, и второй гость обратился в бегство вслед за своим другом; последний уже находился в безопасности: он спрятался в спальне и придерживал дверь изнутри, не впуская товарища, — страх всегда

ожесточает человека. Однако второй беглец налег на дверь так энергично, что она уже вот-вот готова была поддаться.

— Господа! — прозвенел серебристый голос мисс Килдар. — Прошу вас, не ломайте моих дверей! Успокойтесь и сойдите вниз! Мой Варвар и котенка не обидит!

Говоря это, она ласково гладила Варвара; собака легла у ее ног, вытянув передние лапы, однако хвост ее еще грозно вздрагивал, ноздри раздувались и в круглых бульдожьих глазах не угасал злой огонек. Это был обыкновенный, спокойный, глупый и упрямый пес, который любил только свою хозяйку и кормившего его слугу Джона, а ко всему остальному роду человеческому относился с полным равнодушием; он был вполне смирен, если его не били и не грозили ему палкой, но чуть что — приходил в лютую ярость.

— Здравствуйте, мистер Мелоун, — продолжала Шерли, подняв глаза и насмешливо улыбаясь. — Нет, вход в гостиную не здесь, это комната миссис Прайор; попросите вашего приятеля, мистера Донна, выйти оттуда. Я с удовольствием приму его в одной из комнат нижнего этажа.

— Ха-ха! — деланно расхохотался Мелоун, отходя от двери и облокачиваясь о массивные перила. — До чего же собака перепугала Донна, — он ведь несколько боязливого нрава; вот я и пошел вслед за ним, чтобы хоть немного его успокоить.

И Мелоун, приосанясь, направился к лестнице.

— В чем, по-видимому, вы и преуспели, но сойдите же вниз, прошу вас. Джон, — обернулась она к слуге, — поднимитесь наверх и выпустите мистера Донна. Осторожнее, мистер Мелоун, лестница скользкая.

Предостережение было не лишним, — натертые ступеньки действительно были скользкими, — но несколько запоздалым. Мелоун в своем величественном шествии уже успел поскользнуться, однако не сорвался вниз, вовремя ухватившись за перила, отчего вся лестница отчаянно закрипела.

Варвару, как видно, показалось, что гость ведет себя непозволительно шумно, и он снова заворчал. Мелоун, однако, был не трусливого десятка; он испугался наскочившей на него собаки только в первую минуту — от неожиданности. Теперь же он прошел мимо Варвара не столько со страхом, сколько со сдерживаемой яростью.

Если бы взгляды могли испепелять, животное уже упало бы бездыханным. Забыв в пылу гнева всякую учтивость, Мелоун вошел в гостиную, опередив мисс Килдар. Видно было, что ему стоило большого труда заставить себя отдать долг вежливости и поклониться Каролине. Глаза его гневно сверкали; будь одна из девушек его женой, не поздоровилось бы ей в эту минуту; видно было, что ему страстно хочется схватить за горло и ту и другую и придушить обеих.

Шерли наконец сжалась над гостем и перестала смеяться; Каролина же была слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе хотя бы улыбнуться над тем, кто очутился в таком неловком положении. Варвара прогнали, и Питер Огест вскоре смягчился. Еще бы! При желании Шерли способна была взглядом и голосом усмирить и разъяренного быка. Вдобавок здравый смысл подсказывал Мелоуну, что раз уж он не может вызвать хозяйку дома на дуэль, то ему не остается ничего другого, как держаться вежливо, что он и постарался сделать и что было хорошо принято дамами; собственно говоря он пришел с намерением обворовать и покорить, но при первом же визите в Филдхед неожиданно наткнулся на неприятность; впрочем, теперь, когда все уже кончилось, можно было пустить в ход все свое умение очаровывать и покорять. Подобно марту, придя как лев, он хотел уйти как ягненок.

Чтобы подышать свежим воздухом или улизнуть в случае надобности, Мелоун уселся не на диване, куда звала его мисс Килдар, и не у камина, куда дружеским жестом пригласила его Каролина, а у самой двери. Разгневанный вид сменился обычным для него оторопело-натянутым. Не умея поддерживать разговор, он больше молчал, а если порой и изрекал что-нибудь, то лишь самые избитые истины; при этом он тяжело вздыхал после каждой фразы; тяжело вздыхал в промежутках между фразами; тяжело вздыхал перед каждой фразой; наконец, желая добавить к своим прочим чарам еще и элегантную непринужденность, он извлек из кармана шелковый носовой платок огромных размеров, — очевидно, он рассчитывал занять им свои руки, которые не знал, куда девать, и весьма энергично принялся осуществлять свое намерение. Сначала он сложил платок наискосок по красным и желтым клеткам; затем, взмахнув им, снова раскрыл во всю ширь; потом свернул его в трубочку и соорудил нечто вроде жгута. С какой же целью он так старался? Думал ли надеть его

себе на шею? Или украсить им голову, как тюрбаном? Ни то, ни другое. Питер Огест был изобретательным малым, большим выдумщиком. Он хотел удивить дам изящным и еще невиданным фокусом. Сидя со скрещенными ногами на стуле, он неожиданно для всех обвязал их платком и крепко-накрепко затянул его концы; ему самому фокус показался ужасно занимательным, и он повторил его еще и еще раз. Шерли душил смех, и она отошла к окну, чтобы посмеяться вволю; Каролина же только отвернулась, и ее длинные локоны заслонили улыбающееся лицо. Впрочем, не только нелепое поведение Питера забавляло в эту минуту девушку, — она понимала, что он дарит свои знаки внимания уже не ей, а владелице поместья; разумеется, те пять тысяч фунтов наследства, которое, по его мнению, должна была получить она, не могли выдержать сравнения с поместьем и состоянием мисс Килдар. Мелоун даже не давал себе труда постепенно перенести внимание с одной на другую и замаскировать этим свои намерения, — он повернул круто и решительно, открыто отказался от погони за небольшим наследством ради погони за более крупным состоянием. Как он рассчитывал этого добиться, было известно ему одному, во всяком случае не умелым подходом.

Между тем Донн все не показывался, — очевидно, слуге никак не удавалось уговорить его спуститься. Но вот наконец он появился. Не думайте, однако, что, входя в гостиную, он выглядел хоть сколько-нибудь смущенным или подавленным — ничуть не бывало! Донн принадлежал к числу тех холодных, невозмутимых, самоуверенных и самодовольных людей, которым незнакомо чувство стыда. Он не знал, что значит краснеть; крепкие нервы спасали его от излишних переживаний, и краска волнения никогда не прилиwała к его щекам; его крови не хватало жара, а его душе — скромности. Это был законченный образец бесстыдного тупицы, вдобавок еще напыщенного и заносчивого. Однако и у него было серьезное намерение покорить мисс Килдар, но смыслил он в сердечных делах столько же, сколько может смыслить деревянный чурбан; он и понятия не имел, что, ухаживая, следует угождать вкусам молодой девушки, завоевывать ее расположение знаками внимания, и считал, что вполне достаточно разок-другой нанести ей официальный визит, а затем написать письмо с предложением руки и сердца. Она наверняка

согласится из уважения к его сану, они поженятся, и он станет владельцем Филдхеда, будет жить в полное свое удовольствие, распоряжаться слугами, есть и пить, что ему захочется, — словом, станет важной птицей. Однако трудно было бы догадаться о таких намерениях с его стороны, услышав, каким грубым, даже оскорбительным тоном заговорил он с той, в которой видел свою будущую невесту.

— Преопасная у вас собака, мисс Килдар; меня удивляет, зачем вы держите такое животное!

— В самом деле, мистер Донн? Вы, наверное, еще больше удивитесь, узнав, что я очень люблю эту собаку.

— Да полно, вы говорите несерьезно! Как можно вообразить, чтобы дама любила такое чудовище — уродливую, простую дворняжку! Словом, прошу ее повесить.

— Как я могу ее повесить, раз она мне мила?

— А вместо нее заведите себе маленького, приятного мопсика или же пуделька, ну что-нибудь более подходящее для прекрасного пола. Дамы вообще любят комнатных собачек.

— Что ж, я, по-видимому, исключение.

— Да не можете вы быть исключением; кто же не знает, что все дамы в этих вопросах одинаковы?

— Варвар просто сильно напугал вас, мистер Донн, но я надеюсь, что вы его простите.

— Как бы не так! Он на меня наскочил, и я ему этого не прощу. Когда я увидел, что он собирается прыгнуть на меня, я чуть в обморок не упал.

— Очевидно, это и случилось с вами в спальне? Что-то уж очень долго вы там пробыли.

— Нет! Я решил покрепче держать дверь и никого не впускать; мне казалось, что надо воздвигнуть преграду между мной и врагом.

— Но что, если бы пес кинулся на вашего друга, мистера Мелуна?

— Мелоун пусть сам о себе заботится. Я согласился спуститься вниз только после того, как ваш слуга заверил меня, что собака посажена на цепь, не то я весь день просидел бы в той комнате! Но что это? Мне солгали! Собака-то опять здесь!

И в самом деле, в эту минуту рыжий пес важно прошествовал мимо двери, выходявшей в сад. Он все еще пребывал в дурном настроении и не то ворчал, не то посапывал, — манера, унаследованная от его предков бульдогов.

— К нам пожаловали новые гости, — заметила Шерли с тем нарочитым спокойствием, какое обычно напускают на себя хозяева громадных псов устрашающего вида, когда их любимцы захлебываются неистовым лаем.

Варвар с грозным рычаньем неся по садовой дорожке к калитке. Его хозяйка отворила дверь, вышла в сад и негромко свистнула; но рычание уже прекратилось, и пес, вытянув свою большую тупоносую глупую голову, охотно позволял вновь пришедшему гостю гладить себя.

— Ты что же, Варвар! — раздался приятный мальчишески звонкий голос. Ну разве мы с тобой не старые знакомые? Здравствуй, здравствуй, старина.

И мистер Суитинг, от природы добродушный человек, не боявшийся ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни животных, вошел в сад и приласкал свирепого сторожа. За ним следовал мистер Холл, который тоже не страшился Варвара, да и Варвар не злобствовал на него. Пес внимательно обнюхал гостей, после чего, видимо заключив, что злого умысла у них нет и можно их впустить, освободил им дорогу и отправился в другой конец сада погреться на солнышке у стены дома. Мистер Суитинг хотел было поиграть с ним, но Варвар остался равнодушным к его заигрываниям; только ласка хозяйки доставляла ему удовольствие, остальным же людям он выказывал полнейшее равнодушие.

Шерли пошла навстречу Холлу и Суитингу и приветливо поздоровалась с ними. Они зашли к ней, чтобы порадовать ее своими успехами, — число пожертвований в фонд помощи нуждающимся значительно увеличилось. Глаза мистера Холла за стеклами очков весело сверкали, выражение доброты скрашивало его лицо. Когда же Каролина подбежала к нему и крепко пожала ему руку, он окинул ее ласковым, отечески нежным взглядом — ни дать ни взять улыбающийся Меланхтон.<sup>[93]</sup>

Не входя в дом, они принялись разгуливать по дорожкам сада, — мистер Холл в середине, его спутницы по бокам; день был солнечный,

ветерок разрумянил щеки девушек, красиво растрепал их легкие локоны, и обе были в эту минуту очень хорошенькими, а одна из них к тому же и веселой. Мистер Холл беседовал больше со своей жизнерадостной спутницей, однако смотрел больше на тихую. Мисс Килдар нарвала целую охапку пышно распустившихся цветов, наполнявших сад благоуханием, и поделилась с Каролиной, попросив ее составить бутоньерку для мистера Холла; с целым ворохом нежных цветов в руках Каролина села на залитые солнцем ступеньки беседки, а мистер Холл остановился возле, опершись на трость.

Шерли, по долгу вежливости, пришлось пригласить в сад и молодых священников, скупавших в одиночестве. Она провела Донна мимо его смертельного врага Варвара, который растянулся на солнышке, уткнув морду в передние лапы, и сладко похрапывал. Донн не выразил благодарности, — он никогда не бывал благодарен за доброту и внимание, — но, как видно, был доволен своим телохранителем. Мисс Килдар, не желая никого обойти любезностью, преподнесла и им цветы. Мелоун и Донн приняли бутоньерки со свойственной им неуклюжестью. Мелоун с оторопелым видом зажимал цветы в одной руке, держа палку в другой. Донн произнес напыщенным и самодовольным тоном: «Благодарствуйте!», — что прозвучало очень забавно, — видно, он рассматривал эту любезность как дань его несомненным достоинствам и попытку со стороны богатой наследницы завоевать его бесценное расположение. Один только Суитинг принял бутоньерку, как полагается воспитанному, умному человеку, и тут же продел ее в петлицу.

В награду за это Шерли, отведя его в сторону, дала ему какое-то поручение; глаза Суитинга весело заблестели, и он поспешил за угол дома, на кухню. Он не нуждался в лишних объяснениях и, как и везде, чувствовал здесь себя как дома. Вскоре он воротился, неся круглый стол; он поставил его под кедром, затем принес из разных уголков сада шесть стульев и расставил их вокруг стола. Служанка — мисс Килдар не держала лакея — принесла большой поднос, накрытый салфеткой; проворный Суитинг тут же бросился помогать ей, расставляя бокалы, тарелки, раскладывая вилки и ножи для холодного завтрака, состоявшего из цыпленка, ветчины и сладкого пирога.

Шерли очень любила радушно угощать случайно зашедших гостей. В таких случаях ей было как нельзя более приятно иметь под

рукой расторопного, всегда готового к услугам Суитинга; он радостно и быстро выполнял всякие ее хозяйственные поручения. Шерли и Дэвид были в наилучших отношениях; однако его преданность была вполне бескорыстной, не имея ничего общего с той глубокой привязанностью, которую он питал к великолепной Доре Сайкс.

За столом царило оживление, в котором, однако, ни Мелоун, ни Донн не принимали участия, — их внимание и руки были всецело заняты вилками, ножами и бокалами; но там, где собирались вместе четыре таких приятных человека, как мистер Холл, Суитинг, Шерли и Каролина, к тому же в прелестном уголке на зеленой, усеянной цветами лужайке, под лучезарным небом, не могло быть места скуке.

Во время завтрака мистер Холл напомнил девушкам о приближении троицына дня, когда воскресные школы обычно собираются на торжественное чаепитие и затем присоединяются к религиозной процессии трех приходов: Брайерфилда, Уинбери и Наннли. Он не сомневается, сказал мистер Холл, что Каролина как учительница воскресной школы примет участие в празднике, но надеется, что и Шерли последует ее примеру; пусть этот праздник будет ее первым появлением в свете в Йоркшире. Шерли и сама не собиралась упускать такой случай; она любила праздничное веселье, приятные развлечения, счастливые лица, шумную толпу. Она ответила мистеру Холлу, что он вполне может на нее рассчитывать, и добавила, что хотя и не представляет себе, чем именно может быть полезна, всецело отдает себя в его распоряжение.

— А вы, мистер Холл, обещаете сидеть за чаем возле меня? — спросила Каролина.

— Обязательно, *Deo volente*,<sup>[94]</sup> - ответил мистер Холл. — Вот уже шесть лет, — продолжал он, обращаясь к мисс Килдар, — как я на этих чаепитиях сижу рядом с Каролиной; еще совсем маленькой девочкой, лет двенадцати, она стала учительницей воскресной школы; как вы и сами, должно быть, уже заметили, она довольно робка, и в первый раз, когда ей довелось хозяйничать и на глазах у всех разливать чай, она краснела и смущалась; я заметил ее растерянность, заметил, что чашки дрожат у нее в руках, что чайничек переливается через край. Тогда я поспешил ей на выручку, сел возле нее и похозяйничал, взяв на себя роль пожилой женщины.

— А я была вам очень признательна, — вставила Каролина.



— Что верно, то верно; вы так пылко, так искренне благодарили меня, что я почувствовал себя вознагражденным. Она вела себя совсем не так, как большинство этих двенадцатилетних барышень. Сколько бы вы им ни угождали, сколько бы ни ласкали их, они не отвечают на ваше внимание, ничего не ценят, словно это не живые существа из плоти и крови, а какие-то куклы. Но Каролина весь вечер не отходила от меня, гуляя со мной по лугу, где играли дети; когда же колокол стал созывать народ в церковь, она последовала за мной в ризницу и, наверное, поднялась бы и на кафедру, если бы я предусмотрительно не посадил ее на скамью для священников.

— И с тех пор мистер Холл всегда был мне другом, — сказала Каролина.

— И всегда садился за ее стол и помогал хозяйничать; в этом состоят мои обязанности при ней. Но скоро, по-видимому, мне придется обвенчать ее со священником или фабрикантом; запомните, Каролина, что я наведу справки о вашем женихе и если он не окажется достойным джентльменом, способным составить счастье той, которая маленькой девочкой гуляла со мной рука об руку по лугу, я не стану вас венчать, так что выбирайте поосторожней!

— Вам незачем меня предостерегать, мистер Холл; я не собираюсь выходить замуж. Я останусь одинокой, как ваша сестра Маргарет.

— Ну что ж, это не так уж плохо, — Маргарет не считает себя несчастной; у нее есть книги для развлечения, есть брат, о котором она заботится, и она вполне довольна своей участью. Но если наступит день, когда вам негде будет приклонить голову, когда домик в Брайерфилде перестанет быть вашим домом, приходите к нам в Наннли. Пока старый холостяк и его сестра будут живы, вы всегда встретите у них самый радушный прием.

— Вот вам цветы, — сказала Каролина, протягивая приготовленный для него букетик. — Если они вам не нужны, отдайте их Маргарет; только — раз в жизни и мне разрешается быть сентиментальной — сохраните на память обо мне вот эту незабудку, полевой цветок, сорванный здесь в траве; и пусть я буду еще более сентиментальной — позвольте мне оставить себе два-три голубых цветочка на память о вас.

Вынув небольшую книжечку в эмалевом переплете с серебряной застежкой, она вложила в нее цветы и написала карандашом: «На память о преподобном Сириле Холле, моем друге, май... 18...».

Сирил Холл также вложил цветок между страницами своего карманного евангелия и написал на полях: «От Каролины».

— Ну вот мы с вами и отдали дань чувствительности, — заметил он, улыбаясь (младшие священники тем временем развлекались на свой лад и не обратили внимания на эту милую сценку). — Боюсь, что вы, мисс Килдар, в глубине души посмеиваетесь над проявлением «восторженности» со стороны седовласого священника. Но я так привык исполнять все просьбы вашей подруги, что не умею отказать ей ни в чем. Казалось бы, в моем возрасте смешно обмениваться незабудками, но вот видите, она пожелала, чтобы я стал сентиментальным, и я повиновался.

— Ну, ну, вы и сами не лишены сентиментальности, —插вила Каролина, я теперь знаю от Маргарет, что именно доставляет вам удовольствие.

— Видеть вас доброй и счастливой — вот что! Да, это и вправду одна из самых больших радостей для меня! И я молю Бога, чтобы он еще долго простира́л над вами благодать душевного мира и чистоты! Я, разумеется, говорю о той чистоте, которая доступна в нашем мире, ибо знаю, что перед лицом Господа никто не может быть чистым. То, что нашему слабому разумению представляется чистым и ангельски непорочным, для него не более чем хрупкость, которую нужно было искупить кровью его сына и поддержать силой святого духа. Всем нам следует воспитывать в себе чувство смирения, и мне так же, как и вам, друзья мои; ведь, заглянув в глубину своих сердец, мы видим, что не свободны от таких соблазнов, такого легкомыслия, таких постыдных слабостей, что и сами краснеем. Помните, что ни юность, ни привлекательность, ни изящество, никакая внешняя прелесть не является красотой или добродетелью в глазах Господа. Ах, мои юные барышни, в ту минуту, когда зеркало или мужчины льстят вам, вспоминайте, что Мэри Энн Эйсли, — та, которой ни ее отражение, ни чьи-либо уста никогда не сказали ничего приятного, в глазах создателя и красивее и лучше любой из вас. Это именно так, — повторил он после минутного молчания. — Вы, молодые девицы, заняты только собой и своими суетными надеждами, вы не живете жизнью, близкой к

жизни Христа; пожалуй, этого от вас пока еще нельзя и требовать, — ваша жизнь так сладка, и земные радости манят вас! А Мэри Эйнли, смиренная сердцем и благоговеющая перед Господом, идет по стопам нашего искупителя.

В эту минуту резкий голос Донна заглушил тихую, мягкую речь священника.

— Кхе! — откашлялся он, очевидно желая прочистить горло перед важной речью. — Кхе! Мисс Килдар, прошу вас уделить мне минутку внимания.

— Пожалуйста, — небрежно бросила Шерли. — В чем дело? Я к вашим услугам. Я вся превратилась в слух и зрение.

— Надеюсь, что у вас осталась все же рука, а в ней кошелек — вот к ним-то я и хочу воззвать, — продолжал Донн своим обычным самодовольно-развязным тоном. — Я пришел к вам сегодня утром, чтобы попросить вас...

— Вам следует обратиться к миссис Джилл: она у меня ведает раздачей милостыни.

— ...попросить вас участвовать в подписке на постройку новой школы. Мы с преподобным Болтби собираемся открыть школу в деревне Эклфиг, что в нашем приходе; в этой деревне распоряжаются баптисты, у них там своя молельня, а мы хотим изгнать их оттуда.

— Но деревня Эклфиг не имеет ко мне никакого отношения.

— Ну и что же? Вы-то, надеюсь, преданны нашей церкви?

— Прелестное создание! Вот тонкий подход, учитывая речь! Можно прийти в восхищение, — вполголоса пробормотала Шерли и затем уж громко добавила: Разумеется, я преданна церкви!

— Тогда вы не имеете права отказываться: народ в этой деревне темный, дикий, мы должны его просветить.

— И кто же берет на себя роль миссионера?

— Я, по-видимому.

— А получится ли у вас что-нибудь? Вы ведь не очень любите свою паству.

— О, непременно получится, я ничуть не сомневаюсь! Но нам необходимы деньги; вот подписной лист, прошу вас, подпишитесь на изрядную сумму.

Шерли не умела отказывать, когда у нее просили денег. Она подписалась на пять фунтов; после того как она пожертвовала триста

фунтов, и сверх мелких сумм, раздаваемых ею постоянно, она была не в состоянии дать больше. Донн взглянул на листок, назвал пожертвование «ничтожным» и развязно потребовал увеличить сумму. Мисс Килдар вспыхнула от удивления и негодования.

— Сейчас я больше не дам, — заявила она.

— Больше не дадите? А я-то рассчитывал, что вы первая подпишетесь на добрую сотню! Да при вашем богатстве вы никак не можете жертвовать меньше.

Шерли молчала.

— У нас на юге, — продолжал Донн, — помещица, имея тысячу фунтов годового дохода, постыдилась бы давать пять фунтов на такое важное дело.

Шерли изменилась в лице; не свойственное ей высокомерно-презрительное выражение исказило ее черты; она вся дрожала.

— Странное и весьма неучливое замечание! Упрек в ответ на благодеяние не совсем уместен!

— Благодеяние! Вы называете пять фунтов благодеянием?

— Да. И если бы я не пожертвовала их на открытие школы, что я одобряю, хотя и не одобряю священника, который нагло выпрашивает, или, вернее, вымогает пожертвования, если бы не это, я тотчас же взяла бы эти деньги обратно.

Донн был весьма толстокож и не понял всего того, что ясно выражал голос, вид и взгляд Шерли; он не понимал, что ему лучше замолчать.

— Жалкий этот Йоркшир, — продолжал он. — Я не сумел бы и вообразить себе такого места, не привелось мне находиться здесь. А люди-то! Что богатые, что бедные — хороши, нечего сказать! У нас на юге посмеялись бы над их грубиянством и невежеством!

Шерли наклонилась над столом; ее ноздри слегка раздувались, тонкие пальчики, переплетаясь, похрустывали.

— Богатые, — продолжал Донн, ничего не замечая в увлечении своей речью, — все скряги; живут не так, как должно жить людям с достатком; вы редко увидите дом, где держат приличный экипаж или, как положено, дворецкого. Ну, а бедные? Взгляните-ка на них, когда они толпятся у дверей церкви по случаю свадьбы или похорон, стуча деревянными башмаками: мужчины в одних рубашках и в фабричных фартуках, женщины в балахонах и чепцах. На эту чернь стоило бы

натравить бешеную корову и разогнать их всех. Хи-хи! Вот была бы потеха!

— Вы переходите всякие границы, — негромко сказала Шерли. — Вы переходите всякие границы, — повторила она и гневно посмотрела на Донна. Дальше так продолжаться не может, и в моем доме я вам этого не позволю! добавила она, отчеканивая каждое слово.

Шерли встала. Она кипела негодованием, и никакая сила не смогла бы остановить ее в эту минуту. Подойдя к калитке, она широко распахнула ее:

— Убирайтесь, да поживее! И чтобы нога ваша не переступала больше моего порога!

Донн не мог опомниться от изумления. Ему представлялось, что он показал себя в самом выгодном свете, как утонченный джентльмен из лучшего общества, он воображал, что произвел на всех потрясающее впечатление. Выказав полное презрение к местным обычаям, разве он не доказал с полной очевидностью, что сам он несравненно выше здешних жителей? И вот его как собаку выгоняют из дома, — из йоркширского дома! Где же тут «взаимная связь явлений»?

— Избавьте меня от вашего присутствия, сию же минуту! — повторила Шерли, видя, что он не двигается с места.

— Сударыня, я священник! Вы выгоняете служителя церкви?

— Да будь вы хоть самым архиепископом! Вы доказали, что вы не джентльмен, и я требую, чтобы вы удалились, и немедленно!

Ее тон говорил, что она разгневана не на шутку; вдобавок и Варвар приподнял голову и насторожился: он почуял что-то неладное и явно собирался вмешаться. Донну ничего другого не оставалось, как удалиться, что он и сделал; Шерли, закрывая за ним калитку, присела в глубоком реверансе.

— Как смеет этот чванный священник оскорблять своих прихожан? Как смеет этот наглый лондонский простолюдин порочить мой Йоркшир? — возмущенно говорила Шерли, вновь занимая свое место за столом.

Гости вскоре разошлись: разгневанный вид хозяйки, ее сверкающие глаза и нахмуренные брови не располагали к дальнейшей веселой беседе.

## ГЛАВА XVI

### Троицын день

Фонд помощи нуждающимся успешно пополнялся. С легкой руки Шерли энергично взявшиеся за дело священники с помощью своих скромных, но усердных помощниц — Мэри Энн Эйнли и Маргарет Холл — вскоре собрали порядочную сумму денег и, распределив ее по справедливости, несколько облегчили участь самых нуждающихся семей, кормильцы которых не имели заработка. Во всех трех приходах, казалось, водворилось спокойствие, вот уже две недели не было ни порчи сукон, ни нападений на фабрики и дома фабрикантов. Шерли уже поздравляла себя с тем, что ее усилия не пропали даром, что ей удалось предотвратить ало и что надвигавшаяся гроза не разразится, тем более что с наступлением лета торговля должна оживиться — так уж оно всегда бывало; да и злосчастная война не может продолжаться вечно; в один прекрасный день наступит мир, и торговля сразу пойдет на лад.

Такого рода соображениями Шерли не раз делилась со своим арендатором Жераром Муром, когда ей представлялся случай говорить с ним, а Мур спокойно, даже слишком спокойно, ее выслушивал. Она же нетерпеливо поглядывала на него, как бы требуя, чтобы он высказал свои мысли, вставил то или иное замечание. Улыбаясь своей особенной улыбкой, которая придавала такое обаяние его лицу, хотя глаза и сохраняли обычное серьезное выражение, Мур отвечал ей: он и сам верит, что не за горами тот день, когда на смену войне придет мир; он на это очень надеется и на этом строит все свои планы.

— Вы ведь знаете, — говорил он, — что фабрика работает сейчас только в расчете на будущее; пока еще мои сукна никто не покупает, они еще не находят сбыта. Я изготавливаю их для лучших времен, все должно быть готово, чтобы не упустить первую же открывшуюся возможность. Три месяца тому назад это было не в моих силах, — мой кредит и капитал были исчерпаны, и вам хорошо известно, кто пришел мне на выручку, из чьих рук я получил взаймы сумму, которая меня спасла. Это позволяет мне продолжать отчаянную игру, а ведь еще недавно я думал, что вынужден буду от нее отказаться. Я знаю, что в

случае проигрыша меня ждет банкротство; знаю также, что нет никакой уверенности в выигрыше. Но я настроен бодро; у меня есть возможность действовать, руки мои не связаны, и я не падаю духом. Год, даже полгода мира, и я спасен, ибо, как вы правильно сказали, окончание войны даст торговле могучий толчок. В этом вы правы, но я боюсь, что спокойствие воцарилось у нас ненадолго и что не всегда ваш фонд пожертвований будет оказывать желаемое действие. Помощь в виде милостыни никогда не успокаивает рабочих, они никогда не бывают за нее благодарны, — так уж создан человек! Да и правду сказать, если бы наш мир был устроен справедливо, рабочим не приходилось бы принимать эту унижительную подачку, и они это понимают; на их месте и мы думали бы так же. И кому, собственно, должны они быть благодарны? Вам, может быть, священникам, но во всяком случае не нам, владельцам фабрик. Они ненавидят нас больше, чем когда бы то ни было; кроме того, все недовольные нашего края связаны с недовольными в других местах. У них штаб-квартиры в Ноттингеме, в Манчестере, в Бирмингеме. Рядовые выполняют приказы своих начальников; у них царит строгая дисциплина, каждый удар обдумывается и взвешивается. Вам, вероятно, случалось душным летом наблюдать, как изо дня в день собирается гроза, и, однако, каждый вечер тучи расходятся, солнце садится на ясном небосклоне; но опасность еще не миновала, нет, она только отдалилась; гроза, которая так долго собирается, в конце концов обязательно разразится. Вот и в сфере общественных отношений царят те же законы, что и в атмосфере.

— Ах, мистер Мур, прошу вас, будьте осторожны, — таким советом обычно заканчивались подобные разговоры. — Если вы считаете, что я хоть немного помогла вам, вы должны вознаградить меня, обещая соблюдать всяческую осторожность.

— Я буду осторожен и осмотрителен. Теперь я не хочу умирать, я хочу жить: ведь передо мной открывается будущее, светлое как рай, и в его ясной дали мне мерещится видение более прекрасное, чем серафимы и херувимы.

— Видение? Какое же? Прошу вас, скажите...

— Я вижу...

Но тут вошла служанка, неся поднос с чайной посудой.

Начало мая, как уже говорилось, было ясным, затем пошли дожди; но в последнюю неделю месяца, в новолуние, погода снова разгулялась. Свежий ветер разорвал пелену свинцово-серых дождевых туч и понес ее клочья к востоку; там вдалеке они растаяли, открыв ясный голубой небосвод, который словно ждал воцарения летнего солнца. И в троицын день солнце взошло во всем блеске; погода прояснилась, словно в ознаменование школьного празднества.

Два больших класса в школе Брайерфилда, выстроенной Хелстоуном почти целиком на свой счет, к празднику были вымыты, заново окрашены, убраны цветами и увиты гирляндами зелени; цветы были доставлены из церковного сада, из поместья Филдхед, — две доверху наполненные повозки, — и одна тачка из поместья Уолден, — мистер Уинн не отличался щедростью. В классах были расставлены и накрыты белоснежными скатертями двадцать столов, рассчитанных каждый на двадцать гостей; над столами развесили двадцать клеток с канарейками — таков был местный обычай, ревностно соблюдаемый причетником мистера Хелстоуна, большим любителем этих звонкоголосых птиц, — ему было известно, что они заливаются пуще всего именно при звуках громких голосов и оживленного гула. Однако столы эти предназначались не для тысячи двухсот школьников воскресных школ всех трех приходов, а для их попечителей и наставников; угощение детям предполагалось устроить на открытом воздухе.

К часу дня отряды учеников должны были собраться, в два часа выстроиться в колонны и с двух до четырех часов обойти торжественной процессией весь приход; затем следовало угощение; торжественное богослужение в церкви с проповедями и музыкой завершало праздник.

Следует объяснить, почему именно приход Брайерфилда был избран местом торжества. Он не был ни самым обширным, ни самым населенным, уступая в этом отношении приходу Уинбери; не был он и самым старинным, хотя его потемневшая от времени церковь и примыкавший к ней домик и были древними постройками, однако храм с низкими сводами и одетый мхом дом священника в Наннли, совсем утонувшие в зелени столетних дубов, выступавших из Наннлийского леса, подобно часовым, — были еще древнее; но так уж пожелал мистер Хелстоун, а воля мистера Хелстоуна была сильнее



воли Болтби или Холла; первый не мог, а второй не желал оспаривать первенства у своего решительного, властного собрата; оба они во всем ему подчинялись.

Этот ежегодный праздник был мучительным днем для Каролины, вынужденной находиться на виду у многолюдного общества, — всей окрестной знати, богатых и влиятельных лиц. Ей приходилось выступать в роли хозяйки, ни от кого, кроме любезного мистера Холла, не видя помощи; быть все время на глазах у посторонних, возглавлять — как племяннице священника и учительнице первого класса — процессию воскресной школы, угощать чаем за первым столом приглашенных дам и мужчин, — и все это совсем одной, не имея подле себя ни матери, ни родственницы, ни подруги, которые помогли бы ей; понятно, с каким волнением ожидала она, — боязливая и нервная, избегавшая всяких шумных сборищ, — наступления этого дня.

Но теперь рядом с ней будет Шерли, и это многое изменит, — пытка превратится почти в удовольствие. Такая подруга, как Шерли, стоила десятка других. Веселая, непринужденная и в то же время такая уверенная, она понимала свое высокое положение в местном обществе, но ничуть им не кичилась, и один взгляд на нее, конечно, придаст Каролине храбрости. Однако Шерли могла прийти с опозданием: помедлить, помешкать было в ее привычках, а Каролина знала, что дядя не согласится ждать ни одной лишней минуты; как только церковные часы пробьют два, тотчас же под гул колоколов процессия тронется в путь. Значит, ей самой нужно позаботиться о том, чтобы подруга не подвела ее.

В троицын день Каролина поднялась чуть свет. Все утро она помогала Элизе и Фанни убирать комнаты для приема именитых гостей, готовить холодное угощение и прохладительные напитки; сладости, фрукты и вина были расставлены на столике в столовой. Покончив с этим, Каролина принялась наряжаться; по случаю праздника и погожего дня она надела свое лучшее муслиновое платье. Новый пояс — подарок Маргарет Холл ко дню ее рождения, купленный, как она подозревала, Сирилом Холлом, за что она и отблагодарила его, преподнеся изящную коробку с большим количеством белых батистовых лент для воротника, был изящно завязан ловкими пальчиками Фанни, которая сегодня с особенным

удовольствием и тщательностью наряжала свою хорошенькую госпожу; простая летняя шляпка Каролины была отделана ленточкой под цвет пояса; поверх платья она набросила изящный, хотя и недорогой шарф из белого крепа.

В этом наряде девушку можно было бы сравнить с прелестной картиной, которая, быть может, не поражала, но чаровала, не ослепляла, но ласкала взгляд; отсутствие яркости и величавости искупали нежные краски, изящество и одухотворенность. Кроткие карие глаза и чистый лоб, так же как и весь ее облик и наряд, говорили о характере скромном, нежном, мечтательном. К этой девушке не побоялись бы доверчиво приблизиться ягненок или голубка, почувствовав в ней олицетворение невинности и мягкости, — тех черт, которыми наделены они сами, — во всяком случае в нашем представлении.

И все же как ни была она стройна, свежа и мило одета, это была обыкновенная девушка, во многом несовершенная, с обычными недостатками. Как заметил Сирил Холл, в ней не было ни той доброты, ни того душевного благородства, как в поблекшей мисс Эйнли, которая в эту минуту в своем маленьком домике надевала свое лучшее черное платье, темную шаль и шляпку.

Выбирая самые уединенные тропы и укромные тенистые места, Каролина направилась в сторону Филдхеда. Она быстро скользила мимо нежно зеленевших изгородей, по ярко-зеленым лугам. Здесь не было ни пыли, ни сырости, и она не боялась запачкать подол своего белого платья или промочить ноги, обутые в легкие туфельки; недавние дожди смыли пыль, яркие лучи солнца уже успели высушить землю. Второпях она не выбирала дороги, ступая прямо по маргариткам, и по густой траве, пробираясь сквозь густые заросли, и вскоре достигла Филдхеда и вошла в будуар мисс Килдар.

Каролина поступила правильно, зайдя за подругой, которая, конечно, опоздала бы. Вместо того чтобы поспешно одеваться, Шерли лежала в ленивой позе на кушетке и читала книгу; миссис Прайор стояла рядом и тщетно уговаривала ее встать. Каролина не стала попусту тратить слова, она отняла у Шерли книгу и принялась сама раздевать, а затем одевать ее. Шерли, разморенная жарой и, как всегда, веселая, шутливо отбивалась, без умолку болтала и смеялась. Но Каролина, боясь опоздать, торопливо затягивала шнурки и закалывала

булавки. Наконец, застегнув последний крючок, она отвела душу, немного пожурив подругу за непозволительную беспечность, и добавила, что Шерли даже и сейчас выглядит как олицетворение неисправимого легкомыслия. Нельзя не признать, однако, что это было прелестное олицетворение такого досадного свойства.

Шерли была полной противоположностью Каролине: в линиях ее одежды, так же как и в линиях ее фигуры, чувствовалась элегантность. Ее типу красоты подходили роскошные наряды, а не скромные платья; ей шел ее богато расшитый шарф, с живописной небрежностью накинутый на плечи, и пышные розы, украшавшие шляпку. Этой девушке с ее яркой внешностью, искрившимися радостью глазами, насмешливой улыбкой, порхавшей на губах, с ее стройной, как тополь, фигуркой и легкой, плавной поступью пристало носить модные туалеты с роскошной, изысканной отделкой. Нарядив подругу, Каролина схватила ее за руку, торопливо увлекла вниз по лестнице, потом через сад — и вот уже обе девушки со смехом мчались по полям, словно две птички, летящие рядом: снежно-белая голубка и сверкающая яркой расцветкой райская птица.

Старания мисс Хелстоун не пропали даром — девушки подросли вовремя и уже приближались к церкви, когда из-за скрывавших ее деревьев до них донеслись мерные, настойчивые удары колокола, созывавшие к сбору всех участников торжества; они слышали также слитный гул множества шагов и звуки голосов; остановясь на пригорке, они увидели, как по дороге со стороны Уинбери приближается многочисленная процессия школьников. Их было не менее пятисот; процессию возглавляли священник и его помощники — Болтби и Донн. Мистер Болтби в полном облачении выступал с важностью, приличествующей его высокому сану и дородной фигуре, а его широкополая шляпа, очень просторный и строгий черный сюртук и толстенная трость с золотым набалдашником еще усиливали общее впечатление торжественности. Время от времени он, обращаясь к своему помощнику, величественно кивал шляпой и взмахивал тростью. Его помощник Донн, выглядевший довольно-таки жалким рядом с внушительным священником, старался, однако, ни в чем не уступать ему и возместить недостаток представительности величавостью осанки; все в нем дышало важностью и самоуверенностью, начиная от вздернутого носа и задранного кверху

подбородка и кончая гетрами, короткими панталонами без штрипок и башмаками с тупыми носами.

Шествуйте, шествуйте, мистер Донн! Суждение о вас уже вынесено. Вы считаете себя неотразимым, но согласны ли с этим две девушки в белом и малиновом платьях, наблюдающие за вами с пригорка, — это еще неизвестно!

Как только процессия прошла, девушки торопливо побежали дальше. Церковный двор теперь наполнен празднично одетыми учителями и учениками; можно только удивляться, что, невзирая на тяжелые времена, на трудности и нужду, царящие в здешних местах, всем им удалось прилично и даже красиво одеться. Страсть англичан к внешней благопристойности способна творить чудеса; бедность может заставить ирландскую девушку ходить в лохмотьях, но бессильна заставить англичанку отказаться от приличного платья, ибо тогда она перестанет уважать себя. Кроме того, юная помещица, которая сейчас с таким удовольствием смотрит на нарядную и веселую толпу, сделала здешним жителям немало добра. Денежная помощь, оказанная перед самым праздником, принесла утешение многим семьям и дала им возможность приодеть детей; Шерли радуется, глядя на них; радуется тому, что ее деньги, ее хлопоты, ее пример — пример влиятельной помещицы — принесли немалую пользу. Быть самоотверженно великодушной, подобно мисс Эйнли, не в ее характере, но молодую девушку утешает мысль, что она сумела быть доброй по-своему, так, как ей подсказала совесть и позволили обстоятельства.

И у Каролины тоже довольный вид, и она внесла свою скромную лепту: она раздала ученицам своего класса все, что только смогла выделить из скудного запаса своих платьев, воротничков и лент; вдобавок, не имея возможности давать деньги, она последовала примеру мисс Эйнли и отдала много времени и труда, обшивая детей бедняков.

Оживление царит и в церковном садике; дамы и мужчины парами и группами прогуливаются среди кустов сирени и золотого дождя. Да и в доме полным-полно; веселые лица выглядывают из настежь раскрытых окон гостинной это наставники и попечители, которым предстоит сейчас примкнуть к процессии.

Позади церковного домика, в огороженном уголке расположились со своими инструментами музыканты всех трех приходов. Фанни и

Элиза в нарядных платьях, в белоснежных чепцах и передниках снуют среди гостей, разнося кружки доброго душистого эля, который уже несколько недель тому назад был наварен в большом количестве по приказанию и под неустанным наблюдением самого мистера Хелстоуна. К чему бы он ни приложил руку — все непременно должно было удаваться на славу; он не терпел ничего низкопробного, и в чем бы ни принимал участие, начиная от сооружения общественного здания — церкви, школы или суда — и кончая приготовлением обеда для гостей, во всем сказывалась его щедрость, энергия, широта. Мисс Килдар обладала теми же достоинствами, и эти двое всегда встречали друг в друге поддержку.

Каролина и Шерли вскоре очутились среди многолюдного соборща; первая на этот раз держалась с не свойственной ей непринужденностью, ее словно подменили: вместо того чтобы, по своему обыкновению, поскорее забиться в какой-нибудь укромный уголок или скрыться у себя в спальне и просидеть там до начала процессии, она принялась расхаживать по всем трем парадным комнатам, беседуя и улыбаясь, подчас даже первая заговаривая с тем или иным гостем. Присутствие Шерли, ее манера держаться действовали на нее благотворно. Шерли не робела на людях, у нее не возникало желания стушеваться перед ними, избегать их. Любому человеку, будь то мужчина, женщина или ребенок, она готова была подарить свое расположение, — конечно, одним больше, другим меньше, но, как правило, со всяким, кто не проявил себя с дурной стороны, как невоспитанный, грубый или чванливый человек, Шерли держалась дружелюбно, обходительно и думала о нем только хорошее.

Это добродушие и делало ее всеобщей любимицей, придавая ее речам, шутливым и серьезным, особую прелесть и лишая ее насмешки колкости. Однако ее обходительность не умаляла ценности ее дружбы, которая проистекала из сокровенных глубин ее души, в противоположность этой чисто светской обходительности. Мисс Хелстоун была ее задушевной подругой, а все эти мисс Пирсон, Сайкс, Уинн и другие пользовались только ее щедро расточаемой любезностью.

Когда в гостиную вошел Донн, Шерли сидела на диване, окруженная многочисленными гостями. Ее гнев против него уже улегся, и она приветливо кивнула ему. Зато он показал себя во всей

красе. Он не сумел ни отклонить ее приветствие с гордостью человека, незаслуженно оскорбленного, ни ответить на него с чистосердечной радостью человека, готового простить и забыть: нанесенная ему обида не вызвала в нем стыда, и при встрече со своей обидчицей он не выглядел пристыженным; злоба, как и другие его чувства, была мелкой, не способной вылиться в яростную вспышку. Не отвечая на приветствие, он прошел мимо Шерли боком, трусливо поеживаясь, с надутым и хмурым видом. Ничто и никогда не могло бы заставить его примириться с ней; и в то же время его мелкая душонка неспособна была жаждать мщения — даже будь он оскорблен куда более сильно.

— Он не стоит моего негодования, — заметила Шерли Каролине. — Какая же я была глупая! Негодовать на беднягу Донна за его злобные выпады против Йоркшира — это так же нелепо, как сердиться на комара, который старается укусить носорога. Будь я мужчиной, я бы просто вытолкала его за дверь; теперь я рада, что применила только моральное воздействие. Но пусть он держится подальше — мне он неприятен, раздражает меня; в нем даже нет ничего забавного — Мелоун и тот лучше!

Мелоун словно захотел оправдать столь лестное мнение; едва успела Шерли произнести эти слова, как вошел Питер Огест в полном параде, в перчатках, надушенный, напыженный и гладко причесанный, держа в руках букет из пяти или шести пышно распустившихся махровых роз; он преподнес букет молодой помещице с неподражаемым изяществом, запечатлеть которое не способен самый искусный карандаш. Кто после этого осмелился бы утверждать, что Питер Огест не умеет быть обходительным с дамами? Он сорвал цветы и преподнес их; он возложил на алтарь Любви, или, вернее, Маммоны, дань своих чувств. Чего стоил Геркулес с веретеном в руке в сравнении с Мелоуном, протягивающим даме букет роз? По-видимому, он и сам это понимал и был приятно изумлен своей прытью. Не сказав ни слова, он направился к выходу и, уходя, исподтишка посмеивался, по-видимому поздравляя себя с успехом; но внезапно он остановился и оглянулся, очевидно желая воочию убедиться, что действительно преподнес букет. Да, вон они, шесть ярких роз, лежат на малиновом шелку, их придерживает белоснежная ручка в золотых кольцах, над ними склонилось полускрытое ниспадающими вдоль щек локонами смеющееся лицо; увы! — локоны только наполовину скрывали его, и

Питер заметил усмешку! Сомнения не было, на его рыцарскую любезность ему отвечали насмешкой, он стал посмешищем для девчонки, — нет, для двух девчонок, мисс Хелстоун тоже улыбается; мало того, Питер понял, что его намерения разгаданы, и помрачнел как грозовая туча. В эту минуту Шерли подняла голову и увидела устремленный на нее свирепый взгляд; Мелоун по крайней мере умел ненавидеть — Шерли сразу это поняла.

— Питера следует проучить, и я его проучу, — шепнула она Каролине.

Но вот в дверях столовой показались три священника, облаченные в строгие темные одежды, но с сияющими лицами. Покончив с делами духовными, они захотели перед началом процессии подкрепить свои силы телесные. Мистера Болтби с почетом усадили в большое, мягкое, обитое сафьяном кресло, оставленное нарочно для него; Каролина, которой Шерли шепнула, что пора уже выполнять обязанности хозяйки, поспешила поднести стакан вина и тарелочку с миндальным печеньем достойному всяческого уважения другу своего дяди. Позади кресла стояли два церковных старосты — их присутствие на празднике мистер Болтби считал необходимым, ибо они были попечителями воскресной школы; миссис Сайкс и другие прихожанки окружали своего священника и хором выражали надежду, что он не слишком утомился, и опасения, как бы ему не повредила жара. Миссис Болтби, — она уверяла, что ее господин и повелитель, погружаясь после обеда в сладкий сон, походит на ангела, — склонилась над ним, ласково вытирая его влажный от испарины лоб; короче говоря, Болтби был на вершине славы и округлым, сочным *voix de poitrine*<sup>[95]</sup> изрекал благодарности за внимание и уверял, что чувствует себя вполне терпимо. Подошедшую к нему Каролину он не удостоил и взглядом, но принял ее угощение; он не заметил ее, как никогда не замечал, да и знал ли он вообще о ее существовании? Однако печенье он заметил и, будучи сластеной, захватил сразу целую пригоршню. Что касается вина, то миссис Болтби попросила разбавить его горячей водой и добавить туда сахара и мускатного ореха.

Тем временем мистер Холл стоял у открытого окна, вдыхая свежий воздух, насыщенный благоуханием цветов, и дружески беседовал с мисс Эйнли. Вот за ним Каролина рада была поухаживать. Что бы такое ему принести? Он не должен сам беспокоиться, она

позаботится о нем. Каролина положила на небольшой поднос всевозможные лакомства и поднесла священнику. Вскоре Маргарет Холл и мисс Килдар тоже подошли к своему любимцу; им тоже казалось, что они взирают на сошедшего с небес ангела; Сирил Холл был для них непогрешим, как папа римский, точно так же как преподобный Томас Болтби для своих почитательниц. Человек двадцать, а то и больше, столпились вокруг Хелстоуна; кто же из священников лучше него умел развлекать общество? Молодые пастыри, как всегда сбившись в кучку, представляли собой созвездие из трех планет меньшей величины. Многие девицы поглядывали на них издали, не решаясь, однако, приблизиться.

Мистер Хелстоун вынул часы.

— Без десяти два, — объявил он, — пора открывать процессию. Идемте.

Он надел шляпу и вышел. Гости толпой последовали за ним.

Тысяча двести детей разбились на три колонны по четыреста человек, и каждую замыкали музыканты; колонны разделились на шеренги по двадцать учеников, а между ними Хелстоун попарно разместил учителей; затем он провозгласил:

— Грейс Болтби и Мэри Сайкс ведут прихожан Уинбери! Маргарет Холл и Мэри Энн Эйнли ведут прихожан Наннли! Каролина Хелстоун и Шерли Килдар ведут прихожан Брайерфилда!

Затем последовал другой приказ:

— Мистер Донн — к Уинбери; мистер Суитинг — к Наннли; мистер Мелоун — к Брайерфилду.

Те повиновались.

Священники возглавили, а причетники замкнули шествие. Хелстоун махнул шляпой, и тотчас затрезвонили все восемь колоколов на колокольне, загремели духовые оркестры, флейта начала перекликаться с горном, глухо зарокотали барабаны, и шествие тронулось в путь.

Широкая белая дорога развertyвалась как лента перед этой длинной процессией, лучезарное небо и яркое солнце взирали на нее, ветерок покачивал над ней верхушки деревьев, и все ее участники — тысяча двести детей и сто сорок взрослых — в приподнятом настроении и с веселыми лицами дружно выступали в такт музыке; то было красивое зрелище, которое радовало глаз и сердце; то был день



радости для богачей и бедняков. Священники потрудились на славу! Воздадим же хвалу английскому духовенству. Правда, не все его представители безгрешны, ибо это живые люди, как и мы с вами, но плохо пришлось бы нашей стране без них: Великобритания много потеряет, если церковь ее падет. Боже, поддержи нашу церковь! И возроди ее, о Боже!

## ГЛАВА XVII

### Школьный праздник

Эта армия под командой женщин и священников шла не в сражение, не по пятам врага, но она выступала под звуки маршей, которые, судя по блеску глаз и выражению лиц, настраивали некоторых из ее участников, как, например, мисс Килдар, если и не на боевой, то во всяком случае на воинственный лад. Ее оживленное лицо бросилось в глаза Хелстоуну, когда тот случайно обернулся, и оба рассмеялись.

— Мы идем не в бой, — сказал он. — Наша страна не призывает нас защищать ее рубежи; ни враги, ни тираны не посягают на нашу свободу и не угрожают нам. Мы только совершаем прогулку — не больше; так что, капитан, охладите свой воинственный пыл; сейчас он — увы! — ни к чему!

— Я советую вам то же самое, ваше преподобие, — ответила Шерли. — Мое воображение, — продолжала она, обращаясь к Каролине, — дополнит то, чего нет в действительности. Пусть мы не настоящие солдаты, да я вовсе и не жажду кровопролития, но мы солдаты воинства Христова. Давай представим себе, что время отступило на несколько веков назад и мы совершаем паломничество в Палестину. Нет, нет, не так, — представим себе более величественную и суровую картину: мы — жители шотландских долин. Скрываясь от врагов, мы уходим в горы под водительством капитана — ковенантера. [96] Там должен состояться наш тайный сбор. Мы молимся и знаем, что нам предстоит сражение, но верим — души погибших в бою вознесутся на небо, и мы не страшимся обогреть землю своей кровью. Эта музыка глубоко волнует меня, наполняет меня трепетом жизни, и сердце мое бьется с особой, еще не изведанной силой. Я жажду опасности — жажду защищать свою веру, свою страну или хотя бы своего любимого.

— Шерли, — прервала ее Каролина, — что это краснеет на вершине холма у Стилбро? У тебя зоркие глаза, взгляни-ка.

Мисс Килдар посмотрела в сторону Стилбро.

— Да, там какая-то красная полоска: это солдаты, — сказала она и добавила с живостью: — это кавалеристы, и едут они очень быстро; их шестеро. Они движутся на нас; нет, они сворачивают направо, — видно, заметили нашу процессию и хотят с нами разминуться... Куда же они направляются?

— Может быть, они просто проезжают лошадей?

— Возможно... Вот они уже и скрылись.

Тут заговорил мистер Хелстоун.

— Мы двинемся в Наннли через Ройд-лейн кратчайшим путем, — сказал он.

Повинуясь команде, процессия свернула в Ройд-лейн. Дорога была настолько узкой, что двигаться можно было лишь по двое в ряд, дабы не упасть в канаву, тянувшуюся по обе стороны от нее. Половина пути была уже пройдена, когда священники стали вдруг выказывать признаки беспокойства. Засверкали очки Болтби, закивала шляпа Хелстоуна. Молодые священники подтолкнули друг друга локтем. Мистер Холл обернулся к женщинам с улыбкой.

— Что случилось? — спрашивали его.

Мистер Холл указал палкой вдаль. О, диво! навстречу им шла другая процессия, тоже под предводительством мужчин в черном и тоже под звуки музыки.

— Что это? — спросила Шерли. — Наши двойники или привидения? Вот еще новости!

— Ну что ж, ты жаждала сражения, — возможно, оно произойдет, хотя бы в виде перестрелки взглядов, — смеясь, заметила Каролина.

— Они здесь не пройдут, — зашумели молодые священники, — мы дорогу не уступим.

— Уступить дорогу? Об этом и речи быть не может! — твердо объявил Хелстоун, обернувшись. — Что вы, друзья! В дамах я уверен — они проявят стойкость. Любая из них, я знаю, рада будет постоять за честь англиканской церкви. Что на это скажет мисс Килдар?

— Она спросит, в чем дело.

— Школы диссидентов и методистов, баптисты,<sup>[97]</sup> индепенденты<sup>[98]</sup> и веслеянцы объединились в нечестивом союзе, решив преградить нам путь, заставить нас повернуть обратно.

— Они дурно воспитаны, — заметила Шерли, — а я этого не выношу! Не мешает преподать им урок.

— Урок вежливости, — вставил Холл, который всегда стоял за мир, — но не пример грубости.

Хелстоун выступил вперед. Быстрым шагом направился он к вражескому отряду, но когда он почти приблизился к одному из мужчин, — по-видимому, предводителю, плотному, неопрятного вида человеку с черными, гладко прилизанными волосами, — тот скомандовал своим остановиться. Процессия замерла на месте; а предводитель, вынув из кармана сборник духовных гимнов, указал на какой-то стих, затянул напев, и все хором подхватили один из самых скорбных гимнов.

Хелстоун подал музыкантам знак, и те грянули «Правь, Британия!» во всю мощь своих медных инструментов. Он приказал детям петь, и они с воодушевлением подхватили слова. Враг был оглушен и повергнут; псалом совсем затерялся в звуках гимна.

— Вперед — за мной! — скомандовал Хелстоун. — Не бегом, но твердым походным шагом! Женщины и дети, сомкните ряды и возьмитесь за руки.

Он пошел впереди своего отряда решительным и спокойным шагом, а ученики и учителя двинулись за ним, как им было сказано, не торопясь и не отставая, как бы слитые в едином стремлении; молодым пастырям волей-неволей пришлось следовать за всеми, ибо Хелстоун и мисс Килдар весьма бдительно наблюдали за тем, чтобы не было никаких нарушений приказа и никаких самовольных действий, и готовы были в случае надобности пустить в ход один свою трость, другая свой зонтик. Ошеломленные этим натиском, диссиденты растерялись и, теснимые врагом, вынуждены были отступить, а затем и повернуть вспять, очистив путь процессии Хелстоуна. Болтби, правда, почувствовал себя плохо от быстрой ходьбы, но Хелстоун и Мелоун поддерживали его с двух сторон, и он не пострадал, хотя и сильно запыхался.

Толстяк — предводитель диссидентов, — остался сидеть в канаве. Это был торговец спиртными напитками, глава местных неконформистов; впоследствии говорили, что в тот достопамятный день он проглотил воды больше, чем за целый год.

Все это время мистер Холл оберегал Каролину, а Каролина оберегала его; с мисс Эйнли он обменялся впечатлениями по поводу происшедшего уже потом; мистер Хелстоун и Шерли сердечно пожали

друг другу руки, после того как им удалось взять верх над врагом. Молодые священники возликовали и принялись шумно поздравлять друг друга с успехом, но мистер Хелстоун быстро охладил их пыл, заметив, что они все равно никогда ничего не говорят к месту и поэтому им лучше придержать язык, да, кстати сказать, в благополучном исходе дела нет никакой их заслуги.

В половине четвертого процессия повернула назад и в четыре остановилась у школы; здесь на скошенном лугу были уже расставлены скамьи; детей усадили, принесли большие корзины, накрытые белыми салфетками, и дымящиеся жестяные чайники. Мистер Холл прочел, а дети пропели предобеденную молитву; юные голоса мелодично и нежно звенели в чистом воздухе. Затем детям были щедро розданы сдобные булочки с изюмом и налит сладкий чай. Ради праздника не допускалось никаких ограничений; каждому ученику полагалось еды вдвое больше, чем он в силах был съесть, чтобы он мог отнести часть лакомств своим близким, которые по той или иной причине — по старости или недомоганию — не смогли присутствовать на празднике. Музыкантам и певчим были поданы булочки и кружки с пивом. Затем скамьи убрали, и луг был отдан в распоряжение детей.

Звонок созвал преподавателей, попечителей и попечительниц в классы; мисс Хелстоун, мисс Килдар и многие другие дамы уже сустились там около своих чайных столов, проверяя, все ли на месте. Прислуживать гостям были приглашены служанки чуть ли не со всей округи, так же как и жены причетников, певчих и музыкантов; все приоделись как можно лучше, стараясь перещеголять друг друга в изяществе, и в толпе мелькало много молодых женщин, стройных и миловидных. Дела хватало — одни резали хлеб и намазывали его маслом, другие приносили кипяток из кухни. Гирлянды зелени, украшавшие белые стены, букеты цветов, блеск серебряных чайников и фарфоровой посуды на столах, веселые, оживленные женщины в нарядных платьях — все это создавало приятную, ласкающую глаз картину. Разговор был не особенно громким, но оживленным, и канарейки в своих высоко подвешенных клетках голосисто заливались.

Каролина в качестве племянницы священника этого прихода заняла место за одним из трех первых столов; за двумя другими хлопотали миссис Болтби и Маргарет Холл. За этими столами

разместилось лучшее общество: в Брайерфилде, так же как и везде, не существовало полного равенства. Чтобы не страдать от жары, мисс Хелстоун сняла свою шляпку и шарф; длинные локоны, падавшие на плечи, как бы служили ей легким покрывалом, а ее муслиновое платье, скромное и по-монашески закрытое, позволяло ей обойтись без шарфа.

Гости все прибывали. Мистер Холл занял свое обычное место возле Каролины, которая переставляла на подносе чайную посуду и тихонько говорила с ним о событиях дня; он несколько помрачнел после нелепого происшествия на Ройд-лейн, и Каролина старалась вывести его из задумчивости и немного развеселить. Мисс Килдар сидела поблизости от них; как это ни странно, она притихла, — не смеялась, не шутила и только зорко поглядывала по сторонам. По-видимому, ей не хотелось иметь рядом с собой за столом случайного соседа, и она то пошире расправляла платье, то клала на скамью перчатки или вышитый платочек. Каролина заметила ее уловки и спросила, кого из друзей она поджидает. Шерли наклонилась к ней, чуть не касаясь ее уха своими розовыми губками, и тихо проговорила с той музыкальной мягкостью, которая всегда появлялась в ее голосе, когда что-нибудь волновало ее сокровенные чувства.

— Я жду мистера Мура; я видела его вчера вечером, и он обещал мне прийти вместе с сестрой и сидеть за нашим столом; он не обманет меня, я уверена, но может опоздать, и тогда нам придется сидеть врозь; да вот и новые гости подоспели и, конечно, займут все места! Вот досада!

И действительно, в комнату с торжественным видом вошел мистер Уинн мировой судья, в сопровождении жены, сына и двух дочерей. Эта семья принадлежала к местной знати; сидеть им полагалось, разумеется, за первым столом, куда их и подвели с почетом и где они заняли все свободные места. Воображая, что он осчастливил Шерли, мистер Сэм Уинн уселся рядом с ней, прямо на ее платье, перчатки и платок. Мистер Сэм принадлежал к числу людей, которых Шерли терпеть не могла, и неприязнь эта еще усиливалась оттого, что он не скрывал своих видов на ее руку. Да и старый мистер Уинн, его папаша, заявлял во всеуслышание, что поместья Филдхед и Уолден «льнут друг к другу», и эту неуместную остроту молва не замедлила донести до слуха Шерли.

В ушах Каролины долго еще раздавался взволнованный шепот: «Я жду мистера Мура». Сердце ее билось и щеки пылали. Но вот торжественные звуки органа заглушили оживленное гудение голосов; преподобный Болтби, мистер Хелстоун и мистер Холл поднялись со своих мест, а за ними и остальные, и все хором пропели благодарственную молитву. Потом началось чаепитие. Каролина, поглощенная хлопотами, не могла следить за входившими и, только налив последнюю чашку, беспокойно огляделась по сторонам: кое-где стояли кучки гостей, не нашедших свободных мест. Среди них она заметила свою почтенную знакомую мисс Мэнн — то ли хорошая погода, то ли настойчивые уговоры какой-нибудь приятельницы заставили ее покинуть свое мрачное уединение и прийти на праздник. Однако ее усталый вид говорил о том, что стоять на ногах ей трудно: какая-то дама в желтой шляпке принесла ей стул, и Каролина сразу узнала эту шляпку, черные волосы и несколько капризное, хотя и доброе лицо; знакомы были ей и черное шелковое платье, и серая шаль, — короче говоря, это была Гортензия Мур, и Каролине захотелось тут же вскочить с места, броситься к ней на шею и расцеловать ее, разок ради нее самой и два раза ради ее брата. Слегка вскрикнув от радости, она привстала и, наверное, повинувшись непреодолимому желанию, поспешила бы к ней поздороваться, но чья-то рука удержала ее на месте и чей-то голос прошептал над самым ухом:

— Подождите, Лина, — после чая я сам приведу ее к вам.

Она едва осмелилась поднять глаза — за ее стулом, слегка наклонясь, стоял Роберт и улыбался при виде ее волнения; сам же он выглядел лучше, чем когда бы то ни было, и показался влюбленной девушке настолько красивым, что она не решилась взглянуть на него еще раз; его образ ослепил ее взор и с такой мучительной яркостью запечатлелся в ее воображении, как если бы его начертало огненное перо.

Мур отошел от нее и заговорил с мисс Килдар. Шерли в эту минуту была сильно не в духе, — она сердилась и на неприятного ей Сэма Уинна, который, все еще сидя на ее перчатках и платочке, приставал к ней с докучными любезностями, да и на самого Мура за опоздание. При виде Роберта она только передернула плечами и сделала какое-то колкое замечание относительно «несносной

неточности». Не возражая ей и не приводя никаких извинений, Мур спокойно стоял возле нее, словно ожидая, что гнев ее уляжется; и действительно, спустя две-три минуты она протянула ему руку в знак примирения. Мур улыбнулся не то укоризненно, не то благодарно, — во всяком случае он ласково пожал ей руку, хотя и слегка покачал головой.

— Придется вам теперь поискать себе место, — заметила Шерли, улыбаясь в ответ. — Около меня и яблоку негде упасть. Но вон там, за столом миссис Болтби, еще много свободных мест, — например, между мисс Армитедж и мисс Бертвисл; ступайте туда; напротив вас будет сидеть Джон Сайкс, а к нам вы окажетесь спиной.

Мур, однако, предпочел остаться там, где был; правда, время от времени он принимался расхаживать по комнате, обмениваясь рукопожатием с мужчинами, также оставшимися без места, но снова возвращался к Шерли, словно притягиваемый магнитом, и всякий раз считал нужным шепотом поделиться с ней своими впечатлениями.

Бедняге Сэму Уинну было явно не по себе; он видел, что его прелестная соседка ужасно не в духе и капризничает. Ни минуты не сидела она спокойно: то ей было жарко и она принималась усиленно обмахиваться веером, то жаловалась на тесноту и духоту, то заявляла, что, по ее мнению, людям, выпив чай, следовало бы выходить из-за стола и что она непременно упадет в обморок, если чаепитие затянется. Мистер Сэм предложил проводить ее в сад. «Этого еще не доставало! Выйти на воздух такой разгоряченной, значит простудиться насмерть!» — заявила она. Наконец ему стало невмоготу. Быстро допив свой чай, он счел за лучшее удалиться.

Муру следовало бы в эту минуту завладеть своим местом, но он, как нарочно, о чем-то серьезно беседовал с Кристофером Сайксом на другом конце комнаты. Вместо него счастливой случайностью хотел было воспользоваться крупный хлеботорговец Тимоти Рэмсен, эсквайр, стоявший неподалеку и давно уже мечтавший присесть. Но Шерли и тут нашлась: взмахнув шарфом, она опрокинула свою чашку, чай пролился на скамью и на ее шелковое платье. Для наведения порядка позвали слугу, и поднявшаяся суета помешала усестся рядом с ней тучному, одутловатому Рэмсену, обладателю плотной фигуры и плотного кошелька. Шерли, обычно весьма равнодушная к подобного рода мелким неприятностям, на этот раз устроила сцену, достойную



самой слабонервной и чувствительной девицы. Услыхав, что ей дурно, что она вот-вот упадет в обморок, мистер Рэмсен, который с растерянным видом уже отступал, сразу прибавил шаг и скрылся из виду.

Наконец подошел Мур; он спокойно постоял некоторое время, с лукавым видом наблюдая за суматохой и за странным поведением Шерли, затем сказал, что и в самом деле в этом конце комнаты почему-то особенно жарко; климат здесь подходит только людям холодного темперамента, таким, как он. Он уселся на то место, которое было ему уготовано самой судьбой, и суматоха сразу стихла, исчезли слуги и неприятности, Шерли успокоилась; лицо ее просветлело; исчезло вызывающе сердитое выражение, капризно изогнутые брови и надутые губы распрямились. Резкие, порывистые движения, спугнувшие Уинна, словно по мановению волшебной палочки, сменились плавными и мягкими. Однако Мур не был награжден ласковым взглядом. Напротив, Шерли обвинила его в том, что он причинил ей кучу лишних хлопот и что по его милости она, наверное, лишилась уважения мистера Рэмсдена и бесценной дружбы мистера Сэмюэля Уинна.

— Ни за что на свете не хотела бы обидеть ни того, ни другого, сетовала она. — Я всегда была к ним как нельзя более внимательна и любезна, и вот, извольте видеть, что получилось из-за вас! Я не буду знать покоя, пока не поправлю дело; я чувствую себя хорошо, только живя в ладу со своими соседями. Завтра же придется мне отправиться в паломничество на Ройдскую мельницу и попытаться задобрить мельника, расхваливая его муку, а послезавтра, как это ни неприятно, пойти с визитом в поместье Уолден, прихватив с собой в ридикюле овсяную лепешку для любимых пойнтеров мистера Сэма.

— О, вы сумеете найти путь к сердцу этих любезных кавалеров, можно не сомневаться, — спокойно ответил Мур. Казалось, он был очень доволен тем, что завладел наконец заветным местом, однако он не поблагодарил свою соседку и не извинился перед ней за причиненное беспокойство; его невозмутимость придавала ему особое обаяние, и та, которая сидела рядом с ним, чувствовала на себе ее благотворное влияние. Взглянув на эту пару, вы никогда не сказали бы, что рядом с богатой женщиной сидит бедный, борющийся с нуждой человек; он держался с ней как равный с равной, непринужденно и

самоуверенно; по-видимому, и в душе его царил покой. Иногда, разговаривая со своей соседкой, он смотрел на нее сверху вниз так, словно был выше не только ростом, но и по общественному положению.

Но временами лоб его прорезала складка и в глазах мелькали отблески душевного волнения; молодые люди вели вполголоса очень оживленный разговор. Шерли, как видно, донимала собеседника вопросами, — он же отказывался удовлетворить в полной мере ее любопытство. Вот она пытливо посмотрела ему в глаза; по ласково настойчивому выражению ее лица можно было догадаться, что она просит отвечать ей яснее, но Мур только любезно улыбнулся. Шерли была слегка задета и даже отвернулась от него, но он сумел снова завладеть ее вниманием и, как видно, пообещав что-то, успокоил ее.

Мисс Хелстоун, очевидно из-за духоты, выглядит плохо. Она бледнеет и мрачнеет с каждой минутой. После благодарственной молитвы она встает из-за стола и направляется к своей кухне Гортензии, тем временем уже вышедшей на свежий воздух вместе с мисс Мэнн. Заметив это, поднимается и Роберт Мур, вероятно, собираясь подойти к ней; но ведь сначала нужно проститься с мисс Килдар, а Каролина тем временем скрывается из виду.

Гортензия поздоровалась со своей бывшей ученицей отнюдь не сердечно, с видом оскорбленного достоинства. Ее очень обидело поведение мистера Хелстоуна, но она считала, что и Каролина заслуживает порицания за такую беспрекословную покорность дяде.

— Ты ведешь себя с нами совсем как чужая, — сухо проговорила она, в то время как ее ученица тепло пожимала ей руку.

Но Каролину не испугнула и не обидела ее холодность — она ведь достаточно хорошо знала Гортензию и была уверена, что через минуту-другую ее недовольство пройдет и природная доброта возьмет верх. И в самом деле, Гортензия сразу смягчилась, стоило ей заметить, как изменилась, побледнела и осунулась Каролина. Расцеловав девушку в обе щеки, она принялась участливо расспрашивать ее о здоровье. Каролина весело отвечала, но вряд ли ей удалось бы избежать многочисленных расспросов и пространных наставлений о необходимости беречься, если бы мисс Мэнн не отвлекла внимание Гортензии, внезапно попросив проводить ее домой. Старушка, уже утомленная суетой праздника, была сильно не в духе, — настолько, что

даже не поговорила с Каролиной. К тому же белый наряд и оживленный вид девушки раздражали мисс Мэнн; Каролина, одетая по-будничному, в коричневом шерстяном или сером летнем платье, с лицом, окутанным тенью грусти, была больше во вкусе нелюдистой старой девы. Сегодня же вечером она и смотреть не хотела на свою юную приятельницу, едва удостоив ее на прощание холодным кивком. Гортензия давно пообещала проводить ее, и теперь обе удалились.

Поглядев по сторонам, Каролина увидела яркий шарф и малиновое платье Шерли в группе хорошо знакомых ей дам, — это были как раз те самые дамы, встречаться с которыми она, по возможности, избегала. Природная застенчивость в иные минуты особенно тяготила ее, и сейчас она не могла себя пересилить и подойти к ним. Однако стоять одной среди шумного общества, разбившегося на пары и группы, было совсем уж неудобно, и она подошла к кучке своих учениц; эти девушки, или, вернее, молодые женщины, стояли в саду, наблюдая за игравшими в жмурки детьми.

Каролина знала, что ученицы ее любят, однако и с ними она была застенчива; она стеснялась их чуть ли не больше, чем они ее. Вот и сейчас она подошла к ним не с целью оказать покровительство, напротив, — она сама искала поддержки. Они чутьем угадывали ее застенчивость и с врожденной деликатностью старались ее не замечать. Она внушила им уважение своими знаниями и завоевала их расположение мягкостью. За то, что она была умной и доброй учительницей, они прощали ей ее робость и не злоупотребляли ею. Простые крестьянки, они обладали, однако, подобно Каролине, чисто английской душевной тонкостью, несовместимой с проявлениями грубости. Обступив смущенно улыбающуюся учительницу, они вежливо и приветливо отвечали на ее неумелые попытки завязать разговор, держались ласково, скромно и благопристойно. Она же, чувствуя их дружелюбие, вскоре оправилась от смущения.

Но через некоторое время к ним подошел мистер Сэм Уинн и стал уговаривать старших учениц принять участие в общих играх вместе с младшими, и Каролина снова осталась одна. Она уже подумывала, как бы ей незаметно покинуть праздник и скрыться в доме, когда Шерли, заметив, что она стоит в одиночестве, поспешила ей на выручку.

— Пойдем в поле, Каролина, — я ведь знаю, ты не любишь шумные сборища.

— Но я не хочу лишать тебя удовольствия, Шерли, и отрывать от всех этих приятных людей, — они так ищут твоего общества, да и ты блистаешь среди них, и притом без малейшего усилия или притворства.

— Не совсем без усилия, я даже устала от напряжения. Довольно пустое и скучное занятие — болтать и шутить с представителями лучшего общества Брайерфилда. Вот уже минут десять, как я высматриваю в толпе твое белое платье. Я люблю наблюдать за теми, кто мне мил, и сравнивать их с другими; вот занялась я и тобой и нашла, что ты здесь ни на кого не похожа, Лина. Многие, конечно, красивее тебя, ты не писаная красавица, как, например, Гарриет Сайкс, и рядом с ней выглядела бы совсем неприметной; но зато у тебя такое приятное и вдумчивое, я бы даже сказала, интересное лицо.

— Полно, Шерли, ты начинаешь льстить мне.

— Не удивительно, что ученицы тебя любят.

— Глупости, Шерли, поговорим о чем-нибудь другом.

— Ну, что же, поговорим хотя бы о Муре. Да, кстати, и понаблюдаем за ним, — я его уже вижу, вон там!

— Где?

И, задавая этот вопрос, Каролина посмотрела не в сторону поля, а в глаза приятельницы, как и всегда, когда Шерли принималась говорить о каком-нибудь предмете, находившемся вдали от них. Шерли была гораздо зорче ее, и Каролина, казалось, хотела прочесть разгадку этой орлиной зоркости в темно-серых глазах подруги, а быть может, она ждала ответа от этих умных блестящих звездочек.

— Вон он, Мур, — сказала Шерли, указывая в сторону поля, где резвилось великое множество детей и разгуливало, наблюдая за ними, множество взрослых, — вон он. Разве можно не заметить его статной фигуры? Он возвышается среди кучки окружающих его людей, как Елиав<sup>[99]</sup> среди скромных пастухов, как Саул на военном совете. Кстати, если я не ошибаюсь, — это и есть военный совет.

— Почему ты так думаешь, Шерли? — спросила Каролина, глаза которой наконец нашли то, что искали. — Роберт говорит сейчас с моим дядей, смотри, онижимают друг другу руки! Значит, они помирились?

— Помирились, но в силу необходимости: происходит объединение против общего врага. Как ты думаешь, почему Уинн, и

Сайкс, и Армитедж, и Рэмсден столпились вокруг них? Вот они и Мелуону делают знаки подойти. А уж если подзывают его, — значит, понадобятся сильные руки.

Вдруг Шерли заволновалась. Глаза ее сверкнули.

— Ах вот что! Мне не доверяют, меня отстранили! Так и всегда, как только дойдет до дела.

— До какого дела?

— Разве ты не чувствуешь, что в воздухе пахнет чем-то тревожным? Чего-то опасаются, к чему-то готовятся; и Мур держался сегодня так, что подтвердил мои догадки. Он был каким-то встревоженным и жестким.

— Жестким с тобой, Шерли?

— Да, со мной. Он часто бывает жестким со мной. Мы редко беседуем *tete-a-tete*, но я уже заметила, что он далеко не шелковый.

— Казалось, он так ласково разговаривает с тобой.

— О, конечно! Тон самый любезный, обращение самое почтительное! Зато властности и скрытности хоть отбавляй! И это меня раздражает.

— Да, Роберт скрытен.

— Со мной он не имеет права скрытничать, тем более что он уже открыл мне свои замыслы и я ничем не обманула его доверия, — почему же он стал скрытен со мной? Видно, считает меня недостаточно сильной, чтобы положиться на меня в трудную минуту!

— Наверно, он не хочет тебя волновать.

— Излишняя предосторожность; я достаточно вынослива, меня нелегко сломить, и ему следовало бы это знать, но уж очень он горд; да много у него и других недостатков, что бы ты там ни говорила, Лина! Но смотри, как они поглощены своим разговором! Они и не подозревают, что мы за ними наблюдаем.

— Если мы будем настороже, Шерли, нам, может быть, и удастся найти ключ к их секретам.

— Очень скоро, вероятно, разыграются неожиданные события — завтра утром, — может быть, даже сегодня ночью. Ну что ж, откроем глаза пошире и насторожим слух; мистер Мур, за вами следят. Лина, призови всю свою наблюдательность.

— Хорошо. Роберт как будто отходит от них, он обернулся в нашу сторону, — наверное, он нас заметил! Вот они уже прощаются...

— И их рукопожатие так торжественно, словно они скрепляют договор или клятвенный союз.

Девушки увидели, как Роберт покинул своих собеседников и ушел.

— Он даже не простился с нами, — грустно промолвила Каролина.

Произнеся эти слова, она попыталась скрыть свое разочарование под улыбкой, однако глаза ее подернулись влагой.

— Этому горю легко помочь! — воскликнула Шерли. — Сейчас мы заставим его проститься с нами.

— Заставим! Это совсем не то!

— Увидишь, будет совсем то же самое!

— Но он уже ушел. Мы его не догоним.

— Я знаю путь короче того, которым он идет, мы его перехватим.

— Право, Шерли, мне бы не хотелось...

Не дав Каролине закончить, Шерли схватила ее за руку и увлекла за собой. Спорить было бесполезно: забрав что-нибудь в голову, Шерли становилась очень упрямой. И не успела Каролина сообразить, куда они идут, как они уже скрылись из виду гулявшей по лугу толпы и оказались в укромном уголке, осененном ветвями боярышника, где трава была усеяна маргаритками. Но Каролина не залюбовалась солнечными бликами, причудливо испещрявшими траву, не вдохнула полной грудью благоуханье свежей зелени, особенно пряное в вечерние часы. Она услышала только скрип открываемой калитки и поняла, что к ним приближается Роберт. Из своего тайника за кустами пышного боярышника они увидели его раньше, чем он их, Каролина сразу же заметила, что его недавнего оживления как не бывало: он оставил его на звенящих весельем лугах возле школы. На лице Мура застыло его обычное спокойное, несколько сумрачное и озабоченное выражение. Но в нем и в самом деле проглядывала некоторая жесткость, а в суровых глазах сквозили волнение и тревога. Напрасно Шерли затеяла все это: если бы он выглядел веселым, расположен был шутить, другое дело, но сейчас...

— Говорила я тебе — не надо, — с упреком промолвила Каролина. Ей было досадно оттого, что она, вопреки своему желанию, навязывается Роберту, да еще в ту минуту, когда он этого совсем не ждет и вряд ли будет обрадован, и она не знала, что делать. Однако

мисс Килдар ничуть не была смущена; она выступила вперед и преградила путь своему арендатору.

— Вы забыли проститься с нами, — сказала она.

— Забыл проститься с вами! Но как вы здесь оказались? Вы волшебницы, не иначе! Всего лишь минуту тому назад я видел двух девушек, похожих на вас, одну в малиновом, другую в белом платье, — на пригорке за четыре луга отсюда!

— Вы оставили нас там, а теперь нашли здесь. Мы следили за вами и впредь будем следить; когда-нибудь мы учиним вам настоящий допрос, но не сейчас. Сейчас от вас требуется одно: пожелать нам спокойной ночи, а затем можете идти своей дорогой.

Мур все с тем же серьезным видом переводил взгляд с одной на другую.

— Дни праздников имеют свои преимущества, так же как и дни опасностей, — наконец заметил он как бы в раздумье.

— Ладно уж, не философствуйте; пожелайте нам доброй ночи и можете идти, — ответила Шерли.

— Я должен проститься с вами, мисс Килдар?

— Да, со мной и с Каролиной. В этом как будто нет для вас ничего нового, вам и прежде случалось прощаться с нами.

Он взял ее руку в свои и посмотрел на нее сверху вниз серьезным, добрым, однако же, несколько властным взглядом. Шерли не удалось сделать этого человека своим рабом; в его взгляде, опущенном на ее прекрасное лицо, не было и тени подобострастия, разве только уважение; но в нем можно было прочесть внимание, участие и еще какое-то более теплое чувство, а именно, чувство благодарности, как стало ясно из его слов и тона его голоса.

— Ваш должник желает вам доброй ночи! Желает спать сладко и мирно до самого утра.

— А вы сами, мистер Мур, что собираетесь делать? О чем вы говорили с мистером Хелстоуном, прощаясь с ним? Почему все они так обступили вас? Хоть сегодня не будьте таким скрытным, откройте мне все.

— Кто может устоять перед вами? Завтра же, если только будет о чем рассказать, вы все узнаете.

— Скажите сейчас, зачем откладывать? — просила Шерли.

— Сейчас я мог бы сообщить вам только очень немного, к тому же у меня совсем нет времени; но я надеюсь завтра искупить мое промедление полной откровенностью.

— Вы идете к себе?

— Да.

— И не будете сегодня ночью выходить из дому?

— Ни в коем случае. Ну, пожелаю вам обоим спокойной ночи.

Как видно, ему хотелось проститься и с Каролиной, соединив руки обеих девушек в своей, но ее рука не была протянута; Каролина сразу же отошла в сторону и ответила Муру только легким наклоном головы и кроткой, печальной улыбкой. Он этим удовольствовался и, сказав еще раз «доброй ночи», удалился.

— Ну вот, все в порядке, — заметила Шерли после его ухода. — Мы заставили его проститься с нами, ничуть не уронив себя в его мнении, не правда ли, Кэри?

— Будем надеяться, что нет, — коротко ответила Каролина.

— Ты ужасно застенчивая и замкнутая, — сказала Шерли. — Почему ты не подала ему руки, когда он хотел проститься с тобой? Он твой кузен, и он тебе дорог. Ты стыдишься показать ему свою привязанность?

— Он сам видит все, что хочет видеть. Незачем выставлять свои чувства напоказ.

— Как ты лаконична! Ты у нас прямо-таки стоик. Любовь, по-твоему, преступление?

— Любовь — преступление? О нет, Шерли, любовь — божественный дар. Но зачем упоминать о любви? В нашем разговоре это совсем некстати!

— Хорошо, — согласилась Шерли.

Девушки некоторое время шли по зеленой тропинке в молчании. Первой заговорила Каролина:

— Навязчивость — преступление, развязность — преступление; и то и другое отвратительно. Но любить! Чистейшему ангелу нечего стыдиться любви. Когда я встречаю мужчин и женщин, в представлении которых любовь является чем-то постыдным, мне ясно, что это грубые люди с извращенными понятиями. Многие из наших изысканных дам и джентльменов, у которых чуть что срывается с языка слово «вульгарность», заговорив о любви, сразу выдают свое



собственное тупоумие и испорченность; для них любовь — чувство низменное и связанное с кругом низменных представлений.

— Но таково большинство людей, Каролина.

— Как они холодны, трусливы, глупы во всем, что касается любви! Они никогда по-настоящему не любили и не были любимы.

— Ты права, Лина! И в своем глубоком невежестве они клеветают на божественное пламя, принесенное серафимом с небесного алтаря!

— И считают его искрой, вылетевшей из ада!

Но тут веселый перезвон колоколов, призывавший в церковь, прервал беседу девушек.

## **ГЛАВА XVIII, которую любезный читатель может пропустить**

Вечер, тихий и теплый, обещал душную ночь. Пурпурные облака сгущались вокруг заходящего солнца, горизонт полыхал всеми оттенками красного, напоминая скорее Индию в разгар лета, нежели Англию, и розовые отсветы ложились на холмы, на фасады домов, на купы деревьев и волнистые пастбища, через которые убегала вдаль извилистая дорога. Девушки медленно шли по ней со стороны лугов; к тому времени, когда они достигли церковного двора, звон колоколов уже смолк, все гости и дети вошли в церковь и перед входом не осталось ни души.

— Как здесь красиво и тихо! — проговорила Каролина.

— Зато как жарко должно быть сейчас в церкви! — отозвалась Шерли. Представляю, какую длинную речь произнесет преподобный Болтби, а потом младшие священники начнут отбарабанивать свои заученные проповеди — одна другой скучнее. По мне лучше совсем туда не ходить.

— Дядя заметит, что мы не были, и рассердится.

— Приму его гнев на себя; надеюсь, меня он не съест! Жаль, что я пропущу его язвительную речь, полную восхваления истинной церкви и проклятий сектантам, — он наверняка упомянет и битву при Ройд-лейн. Жаль также, что я лишаю тебя удовольствия услышать искренние и дружеские нравоучения мистера Холла со всеми его отменными йоркширизмами, но я останусь здесь. Эта серая церковь и серые надгробья в алых отсветах просто божественны! Сама природа сейчас творит вечернюю молитву, преклонив колена у залитых закатным багрянцем холмов. Я вижу, как она простерлась на широких ступенях своего алтаря и молит, чтобы ночь прошла спокойно для моряков в океанах, для странников в пустынях, для овец на вересковых пустошах и для всех птиц в лесах. Я вижу ее! Знаешь, какая она? Она словно Ева<sup>[100]</sup> в те дни, когда они с Адамом были одни на земле.

— И, конечно, Шерли, она не похожа на милтоновскую Еву?

— Милтоновскую? Еву Милтона? Нет, клянусь Пресвятой Божьей Матерью, не похожа. Слушай, Кэри, мы здесь одни и можем говорить то, что думаем. Милтон был велик, согласна, но был ли он добр? У него был светлый разум, но что сказать о сердце? Он узрел небеса и проник взглядом в бездну ада. Он увидел Сатану, Грех, его отродье и ужасное их порождение — Смерть. Войнство ангелов смыкало перед ним ряды; все ослепительное великолепие небес отражалось в бесконечной линии их алмазных щитов и пронизывало слепые глаза Милтона. Он видел легионы бесов; все их потускневшие развенчанные черные армии прошествовали перед ним. Но когда Милтон захотел увидеть первую женщину, ах, Кэри, он ее не увидел!

— Как можно так говорить, Шерли!

— Можно говорить все, во что веришь. Знаешь, кого видел Милтон? Свою кухарку. Или мою миссис Джилл, как я ее видела однажды летом в самую жару, когда она заваривала крем в прохладной молочной за решетчатым окном с розами и настурциями, готовила для священников всякие свои варенья, соленья, взбитые сливки и размышляла:

Какое б выбрать блюдо повкусней?  
С чего начать, чтоб не перемешать  
Все в кучу? Лучше понемножку брать  
И пробовать, меняя, все подряд.

— Ну полно, Шерли!

— Мне бы хотелось почтительнейше напомнить Милтону, что первыми мужчинами были Титаны и матерью их была Ева. Это она родила Сатурна, Гипериона, Океан, и она же родила Прометея...

— Ты настоящая язычница! Что все это значит?

— В те дни землю населяли гиганты, которые стремились покорить небеса. Грудь первой женщины, наполненная жизнью, дала миру отвагу, почти равную Всемогушеству; силу, которая смогла вынести тысячелетия плена в цепях; жизнеспособность, которой хватило на то, чтобы кормить собою ненасытную смерть бесчисленные века; неистощимую жизнь и немеркнущее совершенство, сестер

Бессмертия, которое через тысячи лет преступлений, борьбы и скорби сумело зачать и родить Мессию. Первая женщина рождена небесами; щедро ее сердце, наполнившее кровью жилы всех народов, и по-прежнему высоко держит она голову, увенчанную короной царицы мироздания.

— Первой женщине захотелось яблока, и змей обманул ее. Однако у тебя в голове такая путаница из писания и мифологии, что тебя невозможно понять. Скажи лучше, кто же преклоняет колена на тех холмах? Кого ты там увидела?

— Я увидела и сейчас вижу женщину-титана: ее одежды из темной лазури ниспадают на вереск вон там, где пасется стадо; ее белое покрывало, белое, как снежная лавина, струится с головы к ногам, и молнии вышивают по нему узоры; у нее пурпурный пояс, такой же, как пурпур вечернего неба на горизонте, и сквозь него просвечивает первая вечерняя звезда. Не могу описать ее глаз! Они спокойны, и ясны, и глубоки, как озера; с благоговением устремлены они к небесам; нежность любви и жар молитвы переполняют их до краев. Чело ее подобно облаку; оно бледнее, нежели ранняя луна, взошедшая задолго до сумерек. Она склонилась над Стилбро и молитвенно сложила свои всемогущие руки. Так, преклонив колена, беседуют они с Богом, лицом к лицу. Если Адам был сыном Иеговы, то эта Ева — дочь Иеговы!

— Слишком она неясна и фантастична! Пойдем, Шерли, нам надо быть в церкви.

— Нет, Каролина, не пойду. Я останусь здесь с моей матерью Евой, которую теперь называют Природой. Я люблю ее, бессмертную и всемогущую! Пусть небесный свет исчез с ее чела, когда она пала в раю, — здесь, на холме, она по-прежнему царит во всем сиянии своей славы. Она прижимает меня к груди и раскрывает мне свое сердце. Тише! Ты сама увидишь и почувствуешь то же, что и я, если мы помолчим.

— Я готова исполнить твое желание, но не пройдет и пяти минут, как ты сама заговоришь.

Мисс Килдар, вся во власти очарования теплого летнего вечера, прислонилась к высокому надгробью и, устремив взгляд на полыхающее закатное небо, погрузилась в приятное забытие. Каролина отошла в сторону и, прогуливаясь вдоль стены сада, тоже

размечталась. Шерли произнесла слово «мать». Но для Каролины это слово означало не мистическую могучую великаншу из видений Шерли, а нежный человеческий образ, — тот образ, которым она наделила свою собственную мать, незнакомую, нелюбимую и все-таки родную.

«О, если бы она когда-нибудь вспомнила о своей дочери! Если бы только я могла увидеть ее, узнать и полюбить!» — мечтала Каролина.

Страстное желание ранних лет снова ожило в ее сердце. Мечта, которая столь часто гнала сон от ее детской кровати, потом с годами постепенно блекла, казалась все нереальнее и, наконец, почти совсем угасла, эта мечта вдруг вновь вспыхнула ярким светом и согрела ей душу. Что, если в самом деле наступит такой счастливый день, когда мать придет и, взглянув на нее заботливым, любящим взглядом, нежно скажет:

«Каролина, дитя мое, теперь у тебя есть дом, ты будешь жить со мной! Я знаю, что ты нуждалась в любви, но с детства была ее лишена. Эту любовь я сберегла для тебя, и теперь она будет голубить тебя и лелеять».

Какой-то шум на дороге прервал дочерние мечты Каролины и языческие видения Шерли. Они прислушались: это было цоканье копыт; пригляделись — и увидели за деревьями блеск металла; в просветах листвы промелькнули алые мундиры, сверкающие каски, развевающиеся перья. Держа равнение, мимо них неторопливо, в полном молчании, проехали шесть солдат.

— Те же самые, что мы видели днем, — прошептала Шерли. — Наверное, у них где-то был привал. Они стараются, чтобы на них поменьше обращали внимание, и нарочно выбрали такой тихий час, надеясь, что все будут в церкви. Это неспроста. Помнишь, я говорила: скоро случится что-то необычное!

Едва солдаты исчезли и стук копыт замер вдали, как вечернюю тишину снова нарушили звуки, на сей раз иного рода, — нетерпеливый детский плач. Девушки оглянулись: из церкви вышел мужчина с ребенком на руках, а за ним две девочки лет девяти-десяти. Двухгодовалый бутуз, крепенький и краснощекий, по-видимому, отлично выспался в церкви, только что пробудился и теперь ревел во всю мощь своих легких. Впрочем, свежий воздух и несколько цветов, сорванных с могилы, быстро его успокоили. Мужчина сел, заботливо,

как мать, покачивая малыша на колене; девочки примостилась по обеим сторонам отца.

— Добрый вечер, Вильям, — сказала Шерли, как следует его разглядев. Наверное, он уже заметил ее и только ждал, чтобы его узнали, ибо сразу снял шляпу и расплылся в довольной улыбке. Взлохмаченный, с тяжелыми чертами лица, он был еще не стар, но весьма потрепан житейскими бурями. Одежда на нем была приличная, крепкая, а дети выглядели просто на удивление чистенькими. Это был наш старый знакомец Фаррен.

Девушки подошли к нему.

— Вы не идете в церковь? — спросил он, бросив на них бладушный и несколько смущенный взгляд; впрочем, робость его была вызвана отнюдь не почтением к высокому положению девушек, — просто это была дань их юности и красоте. С джентльменами, — такими, как, скажем, Мур или Хелстоун, — Вильям частенько пререкался; с гордыми и заносчивыми дамами тоже становился совершенно невозможен, а порой просто груб, но зато он высоко ценил обходительность и на доброту отвечал кротостью. Его упрямый характер не терпел упрямства в других людях, именно поэтому Вильяму никогда не нравился его бывший хозяин Мур. Не зная, что Мур, в сущности, относится к нему хорошо и даже оказал ему тайком немалую услугу, устроив садовником к мистеру Йорку и тем самым как бы поручившись за него перед остальными семьями в округе, Вильям никак не мог примириться с непреклонностью Мура и таил на него злобу. Последнее время он часто работал в Филдхеде, где простота и приветливость мисс Килдар совершенно его покорили. Каролину же Вильям помнил еще девочкой и, сам того не подозревая, считал идеалом настоящей леди. Ее любезное обхождение, походка, жесты, обаяние всего ее облика трогали какие-то артистические струнки в душе этого крестьянина. Он любовался Каролиной, как любят редким цветком или прекрасным пейзажем.

Обе девушки тоже любили Вильяма; они с удовольствием давали ему читать книги, дарили рассаду и беседовали с ним куда охотнее, нежели со многими грубыми и самовлюбленными невеждами из так называемого «высшего общества».

— Кто там сейчас говорил, когда вы выходили, Вильям? — спросила Шерли.

— Джентльмен, которого вы вроде недолюбливаете, мисс Шерли, — мистер Донн.

— Все-то вы, Вильям, знаете! Но как вы догадались о моем отношении к мистеру Донну?

— Ах, мисс Шерли, у вас в глазах порой ну прямо молнии, — все выдают! А порой, когда мистер Донн подле вас, вид у вас такой презрительный...

— А вам самому он нравится, Вильям?

— Мне? Терпеть не могу этих молодых попов, да и жена моя тоже. Больно зазнаются! Говорят с бедным человеком, словно мы ниже их! И все похваляются своим саном, да жаль, что сан-то их вовсе не украшает... Ненавижу гордецов!

— Но ведь ты сам по-своему горд, — вступила в разговор Каролина. — Ты, как говорится, самолюбив: любишь, чтобы у тебя дома все было не хуже, чем у других, а иногда держишься так, словно получать деньги за работу — ниже твоего достоинства. Когда ты был без места, ты из гордости ничего не брал в долг, разве что для детей, а сам бы, я думаю, скорее умер с голоду, чем отправился в лавку без денег. А когда я хотела тебе чем-нибудь помочь, сколько мне приходилось мучиться и уговаривать тебя!

— Может, оно и так, мисс Каролина: всегда приятнее самому давать, чем брать, особенно у такой, как вы. Поглядите-ка, разве нас сравнишь? Вы маленькая, тоненькая девочка, а я большой сильный мужчина и вдвое старше вас, а то и поболее. Так что негоже мне брать у вас, не мне, как это говорят, быть вам обязанным. В тот раз, когда вы пришли, вызвали меня за порог и хотели дать пять шиллингов, которые вам бы самойгодились, — ведь у вас нет денег, я-то знаю! — в тот день я взаправду стал мятежником, этим, как его, радикалом, бунтовщиком — и все из-за вас! Я думал: человек здоровый, работающий и дошел до того, что молоденькая барышня, которая мне в дочери годится, пришла и принесла мне свои последние гроши! Стыдно какой!

— Наверное, ты на меня рассердился, Вильям?

— Было дело, только скоро остыл: вы же это от доброты сердечной. Да, я гордый! Вы гордые, и я гордый. Но ваша гордость и моя гордость — правильная; как у нас в Йоркшире говорят — «чистая гордость». Мистер Донн и мистер Мелоун о такой и не слыхивали, —

у них-то гордость грязная! И я буду учить моих девчонок, чтобы были гордые, как мисс Шерли, а моих парней научу своей гордости. И пусть хоть один попробует у меня походить на таких попиков! Если даже маленький Майкл хоть что-нибудь от них переймет, пусть не ждет пощады!

— Но в чем же разница, Вильям?

— Вы-то знаете, в чем разница, только хотите, чтобы я сам сказал, ладно, будь по-вашему. Мистер Донн и мистер Мелоун слишком горды, чтобы сделать что-либо для себя; а мы слишком горды, чтобы позволить другому делать что-либо для нас. Такой попик слова доброго не скажет, если считает кого-нибудь ниже себя, а мы ни за что не потерпим невежливого слова от тех, кто считает себя выше вас.

— Ладно, Вильям, позабудьте о гордости и расскажите, что у вас нового, только честно! Как ваши дела, поправились?

— О мисс Шерли, очень даже поправились! С тех пор как я стал садовником, спасибо мистеру Йорку, и с тех пор как мистер Холл, — тоже добрая душа, настоящий человек! — помог жене завести лавчонку, жаловаться вроде не на что. Теперь все мы сыты, обуты, одеты, а кроме того, из той же гордости, я кое-что откладываю про черный день, потому что я скорей сдохну, чем приму милостыню от прихода. Так что я и все мои довольны, но вот соседи — бедняк на бедняке. Сколько горя видишь кругом!..

— Следовательно, — проговорила мисс Килдар, — недовольство еще существует?

— Следовательно, существует, вы правду сказали. Еще бы! Когда люди с голоду мрут, может народ быть довольным или спокойным? В округе тревожно, мисс Шерли, это уж прямо можно сказать.

— Но что делать? Что еще, например, могу сделать я?

— Вы? Да ничего вы не можете, слабая женщина! Вы раздали беднякам много денег и хорошо сделали. Вот кабы вы могли сплавить своего арендатора мистера Мура в Ботани-Бей,<sup>[101]</sup> было бы еще лучше. Народ его ненавидит.

— Вильям, стыдись! — с горячностью воскликнула Каролина. — Если люди его действительно ненавидят, это их вина, а не его. Сам мистер Мур никому не желает зла; он только хочет выполнить свой долг и отстоять свои права. Как же можно так говорить!



— Я говорю, как думаю. У него холодное, жестокое сердце, у вашего Мура.

— Ну хорошо, — вмешалась Шерли, — предположим, что Мура прогонят, а его фабрику сровняют с землей. Разве тогда у людей прибавится работы?

— Работы будет меньше, это я знаю, и они тоже знают. Многие честные люди совсем до отчаяния дошли, — куда ни повернись, только хуже. Да ведь есть еще и бесчестные, сколько угодно, и такие тянут остальных прямо в пропасть. Называют себя, мошенники, «друзьями бедняков», а сами про народ ничегошеньки не знают, лицемерят только и врут, как сам сатана. Мне вот уже пятый десяток пошел, и я-то знаю: у народа никогда не будет настоящих верных друзей, разве только из своих, да еще, может, две-три добрые души из других сословий, кто всему свету друзья. Все только о себе пекутся, а кто думает о других — тех совсем мало, — одиночки, вроде вас двоих да меня. Мы из разных сословий, а все-таки понимаем друг дружку и можем быть друзьями без раболепия с моей стороны и без гордыни с вашей. А тем, кто объявляет себя друзьями низших классов ради своих политических плутней, — таким верить нельзя: они всегда стараются только использовать нас и обмануть. Что до меня, то не надо мне ни покровителей, ни обманщиков! Не хочу плясать под чужую дудку. Мне тут недавно делали всякие предложения, да я разобрал, что все это обман, и высказал все прямо в глаза тем людям.

— А что за предложения, можно узнать?

— Нет, незачем это, да и толку не будет. У каждого должна быть своя голова на плечах.

— Да, у нас своя голова на плечах, — слышался вдруг чей-то голос. Перед ними стоял Джо Скотт, который только что вышел из церкви подышать свежим воздухом.

— У тебя-то есть, Джо, я ручаюсь, — улыбаясь, проговорил Вильям.

— А я ручаюсь за моего хозяина, — ответил Джо. — Затем, приняв покровительственный вид, он обратился к девушкам: — А вам лучше бы отсюда уйти.

— Это почему? — спросила Шерли, давно знакомая с начальственными манерами фабричного мастера, с которым она уже не раз имела стычки. Джо, презиравший женщин, в глубине души никак

не мог примириться с тем, что его хозяин и вся фабрика до какой-то степени находятся под женским каблучком; каждый деловой приезд наследницы в контору фабрики был для него хуже дохлой мухи в похлебке.

— А потому, что дела, о которых здесь говорят, женщин не касаются, ответил он.

— Ах вот как? Здесь, в этой церкви, молятся и проповедуют, и это нас не касается?

— Да ведь вас не было ни на проповеди, ни на молитве, если не ошибаюсь. А я говорю про политику. Вильям Фаррен толковал здесь с вами о политике, если я правильно понял.

— Ну и что из этого? Мы всегда интересуемся политикой, Джо! Разве вы не знаете, что я каждый день получаю газету, а по воскресеньям даже две?

— Надо полагать, вы читаете там только про свадьбы, мисс, про несчастные случаи, убийства и прочие тому подобные вещи...

— Я читаю все передовые статьи, Джо, сообщения из-за границы, просматриваю курс рыночных цен, — короче, я читаю то же, что и мужчины.

Джо презрительно промолчал, словно перед ним трещала сорока.

— Джо, — продолжала мисс Килдар, — я никогда толком не могла понять, кто вы — виг или тори. Пожалуйста, объясните, какая партия удостоилась вашей поддержки?

— Трудновато объяснить, когда наперед знаешь, что тебя не поймут, высокомерно процедил в ответ Джо. — Но я скорей согласился бы стать старой бабой или молодухой, которые еще глупее, чем каким-нибудь тори. Потому что тори ведут войну и разоряют торговлю. И если уж быть в какой-либо партии, хотя, по правде говоря, все политические партии — глупость, то уж лучше в той, что стоит за мир, а значит, за наши торговые интересы.

— И я тоже, Джо! — подхватила Шерли, которой доставляло немалое удовольствие его поддразнивать; она нарочно поддерживала разговор о политике, хотя, по мнению Джо, женщины не имели права рассуждать о столь высоких материях. — И я тоже, — во всяком случае до известной степени. Я ведь заинтересована и в сельском хозяйстве, и это понятно — я совсем не хочу, чтобы Англия попала в зависимость от Франции. Конечно, часть дохода мне дает фабрика

Мура, но еще большую часть я получаю с земель вокруг фабрики. Поэтому я решительно против всего, что могло бы повредить фермерам. Вы со мною согласны, Джо?

— Вечерняя роса нездорова для женского пола, — равнодушно заметил мастер.

— Если вы беспокоитесь о моем здоровье, то могу вас заверить, простуды я не боюсь. Во всяком случае, как-нибудь летней ночью я могла бы посторожить фабрику с вашим мушкетом, Джо.

Подбородок у Джо Скотта и без того достаточно выдавался вперед, но при этих словах он выдвинул его еще дальше, чем обычно.

— Однако, — продолжала Шерли, — вернемся к нашим баранам. Я не только помещица, но также владелица фабрики, и у меня в голове сидит мысль, что все мы, фабриканты и деловые люди, иной раз бываем немножко — о, совсем немножко! — эгоистичны и близоруки в наших суждениях и, пожалуй, слишком равнодушно относимся к человеческим страданиям, слишком много думаем о своих барышах. Вы со мной не согласны, Джо?

— Я никогда не спорю, если знаю, что меня не поймут, — последовал все тот же ответ.

— О, непостижимый человек! А ведь ваш хозяин, Джо, иногда со мной спорит; он не так суров и неприступен, как вы.

— Все может быть. Каждый живет на свой лад.

— Джо, неужели вы серьезно думаете, что вся мудрость мира заключена в головах одних мужчин?

— Я думаю, что женщины — создания мелочные и вздорные, и свято почитаю то, что сказано у апостола Павла во второй главе первого Послания к Тимофею.

— Что же там сказано?

— «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева...»

— Но какое отношение имеют к делам эти рассуждения о первородстве? прервала его Шерли. — Надо будет рассказать об этом мистеру Йорку, когда он в следующий раз будет поносить аристократов.

— «И не Адам прельщен, — невозмутимо продолжал Джо, — но жена, прельстившись, впала в преступление».

— Тем хуже для Адама! — воскликнула мисс Килдар. — Он грешил с открытыми глазами. Сказать по правде, Джо, я никогда не могла понять этот стих; он мне неясен.

— Чего же тут неясного, мисс? Кто умеет читать, тот должен и понимать.

— Но ведь каждый может понять и истолковать его на свой лад, — заметила Каролина, вступая в разговор. — Я полагаю, вы не станете отрицать за каждым человеком права толковать все по-своему?

— Нет конечно! Каждую строчку святого писания можно и нужно толковать.

— И мужчинам и женщинам?

— Ну нет! Женщины должны принимать мнения своих мужей как в политике, так и в религии: для них это самое лучшее.

— О! О! — воскликнули Каролина и Шерли одновременно.

— Да, да, и не сомневайтесь! — упрямо твердил Дине Скотт.

— Считайте, что вас освистали и закидали яблоками, — сказала мисс Килдар. — Вы еще скажете, что мужчины тоже должны принимать без рассуждений все, что говорят священники. Что же тогда останется от веры? Слепое, бессмысленное суеверие!

— А как вы понимаете эти слова святого Павла, мисс Хелстоун?

— Я... понимаю это так: апостол написал эту главу для определенной общины христиан при каких-то особых обстоятельствах. Кроме того, если бы я могла прочесть греческий оригинал, возможно, выяснилось бы, что многие слова переведены неправильно или даже совсем не поняты. Не сомневаюсь, что можно было бы при желании придать этому месту совсем иной смысл, и тогда оно звучало бы так: «Жена да учит и не безмолвствует, когда есть ей что сказать... Жене позволено учить и властвовать во всей полноте... Мужу тем временем лучше всего хранить безмолвие». И так далее.

— Так не может быть, мисс!

— Осмелюсь заметить, может! В моем истолковании краски ярче, нежели в вашем. И вообще, мистер Скотт, вы настоящий догматик и всегда таким были. Вильям мне нравится больше вас!

— В своем доме Джо тоже хорош, — заметила Шерли. — Там он тише воды, ниже травы, я сама видела. Более доброго и нежного мужа не сыщешь во всем Брайерфилде. Своей жене он не читает проповедей.

— Моя жена простая, работающая женщина; годы и невзгоды выбили из нее всякое самомнение. А с вами, молодые мисс, дело другое. Вот вы думаете, что много знаете, а я вам осмелюсь сказать: все это суета сует, одни вершки понахватанные. Помню, эдак с год назад мисс Каролина пришла в нашу контору, а я что-то увязывал позади большого стола, и она меня не видела. Гляжу, приносит грифельную доску с задачкой моему хозяину, а задачка-то простая, мой Гарри решил бы ее в две минуты. А она не смогла. Пришлось мистеру Муру объяснять. Только как он ей ни растолковывал, она все равно ничего не поняла. Так-то!

— Какие глупости, Джо!

— Нет, не глупости! И мисс Шерли тоже воображает, что, когда хозяин говорит с ней о своих делах, она все слышит, все понимает, за каждым словом следит и все-то ей ясно, как в зеркале. А сама нет-нет да и выглянет в окошко, не тревожится ли ее кобыла, а потом на пятнышко грязи на своем подоле поглядит, а потом вокруг постреляет глазами на конторскую пыль и паутину, а сама думает: мол, что за грязнули эти мужчины и как славно она сейчас поскачет через Наннлийские луга! И все, что ей говорит мистер Мур, она понимает не лучше, чем если бы он говорил по-древнееврейски.

— Джо, вы настоящий клеветник! Я бы вам ответила, да народ уже из церкви выходит; нам пора. Прощайте, человек, набитый предрассудками! До свиданья, Вильям. Девочки, а вы приходите завтра в Филдхед: миссис Джилл откроет вам свою кладовку, и каждая выберет себе, что захочет.

## ГЛАВА XIX

### Летняя ночь

Спустились сумерки. Звезды рано зажглись в прозрачном небе.

— Пока светло, как раз успею дойти до дома, — сказала мисс Килдар, прощаясь с Каролиной у калитки сада.

— Не ходи одна, Шерли, Фанни тебя проводит.

— Зачем? Чего мне бояться в своем приходе? Да я могу в любую ясную ночь пройти от Филдхеда до церкви, только чтобы полюбоваться на звезды, а может быть, и поглядеть на эльфов.

— Подожди хотя бы, пока народ разойдется.

— Пожалуй. Вот шествуют пять мисс Армитедж, вон коляска миссис Сайкс, за ней — карета мистера Уинна, а вон коляска миссис Бертвисл. Мне вовсе не хочется со всеми раскланиваться! Войдем-ка в сад да лучше переждем минуту среди вашего золотого дождя.

Из церкви показались священники со своими помощниками и церковными старостами. Началась обычная суматоха прощания: рукопожатия, поздравления по случаю удачной проповеди, советы остерегаться ночной сырости и прочее. Постепенно толпа рассеялась, экипажи разъехались. Мисс Килдар покинула наконец свое цветущее убежище, но тут в сад вошел мистер Хелстоун.

— А, вот вы где! — произнес он, направляясь к ней. — А я вас искал, боялся, что вы уже ушли. Каролина, иди сюда!

Каролина подошла к дяде. Она так же, как Шерли, ожидала выговора за то, что их не было в церкви, однако священник думал совсем о другом.

— Сегодня я не ночую дома, — сказал он. — Только что встретил одного старого друга и обещал его проводить. Вернусь завтра, — наверное, около полудня. К сожалению, мой причетник Томас тоже занят и не сможет переночевать у нас, как обычно, когда меня не бывает. Поэтому...

— Поэтому, — прервала его Шерли, — вы хотите, чтобы на время вашего отсутствия я, как джентльмен, точнее — как первый джентльмен в Брайерфилде, заменила вас и взяла на себя роль хозяина

дома и защитника вашей племянницы и ваших служанок, не правда ли?

— Вот именно, капитан! Я думаю, эта роль вам подойдет. Надеюсь, вы окажете Каролине эту любезность и останетесь у нас. Вы согласны переночевать здесь?

— А как же миссис Прайор? Она ведь меня ждет.

— Я пошлю кого-нибудь ее предупредить. Ну, соглашайтесь же. Время уже позднее, выпала роса, а здесь вам с Каролиной будет не скучно, я уверен.

— В таком случае я остаюсь, — согласилась Шерли. — Мы последуем вашему совету и не будем скучать. Идите к вашему другу и ни о чем не беспокойтесь.

— А что вы будете делать, капитан, если ночью что-нибудь случится? Ну, скажем, если вы услышите чьи-то шаги в доме или подозрительный шум, словно взламывают замок или вырезают оконное стекло? Я знаю, в вашей девичьей груди бьется мужественное сердце, и вам я могу сказать откровенно: подобные неприятности сейчас более чем возможны. Что же вы предпримете?

— Не знаю... Наверное, упаду с перепугу в обморок, придется меня поднимать, приводить в чувство. Но, кроме шуток, если уж вы мне доверяете столь почетный пост, ваше преподобие, вы должны дать мне оружие. Что у вас есть в вашем арсенале?

— Вы справитесь со шпагой?

— Знаете, столовый нож мне как-то привычней.

— Поищите, в буфете есть то, что вам нужно: дамский нож, удобный, легкий и заостренный, как настоящий кинжал.

— Он больше подойдет Каролине, а мне лучше дайте пару пистолетов; я знаю, они у вас есть.

— У меня две пары; одну могу оставить вам. Пистолеты висят в чехлах над камином в моем кабинете.

— Они заряжены?

— Да, только курки не взведены. Взведите их, когда будете ложиться спать. Оставляя мои пистолеты, я оказываю вам честь, капитан: необученному новобранцу я бы их не доверил.

— Постараюсь обращаться с ними осторожно. А теперь идите, мистер Хелстоун, не задерживайтесь!

— Весьма любезно, что он одолжил мне свои пистолеты, заметила Шерли, когда священник вышел за калитку. — Пойдем-ка, Лина, в дом и поужинаем, продолжала она. — Соседство мистера Сэма Уинна за чаем лишило меня всякого аппетита, и теперь я по-настоящему голодна.

Войдя в дом, обе девушки прошли в темную столовую. Сквозь открытые окна из сада проникал вечерний воздух, напоенный запахом цветов; с дороги доносились звуки отдаленных шагов и какой-то мягкий смутный ропот. Заслышав его, Каролина, стоявшая у окна, сказала:

— Знаешь, что это, Шерли? Ручей в лощине.

Потом она позвонила и велела служанке принести свечу, а заодно хлеба и молока, — обычный их с Шерли ужин. Фанни поставила перед ними поднос и хотела закрыть окна и ставни, однако ее попросили повременить: сумерки были слишком тихи и благоуханны, чтобы изгонять их так скоро.

Ужинали в молчании. Один раз Каролина поднялась, чтобы переставить вазу с цветами с буфета на подоконник: аромат их был чересчур силен для душевной комнаты. Возвращаясь к столу, Каролина приоткрыла ящик буфета и вынула что-то, сверкнувшее в ее руке ясным острым блеском.

— Ты это предназначила для меня, Шерли? Смотри, как блестит! Отточенный, остроконечный — страшное оружие. Не представляю, как можно направить такой нож против человека! Наверное, для этого нужны какие-то особые обстоятельства, особые чувства, каких я еще не испытывала.

— Да, это, должно быть, ужасно, — отозвалась Шерли. — Но я бы, наверное, смогла это сделать, если бы понадобилось.

И мисс Килдар спокойно допила свой стакан парного молока. Она была слегка задумчива и бледна; впрочем, пожалуй, не бледнее обычного — Шерли никогда не отличалась яркими красками лица.

Когда молоко было выпито и хлеб доеден, Каролина позвала Фанни и посоветовала ей с Элизой лечь спать. Уговаривать служанок не пришлось, за день они достаточно намаялись — то булочки режь, то чай заваривай, то чай кипяти, подай то, прими это и бегай с утра до вечера взад-вперед с подносами. Вскоре Каролина услышала, как дверь в комнату служанок захлопнулась. Тогда она взяла свечу и



неторопливо обошла весь дом, проверяя каждую задвижку на окнах и каждый засов на дверях. Заглянув под конец даже в темную комнатку за кухней и в сводчатый погреб, Каролина вернулась в столовую.

— В доме, кроме своих, ни души, — сказала она. — Сейчас уже около одиннадцати, давно пора ложиться, но я еще посижу, если ты не против. Вот, Шерли, — продолжала она, — я принесла из дядиного кабинета пистолеты. Можешь их проверить на досуге.

Каролина положила пистолеты перед подругой.

— А почему ты не хочешь лечь? — спросила Шерли. Она взяла пистолеты, осмотрела их и положила обратно.

— У меня какое-то странное предчувствие, я очень волнуюсь.

— И я тоже.

— Откуда такая бессонница и тревога? Может быть, воздух чем-то наэлектризован?

— Нет, небо чистое и все в звездах. Ночь сегодня ясная.

— Но слишком тихая. Я слышу даже, как ручей журчит на своем каменном ложе, словно он бежит не в лощине, а здесь, у церковной ограды.

— А я рада, что ночь так тиха: вой ветра или шум дождя сейчас вывели бы меня из себя.

— Почему, Шерли?

— Потому что они мешали бы мне слушать.

— Ты прислушиваешься к тому, что делается в лощине?

— Да, сейчас это единственное место, откуда могут доноситься какие-либо звуки.

— Да, ты права, Шерли.

Обе девушки оперлись локтями о подоконник и высунулись в открытое окно. Сияние звезд и тот скупой сумеречный свет июньской ночи, который не угасает на западе до тех пор, пока на востоке не займется заря, позволяли им различать лица друг друга.

— Мистер Хелстоун думает, что мы ничего не знаем, — негромко сказала Шерли, — ни куда он отправился, ни для чего, ни о всех его приготовлениях, но я о многом догадываюсь. А ты?

— Кое о чем.

— Все эти джентльмены, не исключая твоего кузена Мура, полагают, что мы сейчас спим в своих постелях и ни о чем не

подозреваем...

— Не думаем о них, не надеемся и не тревожимся, — прибавила Каролина.

С полчаса они хранили молчание, и ночь молчала вместе с ними; только часы на колокольне отмечали ход времени, отбивая четверти. Посвежело. Обменявшись по этому поводу несколькими словами, девушки завернулись поплотнее в шали, надели снятые было шляпки и снова приникли к окну.

Около полуночи их безмолвное бдение прервал тревожный, настойчивый лай запертого на кухне пса Каролина встала и бесшумно прошла туда через темные комнаты, чтобы успокоить собаку. С помощью куска хлеба это ей удалось. Вернувшись в столовую, она увидела, что здесь тоже темно: Шерли погасила свечу и ее склоненный силуэт четко вырисовывался на фоне открытого окна. Ни о чем не спрашивая, мисс Хелстоун встала рядом с ней. Собака снова яростно залаяла, потом вдруг смолкла, словно прислушиваясь. Девушки в столовой тоже вслушивались, но уже не в журчанье ручья у фабрики; гораздо ближе, на дороге у церковной ограды, возникли новые, пока еще неясные звуки, похожие на мерные глухие удары, — тяжелый топот множества ног.

Шаги приближались. Тем, кто в них вслушивался, постепенно становилось ясно, — там шло не двое и не десятеро, а несколько сотен человек. Девушки ничего не видели: высокие кусты в саду заслоняли дорогу. А на слух они могли только догадываться, что отряд уже достиг дома мистера Хелстоуна и теперь проходит мимо. Но только слышать им было мало, и они это почувствовали, когда человеческий голос, — хотя он и произнес всего одно слово, — разорвал ночную тишину.

— Стой!

Все смолкло; идущие остановились. Затем на дороге начали о чем-то совещаться, но так тихо, что девушки не могли разобрать ни слова.

— Мы должны знать, о чем они говорят! — шепнула Шерли.

Она обернулась, взяла со стола пистолеты и бесшумно вышла в сад через большую застекленную дверь. Скользнув по дорожке, Шерли остановилась у садовой ограды под кустом сирени.

Будь Каролина одна, она ни за что не вышла бы из дому, но вместе с Шерли она готова была идти куда угодно. Сначала она тоже бросила взгляд на свое оружие, но не взяла его и поспешила присоединиться к подруге. Заглянуть через ограду девушки не решались, боясь, как бы их не заметили; притаившись рядышком за изгородью, они стояли и слушали.

— Дом какой-то старый, нескладный. Кто здесь еще живет, кроме проклятого попа?

— Только три женщины: его племянница и две служанки.

— Ты знаешь, где они спят?

— Девчонки в задних комнатах, племянница в передней спальне.

— А Хелстоун?

— Вон в той комнате. Обычно у него горит свет, но сейчас там темно.

— Как ты туда проберешься?

— Если меня пошлют, — а он того стоит, — попробую влезть в то высокое окно: оно ведет в столовую. Оттуда проберусь наверх, где его комната, дорогу я знаю.

— А что ты будешь делать с женщинами?

— Их я не трону, лишь бы не орали. А заорут — я их быстро успокою. Хорошо коли бы старик спал. Если он проснется, дело может обернуться худо.

— У него есть оружие?

— Есть пистолеты, и всегда заряженные.

— В таком случае ты просто дурак. Зачем ты нас остановил здесь? Один выстрел поднимет всех на ноги; мы и ахнуть не успеем, как Мур обрушится на нас. Тогда провалится самое главное!

— Вот я и говорю, идите дальше. С Хелстоуном я справлюсь один.

Наступило молчание. Кто-то выронил из рук оружие, и оно, звеня, покатилося по камням. Тотчас снова яростно, взмахнув залаял пес в доме.

— Все пропало! — послышался голос. — Сейчас он проснется: такой шум и мертвого поднимет. Почему ты не сказал, что у него есть собака? А чтоб тебе!.. Вперед!

И они снова двинулись — затопали, зашагали, зашаркали, — пока их медлительная тяжелая поступь не затихла вдали.

Шерли выпрямилась и поглядела на дорогу.

— Ушли, — сказала она. — Ни души не осталось.

Она стояла и думала.

— Слава Богу! — сказала она наконец.

— Слава Богу, — повторила Каролина дрожащим голосом; она и сама вся дрожала, сердце ее колотилось, лицо похолодело и лоб был влажен.

— С нами-то слава Богу, — снова сказала она, — но что будет с другими? Они прошли мимо нас потому, что надеются расправиться с остальными.

— И хорошо, что прошли, — рассудительно заметила Шерли. — Другие за себя постоят, — у них есть силы, и они готовы к отпору, — а что было бы с нами? Я держала палец на курке. Я была готова оказать этому негодяю такой прием, какой вряд ли входил в его расчеты; но за ним последовало бы еще триста человек, а у меня не триста рук и не триста пистолетов. Мне не удалось бы защитить ни тебя, ни себя, ни двух бедных женщин, спящих в этом доме. Поэтому я еще раз от души благодарю Бога за то, что он избавил нас от смертельной опасности.

Помолчав, она продолжала:

— Что же теперь делать? Что подскажет мне моя совесть и разум? Во всяком случае, здесь стоять нечего, это мне ясно. Надо бежать на фабрику!

— На фабрику? Что ты, Шерли!

— Да! Ты пойдешь со мной?

— Туда, куда направились эти люди?

— Они пошли по дороге, но нам с ними встречаться нельзя; тропинка через поля безопасна, тиха и безлюдна, — по ней мы пролетим как по воздуху! Ты идешь?

— Да.

Ответ этот вырвался у Каролины совершенно произвольно и вовсе не потому, что она действительно того хотела или так думала, — на самом деле она содрогалась при мысли, что ей придется сейчас туда идти, но отпустить Шерли одну она просто не могла.

— Тогда надо закрыть окна и все запереть покрепче, чтобы после нашего ухода дом был в безопасности. Ты знаешь, зачем мы туда идем, Кэри?

— Да... то есть... нет... Потому что ты этого хочешь.

— И все? Неужели ты готова исполнить любой мой каприз? Из тебя выйдет на диво покорная жена, настоящее сокровище для грозного мужа! Твое лицо сейчас бледнее луны, пальцы дрожат, как листья осины, и все-таки, растерянная и перепуганная, покорная и преданная, ты хочешь следовать за мной в самую гущу серьезной опасности! Ну, что ж, Кэри, я открою тебе причину твоей решимости: мы пойдем туда ради Мура, чтобы помочь ему, если сможем, и предупредить, если успеем.

— Ну конечно! Я просто слепая дурочка. Шерли, как ты все сразу понимаешь, как ты умна! Я пойду с тобой, я с радостью пойду!

— Я в этом не сомневалась. Ради меня ты готова умереть слепо и покорно, но ради Мура ты умрешь сознательно и с радостью. Впрочем, в эту ночь о смерти не может быть и речи, мы ничем не рискуем.

Каролина торопливо закрывала окна.

— Не бойся, Шерли, я, наверное, смогу бежать так же быстро, как ты. Дай мне руку, и побежим прямо через поле.

— Но ты же не сможешь перелезть через ограды!

— Теперь смогу.

— А ты не побоишься живых изгородей и ручья? Нам их не обойти.

— Не побоюсь.

И они побежали. Многочисленные ограды вокруг полей не могли их остановить. Шерли была подвижна, легконога и, когда хотела, могла прыгать, как лань. Более робкая и менее ловкая Каролина раза два-три падала и ушибалась, но тут же вскакивала на ноги, говоря, что ей не больно. Крайнее поле отделяла живая изгородь из колючего боярышника. Здесь они задержались, отыскивая лазейку, а когда нашли ее, оказалось, что она слишком узка. Тем не менее они пролезли сквозь нее, не жалея своих длинных волос, нежной кожи, муслина и шелка платьев; единственное, о чем они сожалели, это о потерянном времени. На другом краю поля глубоко внизу по дну овражка бежал ручей. Мостком через него служила узкая доска. Шерли спокойно и бесстрашно переходила по ней уже много раз, но Каролина никогда не решалась на такой подвиг.

— Я перенесу тебя, — сказала мисс Килдар. — Ты легкая, а я достаточно сильна. Давай попробуем.

— Если я свалюсь, ты меня вытащишь, — ответила Каролина, благодарно сжимая руку подруги. Не останавливаясь, она прошла по зыбкой дощечке, словно та была продолжением твердой земли; сама Шерли, следовавшая за ней, не смогла бы это сделать смелее и увереннее. Обе были в таком возбужденном состоянии, цель, которая их вела, была так значительна, что сейчас их не испугал бы даже бурный пенящийся поток. В ту ночь над ними не были властны ни огонь, ни вода; загорись вся пустошь Стилбро, разлейся половодьем Калдер или Эйр, — в ту ночь, казалось, ничто не смогло бы их остановить.

И все же их остановил один звук. Едва они ступили на противоположный берег, как в воздухе разнесся раскат выстрела, — он долетел с севера. Через секунду такой же звук донесся с юга. В течение следующих трех минут выстрелы прозвучали на западе и на востоке.

— Я думала, что мы обе убиты первым же выстрелом, — заметила Шерли, переводя дыхание. — Мне показалось, что пуля попала мне в голову, а тебе, должно быть, — в сердце. Но повторные выстрелы все объяснили: это только сигналы, и скоро начнется нападение. Жаль, что у нас не было крыльев; наши ноги оказались недостаточно быстры.

Им оставалось только пересечь рощицу, и когда они вышли из нее, фабрика появилась внизу, прямо перед ними; они ясно видели все постройки, двор и дорогу. Шерли достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в своей правоте: они опоздали. Короткая тропа через поля со всевозможными препятствиями отняла гораздо больше времени, чем они думали.

Большая дорога, которая ночью всегда казалась белой, сейчас была покрыта темной движущейся массой; бунтовщики столпились перед запертыми воротами, преграждавшими им вход во двор. На пустом дворе виднелась одинокая фигура; кто-то стоял там и, по-видимому, урезонивал толпу. Сама фабрика, темная и безмолвная, казалась вымершей: ни огонька, ни звука, ни единого движения нельзя было там различить.

— Я не ошиблась, — прошептала Шерли. — Но ведь Мур, наверное, подготовился в отпору, и, конечно, сам он не стал бы вот так один разговаривать с ними.

— Это он... Мы должны пойти туда. Я пойду к нему!

— Нет, не пойдешь.

— Тогда для чего же я здесь? Я пришла только ради него. Я хочу быть с ним.

— К счастью, от тебя это не зависит, во двор уже не пройти.

— Но там есть маленькая дверца сзади, напротив ворот; у нее потайной замок, я его знаю, я попробую!

— Только против моей воли.

Мисс Килдар обхватила Каролину обеими руками за талию и удержала на месте.

— Ни шагу вперед! — проговорила она повелительно. — Если Мур в такую минуту увидит тебя или меня, он будет раздосадован и в то же время стеснен. Перед лицом истинной опасности мужчины предпочитают, чтобы женщин рядом не было.

— Я не помешаю, я ему помогу! — умоляла Каролина.

— Чем? Может быть, ты вдохновишь его на подвиги? Чепуха! Рыцарские времена давно прошли, и мы с тобой не на турнире: здесь идет драка за деньги, за хлеб и за жизнь.

— Я должна быть рядом с ним.

— В качестве дамы его сердца? Да пойми ты, Кэри, фабрика — вот кто его возлюбленная! Когда у него за спиной все эти станки и машины, ему не нужно иной вдохновительницы. И копья он собирается ломать не во славу любви или красоты, а ради сукна и бухгалтерской книги. Не будь же сентиментальной; Роберту это чуждо.

— Я могу помочь ему, я хочу быть с ним!

— Ну, как знаешь... ступай ищи своего Мура. Ты его все равно не найдешь.

Шерли разжала руки. Каролина рванулась было вперед, как стрела, выпущенная из лука, но вслед ей прозвучал такой откровенно иронический смех, что она замерла.

— Взгляни получше, не ошибись! — крикнула Шерли.

Да, тут была какая-то ошибка. Каролина остановилась, всмотрелась; человек во дворе внезапно отступил от ворот и бегом бросился к фабрике.

— Беги, Лина, торопись! — продолжала Шерли. — А то ты не успеешь его догнать!

Каролина медленно вернулась к подруге.

— Это не Роберт, — сказала она. — Все другое: рост, фигура, походка...

— А я тебя только тогда и отпустила, когда увидела, что это не Роберт. И как ты могла принять его за Мура? Это какой-то хилый солдатик; они поставили его к воротам часовым. Он уже в безопасности; я увидела, как ему открыли дверь и он вбежал внутрь. И вообще теперь я спокойнее. Роберта не застали врасплох, так что наше предупреждение было бы лишним и, пожалуй, даже хорошо, что мы опоздали, — это избавило нас от глупой сцены. Представляешь, как бы мы вбежали *toute éperdue*<sup>[102]</sup> в контору и увидели бы, что мистер Армитедж и мистер Рэмсен преспокойно покуривают, мистер Мелоун с важным видом расхаживает взад и вперед, мистер Сайкс попивает свою настойку, а сам Мур с его обычным хладнокровием дельца... О, я счастлива, что этого не случилось!

— Как ты думаешь, Шерли, их там много, на фабрике?

— Достаточно, чтобы ее отстоять. Солдаты, которых мы сегодня видели два раза, ехали, конечно, туда, и все те, кого мы заметили на лугу с твоим кузенком, сейчас тоже, наверное, на фабрике.

— Что делают эти люди, Шерли? Что это за шум?

— Высаживают ворота ломami и топорами. Ты боишься?

— Нет, только сердце бьется и ноги подкашиваются... Я лучше сяду. Неужели ты не волнуешься?

— Немного, пожалуй. Но все равно я рада, что мы пришли. Мы увидим все своими глазами, мы здесь, на месте, и никто этого не знает. Вместо того чтобы позабавить священника, суконщика и хлеботорговца эдаким романтическим выходом на сцену, мы здесь одни наедине с дружественной ночью, с ее молчаливыми звездами и с шепчущими деревьями, которые нас не выдадут нашим друзьям.

— Шерли, Шерли, ворота упали! Какой треск, словно валят огромные деревья. Смотри, они ворвались во двор. Они выломают двери фабрики, как сорвали ворота. Что может сделать Роберт? Ведь их там тьма! Господи, если бы я была рядом с ним, если бы могла слышать его, говорить с ним! Я так хочу помочь ему, — мое желание так велико, что я не была бы для него обузой, я бы на что-нибудь пригодилась...

— Они наступают! — воскликнула Шерли. — Смотри, как упрямо идут вперед! У них есть настойчивость, — не скажу чтобы мужество,



потому что когда сто человек нападают на десятерых, это еще не храбрость, но... — Здесь Шерли понизила голос: — Но страданий и отчаяния у них хоть отбавляй, и это их подстегивает и толкает.

— Толкает против Роберта. О, как они его ненавидят! Шерли, неужели они победят?

— Поживем — увидим. Мур и Хелстоун не увальни и не трусы...

Треск, звон, лязг прервали их шепот. Град камней обрушился на весь широкий фасад фабрики, так что осколки стекла и куски свинцовых переплетов вылетели разом из всех оконных проемов. И тотчас вслед за этим прозвучал клич, боевой клич северной Англии, Йоркшира, Вест-Райдинга, — клич мятежных суконщиков Вест-Райдингского округа.

Ты, наверное, никогда не слыхал этого клича, мой читатель. Да оно и к лучшему для твоих ушей, а может быть, и для твоего сердца, ибо если он сотрясает воздух ненавистью к тебе, или к людям и делам, которые тебе дороги, или направлен против идей, которые ты одобряешь. Ярость пробуждается от этого вопля злобы, Лев рыкающий потрясает гривой от воя Гиены, Сословие гневно устремляется на Сословие и оскорбленный дух Среднего Класа беспощадно обрушивает свое презрение на изголодавшийся и разъяренный Трудящийся Клас. В такие мгновения трудно оставаться терпимым, трудно быть справедливым.

Каролина вскочила. Шерли обняла ее, и они обе замерли, как два стройных деревца. Клич звучал долго, и когда он смолк, ночь все еще была полна ропота и гула толпы.

«Что теперь будет?» — мысленно вопрошали девушки.

Но пока ничего не происходило. Фабрика оставалась безмолвной как гробница.

— Он не может там быть один! — прошептала Каролина.

— Готова поручиться всем, что у меня есть: он там не только не один, но и нисколько не встревожен, — отозвалась Шерли.

Со стороны мятежников затрещали выстрелы. Казалось, обороняющиеся только и ждали этого сигнала. До сих пор безжизненная, безмолвная фабрика пробудилась: черные оконные проемы изрыгнули огонь, и над ложиной прогремел дружный залп.

— Наконец-то Мур заговорил! — вырвалось у Шерли. — И похоже, у него есть, что сказать, это не одинокий голос.

— Однако он терпелив! — проговорила Каролина. — Никто не смог бы обвинить его в поспешности. Они начали первыми, они разбили его ворота и окна, они стреляли в его людей, и только тогда он ответил.

Что там происходило, в темноте трудно было разобрать, но на дворе фабрики творилось нечто ужасное, какая-то сумятица, свалка, отчаянные атаки и беспорядочные отступления. Весь двор и сама фабрика были охвачены этой битвой во мраке. Стрельба почти не прекращалась, а в коротких промежутках слышались крики, стоны, шум борьбы и топот. Нападающие явно стремились ворваться в здание фабрики, а обороняющиеся — отбросить их. Слышно было, как главарь мятежников крикнул:

— Заходи сзади, ребята!

В ответ прозвучал голос:

— Обходите, обходите, — мы вас встретим!

— К конторе! — раздался приказ.

— Добро пожаловать. Мы вас и там угостим!

И действительно, едва толпа осаждающих ринулась к конторе, как навстречу им грянули залпы еще яростнее и дружнее, чем прежде.

Голос, отвечавший мятежникам, был голосом самого Мура. По тону его можно было судить, что он весь охвачен пылом схватки. Разъяренный зверь пробудился в душах всех сражающихся и на время взял верх над разумным человеческим началом.

Девушки чувствовали, как пылают их лица и стучат сердца. Они понимали, что их вмешательство в общую свалку не привело бы ни к чему хорошему; им вовсе не улыбалось наносить и тем более получать удары. Однако Каролина и Шерли просто не могли ни убежать, ни упасть в обморок, ни оторвать глаз от клубов дыма, молний выстрелов и от всего этого смутного, жуткого зрелища.

Одна мысль билась в их разгоряченных головах: «Скоро ли это кончится? Кто победит? Неужели не наступит миг, когда мы сможем быть полезны?» Этого мига обе они ожидали с трепетом. Шерли, хоть и уверявшая Каролину, что они все равно ничем не могли бы помочь, даже если бы пришли вовремя, и обычно высмеивавшая излишнюю горячность и в себе и в других, сейчас готова была пожертвовать своей лучшей фермой, лишь бы им представилась возможность оказать услугу обороняющимся.

Но судьба им явно не благоприятствовала, и эта желанная возможность так и не представилась. Да и не удивительно. Мур ожидал нападения уже много дней, а может быть, и недель, и тщательно подготовился к отпору. Он укрепил фабрику, которая и сама по себе была достаточно прочным зданием, собрал людей и теперь оборонялся со всей несгибаемой твердостью человека мужественного и хладнокровного, вдохновляя и увлекая своим примером остальных защитников.

Бунтовщиков еще нигде так не встречали. На других фабриках им не оказывали сопротивления, и такая упорная, организованная оборона была для них полнейшей неожиданностью. Когда их главари увидели, что стрельба из фабрики не стихает, почувствовали твердость и решимость Мура, услышали его презрительный голос, обещавший им смерть, когда вокруг начинали падать их раненые сообщники, они поняли, что здесь им делать нечего. Спешно собрав своих людей, они отвели их подальше от здания и устроили перекличку, но не по именам, а по номерам, а затем рассеялись, разошлись через луга, оставляя за собой безмолвие и разрушение. Вся схватка, с начала и до конца, продолжалась менее часа.

Тем временем приближалось утро. На западе все было еще подернуто темной дымкой, зато на востоке небо начало светлеть. Девушки, с таким волнением следившие за схваткой, казалось, должны были теперь опрометью броситься к победителям, за которых болели душой, но вместо этого они очень осторожно приблизились к изуродованной фабрике, и когда из больших ворот на двор вдруг высыпала толпа ее защитников, поспешно спрятались в сарай, где обычно хранились бревна и старое железо. Отсюда они могли видеть все, оставаясь незамеченными.

А зрелище было не из веселых; то, что предстало их взорам, казалось безобразным пятном на ясном челе этого летнего рассвета. Роща в лощине стояла вся в утренней дымке и росе; холмы вокруг зеленели, и только здесь, в самом центре тихой долины, слепая Вражда, выпущенная под покровом ночи на свободу, все взрыла и вытоптала своими копытами, оставив за собой опустошенную, оскверненную землю. Пустые окна фабрики зияли чернотой, двор был густо усыпан обломками кирпичей и камнями, а у самого фасада блестящими осколками выбитых стекол. Кое-где валялись мушкеты и

другое оружие. Кровь стыла на камнях темно-красными пятнами; какой-то человек неподвижно лежал ничком у самых ворот, еще пять-шесть раненых стонали и корчились в пыли, истекая кровью.

При этом зрелище настроение мисс Килдар сразу переменялось; после опьянения битвой пришло похмелье, смерть и страдания погасили горячность и гнев; так на месте пылающего костра, когда угасает его пламя и остывает жар, остаются черные головешки.

— Вот это я и хотела предотвратить, — проговорила Шерли, и голос ее дрогнул, выдавая боль души.

Каролина пыталась ее успокоить:

— Это было не в твоей власти. Ты сделала все, что могла, — кто же виноват, что так получилось! Не надо, Шерли, не горюй.

— Мне жаль этих несчастных, — отозвалась та, и ее блестящие глаза сверкнули влагой. — Неужели там, на фабрике, тоже есть раненые? Посмотри, вон, кажется, идет твой дядя.

— Да, это он. С ним мистер Мелоун и — о Шерли! — это Роберт!

— Хорошо, хорошо. — К Шерли вернулся ее обычный тон. — Только не сжимай так мою руку. Я его вижу, ко чему ты удивляешься? Мы ведь знали, что уж кто-кто, а он здесь.

— Шерли, он идет к нам!

— Не к нам, а к колодцу, наверное, чтобы вымыть руки и обмыть лоб: кажется, у него ссадина.

— У него течет кровь, Шерли! Не держи меня, я пойду к нему!

— Ни шагу.

— Он ранен, Шерли!

— Пустяки!

— Я должна подойти к нему, я так хочу быть с ним рядом! Пусти меня, я больше не могу!

— А зачем это тебе?

— Поговорить, узнать, как он себя чувствует, не могу ли я помочь...

— Злить его и надоедать ему, устроить сцену, выставить себя и его на посмешище перед всеми этими солдатами, перед мистером Мелоуном, твоим дядюшкой и всеми прочими. Как по-твоему, понравится это ему или нет? И что ты сама будешь думать об этом через неделю?

— Ты всегда так и будешь меня поучать и одергивать? — спросила Каролина, теряя терпение.

— Да, ради него. А еще больше — ради тебя самой. Повторяю: если ты сейчас покажешься, не пройдет и часа, как ты об этом пожалеешь. И Роберт тоже.

— Ты думаешь, он рассердится?

— Куда больше, чем в тот раз, когда мы его остановили, чтобы пожелать ему доброй ночи. Помнишь, как ты тогда волновалась?

— Но ведь то была шутка, тогда ему ничто не грозило.

— А сейчас он занят серьезным делом и ему нельзя мешать.

— Я хочу быть с ним только потому, что он мой кузен, понимаешь? Только потому!

— Я все понимаю. Но лучше посмотри на него. Он ополоснул лоб, и кровь перестала сочиться. Я же тебе говорила: его рана — простая царапина, это видно даже отсюда. Ну вот, теперь он занялся ранеными.

И действительно, Мур и Хелстоун обходили двор, наклоняясь над простертыми на земле телами. По их знаку раненых поднимали и переносили в здание фабрики. Когда с этим было покончено, Мур приказал Джо Скотту оседлать ему и Хелстоуну коней, и вскоре они умчались галопом в разные стороны на поиски врача.

Каролина никак не могла успокоиться.

— Ах, Шерли, Шерли! Мне так хотелось обменяться с ним хоть словом, пока он не уехал! — пробормотала она, и слезы блеснули у нее на глазах.

— О чем ты плачешь, Лина? — довольно строго спросила мисс Килдар. Радоваться надо, а не горевать! Роберт отделался пустяковой царапиной, он победил, в бою он сохранял все свое мужество и хладнокровие, теперь он торжествует, — разве это причина для слез и разве теперь время плакать?

— Ты не знаешь, что у меня на сердце, Шерли! — жалобно ответила Каролина. — Какая мука, какое смятение! Ты не знаешь даже, почему я страдаю. Я понимаю: ты восхищаешься величием и достоинствами Роберта. Я сама это ценю, но в то же время я чувствую себя такой несчастной! Он ушел от меня так далеко, еще дальше, чем прежде. Оставь меня, Шерли, дай мне поплакать, слезы принесут мне облегчение.

Каролина вся дрожала, и мисс Килдар не решилась больше ее упрекать. Она вышла из сарая, чтобы подруга могла поплакать вволю. Это оказало желаемое действие; через несколько минут Каролина сама присоединилась к ней, заметно успокоившись.

— Пойдем домой, Шерли, — проговорила она своим обычным, покорным и нежным голосом. — Я обещаю больше не пытаться увидеть Роберта, пока он сам этого не захочет, я не стану ему навязываться. Благодарю тебя за то, что ты меня сейчас удержала.

— Я это сделала с добрыми намерениями, — заметила мисс Килдар. — А теперь, милая моя Лина, — продолжала она, — давай подставим лицо прохладному утреннему ветерку и пойдем потихоньку обратно, к твоему дому. Мы войдем в него так же, как вышли. Никто не узнает, где мы были и что видели этой ночью, а поэтому нам нечего страшиться насмешек и сплетен. Завтра мы увидим Роберта, завтра все будет в порядке, и больше я тебе ничего не скажу, не то и сама расплачусь. Тебе кажется, что я с тобой жестока, но это совсем не так.

## ГЛАВА XX

### На следующий день

На обратном пути девушки не встретили ни души, бесшумно проникли в столовую и так же неслышно поднялись по лестнице; занималась заря, и было уже достаточно светло. Шерли сейчас же улеглась, и едва успела опустить голову на подушку, как освежающий сон смежил ей веки и успокоил все ее чувства, хотя комната была ей непривычна, — она ночевала здесь впервые, а только что пережитые события были страшнее и опаснее всего, что ей довелось когда-либо пережить.

Превосходное здоровье было одним из самых завидных качеств Шерли. Отзывчивая и горячая, она никогда не была слабонервной. Самые бурные чувства могли пробуждаться и бушевать в ее душе, не изнуряя ее; любая гроза волновала и потрясала ее лишь до тех пор, пока гремел гром; но когда все утихало, к ней возвращались прежняя жизнерадостность и неувядающая свежесть. Если день приносил ей живительные волнения, то ночь стирала их успокоительным сном. Счастливое выражение прекрасного лица Шерли отражало всю безмятежность и покой ее души.

Каролина смотрела на спящую подругу; ей не спалось. У нее был совсем иной характер. Самого пустячного волнения за чаем, на школьном празднике было достаточно, чтобы бессонница мучила ее всю ночь, а тут на ее глазах произошло столь ужасное событие, что она вряд ли сможет вообще его позабыть. Ложиться было ни к чему. Каролина сидела возле Шерли и считала бесконечные минуты, глядя, как июньское солнце поднимается в небе.

Как быстро расточается жизнь в бесцельности подобных бдений, которые за последнее время слишком часто выпадали на долю Каролины! В эти часы разум, лишенный благодатной пищи — манной надежд и сладостного меда отрадных воспоминаний, — питается скудными крохами мечты. Не находя в них ни опоры, ни облегчения, чувствуя, что страстное желание его погубит, он обращается к философии, к самоанализу, к самоотречению, призывает на помощь

всех этих богов, но тщетно — никто его не слышит, никто его не поддерживает, и он изнемогает в неравной борьбе.

Каролина была христианкой. В минуты смятения она часто молилась, молилась искренне, прося Бога облегчить ей душу, ниспослать терпение и силы. Но мы знаем, что мир наш — юдоль испытаний и скорби; мольбы ее исполнялись слишком редко, и Каролине казалось, что небеса их не слышат и не принимают и что Бог отвернулся от нее. Порой она погружалась в бездну религиозного отчаяния, уже видела над собой карающую десницу неизбежного возмездия.

У многих из нас бывают периоды или период, когда жизнь кажется прожитой понапрасну, когда ждешь и надеешься, хотя надежды уже нет, но день осуществления мечты все отдалается и надежда, наконец, увядает в душе. Такие мгновения ужасны, однако самые темные часы ночи обычно возвещают рассвет; так в январе, на переломе года, ледяной ветер над опустевшей землей поет отходную зиме и в то же время несет привет грядущей весне. Но гибнущие птицы не могут понять, что значат эти порывы, от которых они замерзают, и страдающая душа еще меньше способна распознать в самой бездне боли начало освобождения. Пусть же укрепятся страждущие в любви и вере! Только вера никогда не предаст и никогда не оставит. «Ибо Господь кого любит, того и наказывает».

Наконец в доме начали просыпаться. Служанки встали, открыли внизу ставни. Каролина тоже поднялась с постели, которая для нее была поистине тернистым ложем, чувствуя особое оживление, приходящее с началом дня и деятельности ко всем, кроме самых отчаявшихся или умирающих. Она оделась, как обычно, тщательно, стараясь, чтобы платье и прическа ничем не выдавали смятение ее души. Когда обе девушки были готовы, мисс Хелстоун выглядела такой же свежей, как мисс Килдар, только у Шерли взгляд был оживленный, а у Каролины вялый.

— Сегодня я многое скажу Муру, — были первые слова Шерли. По лицу ее было видно, что жизнь для нее снова интересна, полна ожиданий и неотложных дел. — Сегодня ему придется выдержать допрос с пристрастием. Наверное, он думает, что ловко меня перехитрил. Мужчины всегда обращаются с женщинами так: скрывают от них опасность, воображая, будто этим они могут избавить их от



страданий. Они думают, что мы не знаем, где они были этой ночью, но мы знаем, что они даже не догадываются, где были мы. Мне кажется, женщины в их представлении мало чем отличаются по уму от детей. Но в этом их ошибка.

Все это Шерли говорила, стоя перед зеркалом и накручивая на палец свои выющиеся от природы волосы, чтобы уложить их локонами. Минут через пять, когда Каролина застегивала ей платье и затягивала пояс, она вернулась к той же теме:

— Если бы мужчины могли нас увидеть такими, какие мы есть на самом деле, они бы немало удивились. Но даже самые умные и проницательные из мужчин обманываются в отношении женщин: они видят их в превратном свете и не могут оценить их особенности как хорошие, так и дурные. Для них хорошая женщина — какое-то странное существо: наполовину кукла, наполовину ангел; а плохая чаще всего просто ведьма. Послушать только, как они восторгаются детищами своего воображения, какой-нибудь героиней поэмы, романа или пьесы, как они восхваляют ее, называют возвышенной, божественной и прочее! Может быть, она и в самом деле возвышенна и божественна, но все эти героини фальшивы, как искусственная роза на моей лучшей шляпке. Если бы я высказала все, что думаю по этому поводу, если бы я высказала мое истинное мнение о лучших женских образах в лучших произведениях, ты себе представляешь, что бы со мною стало? Меня бы просто забросали камнями, и через полчаса я погибла бы жалкой смертью.

— Шерли, ты все время болтаешь и вертишься, я не могу тебя застегнуть. Постой минутку спокойно! А кроме того, героини писателей вполне стоят героев, созданных писательницами.

— Вовсе нет! Женщины в мужчинах разбираются куда лучше, нежели мужчины в женщинах. Когда-нибудь я выберу время и докажу это на журнальных страницах, только боюсь, что меня не напечатают: моя рукопись будет «с благодарностью отклонена» и оставлена у издателя до востребования.

— А как же иначе? Ты не сумеешь написать достаточно хорошо, потому что многого не знаешь, — ты ведь не из ученых дам, Шерли!

— Видит Бог, я с тобой не спорю, Кэри: я действительно невежественна как пень. Единственное мое утешение, — что ты от меня недалеко ушла.

Они спустились к завтраку.

— Хотела бы я знать, как провели эту ночь миссис Прайор и Гортензия Мур, — сказала Каролина, заваривая кофе. — Какая я все-таки эгоистка! Я ведь только сейчас о них вспомнила. Они, конечно, слышали весь этот шум: от дома Мура и от Филдхеда до фабрики совсем близко, а Гортензия так робка, да и миссис Прайор вряд ли храбрее.

— Могу поручиться, Лина, Мур постарался избавить свою сестру от тревог. Она ведь пошла проводить мисс Мэнн, и Мур, наверное, уговорил ее остаться там ночевать. Что же до миссис Прайор, то о ней, признаться, я немного беспокоюсь, но через полчаса мы ее увидим.

Тем временем слухи о том, что произошло в лощине, уже распространились по всей округе. Фанни, отправившаяся в Филдхед за молоком, прибежала с известием, что на фабрике мистера Мура ночью было сражение и что там, говорят, одних убитых человек двадцать. Но еще до ее возвращения Элиза узнала от мальчишки мясника, что фабрика сожжена и разрушена до основания. Обе служанки ворвались в гостиную, чтобы поделиться с хозяйкой и ее гостьей ужасными новостями. Свой достоверный и точный рассказ они закончили уверениями, что хозяин тоже наверняка был там вместе с причетником Томасом, что они прошлой ночью, конечно, присоединились к Муру и солдатам, мистер Мелоун тоже не появлялся у себя со вчерашнего вечера, и все семейство Джо Скотта пребывает в страшном беспокойстве, не понимая, куда мог запропасться его глава.

Едва они успели выложить все свои сведения, как в кухонную дверь постучали: запыхавшийся мальчик-рассыльный из Филдхеда принес от миссис Прайор записку, набросанную торопливым почерком. Она просила мисс Килдар немедленно вернуться, потому что весь дом и, видимо, вся округа в смятении; необходимо срочно распорядиться, а сделать это может только хозяйка. В постскрипуме миссис Прайор предупреждала, что мисс Хелстоун ни в коем случае не следует оставлять одну в доме священника, и будет лучше всего, если мисс Килдар приведет ее с собой.

— Разумеется, она совершенно права, — сказала Шерли и, подвязав свою шляпку, побежала за шляпкой Каролины.

— Но что будет с Элизой и Фанни? И что подумает дядя, когда вернется?

— Твой дядя вернется не скоро; у него другая забота. Он теперь будет целый день скакать от Стилбро до Брайерфилда и обратно, поднимал на ноги мировых судей в ратуше и офицеров в казарме. А что до Фанни с Элизой, то они могут позвать сюда для компании жену причетника и жену Джо Скотта. Кроме того, теперь им, в сущности, ничто не угрожает. Прежде чем бунтовщики снова воспрянут духом, пройдет немало недель. А тем временем, если я хоть что-нибудь понимаю, Мур и мистер Хелстоун постараются извлечь наибольшую выгоду из ночного мятежа и рассеять их окончательно; они нагонят страху на власти в Стилбро и заставят их принять решительные меры. Я только надеюсь, что они не будут слишком суровы и не станут преследовать побежденных слишком безжалостно.

— Роберт не способен на жестокость; мы это видели вчера ночью, сказала Каролина.

— Но он будет суров, — возразила Шерли, — и твой дядя тоже.

Чтобы скорее попасть в Филдхед, девушки направились по тропинке через луг и рощу. Издали они видели, что на большой дороге царит необычное оживление: всадники и пешеходы непрерывающимся потоком двигались в сторону обычно безлюдной лощины. Подходя к имению, Шерли заметила, что задние ворота распахнуты настежь, на дворе и в кухне толпятся возбужденные мужчины, женщины и дети, пришедшие за молоком, а экономка, миссис Джилл, по-видимому, тщетно уговаривает их забрать свои бидоны и разойтись. Здесь надо пояснить, что на севере Англии существовал, а кое-где до сих пор существует обычай, по которому батраки помещичьих владений получают молоко и масло в усадьбе своего помещика, держащего особое стадо для удовлетворения нужд всей округи. Такое стадо было и у мисс Килдар — сплошь из породистых крайвенских коров, вскормленных и вспоенных на нежной траве и чистой воде благословенного Эрдейла. Шерли весьма гордилась прекрасным видом и превосходными качествами своих любимиц.

Сразу поняв, что здесь происходит, и желая поскорее очистить усадьбу от посторонних, Шерли спокойно прошла между шушукующимися группами. Она со всеми поздоровалась открыто и непринужденно. Такая манера была ей свойственна, особенно когда она была среди простых людей. Среди равных себе она держалась

гораздо холоднее, а с теми, кто был выше ее, — еще более гордо. Затем она поинтересовалась, все ли получили свое молоко, и, услышав утвердительный ответ, спросила:

— Чего же вы в таком случае ждете?

— Мы тут говорили об этой драке на вашей фабрике, хозяйка, — ответил один из мужчин.

— Говорили! — воскликнула Шерли. — Удивительно, почему это все так любят говорить, неважно о чем? Вы говорите, когда кто-нибудь вдруг скончался, говорите, когда занялся пожар, говорите, когда фабрикант разорился, говорите, когда его убивают. Но какой толк от всех ваших разговоров?

Для простых людей нет ничего милее такого откровенного добродушного нагоняя. Лесть они презирают, ругань их только веселит. Они называют это разговором без обиняков и получают истинное удовольствие, даже если брань обращена против них. Однако простая, домашняя воркотня мисс Килдар сразу завоевала расположение толпы.

— В этом мы грешны не больше других! — ухмыляясь, проговорил кто-то.

— Но и не меньше! Вместо того чтобы подавать пример трудолюбия, вы так же болтливы, как и богатые бездельники. Но знатных господ, которым нечего делать, еще можно в какой-то степени извинить за пустую трату времени, а вам, кому положено зарабатывать хлеб насущный в поте лица своего, — вам нет извинения!

— Вот и неправда, хозяйка! Раз мы так тяжело трудимся, должен у нас быть праздник?

— Никогда! — решительно ответила Шерли, хотя улыбка смягчала суровость ее слов. — Придумайте что-нибудь получше сплетен о ваших ближних за чаем с ромом, если вы женщины, и за кружкой пива — если вы мужчины. А теперь, друзья, — закончила она, снова переходя от резкого тона к вежливому, — вы премного меня обяжете, если возьмете свои бидоны и разойдетесь. Сегодня у меня много гостей, и нехорошо, если вы будете толпиться на всех подъездах к дому.

Йоркширцев очень трудно к чему-либо принудить, но они легко поддаются уговорам. Не прошло и пяти минут, как двор опустел.

— Благодарю вас и прощайте, друзья, — сказала Шерли, запирая ворота.

А теперь пусть попробует какой-нибудь сверхутонченный лондонец сказать что-либо плохое об йоркширцах! В сущности, подавляющее большинство всех этих парней и девчонок из Вест-Райдинга были джентльменами и леди до мозга костей. Лишь недоброжелательство и суетное тщеславие так называемых аристократов способно превратить их в мятежников.

Через черный ход девушки прошли на кухню, а оттуда в вестибюль. Миссис Прайор почти бегом спустилась к ним навстречу по ступеням дубовой лестницы. Она с трудом владела собой; ее лицо, всегда такое румяное, было сейчас бледно, ее голубые глаза, обычно такие спокойные и кроткие, блуждали, взгляд был тревожный, растерянный. Тем не менее она удержалась от бессвязных восклицаний или не менее бессвязного торопливого рассказа о том, что случилось. Ночью, да и теперь, утром, она чувствовала главным образом недовольство собой за то, что не смогла проявить достаточно твердости и хладнокровия, как того требовали обстоятельства.

— Вы знаете, — начала она дрожащим голосом, стараясь, однако, не впадать в преувеличения, — этой ночью толпа бунтовщиков напала на фабрику мистера Мура; отсюда мы очень ясно слышали выстрелы и шум. Никто из нас не спал, мы провели ужасную ночь. А с утра в доме суматоха, люди приходят и уходят, слуги спрашивают, что делать, а я не знаю без вас, что им приказать. Мистер Мур прислал за едой и питьем для солдат и других защитников фабрики. Он просил также кое-что для раненых. Но я не могла взять на себя ответственность распорядиться и принять необходимые меры. Боюсь, что промедление может быть в какой-то степени нежелательным, однако это не мой дом. Вас, милая мисс Килдар, не было, и я ничего не могла сделать.

— Значит, им ничего не послано? — спросила Шерли. Лицо ее, такое спокойное и ясное даже тогда, когда она разговаривала с толпой на дворе, сейчас сразу омрачилось гневом.

— Я полагаю, что нет, дорогая мисс Килдар.

— Даже раненым? Ни бинтов, ни вина, ни простынь?

— Полагаю, что нет. Правда, я не знаю, что сделала миссис Джилл, но сама я не рискнула распоряжаться вашей собственностью и посылать провизию солдатам. Страшно подумать: накормить целую

роту! Я не спросила, сколько их там, но позволить им опустошить дом я тоже не могла. Я хотела сделать, как лучше, но, видно, не все поняла.

— А тем не менее здесь все ясно: солдаты рисковали жизнью, защищая мою собственность, и, я полагаю, имеют право на мою признательность. Что касается раненых, то это такие же люди, как мы с вами, и наш долг им помочь.

Шерли повернулась и громко крикнула, не заботясь о мелодичности своего голоса:

— Миссис Джи-и-илл!

Зов ее проник через обе толстые дубовые двери гостиной и кухни и оказался куда действеннее всяких звонков. Миссис Джилл, которая в это время замешивала хлеб, примчалась, как есть, не осмелившись задержаться даже для того, чтобы соскрести тесто с рук или стряхнуть муку с передника. Хозяйка никогда не звала слуг таким голосом, за исключением, впрочем, одного случая. Шерли как-то увидела из окна, что ее любимец Варвар сцепился с двумя здоровенными псами, каждый из которых был ему под стать если не храбростью, то ростом, и что возчики, хозяева этих страшлищ, науськивают их на смелую собаку, которую некому было даже ободрить. Вот тогда Шерли и закричала, призывая Джона, таким голосом, словно настал день Страшного суда, и, не дожидаясь, пока Джон явится, сама выскочила с непокрытой головой из дому. Коротко сообщив возчикам, что человеческого в них куда меньше, чем в трех катающихся в пыли и рвущих друг друга собаках, Шерли бросилась к самой большой дворняге, которая вонзила свои страшные клыки прямо в морду Варвара чуть выше и чуть ниже залитого кровью глаза, обхватила ее толстую шею и принялась оттаскивать что было сил. На помощь ей прибежало еще пять-шесть человек, но Шерли даже не подумала их поблагодарить.

— Хорошие люди давно должны были прибежать! — сказала она и больше не проронила ни слова. До самого вечера просидела тогда Шерли близ камина в гостиной, ухаживая за несчастным Варваром, который недвижимо лежал на подстилке у ее ног, весь в кровавых ссадинах и ранах. Время от времени она потихоньку плакала над ним и шептала самые нежные, самые ласковые слова, на которые старый, покрытый шрамами пес отвечал тем, что, отрываясь от своих

кровоточащих ран, лизал хозяйке то руку, то туфлю. Что же касается Джона, то Шерли долго еще обращалась с ним весьма холодно.

Памятуя об этом случае, миссис Джилл и примчалась, «вся дрожа», как она сама потом говорила. Мисс Килдар твердым голосом задавала ей вопросы и коротко приказывала, что надо делать. Мысль о том, что ее, владелицу Филдхеда, могут обвинить в черствости и скупости в такую минуту, задела Шерли за живое. Гордость ее была возмущена, сердце стучало и грудь бурно вздымалась под покровом шелка и кружев.

— Давно ли приходил человек с фабрики?

— И часа не прошло, — ответила экономка, пытаясь ее успокоить.

— Часа! Вы бы еще сказали, что и дня не прошло! Ведь они тем временем обратятся еще к кому-нибудь! Немедленно пошлите человека на фабрику, пусть передаст, что все, что есть в моем доме, к услугам мистера Мура, мистера Хелстоуна и солдат. Сделайте это сейчас же!

Пока выполнялось ее распоряжение, Шерли стояла у окна, молчаливая и неприступная. Она повернулась лишь тогда, когда снова вошла миссис Джилл. От мучительного волнения на бледных щеках Шерли выступили красные пятна, в темных глазах сверкали гневные искорки.

— Погрузите на повозку все, что есть в кладовой и винном погребе, и отправьте в лощину. Если у нас не хватит мяса и хлеба, сходите к мяснику и булочнику, — пусть пошлют все, что у них есть. Впрочем, я сама за этим присмотрю.

Шерли вышла.

— Все образуеться, через час она поостынет, — шепнула Каролина миссис Прайор. — Ступайте лучше к себе наверх, — добавила она сочувственно. Постарайтесь успокоиться. Уже к вечеру Шерли будет во всем винить только себя, а не вас.

Несколькими словами ободрения и убеждения мисс Хелстоун удалось немного утешить расстроенную компаньонку. Проводив миссис Прайор до ее комнаты и пообещав вернуться, когда все уладится, Каролина пошла взглянуть, не может ли она чем-нибудь быть полезной. Оказалось, что может, и даже очень. Челяди в Филдхеде было немного, и хозяйка нашла дело не только для всех слуг, но и для себя. Веселое добродушие, быстрота и ловкость, с которой

Каролина принялась помогать эконолке и служанкам, перепуганным необычной суровостью Шерли, сделали сразу два добрых дела: успокоили хозяйку и ободрили ее помощниц. Случайный взгляд и улыбка Каролины заставили Шерли в свою очередь улыбнуться. В это время Каролина поднималась из погреба с тяжелой корзиной.

— Как тебе не стыдно! — воскликнула Шерли, бросаясь к ней. — У тебя заболят руки!

Она отобрала у Каролины корзину и сама вынесла ее во двор. Когда Шерли вернулась в дом, облако ее гнева уже рассеялось, молнии в глазах погасли, чело прояснилось. К ней вернулась обычная простота и сердечность, а стыд за недавнее несправедливое раздражение смягчил ее еще более.

Занятая наблюдением за погрузкой припасов на телегу, Шерли не заметила, как во двор вошел какой-то мужчина. Он приблизился к ней и, пытливо вглядываясь в ее все еще разгоряченное лицо, проговорил:

— Надеюсь, мисс Килдар сегодня в добром здравии?

Шерли взглянула на него и, не отвечая, снова занялась своим делом. На губах ее мелькнула довольная улыбка, но она постаралась ее скрыть. Мужчина поздоровался еще раз, наклонившись вперед, чтобы его услышали.

— Благодарю вас, я чувствую себя хорошо, — ответила Шерли. — Надеюсь, мистер Мур тоже в добром здравии? Собственно говоря, о нем я не очень-то беспокоилась, небольшая неприятность послужила бы ему хорошим уроком, его поведение было... ну, скажем, странным, пока не найдется более точного определения. Кстати, могу я узнать, что его сюда привело?

— Мы с мистером Хелстоуном только что узнали от вашего человека, что вы предоставляете в наше распоряжение все запасы Филдхеда. Такая поразительная расточительность навела нас на мысль, что вы доставляете себе слишком много хлопот, и я вижу, мы не ошиблись в своих предположениях. Неужели вы думаете, что нас целый полк? Там всего шестеро солдат и столько же штатских. Поэтому разрешите мне сократить эти чересчур обильные запасы провианта.

Мисс Килдар вспыхнула, смеясь над своей чрезмерной щедростью и нерасчетливостью. Мур тоже негромко рассмеялся и



спокойно начал распоряжаться. Корзина за корзиной сгружались с телеги, бутылка за бутылкой отправлялись обратно в погреб.

— Надо будет рассказать мистеру Хелстоуну, — сказал Мур. — Он это оценит. Из вас, мисс Килдар, вышел бы превосходный поставщик для армии! добавил он, смеясь. — Все, как я думал!

— Вы должны меня благодарить, а не насмехаться, — ответила Шерли. — Что мне, по-вашему, было делать? Откуда мне знать, какой у вас аппетит и сколько вас там собралось? Я думала, придется кормить не меньше полусотни людей. Вы же мне ничего не сказали, а когда речь идет о солдатах, естественно, предполагаешь, что им надо немало.

— Пожалуй, — согласился Мур, так же спокойно и пристально глядя на смущенную Шерли. — А теперь, — обратился он к возчику, — отвези то, что осталось, в лощину. Как видишь, груз куда легче того, что тебе приготовила мисс Килдар.

Когда телега с грохотом выкатила со двора, Шерли, спохватившись, спросила, что сделали с ранеными.

— У нас никто не пострадал, — ответил Мур.

— Вас самого ранило, возле виска, — послышался быстрый, негромкий голос Каролины, которая пряталась в тени за массивной фигурой миссис Джилл. Мур отыскал ее глазами.

— Вам очень больно? — спросила Каролина.

— Не больше, чем от булавочного укола.

— Покажите нам, откиньте волосы.

Мур снял шляпу и выполнил ее просьбу. На его лбу виднелась лишь узенькая полоска пластыря. Каролина кивнула в знак того, что она удовлетворена, и снова отодвинулась в полумрак коридора.

— Откуда она знает, что меня задело? — спросил Мур.

— По слухам, конечно, — ответила Шерли. — Она слишком добра и зря о вас беспокоится. Что до меня, то когда я спрашивала о раненых, я имела в виду ваши жертвы. У ваших противников большие потери?

— Один из бунтовщиков убит и еще шесть «жертв», как вы их называете, ранены.

— Что вы с ними сделали?

— То же, что сделали бы вы: сразу оказали им врачебную помощь, а теперь, как только достанем два фургона и чистой соломы, отправим

их в Стилбро.

— Соломы! У вас должны быть матрасы и простыни. Я сейчас пришлю свою карету со всем необходимым, и мистер Йорк, я уверена, сделает то же самое.

— Вы угадали, он уже согласился. Миссис Йорк, — которая, как и вы, по-видимому, склонна видеть в бунтовщиках мучеников, а меня и особенно мистера Хелстоуна считает убийцами, — сейчас, наверное, уже укладывает в свою карету пуховые перины, подушки, подушечки, одеяла и прочее. Обещаю вам — у «жертв» не будет недостатка в уходе. Ваш любимец мистер Холл сидит с ними с шести утра, ободряет их, молится вместе с ними и ухаживает за ними, как настоящая сиделка. Кроме того, добрый друг Каролины мисс Эйнли, эта на диво простодушная старая дева, прислала нам примерно столько же полотна и корпии, сколько некая другая леди собиралась послать вина и мяса.

— Ну что ж, хорошо. Где ваша сестра?

— О ней не беспокойтесь. Для безопасности я заблаговременно отослал ее к мисс Мэнн, а сегодня утром я отправил их обеих на воды в Вормвуд-Уэллс, где они проведут несколько недель.

— Мистер Хелстоун тоже оставил меня ночевать в своем доме! Вы, джентльмены, думаете, что очень умны. От души поздравляю вас и надеюсь, что воспоминания об этой истории доставят вам истинное наслаждение. Вы так проницательны, так предусмотрительны, но — увы! — не всеведущи. У вас под носом происходят вещи, о которых вы даже не подозреваете, однако так и должно быть, иначе женщинам будет недоступно тонкое удовольствие дурачить вас. Ах, друг мой! Вы сейчас пытаетесь прочесть истину на моем лице, но это вам не удастся.

Действительно, судя по его виду, Мур ничего не понимал.

— Наверное, вы считаете меня опасной представительницей слабого пола? Признайтесь!

— Во всяком случае, необычной.

— А Каролина — она тоже необычна?

— По-своему, да.

— По-своему? Что значит «по-своему»?

— Вы ее знаете не хуже, чем знаю я.

— И, зная ее, могу вас заверить: в ней нет никакой эксцентричности, и ладить с нею нетрудно, — вы согласны?

— Это зависит...

— Во всяком случае, уж в ней-то нет ничего неженственного?

— Зачем же делать такое ударение на «ней»? Или в этом вы считаете себя ее противоположностью?

— Это вы, очевидно, так считаете, но дело не в этом. В Каролине нет ни одной мужской черты, она не относится к разряду так называемых бойких женщин.

— Однако и она способна на вспышки, я сам видел.

— Да, я тоже видела, но огонь не тот! У нее это всего лишь короткий трепетный огонек, искра, которая взлетает, сверкнув, и тут же угасает...

— И оставляет ожог на ней самой, испуганной собственной смелостью. Но ваше описание подойдет не только к Каролине.

— Я хочу сказать лишь одно: несмотря на всю свою доброту, покорность и наивность, мисс Хелстоун тоже способна ввести в заблуждение даже такого проницательного мужчину, как мистер Мур.

— Что вы с ней тут делали? — вдруг спросил Мур.

— Вы уже завтракали?

— Что у вас за секреты?

— Если вы голодны, миссис Джилл вам что-нибудь приготовит. Ступайте в дубовую гостиную и позвоните, вам подадут, как в трактире. А если не хотите, возвращайтесь к себе.

— К сожалению, у меня нет выбора, я должен вернуться. Всего доброго! Увижу вас, как только освобожусь.

## ГЛАВА XXI

### Миссис Прайор

Пока Шерли болтала с Муром, Каролина поднялась к миссис Прайор. Она нашла ее в полном расстройстве. Миссис Прайор ни за что не призналась бы, что резкость Шерли оскорбила ее чувства, но по всему было видно, что в душе ее открытая рана. Любому другому показалось бы, что для нее ничего не значит нежная заботливость, с которой мисс Хелстоун старалась смягчить ее страдания, но Каролина понимала, что при всем своем внешнем безразличии миссис Прайор глубоко чувствует это внимание, ценит его и находит в нем исцеление.

— У меня нет уверенности в себе и решительности, — наконец сказала миссис Прайор. — Этих качеств мне всегда не хватало. Однако я надеялась, что мисс Килдар знает меня достаточно хорошо; знает, что я каждый раз всячески стараюсь все сделать как следует, чтобы все было к лучшему. Такая необычная просьба смутила меня, особенно после столь тревожной ночи. Я не решилась действовать на свой страх и риск! Но я надеюсь, что моя слабость никому не причинила вреда.

Кто-то осторожно постучал в полуоткрытую дверь.

— Каролина, пойди сюда! — позвал тихий голос.

Мисс Хелстоун вышла, — за дверью на галерее стояла Шерли. Вид у нее был смущенный и пристыженный, как у раскаивающегося ребенка.

— Как миссис Прайор? — спросила она.

— Очень огорчена, — ответила Каролина.

— Я была с ней так несправедлива, так несдержанна, что просто стыдно, проговорила Шерли. — И что я на нее накинулась? Ведь единственное, в чем ее можно обвинить, это в излишней добросовестности. Скажи ей, что я очень сожалею обо всем и пусть она меня простит!

Каролина выполнила это поручение с искренним удовольствием. Миссис Прайор не любила сцен; как всем скромным людям, они внушали ей настоящий ужас; поэтому она встала, подошла к двери и дрожащим голосом позвала:

— Идите сюда, дорогая!

Шерли стремительно бросилась в комнату, обняла свою компаньонку и, горячо ее целуя, проговорила:

— Вы должны простить меня, миссис Прайор! Я не вынесу, если вы меня не простите, если мы будем в ссоре!

— Мне нечего прощать, — ответила миссис Прайор. — Пожалуйста, забудем обо всем. Я просто лишний раз, и теперь уже окончательно, убедилась на сегодняшнем примере, что в серьезных делах ни на что не гожусь.

С этим тяжелым чувством миссис Прайор и осталась; не помогли никакие усилия Шерли и Каролины. Она могла простить своей воспитаннице все, но себе не прощала ничего.

В тот день мисс Килдар, видимо, не суждено было отдохнуть, все время она кому-нибудь была нужна, и тут ее тоже вскоре позвали вниз. Сначала приехал Хелстоун. Его она встретила горячими приветствиями и еще более горячими упреками; он ожидал и того и другого, но, будучи в отличном настроении, и то и другое принял одинаково добродушно.

Во время своего короткого визита он ни разу не вспомнил о племяннице; бунт, мятежники, фабрика, мировые судьи и сама мисс Килдар целиком поглотили его мысли, не оставив места для его собственной родни. Хелстоун заговорил о той роли, которую сыграли в защите фабрики он сам и его помощник.

— Весь гнев фарисеев изольется на наши головы за участие в этом деле, сказал он. — Но я не боюсь клеветников. Я был там, во имя справедливости и закона, чтобы выполнить свой долг мужчины и британца, который в данном случае полностью совпадал с моим долгом священнослужителя в его самом высшем значении. Ваш арендатор Мур, — продолжал он, — завоевал мое расположение. О таком хладнокровном и непоколебимом командире можно только мечтать. Кроме того, он показал себя человеком предусмотрительным и рассудительным: во-первых, он тщательно подготовился к событиям, а во-вторых, когда его замысел принес ему полный успех, он сумел воспользоваться победой с умом, не злоупотребляя своей силой. Сейчас кое-кто из мировых судей перепугался насмерть; подобно всем трусам, они склонны к жестокости, однако Мур сдерживает их с удивительным тактом. До сих пор его весьма недолгоблюдали в округе, но запомните мои слова, теперь общественное мнение изменится в его

пользу. Люди поймут, что были к нему несправедливы, и поспешат загладить свою ошибку, а сам Мур, когда увидит, что его достоинства получили должное признание, станет гораздо любезнее, нежели прежде.

Мистер Хелстоун хотел закончить свою речь полусерьезным, полущутливым предупреждением, чтобы мисс Килдар обратила внимание на слухи, которые ходят о ее пристрастном отношении к талантливому арендатору, но его прервал звонок у дверей, возвестивший о прибытии нового посетителя. Этот новый посетитель оказался седовласым пожилым джентльменом с презрительным взглядом и довольно свирепым выражением лица, — короче, это был наш старый знакомец и старый недруг Хелстоуна мистер Йорк. Завидев его, священнослужитель схватил шляпу, весьма поспешно распрощался с мисс Килдар и немедленно удалился, удостоив вновь прибывшего лишь суровым кивком.

Мистер Йорк был настроен далеко не благодушно и о событиях прошедшей ночи выражался отнюдь не изысканно, понося на чем свет стоит Мура, судей, солдат и главарей бунтовщиков — всех подряд. Однако самые сильные эпитеты поистине красу и гордость йоркширского диалекта — он приберег для попов, осмелившихся взяться за оружие, «этого кровожадного сатанинского отродья», то бишь для Хелстоуна и его помощника. По его словам, чаша преступлений, совершаемых церковью, поистине переполнилась.

— На сей раз они попали в хорошенькую историю! — говорил он. — Где это видано, чтобы попы якшались с солдатней, возились с пулями и порохом и убивали людей, которые в тысячу раз лучше их самих!

— А что стало бы с Муром, если бы никто ему не помог? — спросила Шерли.

— Что посеешь, то и пожнешь; сам заварил, самому и расхлебывать!

— Иначе говоря, вы бы оставили его одного лицом к лицу с этой толпой. Конечно, Мур достаточно храбр, но ведь один человек, при всем его мужестве, ничего не может сделать против двухсот!

— У него были солдаты; эти несчастные рабы всегда готовы за деньги продать свою кровь и пролить кровь других людей.

— Вы оскорбляете солдат точно так же, как священников. Для вас все, кто носит красные мундиры, — отъявленные негодяи, а все, кто ходит в черных сюртуках, — отъявленные мошенники. По-вашему, мистер Мур поступил дурно, когда прибег к помощи солдат, и еще хуже, когда принял помощь других. Послушать вас, — он должен был отдать свою фабрику и свою жизнь на милость разъяренной кучки обманутых безумцев, а мистер Хелстоун и все остальные джентльмены нашего прихода должны были тем временем сидеть и смотреть, как фабрика горит, а ее владельца убивают, не ударив пальцем о палец для их спасения!

— Если бы Мур с самого начала держал себя с рабочими, как полагается хозяину, он бы не возбудил в них такой ненависти к себе.

— Легко вам говорить! — воскликнула мисс Килдар, не в силах более спокойно выслушивать нападки на своего арендатора. — Ваша семья живет в Брайермейнсе вот уже шесть поколений, к вам самому люди за пятьдесят лет привыкли, вы знаете их обычаи, предрассудки и чаяния; вам-то легко действовать так, чтобы никто не был обижен! А мистер Мур в нашей округе чужой, он беден, у него нет друзей, и единственная его опора — это его личные качества: талант, энергия, честность, трудолюбие. Только это и помогло ему пробиться! Что за преступление он совершил, если людям не понравились его спокойствие и природная суровость, если он не мог держаться с чужими для него крестьянами так же свободно, шутливо и сердечно, как держитесь вы со своими городскими приятелями? Какой непростительный промах он сделал, когда начал вводить на фабрике усовершенствования, да еще сразу, никого не спросившись, не потихоньку и не постепенно, как это мог бы себе позволить крупный капиталист? Неужели за эти прегрешения он должен был стать жертвой толпы? Неужели ему отказано даже в праве защищаться? И неужели те, кто обладает сердцем настоящего мужчины, — кстати, у мистера Хелстоуна именно такое сердце, что бы вы о нем ни говорили, — должны быть объявлены преступниками лишь за то, что встали на сторону Мура, осмелились помочь одному человеку, когда против него было двести?

— Полно, полно, успокойся, — проговорил мистер Йорк, улыбаясь горячности Шерли.

— Успокоиться? По-вашему, я должна спокойно выслушивать явную бессмыслицу, и к тому же опасную бессмыслицу? Нет. Вы знаете, мистер Йорк, я отношусь к вам очень хорошо, но некоторые ваши взгляды меня просто возмущают. Вся эта ханжеская болтовня, — извините, но я повторяю, — вся эта болтовня о солдатах и священниках оскорбительна для моего слуха. Мне одинаково противны нелепые, бессмысленные вопли любого сословия, будь то аристократия или народ, всякие яростные нападки против другого сословия, будь то армия или духовенство, всякая несправедливость по отношению к любому человеку, будь то монарх или нищий, поверьте мне! Вся эта междоусобица, грызня партий, всякое тиранство, рядящееся под либерализм, мне просто ненавистны, и я их отвергаю. Вот вы воображаете себя филантропом, благодетелем, вы думаете, что защищаете свободу. Но я вам скажу: мистер Холл, священник из Наннли, гораздо больше делает и для людей, и для свободы, чем Хайрам Йорк, реформатор из Брайерфилда!

От любого мужчины, да и от большинства женщин, мистер Йорк вряд ли стал бы спокойно выслушивать подобные речи, но Шерли была искренна, хороша собой, и ее непритворный гнев забавлял его. Кроме того, в душе ему было приятно слышать, как горячо Шерли защищает своего арендатора, — мы уже говорили, что мистер Йорк принимал дела Роберта Мура весьма близко к сердцу. В то же время он знал, что стоит ему захотеть, и он с лихвой оплатит Шерли за ее дерзость; достаточно было одного слова, чтобы гнев ее испарился и поток слов иссяк, чтобы ее нежные щеки валила краска стыда, а сверкающие глаза померкли и укрылись под защиту опущенных век и ресниц.

Воспользовавшись мгновением, когда Шерли умолкла, скорее, впрочем, чтобы перевести дух, а не потому, что исчерпала эту тему или остыла, мистер Йорк спросил:

— Ну, что еще скажешь?

— Что еще? О мистер Йорк, я скажу! — ответила Шерли, быстрыми шагами расхаживая взад и вперед по дубовой гостиной. — Я скажу! Я еще многое могу сказать. Жаль только, что мне никогда не удавалось сделать это достаточно ясно и по порядку! Я скажу, что ваши взгляды и взгляды прочих сторонников крайних мер простительны только тем, кто не занимает сколько-нибудь видного



положения. Ведь это все — чистейшее фрондерство, только повод для разговоров, болтовня, которая никогда не перейдет в действие! Станьте вы завтра премьер-министром Англии, и вам придется немедленно отказаться от подобных взглядов. Вот вы порицаете Мура за то, что он защищал свою фабрику, но, будь вы на его месте, здравый смысл и совесть заставили бы вас действовать точно так же! Вы порицаете все, что делает мистер Хелстоун. У него, конечно, есть недостатки, иногда он поступает дурно, но чаще хорошо. Станьте завтра сами священником Брайерфилда, и вы убедитесь, что поддерживать и направлять всякую деятельность на пользу прихода и прихожан, как это делал ваш предшественник, — совсем не легкая задача. Не понимаю, почему это люди не могут справедливо относиться к самим себе и к своим ближним! Когда я слышу, как мистер Мелоун и мистер Донн разглагольствуют об авторитете церкви, о достоинстве и правах духовенства, об уважении, которое им следует оказывать, как служителям церкви, когда я слышу их мелочные, злобные нападки на сектантов, когда вижу их завистливость и высокомерие, когда их болтовня о традициях, обычаях и суевериях звучит в моих ушах, когда я наблюдаю, как презрительно они держатся с бедняками и как низкопоклонствуют перед богачами, тогда я думаю, что наша церковь и ее паства поистине сбились с пути и одинаково нуждаются в исправлении и обновлении. Я с огорчением отворачиваюсь от башен соборов и шпилей деревенских церквей, — с таким же огорчением, как церковный староста, которому необходимо побелить свой храм, да нет денег, чтобы купить известь, — и тогда вспоминаю вашу бессмысленную иронию, ваши остроты по поводу «жирных епископов», «изнеженных попов», «старушки церкви» и тому подобное. Я вспоминаю вашу нетерпимость ко всем, кто не согласен с вами, ваше огульное порицание людей и целых сословий, без всякого снисхождения к соблазнам жизни или обстоятельствам, и тогда, мистер Йорк, сомнение закрадывается в мою душу. Да полно, есть ли вообще на свете люди достаточно милосердные, рассудительные и справедливые, чтобы им можно было доверить такую задачу, как обновление и исправление? Во всяком случае, я уверена, что вы не из их числа.

— У тебя обо мне неправильное представление, Шерли. Ты ведь никогда не говорила со мной так откровенно!

— У меня не было такой возможности. Я только сидела на табурете Джесси возле вашего кресла в Брайермейнсе и целыми вечерами, скрывая волнение, слушала ваши речи, порой с восхищением, порой с возмущением. Я считаю вас превосходным старым йоркширцем, сэр; мне лестно, что я родилась в одном с вами графстве и в одном приходе. Вы правдивы, прямодушны и независимы, как утес, возвышающийся над волнами, но в то же время вы резки, грубы, ограничены и безжалостны.

— Только не с бедняками, девочка, и не с кроткими душами, а лишь с заносчивыми гордецами.

— А кто вам дал право, сэр, делать подобные различия? Более гордого, более заносчивого человека, чем вы сами, вам не сыскать! Вы можете мило болтать с теми, кто ниже вас, но когда доходит до тех, кто стоит выше, — тут вы слишком надменны, слишком завистливы, слишком заносчивы даже для того, чтобы соблюдать простую вежливость. А впрочем, все вы хороши! Хелстоун тоже горд и пристрастен. Мур, хоть он справедливее и деликатнее вас обоих, тоже высокомерен, суров и по отношению к обществу порядочный эгоист. Хорошо еще, что хоть изредка попадаются такие люди, как мистер Холл, — люди широкой, доброй души, которые любят всех своих ближних, которые способны простить другим даже такой грех, как большее, нежели у них самих, богатство, успех или власть. Такие люди, возможно, не столь оригинальны и не обладают столь сильной волей, как вы, однако они настоящие друзья для своих ближних.

— Итак, когда это состоится? — неожиданно спросил мистер Йорк, поднимаясь с кресла.

— Что состоится?

— Свадьба.

— Чья свадьба?

— Конечно, Роберта Жерара Мура, эсквайра, из коттеджа в лощине, и мисс Килдар, дочери и наследницы покойного Чарльза Кейва Килдара из поместья Филдхед.

Шерли взглянула на своего собеседника, заливаясь краской, но пламя в ее глазах не угасло, нет, даже разгорелось еще ярче.

— Вот как вы мне мстите, — медленно проговорила она, затем спросила: А что, разве это плохая партия для дочери покойного Чарльза Кейва Килдара?

— Девочка, Мур — настоящий джентльмен, его род так же древен и чист, как мой или твой.

— Разве нам с вами важна древность рода? Разве у нас есть фамильная гордость? Ведь, если не ошибаюсь, по крайней мере один из нас слывет республиканцем!

Йорк поклонился. Он не сказал ни слова, однако взгляд его выражал недовольство. Да, у него есть фамильная гордость, — это сквозило во всей его осанке.

— Мур, конечно, джентльмен, — повторила Шерли, уверенно и грациозно вскидывая голову. Она сдерживалась; слова так и рвались у нее с языка, но ей не хотелось давать им воли. Однако глаза ее были в тот миг выразительней всяких слов. Йорк старался и не мог постичь, о чем они говорят; в них было все, — явно, но непереводаемо, — настоящая пылкая поэма на неведомом языке. Это не был, однако, цельный рассказ или простое выражение чувств, ни тем более обыкновенное признание в любви; это было нечто совсем иное, более глубокое и сложное, чем он мог предположить, и мистер Йорк понял, что его мстительные слова не достигли цели. Он чувствовал, что Шерли торжествует; она радовалась его промаху, дурачила его и смеялась над ним. Теперь она наслаждалась создавшимся положением, а не он.

— Если Мур — джентльмен, то уж ты во всяком случае леди, поэтому...

— Поэтому в нашем союзе нет неравенства?

— Никакого.

— Благодарю за одобрение. Вы не откажетесь быть моим посаженным отцом, когда я захочу сменить фамилию Килдар на фамилию Мур?

Вместо ответа мистер Йорк с недоумением посмотрел на Шерли. Ему было невдомек, что означает ее взгляд, он не мог понять, шутит она или говорит серьезно: какой-то тайный смысл и чувство, добродушная шутка и одновременно едкое глумление скрывалась за ее подвижными чертами.

— Я тебя не понимаю, — сказал он, отворачиваясь.

Шерли рассмеялась.

— Не отчаивайтесь, сэр, вы не одиноки! Но если Мур меня поймет, этого будет достаточно, не правда ли?

— Отныне и впредь пусть Мур сам занимается своими делами; я больше не хочу о них ни знать, ни слышать.

Внезапная мысль мелькнула у Шерли; лицо ее изменилось как по мановению волшебной палочки: глаза вдруг потемнели, черты застыли, посуровели.

— Вас просили поговорить со мной об этом? — спросила она. — Вы меня расспрашиваете как чей-нибудь поверенный?

— Господи спаси и помилуй! Если кто хочет жениться на тебе, пусть сам о себе заботится. Оставь свои вопросы для Роберта, я больше не стану на них отвечать. Прощай, девочка!

\* \* \*

День был хороший, во всяком случае ясный: пушистые облака прикрывали солнце, и легкая дымка, не похожая, однако, на промозглый сырой туман, окутывала холмы синевой. Пока Шерли была занята своими посетителями, Каролина уговорила миссис Прайор надеть шляпку, накинуть летнюю шаль и отправиться с нею на прогулку к узкому концу лощины.

В этом месте кустарник и дубняк становились гуще, противоположные склоны долины сближались, образуя лесистый овраг. По дну его весь в пене и брызгах бурно стремился фабричный ручей; подрывая крутые берега, он продирался сквозь узловатые древесные корни, журчал и перепрыгивал с камня на камень. Здесь, всего в полумиле от фабрики, царило глубокое уединение, оно ощущалось и в тени девственной чащи, и в пении птиц, для которых эта чаща была родным домом. Здесь не было протоптанных тропинок; свежесть лесных цветов и трав говорила о том, что по ним редко ступала нога человека; густые кусты шиповника выглядели так, словно они набирали бутоны, расцветали и увядали под ревнивой охраной безлюдья и тишины, как красавицы в гареме султана. Здесь можно было увидеть и нежную лазурь колокольчиков, и жемчужно-белые головки каких-то других скромных цветов, рассыпанных в траве, как созвездия по небу.

Миссис Прайор любила тихие прогулки; она всегда избегала проезжие дороги, выбирая окольные и уединенные тропинки, однако

предпочитала не ходить одна, потому что испытывала безотчетный страх перед возможной встречей с докучливыми людьми, которые могли рассеять все очарование ее одиноких блужданий. Но с Каролиной она ничего не боялась. Когда суета людских жилищ оставалась позади и она вместе со своей единственной юной спутницей углублялась в спокойное царство Природы, в душе и всем облике миссис Прайор происходила поистине чудесная перемена. С Каролиной — и только с Каролиной — она словно сбрасывала некое бремя, лицо ее прояснялось и мысли избавлялись от пут; с нею она бывала весела, а временами даже нежна; с нею охотно делилась своими знаниями, опытом, и только тогда можно было представить себе, какую жизнь она прожила, какое образование получила, как развит ее ум и как чувствительна душа.

В тот день, например, во время прогулки миссис Прайор заговорила со своей спутницей о птицах, распевавших на деревьях; она припоминала их названия, описывала привычки и некоторые их особенности. Фауна и флора Англии, видимо, были ей хорошо знакомы. Она узнавала каждый цветок, попадавшийся им у тропинки; нежные растеньица, уютившиеся среди камней или в трещинах старых оград, растеньица, которые Каролина раньше просто не замечала, получали в устах миссис Прайор название и определение; чувствовалось, что она очень хорошо изучила природу английских полей и лесов.

Достигнув верхнего конца оврага, спутницы присели рядышком на серый замшелый камень на склоне крутого зеленого холма. Миссис Прайор огляделась и заговорила об окружающем их пейзаже, припоминая, каким он был много лет назад. Она говорила о том, как здесь все изменилось, и сравнивала эти места с другими частями Англии. В ее описании бессознательно проявлялось тонкое романтическое чувство, тяга к прекрасному, но порой и к обыденному, а ее способность сравнивать дикость природы и возделанные поля, великое с мелким, придавала ее речи прелесть рисунка, очаровательного в своей безыскусственности.

Каролина слушала ее с видимым удовольствием, и это ненавязчивое, почтительное внимание благотворно влияло на мысли и чувства ее спутницы. Видимо, миссис Прайор, с ее холодной непривлекательной внешностью, с ее застенчивыми манерами и

необщительностью, редко приходилось встречать у тех, кого она сама могла бы полюбить, такое чувство искренней симпатии и почтительного восхищения. Ее, несомненно, радовало сознание того, что юная девушка, к которой она сама, судя по взволнованному лицу и глазам, инстинктивно тянулась всем сердцем, тоже испытывает к ней дружеское расположение и смотрит на нее как на свою наставницу. Наклонившись к девушке и отводя с ее лба светло-каштановую прядь, выбившуюся из прически, миссис Прайор проговорила с несколько большим чувством, чем обычно себе позволяла:

— Надеюсь, нежный ветерок с холмов пойдет вам на пользу, дорогая Каролина. Мне бы хотелось, чтобы на этих щечках заиграл румянец; или вы всегда так бледны?

— Когда-то у меня были румяные щеки, — улыбаясь, ответила мисс Хелстоун. — Помню, года два назад из зеркала на меня смотрело другое лицо и круглее и розовее. В молодости, — добавила эта восемнадцатилетняя девушка, — все мы бываем беспечны и жизнь нам кажется безоблачной.

— Неужели, — продолжала миссис Прайор, усилием воли преодолевая мучительную застенчивость, которая даже сейчас не позволяла ей касаться тайн чужой души, — неужели в вашем возрасте вам уже приходится заботиться о будущем? Поверьте мне: не стоит этого делать! Пусть завтрашний день сам заботится о себе.

— Вы правы, милая миссис Прайор, и не будущее меня волнует. Огорчения настоящего бывают порой так тяжелы, — слишком тяжелы! — что я хотела бы избавиться от них больше всего на свете.

— Это... огорчения настоящего... это... ваш дядя... может быть, не... вам трудно понять... он не ценит...

Миссис Прайор так и не удалось закончить свою бессвязную фразу; она не решалась спросить, неужели мистер Хелстоун слишком суров к своей племяннице, но Каролина ее поняла.

— О, это пустяки! — ответила она. — У нас с дядей все хорошо, мы никогда не ссоримся, он меня не бранит, и даже строгим я его не назову. Порой мне хочется, чтобы хоть кто-нибудь на свете меня любил, однако это не относится к моему дяде. В детстве я, наверное, чувствовала бы себя очень одинокой, но слуги были ко мне добры, а со временем безразличие людей и нам становится безразлично. Дядя вообще недолго любит женщин и бывает любезен только с дамами,

которых встречает в обществе. Он измениться не может, да я и не хочу, чтобы он менялся, во всяком случае по отношению ко мне. Если бы он сейчас вдруг стал со мной нежен, это, наверное, меня бы огорчило и испугало. Но знаете, миссис Прайор, как живут в нашем доме? Время идет, часы проходят за часами, я что-то делаю, но я не живу! Я влачу существование. Я так редко радуюсь жизни! С тех пор как вы и мисс Килдар приехали сюда, я стала... я хотела сказать «счастливее», но это было бы неправдой.

Каролина примолкла.

— Почему неправдой? Разве вы не любите мисс Килдар?

— Я очень люблю Шерли. Я люблю ее и восхищаюсь ею, но все сложилось так мучительно для меня, что теперь, по причинам, которые я не могу объяснить, мне хочется уехать отсюда и забыть все.

— Вы как-то мне говорили, что хотите стать гувернанткой, однако я тогда же, если помните, не одобрила вашу мысль. Я сама была гувернанткой большую часть своей жизни, и самой большой удачей я считаю знакомство с мисс Килдар: ее способности и ее прекрасный характер сделали мою службу приятной и легкой. Но в молодости, еще до замужества, мне пришлось пройти через самые суровые и жестокие испытания. Я бы не хотела, чтобы моя... Я бы не желала, чтобы вы испытали что-либо подобное. Мне пришлось наняться в семью с непомерными претензиями. Все члены ее считали себя аристократами, верили в свое умственное превосходство и полагали, что в них «явлены все христианские добродетели», — что в душе у них горит свет обновления, а разум их дисциплинирован и непогрешим. Мне сразу дали понять, что я им «не ровня», а потому не могу рассчитывать «на их благосклонность». От меня даже не пытались скрывать, что считают меня «обузой и помехой». Я скоро заметила, что мужчины смотрят на меня, как на отщепенку, которой «запрещено оказывать обычные знаки внимания, как прочим женщинам», и которая, однако, «все время путается у них под ногами». Женщины в свою очередь ясно давали мне понять, что я им в тягость. Слуги не скрывали, что презирают меня, хотя я до сих пор так и не знаю почему. Мне говорили о моих воспитанниках: «Как бы они вас ни любили и как бы ни был глубок ваш интерес к их жизни, вы не можете стать друзьями». Мне указывали, что я «должна жить одна и никогда не преступать незримую, однако твердо определенную границу между мной и моими

нанимателями». Я вела в этом доме замкнутую, трудную жизнь, лишенную радостей. Страшная подавленность, постоянное чувство одиночества и обособленности, вызванное таким отношением ко мне, со временем сказались на моем здоровье, и я заболела. Хозяйка дома холодно заметила тогда, что я просто «жертва уязвленного тщеславия». Она намекнула, что, если я не постараюсь избавиться от «неудобного богу недовольства», не перестану «роптать против божественного предначертания» и не научусь относиться к своему положению с должным смирением, разум мой «разобьется» о скалу, которая уже погубила многих мне подобных, — о скалу уязвленного самолюбия, и что я, по-видимому, окончу свои дни в приюте для умалишенных. Я не стала возражать миссис Хардмэн, — это было бы бесполезно, однако ее старшей дочери я однажды высказала свои мысли. На это она мне ответила: «Конечно, в положении гувернантки есть свои неприятные стороны, иногда ей приходится трудно, но так и должно быть!» Она проговорила это с таким видом, что до сих пор, вспоминая, я не могу удержаться от улыбки. Затем она продолжала: «Я не вижу причин, не знаю способа, да и желания не имею что-либо изменять, ибо это противно всем нашим английским традициям, привычкам и правилам. Гувернантки, — заметила она, — всегда должны находиться в своего рода изоляции; это единственное средство удерживать их на известном расстоянии, как того требуют приличия и порядки английского дома».

Помню, я только вздохнула, когда мисс Хардмэн отошла от моей постели, но она услышала мой вздох и, повернувшись, сурово сказала: «Боюсь, мисс Грей, что вы в полной мере унаследовали самый страшный грех наших падших праотцев — грех гордыни. Вы горды и потому неблагодарны. Мама платит вам хорошее жалованье, и если бы у вас хватало здравого смысла, вы бы с признательностью примирились со всеми вашими утомительными и скучными обязанностями, поскольку вы получаете за них достаточное вознаграждение». Мисс Хардмэн, милая, была необычайно здравомыслящей девицей, наделенной всевозможными талантами. Знаете, аристократы действительно высший класс, который превосходит остальные классы во всех отношениях: в физическом, умственном и моральном. Я готова это признать, как истинный тори. Не берусь даже описывать, каким непререкаемым тоном и с каким видом все это было мне высказано; однако боюсь, что она все-таки



была эгоисткой. Мне совсем не хотелось бы говорить дурно о своих хозяевах, и тем не менее я думаю, что мисс Хардмэн была немного эгоистична.

Помолчав, миссис Прайор продолжала:

— Помню еще одно замечание мисс Хардмэн, которое она высказала с самым высокомерным видом: «Нам нужно, чтобы некоторые наши отцы совершали поступки опрометчивые, необычные, ошибочные и даже преступные, дабы засеять поле, с которого мы собираем урожай гувернанток. Как бы хорошо ни были образованы дочери ремесленников, им всегда не хватает породы, а потому они недостойны обитать в наших жилищах или воспитывать наших детей. Мы всегда предпочитаем тех, кто по рождению и тонкости воспитания хоть сколько-нибудь приближается к нам».

— Наверное, эта мисс Хардмэн считала себя выше всех своих ближних, заметила Каролина, — раз она говорила, что для ее благополучия необходимы их бедствия и даже преступления. Вы сказали, что она верила в Бога; должно быть, это была вера того фарисея, который благодарил Бога за то, что он не похож на других людей, а тем паче на мытарей.

— Дорогая, не стоит об этом говорить. Меньше всего я хочу пробудить в вас недовольство вашей судьбой или внушить чувство зависти и возмущения к людям, стоящим выше вас. Безоговорочное подчинение властям, глубокое уважение к тем, кто нас лучше, — а под ними я подразумеваю людей из высших сословий, — все это, по моему, совершенно необходимо для блага любого общества. Единственное, что я хотела сказать вам, дорогая, это, что вам лучше не пытаться стать гувернанткой: трудности нашей профессии будут непосильны для вашего здоровья. Я не сказала бы ни одного неуважительного слова о миссис или мисс Хардмэн, однако, вспоминая свою жизнь, я слишком хорошо понимаю, что с вами станет, попади вы в услужение к подобным людям; сначала вы будете мужественно бороться со своей судьбой, но скоро исстрадаетесь, сделаетесь слишком слабой для такой работы и совершенно сломленной вернетесь домой, — если к тому времени у вас еще останется дом. Потянется вереница томительных лет. Одни лишь сами страдальцы да ближайшие друзья знают, как мучительно тяжело их бремя. А потом придет чахотка или одряхление. Такова история

многих жизней, и я бы не хотела, чтобы ваша была такой же. А теперь, дорогая, пройдемтесь немного, прошу вас.

Они встали и медленно пошли по зеленому уступу над краем оврага.

— Дорогая моя, — вскоре вновь заговорила миссис Прайор, преодолевая смущение, которое проявлялось в отрывистости и бессвязности ее речи. Девушки, особенно те, кого природа не обделила... обычно... часто... мечтают... надеются... надеются выйти замуж... смотрят на замужество как на конечную цель, вершину всех мечтаний...

Здесь миссис Прайор замялась. Каролина поспешила к ней на помощь, выказывая поистине удивительное самообладание и мужество; если бы ей самой пришлось затронуть столь острую тему, она вряд ли была бы так смела.

— Конечно, девушки мечтают о замужестве, да это и естественно, заговорила она с такой спокойной уверенностью, что миссис Прайор была поражена. — И на замужество с любимым человеком они смотрят как на самый дорогой, единственно дорогой подарок судьбы, какого они только могут ожидать. Но разве они не правы?

— Ах, милая! — воскликнула миссис Прайор, стискивая руки, но тут же снова умолкла.

Каролина бросила испытующий взгляд на лицо своей спутницы: оно выражало крайнее волнение.

— Милая, — снова пробормотала миссис Прайор, — жизнь так часто нас обманывает.

— Но не любовь! Любовь существует, и это самое реальное, самое прочное, самое сладостное и в то же время самое горестное из всего, что мы знаем.

— Да, моя дорогая, любовь очень горька. Говорят, что она сильна, сильна, как смерть. Многие заблуждения в нашей жизни сильны. Что касается ее сладости, то нет ничего более быстролетного, более преходящего, чем сладость любви. Какое-нибудь мгновение, миг — и нет ее! Зато горечь остается навсегда, она может исчезнуть лишь на заре вечности, но пока длится время, она будет жалить и терзать тебя, превращая жизнь в беспросветный мрак.

— Да, она терзает непрерывно и неустанно, — согласилась Каролина. Если только она не взаимна.

— Взаимная любовь! Дорогая, романы пагубно влияют на вас. Надеюсь, вы их не читаете?

— Читаю иногда, если только удастся найти. Но сочинители романов, по-видимому, сами ничего не знают о любви, если судить по их писаниям.

— Совершенно ничего! — с горячностью подтвердила миссис Прайор. — Ни о любви, ни о замужестве. Картины, которые они рисуют, не имеют ничего общего с действительностью и заслуживают самого сурового порицания. Они показывают лишь соблазнительную бархатисто-зеленую поверхность болота и не говорят ни одного правдивого слова о трясине, которая таится в глубине.

— Но любовь не всегда трясина! — возразила девушка. — Бывают и счастливые браки. Когда люди искренне привязаны друг к другу, когда их взгляды гармонично сочетаются, брак должен быть счастливым!

— Он никогда не бывает по-настоящему счастливым. Двое людей не могут слиться воедино. Кто знает, при определенном стечении обстоятельств нечто похожее, возможно, и случается, но слишком редко, так что гораздо разумнее не рисковать, — вы можете совершить роковую ошибку. Будьте довольны тем, что у вас есть, дорогая, и пусть каждый одинокий человек довольствуется своей свободой.

— Вы повторяете слова моего дяди! — испуганно воскликнула Каролина. Вы говорите, как миссис Йорк в самые мрачные ее минуты или как мисс Мэнн, когда ее одолевает беспросветная тоска. Это просто ужасно!

— Нет, это просто правда. Дитя мое, вы только вступили в сияющее утро жизни; изнурительный жаркий полдень, печальный вечер и темная ночь для вас еще впереди. Вы обмолвились, что мистер Хелстоун говорит так же, как и я. Но что бы сказала миссис Мэттьюсон Хелстоун, будь она жива? Увы, она умерла! Она умерла.

— Увы, а мой отец с матерью! — воскликнула Каролина, потрясенная скорбными воспоминаниями.

— Что с ними случилось?

— Разве я вам никогда не говорила? Они расстались...

— Об этом я слышала.

— Должно быть, они были очень несчастны.

— Вот видите, все факты подтверждают мои слова.

— В таком случае, брак вообще не должен существовать.

— Должен, моя дорогая, хотя бы для того, чтобы доказать, что эта жизнь — лишь юдоль испытаний, в которой нам нет ни отдыха, ни вознаграждения.

— Но ведь сами вы были замужем, миссис Прайор.

Миссис Прайор вздрогнула и отпрянула, как если бы грубая рука коснулась ее обнаженных нервов, Каролина поняла, что этих слов ей не следовало говорить.

— Мое замужество оказалось несчастливym, — проговорила наконец миссис Прайор, набравшись мужества. — И все же...

Тут она снова заколебалась.

— И все же, — подсказала Каролина, — оно не было такой уж непоправимой ошибкой?

— Во всяком случае, не его последствия, — продолжала миссис Прайор более мягким тоном. — Порою Бог вливает бальзам милосердия даже в чашу, наполненную безысходнейшей скорбью. Он может так изменить ход событий, что один и тот же необдуманный, опрометчивый поступок, который был проклятием половины вашей жизни, станет потом ее благословением. У меня необычный характер, я знаю, далеко не легкий, не гибкий и порой несдержанный. Я не должна была вообще выходить замуж; таким, как я, нелегко найти родственную душу, а приноровиться к несходной еще труднее. Я прекрасно сознавала, что не гожусь для брака, и никогда бы не вышла замуж, если бы не была так несчастна, пока служила гувернанткой. А кроме того...

Глаза Каролины просили ее продолжать; они умоляли ее рассеять непроницаемое облако безысходности, которым окутали жизнь ее предыдущие слова.

— Кроме того, дорогая, мистер... то есть джентльмен, за которого я вышла замуж, скорее был исключением, а не правилом. Во всяком случае, надеюсь, что не многим выпало на долю испытать такое или перенести столько страданий, сколько вынесла я. Эти страдания едва не довели меня до безумия. Надежды на облегчение не было, казалось, я уже никогда не стану самой собой. Но, моя дорогая, я вовсе не хочу вас запугивать; я хочу только предупредить вас и доказать вам, что одинокие люди не должны стремиться изменить свою жизнь, ибо она может измениться к худшему.

— Благодарю вас за ваши добрые намерения, но мне не грозит опасность совершить ошибку, на которую вы намекаете. Во всяком случае, я о замужестве не думаю, и именно поэтому хочу как-то обеспечить свое будущее.

— Выслушайте меня, дорогая. Я хорошо обдумала все, что собираюсь вам сказать; по сути дела я не переставала размышлять об этом с того самого дня, когда впервые услышала от вас, что вы подыскиваете себе место. Вы знаете, что сейчас я живу в доме мисс Килдар на правах ее компаньонки. Когда она выйдет замуж, — а она выйдет замуж, и скоро, на это указывает очень многое, — компаньонка станет ей не нужна. Должна вам сказать, что у меня есть скромный капитал, частично образовавшийся из моих собственных сбережений, а частично полученный мною по наследству несколько лет назад. Покинув Филдхед, я буду жить в своем собственном доме. Но жить одной невыносимо, а родственников, с которыми я хотела бы разделить мое уединение, у меня нет, ибо, как я уже говорила, мои привычки и вкусы отличаются некоторыми особенностями. Стоит ли говорить, что к вам, дорогая, я привязана всей душой? Рядом с вами я чувствую себя счастливее, чем с кем бы то ни было! (Последние слова миссис Прайор особенно подчеркнула.) Ваше общество для меня — бесценный дар, неоценимая радость и покой. Вы должны переехать ко мне, Каролина. Вы не откажетесь? Надеюсь, вы сможете меня полюбить?

И, произнеся эти два коротких вопроса, миссис Прайор умолкла.

— Право, я вас люблю, — последовал ответ. — Мне бы очень хотелось жить с вами, но вы слишком добры...

— Я оставляю вам все, что имею, — вновь заговорила миссис Прайор. — Вы будете обеспечены. Только никогда больше не говорите, что я слишком добра. Вы раните меня прямо в сердце, дитя мое!

— Но, дорогая миссис Прайор, подобное великодушие... я ведь не имею ни малейшего права!..

— Тш-ш-ш! Не говорите об этом. Есть вещи, слышать которые невыносимо! О, начинать все сначала, конечно, поздно, но я могу прожить еще несколько лет; стереть прошлое мне никогда не удастся, но, может быть, хоть недолгое будущее станет иным?

Миссис Прайор была глубоко взволнована, слезы дрожали в ее глазах и скатывались по щекам. Каролина ласково поцеловала ее,

тихонько приговаривая:

— Я очень люблю вас. Не надо, не плачьте.

Но тут силы оставили миссис Прайор, она села, уронила голову на колени и разрыдалась. Пока эта буря чувств не улеглась, ничто не могло ее успокоить. Наконец слезы ее высохли сами собой.

— Бедняжка, — пробормотала миссис Прайор, целуя Каролину. — Несчастливая одинокая девочка! Но полно! — вдруг резко закончила она. — Пойдемте, нам пора возвращаться.

Сначала миссис Прайор шла очень быстро, однако постепенно успокоилась, и к ней вернулась привычная сдержанность и ее всегдашняя характерная походка, весьма своеобразная, как и все ее движения. А к тому времени, когда они добрались до Филдхеда, миссис Прайор снова замкнулась в себе и обрела свой обычный непроницаемый вид.

## ГЛАВА XXII

### Две жизни

Защищая фабрику, Мур лишь наполовину раскрыл свой энергичный и решительный характер; его вторая страшная половина проявилась в том неутомимом, неумолимом упорстве, с которым он продолжал преследовать главарей мятежа. Остальных бунтовщиков, всю эту толпу, он оставил в покое. Очевидно, врожденное чувство справедливости подсказало ему, что недостойно мстить беднякам, ожесточенным лишениями и обманутым лживыми советчиками, и что отвечать насилием на насилие, обрушивая его на склоненные головы и без того пострадавших людей, может только тиран, но не судья. Во всяком случае, несмотря на то что под конец схватки, когда уже начинало светать, Мур многих узнал и теперь ежедневно встречал на улице и на дорогах знакомые лица, он никому не грозил и вообще не показывал вида, что узнает их.

Но главарей он не знал. Все они были нездешними, посланцами из больших городов. Большинство даже не принадлежало к трудящемуся сословию. Главным образом это были, как говорится, «опустившиеся люди», неудачники, вечно в долгах и часто во хмелю, отчаянные головы, которым терять было нечего, зато приобрести, — с точки зрения репутации, состояния и моральной чистоплотности, — не мешало бы еще многое. Таких людей Мур преследовал, как гончая, и даже находил удовольствие в своем новом занятии; связанные с ним переживания, похожие на охотничий азарт, пришлись ему по душе куда больше, чем изготовление сукон.

Зато его коню эти дни, должно быть, запомнились как самые ненавистные; никогда еще его не гоняли так часто и так беспощадно. Мур чуть ли не ночевал на дорогах; свежий воздух, заполнявший его легкие, и полицейская слежка, захватившая его душу, были ему одинаково приятны, гораздо приятнее зловонья красилена. Чиновников округи он приводил в трепет; это были медлительные, робкие люди, и Мур не без удовольствия пугал их и подстегивал. Он прекрасно видел, что только страх делает все их решения столь расплывчатыми, а все действия столь нерешительными, — они попросту боялись, что их

убьют. Именно это по-прежнему больше всего пугало фабрикантов и всех видных людей округа. Один Хелстоун ничего не боялся. Старый вояка отлично знал, что его могут пристрелить, знал, что рискует головой, но подобная смерть была ему не страшна; если бы у него был выбор, он предпочел бы умереть именно так.

Мур тоже сознавал опасность, но единственным результатом этого было бесконечное презрение к тем, кто мог ему действительно угрожать. Сознание того, что он преследует убийц, действовало на него, как шпоры на коня. Что же до страха, то он был слишком горд, слишком непреклонен и, если хотите, слишком флегматичен, чтобы испытывать страх. Не раз возвращался он ночами через пустошь при свете луны или в кромешной тьме, и при этом настроение у него бывало гораздо лучше, а все чувства много острее и свежей, чем в затхлой безопасности конторы.

В деле были замешаны четыре главаря. За первые пятнадцать дней двое из них были выслежены и пойманы в окрестностях Стилбро; остальных двоих следовало искать дальше, — предполагалось, что они скрываются где-то близ Бирмингема.

Тем временем Мур не забывал и свою пострадавшую фабрику. Отремонтировать ее оказалось несложно, — для этого потребовались только плотники да стекольщики. Бунтовщикам не удалось ворваться внутрь, и все машины, эти мрачные, железные любимицы Мура, уцелели.

Находил ли Мур минутку среди неотложных дел, занимавших все его помыслы, и обязанностей жестокого правосудия, чтобы поддерживать пламя более светлое, нежели огонь мести, пылающий в храме Немезиды, — трудно сказать. В Филдхед он заглядывал редко, а если и заглядывал, то ненадолго; в дом Хелстоуна являлся только для того, чтобы посоветоваться с хозяином в его кабинете, и никогда не отступал от этого правила.

А время шло, все такое же смутное и полное тревог; гроза войны гремела не переставая, затянувшийся ураган по-прежнему опустошал Европу, и не было ни малейшего признака, что небо скоро прояснится; ни одного просвета в тучах пыли и клубах дыма над полем брани, ни одного утра чистой росы, столь благодатной для олив, — непрерывный кровавый дождь возвращал смертоносные лавры славы для победителя. Тем временем саперы и минеры Разорения продолжали



вести подкоп под Мура, и куда бы он ни направлялся, на лошади или пешком, где бы он ни был, — сидел ли в своей конторе или скакал по мрачному Рашеджу, — всюду он слышал глухое эхо пустоты и чувствовал, как земля содрогается у него под ногами.

Так проходило лето для Мура. Но как же шло оно для Шерли и Каролины? Давайте сначала посетим хозяйку Филдхеда. Как она выглядит? Может быть, как влюбленная пастушка, которая страдает, чахнет и томится по своему невнимательному пастушку? Может быть, она сидит целыми днями, склонившись над каким-нибудь рукоделием, или не расстаётся с книгой, или что-нибудь шьет и глаза ее заняты только этим, уста молчат и невысказанные мысли теснятся в голове?

Ничего подобного! Шерли чувствует себя превосходно. Лицо ее, как всегда, грустно-задумчиво, но и беззаботная улыбка осталась прежней! От ее присутствия старый, темный помещичий дом кажется светлей и веселее; звонкое эхо ее голоса привычно заполняет коридор и выходящие в него низкие комнаты, сумрачная прихожая с единственным окном радуется, когда в ней то и дело шуршит шелковое платье хозяйки, которая переходит из комнаты в комнату, то с букетом для ярко-розовой гостиной, то в столовую, чтобы распахнуть окна и впустить в дом аромат шиповника и резеды, то с цветочными горшками, переноса чахнувшие растения с темного лестничного окна ближе к солнцу, на порог открытой застекленной двери.

Иногда она принимается за шитье, но, видно, ей не суждено посидеть спокойно и пяти минут; едва она успевает взять наперсток и продеть нитку в иглу, как внезапная мысль заставляет ее снова взбегать по лестнице: то за старым игольником в виде книжки с корешком из слоновой кости, о котором она только что вспомнила, то за еще более старой шкатулкой для рукоделия с фарфоровой крышкой, которая ей совершенно ни к чему, но в эту минуту кажется необходимой; потом для того, чтобы привести в порядок прическу или прибрать ящик комода, в котором еще поутру заметила удивительный беспорядок, или же просто для того, чтобы взглянуть из какого-нибудь окошка на какой-нибудь вид, — скажем, в ту сторону, где церковь Брайерфилда и дом священника так мило выглядывают из зелени деревьев. Потом она возвращается в гостиную, берет в руки кусок батиста или наполовину вышитый квадрат канвы, но тут за дверью слышится дерзкое царапанье Варвара, его приглушенное повизгиванье, и ей снова

приходится бежать, чтобы впустить собаку; день жаркий, пес входит, тяжело дыша, — значит, надо его проводить на кухню и собственными глазами убедиться, есть ли вода в его плошке. А там сквозь открытую кухонную дверь виден весь двор, веселый, залитый солнцем и заполненный птицей: здесь и индюшки со своими индюшатами, и павы со своими птенцами, и жемчужно-крапчатые цесарки, и всевозможные голуби — белые, сизые и коричневые с красными хохолками. Ну как тут удержаться? Шерли бежит в кладовую за булкой, возвращается и, стоя на пороге, начинает разбрасывать крошки, а вокруг весело гомонят и толкутся ее раскормленные пернатые вассалы. Джон возится в конюшне; с ним тоже надо поговорить, а заодно взглянуть на свою кобылу. Пока Шерли похлопывает и поглаживает ее, возвращаются коровы для дойки, а это тоже очень важно; хозяйка должна остаться и сама за всем присмотреть. А вдруг окажется, что какая-нибудь мамаша отгоняет бедного теленочка-сосунка, — так ведь бывает, когда рождаются двойняшки! Джон должен показать их мисс Килдар, позволить ей покормить несчастеньких из собственных рук, — разумеется, под его заботливым наблюдением. Тем временем Джон задает всяческие вопросы о том, что ему делать с таким-то «клином», с таким-то «лужком» и с таким-то «островком». Приходится хозяйке надевать широкополую соломенную шляпу и идти вместе с ним к перелазу в ограде и дальше вдоль живой изгороди, чтобы решить эти вопросы прямо на месте, когда такой-то «клин», «лужок» или «островок» будет у нее перед глазами. Жаркий день сменяется мягким вечером; Шерли возвращается в дом лишь к позднему чаю, а после чая она обычно уже не шьет.

После чая Шерли читает, а когда в ее руках книга, она становится столь же усидчивой, сколь была непоседлива, когда держала в руке иглу. Она устраивается на скамеечке для ног или просто на ковре возле кресла миссис Прайор — так она привыкла с детства учить уроки, а старые привычки остаются у нее надолго. Рядом с нею всегда оказывается Варвар с его рыжей львиной шкурой и черной мордой, опущенной на передние лапы, могучие, прямые и мускулистые, как у альпийского волка. Одна рука хозяйки обычно покоится на лохматой голове боготворящего ее раба, потому что стоит Шерли убрать руку, как пес начинает недовольно ворчать. Шерли целиком погружена в

чтение; она не поднимет глаз, не шевелится, не говорит ни слова, разве только вежливо отвечает миссис Прайор, которая время от времени делает ей укоризненные замечания.

— Дорогая, зачем вы позволяете этой огромной собаке ложиться так близко, она мнет вам край платья.

— О, это простой муслин, завтра я могу надеть чистое.

— Дорогая, мне бы хотелось, чтобы вы приучились читать, сидя за столом.

— Я как-нибудь попробую, но ведь гораздо удобнее делать то, к чему привыкнешь.

— Дорогая, лучше бы вы отложили книгу, в комнате темно, и вы утомляете глаза.

— Что вы, миссис Прайор, нисколько! У меня глаза никогда не устают.

Но вот наконец на страницы падает через окно бледный свет; Шерли поднимает голову: это взошла луна. Тогда она закрывает томик и выходит из комнаты. Наверное, ей попалась хорошая книга, потому что она освежила и согрела ее сердце, наполнила воображение новыми образами. Тихая гостиная, чистый камин и раскрытое окно, за которым распахивается вся ширь сумеречного небосвода с торжествующей «бледной царицей ночи», восходящей на свой небесный трон; этого более чем достаточно, чтобы земля показалась Шерли райским садом, а жизнь — прекрасной поэмой. Спокойная, глубокая и безграничная радость разливается по ее жилам, радость чистая и недостижимая для людей, ибо дарована она не людьми; это чистый дар творца своему созданию, дар природы своей дочери. Такая радость приобщает ее к царству духов. Легко и бодро по изумрудным ступеням, по веселым холмам, среди зелени и света она возносится на высоту, откуда ангелы смотрели на спящего Иакова в Вефиле,<sup>[103]</sup> и там глаза ее обретают зоркость, душа раскрывается и жизнь предстает перед ней такой, как ей хочется. Нет, даже не как ей хочется, Шерли ничего не успевает пожелать; все вдруг само озаряется чудным сиянием, стремительным и пламенным; оно множит свое великолепие быстрее Мысли, которой за ним не угнаться, и быстрее Желания, которое не успевает облечься в слова. Когда наступают минуты подобного экстаза, Шерли не произносит ни звука, — она замирает в безмолвии; и если миссис Прайор в такое мгновение пытается с ней заговорить, Шерли просто

выходит из комнаты и поднимается по лестнице на полутемную галерею.

Если бы Шерли не была таким ленивым, безрассудным и невежественным созданием, она бы в такие минуты, наверное, сразу взялась за перо или во всяком случае поспешила бы это сделать, пока воспоминания еще свежи в памяти; тогда бы она уловила и закрепила свои видения и дала бы им истолкование. Если бы она была хоть немного восприимчивее, если бы у нее была хоть чуть-чуть посильнее любовь к собственности, она взяла бы лист бумаги и полностью описала своим оригинальным, но ясным и разборчивым почерком все, что мы здесь рассказывали, эту песню, пропетую для нее, и таким образом завладела бы тем, что ей удалось создать. Но она и ленива, и безрассудна, и невежественна, ибо не понимает, насколько редкостны и драгоценны ее видения, насколько своеобразны чувства. Она не знала, не знает и никогда не узнает истинной ценности того светлого источника, который струится в ее душе, не давая ей увянуть.

Шерли смотрит на жизнь легко; это каждый может прочесть по ее глазам. Разве не заполняет их ленивая нежность в часы хорошего настроения и разве не сверкают в них молнии во время коротких вспышек гнева? Весь ее характер в ее огромных серых глазах; чаще всего они выражают безмятежное спокойствие, насмешливую снисходительность, лукавство, но стоит ее рассердить, — и в них вспыхивают красные искры и прозрачная роса мгновенно превращается в пламя.

В конце июля мисс Килдар собиралась вместе с Каролиной совершить поездку по Северному морю, и они бы поехали, если бы как раз в это время Филдхед не подвергся внезапному нашествию: шайка благовоспитанных грабителей осадила Шерли в ее доме и заставила сдаться на милость победителей. Целая семья — дядя, тетка и две двоюродных сестры — мистер, миссис и две мисс Симпсон из поместья Симпсон-Гроув нагрянули к мисс Килдар с официальным визитом. Законы гостеприимства обязывали ее сдаться, что она и сделала довольно легко, немало удивив этим Каролину, которая знала, как быстро и находчиво умеет действовать Шерли, когда по-настоящему хочет чего-нибудь добиться. Мисс Хелстоун даже спросила подругу, почему она так охотно смирилась. Та объяснила, что не смогла устоять перед воспоминаниями: еще ребенком она прожила

у Симпсонов целых два года. Каролина спросила, нравятся ли ей ее родственники. Шерли ответила, что у нее нет с ними ничего общего. Правда, маленький Гарри Симпсон, единственный сын Симпсонов, совершенно не похожий на своих сестер, когда-то ей очень нравился, но он не приехал в Йоркшир, — во всяком случае пока еще не приехал.

В следующее воскресенье на скамье мисс Килдар в Брайерфилдской церкви появился чистенький, чопорный и беспокойный пожилой джентльмен, который беспрестанно поправлял очки и все время ерзал на месте, а с ним терпеливая и безмятежная пожилая дама в коричневом шелковом платье и две образцовые юные леди образцового поведения, в образцовых нарядах. Шерли среди них выглядела не то черным лебедем, не то белой вороной и казалась весьма несчастной. А теперь оставим ее ненадолго в этом почтенном обществе и посмотрим, как живет мисс Хелстоун.

Каролина снова осталась совсем одна в унылом сером доме при церкви; суматоха, вызванная приездом гостей, словно отпугнула ее от Филдхеда; она не решалась встречаться с Шерли на глазах ее блистательной родни. С утра она одиноко бродила по уединенным тропинкам, бесконечные, скучные дни проводила одна в тихой гостиной, куда солнце после полудня уже не заглядывало, или спускалась в беседку, где оно сияло ярко, но все же безрадостно, вспыхивая лишь на созревающих ягодах красной смородины, прикипшей к решетке, да на лепестках роз, и сидела там в своем белом летнем платье недвижимая, как мраморная статуя. Здесь читала она старые книги из библиотеки дяди; греческие и латинские авторы были ей недоступны, а весь набор английской литературы почти целиком умещался на полке, некогда отведенной для ее тетки Мэри. Там было несколько старых дамских альманахов, в свое время совершивших со своей владелицей морское путешествие, повидавших бурю и потому испещренных пятнами соленой воды; несколько сумасшедших методистских журналов, наполненных всяческими чудесами, видениями, сверхъестественными пророчествами, зловещими снами и безудержным фанатизмом; такие же сумасшедшие «Письма миссис Элизабет Роу от Мертвых к Живым» и совсем немного старой английской классики. Из этих увядших цветов Каролина выпила весь нектар еще в детстве, и теперь они казались ей безвкусными. Для разнообразия, а также чтобы делать какое-то доброе дело, она бралась

за иглу и шила одежду для бедных по указаниям доброй мисс Эйнли. Но порой, когда слезы навертывались у нее на глаза и начинали капать на какое-нибудь платье, скроенное и сметанное этой превосходной женщиной, Каролина невольно спрашивала себя: как удастся мисс Эйнли сохранять постоянную безмятежность в ее одиночестве?

«Я ни разу не видела мисс Эйнли огорченной или подавленной, — думала Каролина. — А ведь ее домик так мал, так невзрачен и нет у нее ни светлой надежды в жизни, ни близкого друга на земле. Правда, помню, она однажды говорила, что приучила свои мысли обращаться только к небесам. Она смирилась с тем, что у нее нет и не было радостей в этом мире, и, наверное, надеется на блаженство на том свете. Так же думают и монахини, — в запертой келье с железным светильником, на ложе, узком, как гроб, в платье, прямом, как саван. Она часто говорит, что не боится смерти, что могила ее не страшит. Возможно. Ведь не испытывал же страха Симеон Столпник<sup>[104]</sup> на вершине своего столпа среди пустыни, и индийский отшельник также не боится своего ложа, утыканного железными остриями. И тот и другой совершили насилие над природой, извратив естественные чувства приятного и неприятного, и оба стали ближе к смерти, чем к жизни. Я вот боюсь смерти, но, может быть, это потому, что я еще молода? Впрочем, бедная мисс Эйнли тоже, наверное, больше ценила бы жизнь, если бы у нее было больше радостей. Не для того Бог создал нас и дал нам жизнь, чтобы мы все время помышляли о смерти! Всей душой верю, что по замыслу Божьему мы должны ценить жизнь и радоваться ей, пока она нам дана. Жизнь не должна быть тупым, бесполезным, бесцветным и медленным прозябанием, каким она стала для многих и становится для меня.

Не знаю, кого в этом винить, — думала Каролина. — Никто не виноват в том, что мир так устроен. И сколько бы я ни ломала голову, я не могу сказать, что нужно сделать, чтобы все изменилось к лучшему. Я только чувствую: что-то где-то не так! Я верю, что одинокая женщина способна на большее; если бы ей дали возможность, она нашла бы себе более интересное и полезное занятие, чем находит сейчас. И когда я так думаю, мне кажется, что Бог не гневается на меня за эти мысли: ведь я не ропщу, не святотатствую, не выказываю неверия или нетерпения. Бог слышит немало стенаний, с состраданием внимает поистине неисчислимым жалобам, которых человек не хочет

слышать и только хмурится в бессильном гневе, — все это служит мне утешением. Я говорю «в бессильном» гневе, ибо замечая, что, когда общество не может само исцелить свои язвы, оно запрещает упоминать о них под страхом всеобщего презрения, но презрение — это всего лишь показная мишура, под ней прячут мучительный недуг. Люди не любят, когда им напоминают о тех язвах, которые они не могут или не желают излечить сами. Такое напоминание заставляет людей чувствовать свою беспомощность или, что еще хуже, принуждает их делать какие-то неприятные усилия, нарушает их покой и раздражает их.

Бедные старые девы, как и бездомные, безработные бедняки, не должны просить для себя какого-то места или занятия: такие требования беспокоят богатых и счастливых, такие просьбы тревожат родителей. Взять хотя бы девушек из многочисленных семейств по соседству, всех этих Армitedжей, Бертвислов, Сайксов и прочих. Их братья все заняты делами или службой, все что-то делают. А сестры? Из всех земных дел на их долю осталась только работа по дому да шитье, из всех земных удовольствий — бессмысленные визиты и никакой надежды на что-либо лучшее до конца жизни. Эта безнадежность губит их здоровье, — они всегда недомогают, — угнетает их разум и придает их взглядам поразительную ограниченность. Самая заветная мечта, единственное желание каждой из них — это выйти замуж, но большинство никогда не выйдет замуж; они умрут, как живут. Все они интригуют, соперничают, наряжаются, стараясь заполучить себе мужа. А мужчины над ними смеются, отворачиваются от них и не ставят их ни во что. Они говорят, — я сама не раз слышала, как они это говорили с ехидной насмешкой, — «рынок невест переполнен!». Отцы повторяют то же самое, злятся, когда видят уловки своих дочерей, и приказывают им сидеть дома. А что им делать дома? Если спросите, вам ответят: шить и стряпать. От женщин требуется только одно, — чтобы они занимались этим постоянно, повседневно, всю жизнь, без единой жалобы, словно у них нет больше никаких задатков, никаких способностей к чему-либо другому. Но думать так — это все равно что утверждать, будто сами отцы способны только на то, чтобы есть пищу, приготовленную дочерьми, и носить сшитую ими одежду. Разве сами мужчины могли бы так жить? Разве им не было бы тоскливо и скучно? Да если бы у них не было никакой

надежды избавиться от подобного бремени, а любое проявление недовольства каралось упреками, они давно бы посходили с ума!

«Слабому полу», как они нас называют, часто ставят в пример Лукрецию, которая пряла со своими служанками до полуночи, или «добродетельную жену» из притчей Соломоновых.<sup>[105]</sup> Не знаю. Может быть, Лукреция и была достойнейшей женщиной, очень похожей на мою кузину Гортензию Мур, но она, по-моему, замучила своих служанок. Мне бы не хотелось быть одной из них. Гортензия тоже заставляла бы меня и Сару работать до полуночи, но мы бы, наверное, этого не вынесли.

«Добродетельная жена» поднимала весь дом на ноги, когда было еще совсем темно и, как говорит миссис Сайкс, «завтракала в час ночи». Но она не только пряла и раздавала работу, она владела мастерской — выделывала покрывала и продавала их; она была помещицей — покупала землю и насаждала виноградники. Эта женщина была хозяйкой, или, как говорят наши почтенные соседки, она была «умной женщиной». Во всяком случае, мне она нравится гораздо больше Лукреции. Мне кажется, в торговых делах она взяла бы верх над мистером Армитеджем или мистером Сайксом, и уже этим она мне нравится.

«Крепость и красота — одежда ее... Уверено в ней сердце мужа ее... Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Встают дети и ублажают ее, встает муж и хвалит ее».

О царь Израиля, твоя образцовая жена достойна подражания! Но разве в наши дни мы можем походить на нее? Скажите, мужчины Йоркшира, разве ваши дочери могут подняться до этих царственных высот и разве можете вы им в этом помочь? Разве можете вы предоставить им поле деятельности, на котором они могли бы совершенствоваться и развивать свои способности? Мужчины Англии! Взгляните на своих бедных дочерей, которые увядают подле вас, обреченные на преждевременную старость, скоротечную чахотку, либо, — что еще хуже, становятся угрюмыми старыми девами, завистливыми, злоязычными и несчастными, ибо жизнь для них — пустыня; либо, наконец, — что хуже всего, — стараются недостойным кокетством и унижительными ухищрениями заполучить через брак то положение и почет, которого лишена одинокая женщина. Отцы! Неужели вы не можете ничего изменить? Может быть, не все сразу, но



подумайте над этим хорошенько, взгляните на это как на самый серьезный вопрос, достойный размышлений, не отшучивайтесь от него беззаботно, не отделывайтесь грубыми оскорблениями. Если вы хотите гордиться своими дочерьми, а не краснеть за них, найдите им какое-нибудь полезное дело, которое поставило бы их выше кокетства, интриг и злобных сплетен. Если вы будете сковывать и ограничивать разум ваших дочерей, они по-прежнему останутся вашей доукой и обузой, а иногда и вашим позором. Но если вы будете просвещать их, давать им простор и полезное дело, они станут вашими самыми веселыми друзьями, пока вы здоровы, самыми нежными сиделками в дни болезни и самой верной опорой в старости».

## ГЛАВА XXIII

### Вечер в гостях

Этот летний день Каролина провела в полном одиночестве: дядя ее уехал в Уинбери. Долгие часы, безмолвные, безоблачные и безветренные, тянулись бесконечно, и Бог весть сколько их прошло с рассвета! Они были так томительны и тоскливы, словно Каролина погибала среди бескрайних, безлюдных песков Сахары, где нет ни деревца, ни тени, а не сидела в беседке в цветущем саду английского дома. Шитье лежало у нее на коленях, игла безостановочно сновала, глаза следили за ней и направляли руку, а в голове неустанно роились мысли. Фанни подошла к дверям, взглянула на цветник, на лужайку и, не обнаружив нигде своей хозяйки, позвала:

— Мисс Каролина!

— Да, Фанни, — отозвался тихий голос.

Он донесся из беседки, и Фанни поспешила туда. В руках у нее была записка, которую она вложила в пальчики Каролины, такие бессильные, что казалось, им ее не удержать. Мисс Хелстоун не спросила, от кого записка, и, даже не взглянув, уронила ее в складки своего рукоделья.

— Ее принес Гарри, сын Джо Скотта, — сказала Фанни.

Служанка отнюдь не была волшебницей и не знала заклинаний, однако ее слова произвели на молодую хозяйку поистине магическое действие: она сразу встрепелась, вскинула голову и устремила на Фанни совсем не грустный, а, наоборот, живой вопрошающий взгляд.

— Гарри Скотт? Кто же его прислал?

— Он пришел из ложины.

Оброненное письмо было мгновенно подобрано, печать сломана, — Каролина пробежала его за две секунды. В любезной записке Гортензия Мур извещала свою юную кузину о том, что она вернулась из Вормвуд-Уэллса, что сегодня она одна, так как Роберт отправился на базар в Уинбери, и что для нее было бы величайшим удовольствием, если бы Каролина пожаловала к ней на чашку чая. Далее добрая леди выражала уверенность, что перемена обстановки пойдет на пользу Каролине, которая осталась в печальном

одиночестве, без надежной советчицы и приличного общества после размолвки Роберта с мистером Хелстоуном, отдалившим Каролину от ее «*meilleure amie*<sup>[106]</sup> Гортензии Жерар Мур». В постскриптуме Гортензия просила Каролину немедленно надеть шляпку и поспешить к ней.

Но Каролину незачем было торопить; она отложила коричневый детский передничек голландского покроя для благотворительной корзинки, который обшивала тесьмой, взбежала по лестнице, спрятала кудри под соломенную шляпку и накинула на плечи шелковую черную шаль, простые складки которой так шли к ее фигуре, а темный цвет так подчеркивал белизну платья и мягкие краски ее нежного лица; она была рада хоть на несколько часов ускользнуть от грустного одиночества, этого наваждения ее жизни; она была рада спуститься по зеленым полям в лощину, вдохнуть запах простых придорожных цветов, более сладкий, чем ароматы лилии или махровой розы. Правда, она знала, что Роберта не застанет, но одно посещение лощины было для Каролины счастьем; она так долго с ним не встречалась и не говорила, что теперь, даже если она просто увидит его дом, войдет в комнату, где он сидел еще утром, это будет уже равносильно встрече. Даже такая иллюзия оживила мисс Хелстоун; мысль об этом следовала за Каролиной по пятам, как незримая добрая фея; нежными взмахами крыльев она ласкала щеки девушки, и ветерок с голубого летнего неба доносил ее шепот:

«Пока ты будешь в его доме, Роберт может вернуться, и тогда ты хотя бы увидишь его лицо, хотя бы подашь ему руку и, может быть, даже минутку посидишь с ним рядом».

«Молчи!» — сурово отвечала она, а сама жадно вслушивалась в этот добрый утешительный лепет.

Мисс Мур, очевидно, увидела из окна, как мелькнуло за кустами сада белое развевающееся платье Каролины, потому что вышла из дома, чтобы встретить ее у дверей. Как всегда негибимо-прямая и невозмутимая, она и сейчас двигалась без всякого волнения и спешки, — ничто не могло нарушить степенность ее походки. Однако когда Каролина с искренней радостью и сердечной теплотой обняла и поцеловала ее, мисс Мур позволила себе улыбнуться. В приятном заблуждении и совершенно польщенная, она нежно повела свою питомицу в дом.

Именно в приятном заблуждении! Если бы не это заблуждение, мисс Мур вероятнее всего просто выставила бы Каролину за калитку, не впустив даже в сад! Если бы она знала, в чем главная причина этой по-детски непритворной радости, Гортензия Мур, наверное, была бы одновременно разгневана и оскорблена. Сестры не выносят юных девушек, которые влюбляются в их братьев, им кажется, что здесь какая-то ошибка, в лучшем случае недоразумение, если не просто наглость, или глупость, или порочность. Ведь сами они не питают к своим братьям такой любви, какие бы нежные сестринские чувства они к ним ни испытывали, — а потому, когда в них влюбляется кто-то другой, это кажется сестрам отталкивающей и нелепой романтичностью. Первым их чувством в таких случаях, — как и у большинства родителей, обнаруживших, что их дети влюблены, — чаще всего бывает насмешливая неприязнь. Если это разумные люди, они вовремя подавляют столь несправедливое чувство, в противном же случае первое впечатление оказывается сильнее их и они до конца своих дней недолгобливают невестку.

— Поверив моей записке, ты, наверное, рассчитывала, что я буду одна, заметила мисс Мур, направляясь к гостиной. — Но я писала тебе утром, а потом явились гости.

Она отворила дверь, и Каролина увидела широченную волну красных юбок, почти скрывавшую под собой кресло возле камина, и торжественно возвышающийся над ними чепец, более грозный, нежели царская корона. Этот чепец был принесен в огромной сумке, — вернее, в большом шаре из черного шелка с распорками из китового уса. Оборки и складки чепца окружали голову его владелицы венцом шириной в четверть ярда; он был отделан великим множеством узких атласных лент, собранных в бантики и сложные узлы. Сооружение это красовалось на голове миссис Йорк, — оно было ее неременной принадлежностью, как и пышное платье, которое шло ей точно в такой же степени.

Сия важная особа по-дружески заглянула к мисс Мур на чашку чая. С ее стороны это была почти такая же редкая и неслыханная милость, как если бы сама королева без приглашения заехала к какой-нибудь своей скромной подданной и согласилась закусить с ней чем Бог послал; большей чести миссис Йорк не могла оказать! Ибо, как

правило, она презирала визиты и чаепития и не ставила ни во что всех соседских дам и их дочерей, считая их попросту сплетницами.

Тем не менее для мисс Мур она делала исключение; Гортензия была ее любимицей, и миссис Йорк неоднократно выказывала ей свою благосклонность: останавливалась, чтобы поболтать с ней на церковном дворе по воскресеньям, почти радушно приглашала ее к себе в гости в Брайермейнс, и вот сегодня даже почтила ее визитом. Свое предпочтение миссис Йорк объясняла тем, что мисс Мур — женщина скромная, отнюдь не болтливая и безупречного поведения, а кроме того, иностранка, которой необходима дружеская поддержка. К этому она могла бы прибавить, что некрасивое лицо Гортензии, ее строгие платья, ее флегматичность и непривлекательность служили для нее как бы дополнительной рекомендацией. Во всяком случае, дамы с противоположными качествами, красивые, живые и со вкусом одетые, — не часто удостоивались ее одобрения. Миссис Йорк порицала в женщинах все, чем обычно восхищаются мужчины, и одобряла то, чем они, как правило, пренебрегают.

Каролина приблизилась к величественной матроне не без робости. Она ее мало знала и еще меньше знала, какой прием окажут ей как племяннице священника. И действительно, миссис Йорк встретила ее довольно холодно, Каролина была рада отвернуться под предлогом того, что ей надо снять шляпку, и таким образом скрыть свое смущение. Тем приятнее было для нее внезапное появление маленькой фигурки в голубом платье с голубым поясом, возникшей неожиданно, как фея, рядом с креслом величественной дамы, — пока девочка сидела там на скамеечке для ног, ее совершенно не было видно за широкими складками красного платья. Подбежав к мисс Хелстоун, эта фея доверчиво обхватила ее руками за шею и подставила щечку для поцелуя.

— Мама с вами неласкова, — проговорила девочка, с улыбкой возвращая поцелуй, — а Роза вас не замечает, они всегда так! Если бы вместо вас вошел белый ангел в венце из звезд, мама все равно осталась бы такой же надменной, а Роза даже не подняла бы головы. Но я буду вашей подругой, вы мне всегда нравились.

— Джесси, придержи язык и угомонись! — проговорила миссис Йорк.

— Но, мама, почему вы такая строгая! — возразила Джесси. — Мисс Хелстоун не сделала вам ничего плохого, почему вы с ней так не приветливы? Сидите чопорно, смотрите холодно, отвечаете сухо, — почему? И с мисс Шерли Килдар, и со всеми другими девушками, которые к нам приходят, вы такая же. А Роза, это просто авт... ат... забыла слово! Ну, в общем, такая машина, похожая на человека. Дай вам волю, вы бы всех повыгоняли из Брайерфилда. Мартин все время это говорит!

— Значит, я автомат? Прекрасно! В таком случае оставь меня в покое! проговорила Роза из своего угла, где она сидела на ковре возле книжного шкафа с открытым томиком на коленях. — Здравствуйте, мисс Хелстоун! добавила она, бросив быстрый взгляд на Каролину, и снова опустила свои удивительные серые глаза.

Каролина ответила ей долгим изучающим взглядом. Девочка была целиком погружена в книгу; она читала не отрываясь, и губы ее бессознательно шевелились, — это была одна из ее особенностей. Мисс Хелстоун была тактична и обладала тонким чутьем; она понимала, что Роза Йорк — не простой ребенок, может быть, единственный в своем роде, и умела с ней обращаться. Спокойно подойдя к ней, она села на ковер рядом с девочкой и тоже начала читать, глядя в книгу через ее хрупкое плечико. Это был «Итальянец», роман миссис Радклифф.

Некоторое время Каролина молча читала вместе с ней, и наконец Роза удостоила ее вниманием; прежде чем перевернуть страницу, она спросила:

— Вы дочитали?

Каролина только кивнула.

— Вам нравится? — вскоре опять спросила Роза.

— Раньше, когда я была еще девочкой, это меня захватывало и поражало.

— Почему?

— С самого начала этот роман обещал столько чудесного, и у меня было предчувствие, что передо мной развернутся события сказочные, необыкновенные.

— Да, когда читаешь, словно уносишься далеко-далеко от Англии, правда? Словно ты в самом деле в Италии, где все другое, даже небо — синее южное небо, которое описывают путешественники.

— Тебе это нравится, Роза?

— После таких книг, мисс Хелстоун, очень хочется самой отправиться в далекое путешествие.

— Когда вырастешь, может быть, твое желание и сбудется.

— Если само не сбудется, я все равно что-нибудь придумаю. Не вечно же мне сидеть в Брайерфилде. Земля не так уж велика по сравнению с целой вселенной, и мне хочется хотя бы посмотреть, как выглядит наша круглая планета.

— Что же ты хочешь посмотреть?

— Сначала объехать наше полушарие, потом другое. Я решила, что моя жизнь будет настоящей жизнью; я не стану сидеть, цепenea от черной тоски, словно крыса под могильной плитой, или медленно умирать, как вы в своем доме в Брайерфилде.

— Как я? Что это значит, дитя мое?

— Разве не все равно, умирать от скуки или вечно сидеть взаперти в этом доме рядом с кладбищем? Когда я иду мимо, он всегда напоминает мне склеп с окошками. На пороге ни души, за стеной ни звука, и кажется даже, что у вас и дым-то никогда не идет из трубы! Что вы там делаете?

— Я читаю, шью, занимаюсь...

— Вы счастливы?

— А разве я буду счастливее, странствуя в чужих краях, как мечтаешь ты?

— Гораздо счастливее, даже если придется только странствовать и ничего больше. Правда, я хочу это делать с какой-нибудь целью, но даже если вы будете просто всегда в пути, как заколдованная принцесса из волшебной сказки, вы будете счастливее, чем сейчас. Вы увидите столько холмов, лесов и ручьев, и все будут разные, и все будет меняться на глазах под облачным небом или под ярким солнцем, в дождь или в ясную погоду, ночью или при свете дня. А у вас в доме ничто не меняется: та же известка на потолке, те же обои на стенах, те же занавески, кресла, ковры — все то же самое.

— Разве для счастья необходимы перемены?

— Да.

— Может быть, перемены и означают счастье?

— Не знаю, но чувствую, что и унылое однообразие и смерть — это почти одно и то же.

Тут в разговор вмешалась Джесси.

— Ну, разве моя сестрица не сумасшедшая? — спросила она.

— Боюсь, Роза, — продолжала Каролина, — что бродячая жизнь, во всяком случае для меня, кончится так же, как в этой книге, — разочарованием и душевной усталостью.

— Неужели «Итальянец» кончается так?

— Когда я читала, мне казалось, что так.

— Лучше перепробовать все и убедиться, что все суета, чем ничего не попробовать и прожить пустую жизнь. Поступать так — это все равно что зарывать в землю свой талант, это такой же грех, как презренная лень.

— Роза, настоящее удовлетворение дает только сознание исполненного долга, — заметила миссис Йорк.

— Правильно, мама! Если создатель дал мне десять талантов,<sup>[107]</sup> мой долг пустить их все в оборот и все их приумножить вдвое. Не хранить же золото в пыли комода! Я не стану прятать свои таланты в старый чайник и запирать их в буфете среди чайной посуды. Я не стану заворачивать их в шерстяной чулок, чтобы они задохнулись в вашем столике для рукоделия. Я не стану их укладывать и в бельевого шкафа, где простыни сделаются их саваном, и уж наверняка ни за что на свете, слышите, мама? — Роза поднялась с ковра и продолжала стоя: — Ни за что на свете я не спрячу их в суповую миску вместе с холодной картошкой, чтобы они не заплесневели среди хлеба, масла, пирогов и окороков на полках кладовой!

Она на миг умолкла, затем продолжала:

— Мама, Бог, который дал нам всем таланты, когда-нибудь вернется и со всех спросит отчет. Чайник, старый чулок, бельевого шкафа и расписная суповая миска предъявят тогда свои скудные и никому не нужные сбережения во многих домах. Разрешите же хотя бы вашим дочерям пустить их таланты в оборот, чтобы они могли, когда придет время, с процентами вернуть создателю то, что ему причитается!

— Роза, я велела тебе захватить образчик для вышивания, — ты его взяла?

— Да, мама.

— Садись и вышей несколько меток для белья.



Роза быстро села и беспрекословно принялась за работу. Минут десять прошло в молчании. Наконец миссис Йорк спросила:

— Ну как, ты все еще считаешь себя несчастной жертвой?

— Нет, мама.

— Однако же, если я правильно поняла твою тираду, тебя возмущает всякая женская работа по хозяйству.

— Вы меня не так поняли, мама. Мне было бы очень жаль, если бы я не умела шить, и вы правильно делаете, что учите меня и заставляете работать.

— Даже когда прошу заштопать носки твоих братьев или подрубить простыни?

— Да.

— В таком случае к чему все твои пышные фразы и разглагольствования?

— Неужели я должна заниматься только этим? Я буду делать и это, но я хочу сделать больше. Я свое слово сказала, мама. Сейчас мне всего двенадцать лет, и, пока мне не исполнится шестнадцати, я больше не стану заговаривать о талантах; четыре года я буду покорно и трудолюбиво обучаться всему, чему вы сможете меня научить.

— Видите, каковы мои дочки, мисс Хелстоун? — обратилась к Каролине миссис Йорк. — Из молодых, да ранние! У Джесси не сходит с языка «мне хочется», «я предпочитаю», а Роза — та просто дерзит: «я буду», «я не буду»! Вы слышали?

— Но ведь я всегда говорю так не без причины, мама; кроме того, такие «дерзости» вы слышите не чаще раза в год, когда подходит мой день рождения; в такие дни душа просит высказать вслух все, что накопилось, — о моей жизни, о моем воспитании. И тогда я осмеливаюсь говорить и говорю, и, если вы не хотите слушать, не слушайте, мама.

— Я бы посоветовала всем девушкам, — продолжала миссис Йорк, — пока они не вышли замуж и не завели своих детей, внимательно изучать все детские характеры, какие им попадаются; тогда, быть может, они поймут, какая это ответственность — заботиться о беззаботных, какая мука — убеждать строптивых, какой неблагоприятный, тяжелый труд — воспитывать даже самых лучших!

— Когда любишь детей, это не должно быть так уж трудно, — возразила Каролина. — А матери любят своих детей даже сильнее, чем

самих себя!

— Красивые слова и весьма чувствительные. С грубой практической стороной жизни вам, барышня, видимо, еще только предстоит познакомиться.

— Но, миссис Йорк, когда я беру на руки ребенка, — скажем, ребенка какой-нибудь бедной женщины, — я чувствую, что по-настоящему люблю это маленькое беспомощное существо, хотя я ему и не мать! Я готова сделать для него все и охотно сделала бы, если бы его полностью вверили моим заботам и он был целиком на моем попечении.

— Вы чувствуете! Ну, разумеется! Ведь вами руководит только чувствительность. Вы, конечно, считаете себя весьма утонченной натурой. Но знаете ли вы, что со всеми своими романтическими идеями вы дошли до того, что даже личико у вас эдакое постоянно томное, словно у какой-нибудь героини романа? Подобное выражение вряд ли подходит женщине, которой предстоит пробивать себе путь в реальном мире, опираясь на здравый смысл, вы не находите?

— Нет, миссис Йорк, я этого за собой не замечала.

— Тогда оглянитесь и посмотрите в зеркало. Сравните свое лицо с лицом какой-нибудь крестьянки с молочной фермы, которая встает рано и работает допоздна!

— У меня лицо бледное, но вовсе не такое уж сентиментальное, а что касается крестьянок, то пусть они румянее и крепче меня, зато они, как правило, и глупее и невежественнее. Я думаю больше и соображаю лучше простой молочницы; значит, в тех случаях, когда нужно соображать, они будут ошибаться, а я буду действовать правильно.

— О нет! Вам всегда будет мешать ваша чувствительность. Вы всегда будете подчиняться сердцу, а не рассудку.

— Конечно, чувства будут часто влиять на мои поступки: на то они нам и даны. Когда сердце прикажет любить, я должна полюбить, и я полюблю. Надеюсь, если у меня когда-нибудь будут муж и дети, сердце прикажет мне и научит их любить. И, надеюсь, все мои чувства тогда будут достаточно сильны, чтобы укрепить эту любовь.

Каролина говорила с горячностью и сама этому радовалась; ей было приятно, что она осмелилась высказать все это миссис Йорк, не заботясь о том, какие несправедливые колкости она может услышать в

ответ. Поэтому она только вспыхнула, но не от гнева, а от волнения, когда суровая матрона холодно ее оборвала:

— К чему такой драматизм? На меня он не действует, так что не старайтесь понапрасну. Вы хорошо говорите, очень красиво, но кто вас слышит? Одна старая замужняя женщина и одна старая дева. Для таких речей здесь явно не хватает холостого мужчины. Уж не прячется ли за портьерой мистер Роберт, скажите нам, мисс Мур?

Гортензия, которая пропустила большую часть разговора, так как хлопотала на кухне, готовя чай, не поняла всей соли и страшно удивилась. Совершенно серьезно она ответила, что Роберт сейчас в Уинбери. Миссис Йорк рассмеялась свойственным ей коротким смешком.

— Браво, мисс Мур, — сказала она покровительственно. — Только вы могли понять мой вопрос так буквально и ответить на него так просто. Вам-то чужды всякие интриги! Вокруг вас могут происходить самые странные вещи, и вы ни о чем не догадаетесь, — вы не из тех, кого называют прозорливыми.

Видимо, этот двусмысленный комплимент не особенно понравился Гортензии. Она выпрямилась и сдвинула свои черные брови, но вид у нее по-прежнему был недоумевающий.

— Я с детства отличалась осмотрительностью и умением разбираться в людях, так все говорили, — возразила мисс Мур; видимо, эти качества были ей особенно дороги.

— Поручиться могу, уж вы-то никогда не затевали интриг, чтобы заполучить себе мужа, — продолжала миссис Йорк. — А потому, не обладая опытом, не можете угадать, когда такими делишками занимается кто-нибудь другой.

Эти «милые» слова поразили Каролину в самое сердце, как того и добивалась благожелательная обличительница. Она даже не нашлась, что возразить; в тот миг она была совершенно беззащитна, ибо любой ее ответ ясно показал бы, что удар попал в цель.

Миссис Йорк злорадно взирала на Каролину; девушка сидела с пылающими щеками, смущенно опустив глаза, и ее взволнованное лицо выражало такую боль и унижение, что матрона была полностью удовлетворена. Эта странная женщина питала врожденную неприязнь ко всем застенчивым, чувствительным натурам, а хорошенькие, нежные и к тому же юные лица были для нее тем более несимпатичны.

Правда, ей не часто доводилось встречать все эти неприятные качества у одного человека, и еще реже случалось, что такой человек оказывался целиком в ее власти, когда она могла бы над ним поизмываться вволю. К тому же сегодня миссис Йорк была особенно язвительна и непримирима, и потому, как злобный козел-вожак, склонив голову и выставив рога, чтобы боднуть побольнее, она снова ринулась в атаку:

— Ваша кузина Гортензия — примерная сестра. Девицам, которые являются сюда ловить свое счастье, ничего не стоит с помощью самой простой женской хитрости обворожить хозяйку дома, а потом водить ее за нос, не правда ли, мисс Хелстоун? Кстати, если не ошибаюсь, вы очень цените общество вашей кузины?

— Гортензия всегда была ко мне очень добра.

— Про сестер, у которых есть холостой брат, все их незамужние подруги говорят, что они очень добры!

Каролина медленно подняла глаза; смущение в них исчезло, взгляд был тверд, синева его глубока и холодна, а лицо, с которого сбежала краска стыда, побледнело и стало решительным.

— Что вы хотите этим сказать, миссис Йорк? — спросила она.

— Я хочу преподать вам урок — показать разницу между истинной честностью и хитрыми уловками и сентиментами.

— Вы полагаете, я нуждаюсь в таком уроке?

— Большинство теперешних девиц в нем нуждается. А вы вполне современная девушка — скучненькая, нежненькая, склонная к уединению, то бишь, насколько я понимаю, просто считающая обычных людей недостойными вашего внимания. Но обычные, обыденные, честные люди много лучше, чем вы о них думаете. Они куда лучше какой-нибудь девчонки, с головой, набитой романтическими бреднями, которая и носа не кажет из дома своего дядюшки, не выглядывает даже за калитку сада...

— И следовательно, о которой вы сами ничего не знаете! Простите, Впрочем, простите вы меня или нет, не имеет значения, — вы напали на меня без всякого повода, и я буду защищаться, не прося извинений. Вы ничего не знаете о моих отношениях с этим домом. В приступе раздражения вы стараетесь отравить их ничем не оправданными оскорбительными подозрениями, в которых гораздо больше лжи, хитрости и фальши, нежели во всех моих поступках. Да,

иногда я бываю бледна, иногда грустна, но вас это не касается. Да, я люблю книги и не расположена к сплетням, но это касается вас еще меньше. А то, что моя голова будто бы набита романтическими бреднями, так это ваши предположения. Да, я племянница священника, но это не преступление, хотя вы, по своей ограниченности, можете быть, и считаете это преступлением. Вы меня не любите, но у вас нет причин меня не любить, а потому держите свою неприязнь при себе. И если впредь вы вздумаете выражать ее столь же оскорбительно, я вам отвечу еще откровеннее, чем сейчас.

Каролина умолкла; она была бледна и вся кипела от скрытого возмущения, однако в продолжение всей своей речи она ни разу не повысила голоса; серебристо-ясный, он звучал ничуть не громче обычного. Только кровь незримо пульсировала в ее жилах быстрее, чем всегда.

Миссис Йорк не смогла даже оскорбиться, — с такой суровой простотой, так гордо и спокойно ее поставили на место. Как ни в чем не бывало она повернулась к мисс Мур и проговорила, одобрительно кивая чепцом:

— Оказывается, у нее все-таки есть характер! Всегда говорите вот так откровенно, — продолжала она, обращаясь к Каролине, — и вы своего добьетесь!

— Я отвергаю столь оскорбительный совет, — тем же ясным голосом, с таким же твердым взглядом ответила мисс Хелстоун. — Мне противны советы, отравленные ядом подозрений. Я буду говорить так, как считаю нужным, — это мое право, и ничто меня не заставит вас слушаться. До сих пор я никогда еще так не говорила; к столь резкому тону и столь грубым словам я буду прибегать лишь в ответ на незаслуженные оскорбления.

— Мама, вы нашли достойного противника! — провозгласила маленькая Джесси, которой эта сцена показалась весьма поучительной.

Роза, слушавшая все с бесстрастным лицом, теперь вступила в разговор:

— О нет, мисс Хелстоун для мамы не противник, она волнуется, и мама скоро ее доконает. Вот Шерли Килдар — другое дело! Маме еще ни разу не удалось задеть ее за живое. У мисс Килдар под шелковым платьем такая броня, которую даже ей не пробить.

Миссис Йорк частенько жаловалась на строптивость своих детей. Даже странно было, что при всей ее строгости, при всей ее «силе воли» она не имела над ними никакой власти; один взгляд отца значил для девочек куда больше, чем все ее наставления.

Мисс Мур было до крайности неприятно положение бессловесной свидетельницы в этой перепалке, как всякая второстепенная роль; теперь, наконец обретя уверенность, она начала обличительную речь, доказывая, что обе стороны неправы, что им обоим должно быть стыдно, ибо в подобных случаях следует обращаться к высшему авторитету, под которым она, конечно, подразумевала себя; но, к счастью для всех слушательниц, не прошло и десяти минут, как ее прервали. В дверях появилась Сара с чайным подносом и отвлекла внимание хозяйки, во-первых, золоченым гребнем в прическе и красными бусами на шее, что и было ей немедленно поставлено в упрек, а во-вторых, самим фактом своего появления, заставившим хозяйку заняться приготовлением чая.

После чаепития Роза вернула Гортензии хорошее настроение, принеся гитару и попросив ее что-нибудь спеть, а затем отвлекла умелыми расспросами о музыке вообще и об игре на гитаре в частности.

Джесси тем временем не отходила от Каролины. Сидя на скамеечке у ее ног, она заговорила с ней сначала о религии, потом перешла на политику. Джесси привыкла впитывать каждое слово отца, а затем легко и остроумно, хотя и не всегда понимая суть дела, пересказывать его мнения, раскрывая таким образом его взгляды и отношение к людям как дружелюбное, так и неприязненное. Она громко порицала Каролину за ее приверженность к англиканской церкви и за то, что ее дядя — священник. Она сообщила ей, что та живет за счет своих сограждан и что ей следовало бы честно зарабатывать себе на жизнь, вместо того чтобы пребывать в непростительной лени и питаться «хлебом безделья», то есть доходами в виде церковной десятины. Затем Джесси перешла к обзору тогдашнего кабинета, воздавая по заслугам всем его членам. Без всяких церемоний помянула она лорда Каслри и мистера Персиваля и обоим дала такую характеристику, которая порознь вполне подошла бы Молоху и Велиалу. Она заклеимила войну как всеобщую бойню, а лорда Веллингтона назвала «наемным мясником».

Каролина внимала разглагольствованиям Джесси с искренним интересом. Джесси была от природы наделена бесспорным чувством юмора; невыразимо смешно было слушать, как она повторяла отцовские обличения со всеми особенностями его живого северного диалекта, проявляя горячность и вольнодумство настоящего якобинца в муслиновом платице с кушаком. Язык ее, от природы совсем не язвительный, был не груб, а скорее простонароден, и выразительные гримаски маленького личика придавали каждой ее фразе особую, захватывающую пикантность.

Каролина шикнула на Джесси, когда та накинулась было на лорда Веллингтона, зато следующая тирада, направленная против принца-регента, доставила ей явное удовольствие. По искоркам в ее глазах и по смешливым морщинкам вокруг губ Джесси сразу поняла, что наконец попала в точку и эта тема нравится ее слушательнице. Она не раз слышала, как отец за завтраком рассуждал о «толстом пятидесятилетнем Адонисе», и теперь с удовольствием пересказывала все замечания мистера Йорка по этому поводу — по-йоркширски откровенными словечками.

Но прости меня, Джесси, я больше не буду писать о тебе! Сейчас вечер, снаружи осенняя слякоть и непогода. В небе всего одна туча, но она окутала всю землю от полюса до полюса. Ветер не знает устал; рыдая, мечется он среди холмов, мрачные силуэты которых кажутся черными в туманных сумерках. Дождь весь день хлестал по колокольне; она возвышается темной башней над каменной оградой кладбища, где все — и высокая трава, и крапива, и сами могилы — пропитано сыростью. Сегодняшний вечер мне слишком напоминает другой точно такой же, осенний, пасмурный и дождливый, но то было несколько лет назад. Те, кто посетил в тот непогожий день свежую могилу на протестантском кладбище чужой страны, собрались в сумерках у камелька. Они были разговорчивы и даже веселы, однако все чувствовали, что в их кругу образовалась какая-то пустота, которую ничто никогда не заполнит. Они знали, что утратили нечто незаменимое, о чем они будут жалеть до конца своих дней, и каждый думал о том, что проливной дождь мочит сейчас и без того сырую землю, скрывающую их утраченное сокровище, над которым стонет и плачет осенний ветер. Огонь согревал их, Жизнь и Дружба еще дарили

им свое благословение, а Джесси лежала в гробу, холодная и одинокая, и лишь могильная земля укрывала ее от бури.

\* \* \*

Миссис Йорк сложила свое вязанье, решительно оборвала урок музыки и лекцию о политике и распрощалась, чтобы вернуться в Брайермейнс засветло, пока закат еще не угас и тропинка через поля не совсем отсырела от вечерней росы.

После ухода почтенной дамы и ее дочерей Каролина почувствовала, что ей тоже пора накинуть свою шаль, поцеловать кузину и отправляться домой. Если она еще задержится, станет совсем темно, Фанни придется ее встречать, а как раз сегодня — Каролина это помнила — у них большая стирка и пекут хлеб, так что служанка и без того была занята. И все же она не могла заставить себя подняться со своего кресла у окна гостиной; из этого маленького окошка открывался такой неповторимо прекрасный вид! Оно все заросло по бокам жасмином, но сейчас, в восьмом часу вечера, белые звездочки цветов и зеленые листья казались серыми карандашными набросками, прелестными по очертаниям, но бесцветными на фоне золотисто-пурпурного заката, когда августовская синева неба купалась в пламени угасающего дня.

Каролина видела калитку, по бокам которой росли высокие мальвы, она видела густую живую изгородь из бирючины и лавра, окружавшую сад, но глаза ее искали в этом замкнутом пространстве нечто иное: они хотели увидеть знакомую фигуру человека, который выступил бы из-за кустов и вошел через калитку в сад. И, наконец, она увидела человеческую фигуру, нет, даже две! Сначала прошел Фредерик Мергатройд с ведром воды, а за ним — Джо Скотт, позванивая связкой ключей на пальце. Они шли, чтобы запереть на ночь фабрику и конюшни, а после отправиться по домам.

«Надо и мне собираться, — подумала Каролина, со вздохом приподнимаясь с кресла. — Я с ума схожу, только терзаю себя понапрасну. Во-первых, если я даже буду сидеть здесь дотемна, — он все равно не придет, я сердцем чувствую: судьба на страницах вечности написала, что сегодня мне радости не дожидаться. А во-



вторых, если он и придет сейчас, мое присутствие его только огорчит, и стоит мне подумать об этом, как вся кровь во мне леденеет. Если я подам ему руку, его рука, наверное, будет холодной и вялой, а когда я загляну ему в глаза, взгляд его будет сумрачен. Мне хочется искорки сердечной теплоты, какую я видела прежде, в счастливые часы, когда мое лицо, или речь, или поступки нравились ему, а что я увижу сегодня? Наверное, одну непроглядную тьму. Лучше мне уйти».

Каролина взяла со стола свою шляпку и уже завязывала ленты, когда Гортензия привлекла ее внимание к великолепному букету, стоявшему в вазе на том же столе. Она сказала, что цветы прислала этим утром мисс Килдар, и пустилась в рассуждения о Симпсонах, гостящих сейчас у нее в Филдхеде, и о суетной жизни, которую Шерли ведет в последнее время. Высказав несколько неодобрительных предположений, мисс Мур прибавила, что просто не понимает, почему хозяйка Филдхеда, всегда поступавшая как ей вздумается, до сих пор не может избавиться от всех этих назойливых родственников.

— Уверяют, — добавила она, — что мисс Килдар не отпускает мистера Симпсона и его семью. Они сами хотели уехать к себе на юг еще на прошлой неделе, чтобы подготовиться к встрече своего единственного сына, который должен вернуться из путешествия; однако мисс Килдар настаивает, чтобы Генри приехал сюда и погостил у нее в Йоркшире. Я думаю, она это делает отчасти для нас с Робертом, чтобы доставить нам удовольствие.

— Доставить вам с Робертом удовольствие? — удивилась Каролина. — Каким образом?

— Что за вопрос, дитя мое? Разве ты не знаешь? Ты, должно быть, не раз слышала, что...

— Простите, сударыня, — прервала ее Сара, появляясь в дверях.

— Вы мне велели варить вишни в патоке. Так вот этот самый конфитюр, как вы его называете, весь пригорел!

— Les confitures! Elles sont brûlées? Ah, quelle négligence incurable! Coquine de cisiñiere — fille insupportable!<sup>[108]</sup>

Мадемуазель Мур поспешно вытащила из комода широкий полотняный фартук, повязала его поверх своего черного передника и устремилась «éperdue»<sup>[109]</sup> на кухню, откуда, по правде сказать, уже доносился не столь ароматный, сколь сильный запах горелого сахара.

Хозяйка и служанка весь этот день воевали по поводу того, каким способом варить варенье из черной вишни, твердой, как мрамор, и кислой, как терн. Сара утверждала, что единственным необходимым и общепризнанным компонентом для этого является сахар. Мадемуазель Мур настаивала и доказывала, ссылаясь на искусство и опыт своей матери, бабушки и прабабушки, что патока, «melasse», в данном случае гораздо лучше. Она, конечно, поступила неосторожно, доверив Саре наблюдение за тазом с вареньем; та, естественно, отнеслась к этому делу так же, как и к рецепту хозяйки, то есть без всякой симпатии, и в результате получилась черная горелая каша.

Из кухни послышалась перебранка, громкие укоры, затем рыдания, в которых было больше шума, чем искренности.

Каролина перед маленьким зеркальцем убирала со щек локоны, заправляя их под шляпку; она понимала, что оставаться дольше было бы не только бесполезно, но и неприятно. Вдруг при звуке открывшейся кухонной двери голоса в кухне разом смолкли, словно хозяйка и служанка одновременно прикусили языки или заткнули себе рты.

«Кто это? Неужели... Роберт?» — подумала Каролина. Он часто, почти всегда, возвращаясь с базара, входил через кухню. Но — увы! — это оказался всего лишь Джо Скотт. Он многозначительно трижды хмыкнул — по разу в адрес каждой представительницы бранчливого и вздорного женского пола — и сказал:

— Я вроде слышал какой-то треск?

Никто не ответил.

— А поскольку, — продолжал он поучительным тоном, — хозяин вернулся и сейчас войдет сюда этим ходом, я подумал, что лучше известить вас. Когда в доме одни женщины, туда не годится входить без предупреждения. А вот и он сам. Входите, сэр. Они тут затеяли какую-то чудную войну, но я вроде их утихомирил.

Послышались шаги, в дом вошел кто-то еще, но Джо Скотт продолжал ворчать:

— И чего это они вздумали сидеть впотьмах! Сара, лентяйка, ты что, не можешь засветить свечу? Солнце уже час как село. Он тут все ноги себе переломает об ваши горшки, столы да скамейки. Поостерегитесь, сэр, они тут чан поставили на самом ходу. Это что, нарочно, что ли?

За этим замечанием Джо последовала смущенная пауза, значение которой Каролина не могла понять, хотя и слушала во все уши. Пауза была короткой. Раздался вскрик, удивленные восклицания, звуки поцелуев, затем приглушенные бессвязные слова. Она смогла только разобрать, как мисс Мур повторяла:

— Mon Dieu! Mon Dieu! Est-ce que je m'y attendais?\*

— Et tu te portes toujours bien, bonno soeur?...<sup>[110]</sup> — ответил другой голос, явно голос Роберта.

Каролина была озадачена. Подчиняясь внутреннему побуждению и даже не думая, правильно ли она поступает, мисс Хелстоун поспешно выскользнула из маленькой гостиной, чтобы ее там не застали, взбежала по лестнице и замерла на верхней площадке, откуда могла видеть все, оставаясь сама незамеченной. Закат к тому времени давно погас, сумерки затопили коридор, но все же она смогла различить в нем фигуры Роберта и Гортензии.

— Каролина! Каролина! — позвала ее мисс Мур. — Venez voir mon frère!<sup>[111]</sup>

«Странно! — подумала про себя Каролина. — Чрезвычайно странно. Почему такое волнение и все эти восклицания по поводу столь обыкновенного события, как возвращение с базара? Надеюсь, она не сошла с ума? Нет, в самом деле, неужто она помешалась из-за подгоревшей патоки?»

Каролина с трепетом спустилась в гостиную, но ее охватила настоящая дрожь, когда Гортензия схватила ее за руку и подвела к Роберту, который стоял напротив еще светлого окна, так что его высокая фигура казалась резким черным силуэтом. Взмолнованно и в то же время торжественно Гортензия представила ее, словно они были совершенно незнакомы и виделись впервые в жизни.

Он довольно неловко поклонился и в замешательстве отвернулся от Каролины, как от чужой. В это мгновение слабый свет из окна упал на его лицо, и удивление Каролины достигло предела. Что за таинственный сон? Она увидела лицо Роберта — и не Роберта, похожее — и не похожее.

— Что это? — проговорила наконец Каролина. — Может быть, я плохо вижу? Это мой кузен?

— Конечно, твой кузен! — подтвердила Гортензия.

Но кто же тогда еще появился в коридоре и уже входил в гостиную? Каролина оглянулась и увидела нового Роберта — настоящего Роберта, как она сразу определила.

— Ну что? — спросил он, с улыбкой глядя на ее удивленное, вопрошающее лицо. — Кто тут кто?

— Вот это вы! — последовал ответ.

Тот рассмеялся.

— Полагаю, что это я. А вы знаете, кто он? Вы его раньше никогда не видели, но, конечно, о нем слышали.

Теперь Каролина овладела собой.

— Это может быть только один человек, — он так похож на вас! Это ваш брат, мой второй кузен Луи!

— Мудрый, маленький Эдип, вы сбили бы с толку любого сфинкса! А теперь поглядите на нас обоих. Поменяемся местами. Еще раз! Еще раз, Луи, чтобы ее запутать! Ну, где теперь ваш старый друг, Лина?

— Как будто я могу ошибиться, когда слышу ваш голос! Надо было, чтобы спрашивала Гортензия. Впрочем, вы не так уж похожи, только рост одинаковый, да фигура, да кое-какие общие черты.

— Разве я не Роберт? — спросил незнакомец, в первый раз пытаясь преодолеть свою, по-видимому, природную, застенчивость.

Каролина тихонько покачала головой. Нежный, выразительный взгляд ее глаз словно луч упал на настоящего Роберта: он сказал больше, чем все слова.

Ей так и не удалось сразу уйти домой, сам Роберт настоятельно просил ее остаться. Простая, обходительная и счастливая, по крайней мере в тот вечер, она вдруг сделалась такой интересной и блестящей собеседницей, таким приятным дополнением к их семейному кругу, что никто не хотел с нею расставаться.

Луи казался человеком серьезным, спокойным и довольно замкнутым, однако в этот вечер, — а читатель знает, что этот вечер был для Каролины особенным, — ей удалось преодолеть его сдержанность и растопить лед его суровости. Он подсел к ней и заговорил. Она уже слышала, что по профессии Луи Мур был гувернером. Теперь она узнала, что последние несколько лет он был гувернером сына мистера Симпсона, всюду путешествовал с ним и

теперь приехал сюда. Каролина спросила, нравится ли ему его место, но в ответ он только взглянул на нее.

Одного взгляда было достаточно, чтобы она больше не пыталась его об этом расспрашивать. Взгляд этот пробудил в душе Каролины живейшее участие. Какая грусть вдруг затуманила черты его выразительного лица! Да, у него было выразительное лицо, хотя и не столь привлекательное, как у Роберта.

Каролина обернулась, чтобы сравнить их обоих. Роберт стоял чуть позади нее, прислонясь к стене, и листал альбом с гравюрами, а может быть, просто прислушивался к их разговору.

«Откуда я взяла, что они так похожи? — подумала Каролина. — Теперь-то я вижу: Луи скорее похож на Гортензию, а не на Роберта!»

Отчасти она была права. У Луи был более короткий нос и более длинная верхняя губа, как у сестры, а также ее рот и ее подбородок. У молодого фабриканта черты лица были гораздо тоньше, решительнее и определеннее. Лицу Луи, правда, довольно уверенному и умному, не хватало энергии и проницательности. Но, сидя рядом с ним и глядя на него, каждый ощущал, какое глубокое спокойствие распространяет вокруг себя этот более медлительный, а может быть, и более мягкий от природы младший Мур.

Роберт — наверное, он заметил или почувствовал взгляд девушки, хотя сам на него не ответил, — отложил альбом и сел рядом с Каролиной. Та продолжала разговаривать с Луи, однако мысли ее обращались к другому брату, сердце рвалось к тому, на кого она сейчас не смотрела. Она понимала, что Луи скромнее, человечнее, добрее, однако склонялась перед таинственной властью Роберта. Быть рядом с ним, хотя он и молчал, хотя и не касался даже бахромы ее шали или складки белого платья, чувствовать его так близко, — на нее это действовало как дурман! Если бы ей пришлось говорить только с ним, это бы ее смутило, но теперь, когда она могла обращаться к другому, присутствие Роберта было ей сладостно. Речь Каролины лилась свободно: девушка была сегодня весела, остроумна, находчива. Ласковый взгляд и добродушные манеры собеседника воодушевляли и ободряли ее; улыбка искреннего удовольствия на его лице словно пробуждала все, что было светлого в ее душе. Она чувствовала, что в этот вечер ей удалось блеснуть, и особенно радовалась тому, что это

видит Роберт. Если бы он сейчас ушел, все ее оживление сразу бы угасло.

Но недолго пришлось ей радоваться и сиять: на горизонте появилось темное облако.

Гортензия, которая до сих пор хлопотала с ужином, теперь принялась освобождать маленький стол от книг и прочих вещей, чтобы поставить на него поднос, и, конечно, не преминула отвлечь внимание Роберта, показав ему вазу с цветами. Действительно, пурпурные, белоснежные и золотые лепестки прямо-таки сверкали при свечах!

— Это из Филдхеда, — сказала Гортензия. — И разумеется, для тебя. Я-то знаю, кого там особенно любят, — уж наверное, не меня!

Вот чудо — Гортензия пошутила! Сегодня она поистине была в ударе!

— Следовательно, там особенно любят Роберта, — заметил Луи.

— Ах, дорогой мой, — отозвалась Гортензия, — Robert, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux au monde: a côté de lui, le reste du genre humain n'est que du rebut. N'ai-je pas raison, mon enfant?<sup>[112]</sup> — прибавила она, обращаясь к Каролине.

— Конечно, — пришлось той ответить, и свет погас в ее душе от этих слов, радость ее померкла.

— Et toi, Robert?<sup>[113]</sup> — обратился к брату Луи.

— Спроси ее сам при случае, — последовал спокойный ответ.

Каролина не заметила, покраснел он при этом или побледнел; она спохватилась, что уже поздно и ей пора домой. Ей хотелось домой, к себе, и даже Роберт не смог бы теперь ее удержать.

## ГЛАВА XXIV

### Долина смерти

Будущее иногда предупреждает нас горестным вздохом о пока еще далекой, но неминуемой беде; так дыхание ветра, странные облака или зарницы предвещают бурю, которая усеет моря обломками кораблей; так желтоватая нездоровая дымка, затягивая западные острова ядовитыми азиатскими испарениями, заранее туманит окна английских домов дыханием индийской чумы. Но чаще беда обрушивается на нас внезапно, — раскалывается утес, разверзается могила, и оттуда выходит мертвец. Вы еще не успели опомниться, а несчастье уже перед вами, как новый ужасающий Лазарь, <sup>[114]</sup> закутанный в саван.

Каролина Хелстоун вернулась домой от Муров как будто бы в добром здоровье. На следующее утро она почему-то проснулась с ощущением странной слабости. За завтраком и в течение всего дня у нее совершенно не было аппетита; все блюда казались ей безвкусными, как опилки или зола.

«Уж не больна ли я?» — подумала она и подошла к зеркалу. Глаза ее блестели, зрачки были расширены, щеки казались розовее и как бы округлее обычного. «С виду я здорова! Почему же мне совсем не хочется есть?»

Она чувствовала, как кровь стучит в висках, необычное возбуждение не покидало ее: множество мыслей, мгновенных, ярких и тут же ускользающих, словно окрашенных отблеском пожара, охватившего все ее существо, кружилось в ее голове.

Всю ночь Каролина провела без сна, изнемогая от жара и жажды. Под утро страшный кошмар начал терзать ее, как кровожадный тигр. Очнувшись, она почувствовала и поняла, что заболела.

Каролина не знала, откуда у нее лихорадка, — ибо это оказалась лихорадка. Наверное, причиной было ее позднее возвращение, какой-нибудь чуть заметный отравленный ветерок, пропитанный вечерней сыростью и ядовитыми испарениями; он проник через легкие в ее кровь, уже воспламененную внутренней лихорадкой сердечных волнений, истомленную и ослабленную давней печалью, раздул роковую искру и упорхнул, оставив позади всепожирающее пламя.

Все же пламя это было, видимо, не столь уж яростным. Два дня у Каролины держался жар, она провела две беспокойные ночи, но никаких особо тревожных признаков у нее не обнаружилось. Поэтому и дядя, и Фанни, и доктор, и мисс Килдар, заглянувшая к больной, не стали волноваться и решили, что через несколько дней все пройдет.

Минуло несколько дней, а облегчение не приходило, хотя все по-прежнему ожидали, что оно вот-вот наступит.

Каролина болела уже две недели, когда однажды миссис Прайор, которая бывала у больной каждый день, взгляделась в нее попристальнее, взяла за руку, пощупала пульс, потом тихо вышла из комнаты и направилась в кабинет мистера Хелстоуна. Там они говорили о чем-то очень долго, почти все утро. Возвратившись к своей занемогшей юной подруге, миссис Прайор сняла шаль, шляпку и подошла к постели. Здесь она постояла с минуту в своей обычной позе, сложив руки и тихонько покачиваясь, затем проговорила:

— Я послала Фанни в Филдхед, мне кое-что может понадобится, так как я решила побыть с вами несколько дней, пока вам не станет лучше. Ваш дядя охотно согласился. А вы, Каролина, не станете возражать?

— Зачем вам беспокоиться понапрасну? Я совсем не так уж плоха! Но я не могу отказаться, мне очень приятно, что вы будете жить у нас и порой заходить ко мне. Только не тревожьтесь обо мне, Фанни за мной хорошо смотрит.

Миссис Прайор склонилась к бледному личику страдальцы, пригладила ей волосы, выбившиеся из-под чепчика, и осторожно приподняла подушку. Каролина посмотрела на нее с улыбкой, потом потянулась поцеловать ее. Добровольная сиделка подставила ей щеку, потом негромко, тревожно спросила:

— Вам не больно? Вам хорошо, удобно?

— Я почти счастлива, — ответила Каролина.

— Хотите пить? У вас губы пересохли.

Миссис Прайор поднесла к ее рту стакан с освежающим питьем.

— Вы сегодня что-нибудь ели, Каролина?

— Мне не хочется.

— Ничего, даст Бог, скоро аппетит к вам вернется, обязательно вернется!



Опуская больную обратно на подушки, миссис Прайор обняла ее как бы невольным движением, прижала к своему сердцу и на мгновение замерла в этой позе.

— Мне даже выздороветь не хочется, лишь бы всегда быть с вами! проговорила Каролина.

Миссис Прайор не улыбнулась этой шутке; лицо ее дрогнуло, и несколько мгновений она не могла овладеть собой.

— С Фанни вам привычнее, чем со мной. — сказала она наконец. Наверное, мои заботы кажутся вам странными, навязчивыми?

— Вовсе нет! Вы все делаете так естественно, так ласково. Должно быть, вы привыкли ухаживать за больными. У вас такие неслышные движения, такой спокойный голос, такие нежные руки.

— Я просто всегда добросовестна, душа моя. Вы можете упрекнуть меня в неловкости, но я редко бываю небрежной.

И действительно, небрежной ее назвать было нельзя. С этого часа присутствие Фанни и Элизы сделалось совершенно излишним в комнате больной, здесь всем распоряжалась одна миссис Прайор. Она оказалась заботливейшей сиделкой и не отходила от Каролины ни днем, ни ночью. Та пыталась протестовать, — правда, только вначале и довольно слабо, но вскоре смирилась; отныне забота и сочувствие сменили у постели больной одиночество и печаль.

Между Каролиной и ее сиделкой установилось согласие поистине удивительное. Обычно мисс Хелстоун стеснялась, когда ей уделяли слишком много внимания, да и миссис Прайор в повседневной жизни не очень-то любила оказывать мелкие услуги, но теперь все шло с такой легкостью и так естественно, словно для больной не было ничего милее забот своей сиделки, а для сиделки — ничего дороже ухода за своей подопечной. Миссис Прайор ни единым жестом не выказывала усталости, так что Каролина ничего не замечала и ни о чем не беспокоилась. Впрочем, обязанности миссис Прайор были не так уж обременительны, хотя наемную сиделку они давно бы утомили.

При столь заботливом уходе больная, казалось бы, должна была поправляться, но, как ни странно, лучше ей не становилось. Она таяла, словно снег на солнце, она увядала, как цветок без воды. Мисс Килдар, которая вообще редко задумывалась о смерти, сначала вовсе не беспокоилась о своей подруге, но, видя при каждом новом посещении, как та меняется и все больше ослабевает, она вскоре начала

тревожиться не на шутку. Явившись к мистеру Хелстоуну, Шерли проявила столько настойчивости, что тому хоть и против воли, но все же пришлось под конец признать, что у его племянницы не просто мигрень. Поэтому, когда вслед за Шерли к нему пришла миссис Прайор и спокойно попросила послать за доктором, он лишь ответил в сердцах, что, если ей так хочется, она может посылать хоть за двумя.

Прибыл всего один врач, но зато он оказался настоящим оракулом; он произнес путаную речь, смысл которой мог проясниться только со временем, написал несколько рецептов, дал несколько указаний, — все это с самым важным видом, — положил в карман гонорар и уехал. Очевидно, он достаточно хорошо понимал, что ничем не может помочь, но не хотел в этом признаваться.

Никто из соседей по-прежнему не подозревал, насколько велика опасность. Каролина послала Гортензии записку, в которой говорилось, что она просто сильно простудилась, и в лощине все так и думали. Поэтому мадемуазель Мур с сочувственной запиской послала больной две банки смородинного варенья, рецепт полоскания и на сем успокоилась.

Когда слух о приезде врача дошел до миссис Йорк, та лишь отпустила язвительное замечание насчет богатых бездельников, которые, по ее словам, посылают за доктором из-за любой царапины на мизинце, потому что только о себе и думают.

Тем временем «богатая бездельница» дошла до состояния полнейшего равнодушия и начала терять силы с такой быстротой, что все были поражены, все, кроме миссис Прайор, ибо она-то знала, как быстро тают силы физические, когда ослабевает душа.

У больных часто бывают причуды, непонятные для здоровых; одна такая причуда была и у Каролины, причем даже верная сиделка сначала не могла ее объяснить. В определенный день недели, в определенный час больная, как бы плохо она себя ни чувствовала, просила поднять ее, одеть и усадить в кресло поближе к окну. В таком положении она оставалась до полудня, и как бы ни была она измучена и слаба, никакие уговоры не могли заставить ее отдохнуть, пока церковный колокол не отбивал положенных двенадцати ударов. Только заслышав их, Каролина покорялась и кротко позволяла уложить себя в постель. После этого она обычно зарывалась лицом в подушку и натягивала на голову одеяло, словно хотела спрятаться от света,

отгородиться от всего мира, который стал ей слишком в тягость. И не раз в такие мгновения плечи больной начинали вздрагивать и в тишине слышались заглушенные рыдания. Все это не укрылось от внимания миссис Прайор.

Однажды во вторник утром Каролина, как обычно, попросила разрешения встать, завернулась в белый капот и села в глубокое кресло; она наклонилась к окну и принялась терпеливо вглядываться вдаль. Миссис Прайор сидела за ее спиной и, казалось, вязала, но в действительности не спускала с нее глаз.

Вдруг мертвенно-бледное лицо больной оживилось, потускневшие печальные глаза засверкали прежним блеском, она привстала и жадно впиалась глазами во что-то за окном. Миссис Прайор тихонько подошла к креслу и выглянула из-за ее плеча. Из окна было видно кладбище, а за ним дорога, по которой мчался всадник. Расстояние было не слишком велико, и дальнзоркая миссис Прайор легко узнала Роберта Мура. Как раз в ту минуту, когда он скрылся за холмом, часы пробили двенадцать.

— Можно, я теперь снова лягу? — спросила Каролина.

Миссис Прайор довела ее до постели, уложила, задернула полог и замерла, прислушиваясь. Легкое ложе вздрагивало, из-за полога слышались подавленные рыдания. Лицо миссис Прайор исказилось от боли; она заломила руки, и глухой стон вырвался из ее уст. Теперь она вспомнила: вторник был базарным днем! В этот день Мур обычно проезжал в Уинбери мимо дома мистера Хелстоуна как раз перед полуднем.

Каролина всегда носила на груди какой-то медальон на тоненьком шелковом шнурке. Миссис Прайор давно заметила эту блестящую золотую вещицу, но ей ни разу не удавалось ее как следует разглядеть. Больная никогда не расставалась со своим сокровищем: когда была одета, прятала его под платьем, а в постели держала его в руке. В тот вторник после полудня Каролина впала в забытие, скорее напоминавшее летаргию, нежели сон; с ней так случалось не раз, и это помогало ей коротать бесконечные дни. Но сегодня было особенно жарко; больная беспокойно ворочалась, сбила немного одеяло, и миссис Прайор наклонилась, чтобы его поправить. Маленькая слабая рука Каролины безжизненно лежала на груди, по-прежнему ревниво прикрывая свое сокровище, однако пальчики, такие тоненькие, что на

них больно было смотреть, сейчас разжались во сне. Миссис Прайор осторожно вытянула за шнурок крошечный медальон и открыла крышечку. Не удивительно, что медальон был так невелик и тонок, вполне под стать содержимому, — в нем под стеклом хранилась всего лишь прядь черных волос, слишком коротких и жестких, чтобы их можно было принять за женские.

Какое-то нечаянное движение натянуло шелковый шнурок, спящая вздрогнула и проснулась. Последние дни Каролина при пробуждении не могла сразу собраться с мыслями, и взгляд ее обычно не сразу приобретал ясность. Привскочив словно от ужаса, она воскликнула:

— Не отнимай его у меня, Роберт! Прошу тебя! Это мое единственное утешение, — оставь его мне! Я никому не говорила, чьи это волосы, никому их не показывала...

Миссис Прайор едва успела спрятаться за полог. Откинувшись подальше в глубокое кресло возле постели, она села так, чтобы Каролина ее не заметила. Та оглядела комнату и подумала, что в ней никого нет. Спутанные мысли ее медленно прояснялись; как измученные птицы против ветра, с трудом достигали они берега разума, болезненно трепеща крылами. Когда больная убедилась, что вокруг все тихо, она решила, что осталась одна. Но она все еще не пришла в себя: по-видимому, обычное самообладание и ясность разума уже не могли к ней вернуться в полной мере; по-видимому, тот мир, где живут сильные и удачливые, уже уходил от нее, — так во всяком случае ей часто казалось в последнее время. До болезни она никогда не думала вслух, но сейчас слова сами полились из ее уст.

— О, если бы мне увидеть его до кончины еще хоть раз! Неужели небеса откажут мне в такой малости? Боже, пошли мне это последнее утешение перед смертью, — униженно молила несчастная. — Но он не узнает о том, что я занемогла, пока я не умру, — продолжала Каролина. — Он придет, когда я уже буду лежать в гробу, бесчувственная, неподвижная, окоченелая. Что ощутит тогда моя отлетевшая душа? Увидит ли она, узнает ли, что станет с моим телом? Может ли дух каким-либо способом общаться с людьми из плоти и крови? Может ли мертвый вернуться к живым? Может ли дух воплотиться в стихии? Смогу ли я с ветром, водой и огнем снова вернуться к Роберту? Неужели стоны ветра, в которых почти

различимы слова, как я слышала прошлой ночью, неужели голос ветра ничего не означает? Или, может быть, ветер рыдает от горя, стучась в окно? Неужели ничто его не терзает, неужели в нем нет души? Нет, не может быть. В ту ночь я слышала, о чем он плакал, я могла бы записать каждое слово, только мне было так страшно, что я не осмелилась при тусклом свете ночника встать за карандашом и бумагой. А что это за магнетизм, от изменений в котором, говорят, мы заболеваем или выздоравливаем, который угнетает нас, когда его слишком мало или слишком много, и оживляет нас, когда его токи находятся в равновесии? Что за силы роятся над нами в воздухе, играя на наших нервах, как пальцы на струнах, и пробуждая в душе то сладкозвучные аккорды, то рыдания, то волнующие мелодии, которые тут же тоскливо замирают?

Где он, этот мир иной? В чем заключается иная жизнь?.. Почему я это спрашиваю? Разве у меня нет причин сетовать, что уже близок час, когда тайная завеса отделит меня от живых? Разве я не знаю, что скоро — слишком скоро! — мне откроется Великая Тайна? Дух великий, в чью божественную сущность я верю, правый Боже, Отец мой, кого я молила и днем и ночью с самого детства, прошу тебя: помоги слабому созданию своему! Поддержи меня в неизбежном испытании, которого я так страшусь! Дай мне силы! Дай мне терпения! Ниспошли мне, — о, ниспошли мне веру!!!

Каролина бессильно откинулась на подушку. Миссис Прайор незаметно выскользнула из комнаты и вскоре снова вошла с таким видом, словно не слышала ни слова из этой странной молитвы.

На следующий день к Каролине явилось несколько посетителей; разнесся слух, что ей стало хуже. Пришел мистер Холл со своей сестрой Маргарет; посидев у постели больной, оба удалились в слезах. Они не ожидали, что бедняжка так плоха. Пришла Гортензия Мур. При ней Каролина сразу оживилась. Улыбаясь, она уверяла, что ничего опасного в ее болезни нет. Она говорила тихим, но веселым голосом, щеки ее от волнения порозовели, и выглядела она много лучше.

— Как поживает мистер Роберт? — спросила миссис Прайор, когда гостя уже собиралась уходить.

— Перед отъездом он был вполне здоров.

— Перед отъездом? Разве он уехал?

Гортензия объяснила, что полиция сообщила ему какие-то новые сведения о бунтовщиках, которых он разыскивает, поэтому Роберт утром отправился в Бирмингем и вряд ли вернется ранее, чем через две недели.

— Он знает о том, что мисс Хелстоун тяжело больна?

— Нет. Он, как и я, думал, что она просто сильно простужена.

После ее ухода миссис Прайор около часа не подходила к постели больной: она слышала, как та плачет, и не могла смотреть на ее слезы.

Вечером она принесла Каролине чаю. Та на миг приоткрыла глаза и посмотрела на свою сиделку отсутствующим взглядом.

— Это летнее утро пахнет жимолостью, — проговорила девушка. — Я почувствовала ее запах, когда стояла у окна конторы.

Когда с запекшихся губ слетают такие слова, они пронзают любящее сердце того, кто их слышит, как стальные иглы. В книгах они, возможно, звучат романтично, в жизни — душераздирающе.

— Милая, вы меня не узнаете? — спросила миссис Прайор.

— Я только что позвала Роберта завтракать; я была с ним в саду, он велел мне уйти... Обильная роса освежила цветы... персики созревают...

— Дорогая! Радость моя! — снова и снова звала ее сиделка.

— Я думала, уже день, думала, солнце давно взошло... Почему так темно?.. Разве нет луны?..

А в это время полная луна светила с ясного, безоблачного неба прямо в окно, заливая комнату голубым сиянием.

— Значит, сейчас не утро? Я разве не в лощине?.. Кто здесь?.. Я вижу!.. Чья это тень у моей постели?

— Это я, ваш друг, ваша сиделка, ваша... Склоните голову мне на плечо, очнитесь! — И едва слышным шепотом: — Боже, сжался! Сохрани ей жизнь, а мне дай силы, дай мужества! Научи меня, как ей сказать!

Минуты текли в молчании. Больная неподвижно и равнодушно лежала в объятиях сиделки, которая обнимала ее дрожащими руками.

— Теперь мне легче, — прошептала наконец Каролина. — Много легче. Я знаю, где я. Это вы со мной, миссис Прайор. Я забылась, а когда очнулась, говорила что-то. Люди часто бредят, когда больны. Как громко у вас бьется сердце! Не бойтесь...

— Это не от страха, дитя мое, это просто волнение, сейчас все пройдет. Я принесла вам чаю, Кэри, ваш дядя сам его заваривал. Вы ведь знаете, он говорит, что лучше него этого не сделать ни одной хозяйке. Попробуйте! Он очень огорчается, что вы так мало едите, — съешьте хоть что-нибудь, чтобы его порадовать!

— Дайте мне пить, у меня во рту пересохло.

Каролина пила с жадностью.

— Который теперь час? — спросила она.

— Начало десятого.

— Только-то? Какая длинная ночь впереди! Но чай меня подкрепил, я, пожалуй, сяду.

Миссис Прайор приподняла ее и взбила подушки.

— Слава Богу, что мне не все время так плохо, не всегда я такая беспомощная и жалкая. Днем, посла ухода Гортензии, мне стало хуже; надеюсь, теперь полегчает. Ночь сейчас, должно быть, хороша, правда? Луна такая яркая...

— Да, сейчас очень красиво, ночь великолепная. Старая колокольня так и сверкает, словно из серебра.

— На кладбище, наверное, все тихо, покойно...

— Да, и в саду тоже: всюду роса блестит на листе.

— Что вы видите на могилах — высокий бурьян и крапиву или цветы среди мягкой травы?

— Я вижу закрывшиеся на ночь белые маргаритки, — на некоторых могилах они сверкают, как жемчужины. Томас выполол лопухи и сорную траву и все расчистил.

— Я рада. Мне всегда приятно, когда там все в порядке, — от этого становится как-то спокойнее на душе. Наверное, в церкви луна сейчас светит, как в моей комнате, и лунный свет падает сквозь восточное окно прямо на могильные плиты. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу надпись над могилой моего бедного отца, черные буквы на белом мраморе. Там еще много места и для других надписей.

— Утром приходил Вильям Фаррен поухаживать за вашими цветами. Он боится, что, пока вы больны, о них никто не позаботится. А два самых любимых ваших цветка в горшках он даже унес домой, чтобы присмотреть за ними до вашего выздоровления.

— Если бы мне пришлось писать завещание, я бы оставила Вильяму все мои цветы, Шерли — все безделушки, кроме

медальона, — пусть его с меня не снимают, а вам — все книги.

Помолчав, Каролина проговорила:

— Миссис Прайор, мне так хочется попросить вас кое о чем.

— О чем же, Каролина?

— Вы знаете, как я люблю слушать, когда вы поете, — спойте мне псалом! Тот самый, который начинается словами: «Наш Бог — опора дней былых...»

Миссис Прайор тотчас согласилась и запела.

Не диво, что Каролина любила ее слушать. Голос миссис Прайор всегда был нежен и звонок, как серебряный колокольчик, а когда она начинала петь, он звучал просто божественно, — ни флейта, ни арфа не могли с ним сравниться по чистоте тонов. Но голос ничего не значил в сравнении с выразительностью ее пения: в нем раскрывалась вся ее трепетная, любящая душа.

Заслышав псалом, служанки в кухне побросали свои дела и поспешили поближе к ведущей наверх лестнице, и даже старик Хелстоун, прогуливавшийся по саду, раздумывая о хрупкости и слабости женщин, застыл на месте, чтобы не упустить ни одной ноты печальной мелодии. Почему-то вспомнилась ему давно забытая покойница жена и почему-то еще большее стало при мысли о безвременно увядающей юности Каролины. С облегчением вспомнил он о том, что обещал зайти сегодня к Уинну, мировому судье, и поспешил прочь. Хелстоун терпеть не мог тоскливых размышлений и печали, и когда на него нападало такое настроение, он старался отделаться от него поскорее. Но псалом все еще следовал за ним, когда он шагал через поля, а потому он ускорил свой и без того быстрый шаг, чтобы избавиться наконец от этого наваждения, от этих слов, звучавших ему вслед:

Нам Бог опора дней былых,  
Надежда новых дней;  
Он крепче крепостей любых,  
И дома он роднен.  
По слову Божьему восстал  
Из праха род людской,  
«Вернешься в прах, — Господь сказал,  
И станешь вновь землей!»



Стремителен столетий бег,  
Неуловим для глаз:  
Как ночь, уходит целый век  
В рассветный краткий час.  
Плывем по времени — реке,  
Мы — утлые челны,  
Бесследно таем вдалеке,  
Как днем — ночные сны.  
Народы на заре времен  
Цветут, как луг весной,  
Но будет солнцем луг сожжен  
И ляжет под косой.  
Господь, опора дней былых,  
Надежда новых дней,  
Будь с нами в горестях любых  
И сделай нас сильнее!

— А теперь песню, шотландскую песенку! — попросила Каролина, когда миссис Прайор допела псалом. — Ту самую, про холмы и долины Дуна.

И снова миссис Прайор запела, — вернее, пыталась запеть. Но после первого же куплета голос ее дрогнул: переполненное сердце не выдержало, и она залилась слезами.

— Этот волнующий, грустный напев довел вас до слез, — огорченно проговорила Каролина. — Идите ко мне, я вас успокою.

Миссис Прайор подошла, присела на край постели и позволила больной обнять себя исхудавшими руками.

— Вы так часто утешали меня, — прошептала девушка, целуя ее в щеку. Позвольте же мне вас утешить! Надеюсь, — добавила она, — вы плачете не из-за меня?

Ответа не последовало.

— Вы думаете, мне уже не станет лучше? Я ведь не сильно больна, просто очень слаба.

— Но душа, Каролина, ваша душа сломлена, ваше сердце разбито! Вы столько выстрадали, столько перенесли унижений, разочарований, отчаяния!

— Да, наверное, горе было и есть мой самый страшный недуг. Иногда я думаю, что, если бы у меня появился хоть проблеск радости, я бы еще смогла поправиться.

— Вам хочется жить?

— У меня нет цели в жизни.

— Вы любите меня, Каролина?

— Очень, по-настоящему, порой невыразимо. Вот и теперь мне кажется, будто сердце мое слилось с вашим.

— Я сейчас вернусь, — проговорила миссис Прайор, укладывая больную на подушки.

Оставив Каролину, она быстро подошла к двери, осторожно повернула ключ и, убедившись, что дверь заперта, вернулась к постели. Тут она наклонилась над больной, отбросила полог, чтобы он не затенял лунный свет, и пристально посмотрела на Каролину.

— В таком случае, если вы меня вправду любите, — заговорила она быстрым, прерывающимся шепотом, — если вам действительно кажется, как вы сами сказали, будто сердце ваше слилось с моим, то мои слова не огорчат вас и не поразят. Узнайте же: мое сердце было источником жизни для вашего, в вас течет моя кровь, вы моя, моя дочь, мое родное дитя!

— Миссис Прайор!..

— Девочка моя!

— Значит... значит, вы... вы хотите меня удочерить?

— Это значит, что хоть я не дала тебе ничего иного, зато я дала тебе жизнь, я тебя вскормила, я твоя настоящая мать, и ни одна женщина не может отнять у меня право называться так!

— Но миссис Джеймс Хелстоун, жена моего отца, — я ее даже не помню! разве не она моя мать?

— Она твоя мать. Джеймс Хелстоун был моим мужем. Говорю тебе, ты моя дочь. Я в этом убедилась. Я боялась, что в тебе не окажется ничего моего, для меня это было бы жестоким ударом. Но я вижу, что это не так. Бог был ко мне милостив: у моей дочери моя душа; она принадлежит только мне, мне одной, и принадлежит по праву! Внешность, черты лица — все это от Джеймса. В юности он был красив, и даже пороки не смогли его обезобразить. Отец дал тебе, дорогая, эти синие глаза и мягкие каштановые волосы; он дал тебе прелестный овал лица и правильные черты; вся твоя красота — от

него. Но сердце и разум у тебя — мои. Я заронила в твою душу добрые семена, и они дали всходы и принесли совершенные плоды. Дитя мое! Мое уважение к тебе так же глубоко, как моя любовь.

— Неужели все это правда? Уж не грежу ли я?

— Это так же верно, как то, что твои щеки снова должны округлиться и расцвести здоровым румянцем.

— Родная мать! Неужели я смогу полюбить мать так же, как люблю вас? Мне говорили, что многим она не правилась...

— Тебе так говорили? Теперь послушай, что скажет мать: она не хочет угождать людям и не заботится об их мнении, потому что все ее мысли обращены только к дочери; она думает только о том — примет ее дочь или оттолкнет?

— Но если вы моя мама, — весь мир для меня изменился! Тогда я буду жить, наверное буду! Тогда я сделаю все, чтобы поправиться...

— Ты должна поправиться! Ты пила из моей груди жизнь и силы, когда была хрупким прелестным младенцем, а я склонялась над тобой и плакала, глядя в твои голубые глазенки, ибо в самой твоей красоте с ужасом различала знакомые черты, знакомые свойства, которые жгли мое сердце, как раскаленное железо, пронзали мою душу, как холодный клинок. Доченька моя! Мы так долго были врозь! Теперь я вернулась, чтобы лелеять тебя.

Она привлекла Каролину к себе на грудь, обняла и принялась тихонько покачивать, словно убаюкивая маленького ребенка.

— Мама! Маменька!

Дитя прильнуло к матери, и та, услышав призыв, почувствовала трепетную жажду ласки, прижала ее к себе еще крепче. Она осыпала Каролину поцелуями, шептала ей нежные слова, склоняясь над нею, словно голубка над своим птенцом.

Долгое время в комнате царило молчание.

\* \* \*

— Дядя знает?

— Да, твой дядя знает. Я открылась ему в первый день, как пришла сюда.

— Вы узнали меня, когда мы впервые встретились в Филдхеде?

— Как же я могла тебя не узнать? Когда доложили о приходе мистера и мисс Хелстоун, я знала, что сейчас увижу свое дитя.

— Так вот, значит, в чем было дело. Я тогда заметила, что вы взволнованы.

— Ты ничего не могла заметить: я умею скрывать свои чувства. Ты даже представить себе не можешь, что я пережила за те две минуты, которые прошли до твоего появления в гостиной. Они показались мне вечностью! Ты не знаешь, как потряс меня твой взгляд, вид, походка...

— Но почему? Я вас разочаровала?

— «На кого она похожа?» — спрашивала я себя, и когда увидела, то чуть не упала в обморок.

— Но почему же, мама?

— Я вся дрожала тогда. Я говорила себе: «Я никогда не откроюсь ей, она никогда не узнает, кто я!»

— Но я ведь не сказала и не сделала ничего особенного. Просто немного оробела перед незнакомыми людьми, и все.

— Я вскоре заметила твою робость, и это меня немного успокоило. Но мне бы хотелось, чтобы ты была неуклюжей, смешной, неловкой...

— Я ничего не понимаю.

— У меня были причины бояться красивой внешности, не доверять любезности, трепетать перед изысканностью, обходительностью и грацией. Красота и обольщение вошли в мою жизнь, когда я была замкнутой и печальной, юной и доверчивой, когда я была несчастной гувернанткой и, медленно угасая, погибала от ненавистной робости. Тогда, Каролина, я приняла это обольщение за дар небесный! Я пошла за ним, я отдала ему без остатка всю себя — свою жизнь, свое будущее, свои надежды на счастье. Но мне суждено было увидеть, как у домашнего очага белая маска ангела спала, яркий маскарадный наряд был сброшен, и передо мной предстал... О, Боже, как я страдала!

Она уткнулась лицом в подушку.

— Да, я страдала! Никто этого не видел, никто не знал, — мне не у кого было искать сочувствия, и не было у меня ни выхода, ни надежды.

— Утешьтесь, мама, теперь все прошло.

— Да, прошло, но принесло свои плоды. Бог научил меня терпению, поддержал меня в дни тоски и скорби. Я дрожала от ужаса, сомнения одолевали меня, но Бог провел меня через все испытания, и вот наконец я узрела спасительный свет. Ужас терзал меня, но Господь избавил меня от кошмара и дал мне в утешение иную, совершенную любовь...

Помолчав, она снова обратилась к дочери:

— Ты слышишь меня, Каролина?

— Да, мама.

— Запомни: когда в следующий раз ты придешь к могиле своего отца, смотри с уважением на высеченное там имя. Тебе он не причинил зла. Тебе он передал все сокровища своей красоты и ни одного темного пятнышка. Все, что ты получила от него, — безусловно. Ты должна быть ему благодарна. Не думай о том, что произошло между ним и мной, не суди нас, пусть Бог будет нам судьей. А людские законы здесь ни при чем, совершенно ни при чем. Они были бессильны защитить меня, бессильны, как тростник перед ветром, а его они могли удержать не более, чем лепет слабоумного. Ты сказала: «Теперь все прошло». Да, нас рассудила смерть. Он спит, погребенный там, в церкви. И в эту ночь я скажу его праху то, чего до сих пор еще не говорила ни разу. Я говорю ему: «Покойся в мире, Джеймс! Смотри: твой страшный долг сегодня оплачен. Взгляни! Я стираю своею рукой длинный перечень черных обид. Джеймс, твое дитя искупило все, — твое живое воплощение, существо, наделенное тобой совершенством черт, единственный добрый подарок, который ты мне сделал. Взгляни, сегодня она с любовью прильнула к моей груди и назвала меня нежным именем матери. Муж мой, я прощаю тебя!»

— Маменька, родная, как хорошо! Если бы папа мог вас услышать! Наверное, он бы обрадовался, если бы узнал, что мы его по-прежнему любим.

— Я ничего не говорила о любви; я говорила о прощении. Вспомни, разве я сказала хоть слово о любви? И не скажу даже на том свете, если нам доведется там встретиться.

— О мама, как вы, должно быть, страдали!

— Ах, дитя мое, сердце человеческое может выстрадать все. Оно может вместить больше слез, чем воды в океане. Мы даже не знаем,

как оно глубоко, как оно всеобъемлюще, пока не соберутся черные тучи несчастья и не заполнят его непроницаемым мраком.

— Маменька, забудьте об этом!

— Забыть? — проговорила миссис Прайор со странной усмешкой. — Скорее северный полюс двинется на юг, скорее Европа переместится к берегам Австралии, чем я забуду.

— Довольно, мама! Отдохните! Успокойтесь...

И дочь начала укачивать мать, как мать только что укачивала свое дитя. Наконец миссис Прайор заплакала, потом постепенно успокоилась и вернулась к нежным заботам о больной, на время прерванным волнением. Уложив дочь на постель, она пригладила подушку, поправила простыню. Затем она заново причесала мягкие распустившиеся локоны Каролины, освежила ее влажный лоб прохладной душистой эссенцией.

— Маменька, попросите принести свечи, а то я вас не вижу. И скажите дяде, чтобы потом зашел ко мне; я хочу услышать от него, что я — ваша дочь. И еще, маменька, поужинайте здесь! Не оставляйте меня сегодня ни на минуту!

— Ах, Каролина! Хорошо, что ты так ласкова. Ты велишь мне уйти, и я уйду; велишь вернуться, и я вернусь; велишь что-либо сделать, и я все сделаю. Ты унаследовала от отца не только внешность, но и его манеры. Когда ты говоришь «маменька», я уже ожидаю приказа, хоть и высказанного с нежностью. И то слава Богу!

«Впрочем, — продолжала она про себя, — он тоже говорил нежно, особенно когда хотел, и голос его звучал как нежнейшая флейта. Зато потом, когда мы оставались одни, в нем слышались такие дикие ноты, что нервы не выдерживали, кровь свертывалась в жилах и можно было сойти с ума!»

— Но, маменька, кого же мне еще просить о том или об этом, как не вас? Я не хочу, чтобы кто-то другой приближался ко мне или что-либо делал для меня. Только не позволяйте мне быть назойливой: останавливайте меня, если я забудусь.

— Не рассчитывай, что я буду тебя останавливать, ты должна сама следить за собой. У меня не так уж много мужества, мне его всегда не хватало, и это мое несчастье. Из-за него я осталась матерью без дочери, из-за него я десять лет была разлучена с моим ребенком, несмотря на то что мой муж умер и я могла бы предъявить на тебя

свои права, из-за него рука моя дрогнула и я позволила вырвать из моих объятий младенца, с которым могла бы еще не расставаться.

— Как это случилось, маменька?

— Я отдала тебя еще совсем малюткой, потому что ты была слишком хороша и я боялась твоей красоты, мне она казалась признаком жестокости. Мне переслали твой портрет, когда тебе исполнилось восемь лет, и этот портрет подтвердил мои опасения. Если бы я увидела загорелую деревенскую девчушку, обыкновенного неуклюжего ребенка с некрасивым личиком, — я бы тотчас потребовала, чтобы тебя вернули мне. Но тогда на портрете под серебряной бумагой я увидела полный изящества, аристократический цветок. Каждая черточка твоя говорила: «Я — маленькая леди!» Я слишком недавно была рабыней одного красавца джентльмена, — раздавленная, парализованная, умирающая под градом обид и оскорблений, — чтобы решиться связать свою жизнь с другим еще более прекрасным и очаровательным существом его крови. Маленькая прелестная леди вызвала во мне ужас; ее благородное изящество пронзило меня дрожью. В жизни своей я еще не видела человека, у которого красота сочеталась бы с правдивостью, скромностью и благонаравием. Чем совершеннее и прекраснее внешность, — рассуждала я, — тем порочнее и злее душа. Я почти не верила, что воспитание может исправить такую душу; вернее я сознавала свою полную неспособность повлиять на нее. Ах, Каролина, я не осмелилась тогда взять тебя к себе и оставила у твоего дяди. Я знала Мэттьюсона Хелстоуна как человека строгого, но справедливого. Он, как и все, сурово осудил мое странное, противоестественное для матери решение, но я этого заслуживала.

— Маменька, почему вы назвались миссис Прайор?

— Это девичья фамилия моей матери. Я приняла ее, чтобы укрыться от всех тревог. Имя мужа слишком живо напоминало мне нашу семейную жизнь, и это было невыносимо. Кроме того, мне угрожали насильно вернуть меня в прежнее рабство, хотя я скорее предпочла бы гроб супружескому ложу и могилу — дому твоего отца. Новое имя защищало, скрывало меня. И под его прикрытием я вернулась к своему прежнему занятию воспитательницы. Сначала я едва зарабатывала на жизнь. Но сколь сладким был даже голод, когда я обрела покой! Сколь надежными казались мне темнота и холод жалкой

лачуги, ибо под ее кровлю не врывался зловещий багряный отблеск страха; сколь безмятежным было мое одиночество, которое не могли больше нарушить насилие и порок!

— Но, маменька, вы же бывали в этих местах прежде! Почему же вас никто не узнал, когда вы вернулись сюда вместе с мисс Килдар?

— Я провела здесь всего несколько дней перед свадьбой, лет двадцать назад, а кроме того, в те дни я выглядела совсем иной. Я была стройной, почти такой же стройной, как ты сейчас. А ко времени возвращения все во мне изменилось; черты лица, прическа, одежда — все стало другим. Можешь ты вообразить меня гибкой юной девушкой в легком платье из белого муслина, с голыми руками в браслетах, с бусами на шее, с греческой прической?

— Да, вы, должно быть, сильно переменились. Но, мама, я слышу, входная дверь стукнула! Если это дядя, попросите его подняться, и пусть он подтвердит, что я не сплю, что все это правда, а не сновидение или бред!

Но мистер Хелстоун уже сам поднимался по лестнице. Миссис Прайор позвала его в комнату Каролины.

— Надеюсь, ей не сделалось хуже? — поспешно спросил он.

— Я думаю, ей лучше. Она хочет поговорить с вами и выглядит не такой слабой.

— Хорошо, — проговорил он и быстро вошел в комнату. — Ну, Кэри, как дела? Ты выпила чай, который я заварил? Я приготовил его для тебя по своему вкусу.

— Выпила все до капельки, дядюшка, и мне сразу стало лучше. Этот чай меня совсем оживил. Мне хочется видеть вокруг себя людей, вот я и попросила миссис Прайор позвать вас.

Почтенный священнослужитель был явно доволен и в то же время смущен. Он с охотой составил бы компанию своей больной племяннице минут на десять, раз ей этого захотелось, но о чем с ней говорить, Хелстоун совершенно себе не представлял, а потому только хмыкал и переминался с ноги на ногу.

— Ты у нас живо поправишься, — заговорил он, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Болезнь у тебя пустячная и скоро пройдет. Тебе надо пить портвейн, хоть целую бочку, если сможешь, и есть дичь и устрицы, — я для тебя что угодно раздобуду. И поверь мне, после такого лечения ты сможешь потягаться в силе хоть с самим Самсоном!



— Скажите, дядя, кто эта дама, что стоит позади вас в ногах моей постели?

— Боже правый! — воскликнул мистер Хелстоун. — Уж не грезит ли она?

Миссис Прайор улыбнулась.

— Да, я грежу! — отозвалась Каролина тихим счастливым голосом. — Я попала в чудесный мир и хочу, чтобы вы сказали мне, дядюшка, истинный это мир или только видение? Кто эта дама? Назовите ее!

— Надо снова позвать доктора Райла, сударыня, или еще лучше доктора Мак-Тёрка, — он не такой шарлатан. Пусть Томас не медля седлает лошадь и отправляется за ним!

— Нет, мне не нужно доктора! Мама будет моим единственным врачом. Теперь вы понимаете, дядя?

Мистер Хелстоун сдвинул очки с переносицы на лоб, вытащил табакерку и взял добрую понюшку. Подкрепившись таким образом, он коротко ответил:

— Теперь догадываюсь. Значит, вы ей сказали, сударыня? — обратился он к миссис Прайор.

— И это правда? — спросила Каролина, приподнимаясь в постели. — Она действительно моя мать?

— Надеюсь, ты не станешь плакать, не устроишь сцену и не забьешься в истерику, если я тебе отвечу «да»?

— Плакать? Я бы заплакала, если бы вы ответили «нет». Я бы не пережила разочарования. Но скажите мне ее имя! Как вы ее назовете?

— Эту полную даму в старомодном черном платье, хотя она выглядит достаточно молодо, чтобы нарядиться и получше, эту леди зовут Агнесса Хелстоун. Она была женой моего брата Джеймса, а теперь она его вдова.

— И она моя мать?

— Вот недоверчивый человечек! Посмотрите-ка на ее рожицу, миссис Прайор! Не больше моей ладони, а сколько серьезности, сколько в ней ожидания! Во всяком случае, она произвела тебя на свет, — заверил он Каролину. — Надеюсь, ты постарайся отблагодарить ее хотя бы тем, что скоро поправишься и щечки твои округлятся. Вот напасть! Какая она была цветущая! И куда только все подевалось — не пойму, клянусь жизнью!

— Если одного желания поправиться достаточно, я недолго останусь в постели. Но еще утром у меня не было ни сил, ни причин стараться выздороветь.

В дверь постучали: это Фанни пришла сказать, что ужин готов.

— Дядя, если можно, пошлите что-нибудь мне к ужину, совсем немножко, из своей тарелки. Это ведь умнее, чем биться в истерике, не правда ли?

— Мудрые слова, Кэри! Я уж постараюсь накормить тебя как следует. Когда женщины разумны, а главное, если их поведение можно понять, я с ними уживаюсь. Но какие-то смутные сверхтонченные настроения и сверхтонкие расплывчатые идеи всегда ставят меня в тупик. Если женщина просит что-нибудь из еды, — будь то яйца птицы Рухх или акриды и дикий мед, которыми питался Иоанн Креститель, или из одежды — будь то кожаный пояс с его чресел или даже золотой нагрудник Аарона, — все это мне хотя бы ясно! Но когда женщины сами не знают, чего хотят, — симпатии, чувств, еще каких-то неопределенных абстракции, — я ничего не могу им дать; у меня этого нет, для меня это непостижимо. Сударыня, — закончил он, обращаясь к миссис Прайор, — позвольте предложить вам руку!

Миссис Прайор объяснила, что хочет провести вечер с дочерью, и мистер Хелстоун оставил их. Вскоре он вернулся с тарелкой в руках.

— Вот цыпленок, — сказал он. — Зато на завтра будет куропатка. Поднимите ее и накиньте ей на плечи шаль. Я знаю, как ухаживать за больными, можете мне поверить! А вот тебе та самая серебряная вилка, которой ты ела, когда в первый раз явилась в мой дом. Должно быть, это и есть то, что у женщин называется удачной мыслью или, как его там, нежной заботливостью. Ну, Кэри, будь умницей, принимайся за дело!

Каролина старалась как могла. Мистер Хелстоун насупился, видя, что у нее совсем нет сил, однако продолжал утверждать, что скоро все пойдет по-другому. Больная кое-как проглотила несколько кусочков, похваливая еду, и благодарно улыбнулась дяде. Тогда мистер Хелстоун склонился над ней, поцеловал ее и проговорил прерывающимся хриплым голосом:

— Спокойной ночи, девочка! Да благословит тебя Бог!

Каролине было так покойно в объятиях матери, что она не променяла бы их ни на какую подушку. И хотя ночью она не раз

просыпалась от лихорадочных снов, тотчас по пробуждении к ней возвращалось такое блаженное, счастливое состояние, что она сразу успокаивалась и вновь засыпала.

Что же до матери, то она провела ночь как Иаков в Пенуиеле:<sup>[\[115\]](#)</sup> до самого рассвета боролась она с призраком смерти, обращая к Богу страстные мольбы.

## ГЛАВА XXV

### Западный ветер

Далеко не всегда побеждают те, кто осмеливается вступить в спор с судьбой. Ночь за ночью смертный пот увлажняет чело страждущей. Тщетно взывает в милосердии душа тем бесплотным голосом, каким обращаются с мольбой к незримому.

«Пощади любимую мою! — молит она. — Спаси жизнь моей жизни! Не отнимай у меня ту, любовь к которой заполнила все мое существо. Отец небесный, снизойди, услышь меня, смилуйся!»

Ночь проходит в борьбе и мольбах, встает солнце, а страждущей нет облегчения. Бывало, раннее утро приветствовало ее легким шепотом ветерка и песней жаворонка, а сейчас с побледневших и холодных милых уст слетает навстречу рассвету лишь тихая жалоба:

— О, какая это была тягостная ночь! Мне стало хуже. Хочу приподняться и не могу. Тревожные сны измучили меня!

Подходишь к изголовью больной, видишь новую страшную перемену в знакомых чертах и вдруг понимаешь, что невыносимая минута расставания уже близка, что Богу угодно разбить кумир, которому ты поклонялся. Бессильно склоняешь тогда голову и покоряешься душой неотвратимому приговору, сам не постигая, как сможешь его перенести.

\* \* \*

Счастливица миссис Прайор! Она еще молилась, не замечая, что солнце уже поднялось над холмами, когда ее дитя тихо пробудилось в ее объятиях. Каролина проснулась без жалобных стонов, которые так мучительны, что как бы мы ни клялись сохранять твердость, невольно вызывают потеки слез, смывающих все клятвы. Она проснулась, — и не было в ней апатии, глубокого безразличия к окружающему. Она заговорила, — и слова ее не были словами отрешенной от мира страдальцы, которая уже побывала в обителях, недоступных живым. Нет, Каролина отчетливо помнила все, что произошло.

— Ах, мама, как хорошо я спала! — воскликнула она. — Всего только два раза бредила и просыпалась.

Миссис Прайор вздрогнула и поспешила встать, чтобы дочь не заметила ее радостных слез, вызванных ласковым словом «мама» и утешительной вестью, что ночь прошла хорошо.

Но еще немало дней мать боялась дать волю своей радости. Возвращение дочери к жизни казалось ей мерцанием потухающей лампы: временами пламя ярко разгоралось, но сразу вслед за этим тускло и ослабевало; за минутой возбуждения следовали часы глубокой апатии.

Каролина трогательно старалась делать вид, что ей уже лучше, но часто у нее не хватало на это сил; слишком часто ее попытки есть, говорить и казаться веселой не удавались. И немало было часов, когда миссис Прайор уже не надеялась, что струны жизни снова натянутся, хотя и считала, что может отдалить минуту их разрыва.

Все это время казалось, что мать и дочь остались одни на свете. Стоял конец августа, погода держалась ясная, вернее — сухая и пыльная, потому что весь месяц дул иссушающий восточный ветер. Было безоблачно, однако бледная дымка постоянно висела в воздухе и словно отнимала у лазури небес всю ее глубину, у зелени — ее свежесть, у солнечного света — все его сияние. Почти все брайерфилдские соседи разъехались. Мисс Килдар с родными отправилась к морю; там же была и миссис Йорк со своим семейством. Мистер Холл и Луи Мур, которые как-то сразу подружились, видимо обнаружив большое сходство во взглядах и в характерах, пустились пешком на север, к Озерам. Даже Гортензия, которая охотно бы осталась, чтобы помочь миссис Прайор ухаживать за Каролиной, вынуждена была уступить настоятельным просьбам мисс Мэнн и еще раз поехать с нею в Вормвуд-Уэллс, где та надеялась избавиться от своих недомоганий, усилившихся с нездоровой погодой. Поистине не в характере Гортензии было отказывать в просьбе, когда обращались к ее доброте и одновременно льстили ее самолюбию, а мисс Мэнн своей просьбой косвенно признавала, что не сможет без нее обойтись. Что же касается Роберта, то он из Бирмингема выехал в Лондон, где и оставался до сих пор.

Пока дыхание азиатских пустынь иссушало губы и волновало кровь Каролины, ее телесное выздоровление не поспевало за быстро

возвращавшимся душевным спокойствием. Но вот настал день, когда ветер перестал с рыданиями биться о восточный фасад дома и стучаться в церковные окна. На западе появилось облачко, маленькое, всего с ладонь; налетел вихрь, погнал облачко дальше, развернул его по всему небу, и в течение нескольких дней непрерывно шли дожди с грозами. Когда они кончились, радостно выглянуло солнце, небо снова засияло синевой, а земля — свежей зеленью. Призрачный болезненный оттенок исчез с лица природы, и холмы, освобожденные от бледного малярийного тумана, четкой цепью замкнули прояснившийся горизонт.

Теперь сказались юность Каролины и заботы ее матери. Чистый западный ветер, нежный и свежий, — настоящее благословение Божье! — врывался в постоянно открытое окно и пробуждал еще недавно угасавшие силы больной. И наконец миссис Прайор убедилась, что надежда есть: началось настоящее выздоровление. Дело не только в том, что улыбка Каролины стала ярче или настроение лучше, — главное, что лицо ее и глаза утратили то особенное, страшное и неизъяснимое выражение, которое знакомо всем, кто сиживал у постели тяжелобольного. Задолго до того, как исхудавшее лицо ее начало округляться и поблекшие краски заиграли на щеках и губах, в ней произошла другая, почти неуловимая перемена: она вся стала как бы нежней и теплее. Вместо мраморной маски и остекленелых глаз миссис Прайор видела теперь на подушке лицо пусть бледное и худое, пусть даже еще более измученное и изнуренное, но зато совсем не страшное лицо живой, хотя и больной девушки, а не белый гипсовый слепок или неподвижную голову статуи.

Кроме того, Каролина теперь уже не просила все время пить. Слово «воды!» перестало быть ее единственным словом. Иной раз она даже съедала что-нибудь и говорила, что это ее подкрепляет. Безразличие и отвращение ко всякой пище исчезли; иногда она уже сама выбирала себе то или иное блюдо, и надо было видеть, с каким трепетным удовольствием, с какой нежной заботой мать старалась приготовить его повкуснее и как она радовалась, глядя на дочь!

Силы Каролины быстро восстанавливались. Вскоре она уже могла садиться. Потом ей захотелось подышать свежим воздухом, полюбоваться на свои цветы, поглядеть, как зреют плоды в саду. Дядя

с обычной своей щедростью купил для нее кресло на колесах, сам относил ее на руках в сад и усаживал, а Вильям Фаррен возил Каролину по дорожкам, показывая, что он сделал с ее цветами, и спрашивая, что делать дальше.

У Каролины и Вильяма было о чем поговорить. Нашлось достаточно общих тем, которые никого больше не занимали, но для них были интересны. Обоих привлекали животные, растения, птицы и насекомые, оба одинаково чувствовали обязанности человека по отношению к низшим созданиям, оба любили наблюдать за всем, что относилось к жизни природы. Сегодня их занимали земляные осы, устроившие свое гнездо под старой вишней, завтра — жемчужные яички и неоперившиеся птенцы завирушки.

Если бы в то время уже выходил «Журнал Чемберса», он был бы наверняка любимым журналом мисс Хелстоун и Фаррена. Она бы на него сразу подписалась, каждый номер аккуратно передавала Вильяму, и оба наслаждались бы чудесными историями о смысленности животных, слепо веря каждому слову.

Отступление это необходимо, чтобы объяснить, почему Каролина только Вильяму позволяла возить себя по саду и почему его общество и разговоры вполне устраивали ее во время этих прогулок.

Миссис Прайор, следуя за ними чуть поодаль, только удивлялась, как это ее дочь может так хорошо себя чувствовать в обществе «человека из народа»! Сама она могла говорить с ним только очень сухо и не иначе как тоном приказа. Ей казалось, что между их сословиями лежит глубокая пропасть; переступить ее или снизить до прогулок с простым крестьянином представлялось ей настоящим унижением. Однажды она ласково спросила Каролину:

— Неужели ты не боишься, милая, так свободно разговаривать с этим человеком? Он может Бог может что вообразить и, пожалуй, совсем забудется!

— Вильям забудется? Что вы, мама! Вы его не знаете. Он никогда себе этого не позволит: для этого он слишком горд и чуток. У Вильяма возвышенная душа.

Миссис Прайор только недоверчиво улыбнулась: какой-то неотесанный лохматый поденщик в бумажейной одежде с грубыми ручищами и вдруг «возвышенная душа»!

Фаррен, со своей стороны, при виде миссис Прайор только хмурился. Он чувствовал, что та к нему несправедлива, всегда был готов постоять за себя и не намеревался спускать обиды.

Вечера свои Каролина целиком отдавала матери, и потому миссис Прайор особенно любила это время, когда она оставалась с дочерью наедине и никто, даже тень человеческая не стояла между нею и ее любимицей. Днем она, по привычке, держалась по-прежнему натянуто, а порой холодно. С мистером Хелстоуном у нее установились отношения самые почтительные и в то же время весьма официальные. Любая фамильярность покорила бы и ее и его, но благодаря тому, что оба были предельно вежливы и строго соблюдали дистанцию, все шло вполне гладко.

С прислугой миссис Прайор обходилась не то чтобы грубо, но сдержанно, холодно и недоверчиво. Высокомерие ее объяснялось скорее робостью, нежели гордостью, но, как и следовало ожидать, Элиза и Фанни не смогли в этом разобраться и потому не слишком ее жаловали. Миссис Прайор сама это чувствовала, но ничего не могла с собой поделать и по-прежнему держалась замкнуто и сурово.

Одна Каролина умела ее расшевелить. Беспомощность дочери, ее искренняя любовь смягчали сердце миссис Прайор. Холодность ее таяла, суровость исчезала, она сразу веселела, становилась уступчивее и мягче. А ведь Каролина вовсе не изъяснялась ей в любви! Да слова и не тронули бы миссис Прайор, она увидела бы в них лишь доказательство неискренности; но Каролина так естественно и легко склонялась перед ней, признавая ее превосходство, вверяла ей себя с таким безбоязненным доверием, что сердце матери таяло.

Ей было сладко слушать, как дочь говорит: «Сделайте мне это, мама», «Пожалуйста, принесите мне то, мама», «Почитайте мне, мама», «Спойте что-нибудь, мама».

До сих пор никто, ни одно живое существо не нуждалось так в ее услугах, в ее помощи. Другие всегда относились к ней более или менее сдержанно и холодно, так же как и она к ним; другие давали ей почувствовать, что видят ее недостатки и недолюбливают ее за это. У Каролины же такой обидной пронизательности и недоброжелательной чопорности было не более чем у грудного младенца.

Но Каролина вовсе не была слепа. Стараясь не замечать природных и потому неисправимых недостатков миссис Прайор, она



не желала закрывать глаза на те ее привычки, которые еще можно было исправить. Иногда она самым откровенным образом делала ей замечания, и та, вместо того чтобы рассердиться, испытывала при этом величайшее удовольствие. Если дочь осмеливается делать ей замечания, значит она уже к ней привыкла!

— Мама, — говорила Каролина, — я решила, что вы больше не будете носить это старое платье; оно совсем вышло из моды: юбка слишком узка. Днем надевайте к столу ваше черное, шелковое: оно вам к лицу. А воскресное платье мы вам сделаем из черного атласа, настоящего атласа, а не какой-нибудь подделки. И когда у вас будет новое платье, пожалуйста, мама, носите его!

— Душа моя, черное шелковое прослужит мне воскресным платьем еще немало лет. Я хочу купить кое-что для тебя.

— Полноте, мама, дядя дает мне достаточно денег на все, что нужно; вы ведь знаете его щедрость. А мне так хочется видеть вас в черном атласном платье! Купите поскорей материю, и пусть вам шьет моя портниха. И покрой я сама выберу, а то вы всегда наряжаетесь, точно бабушка, словно хотите кого-то убедить, что вы старая и некрасивая. Совсем нет! Наоборот, когда вы принарядитесь и развеселитесь, вы, право, очень хороши! У вас такая милая улыбка, такие белые зубы, и волосы у вас до сих пор блестят, и цвет у них приятный. И говорите вы совсем как молоденькая девушка — голос у вас чистый, звонкий, а поете куда лучше молодых. Зачем же вы носите такие платья и шляпки, каких уже никто не носит?

— Неужели тебя это огорчает, Каролина?

— Очень, а иногда мне становится даже досадно. Люди говорят, будто вы скупы, а ведь это неправда, я знаю, как щедро вы помогаете беднякам. Только вы всегда это делаете тайком и так скромно, что почти никто об этом не знает, кроме тех, кто получает вашу помощь. Но теперь я сама буду вашей горничной; вот только окрепну немного и примусь за вас, и вы должны слушаться и делать все, как я скажу!

Каролина подсаживалась к матери, по-своему поправляла ей муслиновую косынку, по-своему приглаживала волосы.

— Мама, родная! — продолжала она, словно очарованная этой дружеской близостью. — Вы моя, а я вся — ваша! Теперь я богата, теперь у меня есть кого любить и я могу любить, ничего не страшась.

Маменька, кто вам подарил эту маленькую брошку? Позвольте мне взглянуть на нее!

Миссис Прайор, которая обычно сторонилась чужих рук, охотно уступила просьбе дочери. Каролина отшпилила брошь.

— Это папа вам подарил?

— Нет, Кэри, это сестра, моя единственная сестра. Ах, если бы твоя тетя была жива, она бы сейчас поглядела на свою племянницу!

— Неужели у вас не осталось ничего папиного, ни одной вещицы, никакого подарка?

— Осталась одна вещь.

— И вы ею дорожите?

— Очень.

— Она ценная, красивая?

— Для меня она бесценная и самая красивая.

— Покажите мне ее, маменька! Эта вещь с вами или в Филдхеде?

— Она сейчас говорит со мной, прижимаясь ко мне, и руки ее обнимают меня.

— Ах, мама, вы говорите о своей докучливой дочери, которая не оставляет вас ни на миг, бежит за вами, едва вы уйдете в свою комнату, ходит за вами вверх и вниз по лестнице, как собачонка!

— И которая заставляет меня порой трепетать. Я все еще страшусь чего-то, глядя на твое прекрасное лицо.

— Не надо, мама, вы не должны так говорить! Как жаль, что папа не был добр: мне бы так хотелось думать о нем хорошо. Порочность портит и отравляет все самое лучшее — она убивает любовь. Если бы мы думали друг о друге плохо, разве мы могли бы любить?

— А если бы мы не могли верить друг другу, что тогда, Кэри?

— О, как бы мы тогда были несчастны! Мама, пока я вас не знала, мне казалось, что вы нехорошая, что я не смогу относиться к вам с уважением. Мне было страшно, это меня угнетало, и я не хотела вас видеть. А теперь у меня легко на душе, потому что я нахожу вас совершенной, почти совершенной: доброй, умной, милой. Единственный ваш недостаток — это старомодность, но я вас от него избавлю. Оставьте рукоделие, мама, почитайте мне! Я люблю ваш южный выговор, — он такой мягкий, такой чистый; не то что у наших северян. Дядя и мистер Холл хвалят вас, мама, говорят, что вы

превосходно читаете. Мистер Холл сказал, что никогда не слышал, чтобы женщина читала так выразительно и хорошо.

— Хотела бы я ответить ему таким же комплиментом, но, право, Кэри, когда я впервые услышала, как твой добрейший друг мистер Холл читает и как он произносит проповеди, я просто не могла понять его грубого северного выговора.

— А меня вы хорошо понимаете? Маменька, неужто я говорю так же грубо?

— О нет! Я бы почти желала, чтобы ты говорила грубо и была неотесанной, невоспитанной! Но твой отец, Каролина, говорил очень хорошо, не то что твои почтеннейший дядя, — изящно, правильно, гладко. От него ты и унаследовала дар слова.

— Бедный папа! Почему же он при всех своих достоинствах был такой недобрый?

— Он был таким, каким был, и, к счастью, ты, дитя, не сможешь этого понять, а я — тебе объяснить. Это непостижимая тайна. Ключ от нее в руках творца; пусть у него и остается.

— Мама, вы все шьете да шьете; отложите шитье — оно мне ненавистно! Оно лежит у вас на коленях, а я хочу приклонить на них голову; оно заставляет ваши глаза следить за стежками, а я хочу, чтобы они углубились в книгу. Вот вам ваш любимый Купер!

Но подобные дерзости нравились матери, и если она не спешила исполнить просьбы дочери, то лишь затем, чтобы услышать их еще раз и еще раз насладиться полушутливой, полусерьезной нежной настойчивостью своего дитяти. А потом, когда она наконец уступала, Каролина лукаво ей выговаривала:

— Вы меня испортите, мамочка! Я всегда думала, что должно быть хорошо, когда тебя так балуют, и, право, мне это очень нравится.

И миссис Прайор это тоже очень нравилось.

## Глава XXVI

### Старые ученические тетради

К тому времени, когда Шерли со своими родственниками вернулась в Филдхед, Каролина почти совсем поправилась. Мисс Килдар узнала о выздоровлении подруги из писем и, не в силах больше ждать, сразу же по приезду явилась к ней.

Мелкий, но частый дождик моросил над садом, где отцветали последние цветы и опадала поблекшая листва кустарника, когда вдруг послышался скрип калитки и мимо окна промелькнула знакомая фигура Шерли. Она вошла, сохраняя свою обычную сдержанность и ничем не выдавая снедавшего ее волнения; в минуты большого горя или радости Шерли становилась немногословной: сильные чувства редко развязывали ей язык, и даже взглядом она решалась выказать их лишь украдкой. Вот и сейчас она только обняла Каролину, один раз поцеловала, один раз взглянула и сказала просто:

— Ты поправляешься.

Спустя минуту она прибавила:

— Я вижу, теперь тебе нечего опасаться, однако будь осторожна. Дай Бог, чтобы твое здоровье не подверглось новым испытаниям.

Потом Шерли принялась живо рассказывать о своем путешествии. Но даже в пылу самых красноречивых описаний сверкающие глаза ее не отрывались от Каролины: в них отражалось и глубокое сочувствие, и смущение, и некоторое недоумение.

«Кажется, ей лучше, — говорили ее глаза, — но она еще слаба! Через какие испытания пришлось ей пройти!»

Внезапно взгляд Шерли обратился к миссис Прайор и словно пронзил ее насквозь.

— Когда же моя компаньонка вернется ко мне? — спросила мисс Килдар.

— Можно мне сказать ей? — обратилась Каролина к матери.

Та кивнула, и Каролина рассказала Шерли обо всем, что случилось в ее отсутствие.

— Прекрасно! — спокойно проговорила мисс Килдар. — Очень хорошо! Только для меня это не новость.

— Как? Ты все знала?

— Я уже давно обо всем догадалась. О миссис Прайор мне кое-что рассказывали, — конечно, не сама она, а другие. С подробностями карьеры и с характером мистера Джеймса Хелстоуна я тоже знакома; как-то вечером я беседовала с мисс Мэнн, и та мне многое открывала. Кроме того, это имя всегда на языке у миссис Йорк: для нее оно вроде пугала, которым она устрашает девушек, предостерегая их от замужества. Сначала я не очень-то верила портрету, написанному пристрастной рукой; обе эти дамы испытывают какое-то мрачное наслаждение, смакуя самые темные стороны жизни. Но потом я расспросила мистера Йорка, и он мне сказал: «Шерли, голубушка, если хочешь знать, скажу тебе только одно: Джеймс Хелстоун был тигром в образе человеческого. Он был красив и развратен, нежен и коварен, учтив и жесток...» Не плачь, Кэри, не будем больше говорить об этом.

— Я не плачу, Шерли, а если и плачу, то это ничего, продолжай! Если ты мне друг, не скрывай от меня правду, я ненавижу фальшивые недомолвки, которые извращают и калечат истину.

— К счастью, я уже сказала почти все, что хотела сказать. Прибавлю только, что твой дядя тоже подтвердил справедливость суждений мистера Йорка. Он тоже ненавидит ложь и не признает никаких условностей, никаких уверток, которые хуже и подлее самой лжи.

— Но ведь папа умер, они могли бы оставить его в покое.

— Они могли бы, а мы — оставим. Поплачь, Кэри, тебе станет легче: нельзя удерживать слезы, когда они сами льются. И мне радостно, — по глазам твоей матери я читаю ее мысли, — она смотрит на тебя и думает, что каждая твоя слезинка смывает один грех с его души. Плачь, слезы твои благодатнее рек Дамаска: подобно водам Иордана, они исцеляют проказу памяти. [\[116\]](#)

— Сударыня, — продолжала она, обращаясь к миссис Прайор, — неужели вы думали, что я ничего не подозревала, видя вас и вашу дочь каждый день? Можно ли было не заметить ваше разительное сходство во многом и ваше, простите меня, так неумело скрываемое волнение в присутствии вашей дочери, и еще большее в ее отсутствие? Я сделала выводы, и они оказались настолько правильными, что теперь я буду считать себя весьма проницательной.

— И ты мне ничего не сказала! — упрекнула ее Каролина, успевшая успокоиться и овладеть собой.

— Разумеется. Я не имела на это никакого права. Это было не мое дело, и я не хотела вмешиваться.

— Ты разгадала такую большую тайну и никому даже не намекнула об этом?

— Разве это так уж трудно?

— Это на тебя не похоже.

— Ты так полагаешь?

— Ты ведь не скрытная. Ты всегда была так откровенна!

— Я могу быть откровенной, но всегда знаю меру. Выставляя напоказ свои сокровища, я прячу от людей одну-две драгоценности, — редкий камень с резьбой, таинственный амулет, на священную надпись которого и я себе не часто позволяю взглянуть. А теперь — до свидания!

Так Шерли вдруг предстала перед Каролиной совершенно по-новому, показав неведомую прежде сторону своего характера. И вскоре выдался случай, когда эта сторона ее характера раскрылась перед Каролиной целиком.

Едва Каролина достаточно окрепла, чтобы выходить из дому и бывать на людях, хотя бы в небольшом обществе, как мисс Килдар начала каждый день приглашать ее к себе в Филдхед. Неизвестно, что было тому причиной: если Шерли и наскучили ее почтенные родственники, она этого не говорила, однако настойчивость, с какой она зазывала и удерживала Каролину, ясно показывала, что новая гостья в ее чопорном обществе была далеко не лишней.

Симпсоны были людьми благочестивыми и, естественно, приняли племянницу священника весьма почтительно. Мистер Симпсон оказался человеком безупречной жизни и репутации, довольно беспокойного характера, с христианскими принципами и светскими взглядами. Супруга его была женщиной весьма доброй, терпеливой, положительной и благовоспитанной. Правда, воспитание ее грешило некоторой узостью: несколько предрассудков — тощий пучок горьких трав, несколько склонностей, настолько избитых, что они давно уже утратили свой естественный аромат и вкус, и никаких приправ к этой постной пище! Кроме того, в ее меню входило с полдюжины превосходных ханжеских принципов, окаменевших, как черствая

горбушка, и совершенно несъедобных. Однако она была слишком неприхотлива, чтобы жаловаться на скудную диету или просить чего-то еще.

Дочки у этой пары были примерные: высокие, с прямыми римскими носами и безукоризненно воспитанные. Все, что они делали, получалось у них хорошо. Ум их развивался на истории и на самых нравоучительных книгах. Мнения их и взгляды отличались законченным совершенством. Более упорядоченную жизнь вряд ли кто-либо вел, более приличных склонностей, привычек и манер было не сыскать. Они знали назубок некий школьно-девичий кодекс, определявший их речь, поведение и все прочее, никогда не отступали от его нелепых мелочных установлений и про себя шепотком ужасались, когда их нарушал кто-либо другой. Ужас неведомого не составлял для них тайны. Для них это невыносимое явление заключалось в том, что прочие называют Оригинальностью. Симптомы сего зла они обнаруживали тотчас, и где бы оно им ни повстречалось, в чем бы ни проявилось — в словах или в делах, будь то свежий, энергичный слог новой книги или интересный, чистый и выразительный язык в разговоре, — они сразу вздрагивали и съеживались: опасность нависала над их головами, смертельная угроза кралась за ними по пятам! В самом деле, что это еще за странность? Если вещь непонятна, значит она дурна! Надо ее немедленно разоблачить, связать и заковать.

Генри Симпсону, единственному сыну и самому младшему в семье, было пятнадцать лет. Он все время держался около своего гувернера, а если и отходил от него, то только для того, чтобы приблизиться к своей кухне Шерли. Мальчик мало походил на сестер: он был невысок, хром и бледен; большие, глубоко посаженные глаза его мечтательно мерцали; обычно они были словно подернуты дымкой, но иной раз вспыхивали и тогда не просто сияли, а горели жарким пламенем. Душевное волнение по временам окрашивало румянцем его бледные щеки и придавало решимость его неверным, судорожным движениям.

Мать любила Генри и странности его принимала за печать судьбы. Она видела, что он не похож на прочих детей, верила, что он из числа избранных, [\[117\]](#) - новый Самуил, от рождения посвященный Богу, — а потому прочила его в священники. Отец и сестры не понимали

мальчика и обращали на него мало внимания; вскоре он сделался любимцем Шерли, и та стала товарищем всех его игр и забав.

В этом семейном кругу, вернее, около него, вращалось чужеродное тело гувернер.

Да, Луи Мур был чужеродным телом в семействе Симпсонов: он был с ними связан и независим, всегда был близ них, но ни с кем не сближался. Все члены образцовой семьи относились к нему с должной обходительностью. Отец был учтиво-строг, иногда раздражителен; мать по своей доброте была внимательна, но без душевной теплоты; дочерям он представлялся некоей абстракцией, а не живым человеком. Судя по поведению этих девиц можно было предположить, что воспитатель их брата для них вовсе не существует. Они были образованны; он тоже, но они этого не замечали. Они были само совершенство; он тоже обладал достоинствами, но они и их не замечали. Самый талантливый рисунок, набросанный его рукой, в их глазах оставался чистым листом бумаги; самое оригинальное его замечание не достигало их слуха. Благовоспитанность их была поистине непогрешимой!

Следовало бы сказать: «поистине неповторимой», но этому мешает одна подробность, весьма удивившая Каролину Хелстоун. Она заметила, что у ее кузена в Филдхеде нет решительно ни одного доброго друга; даже для мисс Килдар он был не живым человеком с благородными чувствами, а всего лишь учителем, как и для сверхблаговоспитанных мисс Симпсон.

Что же случилось с Шерли? Почему при всей ее душевности и доброте она оставалась безразлична к тяжкому положению своего ближнего, который в ее доме был так одинок? Правда, она не относилась к нему свысока; скорее просто не замечала, предоставляя самому себе. Он приходил и уходил, разговаривал или молчал, — она почти не вспоминала о его существовании.

Что же до самого Луи Мура, то он, казалось, привык к такой жизни и временно с ней примирился. Чувства, замурованные в его душе, не роптали на свое заключение. Он никогда не смеялся, улыбался редко, ни на что не жаловался и добросовестно выполнял все свои обязанности. Ученик любил его, а от остальных он ничего не требовал, кроме вежливости. Казалось даже, что большего он бы и не принял, во всяком случае в этом доме, ибо однажды, когда Каролина



вздумала оказывать ему знаки дружеского расположения, он не только не обрадовался, а, наоборот, стал после этого ее избегать.

Кроме его бледного увечного питомца, у Луи Мура было в доме еще одно близкое существо — свирепый Варвар. Угрюмый, злой и настороженный с другими, он питал к Луи необъяснимую любовь, настолько необъяснимую, что иной раз, когда гувернер выходил к обеду и, словно незваный гость, одиноко садился к столу, Варвар вставал со своего места у ног Шерли и спешил к мрачному гувернеру. Однажды — всего один раз! — она заметила, что собака от нее уходит, протянула к ней свою белую руку и нежным голосом попыталась ее вернуть. Варвар взглянул на нее, завилял хвостом, вздохнул, по своему обыкновению, но назад не пошел, а невозмутимо уселся возле Луи Мура. Тот притянул к себе тяжелую голову пса, положил его черную морду себе на колени, потрепал и улыбнулся.

Зоркий наблюдатель мог бы заметить в тот же вечер, что когда Варвар вернулся к Шерли и улегся подле ее скамеечки для ног, дерзкий воспитатель одним словом, одним жестом снова привлек его к себе. Услышав это слово, пес насторожил уши, увидев знак, поднялся, подошел к Луи Муру и, ласкаясь, умильно склонил голову. Луи Мур погладил его, и снова на его спокойном лице промелькнула многозначительная улыбка.

\* \* \*

Однажды Каролина и Шерли сидели вдвоем в беседке.

— Шерли, ты раньше знала о том, что мой кузен Луи служит гувернером у Симпсонов, или узнала об этом только после их приезда? — спросила Каролина.

Против обыкновения, Шерли помедлила с ответом, но под конец все же проговорила:

— Да, конечно, знала.

— Я так и думала, что ты должна была знать.

— Ну и что же?

— Я просто удивляюсь и понять не могу, почему ты ничего мне об этом не сказала.

— Что же тут удивительного?

— Мне это кажется странным и необъяснимым. Ты любишь говорить и говоришь откровенно, почему же об этом ты мне ничего не говорила?

— Да потому, что мы об этом не говорили, — ответила Шерли, смеясь.

— Удивительное ты существо! — заметила ее подруга. — Мне казалось, я тебя хорошо знаю, а теперь я вижу, что ошибалась. Ты молчала как могила про миссис Прайор, а теперь новая тайна. Но почему ты из этого делаешь тайну, для меня загадка.

— Я никогда не делала из этого тайны, — к чему? Если бы ты спросила, кто воспитатель Генри, я бы тебе сказала, но я думала, ты и сама знаешь.

— Мне тут многое непонятно. За что ты не любишь бедного Луи? Тебя смущает, что он, как ты бы сказала, «служит»? Тебе бы хотелось, чтобы брат Роберта занимал более высокое положение?

— При чем здесь Роберт! — воскликнула Шерли, и в голосе ее прозвучало нечто похожее на гнев. Гордым и нетерпеливым жестом она сорвала розу с ветки, склонившейся в беседку через открытое окно.

— Да, да, — повторила Каролина мягко, но настойчиво, — он брат Роберта. Он родной брат Роберта Жерара Мура, хотя природа и не наделила его такой же красотой и благородством черт. Но в нем течет та же кровь, и, будь он независим, он был бы таким же достойным, джентльменом, как его брат.

— Мудрая, кроткая, набожная Каролина! — насмешливо воскликнула Шерли. Внимайте ей, люди и ангелы! Нельзя презирать человека за то, что у него заурядная внешность и скромная, хотя и честная должность, — ты это хотела сказать? Взгляни на героя, которого ты восхваляешь, вот он прогуливается по саду! — закончила она, указывая в просвет среди густой листвы плюща. В этом просвете показался Луи Мур, который медленно шел по дорожке.

— Он совсем недурен, Шерли, — жалобно проговорила Каролина. — Лицо у него благородное; он просто печален и молчалив, и это молчание скрывает его ум. Но я верю, что он умен! Сама подумай, если бы в нем не было никаких достоинств, мистер Холл не искал бы так его общества!

Шерли рассмеялась, через минуту засмеялась снова, и в каждом ее смешке все явственнее звучал скрытый сарказм.

— Ну, хорошо, хорошо, — отозвалась она. — Раз уж он друг мистера Холла и брат Роберта Мура, пожалуй, и мы с ним примиримся, не правда ли, Кэри? Ты находишь, что он умен? То есть не совершенный идиот? Допустим. Ты говоришь, у него есть достоинства? То есть он не совсем негодяй? Согласна! Твое заступничество для меня многое значит, и чтобы это доказать, я заговорю с ним, если он пойдет по этой дорожке.

Луи Мур приближался к беседке. Не подозревая, что в ней кто-то есть, он подошел и сел на ступеньку. Варвар, сделавшийся за последнее время его постоянным спутником, тоже приблизился и растянулся у его ног.

— Что, старина! — обратился к псу Луи Мур, теребя его рыжее ухо, вернее, несчастный огрызок, оставшийся от уха после бесчисленных драк. Видишь, осеннее солнце светит нам так же ласково, как самым красивым и самым богатым на этой земле. Этот сад не наш, но и мы наслаждаемся его зеленью и ароматом, не правда ли?

Он помолчал, продолжая ласкать пса, который вздыхал и ворчал от избытка нежных чувств. На соседних деревьях послышался тихий щебет, что-то слетело вниз, чуть слышно зашелестев, как опадающая листва: маленькие птички спорхнули на газон и суетились в траве на безопасном расстоянии, словно чего-то ожидая.

— А, маленькие коричневые эльфы! — снова заговорил Луи Мур. Вспомнили, должно быть, как я кормил вас вчера. Что, хотите еще печенья? Увы, сегодня забыл вам оставить. Бедные пичуги, у меня для вас нет ни крошки.

Он опустил руку в карман, вынул ее и показал, что она пуста.

— Этому горю легко помочь, — прошептала мисс Килдар, которая все слышала.

Из сумочки, где всегда хранился какой-нибудь гостинец для цыплят, утят и воробьев, она достала кусочек кекса, искрошила его и, перегнувшись через плечо Луи Мура, высыпала крошки на его раскрытую ладонь.

— Вот, — сказала она, — судьба заботится о беззаботных!

— Какой славный день для сентября! — проговорил Луи Мур без всякого смущения, спокойно разбрасывая крошки по газону.

— А для вас?

— Для меня он не хуже, чем для любого монарха.

— Вы словно торжествуете, угрюмо и одиноко наслаждаясь стихиями, неодушевленной природой и обществом низших тварей!

— Одиноко — может быть, но не угрюмо. Среди животных я чувствую себя сыном Адама, наследником того, кому дарована власть над «всеми живыми тварями на земле». Ваш пес любит меня и всюду ходит за мной; ваши голуби слетают с голубятни, когда я выхожу во двор, и толпятся у моих ног; ваша лошадь знает меня так же, как вас, а слушается еще больше...

— И мои розы благоухают для вас, и мои деревья осеняют вас своей листвой...

— ...И ничей каприз не может отнять у меня этих радостей, — продолжал Луи Мур. — Они мои!

Он встал и удалился; Варвар последовал за ним, словно привязанный к нему любовью и долгом. Шерли осталась на ступенях беседки, провожая глазами сурового воспитателя. Когда Каролина взглянула на нее, лицо Шерли было бледно, словно ее гордой душе нанесли глубокую рану.

— Видишь ли, — заметила Каролина извиняющимся тоном, — его чувства так часто оскорбляют, что он поневоле ожесточился.

— Видишь ли, — гневно ответила Шерли, — если мы будем часто говорить о нем, мы с тобой наверняка поссоримся, так что оставим эту тему раз и навсегда!

«Должно быть, это у них не первая такая стычка, — подумала Каролина. Потому-то Шерли и держится с ним так холодно. Но почему она не хочет понять характер человека и обстоятельств, в которых он оказался? Почему его всегдашняя скромность, мужество и природная прямота ей не нравятся? Не понимаю. Редко я ее видела такой несговорчивой и такой раздражительной!»

Зато другие двое друзей Каролины весьма лестно отозвались о ее кузене, подтвердив, что она в нем не ошиблась.

Вильям Фаррен, в дом которого Луи Мур как-то зашел вместе с мистером Холлом, объявил воспитателя «истинным джентльменом». «Второго такого во всем Брайерфилде не сыскать», — утверждал он, добавляя, что готов за него хоть в воду.

— Гляди, как к нему ребятишки льнут! — говорил он. — А жена, та сразу его полюбила. Но главное — мелюзга! В первый раз, как вошел он в дом, так на нем и повисли, а ведь детишки разбираются в людях куда лучше взрослых!

Мистер Холл в свою очередь на вопрос мисс Хелстоун, что он думает о Луи Муре, живо ответил, что никого лучше его не встречал с самой своей юности.

— Но ведь он такой сумрачный, такой серьезный! — возразила Каролина.

— Сумрачный? Да он интереснейший собеседник на свете! В нем столько юмора, причем необычного, спокойного, неповторимого. Когда я ходил с ним к Озерам, это была самая приятная прогулка в моей жизни. У него живой ум, превосходный вкус, и побыть с ним — настоящее удовольствие! Что касается его души и характера, то я бы назвал их возвышенными.

— В Филдхеде он держится таким нелюдимом, что все уверены, будто он просто человеконенавистник.

— О, наверное, он чувствует себя там не на своем месте, в каком-то ложном положении. Симпсоны, конечно, люди достойные уважения, но им его не понять. Они придают слишком много значения всяким формальностям и церемониям, а Луи этого не признает.

— Кажется, мисс Килдар тоже его не жалуется.

— Она его просто не знает, совсем не знает. Иначе она, с ее умом и вкусом, по справедливости оценила бы его достоинства.

«Что ж, возможно, она его и не знает, — подумала Каролина. — Как же еще объяснить ее необъяснимое поведение?»

Но недолго пришлось ей тешиться столь простым решением задачи: вскоре она вынуждена была от него отказаться, и неприязнь мисс Килдар к Луи Муру так и осталась необъясненной.

Однажды Каролина встретила в классной комнате с Генри Симпсоном, который давно уже завоевал ее расположение своим

любезным и кротким нравом. Мальчик трудился над каким-то механическим приспособлением: из-за своей хромоты он предпочитал играм сидячие занятия. Ему что-то понадобилось кусок воска или бечевка, — и он открыл стол учителя. Луи в это время куда-то вышел, — потом оказалось, что мистер Холл позвал его с собой прогуляться. Генри никак не мог отыскать нужную вещь: он обшаривал ящик за ящиком, пока наконец не добрался до самого дальнего. Но вместо куска воска или клубка бечевки в нем оказалась тоненькая, перевязанная тесьмой, пачка небольших тетрадей в глянцевиных крапчатых обложках. Генри с удивлением на них взглянул.

— Что за мусор держит мистер Мур у себя в столе! — проговорил он. Надеюсь, мои упражнения он не станет хранить так заботливо.

— Что это? — спросила Каролина.

— Старые тетрадки.

Он бросил пачку Каролине. Вид у тетрадок был такой чистенький, что ей захотелось в них заглянуть.

— Если это обыкновенные ученические тетради, я думаю, их можно полистать?

— Конечно, сколько угодно! Мистер Мур отвел мне половину стола, — я храню тут всякие вещи, — так что я разрешаю.

В тетрадках оказались сочинения, написанные по-французски своеобразным, мелким, но удивительно аккуратным и четким почерком. Распознать его было легко, — для этого Каролине даже не пришлось заглядывать в конец сочинений, где стояло имя, она и так его знала. И все же подпись удивила ее: «Шерли Килдар, Симпсон-Гроув, такое-то графство», — одно из южных. Дата свидетельствовала, что эти сочинения написаны четыре года назад.

Каролина снова связала тетради, но не выпустила пачку из рук, раздумывая, что бы это могло означать. Она смутно догадывалась, что, заглянув в них, приоткрыла чью-то тайну.

— Видите, это тетрадки Шерли, — беззаботно заметил Генри.

— Это ты их дал мистеру Муру? Наверное, она писала сочинения с миссис Прайор?

— Да нет же, она их писала в моей классной комнате в Симпсон-Гроуве, еще когда жила у нас. Мистер Мур тогда учил ее французскому языку: ведь это его родной язык.

— Я знаю... А что, Генри, она была прилежной ученицей?

— Она-то? Такая озорница, хохотушка! Зато с ней всегда было весело и уроки проходили незаметно. Она все схватывала так быстро, что даже не поймешь, как она успевает. Французский был для нее легче легкого, — ох, и бойко же она говорила — быстро-быстро, не хуже самого мистера Мура!

— Она слушалась учителя? Наверное, проказничала?

— О, с нею хлопот хватало! Ужасная была вертушка, но мне она нравилась. Я от Шерли просто без ума!

— «Просто без ума»! Ах ты глупый! Ты сам не знаешь, что говоришь.

— Я действительно от нее без ума; она свет моих очей, — вчера вечером я так и сказал мистеру Муру.

— Наверное, он отчитал тебя за такие преувеличения.

— Вовсе нет! Он никогда меня не отчитывает и не ворчит, как всякие там гувернантки. Он читал книгу и только улыбнулся, не поднимая глаз, а потом сказал, что если мисс Килдар всего лишь свет моих очей, значит, она не та, за кого он ее принимает. Это, должно быть, потому, что я всего лишь близорукий маленький калека и глаза у меня тусклые. Какой я несчастный, мисс Каролина! Я ведь калека...

— Это ничего не значит, Генри, все равно ты очень милый мальчик, и если Бог не дал тебе здоровья и силы, он наградил тебя хорошим нравом, добрым сердцем и ясным умом.

— Меня всегда будут презирать. Иногда мне кажется, что даже вы с Шерли меня презираете.

— Послушай, Генри, мне вообще не нравятся мальчишки: я их просто боюсь. Мне кажется, что все они настоящие маленькие разбойники, которым доставляет какое-то особое удовольствие убивать и мучить птиц, насекомых, котят, всех, кто слабее их самих. Но ты совсем на них не похож, и ты мне очень нравишься. Ты рассудителен, как взрослый мужчина. «Видит Бог, даже рассудительнее многих взрослых», — добавила она про себя. — Ты любишь книги и разумно говоришь о том, что прочитал.

— Да, я люблю читать. Это правда, я многое чувствую и многое понимаю.

В этот момент в комнату вошла мисс Килдар.

— Генри, — сказала она, — я принесла твой завтрак. Сейчас я тебе все приготовлю.

Шерли поставила на стол стакан парного молока, тарелку с чем-то весьма похожим на жареную подошву и положила рядом вилку, вроде тех, на которых поджаривают хлеб.

— Что вы тут делаете вдвоем? — спросила она. — Грабите стол мистера Мура?

— Смотрим твои старые тетради, — ответила Каролина.

— Мои тетради?

— Тетради с французскими упражнениями. Взгляни, как заботливо их сохраняют: видно, они кому-то дороги.

Каролина показала ей тетради. Шерли живо схватила всю пачку.

— Вот предполагала, что хоть одна из них уцелеет! — проговорила она. Я думала, что все они давно уже пошли на растопку плиты или на папильотки служанкам в Симпсон-Гроув. Генри, зачем ты их бережешь?

— Я тут ни при чем. Я о них и не думал. Мне бы и в голову не пришло, что кому-то нужны старые тетрадки. Это мистер Мур спрятал их в дальнем ящике стола да, наверное, и забыл о них.

— C'est cela,<sup>[118]</sup> он просто о них позабыл, — подхватила Шерли. — Смотрите, как красиво написано, — добавила она не без гордости.

— Ох, какой ты была озорницей в то время! Я-то тебя хорошо помню: высокая, но такая тоненькая и легкая, что даже я мог тебя поднять. Как сейчас вижу твои длинные густые локоны и твой пояс, — концы его всегда развевались у тебя за спиной. Сначала, мне помнится, ты всегда забавляла мистера Мура, а потом каждый раз ужасно его огорчала.

Шерли перелистнула густо исписанную страницу, но ничего не ответила.

— Это я писала однажды зимой, — проговорила она. — Описание зимы.

— Я помню, — сказал Генри. — Мистер Мур прочел и воскликнул: «Voilà le Français gagné!»<sup>[119]</sup>

Он тебя тогда похвалил. А потом ты упростила его нарисовать сепией тот пейзаж, который описала.

— Значит, ты все помнишь, Генри?



— Помню. Нам в тот день всем попало за то, что мы не сошли к чаю, когда нас позвали. Как сейчас помню: наш учитель сидит за мольбертом, а ты стоишь за его спиной, держишь свечу и смотришь, как он рисует заснеженный утес, сосну, оленя, который лежит под ней, и полумесяц на небе.

— Генри, ты знаешь, где его рисунки? Надо их показать Каролине.

— У него в портфеле, только он заперт, а ключ у мистера Мура.

— Спроси у него ключ, когда он придет.

— Ты должна сама у него спросить, Шерли, а то последнее время ты с ним неласкова, — я это заметил. Сделалась взрослой леди и загордилась.

— Ты для меня настоящая загадка, Шерли, — прошептала ей на ухо Каролина. — Я теперь каждый день делаю открытия одно страннее другого. А я-то думала, что ты мне доверяешь! Непонятное ты существо. Даже этот мальчик тебя осуждает.

— Видишь ли, Генри, старое мною забыто, — сказала мисс Килдар, обращаясь к юному Симпсону и словно не замечая Каролины.

— Это очень плохо. Если у тебя такая короткая память, ты недостойна быть утренней звездой человека.

— «Утренней звездой человека», — подумать только! Кого же ты подразумеваешь под «человеком»? Уж не свою ли собственную персону? Иди лучше сюда, пей молоко, пока оно теплое.

Маленький калека встал и заковылял к камину: он оставил там свой костыль.

— Бедный, милый мой хромоножка, — ласково пробормотала Шерли, поддерживая его.

— Скажи, Шерли, кто тебе больше по душе: я или Сэм Уинн? — спросил мальчик, когда она усадила его в кресло.

— Ох, Генри, этого Сэма Уинна я терпеть не могу, а ты — мой любимец.

— А кто тебе милее: я или мистер Мелоун?

— Ты и тысячу раз ты!

— Но ведь они такие видные, статные мужчины, оба с бакенбардами, и в каждом шесть футов росту.

— Да, а ты так и останешься маленьким бедным хромушей.

— Я и сам знаю.

— И все же тебе нечего печалиться. Я ведь тебе не раз говорила о человеке, который был таким же маленьким, хилым страдальцем, но это не помешало ему стать могучим, как великан, и храбрым, как лев. Помнишь, кто это?

— Адмирал Горацио?

— Да, адмирал Горацио, виконт Нельсон, он же герцог Бронти. У него была душа титана, доблесть рыцаря и мужество паладина старых времен. Ему была вручена вся мощь Англии, ему подчинялись все ее корабли, по его воле гром пушек раскатывался над морями и океанами.

— Конечно, он великий человек, но ведь я, Шерли, совсем не воинственен, и все же душа у меня беспокойная. Я так и горю днем и ночью, к чему-то рвусь, чего-то хочу, а чего — сам не знаю... действовать... жить... может быть, даже страдать...

— Генри, это твой разум не дает тебе покоя! Он сильнее и старше твоего тела, он томится в нем, как в тюрьме, плоть стесняет его, как оковы. Но он еще вырвется на волю! Прилежно учись, но не только по книгам, — изучай жизнь. Ты любишь природу, — люби же ее без страха! Будь терпелив, твое время еще придет. Ты не станешь солдатом или моряком, но, если будешь жив, ты станешь писателем, а может быть, и поэтом, Генри, — это я тебе предсказываю.

— Писателем? О, луч, луч света во тьме! Я буду, я буду писателем. Я напишу книгу и посвящу ее тебе.

— Ты напишешь ее, чтобы свободно излить свою душу. Но, Боже мой, я говорю о том, чего сама почти не понимаю! Так можно договориться Бог знает до чего. Лучше ешь, Генри, вот тебе поджаренная овсяная лепешка.

— С удовольствием! — послышался голос за окном. — Узнаю знакомый запах! Мисс Килдар, можно мне войти и принять участие в трапезе?

— Мистер Холл?

Действительно, это оказался мистер Холл и с ним Луи Мур, — оба только что вернулись с прогулки.

— В столовой приготовлен порядочный завтрак для порядочных людей, ступайте туда и садитесь за стол со всеми. Но если у вас дурной вкус и вы предпочитаете дурное общество — идите сюда и присоединяйтесь к нам.

— Мне нравится запах, а потому я вверяю себя своему носу, пусть он меня ведет! — ответил мистер Холл, входя вместе с Луи Муром в комнату. Последний тотчас заметил выдвинутые ящики.

— Разбойники! — воскликнул он. — Генри, за такие дела угощают линейкой по пальцам.

— Вот и угостите Шерли и Каролину, это их работа! — возразил мальчик, не очень-то заботясь об истине: его занимало, что теперь ответит учитель.

— Предатель! Лгунишка! — дружно воскликнули девушки. — Мы ничего не трогали! Разве только из похвальной любознательности...

— Вот именно, — проговорил Луи, улыбаясь, что с ним случалось не часто. — И что же вам открыла «похвальная любознательность»?

Тут он увидел, что внутренний ящик конторки пуст.

— Вы нашли... — начал он. — Кто взял их?

— Вот, вот они! — поспешила сказать Каролина, возвращая на прежнее место пачку тетрадей. Луи Мур задвинул ящик и запер его маленьким ключиком, висевшим у него на часовой цепочке. Потом он уложил остальные бумаги, задвинул все ящики и сел, не говоря ни слова.

— А я-то надеялся, что вы этого так не оставите, — лукаво протянул Генри. — Они обе заслуживают наказания!

— Пусть их накажет собственная совесть.

— Совесть обвиняет их в предумышленном и обдуманном преступлении. Если бы не я, они поступили бы с вашим портфелем точно так же, как со столом, но я предупредил их, что портфель заперт.

— Хотите с нами позавтракать? — вмешалась Шерли, обращаясь к Луи Муру и явно стараясь изменить тему разговора.

— Охотно, если позволите.

— Но вам придется довольствоваться парным молоком и йоркширской овсяной лепешкой.

— Va — pour le lait frais,<sup>[120]</sup> — согласился Луи Мур. — А что касается овсяной лепешки... — Тут он сделал выразительную гримасу.

— Мистер Мур их не ест, — объяснил Генри. — Он считает, что это просто отруби на прокисших дрожжах.

— Так и быть, дадим ему в виде исключения сушек, но на большее пусть не рассчитывает.

Хозяйка дома позвонила и передала служанке скромный заказ, который был тотчас выполнен. Она сама разлила молоко и раздала лепешки гостям, собравшимся тесным кружком возле маленького камина, где ярко пылал огонь. Затем она взяла на себя роль «хлебодара» и, встав на колени на мохнатый коврик перед камином, принялась ловко поджаривать на вилке лепешки.

Мистер Холл, который обожал всякие, даже самые скромные новшества, казалось, был в превосходном настроении. Жесткая овсяная лепешка казалась ему манной небесной. Он заразительно смеялся и не переставая говорил то с Каролиной, которую усадил рядом с собой, то с Шерли, то с Луи Муром. Мур тоже развеселился. Правда, он смеялся лишь изредка, зато с самым важным видом изрезал забавнейшие вещи. Серьезные фразы с неожиданными оборотами и свежими, меткими образами легко слетали с его уст. Наконец-то он проявил себя, как говаривал мистер Холл, превосходным собеседником!

Каролина слушала и удивлялась не столько тому, что он говорит, сколько его полнейшему самообладанию и уверенности. Казалось, никто из присутствующих его не стеснял и не смущал, ничто не внушало ему опасения, что вот сейчас его одернут, оскорбят, обидят. А ведь мисс Килдар, холодная и надменная мисс Килдар, стояла перед камином на коленях почти у самых его ног!

Но Шерли тоже утратила всю свою холодность и надменность, по крайней мере на время. Казалось, она не замечала унизости своей позы, а если и замечала, то, по-видимому, эта поза ей даже нравилась. Ее гордость ничуть не была уязвлена тем, что в кругу гостей, которым она добровольно прислуживала, находится учитель ее кузена; она не оскорблялась, когда, обнося молоком и лепешками всех присутствующих, ей приходилось подавать и гувернеру. И Мур принимал свою чашку из ее рук так же спокойно, как если бы он и Шерли были равны.

— Вы перегрелись у огня, — заметил он через некоторое время. Позвольте, я вас заменю.

Он уверенно и властно протянул руку за вилкой, и Шерли покорно отдала ее, не воспротивившись и не поблагодарив.

— Мне бы хотелось посмотреть ваши рисунки, Луи, — сказала Каролина, когда роскошный завтрак подошел к концу. — Хотите

взглянуть на них, мистер Холл?

— Извольте, но только ради вас. Что же до меня лично, то я его художествами сыт по горло. Хватит с меня того, что было в Камберленде и Вестморленде. Сколько раз нам приходилось тогда мокнуть в горах только из-за того, что он не соглашался сложить свой походный стул и продолжал зарисовывать дождевые тучи, густеющий туман, лучи солнца, пробившиеся сквозь облака, и прочее, и тому подобное!

— Вот ваш портфель, — проговорил Генри, протягивая одной рукой портфель, а другой опираясь на костыль.

Луи Мур взял портфель, но не стал его открывать, словно ожидая еще чьей-то просьбы. Казалось, он хотел, чтобы гордая Шерли тоже проявила интерес к его рисункам.

— Он нарочно заставляет нас ждать, чтобы возбудить наше любопытство, наконец проговорила она.

— Вы умеете его открывать, — сказал тогда Луи Мур, протягивая ей ключик. — Однажды вы мне испортили замок, попробуйте еще раз!

Он держал портфель; Шерли его открыла и, завладев рисунками, принялась первая рассматривать их один за другим. Она наслаждалась ими, — если только они доставляли ей наслаждение, — в полном молчании, не произнося ни слова. Луи стоял за ее стулом, заглядывая через плечо, а когда Шерли передала рисунки остальным, покинул свое место и принялся расхаживать по комнате.

За окном послышался стук колес, зазвонил колокольчик. Шерли вздрогнула.

— Должно быть, гости, — сказала она. — Надо сойти к ним. Ну и вид у меня! Как раз для приема гостей! Мы ведь с Генри почти все утро собирали в саду фрукты. О, как бы я хотела сейчас отдохнуть под сенью виноградника или в тени фиговой пальмы! От души завидую жене какого-нибудь индейского вождя: ей не приходится принимать гостей, она может мирно сидеть, плести циновки или нанизывать бусы и спокойно расчесывать свои прямые черные волосы в укромном уголке вигвама. Нет, я просто сбегу в Америку, в западные леса!

Луи Мур рассмеялся.

— Чтобы выйти замуж за Белое Облако или Большого Бизона? А после свадьбы посвятить себя изысканным занятиям вроде обработки

маисового поля своего супруга и повелителя, который тем временем будет покуривать трубку или попивать огненную воду?

Шерли уже собиралась ответить, но тут дверь отворилась, и в комнату вошел мистер Симпсон. Увидев группу вокруг камина, он в изумлении остановился как вкопанный.

— Я полагал, что вы здесь одни, мисс Килдар, — проговорил он. — А здесь целая компания!

Видно было, что мистер Симпсон шокирован и возмущен, и не будь среди присутствующих священника, он бы наверняка тут же разразился обличительной речью по поводу странного поведения племянницы; удержало его лишь уважение к сану мистера Холла.

— Я, собственно, только хотел вам сообщить, — продолжал он холодно, что в гостиной вас ожидают гости из Уолден Холла, — супруги Уинн с дочерьми, а также мистер Сэм Уинн.

Проговорив это, мистер Симпсон поклонился и вышел.

— Гости из Уолден Холла! Хуже и не придумаешь, — пробормотала Шерли.

Она продолжала сидеть с упрямым и весьма недовольным видом. Подниматься ей явно не хотелось. Лицо ее разругалось от жара камина, темные волосы еще утром растрепались на ветру, а наряд ее состоял из легкого муслинового платья свободного покроя да шали, небрежно накинутой на плечи. Ленивая, своенравная, неповторимая и удивительно милая, она была чудо как хороша, гораздо лучше, нежели обычно, словно какое-то сокровенное душевное волнение, вызванное Бог знает чем, придало ее чертам новое необычное выражение.

— Шерли, Шерли, тебе надо идти к гостям! — прошептала Каролина.

— А если я не хочу?

Шерли подняла глаза и увидела в зеркале над камином, как серьезно смотрят на нее мистер Холл и Луи Мур.

Покорно улыбнувшись, она проговорила:

— Если большинство решит, что я должна из вежливости скучать с гостями из Уолден Холла, мне придется принести себя в жертву долгу. Кто за это, пусть поднимет руку!

В том же зеркале она увидела, что приговор утвержден единогласно.

— Надо идти, — сказал мистер Холл. — И надо быть вежливой хозяйкой. Общество требует от нас многого. Не всегда можно делать только то, что хочется.

Луи Мур поддержал его негромким «слушайте, слушайте!».

Каролина подошла к Шерли, поправила ее волнистые локоны, придала ее платью менее художественный, зато более приличный вид, и Шерли наконец выпроводили из комнаты, несмотря на недовольный вид и надутые губки.

— Какое в ней странное очарование, — заметил мистер Холл, когда Шерли вышла. — А теперь мне пора. Суитинг уехал повидаться с матерью, а у нас сегодня еще две панихиды.

— Генри, принеси свои книги, — сказал Луи Мур, садясь к столу. — Сейчас наш урок.

— И правда, какое в ней странное очарование! — проговорил мальчик, когда они остались с учителем вдвоем. — Ей-богу, она похожа на добрую фею! Правда?

— О ком ты говоришь, друг мой?

— О моей кузине Шерли.

— Не задавай лишних вопросов. Учи свой урок и молчи.

Луи Мур проговорил это сурово и угрюмо. Генри знал, что означает такой тон; он слышал его редко, но знал, что в таких случаях самое разумное повиноваться. Так он и сделал.

## ГЛАВА XXVII

### Первый «синий чулок»

Характерами мисс Килдар и ее дядя никогда не сходились, да и не могли сойтись. Он был раздражителен, а она — чувствительна, он был деспотичен, а она — свободолюбива, он был практичен и обыкновенен, а она — пожалуй, скорее романтична.

Мистер Симпсон приехал в Йоркшир не для собственного удовольствия: у него была заранее намеченная задача, которую он намеревался разрешить самым добросовестным образом. Ему не терпелось выдать свою племянницу замуж, то есть подыскать ей приличную партию, вверить ее заботам подходящего мужа и засим умыть руки.

К сожалению, слова «приличный» и «подходящий» дядя и Шерли с самого ее детства понимали по-разному. Она с ним никогда не соглашалась, и сомнительно было, чтобы она согласилась на этот раз, когда ей предстояло принять самое важное решение в своей жизни.

Разговор, от которого все зависело, не заставил себя ждать. Мистер Уинн по всем правилам попросил руки Шерли для своего сына Сэмюэля Фоутропа Уинна.

— Партия замечательная! Лучшего мужа и желать нельзя! — высказался мистер Симпсон. — Именье не заложено, доход хороший, связи самые наилучшие и быть посему!

Он призвал племянницу в дубовую гостиную, запер дверь, сообщил ей о лестном предложении, высказал свое мнение и потребовал ее согласия.

Ответ поразил его.

— Нет! Я не выйду замуж за Сэмюэля Фоутропа Уинна.

— Но почему? Какая причина? Чем он вам не нравится? По-моему, он вам самая подходящая партия!

Бледная как мрамор камина за ее спиной, Шерли вся горела внутренним огнем: глаза ее метали молнии, зрачки расширились, в них не было и тени улыбки.

— Разрешите спросить, почему это он мне подходящая партия?



— У него вдвое больше денег и вдвое больше здравого смысла при такой же родovitости и при таких же связях!

— Пусть будет хоть в десять раз богаче — ему не дожидаться моей любви!

— Но почему? Какие у вас возражения?

— Хотя бы потому, что до сих пор он был пошлым распутником. Вот вам первая причина для отказа.

— Мисс Килдар! Вы меня изумляете!

— Одно это ставит его много ниже меня. Разум его столь скуден, что я не могу даже говорить о нем всерьез, — вот вам второй камень преткновения; взгляды его узки, чувства низки, вкусы грубы, манеры вульгарны!

— Это всеми уважаемый богатый человек. Отказывать ему — слишком большая самонадеянность с вашей стороны!

— И все же я ему решительно отказываю. И прошу вас больше не говорить об этом, — я не желаю о нем слышать!

— Вы что, вообще не собираетесь замуж? Хотите остаться старой девой?

— Кто вам дал право задавать мне такие вопросы?

— Простите, но, может быть, вы ждете принца или еще какого-нибудь знатного вельможу?

— Вряд ли найдется принц, которому я отдала бы свою руку.

— И того не легче! Если бы это было у вас в роду, я бы подумал, что вы просто не в себе. Ваши причуды и спесь граничат с безумием!

— Возможно. Если бы вы мне позволили договорить, вы бы, наверное, убедились в этом окончательно.

— Я ничего другого и не ждал! Невозможная, сумасбродная девчонка! Подумайте, о чем вы говорите! Надеюсь, вы не опозорите наше имя неравным браком?

— Наше имя? Разве мое имя Симпсон?

— И слава Богу, что нет. Но берегитесь! Со мной шутки плохи!

— А что вы мне сделаете, даже если мой выбор вам не понравится? Разве закон и здравый смысл на вашей стороне?

— Одумайтесь! Поостерегитесь! — заклинал мистер Симпсон дрожащим голосом, грозя Шерли пальцем.

— Чего мне остерегаться? Ведь у вас нет надо мной никакой власти! Чего я должна бояться?

— Будьте осторожны, говорю вам!

— О, я буду очень осторожна, мистер Симпсон. Я выйду замуж только за того, кто достоин уважения, восхищения и — любви.

— Совершеннейшая чепуха! Женщине не пристало так говорить.

— Да, любви! Сначала я должна полюбить всем сердцем. Знаю, для вас я говорю на неведомом языке, но мне безразлично, поймете вы меня или не поймете.

— А если вы влюбитесь в какого-нибудь бродягу-побирушку?

— Я никогда не люблю побирушку. Попрошайничество не заслуживает уважения.

— А если это будет какой-нибудь писаришка, актеришка, театральный сочинитель или — не дай Бог!..

— Смелее, мистер Симпсон! Или — не дай Бог! — кто?

— Жалкий бумагомаратель или какой-нибудь плаксивый художник-голодранец...

— Плаксы и жалкие голодранцы не в моем вкусе. Что же до литераторов и художников, то они мне по душе. Тем более не понимаю, что может быть общего между мной и Фоутропом Уинном! Он не способен нацарапать простой записки без ошибок, читает только спортивные газеты, — более тупого олуха еще не было в школах Стилбро!

— Боже, и это говорит женщина! — простонал мистер Симпсон, возводя очи горе и всплескивая руками. — Боже правый, до чего она еще дойдет?!

— Во всяком случае, не до алтаря об руку с Сэмом Уинном!

— До чего она дойдет?! Зачем нет у нас более строгих законов, чтобы я мог заставить ее прислушаться к голосу разума!

— Утешьтесь, дядя. Даже если бы в Англии были крепостные, а вы были царем, все равно вам не удалось бы заставить меня согласиться на этот брак. Я сама напишу мистеру Уинну. Можете об этом деле больше не беспокоиться.

\* \* \*

Говорят, что судьба изменчива, однако порой, словно из каприза, она начинает упорствовать, и тогда события повторяются с досадным

постоянством.

Оказалось, что будущее мисс Килдар, — или будущее ее состояния, взволновало в те дни всю округу и заинтересовало людей, от которых Шерли этого никак не ожидала. Вслед за предложением мистера Уинна последовало не менее трех новых, и все более или менее приемлемые. Каждый раз мистер Симпсон настаивал, чтобы она сделала выбор, и каждый раз Шерли отказывала женихам. А между тем это были люди весьма достойные и весьма состоятельные. Теперь уже не только дядя, но и многие другие спрашивали Шерли, чего она, собственно, хочет, какого принца ждет и откуда у нее вдруг такая разборчивость.

Наконец сплетники решили, что им удалось найти ключ к загадке. Дядя тотчас поверил слухам. Кроме того, одно событие показало ему племянницу в совершенно ином свете, и его отношение к ней полностью изменилось.

Им обоим давно уже было тесно под одной крышей, — даже сладкоречивая тетушка не могла их примирить, а сестры Симпсон буквально холодели при каждой новой стычке. Теперь Гертруда и Изабелла часами шептались у себя в спальне; когда же им случалось остаться лицом к лицу со своей дерзкой кузиной, обе начинали дрожать от страха. Но вскоре, как уже было сказано, произошло событие, которое все изменило: мистер Симпсон утихомирился, и семейство его тоже успокоилось.

Мы уже упоминали о поместье Наннли, о его старой церкви и монастырских развалинах среди леса. Здесь также был свой господский дом, который назывался Прайори — «Аббатство», дом старый, обширный и поистине благородный. Ни Брайерфилд, ни Уинбери не могли похвастаться таким домом, а тем более таким хозяином, ибо владелец этой усадьбы был настоящий баронет. Впрочем, в течение ряда лет владельцем он был только юридически, потому что до сих пор жил где-то в отдаленном графстве и в йоркширской усадьбе его просто не знали.

Мисс Килдар познакомилась с сэром Филиппом Наннли на модном курорте Клифбридж, где она отдыхала с семейством Симпсонов. Они часто встречались то на купанье, то на прибрежных скалах, а иногда и на местных балах. Сэр Филипп казался человеком одиноким, и в обращении он был настолько прост, что порой выглядел

даже нелюбезным. Скорее застенчивый, нежели гордый, он никогда не снисходил до своих новых знакомых, а, наоборот, явно радовался каждой новой встрече.

С людьми без претензий Шерли завязывала дружбу легко и быстро. С сэром Филиппом они прогуливались, беседовали, иногда, пригласив кузин и тетку, катались на его яхте. Он ей нравился своей скромностью и добротой, и Шерли искренне радовалась, когда ей удавалось его развеселить.

В их дружбе, впрочем, было одно темное пятнышко, — но какая же дружба обходится без них? Сэр Филипп увлекался литературой и сам сочинял поэмы, сонеты, баллады и стансы. Мисс Килдар находила, что он, пожалуй, слишком любит читать и декламировать свои сочинения. Вернее, ей просто хотелось, чтобы рифмы в его стихах были благозвучнее, размер — музыкальнее, метафоры посвежее и вообще чтобы в них было больше вдохновения и огня. Во всяком случае, когда сэр Филипп заводил речь о своих стихах, Шерли морщилась и старалась по возможности отвлечь его от этой темы.

Он же, казалось, только для того и приглашал Шерли прогуляться при лунном свете, чтобы заставить ее выслушать длиннейшую из своих баллад. Для этого он уводил ее подальше, к какой-нибудь уединенной деревенской скамье, куда еле доносился тихий шелест волн на песчаном пляже, извлекал целую кучу своих последних сочинений и читал их все подряд дрожащим от волнения голосом. Перед ними расстилалось море, вокруг была благоуханная тень садов, а позади стеной возвышались утесы, так что Шерли просто некуда было скрыться. Сэр Филипп, по-видимому, не догадывался, что в стихах его, хоть и рифмованных, не было ни на грош поэзии. Зато Шерли, судя по ее потупленному взору и недовольному лицу, прекрасно это понимала и от души сожалела о том, что столь милый и добрый человек страдает подобным недугом.

Шерли не раз пыталась как можно деликатнее отвлечь его от неумеренного поклонения музе, однако у него это было своего рода манией. Если во всем остальном сэр Филипп был достаточно рассудителен, то стоило завести речь о поэзии, как уже ничто не могло его остановить. Во всяком случае, Шерли это не удавалось.

Иногда, правда, он начинал спрашивать Шерли о своем поместье в Наннли. Радуюсь возможности переменить тему, она

подробно описывала старый монастырь, заросший, одичавший парк, ветхую церковь и маленькую деревушку. И каждый раз она советовала сэру Филиппу съездить туда и собрать наконец своих арендаторов.

Каково же было ее удивление, когда сэр Филипп в точности последовал ее совету и в конце сентября вдруг приехал в свое поместье!

Он тотчас явился с визитом в Филдхед, и этот первый его визит отнюдь не стал последним. Объехав всех соседей, он заявил, что ни под одной кровлей не чувствует себя так хорошо, как под сенью массивных дубовых балок скромного брайерфилдского дома; по сравнению с его собственной усадьбой это было довольно жалкое и ветхое жилище, однако сэру Филиппу оно положительно нравилось.

Но вскоре его перестали удовлетворять беседы с Шерли в ее дубовой гостиной, где все время толклись гости и ему было трудно выбрать спокойную минуту, чтобы познакомить хозяйку с последними произведениями своей плодovитой музыки. Он хотел побыть с ней наедине среди веселых лугов, на берегу тихих вод. Однако Шерли остерегалась таких прогулок вдвоем, и тогда сэр Филипп начал приглашать ее в свои владения, в свои прославленные леса. Здесь было вдоволь уединенных уголков, — и в чащах, разделенных потоком Уарфа, и в долинах, орошаемых водами Эйра.

Ухаживания сэра Филиппа за мисс Килдар не остались незамеченными. В пророческом вдохновении мистер Симпсон предсказывал племяннице блестящее будущее. Он уже представлял себе тот недалекий час, когда, небрежно закинув ногу за ногу, сможет со смелой фамильярностью и как бы вскользь упоминать о «своем племяннике баронете». Шерли сразу превратилась из «сумасбродной девчонки» в «благоразумнейшую женщину». В беседах с глазу на глаз с миссис Симпсон дядя называл теперь племянницу не иначе, как «истинно возвышенной натурой, с причудами, зато с большим умом». Он стал относиться к Шерли с преувеличенным вниманием: почтительно вставал, чтобы открыть или закрыть для нее дверь, склонялся, чтобы подобрать то носовой платок, то перчатку, то еще какой-нибудь оброненный племянницей предмет, а поскольку Шерли была небрежна и нагибаться приходилось часто, то мистер Симпсон краснел, багровел и порой страдал головными болями. Иногда он даже отпускал многозначительные шуточки о превосходстве женской

хитрости над мудростью мужчин или пускался в запутанные извинения по поводу какого-то своего жестокого промаха в оценке видов и поведения «одной персоны, что живет от Филдхеда не за горами».

Племянница видела маневры мистера Симпсона, однако принимала все его намеки равнодушно и, казалось, не могла понять, к чему он клонит. Когда же Шерли прямо говорили о предпочтении, которое оказывает ей баронет, она отвечала, что, по-видимому, она ему нравится так же, как и он ей; она никогда не думала, что знатный человек — единственный сын гордой, нежной матери, единственный брат обожающих его сестер — может быть так добр и в общем-то так благоразумен.

Время показало, что она действительно нравилась сэру Филиппу, — видимо, он почувствовал в ней то самое «странное очарование», которое находил в ней мистер Холл. Он старался встречаться с нею как можно чаще, и постепенно общество Шерли сделалось для него необходимостью.

К тому времени в Филдхеде создалась необычная атмосфера: в некоторых комнатах дома как бы поселились трепетные надежды и тревожные опасения: обитатели их беспокойно бродили по тихим окрестным полям; все чего-то ждали, и нервы у всех были натянуты до предела.

Одно было ясно: сэру Филиппу не из тех, кем можно пренебрегать. Он был любезен и если не очень умен, то во всяком случае не глуп. Если о Сэме Уинне мисс Килдар могла с презрительной горечью сказать, что его чувства низки, вкусы грубы, а манеры вульгарны, то о сэре Филиппе этого никак нельзя было сказать. У него была чувствительная душа, он искренне любил искусство, хотя и не всегда его понимал, во всех своих поступках он оставался настоящим английским джентльменом, а что касается знатности и состояния, то лучшего, разумеется, Шерли нечего было и желать.

Внешность сэра Филиппа вначале давала смешливой Шерли повод для веселых, хоть и беззлобных шуток. Он был похож на мальчишку — маленький, тщедушный, с мелкими, ничем не примечательными чертами лица и рыжеватыми волосами. Впрочем, скоро она оставила свои насмешки и даже сердилась, когда кто-либо делал нелестные намеки по этому поводу. Она утверждала, что у сэра

Филиппа «приятное выражение лица» и что «душа его стоит античных черт, кудрей Авессалома<sup>[121]</sup> и фигуры Саула». Правда, время от времени, хоть и очень редко, она еще слегка поддразнивала его за несчастное пристрастие к поэзии, но подобные вольности Шерли позволяла только себе и никому другому.

Короче, создалось положение, которое, казалось бы, полностью оправдывало мнение мистера Йорка, высказанное однажды Луи Муру.

— Ваш братец Роберт, — сказал он, — либо просто дурак, либо сумасшедший. Два месяца назад я готов был об заклад биться, что у него все карты в руках. Дернула его нелегкая пуститься в разъезды! В одном Лондоне застрял Бог весть на сколько дней, а теперь вот вернется и увидит, что все его козыри биты. Послушайте, Луи, как говорится: «В делах людских лови прилива час — и доплывешь до счастья; упустишь миг — вовеки не вернешь». Я бы на вашем месте написал Роберту и напомнил ему об этом.

— Разве у Роберта какие-нибудь виды на мисс Килдар? — спросил Луи Мур, словно эта мысль никогда не приходила ему в голову.

— Виды! Я сам ему подсказал эти виды, и он давно бы мог их осуществить, потому что он Шерли нравится.

— Как сосед?

— Не только как сосед. Я-то видел, как она меняется в лице и краснеет при одном упоминании его имени. Напишите ему, говорю вам, и скажите, чтобы скорей возвращался. Как ни верти, он куда лучше этого баронетишки!

— А вы не подумали, мистер Йорк, о том, что для выскочки, у которого нет почти ни гроша за душой, было бы самонадеянно и недостойно домогаться руки богатой женщины?

— О, если у вас такие высокие понятия и сверхтонченные чувства, то мне с вами и говорить не о чем! Я человек простой, практичный. Если Роберт готов сам отдать бесценный клад сопернику, какому-то размазне-аристократишке, мне на это ровным счетом наплевать. В его годы, на его месте и с его возможностями я бы вел себя по-другому. Не то что баронет — ни принц, ни герцог не вырвал бы у меня любимую без боя! Но вы, гувернеры, больно важная публика: с вами советоваться все равно, что с попами!

Ни лесть, ни подобострастие не могли испортить Шерли — все лучшее, что было в ее характере, устояло. Теперь ее имя уже не связывали с именем Роберта Мура, и то, что она, казалось, позабыла отсутствующего, по-видимому, подтверждало слухи. Но, видимо, она не совсем его забыла и продолжала относиться к нему если не с любовью, то во всяком случае с интересом, — об этом можно было судить хотя бы по тому усиленному вниманию, какое Шерли оказывала брату Роберта, гувернеру Луи, когда тот внезапно заболел.

Обычно она держалась с ним крайне неровно: то сдержанно и холодно, то почтительно и покорно; сегодня мимо него проходила богатая хозяйка Филдхеда и будущая леди Наннли, а завтра к строгому учителю прибегала послушная ученица. Когда их глаза встречались, Шерли могла иной раз гордо выгнуть точеную, словно из слоновой кости, шейку и презрительно сжать розовые губки, а в другой раз покорно склониться перед его суровым взглядом, и вид у нее тогда бывал такой смущенный, словно воспитатель все еще мог за что-нибудь наказать ее.

Луи Мур, очевидно, заразился лихорадкой в одном из бедных домов, куда обычно заглядывал вместе со своим хромым учеником и мистером Холлом. Так или иначе, он заболел, дня два крепился, но под конец вынужден был лечь в постель.

Однажды вечером гувернер беспокойно метался на своем жестком ложе. За ним заботливо ухаживал Генри, не отходивший от учителя. Вдруг в комнату постучались, так тихо и осторожно, что это не могла быть ни служанка, ни миссис Джилл. Генри подошел к дверям.

— Как себя чувствует мистер Мур? — спросил тихий голос из темного коридора.

— Войди и посмотри сама.

— Он спит?

— Если бы он мог уснуть! Войди, поговори с ним, Шерли.

— Боюсь, что ему это не понравится.

Тем не менее посетительница переступила порог. Видя, что она колеблется, Генри взял ее за руку и подвел к постели больного.

В полумраке трудно было ее разглядеть; слабый свет падал только на изящное платье. Внизу собрались гости, в числе которых был и сэр



Филипп Наннли; дамы сидели в гостиной, и все же хозяйка ускользнула от них, чтобы навестить воспитателя своего кузена. Ее белое платье, прекрасные обнаженные руки и шея, золотая цепочка, вздрагивающая на груди, — все это странно мерцало в полутемной комнате больного. Шерли была робка и задумчива.

— Как ваше здоровье, мистер Мур? — с участием спросила она.

— Болезнь не опасная, и сегодня мне лучше.

— Я слышала, вас мучит жажда. Я принесла вам винограду. Хотите?

— Нет. Но спасибо, что вспомнили обо мне.

— Хоть одну ягодку!

Шерли вынула из корзинки, которую принесла с собой, тяжелую гроздь, оторвала одну ягоду и поднесла ее к губам больного. Он покачал головой, вспыхнул и отвернулся.

— Что же вам принести? Говорите, фруктов вам не хочется, а у самого губы запеклись. Может быть, какого-нибудь питья?

— Миссис Джилл поит меня хлебной водой: по мне это лучше всего.

На несколько минут воцарилось молчание.

— Вы страдаете? Вам больно?

— Совсем немного.

— Что с вами? Из-за чего вы заболели?

Луи Мур промолчал.

— Как вы думаете, откуда у вас лихорадка?

— Должно быть, болотные испарения, малярия. Сейчас осень, самая пора для лихорадки.

— Я слышала, вы с мистером Холлом часто навещаете больных в Брайерфилде и даже в Наннли. Вам надо беречься. В таких вещах геройствовать без нужды неблагоприятно.

— Хорошо, что вы мне напомнили. С вашей стороны тоже неблагоприятно входить в комнату больного и приближаться к его постели. Не думаю, чтобы моя болезнь была заразной, во всяком случае для вас, — прибавил он с легкой усмешкой. — Но к чему вам подвергаться даже малейшему риску? Оставьте меня!

— Потерпите, я скоро уйду. Но мне бы хотелось что-нибудь сделать для вас перед уходом, чем-нибудь услужить вам...

— Вас хватятся внизу.

— Нет, мужчины еще сидят за столом.

— Долго они не просидят. Сэр Филипп Наннли не большой охотник до вина. Вот, я слышу, он уже идет из столовой в гостиную.

— Это слуга.

— Это сэр Филипп, я узнаю его походку.

— У вас тонкий слух.

— Да, слух меня никогда не подводил, а сейчас он стал еще острее. Сэр Филипп приезжал вчера вечером к чаю. Я слышал, как вы пели ему какой-то романс, который он вам привез. Я слышал, как он уехал около одиннадцати, а перед отъездом звал вас во двор полюбоваться вечерней звездой.

— У вас, должно быть, нервы слишком чувствительны.

— Я слышал, как он поцеловал вам руку.

— Не может быть!

— Отчего же? Моя комната как раз над залой, окно — над парадным входом, его приоткрыли, потому что мне было жарко. Вы простояли с ним на ступеньках минут десять, я слышал весь ваш разговор от первого до последнего слова и слышал, как вы прощались, Генри, подай мне воды!

— Позвольте, я вам подам!

Однако больной отклонил ее услугу и сам приподнялся в постели, чтобы взять стакан из рук юного Симпсона.

— Значит, я ничего не могу для вас сделать?

— Ничего. Вы не можете дать мне спокойного сна, а это единственное, чего я сейчас хочу.

— Вы плохо спите?

— Сон бежит от меня.

— Почему же вы говорите, что болезнь не серьезна?

— У меня бывает бессонница, когда я совершенно здоров.

— Если бы я могла, я бы погрузила вас в самый мирный, глубокий и сладкий сон без единого сновидения!

— Полное небытие? Этого я не прошу.

— Ну, пусть вам приснится все, о чем вы мечтаете.

— Ужасное пожелание! Такой сон будет горячечным бредом, а пробуждение смертью.

— Неужели у вас такие фантастические мечты? Вы ведь не фантазер?

— Вероятно, вы именно так обо мне и думаете, мисс Килдар. Но мой характер — не страница модного романа, где вам все ясно.

— Возможно... Но сон... мне так хочется вернуть его к вашему изголовью, вернуть вам его благосклонность. А что, если я возьму книгу, присяду и почитаю вам? Я могу провести с вами полчаса.

— Благодарю, но не хочу вас задерживать.

— Я буду читать тихо.

— Не стоит. У меня жар, и я сейчас слишком раздражителен, чтобы выносить у себя над ухом тихое воркованье. Лучше оставьте меня.

— Хорошо, я уйду.

— Не пожелав мне доброй ночи?

— Что вы, сэр! Спокойной ночи, мистер Мур.

Шерли вышла.

— Генри, ложись спать, мальчик мой, пора тебе отдохнуть.

— Сэр, я хотел бы провести подле вас всю ночь.

— В этом нет нужды, мне уже лучше. А теперь — ступай!

— Благословите меня, сэр.

— Да благословит тебя Бог, мой лучший ученик.

— Вы никогда не называете меня своим любимым учеником!

— Нет, и никогда не назову.

\* \* \*

Мисс Килдар, должно быть, обиделась на то, что ее бывший учитель отверг все ее услуги; во всяком случае она их больше не предлагала. В течение дня ее легкие шаги часто слышались в коридоре, однако она ни разу не остановилась перед дверью Луи Мура и ее «тихое воркованье» ни разу больше не нарушило безмолвия в комнате больного. Впрочем, она недолго оставалась комнатой больного: крепкий организм Луи Мура быстро справился с недугом. Через несколько дней он уже совершенно выздоровел и вернулся к своим обязанностям воспитателя.

«Старое доброе время» по-прежнему сохраняло свою власть и над учителем и над ученицей. Это было видно по тому, с какой легкостью учитель преодолевал разделявшее их расстояние, которое Шерли

старалась сохранить, и по тому, как спокойно и твердо он укрощал ее гордую душу.

Однажды после полудня семейство Симпсонов отправилось в коляске на прогулку подышать свежим воздухом. Шерли, никогда не упускавшая случая избавиться от их общества, рада была остаться дома под предлогом каких-то дел. С делами — ей всего-то нужно было написать несколько строк — она справилась, едва коляска скрылась за воротами, а потом мисс Килдар вышла в сад.

Был тихий осенний день. Золото бабьего лета разливалось вдаль и вширь по лугам; порыжелые перестоявшиеся леса еще не сбросили свой наряд; увядший, но еще не поблекший вереск красил пурпуром холмы. Ручей стремился через примолкшие поля к ложине, и ни одно дуновение ветерка не подгоняло его и не шелестело в листве на его берегах. Печать грустного увядания легла уже на сады Филдхеда. Подметенные с утра дорожки вновь покрылись желтыми листьями. Пора цветов и плодов миновала; лишь последние яблоки кое-где еще держались на ветках и запоздалые бледные цветы выглядывали кое-где из-под опавшей листвы на газонах.

Задумчиво прогуливаясь по саду, Шерли собирала эти последние цветы. Ей удалось составить из них тусклый букетик без всякого запаха, и она как раз прикалывала его к платью, когда из дома, прихрамывая, вышел Генри Симпсон.

— Шерли! — окликнул он ее. — Мистер Мур зовет тебя в классную комнату. Он хочет, чтобы ты ему почтала по-французски, если ты не очень занята.

Мальчик передал эту просьбу самым естественным тоном, словно в ней не было ничего особенного.

— Мистер Мур сам послал тебя?

— Конечно! А что тут такого? Пойдем посидим втроем, как тогда, в Симпсон-Гроуве. Помнишь, как приятно проходили наши уроки?

Может быть, мисс Килдар и подумала про себя, что с тех пор многое изменилось, но вслух этого не сказала. Секунду колебавшись, она молча последовала за Генри.

В классной комнате Шерли, как в былые времена, скромно потупившись, склонила перед учителем голову, сняла шляпку и повесила ее рядом с фуражкой Генри. Луи Мур сидел у стола,

перелистывая книгу и отмечая отдельные места карандашом. В ответ на ее поклон он только кивнул, но с места не встал.

— Несколько дней назад вы хотели мне почитать, — проговорил он. — В тот вечер я не мог вас послушать. Сегодня я к вашим услугам. Небольшая практика во французском языке вам не повредит: я заметил, что ваше произношение начинает портиться.

— Что мне читать?

— Вот посмертное издание Сент-Пьера. Прочтите несколько страниц из «Отрывков об Амазонке».

Шерли опустилась в кресло, заранее поставленное рядом с креслом Луи Мура. Теперь их разделяла только книга на столе, и девушка склонилась над ней так низко, словно хотела закрыть страницы от учителя своими длинными локонами.

— Подберите волосы, — сказал Луи Мур.

Какое-то мгновение Шерли не знала, повиноваться ей или нет. Она исподтишка взглянула на учителя. Если бы он смотрел на нее сурово или робко, если бы она уловила в его чертах хоть тень нерешительности, Шерли наверняка взбунтовалась бы и урок тем и кончился. Но он просто ждал, что она повинуется, и лицо его было спокойно и холодно, как мрамор. Шерли покорно откинула длинные пряди. Хорошо, что у нее был такой приятный овал лица и упругие гладкие щеки, — другое лицо, лишившись смягчающей тени кудрей, могло бы потерять свою прелесть. Впрочем, перед кем ей было красоваться? Ни Калипсо,<sup>[122]</sup> ни Эвхарис не стремились очаровать Ментора.<sup>[123]</sup>

Шерли начала читать. Она отвыкла читать по-французски и запинаясь. Дыхание ее сбивалось, она спешила, и во французскую речь то и дело врывались английские интонации. Наконец она остановилась.

— Не могу! Почитайте мне сами немного, мистер Мур, прошу вас!

Он начал читать, она повторяла за ним и через три минуты полностью переняла его произношение.

— Отлично! — похвалил ее учитель, когда она дочитала отрывок.

— C'est presque le Français rattrapé, n'est ce pas?<sup>[124]</sup> — спросила Шерли.

— Но писать по-французски, как раньше, вы уже вряд ли сумеете?

— Конечно! Теперь я запутаюсь в согласовании времен.

— Вы уже не смогли бы написать такое сочинение, как тогда: «La première femme savante»? [\[125\]](#)

— Неужели вы еще помните эту чепуху?

— Каждую строчку.

— Я вам не верю.

— Берусь повторить все слово в слово.

— Вы запнетесь на первой же строке.

— Хотите проверить?

— Хочу!

Луи Мур начал читать наизусть; он читал сочинение Шерли по-французски, но мы даем его в переводе, чтобы не затруднять читателей.

\* \* \*

«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал».

«Случилось это на заре времен, когда хор утренних звезд еще не смолкал на небесах.

Времена эти столь далеки, что в тумане и росной дымке, в предрассветных сумерках, чуть забрезживших сквозь мрак, не разглядеть обычаев, не различить пейзажа, не узнать тех мест. Достаточно сказать, что мир в те времена уже существовал и люди уже населили его: их страсти и привязанности, их страдания и наслаждения уже наложили отпечаток на лицо Земли и вдохнули в нее душу.

Одно из племен человеческих поселилось в некоей стране. Что это было за племя — неведомо, что за страна — неизвестно. Когда вспоминают о тех временах, обычно говорят о востоке; но кто может поручиться, что точно такая же жизнь не кипела тогда на западе, юге, севере? Кто поручится, что племя это обитало не под азиатскими пальмами, а кочевало в дубравах на одном из островов наших европейских морей?

Перед моими глазами встает не песчаная пустыня и не маленький скудный оазис. Я вижу лесистую долину среди скал, где деревья смыкают кроны сплошным шатром, где царит вечный сумрак. Вот истинное обиталище существ человеческих! Но их здесь так мало, шатер листвы так плотен и густ, что их не видно и не слышно. Можно ли их назвать дикарями? Несомненно. Их орудия пастушеский посох и лук; они наполовину пастыри, наполовину охотники; и стада их так же дики и свободны, как стаи зверей в лесах. Счастливы ли они? Нет. Во всяком случае, не счастливее нас. Добры они? Нет. Они не лучше нас, ибо у них, как и у нас, одна природа — человеческая. И всех несчастнее в племени маленькая девочка, круглая сирота. Никто о ней не заботится; иногда ее кормят, но чаще забывают. Живет она то в старом дупле, то в холодной пещере и лишь изредка находит пристанище в чьей-нибудь хижине. Всеми покинутая, никому не нужная, она больше времени проводит среди зверей и птиц, нежели среди людей. Голод и холод стали ее неразлучными спутниками, печаль витает над нею, ее окутывает одиночество. Беззащитная и беспомощная, она должна была бы давно погибнуть, но она живет и растет: зеленая дикая чаща питает ее, как мать, то сочными ягодами, то сладкими кореньями и орехами.

Есть что-то особенное в воздухе этого жизнетворного климата, есть какая-то добрая сила в благоуханной лесной росе. Мягкие перемены времен года не возбуждают страстей, не будоражат чувства; здесь нет ни жары, ни морозов, здесь все дышит гармонией; и ветерок навевает такие чистые мысли, словно они зарождаются в небесах. В очертаниях лесистых холмов нет причудливых преувеличений; в окраске цветов и птиц нет кричащих тонов. В этих лесах царит величавый покой; их свежесть полна сдержанной мягкости и доброты.

Тихое очарование цветов и деревьев, красота птиц и зверей — все это было доступно и маленькой сиротке. В полном одиночестве она выросла прелестной и стройной. Природа наделила ее тонкими чертами; со временем они стали еще прекраснее и чище, и ни голод, ни лишения их не коснулись. Сухие яростные вихри не исхлестали ее тело, жаркие лучи не иссушили и не выбелили волосы. Кожа ее сверкает белизной среди листвы, как слоновою кость; блестящие густые волосы ниспадают пышной волной по плечам. Глаза ее, не знающие яркого полуденного света юга, сияют в лесной тени, как

огромные, глубокие озера, полные кристальной влаги, а над ними, когда ветерок приподнимает кудри, сверкает высокий ясный лоб — нетронутая чистая страница, на которой мудрости еще предстоит начертать свои золотые слова.

В этой одинокой юной дикарке нет ничего порочного или несовершенного. Безмятежно и бездумно бродит она по лесам. Впрочем, что она знает, о чем может думать в своем неведении — трудно сказать.

Было это давно, еще до Потопа, — наша лесная нимфа осталась совсем одна: племя ее откочевало куда-то далеко, она не знала куда и не могла отыскать даже следов. Как-то летним вечером на закате она поднялась из долины на холм, чтобы последним взглядом проводить уходящий День и встретить грядущую Ночь. Ее излюбленным местом был утес, на вершине которого стоял развесистый дуб, чьи корни, заросшие мхом и травой, служили ей креслом, а разлапистые ветви с густой листвой — надежным пологом.

День уходил медленно и величаво в пурпурном сиянье заката, и леса провожали его нестройным хором затихающих голосов. Но вот на смену Дня пришла Ночь, безмолвная, как смерть: даже ветер стих и птицы притаились. Счастливые пернатые парочки уснули в гнездышках, олень и лань блаженно задремали в своем ночном убежище.

Девушка сидела и ждала. Тело ее словно застыло, но душа бодрствовала; мыслей не было — одни чувства; надежд не было — одни желания; она ни на что не рассчитывала, а только предвкушала. Она ощущала безмерное могущество Земли, Неба и Ночи. И казалось ей, что она — средоточие мира, позабытая всеми крохотная частица жизни, одухотворенная искра, внезапно оторвавшаяся от великого костра мироздания и теперь незаметно мерцающая в черной бездне мрака.

«Неужели мне суждено догореть и погибнуть? — вопрошала она. — Неужели мой живой огонек никого не согреет, никого не озарит, никому не понадобится? Неужели он останется единственной искрой на еще беззвездном небосклоне? Неужели не послужит он путеводной звездой страннику или пастуху, не станет вещим знаком для жреца или мудреца, неужели угаснет он бесцельно?»



Так вопрошала она, озаренная внезапным светом разума, и могучая, непреоборимая жизнь переполняла ее. Что-то внутри нее бурлило и клокотало, божественные силы искали выхода, — но к чему их приложить, на что направить?

Она подняла глаза к Ночи и к Небесам — Ночь и Небеса склонились над нею. Она опустила взгляд к холмам, к долине, где в тумане струилась река, все отвечало ей вещими голосами. Она их слышала, дрожала от волнения, но понять не могла. И тогда она сложила руки, воздела их и вскричала:

— Утешение, Помощь, Мудрость — придите!!!

В ответ — ни слова, ни звука. Упав на колени, она смиренно ждала, глядя ввысь. Небо над нею безмолвствовало, звезды сияли торжественно, далекие и чужие.

Но вот словно лопнула струна в ее измученной душе: ей показалось, что Некто ответил ей с высоты, Некто бесконечно далекий приблизился, и она услышала, как Безмолвие заговорило. Заговорило без слов, без голоса — во тьме прозвучала одна только нота.

И снова такая же полная, нежная и прекрасная нота, мягкий, глубокий аккорд, похожий на рокот далекой грозы.

Еще раз — отчетливей, глубже и ближе прозвучали гармоничные раскаты, от которых словно заколебался мрак.

Еще раз! И наконец ясный голос донесся с Небес до Земли:

— Ева!

Да, ее звали Евой — иного имени она не имела. И она поднялась с колен.

— Я здесь.

— Ева!

— О Ночь! — Ведь с ней могла говорить только Ночь! — Я перед тобою!

Голос спускался все ближе в Земле.

— Ева!

— Господи! — вскричала она. — Я твоя раба!

Она верила, ибо все племена поклонялись своим богам.

— Я иду к тебе, я — Утешитель!

— Иди скорей, Господи!

Ночь осветилась надеждой, воздух затрепетал, полная луна засияла на небосклоне, но пришелец остался незримым.

— Склонись ко мне, Ева, приди в мои объятия, отдохни у меня на груди!

— Я склоняюсь, Невидимый, но Ощутимый. Кто ты?

— Ева, я принес тебе с небес напиток жизни. Отпей из моей чаши, Дочь Человека!

— Я пью. Словно сладчайшая роса струится в мои уста. Она оживляет истомившееся сердце, она исцеляет от всех печалей; все муки, борьба и сомнения вдруг исчезли! И ночь стала иной! Холмы, лес, луна и бескрайнее небо — все изменилось!

— Все изменилось отныне и навсегда. Я снял с твоих глаз пелену, я рассеял мрак. Я освободил твои силы, сбил оковы! Я открыл тебе путь, убрал с него камни. Я наполнил собой пустоту. Затерянную крупицу жизни я сделал своей. Забытый, бесцельно мерцавший огонь души — отныне мой!

— О, бери меня! Возьми душу и тело! Это — Бог!

— Это сын Бога: тот, кто ощутил в тебе искру божественной жизни. Потому он и жаждет слиться с тобой, укрепить тебя и помочь, дабы одинокая искра не угасла безвозвратно.

— Сын Бога! Неужели я твоя избранница?

— Ты одна на этой земле. Я увидел, что ты прекрасна, и понял, что ты предназначена мне. Ты моя, и мне дано спасти тебя, помогать тебе, оберегать тебя. Узнай: я — Серафим, сошедший на Землю, и зовут меня Разум.

— Мой славный жених! Свет дня среди ночи! Наконец я обладаю всем, чего только могла желать. На меня снизошло откровение; неясное предчувствие, невнятный шепот, который мне слышался с детства, сегодня стали понятными. Ты тот, кого я ждала. Возьми же свою невесту, рожденный Богом!

— Не смилившийся — я сам беру то, что принадлежит мне. Не я ли похитил с алтаря пламя, осветившее все твое существо, Ева? Приди же снова на небеса, откуда ты была изгнана!

Незримая, но могучая сила укрыла ее, как овечку в овчарне; голос нежный и всепроникающий вошел в ее сердце небесной музыкой. Глаза ее не видели никого, но душу и разум заполнило ощущение свежести и покоя небес, мощи царственных океанов, величия звездных миров, силы слитых стихий, вековечности несокрушимых гор. И над

всем этим победно сияла Красота, перед которой бежали ночные тени, как перед божественным Светилом.

Так Человечество соединилось с Разумом.

Кто знает, что было потом? Кто опишет историю их любви со всеми ее радостями и печалью? Кто расскажет о том, как Он, когда Бог посеял вражду между Ним и Женщиной, затаил в душе злой умысел, решил порвать священные узы и опорочить их чистоту? Кто знает о долгой борьбе, когда Серафим сражался со Змием? Как сумел Отец Лжи отравить Добро ядом Зла, подмешать тщеславие к мудрости, боль — к наслаждению, низость — к величию, ревность — к страсти? Как сопротивлялся ему «неустрасимый ангел», тесня и отражая врага? Сколько раз снова и снова пытался он отмыть оскверненную чашу, возвысить униженные чувства, облагородить извращенные желания, обезвредить скрытую отраву, отвести бессмысленные соблазны — очистить, оправдать, отстоять и сберечь Жену свою?

Кто расскажет о том, как верный Серафим благодаря терпению, силе и непревзойденному совершенству, унаследованному от Бога, творца своего, победоносно сражался за Человечество, пока не пришел решительный час? О том, как и в этот час, когда Смерть костлявой рукой преградила Еве путь к Вечности, Разум не выпустил из объятий свою умирающую жену, пронес ее сквозь муки агонии и, торжествуя, прилетел с ней в свой родной дом на небесах? О том, как он привел и вернул Еву творцу ее, Иегове, а затем архангелы и ангелы увенчали ее короной Бессмертия?

Кто сумеет описать все это?»

\* \* \*

— Мне так и не удалось исправить это сочинение, — проговорила Шерли, когда Луи Мур умолк. — Вы его сплошь исчеркали, но я до сих пор не понимаю смысла ваших неодобренных значков.

Она взяла с письменного стола учителя карандаш и принялась задумчиво рисовать на полях книги маленькие листочки, палочки, косые крестики.

— Я вижу, — заметил Луи Мур, — французский вы наполовину забыли, зато привычки французских уроков остались. С книгами вы

обращаетесь по-прежнему. Скоро мой заново переплетенный Сент-Пьер станет похожим на моего Расина: мисс Килдар разрисует каждую страницу!

Шерли бросила карандаш, словно он обжег ей пальцы.

— Скажите, чем же плохо мое сочинение? — спросила она. — Там есть грамматические ошибки? Или вам не понравилось содержание?

— Я вам никогда не говорил, что мои значки отмечают ошибки. Это вы так думали, а мне не хотелось с вами спорить.

— Что же они означают?

— Теперь это неважно.

— Мистер Мур! — воскликнул Генри. — Скажите Шерли, чтобы она почитала нам! Она так хорошо читала наизусть.

— Ну что ж, если уж просить, то пусть прочтет нам «Le Cheval dopté»,<sup>[126]</sup> проговорил Мур, затачивая перочинным ножом карандаш, который мисс Килдар совсем иступила.

Шерли отвернулась; румянец залил ее лицо и шею.

— Смотрите-ка, сэр, она еще не забыла того случая! — весело проговорил Генри. — До сих пор помнит, как она тогда провинилась.

Улыбка дрогнула на губах Шерли. Чтобы не рассмеяться, она наклонила голову, прикрыла рот ладонями, и рассыпавшиеся при этом движения локоны снова спрятали ее лицо.

— Правда, я в тот день взбунтовалась, — сказала она.

— Да еще как взбунтовалась! — подхватил Генри. — Разругалась с моим отцом в пух и прах, не хотела слушаться ни его, ни маму, ни миссис Прайор, все кричала, что отец тебя оскорбил.

— Конечно, он меня оскорбил! — воскликнула Шерли.

— ...И хотела тотчас уехать из Симпсон-Гроува. Начала укладываться, а папа выкинул твои вещи из чемодана. Мама плачет, миссис Прайор плачет, обе стоят над тобой, в отчаянии ломают руки, уговаривают, а ты сидишь на полу среди разбросанных вещей, перед открытым чемоданом, и вид у тебя, — ах, Шерли! — ты знаешь, какой у тебя вид, когда ты сердишься? Лицо не искажается, черты неподвижны, и ты так хороша! Почти не заметно, что ты злишься: кажется, ты просто решила на что-то и очень спешишь. Но чувствуется, что горе тому кто в такую минуту станет тебе поперек

дороги, на него обрушатся гром и молния! Отец совсем растерялся и позвал мистера Мура...

— Довольно, Генри!

— Нет, погоди. Я уж не знаю, что сделал мистер Мур. Помню только, как он уговаривал отца не волноваться, чтобы у того не разыгралась подагра, потом успокоил и выпроводил дам, а тебе сказал просто, что упреки и разговоры сейчас не ко времени, потому что в классной комнате стол накрыт к чаю, а ему очень хочется пить, и он будет рад, если ты отложишь укладку и угостишь нас с ним чашкой чаю. Ты пришла, сначала не говорила ни слова, но скоро смягчилась и развеселилась. Мистер Мур начал рассказывать про Европу, про войну, про Бонапарта, это нам обоим всегда было интересно. После чая мистер Мур сказал, чтобы мы остались с ним на весь вечер. Он решил не спускать с нас глаз, чтобы мы еще чего-нибудь не натворили. Мы сидели подле него и были так счастливы! Это был самый лучший вечер в моей жизни. А на следующий день он тебя отчитывал целый час и еще в наказание заставил выучить отрывок из Боссюэ — «*Le Cheval dompté*». И ты его выучила, вместо того чтобы укладываться. Больше об отъезде ты не заговаривала. Мистер Мур потом чуть не год подсмеивался над тобой за эту выходку.

— Зато с каким воодушевлением она читала этот отрывок! — подхватил Луи Мур. — Я тогда первый раз в жизни имел счастье слышать, как английская девушка говорит на моем родном языке без акцента.

— Она потом целый месяц была послушна и ласкова, как голубка, — добавил Генри. — После хорошей бурной ссоры Шерли всегда становится добрее.

— Вы говорите обо мне так, словно меня здесь нет! — запротестовала мисс Килдар, по-прежнему не поднимая головы.

— А вы уверены, что вы здесь? — спросил Луи Мур. — С тех пор как я сюда приехал, мне иногда хочется осведомиться у владелицы Филдхеда, что случилось с моей бывшей воспитанницей.

— Ваша воспитанница перед вами.

— Да, вижу, сейчас она даже кажется скромницей. Но я бы ни Генри, ни кому другому не посоветовал слепо доверяться этой скромнице, которая сейчас прячет покрасневшее лицо, словно

робкая девочка, а через мгновение может вскинуть гордую и бледную голову мраморной Юноны.

— Говорят, в старину один человек вдохнул жизнь в изваянную им статую. Другие, видно, обладают даром превращать живых людей в камень.

Луи Мур помедлил с ответом. Его задумчивый и в то же время озадаченный взгляд как бы спрашивал: «Что означают эти странные слова?» Он обдумывал их неторопливо и основательно, как какой-нибудь немец метафизическую проблему.

— Вы хотите сказать, — заговорил он наконец, — что есть люди, внушающие отвращение, от которого стынут нежные сердца?

— Остроумно! — ответила Шерли. — Но если вам такое объяснение по душе, — сделайте одолжение! Мне безразлично, как вы меня поймете.

И с этими словами она гордо вскинула словно из мрамора изваянную голову, точно такую, как ее описал Луи Мур.

— Полубуйтесь, какая — метаморфоза! — воскликнул он. — Не успел я это сказать, как прелестная нимфа на наших глазах превратилась в неприступную богиню. Но Генри ждет вашего чтения, не разочаровывайте его, божественная Юнона! Давайте начнем!

— Я забыла даже первую строчку.

— Зато я помню. Запоминаю я медленно, но не забываю никогда, потому что, запоминая, стараюсь усвоить и смысл и чувство; знания укореняются в мозгу, чувства — в сердце. Это уже не скороспелый росток без собственных корней, который быстро зеленеет, быстро цветет и тотчас увядает. Внимание, Генри! Мисс Килдар согласилась доставить тебе удовольствие. Итак, первая строка:

Voyez ce Cheval ardent et impétueux... [\[127\]](#)

Мисс Килдар хотела было продолжать, но сразу же запнулась.

— Я не смогу повторить, пока не услышу все до конца, — сказала она.

— А заучивали быстро! Вот что значит «легко пришло, легко и ушло», наставительно заметил воспитатель.

Не торопясь и не сбиваясь, он выразительно прочел весь отрывок. По мере того как он читал, Шерли прислушивалась все внимательнее. Сначала она сидела отвернувшись, потом повернулась к нему лицом. А когда Луи Мур умолк, она начала читать так, словно впитала все слова,

слетевшие с его уст: таким же тоном, с таким же акцентом, в точности воспроизводя ритм, жесты, его интонации и даже мимику.

Потом Шерли в свою очередь попросила Мура:

— Теперь прочтите нам «Le songe d'Athalie». <sup>[128]</sup>

Он выполнил ее просьбу, и Шерли снова повторила все слово в слово. Казалось, занятия французским, родным языком Луи Мура, доставляют ей живейшее удовольствие. Она просила его читать наизусть еще и еще, и вместе с забытыми текстами в памяти Шерли оживали забытые времена, когда она сама была ученицей.

Луи Мур декламировал несколько лучших отрывков из Корнеля и Расина; Шерли повторила их, в точности следуя всем переходам его глубокого голоса. Затем последовала одна из прелестнейших басен Лафонтена — «Le Chêne et le Roseau». <sup>[129]</sup> Тут уж учитель показал себя, и ученица тоже постаралась от него не отстать. Но затем они оба, по-видимому одновременно, почувствовали, что легкий хворост французской поэзии не в состоянии дольше поддерживать пламя их восторга и что пора бросить в жадную пасть огня хорошее рождественское полено доброго английского дуба.

— Довольно! — проговорил Мур. — Это лучшие французские стихи. Ничего более естественного, драматичного и утонченного мы все равно не сыщем.

Он улыбнулся и умолк. Весь он был словно озарен светлым блаженством. Он стоял у камина, облокотившись на каминную доску, о чем-то раздумывал и казался почти счастливым.

Короткий осенний день угасал. Сквозь окна, затененные выющимися растениями, с которых порывистый октябрьский ветер еще не сорвал поблекшей листвы, почти не проникали отблески закатного неба, но огонь камина давал достаточно света, и можно было продолжать разговор.

Теперь Луи Мур обратился к своей ученице по-французски. Сначала она отвечала нерешительно, запинаясь и смеясь сама над собой. Он поправлял ее и ободрял. Генри тоже присоединился к этому необычному уроку. Оба ученика, обнявшись, сидели напротив учителя. Варвар, давно уже скуливший за дверью и наконец впущенный в комнату, с глубокомысленным видом устроился на ковре и не сводил глаз с пламени, танцевавшего над раскаленными угольями и золой, и все четверо были счастливы. Но

Все радости, как маков цвет:  
Чуть тронешь — лепестков уж нет!

На мощеном дворе послышался вдруг приглушенный грохот колес.

— Коляска вернулась! — проговорила Шерли. — Обед, должно быть, уже готов, а я еще не одета.

Вошла служанка со свечой и чаем для мистера Мура — учитель и его ученик обычно обедали много раньше, когда у других бывал второй завтрак.

— Мистер Симпсон и дамы возвратились, — сказала она, — и с ними сэр Филипп Наннли.

— Как ты испугалась, Шерли! — проговорил Генри, когда служанка прикрыла ставни и вышла. — Смотри, у тебя даже руки дрожат! Я знаю почему, а вы, мистер Мур? Я догадываюсь, чего хочет мой отец. Этот сэр Филипп — настоящий уродец! Лучше бы он не приезжал, лучше бы мои сестрицы остались с ним обедать в Уолден Холле! Тогда Шерли налила бы нам еще чаю и мы бы провели такой счастливый вечер втроем, правда, мистер Мур?

Мур запер свой стол, отложил в сторону томик Сент-Пьера и ответил подростку:

— Тебе этого очень хотелось бы, мой мальчик?

— А вы разве не согласны со мной?

— Я не разделяю никаких утопий. Гляди жизни прямо в ее железное лицо и не бойся жестокой действительности. Разливай чай, Генри, я скоро вернусь.

Он вышел, и Шерли тоже, но через другую дверь.



## ГЛАВА XXVIII

### Феб

Видимо, Шерли провела с сэром Филиппом приятный вечер, потому что на следующее утро она появилась в наилучшем настроении.

— Кто хочет со мной погулять? — спросила она после завтрака. Изабелла, Гертруда, вы пойдете?

Подобное приглашение со стороны мисс Килдар было для ее кузин такой неожиданностью, что сначала они не нашлись, что сказать, и, только уловив одобрителный кивок матери, согласились. Девушки Симпсон надели шляпки и вместе с Шерли отбыли на прогулку.

По правде говоря, этому трио не следовало бы долго оставаться вместе: мисс Килдар недолюбливала дамское общество; миссис Прайор и Каролина Хелстоун были единственные женщины, которых она всегда встречала с искренней радостью. Со своими кузинами Шерли была внимательна, вежлива и добра, но говорить с ними ей было не о чем. Однако в это утро у нее было так светло на душе, что она готова была беседовать даже с девушками Симпсон. Не отступая от раз и навсегда установленного ею правила, — говорить с ними только о вещах самых обыденных, — Шерли сегодня проявляла к этим вещам необычайный интерес; ум ее так и сверкал в каждой фразе!

Но что же ее так радовало? По-видимому, дело тут было в ней самой. Денек выдался тусклый, туманный, скучный, как сама осень, тропинки в лесу размокли, дышать было трудно, небо затягивали тучи, и все же казалось, что в сердце Шерли сияли солнце и лазурь Италии. Их блеск так и светился в ее смеющихся серых глазах.

На обратном пути к Филдхеду мисс Килдар понадобилось дать какие-то указания своему управляющему Джону, и она отстала от своих кузин. С этого момента и до ее возвращения в дом прошло минут двадцать; за это время Шерли поговорила с Джоном, потом вышла за ограду и постояла там у калитки. Когда ее позвали к завтраку, она извинилась и ушла к себе наверх.

— Наверно, Шерли не будет завтракать? — спросила Изабелла. — Она почему-то сказала, что не голодна.

Прошел час, а Шерли по-прежнему не выходила. Тогда одна из кузин поднялась к ней в комнату. Шерли сидела на кровати, склонив голову на руки. Она была страшно бледна, задумчива и, пожалуй, печальна.

— Вы не больны? — спросила ее кузина.

— Немножко нездоровится, — ответила мисс Килдар.

Однако по сравнению с тем, какою она была два часа назад, Шерли изменилась совсем не немножко.

Эта перемена, о которой Шерли сказала всего два слова, которую она так и не захотела объяснить, несмотря на странную ее внезапность, — она произошла за какие-то десять минут, — не исчезла бесследно как летнее облачко. К обеду Шерли вышла и заговорила с гостями как ни в чем не бывало и провела с ними целый вечер. На расспросы о здоровье она отвечала, что все уже прошло, что это было легкое недомогание, минутная слабость, — не стоит об этом и думать, — и все же чувствовалось, что с Шерли что-то произошло.

Прошел день, еще день, неделя, другая, но по-прежнему на лице и всем облике мисс Килдар лежал какой-то новый, незнакомый отпечаток. В глазах ее, в голосе, в каждом движении появилась странная сосредоточенность. Перемена была не так уж заметна, чтобы тревожиться и все время спрашивать, здорова ли она, однако Шерли явно переменилась. Словно туча нависла над ней, которую никакой ветер не мог ни прогнать, ни рассеять. Вскоре все поняли, что ей было неприятно, когда другие замечали ее состояние. Сначала она избегала разговоров на эту тему, но если спрашивающий упорствовал, Шерли на вопрос, не больна ли она, со свойственным ей высокомерием решительно отвечала:

— Нет, я не больна!

А когда Шерлу спрашивали, что ее тревожит, почему ее чувства в смятении, она безжалостно высмеивала собеседника:

— Что вы понимаете под этими «чувствами»? Какие они — белые или черные, синие или серые? У меня нечему быть «в смятении».

— Но должна же быть какая-то причина! Вы так изменились...

— Полагаю, я имею право меняться, как мне хочется. Знаю, я сильно подурнела, но если мне захотелось стать уродиной, то какое

другим до этого дело?

— А все-таки, что случилось?

Но тут она решительно просила оставить ее в покое.

В то же время Шерли изо всех сил старалась казаться веселой, беззаботной и, по-видимому, искренне негодовала на самое себя, ибо это ей не удавалось. Жестокие, горькие слова срывались с ее уст, когда она оставалась одна.

— Малодушная дура! Трусиха! — ругала она себя. — Если не можешь унять дрожь, — дрожи так, чтобы никто не видел! Отчаивайся, когда кругом никого нет!

— Как ты смеешь, — твердила она себе. — Как ты смеешь показывать свою слабость, выдавать свою глупую тревогу? Встряхнись! Будь выше этого! А если не можешь, скрой свою боль от всех.

И она делала все, чтобы скрыть свою боль. На людях она снова стала держаться уверенно и весело. А когда уставала от усилий и нуждалась в отдыхе, то искала уединения, но не уединения своей комнаты, — ей надоело томиться взаперти, в четырех стенах, — а уединения дикой природы, за которым она гналась на своей любимой кобыле Зоэ. Иной раз Шерли проводила в седле по полдня. Ее дядюшка этого не одобрял, но не осмеливался протестовать: навлекать на себя гнев Шерли было делом нешуточным даже тогда, когда она была весела и здорова, а теперь, когда лицо ее осунулось и большие глаза запали, в этом потемневшем лице и пылающих глазах было нечто возбуждавшее одновременно сострадание и смутную тревогу.

Всем, кто мало ее знал и, не подозревая внутренней перемены, расспрашивал, отчего она так изменилась внешне, Шерли коротко отвечала:

— Я совершенно здорова и ни на что не жалуюсь.

И впрямь на здоровье ей жаловаться было нечего. Не боясь непогоды, в дождь и ясным днем, в безветрие и в бурю она совершала свою обычную прогулку верхом до Стилброской пустоши, и только Варвар сопровождал ее, стелясь рядом о конем неутомимым волчьим галопом.

Два или три раза досужие сплетницы, чьи глаза везде вас отыщут, — и в спальне, и на вершине горы, — заметили, что, вместо того чтобы свернуть к Рашеджу, к верхней дороге от Стилброской

пустоши, мисс Килдар проезжала дальше, в город. Нашлось немало добровольцев, вызвавшихся узнать, зачем она туда ездила. Они установили, что мисс Килдар заходила к некоему мистеру Пирсону Холлу, родственнику священника из Нанли. Этот джентльмен и его предки издавна вели все дела семьи Килдар. Отсюда пошли всякие предположения: одни утверждали, что мисс Килдар запуталась в спекуляциях, связанных с фабрикой в лощине, потеряла на них много денег и теперь вынуждена закладывать свои земли; другие говорили, что она просто выходит замуж и готовит необходимые для этого бумаги.

\* \* \*

Мистер Мур и Генри Симпсон сидели в классной комнате. Учитель ждал, когда его ученик выполнит заданный урок.

— Поторопись, Генри! Скоро полдень.

— Неужели так поздно, сэр?

— Конечно. Ты скоро кончишь писать?

— Нет, сэр.

— Не скоро?

— Я еще не написал и строчки.

Мистер Мур поднял голову: что-то странное в голосе ученика заставило его насторожиться.

— Задача не трудная, Генри. А если трудно, иди сюда, разберемся вместе.

— Мистер Мур, я не могу ничего делать.

— Что с тобой, мальчик, ты не болен?

— Нет, сэр, мне не хуже, чем всегда, но у меня тяжело на душе.

— Закрой книгу. Иди сюда, Генри. Садись к огню.

Генри заковылял к камину; учитель пододвинул ему кресло. Губы мальчика дрожали, в глазах стояли слезы. Он положил свой костыль на пол, склонил голову и заплакал.

— Ты говоришь, физическая боль тут ни при чем? Значит, у тебя горе. Доверься мне, Генри!

— Ах, сэр, у меня такое горе, какого никогда еще не было! Если бы можно было помочь! Я его не перенесу...

— Кто знает! Давай поговорим, может быть, что-нибудь придумаем. В чем дело? Кто тебя огорчил?

— Дело в Шерли, сэр, это все из-за Шерли!

— Вот как!.. Ты думаешь, что она переменялась?

— Все, кто ее знает, думают так, и вы тоже, мистер Мур.

— Да нет, пожалуй, я не вижу в этом ничего серьезного. Все это пройдет без следа через месяц-другой. Кроме того, ее слово тоже чего-нибудь да стоит, а она говорит, что здорова.

— В том-то и дело, сэр, пока она говорила, что здорова, я тоже ей верил. Бывало, сижу, тоскую, но стоит ей появиться, даже я развеселюсь. А теперь...

— Что, Генри, что теперь?.. Она тебе что-нибудь сказала? Нынче утром ты целых два часа провел с ней в саду; я видел, как она тебе что-то говорила, а ты слушал. Мальчик мой, если мисс Килдар призналась тебе, что больна, и просила держать это в тайне, не слушай ее! Откройся мне ради ее жизни! Говори, Генри!

— Мисс Килдар — и признаться, что больна? Да она и перед смертью будет улыбаться и уверять, что у нее ничего не болит!

— Что же ты узнал? Какие еще причины...

— Я узнал, что она только что составила завещание.

— Завещание?!

Учитель и ученик примолкли.

— Она сама тебе это сказала? — спросил наконец Луи Мур.

— Да, и так спокойно, весело, будто я не понимаю, как это страшно. Она сказала, что, кроме ее адвоката Пирсона Холла, мистера Хелстоуна и мистера Йорка, я единственный, кто будет об этом знать. Она сказала, что хочет подробно объяснить мне смысл всех ее распоряжений.

— Продолжай, Генри.

— Потому что, говорит она, а сама смотрит на меня своими прекрасными глазами... О, они поистине прекрасны, мистер Мур! Я так люблю их... так люблю ее! Она — моя звезда. Небеса не должны отнимать ее у меня! Она прекрасна и создана для этого мира. Шерли не ангел, а женщина, и она должна жить среди людей. Она не достанется серафимам! Мистер Мур, если один из этих «сыновей Божьих» с крыльями огромными и широкими, как небеса, лазурными и шумящими, как океан, увидит, как она хороша, и спустится, чтобы

забрать ее, — он ничего не получит! Я не отдам ее! Да, я, несчастный маленький калека!

— Генри Симпсон, я просил тебя продолжать!

— Потому что, говорит она, если я не сделаю завещания и умру раньше тебя, Генри, все мое состояние перейдет к тебе одному, а я не хочу этого, хотя отец твой был бы очень доволен. Ты, говорит, и так получишь все отцовское имение, которое очень велико, — больше Филдхеда, — а твоим сестрам ничего не достанется, поэтому я завещала и им немного денег, хоть и не люблю их, обе они не стоят одного локона твоих чудных волос. Она так сказала, назвала меня «милым» и позволила себя поцеловать. Потом сказала, что завещала деньги также Каролине Хелстоун, а мне оставила этот дом со всей мебелью и книгами, потому что не хочет, чтобы старое фамильное поместье перешло в чужие руки. Все остальное свое состояние, около двенадцати тысяч фунтов, за исключением того, что отписано моим сестрам и мисс Хелстоун, Шерли завещала не мне, потому что я и без того богат, а одному хорошему человеку, который сумеет использовать эти деньги наилучшим образом. Она сказала, что этот человек добр и смел, силен и милосерден, и хотя его нельзя назвать набожным, он, ей это известно, в глубине души исповедует веру чистую и не запятнанную перед Богом. Он приносит любовь и мир, утешает сирот и вдов, и душа его светла. Так сказала она, а потом спросила: «Ты одобряешь мое решение, Генри?» Я не мог ответить — слезы душили меня, вот как сейчас...

Мистер Мур дал своему ученику время успокоиться, затем спросил:

— Что еще она говорила?

— Когда я сказал, что одобряю все ее распоряжения, она назвала меня великодушным мальчиком и сказала, что гордится мной. «Теперь, — прибавила она, — если со мной что-нибудь случится, ты знаешь, что ответить злоязычной молве, когда она начнет нашептывать, будто Шерли тебя обидела, будто она тебя не любила. Ты знаешь, что я люблю тебя, Генри, люблю так, как родная сестра не любит, сокровище мое!» О мистер Мур, когда я вспоминаю ее голос, вспоминаю взгляд, сердце мое бьется так, словно вот-вот разорвется! Она может покинуть землю раньше меня и должна будет покориться, если Бог захочет, но тогда я быстро и прямо пойду вслед за ней, никуда

не сворачивая. Мне осталось недолго жить, и я этому только рад. Я надеялся лечь в склепе Килдаров раньше нее. Если случится иначе, — положите меня рядом с Шерли!

Спокойный и твердый ответ Мура странно не вязался с восторженной экзальтацией мальчика.

— Вы оба не правы, — сказал он, — и только мучаете друг друга. Когда мрачные тени касаются юности, то кажется, будто солнцу уже никогда не сиять, будто первое горе растянется на всю жизнь. Что она еще говорила? Ты помнишь?

— Мы решили некоторые семейные дела.

— Мне бы хотелось знать, что именно?

— Но... мистер Мур, вы улыбаетесь?! Я бы не смог улыбаться, видя Шерли в такой беде...

— Мальчик мой, я не так романтичен, нервен и неопытен, как ты. Я вижу вещи такими, какие они есть, а ты еще не видишь. Скажи лучше, какие там семейные дела вы решили.

— Она меня спросила, кем я себя считаю, — Симпсоном или Килдаром? Я ответил, что я Килдар душой и телом. Она была очень довольна, потому что, кроме нее, я единственный Килдар во всей Англии. Потом мы кое о чем договорились.

— О чем же?

— Хорошо, сэр, я скажу. Если я доживу до того, что получу в наследство земли отца и ее дом, я приму имя Килдар и поселюсь в Филдхеде. Я буду Генри Шерли Килдаром, сказал я, и я это исполню. Ее имя и ее поместье существуют века, а Симпсоны и Симпсон-Гроув появились только вчера.

— Ну, полно! Пока еще никто из вас не собирается на тот свет. Я от души надеюсь, что вас обоих ждет лучшее будущее — ведь вы с вашими высокими порывами пока еще всего лишь неоперившиеся орлята! А теперь скажи мне, как ты сам все это объясняешь?

— Шерли думает, что скоро умрет.

— Она говорила о своем здоровье?

— Ни разу. Но, поверьте мне, она угасает: руки у нее стали совсем тоненькие, и щеки ввалились.

— Может быть, она жаловалась на что-нибудь твоей матери или сестрам?

— Никогда! А если они ее спрашивают, она только смеется. Шерли странное создание, мистер Мур. В ней столько девичьей прелести, ничего мужеподобного, ничего от амазонки, и все же она гордо отвергает всякую помощь, всякое участие.

— Как думаешь, где она сейчас, Генри? Дома или опять скачет по полям?

— Наверняка дома, сэр, — на дворе ливень.

— Пожалуй, ты прав. Впрочем, ливень ей не помеха, она может сейчас скакать где-нибудь за Рашеджем. В последнее время она выезжает в любую погоду.

— Правда! Помните, какой дождь и ветер были в прошлую среду? Такая буря, что она не разрешила оседлать Зоэ. Но если для кобылы погода была слишком плоха, то для нее самой все нипочем. И она ушла пешком и дошла почти до самого Наннли. Когда Шарли вернулась, я спросил, как это она не боится простуды. «Что мне простуда! — ответила Шерли. — Для меня это было бы только счастьем. Не знаю, Генри, но кажется, мне лучше всего было бы простудиться как следует и умереть от горячки, как умирают прочие христиане». Видите, сэр, как она безрассудна!

— Действительно безрассудна! Пойди-ка узнай, где она сейчас; и если тебе удастся поговорить с ней без свидетелей, — попроси ее зайти сюда на минуту.

— Хорошо, сэр.

Мальчик подхватил костыль и заковылял к двери.

— Постой, Генри! — окликнул его Луи Мур.

Тот обернулся.

— Не говори с ней так, будто я приказываю ей прийти. Лучше просто позови ее в классную комнату, как звал прежде.

— Понимаю, сэр, так она скорее послушается.

— И еще, Генри...

— Да, сэр?

— Я тебя позову, когда будет нужно. А пока ты свободен от уроков.

Мальчик ушел. Оставшись один, Луи Мур встал из-за стола.

«С Генри мне легко быть хладнокровным и суровым, — думал он. — Я могу делать вид, что все его опасения ложны, могу взирать на его юношеский пыл, как говорится, «с высоты своего величия». С ним



я могу говорить так, словно он еще ребенок. Но сумею ли я выдержать этот тон с ней? Порой мне казалось, что это невозможно, порой смущение и покорность готовы были сломить меня, ввергнуть в сладостное рабство. Язык отказывался мне служить, я едва не выдал себя, едва не предстал перед ней не наставником, а совсем в ином обликий. Впрочем, верю: я не наделаю глупостей. Пусть сэр Филипп Наннли краснеет под ее взглядом: он может позволить себе удовольствие покорности, может не стыдиться даже, когда его рука дрожит от одного прикосновения к ее руке. Но если бы кто-нибудь из ее фермеров вздумал вести себя так же недвусмысленно и проявлять подобную чувствительность, на него просто надели бы смирительную рубашку! До сих пор я вел себя безупречно. Она сидела подле меня, и я был холоден, как мой стол. Я встречал ее взгляды и улыбки, как... впрочем, как и следовало учителю. Я еще ни разу не прикасался к ее руке, ни разу не прошел через это испытание. Я не фермер и не лакей и никогда не был ее рабом или слугой. Но я беден, и это обязывает меня заботиться о своем достоинстве и ничем его не унизить. Что она хотела сказать, когда намекнула на людей, превращающих живую плоть в мрамор? Мне это было приятно, не знаю сам почему, — я не позволил себе расспрашивать и, наверное, никогда не решусь вникать в ее слова и поведение, потому что иначе я могу позабыть о здравом смысле и уверовать в романтику. Временами меня переполняет какой-то странный, таинственный восторг; но я не смею, не хочу об этом думать! Я решился как можно долее сохранять за собой право говорить, как апостол Павел: «Я не безумен, но в словах моих истина и смирение».

Луи Мур помолчал, прислушался. Все было тихо.

«Придет она или не придет? — продолжал он про себя. — Как примет она мою просьбу, — с открытой душой или с презрением? Как дитя или как королева? Ведь в ней слилось и то и другое. Если придет, что я ей скажу? Прежде всего как объясню дерзость своей просьбы? Извиниться перед ней? Готов принести смиреннейшие извинения. Но боюсь, что сейчас это будет некстати и может помешать нам направить разговор по нужному руслу. Я должен играть роль учителя, в противном случае... Чу! Кажется, дверь...»

Он ждал. Минута проходила за минутой.

«Нет, она не придет. Наверное, Генри ее убеждает, а она отказывается. Моя просьба кажется ей дерзостью, но пусть только придет, и я докажу, что она ошиблась. Пусть даже поупрямится, — это меня только укрепит. Мне легче, когда она надевает броню гордости и вооружается стрелами насмешек. Ее сарказмы пробуждают меня от грез, и я ожесточаюсь. Стрелы иронии, которые мечут ее глаза и уста, ободряют меня, вливают новые силы... Я слышу, кто-то идет... Это не Генри...»

Дверь отворилась, и в комнату вошла мисс Килдар. Очевидно, Генри застал ее за шитьем, — она так и пришла со своим рукодельем. В тот день Шерли не выезжала и, по-видимому, провела его спокойно. На ней было простое домашнее платье и шелковый передник. Сейчас она походила на милую хозяйку, место которой у семейного очага; в ней не осталось ничего от Фалестрис,<sup>[130]</sup> предводительницы амазонок. Все это смутило Луи Мура. Если бы она выказала упрямство, недовольство, пренебрежение, он мог бы сразу заговорить с ней строго и резко, но никогда еще Шерли не выглядела такой покорной и робкой. Глаза ее были по-детски потуплены, а щеки пылали от смущения. Учитель не знал, что сказать.

Шерли остановилась между дверью и письменным столом.

— Вы хотели меня видеть, сэр? — спросила она.

— Я осмелился послать за вами, мисс Килдар... то есть просить вас уделить мне несколько минут.

Она ждала, продолжая работать иглой. Потом проговорила, не поднимая глаз:

— Я слушаю, сэр. О чем вы хотели со мной говорить?

— Сначала сядьте, наш разговор займет некоторое время. Возможно, я не вправе касаться такого предмета и мне придется просить извинения, а возможно, и это меня не извинит. Я решил позвать вас после беседы с Генри. Мальчик страдает, его тревожит ваше здоровье, и всех ваших друзей тоже. Об этом я и хотел с вами поговорить.

— Я вполне здорова, — коротко ответила мисс Килдар.

— И все же вы изменились.

— Это никого не касается. Все мы меняемся.

— Прошу вас, сядьте. Прежде мое мнение для вас что-то значило, мисс Килдар. Послушаетесь ли вы меня сейчас? Могу я надеяться, что

вы не сочтете мои слова дерзостью?

— Позвольте, я вам лучше почитаю по-французски, мистер Мур, или даже займемся латинской грамматикой, только оставим этот разговор о здоровье!

— Нет, об этом пора поговорить.

— В таком случае говорите, но не обо мне, потому что я на здоровье не жалуюсь.

— Вы полагаете, что говорить и повторять заведомую неправду хорошо?

— Говорю вам, я здорова! У меня нет ни кашля, ни жара, никаких болей.

— А вы не уклоняетесь от истины? Вы говорите правду?

— Чистую правду.

Луи Мур пристально посмотрел на нее.

— Я и в самом деле не вижу у вас никаких признаков болезни, — признался он. — Однако из-за чего вы так переменились?

— Разве я переменилась?

— Хотите доказательств? Попробуем их найти.

— Каким образом?

— Прежде всего ответьте: вы спите по-прежнему хорошо?

— Нет, но это не потому, что я больна.

— У вас прежний аппетит?

— Нет, но не потому, что я больна.

— Помните то маленькое колечко, которое я ношу как брелок на часовой цепочке? Это кольцо моей матери, мне оно не влезает даже на мизинец. Вы его часто примеряли, и оно приходилось вам как раз на указательный палец. Попробуйте теперь!

Она попробовала: кольцо легко соскользнуло с маленькой исхудавшей руки. Луи Мур подобрал его и вновь прикрепил к цепочке. Лицо его покраснело от волнения.

— Это не потому, что я больна, — снова повторила Шерли.

— Вы не спите, не едите, худеете, — продолжал Мур, — но дело не только в этом. У вас душа не на месте, в глазах тревога, в каждом движении беспокойство. Все это вам совершенно не свойственно.

— Мистер Мур, давайте оставим этот разговор. Вы подметили правильно, я тревожусь. Лучше поговорим о чем-нибудь другом. Какая ненастная погода! Все время дождь и дождь.

— Вы — и тревожиться! Если уж мисс Килдар тревожится — значит, не без причины. Откройтесь мне. Дайте мне разобраться. Дело не в телесном недуге я это подозревал. Все случилось внезапно. Я даже знаю, когда. Я сразу заметил перемену. Вас терзает душевная боль.

— Вовсе нет! Все это не так серьезно, — просто нервы. О, прошу вас, поговорим о другом!

— Сначала я должен разобраться в этом деле, и тогда поговорим о другом. Душевной тревогой всегда следует с кем-нибудь поделиться, тогда она рассеется. Хотел бы я обладать даром убеждения, чтобы уговорить вас открыться мне по своей воле. Я уверен, что в данном случае откровенная исповедь исцелит вас.

— Нет, — коротко ответила Шерли. — Хотела бы я, чтобы это было так, да боюсь, что все бесполезно.

Шерли опустилась в кресло, уронила рукоделие на колени и, облокотившись о стол, склонила голову на руку. Мур почувствовал, что первый шаг на трудном пути сделан. Шерли не шутила, и эти ее слова были важным признанием. После них она уже не могла утверждать, что ее ничто не мучит.

Учитель подождал несколько минут, чтобы она успокоилась и собралась с мыслями, потом хотел было продолжить свои вопросы, но, едва открыв рот, одумался и промолчал. Шерли подняла на него глаза. Если бы в этот миг Луи выдал себя, проявил хоть какое-то волнение, она снова замкнулась бы в упрямом молчании, но он казался спокойным, сильным и надежным другом.

— Лучше я признаюсь вам, — проговорила Шерли, — чем моей тетке, или кузинам, или дядюшке. Они поднимут такой шум, а я больше всего на свете боюсь крика, воплей, суматохи. Терпеть не могу, когда из-за тебя переворачивают все вверх дном. Сумеете вы перенести небольшое потрясение?

— Перенесу и большое, если понадобится.

На лице Луи Мура не дрогнул ни один мускул, но доброе сердце забилося чаще в его широкой груди. Что-то она ему скажет? Какое непоправимое несчастье случилось с нею?

— Если бы я была вправе прийти прямо к вам, я бы не стала таиться ни минуты, — продолжала Шерли. — Я бы все рассказала вам и спросила совета.

— Почему же вы считали себя не вправе обратиться ко мне?

— Может быть, так и нужно было сделать, но я не могла. Зачем было вас беспокоить, — несчастье это касается только меня. Я хотела скрыть его от всех, но меня не оставляли в покое. Повторяю: я не хочу быть предметом всеобщих забот или темой для деревенских сплетен. Тем более что все еще может обойтись, — кто знает?

Мур сидел как на горячих углях, однако ни жестом, ни взглядом, ни словом не выдавал своего нетерпения. Его спокойствие передалось Шерли, его уверенность ободрила ее.

— Пустяк может вызвать самые страшные последствия, — проговорила она, снимая с руки браслет, расстегивая и отворачивая рукав. — Взгляните, мистер Мур!

На белой руке отчетливо виднелся шрам довольно глубокий, но уже подживший, похожий на нечто среднее между порезом и ожогом.

— Во всем Брайерфилде я показываю это только вам, потому что вы можете выслушать меня спокойно.

— В этом маленьком рубце с виду нет ничего страшного, но расскажите мне, в чем дело.

— Как он ни мал, а из-за него я лишилась покоя и сна, похудела и потеряла разум. Из-за этого шрама я должна предвидеть в недалеком будущем самое ужасное...

Шерли застегнула рукав и надела браслет.

— Вы понимаете, как я терзаюсь? — с улыбкой спросил Луи Мур. — Я человек терпеливый, но сердце мое так и стучит.

— Что бы ни случилось, вы будете моим другом, мистер Мур? Обещаете поддержать меня своим хладнокровием? Не оставите на растерзание перепуганным трусам?

— Пока ничего не обещаю. Расскажите, что с вами случилось, а после требуйте чего угодно.

— Рассказ будет коротким. Однажды, три недели назад, я пошла погулять с Гертрудой и Изабеллой. Они вернулись домой раньше, я задержалась, чтобы поговорить с Джоном, а потом постояла одна на дороге. День был такой приятный, тихий, болтовня этих девиц мне наскучила, и я не спешила их догнать. Я стояла, прислонившись к калитке, думала о своем будущем и была счастлива, — в то утро мне казалось, что все складывается так, как я давно мечтала...

«Понятно! — подумал про себя Луи Мур. — Весь предыдущий вечер она провела с Филиппом Наннли».

— Вдруг я услышала чье-то тяжелее дыхание, — продолжала Шерли. — По дороге бежала собака. Я знаю почти всех соседских псов: это был Феб, один из пойнтеров Сэма Уинна. Несчастное животное бежало, опустив голову, высунув язык, и казалось загнанным или жестоко избитым. Я его поманила, хотела позвать его в дом, напоить и покормить. Я была уверена, что с ним плохо обошлись: мистер Сэм частенько хлещет своих пойнтеров без всякой жалости. Но Феб был так испуган, что не узнал меня; когда я хотела его погладить, он увернулся и укусил меня за руку. Укусил глубоко, до крови, и тут же убежал, тяжело дыша. Сразу вслед на этом я увидела управляющего мистера Уинна с ружьем в руках. Он спросил, не видала ли я собаку. Я сказала, что видала Феба. Тогда он сказал: «Советую вам посадить Варвара на цепь и предупредить своих, — пусть никто не выходит из дома. Я ищу Феба, чтобы его пристрелить, а конюх ищет его на другой дороге. Феб взбесился».

Луи Мур откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Мисс Килдар развернула свою шелковую канву и принялась вышивать недоконченный букетик пармских фиалок.

— И вы никому не сказали, не позвали на помощь, ничего не сделали? Вы не пришли даже ко мне?

— Я уже добежала до дверей классной комнаты, но тут мужество меня оставило, и я решила, что лучше молчать.

— Но почему? Я только и мечтаю о том, чтобы быть вам хоть чем-нибудь полезным.

— Я не вправе что-либо от вас требовать.

— Чудовищно! Неужели вы так ничего и не предприняли?

— Отчего же! Я сразу пошла в прачечную: теперь, когда в доме столько гостей, там почти каждый день стирают и гладят. Служанка зачем-то отлучилась, — то ли загофрировать что-то, то ли подкрахмалить, — а я тем временем взяла с огня утюг и прижала раскаленный докрасна угол к руке, прижала крепко и как следует выжгла рану. Потом я ушла к себе наверх.

— Неужели вы даже не застонали?

— Просто не знаю. Мне было очень страшно, — куда девались уверенность и твердость! Я была в смятении...

— А казались такой спокойной! За завтраком я сидел и прислушивался, но у вас наверху все было тихо.

— Я сидела одна на кровати и думала, как все было бы хорошо, если бы Феб не укусил меня!

— Одна? Неужели вам так нравится одиночество?

— Увы, одна.

— Вы не терпите соболезнаваний!

— Вы так думаете, мистер Мур?

— С вашим сильным характером вы, очевидно, считаете, что можете обойтись без чужих советов, помощи или чьего-либо общества.

— Пусть будет так, если вам так нравится.

Она улыбнулась, не отрываясь от вышивания; пальцы ее работали быстро и точно, но вот ресницы ее затрепетали, глаза увлажнились и по щеке скатилась слезинка.

Луи Мур склонился над своим столом, двинул стулом и переменил положение.

— Если я не прав, — сказал он странным, вдруг смягчившимся голосом, то в чем же тогда дело?

— Не знаю.

— Знаете, только не хотите сказать, все держите в себе.

— Потому что об этом не стоит говорить.

— Нет, не поэтому, а потому, что вы требуете за свою откровенность слишком высокой платы! Вам кажется, что никто не в состоянии заплатить эту цену, никто не обладает достаточным разумом, силой и благородством, чтобы стать вашим советчиком. По-вашему, во всей Англии нет человека, на которого вы могли бы опереться, и, уж конечно, нет никого, кому вы могли бы приклонить голову на грудь. Естественно, что вам приходится быть одной.

— Если понадобится, я смогу прожить и одна. Но сейчас я думаю не о том, как прожить, а о том, что придется умереть одной, и это вызывает во мне страх.

— Вы боитесь, что заразились бешенством, боитесь мучительной, ужасной агонии?

Мисс Килдар кивнула.

— Вы просто мнительны, как все женщины.

— Две минуты назад вы восхваляли мой сильный характер.

— Вы — истинная женщина. Если разобрать и обсудить этот случай спокойно, наверняка окажется, что вам нечего опасаться, — я в этом уверен.

— Вашими бы устами да мед пить! Я очень хочу жить, если Бог позволит. Жизнь так прекрасна!

— При вашем характере, с вашим положением она не может быть иной. Неужели вы действительно думаете, что заразились водобоязнью и умрете от бешенства?

— Я ожидаю этого и прежде страшилась, но теперь я не боюсь.

— Я тоже за вас не боюсь. Вряд ли в вашу кровь проник хоть один микроб, но если это даже и так, уверяю вас, при вашей молодости и безупречном здоровье он все равно не причинит вам ни малейшего вреда. Кроме того, я постараюсь узнать, действительно ли собака взбесилась.

— Не говорите никому, что она меня укусила!

— Зачем говорить, если я уверен, что ее укус не опаснее пореза перочинным ножом? Успокойтесь! Видите, я спокоен, а для меня ваша жизнь дороже вечного блаженства. Посмотрите на меня!

— Зачем, мистер Мур?

— Я хочу взглянуть, утешились ли вы. Оставьте ваше вышивание, поднимите голову.

— Извольте...

— Смотрите на меня. Благодарю вас! Ну как, туча рассеялась?

— Я больше не боюсь.

— Обрели вы свою прежнюю безмятежность?

— Мне хорошо. Но я хочу, чтобы вы мне обещали...

— Приказывайте.

— Если то, чего я ранее боялась, все-таки произойдет, они меня просто уморят. Не улыбайтесь, — так оно и будет, — так всегда бывает. Дядюшка перепугается, засуетится, замечется, и толку от него не будет никакого. Все в доме потеряют голову, кроме вас, поэтому прошу, обещайте не оставлять меня. Избавьте меня от мистера Симпсона, и Генри тоже не впускайте ко мне, чтобы он не огорчился. И прошу вас, прошу беречься самому, хотя вам я ничего плохого не сделаю, я уверена. Врачей не пускайте даже на порог, а если явятся — гоните! Не позволяйте ни старому, ни молодому Мак-Тёрку касаться меня даже пальцем и мистеру Грейвсу, их коллеге, тоже. И, наконец,



если я буду... беспокойной... дайте мне сами, своей рукой сильный наркотик, хорошую дозу опиума, чтобы подействовал наверняка. Обещайте мне исполнить все это!

Мур встал из-за стола и несколько раз прошелся по комнате. Потом остановился за креслом Шерли, склонился над ней и негромко, торжественно проговорил:

— Обещаю сделать все, о чем вы просите, без всяких оговорок.

— Если понадобится женская помощь, позовите мою экономку миссис Джилл, пусть оденет меня, когда я умру. Она ко мне привязана. Она мне делала много зла, но я всякий раз ее прощала. Теперь она меня любит и не возьмет и булавки: мое доверие сделало ее честной, снисходительность сделала ее добросердечной. Теперь я уверена в ее преданности, мужестве и любви. Призовите ее, если будет нужда, но, прошу вас, не допускайте ко мне мою добрейшую тетушку и моих робких кузин. Обещайте!

— Обещаю.

— Вы так добры, — проговорила Шерли, с улыбкой поднимая глаза на склонившегося над ней Луи Мура.

— Правда? Вы утешились?

— Вполне.

— Я буду с вами, — только я и миссис Джилл, — в любом, в самом крайнем случае, если понадобится мое спокойствие и моя преданность. Я не позволю к вам прикоснуться ничьим трусливым или грубым рукам.

— Вы все еще считаете меня ребенком?

— Да.

— Значит, вы меня презираете.

— Разве можно презирать детей?

— По правде говоря, мистер Мур, я совсем не так сильна и уверена в себе, как думают люди, и мне совсем не безразлично участие других. Но когда у меня горе, я боюсь поделиться им с теми, кого люблю, чтобы не причинить им боль, и не могу признаться тем, к кому я равнодушна, потому что их соболезнования мне безразличны. И все же вы не должны смеяться над моей ребячливостью: если бы вы были так несчастны, как я все эти три недели, вам тоже понадобилась бы помощь друга.

— По-моему, все люди нуждаются в друзьях.

— Все, в ком есть хоть крупица добра.  
— Но ведь у вас есть Каролина Хелстоун!  
— Да, а у вас — мистер Холл.  
— Согласен. Есть еще миссис Прайор, женщина умная и добрая, в случае нужды вы могли бы с ней посоветоваться.

— А вы со своим братом Робертом.  
— Если вас подведет ваша правая рука, вам ее заменит преподобный Мэттьюсон Хелстоун, на которого вы всегда можете опереться; откажет левая к вашим услугам Хайрам Йорк, эсквайр. Оба старика любят вас и уважают.

— Зато миссис Йорк ни к кому из молодых людей не проявляет такой материнской заботы, как к вам. Не знаю, чем только вы покорили ее сердце, но с вами она нежнее, чем со своими родными сыновьями. Наконец, у вас есть ваша сестра Гортензия.

— Похоже, что нам обоим не на что жаловаться.  
— Похоже.  
— Мы должны быть благодарны судьбе.  
— Разумеется.  
— И вполне удовлетворены.  
— Конечно.  
— Я, со своей стороны, вполне доволен и могу лишь благодарить судьбу. Благодарность — высокое чувство. Она наполняет сердце, но не разрывает его, она греет душу, но не сжигает. Я люблю смаковать свое счастье. Когда глотаешь его второпях, не чувствуешь вкуса.

Луи Мур по-прежнему стоял за креслом мисс Килдар и смотрел через ее плечо, как под ее быстрыми пальцами расцветают на канве цветы, обрамленные зеленой листвой. После долгой паузы он снова спросил:

— Итак, туча совсем рассеялась?  
— Без следа. То, что я есть сейчас, и то, чем была два часа назад, совершенно разные люди. Мне кажется, мистер Мур, что горе и тайные страхи растут в тишине, как дети титанов, не по дням, а по часам.  
— Вы больше не станете втайне лелеять подобные чувства?  
— Нет, если мне позволят их высказать.  
— У кого вы собираетесь спрашивать «разрешения», как вы сами сказали?

— У вас.

— Но почему?

— Потому что вы бываете суровым и замкнутым.

— Суровым и замкнутым?

— Да, потому что вы горды.

— Горд? Отчего же?

— Мне бы самой хотелось это узнать. Скажите, будьте добры.

— Возможно, одна из причин в том, что я беден: бедность и гордость часто идут рука об руку.

— Какая прекрасная причина! Я была бы в восторге, если бы нашлась вторая ей под пару. Постарайтесь найти ей достойную подругу, мистер Мур.

— Пожалуйста. Что вы думаете о сочетании суровой бедности и капризного непостоянства?

— Разве вы капризны?

— Не я, а вы!

— Клевета! Я тверда, как скала, постоянна, как Полярная звезда.

— Иногда поутру я гляжу в окно и вижу прекрасную полную радугу, ярко сверкающую всеми красками и озаряющую надеждой сумрачный небосклон жизни. Час спустя, когда я снова гляжу в окно, половина радуги уже исчезла, вторая померкла. А вскоре на пасмурном небе не остается и следов этого радостного символа надежды.

— Мистер Мур, вы не должны поддаваться таким изменчивым настроениям, это ваш самый большой недостаток. С вами никогда не знаешь, чего ожидать.

— Мисс Килдар, когда-то у меня целых два года была ученица, которой я очень дорожил. Генри мне дорог, но она была еще дороже. Генри никогда не причинял мне неприятностей; она — частенько. Я думаю, двадцать три часа из двадцати четырех она только и делала, что досаждала мне.

— Она никогда не бывала с вами более трех или в крайнем случае шести часов кряду.

— Иногда она выливали чай из моей чашки и утаскивала еду с моей тарелки, оставляя меня на весь день голодным, а мне это было крайне неприятно, потому что я люблю вкусно поесть и вообще сторонник скромных земных радостей.

— Я это знаю. Я превосходно знаю, какие кушанья вы любите, знаю все ваши самые лакомые блюда...

— Но она портила мне эти блюда и заодно дурачила меня. Я люблю поспать. В давние времена, когда я еще принадлежал самому себе, ночи никогда не казались мне слишком длинными, а постель слишком жесткой. Она все изменила.

— Мистер Мур!..

— А когда она отняла у меня покой и радость жизни, она сама покинула меня — совершенно спокойно, хладнокровно, словно после всего этого мир мог стать для меня таким же, как прежде. Я знал, что когда-нибудь встречу с ней снова. Почти через два года мы увиделись в доме, где она была хозяйкой. Как же, вы думаете, она со мной обошлась, мисс Килдар?

— Как прилежная ученица, хорошо усвоившая ваши уроки.

— Она приняла меня высокомерно, воздвигла между нами стену отчужденности, держала меня на расстоянии своей сухостью, надменным взглядом, ледяною вежливостью.

— Она была прекрасной ученицей! Ваша замкнутость научила ее сухости. Ваша холодность научила ее высокомерию. Согласитесь, сэр, ваши уроки не пропали даром!

— Совесть, честь и самая жестокая необходимость заставляли меня держаться отчужденно, сковывали меня, как тяжкие кандалы. Она же была свободна — она могла быть великодушнее.

— Она никогда не была достаточно свободна, чтобы поступиться уважением к самой себе, чтобы просить, ожидая отказа.

— Значит, она была непостоянна, потому что продолжала искушать меня, как прежде. Когда мне казалось, что я уже привык думать о ней, как о надменной незнакомке, она вдруг покоряла меня вспышкой очаровательной простоты, согревала меня теплом ожившей симпатии, дарила мне час такой милой, веселой и доброй беседы, что сердце мое снова раскрывалось перед ней и я уже не мог изгнать ее оттуда, как не мог закрыть перед нею двери. Объясните, за что она меня мучила?

— Ей было невыносимо чувствовать себя отверженной. А потом иногда ей просто приходило в голову, что в сырую холодную погоду классная комната не такое уж веселое место, и она чувствовала себя

обязанной заглянуть туда, узнать, не мерзнете ли вы с Генри, хорошо ли топится камин... А придя туда, она уже не хотела уходить.

— Но нельзя же быть такой непостоянной! Если уж она приходила, почему бы ей не приходить почаще?

— А вдруг она явится некстати?

— Нет, это невозможно! Завтра вы будете уже не та, что сегодня.

— Не знаю. А вы?

— Я не безумец, благороднейшая Вероника!<sup>[131]</sup> Можно провести один день в грезах, но на следующий день придется проснуться. Я проснусь в день вашей свадьбы с сэром Филиппом Нанли. Огонь хорошо освещает и вас и меня, — пока я говорил, я все время смотрел на вас в зеркало. Взгляните, какая разница между нами! Мне тридцать лет, а выгляжу я много старше.

— Вы слишком серьезны. У вас такой тяжелый, угрюмый лоб, такое бледное лицо! Мне вы никогда не казались юношей, тем более младшим братом Роберта.

— В самом деле? Я так и думал. Попробуйте себе представить, что из-за моего плеча выглядывает красивая голова Роберта! Какая противоположность с моим тяжелым, угрюмым лицом, не правда ли? О, вот оно! — Луи Мур вздрогнул: звонили к обеду. — Вот уже полчаса я жду этого звука.

Шерли встала.

— Кстати, мистер Мур, — проговорила она, складывая свое рукоделье, есть какие-либо известия о вашем брате? Почему он так задержался в городе? Когда он собирается вернуться?

— Знаю, что собирается, но что его задерживает, не могу вам сказать. По совести говоря, вам должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было во всем Йоркшире, почему он медлит с возвращением.

Легкий румянец вспыхнул на щеках мисс Килдар.

— Напишите и поторопите его, — сказала она. — Я знаю, что он задерживается не без причины; пока торговля так плоха, фабрику лучше не восстанавливать. Однако он не должен совсем покидать наши края.

— Я знаю, он говорил с вами в вечер перед отъездом, — заметил Луи Мур. — После этого он тотчас оставил Филдхед. Я прочитал, вернее пытался прочитать по его лицу, что случилось. Он от меня

отвернулся. Тогда я догадался, что он уедет надолго. Иной раз прелестные маленькие пальчики удивительно ловко умеют сокрушать мужскую гордость, — ведь она так хрупка! Я полагаю, что Роберт слишком понадеялся на свою мужественную красоту и врожденное благородство. Тем, у кого таких преимуществ нет, много легче, они не питают несбыточных надежд. Однако я все же напишу, что вы желаете его возвращения.

— Не пишите, что я желаю, скажите лучше, что его возвращение желательно.

Прозвучал второй звонок, и мисс Килдар повиновалась его призыву.

## ГЛАВА XXIX

### Луи Мур

Луи Мур привык к спокойной жизни; он был от природы человеком спокойным и переносил подобную жизнь лучше многих других людей. Его собственный обширный мир, заключенный в голове и сердце, позволял ему весьма терпеливо переносить вынужденное пребывание в тесном уголке реального мира.

Как тихо в Филдхеде нынче вечером! Все, кроме Луи Мура, уехали в Наннли, — мисс Килдар, все семейство Симпсонов и даже Генри. Сэр Филипп настоятельно приглашал их, чтобы познакомить со своей матерью и сестрами, приехавшими погостить в Прайори.

Прелюбезный джентльмен, этот баронет, — он пригласил также и учителя! Но учитель скорее согласился бы на свидание с духом графа Хантингдонского и всей его буйной свитой под сенью самого древнего, самого толстого, самого черного дуба в Наннлийском лесу, и уж конечно охотнее повстречался бы с привидением аббатисы или бледной монахини среди замшелых развалин их бывшей обители, чьи руины милосердно прикрывает теперь лесная поросль. Луи Муру очень не хочется оставаться сегодня одному, но еще меньше — видеть мальчишку-баронета, его снисходительно-строгую мать, его высокороденных сестер и тем паче кого-нибудь из семейства Симпсонов.

Вечер неспокоен: над землей все еще бушуют бури осеннего противостояния. Днем шел проливной дождь, сейчас он перестал, вихрь рассеял огромную тучу, но небо не очистилось и не блещет звездной синевой: обрывки облаков несутся по нему, заслоняя луну, и ветер не смолкая стонет и плачет в высоте. Луна сияет, словно радуясь ночной буре, словно в яростных ее ласках для нее любовь и наслаждение. Эндимион<sup>[132]</sup> не ждет этой ночью свою богиню: в горах нет ни стад, ни пастухов. И хорошо, что нет, ибо в эту ночь Луна принадлежит Эолу.<sup>[133]</sup>

Сидя в классной комнате, Луи Мур слушал, как завывает ветер, ударяясь о крышу и окна со стороны фасада. Его комната была в

заветрии, но он вовсе не желал сидеть в убежище, прислушиваясь к заглушенным голосам бури.

— Все комнаты внизу пусты, — проговорил он. — Чего же я сижу в этом карцере?

Он поднялся и пошел туда, где окна были шире его маленьких заслоненных ветвями окошек и свободно пропускали серебряные блики с темно-синих небес, где стремительно проносились видения осенней ночи. Свечи он не взял, в лампе или свете камина тоже не было нужды: несмотря на быстролетные облака, мерцающий свет луны заливал полы и стены комнат.

Луи прошел по всему дому; казалось, он идет из двери в дверь следом за каким-то призраком. В дубовой гостиной он остановился. Здесь было не так мрачно, голо и темно, как в других комнатах; в камине пылал жаркий огонь, от раскаленных углей распространялось приятное тепло; возле коврика перед камином стоял маленький рабочий столик, рядом с ним — кресло.

Луи Мур остановился перед этим креслом с таким видом, словно увидел в нем тот призрак, за которым так долго шел. Глаза его зажглись, лицо оживилось, как будто он отыскал наконец в пустом доме живое существо и сейчас с ним заговорит.

Он начал осматриваться. На спинке кресла висит дамская сумка, маленькая атласная сумочка. Секретер открыт, ключи висят в замочной скважине. Тут же на виду лежит хорошенькая печатка, серебряная ручка с пером, веточка с зелеными листьями и несколькими алыми ягодами, изящная тонкая и чистая перчатка с маленькой руки, — все это придает столу вид слегка неряшливый и одновременно очень живописный. По законам живописи мелочи не должны загромаждать картину, однако именно эти мелочи придают тихой картине особое очарование.

— Всюду ее следы, — заговорил Луи Мур. — Вот здесь она сидела, прекрасная и беззаботная. Ее позвали, она, конечно, заторопилась и забыла прибрать свой стол. Почему даже в ее небрежности столько прелести? Откуда у нее этот дар — быть очаровательной даже в неряшливости? Ее всегда найдется за что побранить, но сердиться на нее невозможно. Я думаю, ее возлюбленный или муж, если даже вздумает поговорить с ней всерьез, то все равно закончит свой выговор поцелуем. Да это и естественно!



Куда приятнее перебирать ее недостатки, чем восхищаться достоинствами любой другой женщины! Но что это я бормочу? Уже начал разговаривать сам с собой? А ну-ка, замолчи!

Луи замолчал. Он стоял и раздумывал. Потом начал устраиваться, чтобы приятно провести вечер.

Прежде всего он опустил шторы на широких окнах, за которыми сияла царственная луна, подкинул угля в жаркое, прожорливое пламя и зажег одну из двух свечей на столе. После этого он пододвинул к столу другое кресло, поставил его как раз напротив первого и уселся. Затем извлек из кармана небольшую, но толстую записную книжку, достал карандаш и начал покрывать чистые страницы неровным, убогим почерком.

Не бойся, читатель, не скромничай! Подойди поближе, встань за его спиной и посмотри, что он там пишет.

«Сейчас девять часов, раньше одиннадцати коляска не вернется, я уверен. Значит, до одиннадцати я совершенно свободен и могу сидеть в ее комнате напротив ее кресла, облокотившись о ее стол. Все вокруг напоминает мне о ней.

Раньше мне нравилось Одиночество, — я воображал его тихой, строгой, но прекрасной нимфой, ореандой, <sup>[134]</sup> которая спускалась ко мне с отдаленных вершин. Одевание ее — из голубого горного тумана, в дыхании ее — свежесть горных ветров, в осанке ее — величавая красота заоблачных высот. В те времена я радовался ее приходу и мне казалось, что на душе у меня легче, когда она со мной, безмолвная и великолепная.

Но с того дня, когда я позвал Ш. в классную комнату, когда она пришла и села со мной рядом, поделилась со мной своей тревогой, попросила о помощи, воззвала к моей силе, — с этого дня, с этого часа я возненавидел Одиночество. Это холодная абстракция, бесплотный скелет, дочь, мать и подруга Смерти.

Как приятно писать о том, что так близко и дорого сердцу! Никто не отнимет у меня эту маленькую записную книжку, а своему карандашу я могу доверить все, что хочу, все, что не смею доверить ни одному живому существу, о чем не осмеливаюсь даже подумать вслух.

С того вечера мы почти не виделись. Однажды, когда я был в гостиней один, — я искал там оставленную Генри книгу, — она вошла, уже одетая для концерта в Стилбро. Робость, — ее робость, а не

моя, — разделила нас, точно серебряным занавесом. Много я слышал и читал о «девичьей скромности», но если не насмехаться над словами и употреблять их к месту, — это самые верные слова. Когда она увидела меня, застенчиво, но ласково поклонилась и отошла к окну, единственные слова, которыми я мог назвать ее тогда, были «непорочная дева». Для меня она была вся нежность и очарование в ореоле девической чистоты. Может быть, я самый бестолковый из мужчин, потому что я один из самых обыкновенных; однако, говоря по совести, ее застенчивость глубоко меня тронула, пробудив самые возвышенные чувства. Боюсь, что в этот миг и выглядел совершенным чурбаном, но когда она отвела взгляд и тихонько отвернувшись, желая скрыть румянец смущения, я, признаюсь, почувствовал себя на седьмом небе.

Я знаю, все это пустая болтовня мечтателя, греза восторженного романтического безумца. Да, я грежу и не хочу расставаться с моими грезами. Разве я виноват, что она вдохнула столько романтики в мою прозаическую жизнь?

Временами она бывает таким ребенком! Какое простосердечие, какая наивность! Как сейчас, вижу ее глаза, — она смотрит на меня, умоляет не отдавать ее на растерзание родне и требует клятвы, что я дам ей сильный наркотик. Вижу, как она признается мне, что не так уж сильна и вовсе не так равнодушна к сочувствию людей, как о ней думают; вижу ее затаенные слезы, тихо бегущие из-под ресниц. Она жаловалась, что я считаю ее ребенком, — так оно и есть на самом деле. Она воображала, что я ее презираю. Презирать ее! Невыразимо сладостно было чувствовать себя так близко от нее и в то же время выше ее, сознавать, что имеешь право и возможность поддержать ее, как муж должен поддерживать жену.

Я преклоняюсь перед ее совершенством, но сближают нас ее недостатки или во всяком случае слабости, — именно они привлекают к ней мое сердце, внушают мне любовь. Оттого я и ценю их по самой эгоистичной, хотя и понятной причине; ее недостатки — это ступени, по которым я могу подняться выше нее. Если бы вся она составляла искусственную пирамиду с гладкими склонами, не на что было бы ступить ноге. Но ее недостатки образуют естественный холм с провалами и мшистыми обрывами, — вершина его манит, и счастлив тот, кто ее достигнет!

Но довольно метафор. Я с наслаждением гляжу на нее, она — моя избранница. Будь я королем, а она горничной, подметающей лестницы моего дворца, я бы заметил ее, оценил по достоинству и полюбил всем сердцем, несмотря на разделяющую нас пропасть. Будь я джентльменом, а она моей служанкой, я все равно мог бы полюбить только Шерли. Отнимите у нее то, что дало ей воспитание, отнимите все внешние преимущества — ее украшения, ее роскошные наряды, лишите ее изящества, разумеется, благоприобретенного, ибо природную грацию отнять нельзя, — и пусть она, одетая в грубые одежды, подаст мне воды на пороге деревенского дома, напоит меня с доброй улыбкой, с тем горячим радушием, с каким расточает теперь гостеприимство богатой хозяйки, — и я полюблю ее, захочу задержаться на часок, поговорить подольше с этой сельской девушкой. Правда, я не почувствовал бы того, что чувствую сейчас: в ней для меня не было бы ничего божественного, но все равно каждая встреча с юной крестьянкой доставляла бы мне удовольствие, а разлука огорчение.

Как она непростительно небрежна! Оставила секретер открытым, а я знаю, что в нем она держит деньги. Ключ торчит в скважине, а с ним — целая связка других, от всех ее ящичков, и даже ключик от шкатулки с драгоценностями. В маленькой атласной сумочке лежит кошелек, — я вижу его серебряную кисточку, она свисает наружу. Такая беззаботность возмутила бы моего брата Роберта. Я знаю, что все ее маленькие слабости раздражали бы его, а меня они только приятно изумляют. Я радуюсь тому, что у нее есть недостатки, и уверен, что если нам еще доведется жить с нею в одном доме, она мне доставит немало подобных радостей. Она не оставит меня без дела: всегда найдется ошибка, которую надо будет исправить, всегда будет повод побранить ее.

Я никогда не браню Генри и не люблю нотаций. Если он бывает виноват, а это случается не часто, потому что он отличный и предобрый мальчик, достаточно сказать одно слово, а зачастую лишь покачать головой. Но стоит мне взглянуть на ее *minois mutin*, <sup>[135]</sup> как укоризненные слова сами слетают с моих уст. Наверное, она смогла бы превратить в болтуна даже меня с моей неразговорчивостью.

Но почему мне так приятно делать ей выговоры? Порой я сам этого не понимаю. Однако чем она бывает упрямее, лукавее и

насмешливее, чем больше дает мне поводов для недовольства, тем сильнее меня к ней тянет, тем больше она мне нравится. Всего сумасброднее, всего нетерпимее она бывает после горячей скачки по холмам навстречу ветру, когда она в своей амазонке гарцует на Зоэ. Признаюсь, — безмолвным страницам можно довериться, — я часами поджидал ее на дворе лишь для того, чтобы подать ей руку и помочь соскочить с седла. Я заметил, — и снова я могу довериться лишь этой записной книжке, что такие услуги она принимает только от меня. На моих глазах она вежливо отказалась от помощи сэра Филиппа Наннли, это она-то, всегда столь любезная к молодому баронету, всегда столь снисходительная к его желаниям, чувствам и болезненному самолюбию! А помощь Сэма Уинна она просто с презрением отвергла. И теперь я знаю, — знаю сердцем, потому что чувствую, — мне она доверяет безоговорочно: должно быть, она догадывается, что я счастлив ей услужить, рад отдать ей все свои силы. Я не раб ее, решительно заявляю, однако чувства мои и мысли рвутся к свету ее красоты, стремятся к ней, как мотыльки к огню. Все мои знания и силы, благоразумие и спокойствие я готов отдать ей. Скромно ожидаю я приказаний, бываю счастлив, когда их слышу, радуюсь, когда могу их исполнить. Знает ли она об этом?

Я назвал ее беззаботной. Примечательно, что ее беззаботность нисколько не умаляет ее совершенства. Наоборот, через эту слабость, сквозь это окно в ее характере проглядывает вся истинность, глубина и неподдельность ее совершенства. Так пышное платье иной раз прикрывает уродство и неудобу, а сквозь порванный рукав иногда проглядывает прелестная округлая ручка.

Я видел и держал в руках немало ее вещей, которые она разбрасывает где попало. И все они могли бы принадлежать только настоящей леди: в них не было ничего безвкусного, ничего неопрятного; при всей своей беззаботности, она в некоторых отношениях весьма требовательна, — будь Шерли крестьянкой, она одевалась бы так же чисто. Вот ее маленькая перчатка, — она безупречна. Вот ее сумочка, — на свежем атласе нет ни единого пятнышка!

Шерли и эта жемчужина Каролина Хелстоун, — что может быть более несхожего? Каролина мне кажется воплощением добросовестной точности и предельной аккуратности, — она была бы

прекрасной хозяйкой в доме одного моего привередливого родственника. Чуткая, работающая, милая, проворная и спокойная, она вполне подошла бы Роберту. Все кипит у нее в руках, все всегда прибрано. Но что бы стал делать я с таким беспорочным созданием?

Мы с ней ровня, — она так же бедна, как и я. Она, несомненно, красива, у нее рафаэлевская головка, рафаэлевские черты с чисто английским выражением, в ней чувствуется грация и чистота настоящей дочери Альбиона. Но в ней нечего исправлять, нечего изменять, нечего осуждать, с ней не о чем беспокоиться. Она — как ландыш, совершенный от природы и не нуждающийся в садовнике. Что в ней можно улучшить? Какой карандаш осмелится подправлять этот рисунок?

Моя возлюбленная, если она когда-нибудь у меня будет, должна походить не на ландыш, а скорее на розу, чья сладость и красота защищены колючими шипами. Моя жена, если я когда-нибудь женюсь, должна время от времени тревожить меня язвительными уколами, должна непременно сердить меня, чтобы огромный запас моего терпения не остался втуне. Но я не настолько смирен, чтобы ужиться с овечкой, мне скорее пристало быть укротителем юной львицы или тигрицы. Сладость мне не по вкусу, если в ней нет остроты, свет не радует, если он не жарок, летний день не люб, если знойное солнце не румянит плоды и не золотит хлеба. Красавица всего прекраснее тогда, когда, рассерженная моими язвительными насмешками, гневно нападает на меня. И чем больше она воспламеняется, чем больше выходит из себя, тем сильнее ее очарование. Боюсь, что безмолвная кротость невинной овечки скоро бы мне наскучила; воркование голубки, которая никогда не трепещет на моей груди и не тревожит меня, скоро стало бы мне в тягость. Но я буду счастлив, если понадобится все мое терпение, чтобы приручить и укротить отважную гордую орлицу. Только в схватках с дикой хищницей, которую невозможно сделать до конца ручной, я найду применение своим силам.

О моя воспитанница, моя пери, слишком строптивая для рая и слишком чистая для ада! Я только смотрю на тебя, преклоняюсь перед тобой и мечтаю о тебе, — на большее я никогда не осмелюсь. Я знаю, что мог бы дать тебе счастье. Увы, неужели мне суждено увидеть, как ты достанешься другому, который не даст тебе ничего? Рука его нежна,

но слишком слаба: ему не сломить Шерли и не укротить, а укротить ее необходимо.

Берегитесь, сэр Филипп Наннли! Я никогда не видел, чтобы, сидя с вами рядом или где-нибудь на прогулке, она молчала и хмурилась, стараясь смириться с каким-нибудь вашим недостатком, или снисходительно относилась к вашим слабостям, полагая, что их искупают достоинства, хотя ей от этого было не легче; я никогда не замечал сердитого румянца на ее лице, гримасы отвращения или опасных искр в глазах, когда вы подходите к ней слишком близко, смотрите на нее слишком выразительно или нашептываете что-нибудь с излишним жаром. Я этого, повторяю, никогда не видел, и тем не менее, глядя на вас, я вспоминаю миф о Семеле, [\[136\]](#) только наоборот.

Я вижу перед собой не дочь Кадма и думаю не о ее роковом желании узреть Юпитера во всем его божественном величии. Передо мною жрец Юноны, простертый перед алтарем в аргосском храме; уже глубокая ночь, и он здесь один. Уже не первый год он одиноко поклоняется своей богине, живет одной мечтой. Он поражен божественным безумием; он любит идола, которому служит, и день и ночь молит Волоокую снизойти к своему жрецу. И Юнона вняла мольбе и обещала быть благосклонной. Весь Аргос спит. Врата храма закрыты. Жрец ждет у алтаря.

Вдруг содрогнулись земля и небо, но во всем спящем городе это услышал один только жрец, неустрашимый и непоколебимый в своем фанатизме. Внезапно, в полном безмолвии, его объял ослепительный свет. Сквозь широко разверзшийся свод в сияющей лазури небес предстало ему грозное видение, ужасное и неземное. Ты меня домогался? А теперь отступаешь? Поздно! Свет непереносим, и ты ослеплен! Невыразимый голос гремит в храме, — лучше бы его не слышать! Нестерпимое сияние грозно озаряет колонны, разгораясь все ярче и ярче... Смилуйтесь над ним, боги, и погасите этот огонь!

Благочестивый житель Аргоса пришел на рассвете в храм совершить утреннее жертвоприношение. Ночью была гроза, и молния попала в храм. Алтарь разбит вдребезги, мраморный пол вокруг растрескался и почернел. Одна статуя Юноны осталась в гордой неприкосновенности, целомудренная и величавая, а у ее ног лежала кучка белого пепла. Жреца не было: тот, кто видел, — исчез, и больше его никто не увидит...

Чу, коляска вернулась! Запру-ка я секретер да унесу ключи: завтра утром она их хватится, начнет искать и поневоле придет ко мне. Я уже слышу, как она спрашивает: «Мистер Мур, вы не видели мои ключи?»

Так она спросит своим чистым голоском, дрожащим от досады и стыда, что ей приходится ходить по дому и повторять этот вопрос, может быть, в двадцатый раз. Тогда я ее помучаю, помедлю, словно раздумывая и припоминая, а когда верну ключи, то уж не отпущу ее без выговора. Вот еще сумочка с кошельком, перчатка, ручка, печать. Все это я отдам ей не сразу, постепенно, только когда она сама признается, покается и попросит. Я до сих пор не осмеливался прикоснуться к ее руке, к ее локонам, даже к банту на ее платье; теперь я вознагражу себя за это. Все черты ее лица, выражение ее огромных глаз и нежных губ будут меняться по моей воле, и я наслажусь всем их восхитительным многообразием. Зрелище это даст мне счастье, восторг, а может быть, еще крепче и безнадежнее прикует меня к ней. Но если уж суждено мне сделаться ее рабом, то постараюсь хоть продать свою свободу подороже».

Луи Мур запер секретер, положил все вещицы Шерли в карман и вышел из гостиной.

## ГЛАВА XXX

### Исповедь

Все говорили, что Роберту Муру давно бы уже пора вернуться домой. В Брайерфилде его странное отсутствие вызывало недоумение, в Наннли и Уинбери тоже удивлялись и терялись в догадках.

Что же удерживало его в городе? Причин было вдоволь, и все достаточно веские, чтобы объяснить это необъяснимое отсутствие. Но задерживали его не дела, — так утверждали все: с делами, ради которых он уехал, было покончено давным-давно. Четыре вожака, которых Мур преследовал, были скоро пойманы; он сам присутствовал на суде, своими ушами слышал, как их признали виновными и вынесли приговор, и своими глазами видел, как их благополучно погрузили на корабль для отправки на каторгу за океан.

Обо всем этом в Брайерфилде знали: отчет о суде появился в газетах, а в «Курьере Стилбро» он был напечатан со всеми подробностями. Никто не восторгался непоколебимостью Мура, никто не поздравлял его с успехом, хотя владельцы фабрик в глубине души радовались, полагая, что суровость свершившегося Правосудия отныне и навсегда заглушит мрачный ропот недовольства. Однако недовольные продолжали роптать. В кабаках они произносили зловещие клятвы над кружками с крепким пивом и провозглашали странные тосты, поднимая стаканы с английским огненным джином.

Кто-то пустил слух, будто Мур просто не осмеливается вернуться в Йоркшир, будто он уверен, что не проживет здесь и часа.

— Я напишу ему об этом, — сказал мистер Йорк, когда узнал об этих слухах от своего управляющего. — И если он после этого не прискачет сюда в тот же час, то уже ничто не заставит его вернуться.

Повлияло ли на Мура письмо мистера Йорка или какие-то другие соображения, но он наконец сообщил Джо Скотту о дне своего возвращения и приказал прислать ему коня в гостиницу «Джордж». Джо Скотт в свою очередь уведомил об этом мистера Йорка, и почтенный джентльмен решил выехать Муру навстречу.

Был базарный день. Мур приехал к обеду и занял свое обычное место за купеческим столом. Фабриканты встретили его почтительно:



для них Мур был в какой-то мере иностранцем, гостем, а кроме того, он проявил себя человеком достойным и энергичным. Даже те, кто на людях не осмеливался показывать свое знакомство с Муром, боясь, как бы ненависть и месть, угрожавшие ему, не коснулись их самих, теперь в узком кругу приветствовали Мура как победителя. Когда подали вино, почтительное отношение собравшихся, несомненно, перешло бы в восторг, если бы Мур сам не сдерживал его невозмутимым хладнокровием, не допускавшим никаких пылких излияний.

Мистер Йорк, — постоянный председатель на обедах такого рода, наблюдал за своим юным другом с нескрываемым одобрением. Для него не было ничего отвратительнее людишек, упивающихся лестью и восторгами толпы. И не было для него ничего милее и приятнее людей с твердым характером, которые просто не способны наслаждаться своей славой. Я повторяю: не способны! Презрение к славе насторожило бы Йорка, но искреннее безразличие Мура смягчило его суровую душу.

Откинувшись на спинку стула, Роберт со спокойным, почти угрюмым лицом слушал, как владельцы суконных и одеяльных фабрик восторгаются его мужеством и восхваляют его подвиги, перемежая лесть со свирепыми угрозами в адрес рабочих. Для мистера Йорка это было отрадное зрелище. Сердце его ликовало при мысли, что все эти неуклюжие комплименты огорчают Мура и заставляют его почти стыдиться своих поступков. Упрек, оскорбление, даже клевету не трудно принять с улыбкой, но выслушивать похвалы людей, которых презираешь, испытание тяжкое. Мур не раз с великолепной выдержкой противостоял озлоблению воющей толпы, не раз встречал с легким сердцем и мужественной осанкой грозы и бури всеобщей неприязни, но теперь низкопробные похвалы и поздравления торгашей заставили его уныло понурить голову и устыдиться самого себя.

Йорк не удержался от ехидного вопроса:

— Ну что, нравятся тебе такие союзнички? Они оказывают честь делу, за которое ты ратуешь, не правда ли? Одно только жаль, парень, — добавил он, жаль, что ты не повесил тех четырех бродяг. Если бы это тебе удалось, все наши дворянчики выпрягли бы коней из твоей кареты, впряглись бы в нее сами, и дюжина двуногих ослов доставила бы тебя в Стилбро как победоносного полководца!

Вскоре Мур отставил вино, распрощался и уехал. Йорк последовал за ним минут пять спустя; он догнал Мура на дороге, и они выехали из Стилбро вместе.

Домой возвращаться было еще рано, хотя день уже клонился к закату; последние лучи солнца меркли, золотя края облаков; приближалась октябрьская ночь, покрывая равнину густеющими тенями.

Мистер Йорк, будучи умеренно навеселе после умеренных возлияний и весьма довольный тем, что Мур вернулся наконец в Йоркшир, болтал почти без умолку, радуясь попутчику в дальней дороге. Он коротко, но от этого не менее язвительно высказался о судебном процессе и приговоре, затем перешел к местным сплетням и, наконец, накинулся на самого Мура.

— Слушай, Роб, я думаю, тебя посадили в лужу, и поделом. Все шло гладко, Фортуна тебе улыбалась и готова была подарить первый приз своей лотереи — двадцать тысяч фунтов. Нужно было только протянуть руку, чтобы взять их. Что же ты сделал? Велел седлать и отправился верхом в Варвикшир на охоту за негодяями! Твоя возлюбленная, — я имею в виду Фортуну, — простила тебе и это. Она сказала: «Я его извиняю: он еще слишком молод». Подобно статуе Терпения на надгробиях она ждала, пока охота не закончилась, пока подлая дичь не была затравлена. Она надеялась, что ты вернешься и будешь умником. Тогда она еще, может быть, отдала бы тебе первый приз. Однако, продолжал мистер Йорк, — она была крайне удивлена, да и я тоже, когда узнала, что, вместо того чтобы мчаться сломя голову домой и сложить свои лавры к ее ногам, ты преспокойно сел в карету и отправился в Лондон. Что ты там делал, — известно одному сатане! Я думаю, ничего путного, — наверное, просто сидел и дулся. Лицо у тебя и раньше-то на лилию не походило, а теперь и вовсе позеленело, как оливка. Ты уже не прежний красавчик, друг мой!

— Кому же достанется этот приз, о котором вы столько говорите?

— Только баронету, дело ясное. Я теперь не сомневаюсь, что для тебя она потеряна. Еще до рождества она станет леди Наннли.

— Гм! Вполне возможно.

— Но ведь этого могло не быть! Глупый мальчишка, ты мог бы сам ее получить, клянусь!

— По чему же это видно, мистер Йорк?

— По всему: по блеску ее глаз, по румянцу щек, по тому, как она при ее всегдашней бледности становится прямо пунцовой, едва заслышав твое имя.

— Но теперь, я полагаю, мне надеяться не на что?

— Пожалуй, но ты все же попытай счастья: попробовать стоит. Этот сэр Филипп — размазня, как я его называю, — ни рыба ни мясо. Кроме того, он еще, говорят, пописывает стишки, рифмует всякую чепуху. Ты-то выше этого, Роб, в этом я уверен!

— Вы что, советуете мне сделать предложение сегодня же, в такое позднее время? Уже одиннадцатый час, мистер Йорк!

— А ты хоть попробуй, Роберт. Если ты ей по-настоящему нравишься, — а я думаю, ты ей нравишься или во всяком случае нравился, — она тебя простит. Постой-ка, да ты смеешься? Уж не надо мной ли? Похихикай лучше над собственной глупостью! Впрочем, я вижу, улыбочка-то кривая! У тебя сейчас такая кислая физиономия, что просто любо!

— Ах, Йорк, я злюсь на самого себя. Мне столько раз совали палки в колеса, я бился как рыба об лед, вывихнул обе руки, стараясь избавиться от оков, и расшиб свою крепкую голову об еще более крепкую стену.

— Ха, рад это слышать! Ты получил жестокий урок; надеюсь, он пойдет тебе на пользу и пособьет с тебя спеси.

— Спеси! Что это такое? Самоуважение, самодовольство, — что это за товар? Вы этим торгуете? Или, может быть, кто-нибудь другой? Дайте адрес: я непривередливый покупатель и готов расстаться с последней гинеей, лишь бы приобрести такую штуку!

— В самом деле, Роберт? Такой разговор мне по вкусу. Люблю, когда люди высказываются начистоту. Что же с тобой творится?

— Все мое устройство ни к черту, вся механика человеческой фабрики разладилась, котел, который я принимал за свое сердце, сейчас работает под таким давлением, что вот-вот разорвется.

— Потрясающе! Это надо бы записать. Похоже на белые стихи. Еще немного, и ты станешь поэтом. Если на тебя нашло вдохновение, не стесняйся, Роберт, высказывайся. На этот раз я все выдержу.

— Я отвратительный, жалкий, подлый дурак! В одно мгновение иной раз делаешь то, о чем сожалеешь десятки лет, чего не искупишь всей своей жизнью.

— Продолжай, парень! Для меня это все пирожки, леденцы, орешки, я их очень люблю. Продолжай, говори, слова принесут тебе облегчение. Сейчас мы на пустоши, и на много миль вокруг нет ни одной живой души.

— Я буду говорить. Мне не стыдно признаться. У меня словно дикие кошки скребут на душе, и уж лучше вы сейчас выслушаете их вопли.

— Для меня это будет музыкой! У вас с Луи великолепные глотки. Когда Луи поет, его голос звучит, словно нежный, глубокий колокол, — меня и то дрожь пробирает. Ночь тиха, она тоже слушает. Смотри, она склонилась над тобой, как черный поп над еще более черным грешником в исповедальне. Исповедуйся, парень! Не скрывай ничего! Будь откровенен, как убежденный, оправданный и возведенный в святые методист на показательном богослужении. Считай себя хоть грешнее самого Вельзевула: это облегчит тебе душу.

— Считай себя подлее самого Маммоны, вы хотели сказать? Послушайте, Йорк, окажите мне милость! Я сейчас сойду с коня и лягу на дорогу, а вы проскочите по мне взад и вперед раз двадцать, согласны?

— С величайшим удовольствием, если бы на свете не было такой штуки, как уголовное дознание.

— Хайрам Йорк, я был уверен, что она меня любит. Я видел, как вспыхивали и разгорались ее глаза, когда она меня замечала в толпе. Она вся заливалась румянцем, когда подавала мне руку и спрашивала: «Как поживаете, мистер Мур?» Мое имя оказывало на нее волшебное действие. Стоило кому-нибудь его произнести, и она сразу менялась, — я это ясно видел. И сама она произносила его самым нежным голосом, на какой только способна. Она была со мною сердечна, интересовалась моими делами, беспокоилась за меня, желала мне добра, пользовалась малейшим предлогом, чтобы мне помочь. Я долго наблюдал, размышлял, сравнивал, выжидал, взвешивал и, наконец, пришел к единственно возможному заключению: да, это любовь! Я смотрел на нее, Йорк! — продолжал Роберт Мур. — Я видел ее молодость и красоту, видел ее силу. Ее богатство могло бы восстановить мою честь и мое дело. Впрочем, я ей и так признателен: однажды она мне весьма существенно и вовремя помогла, одолжив пять тысяч фунтов. Мог ли я все это позабыть? Мог ли я усомниться в

ее любви? Рассудок нашептывал мне «Женись, женись!». Что было делать? Закрыть глаза на все ее прелести, отказаться от заманчивого будущего, презреть разумные советы, отвернуться от нее и бежать? Мог ли я это сделать?

«Моя благодетельница юна, мила, грациозна и притом весьма ко мне привязана, — говаривал я себе. — Она в меня влюблена!» Потом я раздумывал над этими словами, повторял их снова и снова, пробовал на вкус, наслаждался ими с гордым, сладостным самодовольством, восхищаясь только собственной своей персоной и не оказывая ей при этом даже уважения. В глубине души я насмехался над ее наивностью и простотой, над тем, что она первая влюбилась в меня и первая это показала... Послушайте, Йорк, похоже, у вашего хлыста увесистая ручка: когда вам захочется, размахнитесь получше и выбейте меня из седла! Я заслуживаю хорошей взбучки...

— Терпение, Роберт, терпение! погоди, пока взойдет луна, чтобы я мог разглядеть тебя получше признайся начистоту — ты ее любишь или нет? Мне хотелось бы знать, я очень любопытен.

— Господи, я же говорю: по-своему она очень красива и очень привлекательна. Временами она кажется вся сотканной из огня и воздуха; я стою и люблюсь ею, впрочем даже не думая о том, чтобы обнять ее и поцеловать. Выгода и тщеславие неудержимо влекли меня к ней, но я никогда не думал о ней, как о жене, как о своей половине, может быть лучшей, чем я сам. Когда подобная мысль приходила мне в голову, я от нее отмахивался и грубо говорил самому себе: «С нею ты будешь богат, без нее — разоришься». Я клялся, что буду действовать как делец, а не как романтик.

— Решение здоровое. Что же тебе помешало, Роб?

— С этим здоровым решением я как-то в августе вечером явился в Филдхед. Это было как раз накануне моего отъезда в Бирмингем. Видите ли, я решил наконец принять великолепный подарок Фортуны. О своем приезде я известил ее запиской, в которой просил о свидании наедине. Шерли была дома и совсем одна.

Она встретила меня без всякого смущения, ибо думала, что я пришел по делу. Смущен был я, однако полон решимости. Уж не знаю сам, как я все это ей изложил, — знаю только, что принялся за дело рьяно и круто, — пожалуй, даже слишком круто. Я сухо предложил ей самого себя — свою прелестную персону, разумеется, со всеми моими

долгами в придачу. Но я был оскорблен, я пришел просто в ярость, когда, не дрогнув, не вспыхнув и даже не потупив взор, она мне ответила:

«Боюсь, что я вас не поняла, мистер Мур!»

И мне пришлось все начинать сначала, все повторять во второй раз, все растолковывать ей по слову, по букве, от А до Я, пока она не уразумела. И как вы думаете, что она мне ответила? Вместо того чтобы пролепетать сладостное «да» или хранить не менее красноречивое смущенное молчание, она встала, несколько раз быстро прошлась по комнате, как умеет пройти только она одна, и наконец воскликнула:

«Господи Боже мой!»

Йорк, я стоял у камина, опершись на каминную доску. Я стоял так и был готов к чему угодно — к самому худшему. Я уже знал свою участь, но я знал также себя. Ее вид, ее голос не оставляли никаких сомнений. Она остановилась, подняла на меня глаза.

«Боже мой, — жалобно повторила она, и в голосе ее было все: возмущение, удивление и печаль. — Вы сделали такое странное предложение, — от вас я его не ожидала. Если бы вы только знали, как странно вы говорили и как странно смотрели при этом, вы бы сами поразились! Вы говорили не как влюбленный, предлагающий мне свое сердце, а как разбойник, требующий у меня кошелек».

Странная тирада, не правда ли, Йорк? Но едва она это проговорила, я понял, что, при всей странности ее слов, она сказала святую истину. В ее словах я увидел себя, как в зеркале.

Я взглянул на нее волком, но промолчал; ее слова привели меня в ярость и в то же время пристыдили.

«Жерар Мур, — продолжала она, — вы знаете, что не любите Шерли Килдар!»

Я мог бы пуститься в лживые уверения, начать клясться, что люблю ее, но мне было стыдно лгать, глядя в ее чистые глаза, я не мог опуститься до клятвопреступления перед этим правдивым существом. Кроме того, все эти пустые клятвы были бы все равно бесцельны и тщетны: она поверила бы мне не более, чем духу Иуды, если бы он вдруг появился из темноты и встал перед ней. Ее женское сердце слишком чутко, чтобы принять мое полунасмешливое, полуравнодушное восхищение за истинную пылкую любовь.

«Что было дальше?» — спросите вы, мистер Йорк. Дальше она села в кресло у окна и заплакала. Она плакала горько и гневно. Слезы лились по ее щекам, но когда она поднимала на меня свои огромные, широко раскрытые темные глаза, в них сверкали молнии обиды и гнева. Они словно говорили мне: «Вы причинили мне боль! Вы меня оскорбили! Вы меня обманули!»

Вскоре она заговорила не только взглядами.

«Я в самом деле уважала вас, я восхищалась вами, вы мне действительно нравились, — говорила она. — Да, да, я любила вас раньше, как брата! А вы, вы хотели совершить со мной торговую сделку! Вы хотели принести меня в жертву вашему Молоху, вашей фабрике!»

У меня хватило ума промолчать и не пускаться в объяснения. Любая попытка извиниться, смягчить ее ни к чему бы не привела. Я стояли терпел это унижение.

Видно, в тот вечер дьявол вселился в меня или я попросту рехнулся. Знаете, что я сказал, когда наконец решился заговорить?

«Неважно, что чувствую я сам, но я был уверен, что вы, мисс Килдар, меня любите».

Прелестно, не правда ли? Она совершенно смешалась. Я слышал, как она пробормотала:

«Неужели это говорит Роберт Мур? Да полно, человек ли он в самом-то деле?»

«Вы хотите сказать, — проговорила она громче, — вы полагаете, что я любила вас как человека, за которого хотела бы выйти замуж?»

Да, я так полагал, и я сказал ей это.

«Подобная мысль оскорбляет чувства женщины, — ответила она. — А способ, каким вы ее выразили, возмущает женскую душу. Вы намекаете на то, что моя сердечная доброта к вам была на деле нескромной, хитрой, бесстыдной игрой, что я просто завлекала жениха. Вы уверяете, что пришли сюда из жалости, что предложили мне свою руку потому, что я за вами увивалась. Разрешите сказать вам: зрение вас обмануло, — вы увидели не то; ваш ум в заблуждении — вы рассудили неверно; и ваш язык выдал вас, — вы говорите не то, что следует. Успокойтесь: я вас никогда не любила. В моем сердце не больше страсти к вам, чем в вашем — любви ко мне».

Как полагаете, Йорк, это был достойный ответ?

«Значит, я был слепым и глухим дураком», — проговорил я тогда.

«Любить вас! — вскрикнула она. — И все это потому, что я была с вами откровенна, как с братом, никогда вас не избегала, никогда не боялась. Нет! — продолжала она с торжеством в голосе. — Ваше появление никогда не могло заставить меня вздрогнуть, ваша близость не заставляла мое сердце биться чаще».

Я возразил, что, разговаривая со мной, она часто краснела и что одно мое имя приводило ее в волнение.

«Вы здесь ни при чем!» — отрезала она.

Я потребовал объяснения, но ничего не добился. Вместо этого она засыпала меня вопросами:

«Неужели вы думали, что я была влюблена в вас, когда сидела с вами рядом на школьном празднике? Или когда остановила вас на Мейторнлейн? Или когда заходила в вашу контору? Или когда гуляла с вами перед Филдхедом? Неужели вы думали, что я вас любила тогда?»

Я ответил утвердительно. О Господи! Йорк, она вскочила, сразу стала высокой, вспыхнула и словно превратилась в пламя; она вся дрожала, и казалось, по ней пробегают искры, как по раскаленному углю.

«Это значит, что вы думаете обо мне хуже, чем я есть на самом деле, и отказываете мне в том, что для меня всего дороже. Это значит, что я изменила всем моим сестрам-женщинам и вела себя так, как женщина не должна себя вести из боязни уронить свое достоинство и честь нашего пола. Это значит, что я искала то, чего никогда не станет искать честная женщина...»

Несколько минут мы оба молчали. Потом она снова заговорила:

«Люцифер, Утренняя Звезда, ты низвергнут. Я ценила вас так высоко, и вы пали. Я считала вас своим другом и обманулась. Уходите!»

Но я не ушел. Я слышал, как дрожит ее голос, видел, как кривятся ее губы, и знал, что сейчас прольется новый поток слез. После этой грозы, я надеялся, наступит затишье, может быть даже выглянет солнце, и я решил подождать.

И вот хлынул теплый ливень, такой же обильный, как первый, но более спокойный. В рыданиях ее послышались иные нотки — более нежные, полные сожалений. Она подняла на меня глаза, и в них были уже не гордость, а упрек, не гнев, а скорее глубокая грусть.



«О Мур!» — проговорила она, и это прозвучало страшнее, чем цезаревское: «И ты, Брут!»

Чтобы избавиться от тяжести на сердце, я хотел вздохнуть, но из груди моей вырвался стон. Все во мне горело, словно я был отмечен проклятием Каина.

«Должно быть, я в чем-то ошибся, — сказал я. — И теперь горько каюсь. Но каяться я буду вдали от той, перед которой виноват».

Я взял шляпу. Все это время меня мучила мысль, что мне так и придется уйти. Я надеялся, что она меня не отпустит. И она бы не отпустила, но я нанес ее самолюбию такую смертельную рану, после которой ей оставалось только скрыть свое сострадание и молчать.

Мне пришлось самому остановиться у двери, вернуться к ней и сказать: «Простите меня!»

«Я бы простила, если бы мне не нужно было прощать самое себя, ответила она. — Но, видно, я сама виновата, если обманула такого проницательного человека, как вы».

И вдруг меня прорвало, я начал говорить торжественно и горячо, о чем, уже сам не помню; помню только, что говорил я искренне, стараясь всеми силами оправдать и обелить ее в ее же глазах. Да и на самом деле все ее самообвинения были чистой фантазией.

Наконец она протянула мне руку. Впервые захотелось мне обнять ее и поцеловать. И я поцеловал ее руку много раз.

«Когда-нибудь, — проговорила она, — когда вы научитесь правильно понимать мои слова и поступки и не истолковывать их столь превратно, мы снова будем друзьями. Может быть, время даст вам ключ ко всему; тогда вы меня поймете, и тогда мы помиримся».

Последние слезинки скатились по ее щекам, и она их вытерла.

«Мне так горько, что все это произошло, так горько!» — всхлипнула она.

Но видит Бог, мне было еще горше! На этом мы расстались.

— Странная история! — заметил мистер Йорк.

— Я никогда больше не сделаю ничего подобного! — поклялся его попутчик. — Никогда в жизни не заговорю о женитьбе с женщиной, которую не люблю. Отныне пусть кредит и торговля сами заботятся о себе — мне до них нет дела! К банкротству я тоже готов: рабский страх перед разорением более надо мной не властен. Я намерен упорно работать, терпеливо выжидать, переносить все с

твердостью. Если же случится самое худшее, мы с Луи зайдем на корабле койки эмигрантов и отправимся в Америку, — мы уже так решили. Ни одна женщина отныне не взглянет на меня так, как смотрела мисс Килдар; ни одна не почувствует ко мне такого презрения, как мисс Килдар, и никогда ни перед какой женщиной не придется мне больше стоять таким дураком и скотиной, таким бесчувственным, низким чурбаном!

— Ба, невелика важность, — проговорил невозмутимый Йорк. — Стоит ли так терзаться? И все же, признаюсь, я поражен. Во-первых, тем, что она тебя не любит. Во-вторых, тем, что ты не любишь ее. Вы оба молоды, оба красивы, обоим Бог не обделил ни умом, ни характером. Рассуди-ка здраво: что помешало вам договориться?

— Мы никогда не могли и никогда не смогли бы до конца понять друг друга, Йорк. Мы могли восхищаться друг другом на расстоянии, но стоило нам сблизиться, как мы начинали раздражаться. Однажды я сидел в углу гостиной и наблюдал за ней: она устроилась у противоположной стены в компании своих поклонников, — там были и вы с Хелстоуном, а ведь с вами она всегда шутит, смеется, рассыпает блестящие красноречия. Я видел ее в одну из тех минут подъема, когда она была сама собой, — естественная, живая, прелестная. В то мгновение она казалась мне красивой, — она и на самом деле хороша, когда ее настроение соответствует великолепию наряда. Я приблизился, полагая, что наше знакомство дает мне на это право, присоединился к беседе и вскоре завладел ее вниманием. Мы разговорились. Остальные, — очевидно, полагая, что я пользуюсь ее особой благосклонностью, — постепенно отошли и оставили нас одних. Думаете, это нас обрадовало, ошастливило? Если вы спросите меня, то я вам отвечу: нет! Я чувствовал какое-то стеснение, мрачнел и дичился. Мы говорили о делах, о политике, и ни разу сердца наши не раскрылись в дружеской беседе, ни разу языки не развязались в откровенном, свободном разговоре. Если мы и пускались в откровенности, то они касались наших торговых дел, а не сердечных. Ничто не возбуждало во мне тех нежных чувств, какие делают человека благороднее и лучше: Шерли только подстегивала мою мысль, обостряла мою проницательность, но никогда не задевала сердца и не волновала кровь. Причина ясна: я не обладаю тайной притягательностью, которая заставила бы ее полюбить меня.

— Все это престранно, друг мой, — заметил Йорк. — Я бы посмеялся над тобой и над твоей дурацкой утонченностью, да ночь больно темна и мы на дороге совсем одни. Поэтому лучше я поведаю тебе одну историю из своей жизни, — ты мне ее напомнил своим рассказом. Двадцать пять лет назад я добивался любви одной прекрасной женщины, но она меня не полюбила. Я не смог подобрать ключ к ее характеру: для меня она осталась каменной стеной без окон, без дверей.

— Но ведь вы-то ее любили, вы просто боготворили Мэри Кейв! Кроме того, Йорк, вы вели себя как мужчина, а не как охотник за приданым.

— Да, я действительно ее любил. В ту пору она была хороша, как луна, которой сегодня мы не видим; в наше время подобных красавиц уже не сыщешь. Мисс Хелстоун еще чем-то на нее похожа, а больше никто.

— Кто на нее похож?

— Племянница этого святоши в черном, тихая, нежная Каролина Хелстоун. Я не раз в церкви надевал очки, чтобы получше разглядеть эту девочку. У нее такие милые синие глазки с такими длинными ресницами! Сидит себе тихонько в тени, бледная-бледная, а когда задремлет к концу длинной проповеди от жары и духоты, — ну прямо изваяние Кановы!<sup>[137]</sup>

— Разве Мэри Кейв была на нее похожа?

— Да, только она была куда величественнее. Ничего грубого, ничего земного. Даже странно было видеть ее без крыльев и без венца. Величавый, кроткий ангел, вот кто была моя Мэри!

— И вы не могли добиться ее любви?

— Никакими силами, хоть я и молился, стоя на коленях, и взывал к небесам о помощи.

— Мэри Кейв была вовсе не такой, какой вы ее представляете, Йорк. Я видел в доме Хелстоуна ее портрет. Она совсем не ангел, а просто красивая женщина с правильными и довольно суровыми чертами. На мой вкус, она слишком бела и безжизненна. Впрочем, даже если предположить, что в жизни она была лучше, чем на портрете...

— Роберт! — прервал его Йорк. — Вот сейчас я могу вышибить тебя из седла! Однако я не дам воли рукам. Разум говорит мне, что ты

прав, а я не прав. Я знаю, что эта страсть, которая до сих пор не угасла, — остаток заблуждения. Если бы мисс Кейв обладала умом или сердцем, ода бы не была ко мне столь равнодушна и не предпочла бы мне этого краснокожего деспота.

— Представьте, Йорк, что она образованная женщина, хотя в те дни таких еще не встречалось; представьте, что у нее самобытный глубокий ум, любовь к знаниям, жажда нового, которую она утоляет в беседах с вами; представьте, что ее речь полна живости, блеска, разнообразия, оригинальных образов и свежих мыслей, выраженных чистым и богатым языком, представьте, что, когда намеренно или случайно вы оказываетесь с ней рядом или садитесь подле нее, на вас тотчас нисходит мир и покой; представьте, что одного ее кроткого вида, одной мысли о ней достаточно, чтобы вы забыли тревоги и заботы, ощутили чистоту любви, прелесть семейной жизни и готовы променять все низменные, жесткие расчеты торгаша на ласковое слово, на бескорыстную жажду любить и оберегать ее; представьте ко всему этому в придачу, что каждый раз, когда вам выпадает счастье держать нежную ручку Мэри в своей руке, она трепещет, словно маленькая теплая птичка, вынутая из гнезда; представьте, что вы заметили, как она убегает, едва вы входите в комнату, но если вы ее уже увидели, — встречает вас самой лучезарной улыбкой, какая только может озарить прекрасное невинное лицо, и отводит глаза лишь потому, что взгляд их слишком красноречив; одним словом, представьте, что ваша Мэри не холодна, а робка, не суетна, а впечатлительна, не вздорна, а чувствительна, не пуста, а невинна, не жеманна, а чиста; представьте все это и скажите: отказались бы вы от нее ради богатого приданого другой женщины?

Мистер Йорк приподнял шляпу и отер платком лоб.

— Вот и луна, — заметил он не очень впопад, указывая хлыстом через болото. — Видишь, выходит из тумана и глядит на нас, словно кровавое вражье око. Если эта луна серебряная, ну тогда, значит, брови Хелстоуна черны, как уголь. И чего это она так повисла над Рашеджем и смотрит на нас так хмуро и грозно?

— Йорк, ответьте: если бы Мэри любила вас молчаливо и преданно, пылко и целомудренно, — как вы хотели бы, чтобы вас любила жена, — вы бы покинули Мэри?

— Роберт! — вскричал Йорк. Он поднял руку, но удержался и, помолчав, проговорил: — Слушай, Роберт, мир странно устроен, а люди состоят из еще более странных элементов, чем первородный хаос. Я могу поклясться во весь голос, — так громко, что все браконьеры вообразят, будто на Билберрийском болоте раскричалась выпь, — я готов поклясться, что в таком случае только смерть разлучила бы меня с Мэри. Но я прожил на свете пятьдесят пять лет, я хорошо изучил людей и должен открыть тебе горькую правду: думаю, что, если бы Мэри любила, а не оскорбляла меня, если бы я был уверен в ее чувствах, в ее постоянстве, если бы сомнения не терзали меня, если бы я не терпел от нее унижений, — тогда... — Он тяжело уронил руку опять на седло. — Думаю, что тогда я бы, наверное, покинул Мэри!

Некоторое время они молча ехали рядом. Рашедж остался позади, над пурпурным краем пустоши замелькали уже огоньки Брайерфилда. Роберт, у которого по молодости лет было меньше воспоминаний, чем у его спутника, заговорил первым:

— Я думаю, — и с каждым днем убеждаюсь все больше, — что в этом мире нет ничего стоящего — ни принципов, ни убеждений, если только они не испытаны очистительным пламенем или не родились в укрепляющей борьбе с опасностями. Мы заблуждаемся, падаем, нас унижают, — зато после этого мы становимся осторожнее. Мы жадно вкушаем яд из позолоченной чаши порока или из нищенской суммы скупости, мы ослабеваем, опускаемся; все доброе в нас восстает против нас самих; душа горько сетует на слабость тела; бывают периоды настоящей внутренней войны, и если душа сильна, она побеждает и становится в человеке главным.

— Что ты теперь намерен делать? Какие у тебя планы, Роберт?

— О моих личных планах я не стану говорить, тем более что это нетрудно: сейчас у меня их нет. Человеку, когда он по уши в долгах, нечего и думать о личной жизни. Что касается деловой, общественной стороны, то здесь мои планы кое в чем изменились. В Бирмингеме я познакомился поближе с действительным положением вещей, присмотрелся, разобрался в причинах теперешних беспорядков. Тем же самым я был занят и в Лондоне. Меня никто не знал, и я мог ходить куда хотел, заводить знакомства с кем пожелаю. Я бывал там, где нет ни одежды, ни топлива, ни пропитания, я видел тех, кто живет без

работы и без надежд на будущее. Я видел людей от природы возвышенных и добрых среди ужасных лишений, в тисках отчаяния. Я видел других, более низменных лишенных воспитания; у них нет ничего, кроме животных инстинктов, и, не в силах удовлетворить их, они походят на измученных жаждой, изголодавшихся зверей. Все это послужило уроком моему разуму и моей душе. Я не собираюсь проповедовать снисходительность и сентиментальность, — в этом я не изменился и смотрю на тщеславие и строптивость по-прежнему. Если придется, я снова буду сражаться с толпами бунтовщиков и снова преследовать их беглых главарей с тем же упорством, пока они не понесут заслуженного наказания. Но теперь я буду это делать не столько ради себя, сколько ради спасения тех, кого они обманывают. Надо смотреть на вещи шире, Йорк. Есть кое-что поважнее личной выгоды, поважнее осуществления своих планов, поважнее даже позорных долгов. Для того чтобы уважать самого себя, человек должен знать, что он приносит пользу ближним. Если отныне я не стану снисходительнее к невежеству и бедам людей, я буду презирать самого себя за жестокую несправедливость. Ну что ты? — спросил он, обращаясь к коню, который услышал журчание воды и свернул с дороги к ручью, сверкающему при лунном свете, как хрусталь.

— Поезжайте, Йорк! — крикнул Мур. — Я должен напоить коня.

Йорк медленно поехал вперед, пытаясь различить среди уже близких огоньков окна Брайермейнса. Стилброская пустошь осталась позади, по сторонам дороги теперь шли ряды насаждений, сбегавших с холмов. Внизу была густонаселенная долина; они уже почти добрались до дома.

Пустошь кончилась, поэтому мистер Йорк без всякого удивления заметил за стеной чью-то шляпу и услышал голос. Однако слова, которые произнес незнакомец, могли бы удивить хоть кого.

— Когда злодей погибнет, раздастся вопль, — проговорил он. — Когда вихрь промчится, грешника не станет. — И глухо добавил: — Да примут его адские воды, да предстанет перед ним сам сатана. Пусть умрет в неведении!

Яркая вспышка и сухой треск разорвали тишину ночи. Еще не успев обернуться, Йорк понял, что четверо осужденных в Бирмингеме отомщены.

## ГЛАВА XXXI

### Дядюшка и племянница

Жребий был брошен. Это понял сэр Филипп Наннли, это знала Шерли, это узнал мистер Симпсон. Дело решилось в тот вечер, когда все обитатели Филдхеда были приглашены к обеду в Наннли.

Несколько обстоятельств побудили баронета сделать решительный шаг. Он заметил, что мисс Килдар в тот вечер была задумчива и грустна. Эти новые черты в ее поведении польстили его слабой или, если угодно, поэтической натуре; в голове его сам собой начал складываться новый сонет, но пока он над ним размышлял, сестра сэра Филиппа упросила даму его сердца сесть за фортепьяно и пропеть балладу его собственного сочинения. Шерли выбрала самую простую и самую искреннюю, — несомненно, лучшую из всех его многочисленных баллад.

Случилось так, что всего за минуту до этого, может быть, как раз в тот момент, когда «professeur Louis» смотрел из окошка дубовой гостиной, Шерли тоже взглянула в окно. Она увидела бурную лунную ночь, увидела, как сражаются с ветром одинокие старые деревья в парке — развесистые, кряжистые дубы и смело устремленные ввысь могучие буки. До ее слуха доносился отдаленный шум леса, перед ее глазами мчались облака, луна то ярко сияла, то скрывалась за ними, и все эти видения и звуки так на нее подействовали, что она отошла от окна взволнованная и растроганная, чтобы не сказать потрясенная и вдохновенная.

Ее попросили спеть, и она запела. В балладе шла речь о любви, о любви вечной, непоколебимой в беде, незыблемой в несчастье, неустрашимой в нищете. Слова, сами по себе простые и нежные, были положены на красивый старинный мотив. При чтении эта баллада показалась бы слабоватой, но в хорошем исполнении она прозвучала прекрасно. Шерли спела ее хорошо. Она вдохнула в чувствительные строки нежность, в страстные — силу; голос ее в тот вечер был звучен, лицо — выразительно. Она всех поразила, а одного из присутствующих очаровала.

Встав из-за фортепьяно, Шерли подошла к камину и присела на козетку. Дамы стояли вокруг нее и молчали. Девицы Симпсон и девицы Наннли смотрели на мисс Килдар, как трусливые курицы на ибиса, или белую цаплю, или еще какую-нибудь диковинную птицу. С чего это она так пела? Они так никогда не певали! Пристойно ли петь с таким чувством, с таким своеобразием? В пансионах так не поют! Решительно все это слишком странно и необычно. А то, что странно, должно быть дурно, то, что необычно, должно быть непристойно. Шерли была осуждена.

Даже старая леди Наннли смотрела на Шерли из своего большого кресла у камина ледяными глазами, и взгляд ее говорил:

«Эта женщина — иной породы, нежели я и мои дочери. Она не годится в жены моему сыну».

Сын ее увидел этот взгляд и понял его значение. Он встревожился. То, к чему он так стремился, может от него ускользнуть, надо спешить!

Зала, в которой они сидели, была некогда картинной галереей. Отец сэра Филиппа, сэр Монктон Наннли, превратил галерею в гостиную, но она так и осталась сумрачной и необжитой. Глубокая ниша с окном, в которой помещался диван, стол и затейливый секретер, образовала в ней как бы комнату в комнате. Два человека вполне могли там укрыться, и никто бы их не услышал, если бы они не стали разговаривать слишком долго или слишком громко.

Сэр Филипп попросил своих сестер спеть дуэт; для девиц Симпсон тоже приискал какое-то занятие, а что касается старших дам, то они сами увлеклись беседой. К его удовольствию, Шерли поднялась, чтобы взглянуть на картины. Сэр Филипп тотчас вспомнил об одной из своих прабабушек, темноволосой красавице, похожей на южный цветок, и стал рассказывать о ней своей гостье.

Кое-какие вещи этой красавицы хранились в уже упомянутой нише. Когда Шерли зашла туда, чтобы разглядеть ее молитвенник и четки, лежавшие в инкрустированном шкафчике, сэр Филипп последовал за ней и, пока девицы Наннли визгливыми голосами выводили пребанальнейший дуэт, начисто лишенный чувства и смысла, торопливо шепнул мисс Килдар несколько фраз.

Сначала Шерли была настолько поражена, что можно было подумать, будто его шепот, как по волшебству, превратил ее в статую. Но уже в следующее мгновение она оправилась и что-то ответила ему.



Они разошлись. Мисс Килдар вернулась к камину и уселась на свое место; баронет посмотрел ей вслед, потом тоже подошел и встал рядом со своими сестрами. Лишь мистер Симпсон, вездесущий мистер Симпсон заметил эту сцену.

Сей джентльмен тотчас же сделал свои выводы. Будь он так же проницателен, как любопытен, и так же умен, как пронырлив, лицо сэра Филиппа открыло бы ему, что он ошибается. Однако с его ограниченным, поверхностным и легковесным характером он ничего не желал замечать и отправился домой гордый, как петух.

Мистер Симпсон был не из тех, кто умеет хранить тайны: что-нибудь узнав, он уже не мог удержаться от болтовни. На следующее утро он под каким-то предлогом призвал воспитателя своего сына и весьма напыщенно, с торжественной миной объявил ему, чтобы тот на всякий случай приготовился к отъезду, ибо, возможно, в ближайшие дни они вернутся к себе на юг. Важные дела, которые до сих пор удерживали его, то бишь мистера Симпсона, в Йоркшире, подходят к счастливому концу; его усилия, стоившие ему стольких трудов и волнений, наконец должны увенчаться успехом, и вскоре их семья обзаведется новым — и чрезвычайно высоким — родством.

— По-видимому, речь идет о сэре Филиппе Наннли? — спросил Луи Мур.

Вместо ответа мистер Симпсон взял понюшку табаку и разразился кудахтающим хихиканьем. Потом, вдруг вспомнив о своем достоинстве, умолк и предложил воспитателю заняться делом.

В продолжение следующих двух дней мистер Симпсон был кроток, как голубица, но беспокойство снедало его, и когда он ходил, то поступью напоминал скорее курицу, прыгающую по горячим углям. Он то и дело выглядывал в окно, прислушиваясь, не раздастся ли стук колес. Жена Синей Бороды не была и вполовину так любопытна, как мистер Симпсон. Он ждал, когда последует формальное предложение, когда его призовут для совета, когда пошлют за адвокатами и когда, наконец, приступят к обсуждению контракта и начнутся прочие восхитительные светские хлопоты обставленные с должной пышностью.

И вот письмо пришло. Мистер Симпсон собственноручно передал его мисс Килдар: он знал почерк и узнал печать баронета по гербу. Он не видел, как Шерли вскрыла письмо, потому что она сразу ушла с ним

в свою комнату, и не видел ответа, потому что она писала его у себя взаперти, и писала долго почти полдня! На его вопрос, дала ли она ответ, Шерли коротко сказала: «Да».

И снова ему пришлось ждать, ждать молча, не осмеливаясь ни о чем заговорить. Что-то в лице Шерли удерживало его от расспросов, что-то очень опасное, страшное и непонятное для мистера Симпсона, как надпись на стене на пиру Валтасара.<sup>[138]</sup> Несколько раз он порывался послать за своим пророком Даниилом, то бишь за Луи Муром, и попросить у него истолкования сей надписи, но его достоинство восставало против подобной фамильярности.

Кстати, сам пророк Даниил, видимо, был в затруднении и ломал себе голову над значением той же загадочной надписи. Он походил в те дни на студента, для которого грамматика — звук пустой, а словари — темный лес.

\* \* \*

Мистер Симпсон отправился к своему приятелю в Уолден Холл скоротать тоскливые часы ожидания. Вернулся он намного раньше, чем его ожидали, когда вся его семья и мисс Килдар еще сидели в дубовой гостиной. Мистер Симпсон обратился к племяннице и попросил ее пройти с ним в другую комнату для сугубо частного разговора.

Шерли поднялась, ни о чем не спрашивая и ничему не удивляясь.

— Хорошо, сэр! — сказала она тем решительным тоном, каким отвечают на сообщение о приезде зубного врача, который вырвет наконец коренной зуб, целый месяц причинявший вам адские муки. Положив шитье и наперсток на скамеечку в нише окна, она последовала за своим дядюшкой.

Когда мистер Симпсон закрыл двери, оба сели в кресла, стоявшие друг против друга на расстоянии нескольких шагов.

— Я был в Уолден Холле, — проговорил мистер Симпсон и многозначительно замолк.

Мисс Килдар с интересом рассматривала красивый ковер с бело-зеленым узором. Это сообщение не требовало никакого ответа, и она молчала.

— Я узнал, — медленно продолжал мистер Симпсон, — я узнал о некоторых обстоятельствах, которые меня поразили.

Подперев щеку указательным пальцем, Шерли ждала, пока он объяснит, что это за обстоятельства.

— Говорят, наннийское поместье заколочено и вся семья уехала. Еще говорят, что баронет... что баронет тоже уехал со своей матерью и сестрами.

— Вот как? — проговорила Шерли.

— Осмелюсь спросить, для вас эта новость так же неожиданна, как для меня?

— Нет, сэр.

— Но для вас это новость?

— Да сэр.

— Я хочу сказать... хочу вам сказать, — продолжал мистер Симпсон, ерзая в кресле и переходя от коротких и до сих пор довольно ясных фраз к своему обычному многословному, путаному и желчному стилю. — Я хочу, я желаю полного объяснения. Вы от меня так не отделяетесь, нет! Я, я требую, чтобы вы меня выслушали и... и чтобы все было по-моему. Вы должны ответить на мои вопросы. Я хочу ответов ясных и полных. Я с собой шутить не позволю!

Шерли молчала.

— Странно, поразительно, просто невероятно! Нет, это просто непостижимо! Я думал: все в порядке, — как же могло быть иначе? — и вдруг вся семья уехала!

— Я полагаю, сэр, они имели право уехать.

— Но сэр Филипп тоже уехал! — воскликнул мистер Симпсон, подчеркивая каждое слово.

Шерли подняла брови.

— Счастливого ему пути! — сказала она по-французски.

— Нет, так оставить дело нельзя, это надо тотчас исправить.

Мистер Симпсон придвинул свое кресло поближе, потом снова отодвинулся; вид у него был крайне обозленный и совершенно беспомощный.

— Полно, дядюшка, полно, успокойтесь, — с упреком сказала Шерли. — Если вы начнете сердиться и раздражаться, мы с вами ни о чем толком не договоримся. Спрашивайте меня: я так же хочу объясниться, как и вы, и обещаю отвечать только правду.

— Я хочу... я желаю знать, мисс Килдар, сделал вам сэр Филипп предложение или нет?

— Сделал.

— И вы признаетесь?..

— Признаюсь. Но прошу вас продолжать. Считайте, что этот вопрос мы выяснили.

— Когда он вам сделал предложение? В тот вечер, когда мы у них обедали?

— Достаточно, что он его сделал. Продолжайте.

— Это было в нише? В той зале, где была картинная галерея, которую сэр Монктон переделал в гостиную?

Ответа не последовало.

— Вы были там вдвоем, разглядывали шкафчик; я все видел, моя догадливость меня не обманула, она меня никогда не обманывает. Потом вы получили от него письмо. Что это за письмо? О чем?

— Это неважно.

— Так-то вы разговариваете со мной?

Шерли молчала, постукивая ногой по ковру.

— Вы сидите, молчите и дуетесь. Кто обещал мне говорить только правду?

— Сэр, до сих пор я говорила только правду. Спрашивайте еще.

— Я бы хотел взглянуть на это письмо.

— Вы его не увидите.

— Я должен его прочесть, и я его прочту. Я ваш опекун, сударыня!

— С тех пор как я достигла совершеннолетия, у меня нет опекуна.

— Неблагодарная! Я воспитывал вас, как родную дочь...

— Еще раз прошу вас, дядюшка, не отвлекайтесь. Будем хладнокровны. Я, со своей стороны, не собираюсь сердиться, но вы-то знаете, когда меня выведут из себя, я сама не помню, что говорю, и меня тогда трудно остановить. Послушайте! Вы спросили, сделал ли мне сэр Филипп предложение? Я вам ответила. Что еще вы хотите узнать?

— Я желаю знать, приняли вы его или отказали, — и я это узнаю.

— Разумеется, это вы должны знать. Я ему отказала.

— Отказала! Вы, вы, Шерли Килдар, отказали сэру Филиппу Наннли?

— Да, отказала.

Несчастный мистер Симпсон вскочил с кресла и сначала заметался, потом просто забегал по комнате.

— Вот оно! Вот как! Так и есть!

— Откровенно говоря, дядюшка, мне жаль, что это вас так огорчает.

Есть люди, с которыми ничего нельзя сделать уступками и уговорами. Вместо того чтобы смягчиться и примириться, они становятся назойливее и нахальнее. Мистер Симпсон был из их числа.

— Меня огорчает?! Что мне до этого? Какая мне от этого польза? Может быть, вы еще скажете, что я думаю о своей выгоде!

— Большинство людей всегда думает о той или иной выгоде.

— И это она говорит мне в глаза! Мне! Я... я был ей почти отцом, а она обвиняет меня в корысти!

— Я ничего не говорила о корысти.

— А теперь еще отговаривается! У вас нет никаких устоев.

— Дядя, вы меня утомляете! Позвольте мне уйти.

— Нет, вы не уйдете! Вы должны мне ответить. Каковы ваши намерения, мисс Килдар?

— В каком отношении?

— Я говорю о замужестве.

— Я намерена спокойно жить и делать только то, что мне хочется.

— «Только то, что хочется»! Такие слова в высшей степени неприличны!

— Мистер Симпсон, советую меня не оскорблять! Вы знаете, я этого терпеть не стану!

— Вы читаете по-французски. Ваш разум отравлен французскими романами. Вы вся пропитались французским легкомыслием.

— Вы вступаете на скользкий путь, берегитесь!

— Рано или поздно это кончится бесчестьем, я это давно предвидел.

— Вы хотите сказать, сэр, что нечто, связанное со мной, может кончиться бесчестьем?

— И кончится, непременно этим кончится! Вы сами сейчас говорили, что будете поступать, как вам вздумается. Вы не признаете ни правил поведения, ни границ.

— Полнейшая ерунда! И столь же грубая, сколь глупая.

— Вам нет дела до приличий! Скоро вы восстанете против благопристойности.

— Вы наскучили мне, дядюшка.

— Отвечайте, сударыня, отвечайте: почему вы отказали сэру Филиппу?

— Наконец-то хоть один разумный вопрос. Охотно отвечу. Сэр Филипп для меня слишком юн: я всегда смотрела на него как на мальчика. Все его родственники — особенно мать — были бы недовольны нашим браком. Эта женитьба поссорила бы его с родней. С точки зрения света я ему не ровня.

— И это все?

— У нас с ним разные взгляды.

— Полно! Такого любезного, уступчивого джентльмена не сыскать!

— Он весьма любезен, весьма достоин, он само совершенство, но он не может быть моим наставником ни в чем. Я не смогу дать ему счастья и не возьмусь за это ни за какие блага. Я никогда не приму руки, которая не в силах меня укрощать и сдерживать.

— А я думал, вам нравится делать что захочется. Вы противоречите самой себе.

— Если я дам обещание повиноваться, то лишь тогда, когда буду уверена, что смогу сдержать это обещание, а такому юнцу, как сэр Филипп, я не стану повиноваться. Да он и не сможет мне приказывать: мне придется самой направлять его и вести, а это занятие не в моем вкусе.

— Покорять, приказывать, управлять, — это вам не по вкусу?!

— С дядей — еще пожалуй, но не с мужем.

— В чем же разница?

— Кое-какая разница все-таки есть, это я знаю точно. Мужчина, который, став моим мужем, захочет жить со мной в мире и согласии, должен держать меня в руках, — это я тоже знаю достаточно хорошо.

— Желаю вам выйти замуж за настоящего тирана!

— С тираном я не останусь ни дня, ни часа: я взбунтуюсь, сбегу или его прогоню с позором!

— Просто голова идет кругом, так вы противоречивы!

— Я это заметила.

— Вы говорите, что сэр Филипп молод. Но ведь ему двадцать два года!

— Моему мужу должно быть тридцать, а по уму — сорок.

— Может быть, вы пойдете за какую-нибудь развалину? Тогда выбирайте седого или лысого старика!

— Нет, благодарю вас.

— Можете еще выбрать какого-нибудь влюбленного дурачка и пришить его к своей юбке.

— Я могла бы так поступить с мальчишкой, но это не по мне. Я же сказала, что мне нужен наставник, который внушал бы мне добрые чувства, делал бы меня лучше. Мне нужен человек, власти которого охотно подчинится мой строптивый нрав; муж, чья похвала вознаграждала бы меня, а порицание карало, повелитель, которого я не могла бы не любить, хотя, возможно, могла бы бояться.

— Что же мешало вам вести себя точно так же с сэром Филиппом? Он баронет: его знатность, богатство и связи не чета вашим. Если говорить о душе, то он — поэт; он пишет стихи, на что вы, позволю себе заметить, не способны при всем вашем уме.

— Но у него нет той силы, той власти, о которой я говорю, и ее не может заменить ни богатство, ни знатность, ни титул, ни стихотворство. Все это легковеснее пуха и нуждается в прочной основе. Будь он солиднее, рассудительнее, практичнее, я бы относилась к нему лучше.

— Вы с Генри всегда бредили поэзией; еще девочкой вы загорались от каждой строки.

— Ах, дядюшка, в этом мире нет и не будет ничего прекраснее и драгоценнее поэзии!

— Так, Бога ради, выходите замуж за поэта!

— Укажите мне его.

— Сэр Филипп.

— Какой же он поэт? Он такой же поэт, как и вы.

— Сударыня, вы уклоняетесь от ответа.

— Вы правы, я бы хотела изменить тему разговора и буду рада, если вы мне поможете. Нам незачем ссориться и выходить из себя.

— Выходить из себя, мисс Килдар? Интересно, кто же из нас выходит из себя?

— Я пока креплюсь.

— Вы хотите сказать, что я уже вышел из себя? Если так, то вы просто дерзкая девчонка!

— Видите, вы уже бранитесь.

— Вот именно! С вашим длинным языком вы даже Иова<sup>[139]</sup> выведете из терпения!

— Да, пожалуй.

— Прошу вас, без легкомысленных замечаний, мисс! Здесь нет ничего смешного. Я намерен разобраться в этом деле до конца, потому что здесь что-то не чисто, для меня это несомненно. Сейчас с неприличной для вашего пола и возраста откровенностью вы описывали человека, который, по-вашему, был бы вам подходящим мужем. Вы что, списали этот образец с натуры?

Шерли открыла было рот, но, вместо того чтобы ответить, вдруг густо покраснела. Эти признаки смущения вернули мистеру Симпсону всю его смелость и самоуверенность.

— Я требую ответа на мой вопрос! — проговорил он решительно.

— Это исторический образ, дядюшка, списанный со многих оригиналов.

— Со многих оригиналов? Боже правый!

— Я много раз влюблялась...

— Какой цинизм!

— ...в героев разных народов.

— Еще что скажете?

— В философов...

— Вы сошли с ума!

— Не трогайте колокольчик, дядюшка, вы испугаете тетю.

— Бедная ваша тетка — иметь такую племянницу!

— Однажды я влюбилась в Сократа.

— Уф! Хватит шуток, сударыня!

— Я восхищалась Фемистоклом, Леонидом, Эпаминондом...<sup>[140]</sup>

— Мисс Килдар!..

— Пропустим несколько веков. Вашингтон был некрасив, но мне он нравился. А теперь!..

— Ага! Что же теперь?

— Если забыть фантазии школьницы и обратиться к действительности...



— Вот-вот, к действительности! Сейчас вы откроете, что у вас на уме, сударыня.

— ...и признаться, перед каким алтарем я сейчас молюсь, какому идолу поклоняюсь в душе...

— Признавайтесь, только, пожалуйста, поскорее: время идти к столу, а исповедаться вам все равно придется!

— Да, я должна исповедаться: в моем сердце слишком много тайн, я должна их высказать. Жаль только, что вы мистер Симпсон, а не мистер Хелстоун: он бы отнесся ко мне с большим сочувствием.

— Сударыня, здесь важен здравый смысл и здравая осмотрительность, а не сочувствие, сантименты, чувствительность и тому подобное. Вы сказали, что любите мистера Хелстоуна?

— Это не совсем так, но довольно близко к истине. Они очень похожи.

— Я желаю знать имя! И все подробности!

— Они действительно очень похожи, и не только лицами: это пара соколов — оба суровы, прямы, решительны. Но мой герой сильнее, ум его глубок, как океанская пучина, терпение неистощимо, мощь непреоборима.

— Напыщенный вздор!

— Еще скажу, что временами он бывает безжалостен, как зубцы пилы, и угрюм, как голодный ворон.

— Мисс Килдар, этот человек живет в Брайерфилде? Отвечайте!

— Дядюшка, я как раз хотела сказать, — его имя уже трепетало у меня на кончике языка.

— Говори же, дитя мое!..

— Хорошо сказано, дядюшка: «Говори же, дитя мое!» Как в театре. Ну так вот: в Англии безбожно поносили этого человека, но когда-нибудь его встретят криками восторга. Однако он не возгордится от похвал, так же как не пугался яростных угроз.

— Я же говорил, что она сошла с ума! Так оно и есть.

— Мнение о нем будет меняться в нашей стране без конца, но он никогда не изменит своему долгу перед родиной. Полно, дядюшка, перестаньте горячиться, я сейчас скажу вам его имя.

— Говорите, а не то я...

— Слушайте! Его зовут Артур Уэллслей, лорд Веллингтон.

Мистер Симпсон в бешенстве вскочил, вылетел из комнаты, но тотчас вернулся и снова шлепнулся в свое кресло.

— Сударыня, вы должны мне сказать одно: можете ли вы с вашими убеждениями выйти за человека беднее вас и ниже вас?

— Ниже меня? Никогда!

— Значит, вы собираетесь выйти за бедняка? — взвизгнул мистер Симпсон.

— Кто вам дал право спрашивать меня об этом?

— Но я должен знать!

— Таким способом вы ничего не узнаете.

— Я не желаю, чтобы моя семья была опозорена.

— Желание здоровое, не отступайте от него.

— Но, сударыня, это зависит от вас!

— Нет, сэр, потому что я не из вашей семьи.

— Вы от нас отрекаетесь?

— Просто я не терплю деспотизма.

— За кого вы собираетесь выйти замуж? Отвечайте, мисс Килдар!

— Уж конечно, не за Сэма Уинна, потому что его я презираю, и не за сэра Филиппа, потому что его я могу только уважать.

— Кто же у вас на примете?

— Четыре отвергнутых жениха.

— Нет, такое упрямство поистине невозможно! На вас кто-то дурно влияет.

— Что вы хотите этим сказать? Есть слова, от которых у меня закипает кровь. «Дурно влияет»! Что это еще за старушечьи сплетни?

— Вы молодая, знатная леди...

— Я в тысячу раз лучше: я честная женщина и требую, чтобы со мной так и обращались.

— А знаете ли вы, — зашипел мистер Симпсон, весь побелев и с таинственным видом придвигаясь к Шерли, — известно ли вам, что все соседи в округе судачат о вас и вашем обанкротившемся арендаторе, об этом иностранце Муре?

— В самом деле?

— Да, ваше имя у всех на устах.

— Что ж, оно делает честь устам, которые его произносят, и я буду рада, если оно их облагородит.

— Неужели это он на вас влияет?

— Во всяком случае, скорее он, чем все, кого вы расхваливали.

— И это за него вы собираетесь замуж?

— А что? Он хорош собой, мужественен, властен.

— И вы говорите это мне в глаза? О каком-то фламандском проходимце, о низком торгаше?

— Он талантлив, предприимчив, решителен. У него государственный ум и осанка повелителя.

— И она открыто его восхваляет! Без страха и без стыда!

— Имя Мура только так и можно произносить — без стыда и без страха, потому что Муры честны и мужественны.

— Она сумасшедшая, я же говорил.

— Вы мне досаждали, пока я не вспылила, терзали меня, пока не вывели из себя.

— Этот Мур — братец воспитателя моего сына. Неужели вы позволите какому-то репетитору называть вас сестрой?

Глаза Шерли, обращенные на мистера Симпсона, сверкнули и засияли.

— О нет, ни за что! — воскликнула она. — Даже если мне предложат королевство или еще сто лет жизни, — этому не бывать.

— Но вы не сможете отделить мужа от его семьи!

— Что ж из этого?

— Значит, мистер Луи Мур будет вашим братом!

— Мистер Симпсон!.. Мне до смерти надоел весь этот вздор, я больше не хочу его слышать. Мы с вами по-разному мыслим, у нас разные цели, и мы поклоняемся разным богам. Одно и то же мы видим с неодинаковых точек зрения и мерим неодинаковыми мерками. Похоже, что мы вообще говорим на разных языках. Давайте лучше расстанемся. Я говорю это не потому, что вы мне ненавистны, — продолжала она со все возрастающим волнением. — По-своему вы человек неплохой и, может быть, искренно желаете мне добра. Но мы никогда не поймем друг друга, мы всегда будем говорить о разных вещах. Вы досаждаете мне всякими пустяками, выводите из себя мелочной тиранией, бесите придирками. Что же до ваших ничтожных принципов, ограниченных правил, жалких предрассудков, предубеждений и догматов, — оставьте их при себе, мистер Симпсон! Ступайте и принесите их божеству, которому поклоняетесь. Мне они

не нужны, и я не хочу о них даже знать. Мне сияет иной свет, у меня иная вера, иная надежда, иная религия.

— Иная религия? Значит, она еще и не христианка!

— Да, у меня иная религия, я не верю в вашего Бога.

— Не верить в Бога?!

— Ваш Бог, сэр, — это светское общество, так называемый свет. Для меня вы тоже не христианин, а идолопоклонник. Я полагаю, вы поклоняетесь идолам по своему невежеству; во всяком случае вы слишком суеверны. Ваш Бог, сэр, ваш великий Ваал, ваш Дагон с рыбьим хвостом предстает передо мной, как злой демон. Вы и вам подобные возвели его на трон, увенчали короной, вручили ему скипетр. Но смотрите, как отвратительно он управляет миром! Его любимое занятие — устраивать браки! Он связывает юность с дряхлостью, силу с ничтожеством. Он воскрешает вновь все извращенные жестокости Мезенция<sup>[141]</sup> и соединяет мертвецов с живыми. В его царстве властвует ненависть — затаенная ненависть; отвращение — скрытое отвращение; измены — семейные измены; порок — глубокий, смертельный, домашний порок. В его владениях у родителей, которые никогда не любили, растут никого не любящие дети: со дня рождения они пьют желчь разочарования и дышат воздухом, душным от лжи. Ваш Бог устраивает браки королей, — взгляните же на ваши королевские династии! Ваше божество — это божество заморских аристократов; но попробуйте разобраться в голубой крови испанских монархов! Ваш Бог — это французский Гименей; но что такое семейная жизнь французов? Все, что окружает вашего идола, обречено на гибель, все вырождается и мельчает под его властью. Ваш Бог — это замаскированная Смерть!

— Какие ужасные слова! Вы не должны больше общаться с моими дочерьми, мисс Килдар: подобная близость для них опасна... Знай я раньше... Но я думал, вы просто сумасбродны... Никогда бы не поверил...

— Зато теперь, сэр, надеюсь, вы уяснили, что вам заботиться о моей судьбе бесполезно? Чем больше вы стараетесь, тем хуже: вы сеете ветер, но пожнете бурю. Я смету паутину ваших замыслов, чтобы она мне не мешала. Решение мое твердо, и вы не сможете его поколебать. Свою руку я отдам лишь тогда, когда мне прикажет сердце и совесть, — и только они. Поймите это наконец!

Мистер Симпсон был озадачен.

— В жизни ничего подобного не слыхивал! — бормотал он. — Со мной никто не осмеливался так говорить. Никто и никогда... В жизни...

— Вы совсем запутались, сэр. Лучше вам уйти. Или мне.

Он поспешно встал.

— Надо немедленно уезжать. Прочь из этого дома! Мы сегодня же уедем.

— Не торопите тетю и кузин, дайте им немного времени.

— Нет, довольно разговоров. Она просто не в себе!

Он дошел до двери, вернулся за своим платком, уронил табакерку, высыпав все ее содержимое на ковер, споткнулся и чуть не упал на Варвара, который лежал поперек дорожки. Доведенный до предела, мистер Симпсон в отчаянии послал к черту доброго пса, наградил нелестным эпитетом его хозяйку и выскочил из комнаты.

— Бедный мистер Симпсон! — проговорила Шерли про себя. — Оказывается, он не только слаб, но и груб... Ах, как я устала! — прибавила она. — Голова болит...

Она приклонила голову на подушку и незаметно для себя задремала.

Человек, который вошел в комнату четверть часа спустя, увидел, что она спит глубоким сном. После всяких тревог и неприятностей Шерли всегда прибегала к этому природному лекарству, и сон тотчас приходил на ее зов.

Вошедший постоял над нею, потом позвал:

— Мисс Килдар!

Возможно, голос его совпал с каким-то сновидением, потому что Шерли не испугалась и даже не совсем проснулась; не открывая глаз, она лишь слегка повернула голову, так что теперь стала видна ее щека, прежде закрытая рукой. Лицо у нее было розовое, счастливое и на губах бродила легкая улыбка, но длинные ресницы были влажны: то ли она поплакала во сне, то ли еще до того, как заснула, уронила несколько слезинок, вызванных обидными словами мистера Симпсона. Ни один мужчина, а тем более женщина, как бы сильны они ни были, не в состоянии спокойно выносить несправедливость. Клевета или унижительные слова иной раз больно ранят беззащитную душу, даже

если их слышишь из уст глупца. Шерли походила на ребенка, которого наказали за шалости, но теперь простили и уложили спать.

— Мисс Килдар! — снова послышался голос.

На этот раз он разбудил Шерли. Она открыла глаза и увидела возле себя Луи Мура. Впрочем, не совсем возле — он стоял в двух-трех шагах от нее.

— О мистер Мур, — проговорила она. — Я уж испугалась, что это снова мой дядюшка: мы с ним поссорились.

— Мистер Симпсон мог бы оставить вас в покое, — последовал ответ. Разве он не видит, что вы еще не совсем окрепли?

— Слабенькой я ему не показалась, уверяю вас. Во всяком случае, при нем я не плакала.

— Он говорит, что собирается покинуть Филдхед. Сейчас он дает распоряжения своим домашним. Он заходил в классную комнату и разговаривал тем же тоном, которым, видимо, говорил и с вами. Наверное, он вас замучил...

— Вы с Генри тоже уезжаете?

— Его едва можно понять, но я полагаю, что это относится и к Генри. Впрочем, завтра все может измениться: сейчас он в таком состоянии, что его решимости вряд ли хватит более чем на два жала. Он еще может прожить здесь не одну неделю. Мне он тоже сказал что-то непонятное, — об этом надо будет еще подумать на досуге. Когда он вошел, я как раз читал записку, полученную от мистера Йорка, и у меня не было времени разговаривать, — пришлось его оборвать. Он в бешенстве, но мне не до него. Вот записка, взгляните. Она касается моего брата Роберта.

Луи Мур внимательно посмотрел на Шерли.

— Рада слышать, что от него есть вести. Он скоро вернется?

— Он вернулся, он уже в Йоркшире. Мистер Йорк ездил вчера в Стилбро его встречать.

— Мистер Мур... что-нибудь случилось?

— Разве мой голос дрожит? Сейчас он в Брайермейнсе, и я еду к нему.

— Что произошло?

— Вы бледнеете, — я уже сожалею, что заговорил об этом. Не бойтесь, могло быть и хуже. Роберт жив, но опасно ранен.

— О Боже! Вы сами побледнели! Сядьте рядом со мной.

— Прочтите записку. Позвольте, я разверну...

Мисс Килдар прочитала записку; в ней Йорк коротко извещал о том, что прошлой ночью Роберт Мур был ранен выстрелом в спину из-за стены Милденского сада у подножья холма Броу. Рана тяжелая, но есть надежда, что не смертельная. Что касается убийцы или убийц, о них ничего не известно — они скрылись.

«Несомненно, это была месть, — писал мистер Йорк. — Жаль, что он возбудил такую ненависть, но теперь жалеть поздно».

— Он мой единственный брат, — сказал Луи, когда Шерли вернула ему записку. — Я не могу спокойно слышать, что какие-то мерзавцы подстерегли его в засаде, как дикого зверя, и выстрелили ему в спину из-за угла.

— Успокойтесь, не теряйте надежды. Он поправится, я знаю, он выздоровеет.

Стараясь утешить его, Шерли легким, почти неощутимым жестом коснулась руки Луи Мура, лежавшей на подлокотнике кресла.

— Дайте мне вашу руку, — сказал он. — Это будет в первый раз, в минуту тяжкого горя.

И, не дожидаясь ни согласия, ни отказа, он взял руку Шерли.

— Я сейчас отправляюсь в Брайермейнс, — продолжал он. — А вас я попрошу сходить к Хелстоунам и известить обо всем Каролину. Будет лучше, если она узнает это от вас. Вы пойдете?

— Сейчас же! — с готовностью ответила Шерли. — Сказать ей, что опасности нет?

— Да, скажите.

— Надеюсь, вы скоро вернетесь с новостями.

— Я либо вернусь, либо напишу.

— Доверьте мне Каролину. С вашей сестрой я тоже поговорю. Впрочем, она, наверное, уже возле Роберта?

— Наверное. Или скоро там будет. А теперь прощайте.

— Что бы ни случилось, вы выдержите, я верю.

— Будущее покажет.

Настал миг, когда Шерли пришлось высвободить свои пальчики из руки воспитателя, а тому выпустить эту маленькую ручку, которая целиком умещалась и пряталась в его ладони.

«Я-то думал, что мне придется ее утешать, — размышлял Луи Мур по дороге в Брайермейнс. — А она сама ободряет меня. Этот

сочувственный взгляд, это нежное прикосновение! Легче самого легкого пуха, целительнее любого бальзама. Оно было свежее снежинки и пронизывало дрожью, как удар молнии. Тысячу раз мечтал я сжать эту руку, поддержать ее в своей и вот завладел ею на пять минут. Но теперь наши пальцы уже знакомы, — встретившись однажды, они обязательно встретятся вновь».



## ГЛАВА XXXII

### Школьник и лесная нимфа

Брайермейнс был гораздо ближе, чем лощина, поэтому мистер Йорк доставил Роберта Мура к себе. Он уложил своего юного друга на лучшую в доме кровать, хлопоча над ним, как над родным сыном. Вид крови, струившейся из предательской раны, пробудил в сердце йоркширского джентльмена самые настоящие отцовские чувства; это страшное происшествие, когда Роберт вдруг очутился перед ним в пыли поперек дороги, беспомощный, мертвенно-бледный вызвало самое искреннее участие Йорка.

Вокруг никого не было, никто не помогал Йорку поднимать раненого, никто его не утешал, никто не подавал советов, — ему пришлось все делать самому. Полная беспомощность истекающего кровью юноши, — для него Роберт Мур был все еще юношей, — полная зависимость раненого от его доброты пробудили все лучшее в душе Йорка. Он любил власть, умел ею пользоваться, и вот теперь, когда в его власти оказалась человеческая жизнь, Йорк был в своей стихии.

Не подвела и его мрачная подруга жизни: такого рода происшествия вполне соответствовали ее способностям и вкусам. Иная женщина была бы вне себя от ужаса, если бы к ней в дом среди ночи принесли и уложили окровавленного человека. Тут было более чем достаточно причин для истерики. Однако миссис Йорк скорее устроила бы истерику по поводу того, что Джесси не идет из сада и не садится за вязанье, или, скажем, из-за того, что Мартин собирается бежать в Австралию, чтобы там обрести свободу и избавиться от тирании своего брата Мэттью. Но покушение на убийство у ее порога, полумертвый человек в ее лучшей постели, — это лишь придало ей силы, укрепило душу и превратило ее чепец в шлем, а ее самое — в воительницу.

Миссис Йорк принадлежала к числу тех дам, которые способны отравить придирками жизнь какой-нибудь служанке и в то же время могут героически ухаживать за целым лазаретом зачумленных. Сейчас она почти любила Мура: ее черствое сердце почти смягчилось, когда

его доверили ее заботам, отдали ей в руки беспомощного, словно ее собственный новорожденный в колыбельке. Если бы кто-нибудь из служанок или даже ее дочерей осмелился подать ему воды или поправить подушку, миссис Йорк отхлестала бы непрошеную помощницу по щекам. Для начала же она изгнала Розу и Джесси с верхнего этажа, а служанкам запретила показывать туда нос.

Если бы все это произошло у ворот дома Хелстоуна и тот поместил раненого у себя, ни мистер Йорк, ни его жена даже не посочувствовали бы Муру и сказали бы, что он получил по заслугам за свою жестокость и нетерпимость. Но сейчас оба хлопотали над ним и оберегали его как зеницу ока.

Просто удивительно, как еще миссис Йорк пустила к раненому Луи Мура! Ему позволили присесть на край постели, склониться над изголовьем, пожать руку брата и даже запечатлеть на его бледном лбу братский поцелуй! Миссис Йорк все это перенесла и с тех пор позволяла Луи Муру оставаться в ее доме большую часть дня, а однажды разрешила ему провести с братом целую ночь.

В то сырое ноябрьское утро она поднялась в пять часов, своими руками развела огонь в плите, приготовила братьям завтрак и сама его подала. Величественно закутавшись в широченный фланелевый капот, в шали и в ночном чепчике, она сидела и благосклонно смотрела на братьев, словно наседка на своих клюющих цыплят. И, однако, в тот же день миссис Йорк пригрозила выгнать кухарку, когда та осмелилась сварить и подать мистеру Муру тарелку саговой каши, и разбранила служанку за то, что, когда Луи Мур собирался домой, та вынесла ему из кухни его сюртук и дерзко помогла его надеть, получив в благодарность улыбку, ласковое «спасибо, милая» и шиллинг.

На другой день появились две бледные, встревоженные дамы, униженно и настойчиво упрашивая впустить их на минутку к мистеру Муру. Миссис Йорк осталась глуха к их мольбам и отослала обеих прочь, не упустив случая высказать им все, что она о них думает.

Как же она встретила Гортензию Мур? Не так уж плохо, — можно было ожидать и худшего. Похоже было, что все семейство Муров пришлось миссис Йорк по душе, как никакое другое. У нее с Гортензией нашлась неистощимая тема для разговоров — о порочных наклонностях прислуги. У обеих оказались на этот предмет сходные взгляды: и та и другая смотрели на слуг с одинаковой

подозрительностью и судили их одинаково строго. Кроме того, Гортензия с самого начала не выказывала никакой ревности к миссис Йорк и ее заботам о Роберте. Она уступила ей обязанности сиделки и почти не вмешивалась, а себе нашла занятие в бесконечной беготне по дому, в надзоре за кухней, в ябедах на служанок, — короче, без работы она не сидела. Что касается посетителей, то обе с одинаковой решительностью не пускали их к больному. Они держали молодого фабриканта буквально взаперти, едва позволяя, чтобы в его темницу проникал свежий воздух и солнечный свет.

Мистер Мак-Тёрк, хирург, которому доверили Мура, нашел его рану опасной, но не безнадежной. Сначала он хотел приставить к нему сиделку по своему выбору, однако ни Гортензия, ни миссис Йорк об этом и слышать не желали. Они обещали неукоснительно выполнять все распоряжения врача, и тому пришлось временно покориться.

Разумеется, обе старались как могли, однако этого оказалось недостаточно: однажды повязки сползли и раненый потерял много крови. Срочно вызванный Мак-Тёрк примчался, едва не загнав коня. Он был из тех хирургов, раздражать которых опасно: он и в хорошем настроении бывал резок, а в дурном просто груб. Увидев, в каком состоянии находится Мур, он выразил свои чувства в короткой цветистой речи, привести которую мы не имеем возможности. Два-три отборнейших цветочка из этого букета достались невозмутимому мистеру Грейвсу, стойкому юному помощнику, обычно сопровождавшему Мак-Тёрка в его поездках; следующий веночек украсил голову другого оказавшегося под рукой юного джентльмена, — забавной копии самого хирурга, — это был его сын; однако настоящий дождь цветов посыпался на лезущих не в свои дела представительниц слабого пола вообще и в частности.

Хирург и его помощники провозились с Муром большую часть долгой зимней ночи. Запершись в комнате раненого, они хлопотали, волновались и спорили над его измученным телом. Они втроем стояли по одну сторону кровати, а по другую ждала Смерть. Схватка была жаркой; она длилась до рассвета, но и тогда ни одна из сторон еще не могла торжествовать победу: силы оказались равными.

На заре, оставив пациента под наблюдением Грейвса и Мак-Тёрка-младшего, старший Мак-Тёрк отправился за подкреплением и вскоре обрел его в лице миссис Хорсфолл, лучшей своей сиделки. Ее

заботам он поручил Мура, строжайше предупредив почтенную даму об ответственности, которая возлагается на ее плечи. Эту ответственность миссис Хорсфолл взяла на себя с тупой невозмутимостью, так же просто, как кресло, в котором и расположилась у изголовья раненого.

С этой минуты началось ее царствование.

У миссис Хорсфолл было одно достоинство: указаниям Мак-Тёрка она следовала неукоснительно, они для нее были священнее Десяти заповедей. Во всех других отношениях это была не женщина, а дракон. Гортензия Мур при ней совершенно стушеввалась; миссис Йорк, подавленная, отступила, — и это несмотря на высокое мнение обеих дам о самих себе и на известный вес, какой они имели в глазах окружающих! Вконец перепуганные толщиной, массивностью, ростом и силой миссис Хорсфолл, они покинули поле боя и укрылись в малой гостиной. Сиделка же, со своей стороны, когда хотела, располагалась наверху, а когда не хотела — внизу, выпивала в день по три рюмки и выкуривала по четыре трубки.

О Муре теперь никто не смел даже осведомляться. Миссис Хорсфолл была его сиделкой, ее приставили, чтобы она за ним ухаживала, но кое-кто опасался, что она его действительно ухаживает.

Мак-Тёрк приезжал к раненому каждое утро и каждый вечер. Этот случай, в связи с возникшими осложнениями, приобрел в глазах хирурга профессиональный интерес. Он смотрел на Мура, как на испорченный часовой механизм, который необходимо исправить и снова пустить в ход, — прекрасный повод показать свое искусство! Что касается Грейвса и Мак-Тёрка-младшего — единственных посетителей Мура, помимо врача, то они относились к раненому как к будущему объекту исследований в морге стилброской больницы.

Веселое это было время для Роберта Мура! Измученный болью, постоянно под угрозой смерти, слишком слабый, чтобы пошевелинуться, и не в силах даже говорить, он видел возле себя только сиделку, похожую на великаншу, да трех врачей. Так он пролежал весь ужасный ноябрь с его все более короткими днями и все более длинными ночами.

В начале своего заключения Мур еще пытался слабо сопротивляться миссис Хорсфолл. Ему была противна ее массивная туша и неприятны прикосновения грубых рук, но она его живо утихомирила и научила послушанию. Не обращая внимания на его

шестифутовый рост, вес и мускулы, она переворачивала раненого в постели, как младенца в люльке. Когда он бывал послушен, она называла его «душенькой» и «голубчиком», а когда упрямился — могла и встряхнуть. Если Мур пытался заговорить с Мак-Тёрком, она предостерегающе поднимала руку и шикала на раненого, как нянька шикает на непослушного ребенка. Про себя он думал, что все было бы много терпимее, если бы его сиделка не курила и не пила джин, но она делала и то и другое. Однажды в ее отсутствие Мур намекнул хирургу, что эта женщина «пьет, как гусар».

— Пустяки, дорогой сэр, все они таковы! — рассмеялся Мак-Тёрк в ответ на его жалобы. — Зато у Хорсфолл есть большое достоинство, — прибавил он. Пьяная или трезвая, она никогда не забывает исполнить то, что я ей велел.

\* \* \*

Наконец поздняя осень кончилась; дожди и туманы перестали рыдать и слезиться над Англией, завывающие ветры унеслись в далекие страны. Сразу за ноябрем началась настоящая зима — чистая, безмолвная и морозная.

Тихий день сменился ясным вечером. Все вокруг походило на северный полюс — свет и краски напоминали переливы белых, фиолетовых и бледно-зеленых драгоценных камней. Холмы были сиреневыми, заходящее солнце пурпурно-красным, небо — словно льдистая посеребренная лазурь. На нем высыпали звезды, тоже серебряные, а не золотые, и появились легкие облака, чуть голубоватые с прозеленью, прозрачные, чистые и холодные, — под стать всему зимнему пейзажу.

Но что это движется там среди облетевших деревьев, на которых уже не осталось ни зелени, ни бурой листвы? Что это за фигурка в темно-синем пробирается по серому лесу? Ну конечно же, это школьник, ученик брайерфилдской школы! Отстав от своих товарищей, которые бегут домой по проезжей дороге, он ищет знакомое ему дерево на мшистом холмике, где так удобно сидеть. Но зачем ему тут сидеть? Вечер холодный, и уже темнеет. Все же он садится. О чем он думает? Может быть, в этот вечер перед ним вдруг

предстало целомудренное очарование природы? Жемчужно-белая луна улыбается ему сквозь серые ветви деревьев, — может быть, он околдован ее улыбкой?

Трудно ответить на эти вопросы. Школьник молчит, по виду его ни о чем не узнаешь: вместо того чтобы быть зеркалом души, лицо его сейчас скорее походит на маску, скрывающую все мысли и чувства. Подростку лет пятнадцать. Он худ, не по летам высок, лицо его не очень привлекательно, зато в нем нет ничего рабского, ничего приниженного; кажется, он только и ждет малейшего намека на попытку притеснить его или подавить его волю, чтобы тут же восстать. Весь облик его дышит строптивостью и упрямством. Умные учителя стараются не задевать такого ученика без нужды. Суровость с ним ни к чему не приводит, а лесть может только ухудшить дело. Лучше оставить его в покое. Только время его воспитает, только жизнь даст ему опыт.

По совести говоря, Мартин Йорк, — это был, разумеется, он, — презирал поэзию. Попробуйте заговорить с ним о чувствах, и тотчас услышите в ответ язвительную насмешку. Но вот он сидит здесь в одиночестве и смотрит не отрываясь, как природа перелистывает перед его внимательными глазами страницы суровой, безмолвной и возвышенной поэзии.

Посидев, он вынимает из сумки книгу. Это отнюдь не латинская грамматика, а томик запретных волшебных сказок. Еще с час будет достаточно светло для его зорких юных глаз; кроме того, ему помогает луна: ее рассеянный неяркий свет заливают просеку, где он сидит.

Мартин читает. Воображение переносит его в горы. Все вокруг сурово, пустынно, бесформенно и почти бесцветно. Ветер доносит до него звон колоколов, и он видит сквозь сгущающийся туман, как навстречу ему спускается видение — дама в зеленом платье на белоснежном коне. Он видит ее наряд, ее драгоценности, ее гордого скакуна. Она говорит ему какие-то таинственные слова, о чем-то спрашивает, и вот он уже околдован и должен следовать за ней в волшебную страну.

Вторая легенда переносит Мартина на берег моря. Грохочет прибой, волны кипят у подножья могучих утесов, льет дождь и бушует ветер. Далеко в море выдается гряда черных, оголенных скал. Над ними, за ними и между ними мечутся, выются и кружатся, взлетают и

оппадают, сталкиваются и сплетаются брызги и пена. Одиноким путник пробирается по скалам. Он осторожно ступает по мокрым водорослям, вглядывается в бездонные провалы, где под толщей изумрудной соленой влаги колышутся странные, дикие, непроходимые заросли, каких не найдешь на земле. Там, среди этих зарослей, лежит груда зеленых, пурпурных и жемчужных раковин. Вдруг слышится чей-то крик. Он поднимает глаза и видит впереди на самом краю гряды высокую бледную фигуру, похожую на человеческую, но всю свитую из водяных брызг, — прозрачный, трепетный и устрашающий призрак. Он не один! Теперь все волны, бьющиеся об утес, приобретают человеческий облик! Там целая толпа белых женщин из пены, целый хоровод туманных nereid... [\[142\]](#)

Чу! Кто это? Книга захлопывается и исчезает в сумке. Мартин слышит шаги. Он прислушивается: нет... да! Вот опять тихо зашелестел сухой лист на лесной тропе. Мартин ждет. И наконец из-за деревьев появляется женщина.

Она в темном зимнем платье, лицо ее скрыто вуалью. Мартин никогда еще не встречал таких женщин в этом лесу и вообще не видел здесь никаких женщин, если не считать деревенских девчонок, которые изредка приходят сюда за орехами. Но в этот вечер появление незнакомки его не рассердило. Когда она приблизилась, он разглядел, что она совсем не стара и не дурна, а скорее, наоборот, очень молода и даже красива под своей тонкой газовой вуалью, хотя раньше, — теперь Мартин ее узнал, — он частенько называл эту девушку дурнушкой.

Она прошла мимо, не сказав ни слова. Он так и знал! Все женщины спесивые обезьяны, а Каролина Хелстоун — самая высокомерная кривляка. Едва эта мысль промелькнула у него в голове, как девушка в черном, уже успевшая отойти на несколько шагов, вернулась, подняла вуаль и, взглянув на Мартина, ласково спросила:

— Вы не сын мистера Йорка?

Никто на свете не смог бы убедить Мартина Йорка в том, что при этом вопросе он залился румянцем, но в действительности он покраснел до слез.

— Да, — буркнул он, мучительно стараясь представить себе, что она спросит еще, чтобы хоть как-то побороть смущение.

— Наверное, вы Мартин? — продолжала Каролина.

Удачнее фразы она не смогла бы придумать. Замечание было самое простое, самое естественное, и проговорила она его немного робко, однако подростку именно это и понравилось, и слова ее прозвучали для него, как музыка.

Мартин был весьма самолюбив и принял как должное то, что Каролина не спутала его с братьями. Подобно отцу, Мартин терпеть не мог всяких церемоний, и ему было приятно, когда эта дама назвала его просто «Мартин», а не мистер Мартин или как-нибудь еще в этом роде. За такое церемонное обращение она бы навсегда утратила его благосклонность. Но еще хуже была бы снисходительная фамильярность, и потому едва заметная робость, короткое замешательство Каролины показались Мартину вполне уместными.

— Да, я Мартин, — подтвердил он.

— Как поживают ваши родители?

Хорошо, что она не сказала «папа» и «мама»! Это бы все испортило.

— Надеюсь, Роза и Джесси здоровы?

— Как будто здоровы.

— Моя кузина Гортензия все еще в Брайермейнсе?

— О да!

Мартин скорчил комическую полуулыбку и что-то пробормотал. Каролина улыбнулась ему в ответ, догадываясь, как смотрят на Гортензию молодые Йорки.

— Ваша мать с нею ладит?

— Еще бы! Во всем, что касается слуг, они так сошлись, что лучше некуда!

— Какой холодный вечер!

— А почему вы гуляете так поздно?

— Я заблудилась в этом лесу.

Наконец-то Мартину представилась возможность разразиться ироническим смехом.

— Заблудились в дремучем лесу Брайермейнса? Ну, теперь вам отсюда не выбраться!

— Я здесь раньше никогда не бывала. Кажется, я зашла в чужие владения. Если хотите, можете донести на меня, и меня оштрафуют: ведь это лес вашего отца!



— Я и сам это знаю, но раз уж вы настолько просты, что ухитрились заблудиться, так и быть — выведу вас на дорогу.

— Не беспокойтесь, я уже нашла тропинку. Думаю, что дойду одна. Скажите, Мартин, — продолжала Каролина чуть быстрее, чем раньше, — как здоровье мистера Мура?

Кое-какие слухи доходили до Мартина, и теперь ему вдруг пришло в голову, что забавно было бы их проверить.

— Умирает. Его уже ничто не спасет. Надежды нет.

Каролина отбросила вуаль. Глядя ему прямо в глаза, она повторила:

— Умирает!

— Да, умирает. И все из-за женщин, из-за моей мамы и прочих. Они что-то напутали с повязками, и это его доконало; если бы не они, он бы выздоровел. Я бы их всех арестовал, посадил бы в тюрьму, осудил и сослал куда-нибудь в Австралию, в Ботани-Бей или еще дальше...

На Каролина, видимо, не слышала его последних слов; она стояла неподвижно и безмолвно, потом так же молча двинулась дальше, ни о чем больше не спросив и даже не попрощавшись. Все это было вовсе не забавно и совсем не входило в расчеты Мартина; он ожидал чего-то драматического, поразительного, а ради такой неинтересной сцены не стоило и пугать бедную девушку.

— Мисс Хелстоун! — окликнул ее Мартин.

Она не услышала и не обернулась. Мартин поспешил ее догнать.

— Постойте! Вам неприятно то, что я сказал?

— Вы ничего не знаете о смерти, Мартин, вы слишком молоды, чтобы я могла говорить с вами о подобных вещах.

— И вы мне поверили? Ведь это все шутка! Мур ест за троих: ему едва успевают готовить саго, тапиоку и все прочее. Когда ни зайдешь на кухню, там всегда стоят на плите кастрюли с какими-нибудь лакомствами. Я даже сам собираюсь прикинуться раненым воином, чтобы меня тоже откармливали, как его.

— Мартин! Мартин!

Голос Каролины дрогнул, она приостановилась.

— Мартин, разве так можно? Вы меня чуть не убили!

Она снова остановилась и прислонилась к дереву, дрожащая и бледная как смерть.

Мартин смотрел на нее с невыразимым любопытством. С одной стороны, все это было, по его выражению, «чепухой»: он кое-что видел, кое-что понял и только начинал входить во вкус, раскрывая чужие тайны. С другой стороны, вид Каролины вызывал у него чувство, похожее на то, что он испытал однажды, когда услышал, как жалуется черный дрозд, оплакивая своих птенчиков, Мэттью убил их камнем. И чувство это было не из приятных.

Не зная, что сказать, Мартин начал придумывать, что бы ему сделать, лишь бы утешить Каролину. Вдруг он улыбнулся, и мальчишеская улыбка придала его лицу чудесную выразительность.

— Эврика! — воскликнул он. — Я все устрою. Вам лучше, мисс Каролина? Пойдемте, — заторопил он ее.

Не думая о том, что мисс Хелстоун не так просто продираться сквозь живые изгороди, как ему, Мартин повел ее напрямик через лес. Пришлось ему помогать Каролине преодолевать все эти ужасные препятствия. Мартин посмеивался над ее беспомощностью, но в то же время был чрезвычайно доволен, что может оказать ей услугу.

— Мартин, прежде чем мы расстанемся, скажите мне честно, дайте слово, что мистеру Муру лучше.

— Как вы тревожитесь об этом Муре!

— Нет... то есть... его друзья могут меня спросить, и мне хотелось бы точно знать, что им ответить.

— Можете им сказать, что он себя чувствует вполне хорошо, только очень обленился. Можете сказать, что на обед он ест бараньи котлеты, а на ужин мусс из лучшей питательной муки. Однажды я перехватил кастрюлю, когда ее несли наверх, и сам съел половину.

— А кто за ним следит, Мартин? Кто за ним ухаживает?

— Ухаживать за ним? Хорошо дитятко! Его нянюшка — старая ведьма — толще нашей сорокаведерной бочки и такая же обходительная. Я уверен, что она его держит в ежовых рукавицах: никого к нему не допускает, он сидит целый день впотьмах. Думаю, что ему от нее порядком достается. Иногда, когда я уже лежу в постели, мне кажется, я слышу, как она его там колотит. Видели бы вы ее кулаки! В одной ее руке уместится не меньше дюжины таких, как ваша. Так что, несмотря на все желе и котлеты, не хотел бы я быть в его шкуре. Впрочем, я думаю, она сама съедает большую часть. Надеюсь, она не уморит его голодом.

Каролина молчала, глубоко задумавшись. Мартин исподтишка наблюдал за ней.

— Наверное, вы его ни разу не видели, Мартин?

— Я? Ни разу. А зачем мне его видеть?

Опять последовало молчание.

— Это не вы приходили к нам недель пять назад вместе с миссис Прайор справляться о Муре? — спросил Мартин.

— Да.

— Вы, кажется, хотели пройти к нему наверх?

— Очень хотели. Мы просили пустить нас к нему, но ваша мать отказала нам.

— Разумеется, отказала. Да я все слышал. Она приняла вас так, как иногда любит принимать гостей: изругала и выпроводила.

— Она была недобра к нам. Вы ведь знаете, Мартин, мистер Мур — наш родственник, и вполне понятно, что мы о нем беспокоимся. Однако нам пора проститься. Вот ворота вашего дома.

— Что ж из того? Я провожу вас.

— Но вас хватятся и начнут тревожиться.

— Ну и пусть их!.. Полагаю, я сам могу о себе позаботиться.

Мартин знал, что уже заслужил нудную проповедь и сухой хлеб к чаю. Зато этот вечер окончился приключением, которое стоило всех булочек и пирожков.

Он довел Каролину до дома. По дороге он обещал ей повидать Мура, несмотря на дракона, охраняющего его комнату, и назначил Каролине час, когда она сможет увидеться с ним в Брайермейнском лесу, чтобы узнать последние новости. Он сказал, что будет ждать ее под тем же самым деревом, где они встречались. Предосторожности эти были излишни, но Мартину такая таинственность нравилась.

Возвратившись домой и получив неизбежный выговор с сухим хлебом на закуску, он был отправлен в постель, несмотря на ранний час. Все это Мартин перенес с непоколебимым стоицизмом.

Однако, прежде чем подняться к себе, он заглянул сначала в столовую холодную, тихую и мрачную комнату, которой почти никогда не пользовались: обычно вся семья обедала в малой гостиной. Мартин остановился перед камином и поднял свечу к двум висевшим над ним портретам. На них были изображены женские головки: одна —

безмятежной красоты, наивная и счастливая, другая еще прелестнее, но горестная и растерянная.

«Когда она всхлипнула, побледнела и прислонилась к дереву, она была похожа на эту, вторую», — проговорил про себя Мартин.

Уже у себя в комнате, сидя на краю узкой жесткой кровати, он продолжал:

«Наверное, она, как говорится, «влюблена» в эту длинную жердь, что лежит в соседней комнате. Ого! Неужели Хорсфолл его лупит? Интересно, почему он не кричит? Шум такой, словно она действительно терзает его зубами и когтями. Нет, скорее она просто стелит ему постель. Однажды я видел, как она это делает, она колотила матрас, точно боксер противника. Странно, что эта Зилла, — Боже, вот имечко: Зилла Хорсфолл! — странно, что эта Зилла такая же женщина, как Каролина Хелстоун. Они одной породы, но, по-моему, сходства между ними немного. Интересно, Каролина красивая девушка? Пожалуй; лицо у нее такое ясное, глаза ласковые, — когда она на меня смотрит, как-то приятно становится. У нее длинные ресницы: кажется, куда ни взглянет, всюду остается их тень, их покой, их ласка. Если она не переменится и будет со мной обходительна, как сегодня, я, пожалуй, сделаю для нее доброе дело. А для меня провести мою мамашу и эту старую ведьму Хорсфолл будет огромным удовольствием! Правда, я вовсе не хочу делать приятное Муру, но что бы я ни сделал, без награды я не останусь. А уж награду я выберу какую захочу. Я знаю, что потребовать: Муру это весьма не понравится, зато мне очень». С этими словами он улегся в постель.

## ГЛАВА XXXIII

### Мартин берется за дело

Для исполнения своего плана Мартину в этот день нужно было остаться дома. Поэтому уже за завтраком он ничего не стал есть; затем, когда нужно было идти в школу, начал жаловаться на сильную боль в боку возле сердца, и в результате, вместо того чтобы отправить его вместе с Марком в класс, родители позволили Мартину расположиться в отцовском кресле у камина и даже почитать утреннюю газету. Уловка вполне удалась: Марк пошел к мистеру Самнеру учить грамматику, Мэттью и мистер Йорк удалились в контору. Теперь оставалось совершить еще три, вернее — четыре подвига.

Первый подвиг состоял в том, чтобы вознаградить себя за пропущенный завтрак: аппетит пятнадцатилетнего юнца никак не мог примириться с такой потерей. Второй, третий и четвертый подвиги были потруднее: к четырем часам нужно было как-то избавиться от матери, от мисс Мур и, наконец, от миссис Хорсфолл. Для этого Мартину могли понадобиться все его силы, — а откуда их взять при пустом желудке? Значит, первое дело было самым насущным.

Мартин знал дорогу в кладовую и не преминул этой дорогой воспользоваться. Служанки сидели в кухне и степенно завтракали при закрытых дверях. Мать и мисс Мур прогуливались по лугу и строили о вышеупомянутых закрытых дверях всяческие предположения. Мартин в кладовой ничем не рисковал и мог придирчиво выбрать все, что ему вздумается.

Поскольку завтрак запоздал, Мартин решил, что он должен быть *recherché*.<sup>[143]</sup> Хлеб с молоком порядком ему надоели; сменить и улучшить обычное меню было бы весьма желательно, тем более что можно было совместить приятное с полезным. На полке над буфетом лежали рядом розовощекие яблоки, он выбрал себе три штуки. На блюде с пирогами Мартин отыскал слоеный пирожок с абрикосами и кусок торта со сливами. Обыкновенный домашний хлеб не задержал его внимания, зато на чайное печенье он взглянул вполне благосклонно и соизволил взять одно. С помощью своего складного ножа он завладел птичьим крылышком и ломтем ветчины. Кусочек холодного

яблочного пудинга, по мнению Мартина, весьма удачно завершал меню. Сделав это последнее дополнение к завтраку, Мартин наконец покинул кладовую и взял курс на дверь малой гостиной.

Он уже прошел полдороги, ему оставалось сделать всего три шага, и он бы спокойно стал на якорь в безопасной гавани, но тут наружная дверь отворилась, и на пороге появился Мэттью. Уж лучше бы это был сам черт с рогами, хвостом и копытами!

«Боль в боку возле сердца» с самого начала вызвала сомнение у недоверчивого и насмешливого Мэттью. Он еще тогда пробормотал несколько фраз, среди которых отчетливо слышались слова «бессовестный притворщик», а когда Мартин уселся в кресло и принялся за газеты, Мэттью едва не задохнулся от злости. Теперь он мог похвалить себя за проницательность: яблоки, пирожки, печенье, дичь, ветчина и пудинг говорили сами за себя.

На какое-то мгновение Мартин смешался. Но уже через секунду он знал, что ему делать, и приготовился к отпору. С прозорливостью истинно *ame élite*<sup>[144]</sup> Мартин сразу увидел, как обратить это досадное происшествие себе на пользу; теперь, если он не оплошает, ему удастся осуществить и вторую часть своего плана, то есть устранить на время миссис Йорк.

Мартин прекрасно знал, что каждая его стычка с Мэттью доводит их почтенную родительницу до истерики, и не менее хорошо знал, что за бурей обязательно последует затишье; если мать с утра устроит сцену, то затем она наверняка проведет весь день в постели. Это его вполне устраивало.

Схватка произошла тут же в прихожей. Ехидный смех, оскорбительная улыбка, обидные упреки, на которые последовал небрежный и весьма ядовитый ответ, были только прелюдией. Затем они бросились друг на друга, Мартин в таких случаях обычно старался не шуметь, но сейчас он сделал все возможное, чтобы переполошить весь дом. На крики сбегались служанки, миссис Йорк и мисс Мур, однако женщинам не удалось их разнять. Тогда послали за мистером Йорком.

— Вот что, дети, — сказал он. — Если это еще раз повторится, одному из вас придется покинуть мой дом. Я не желаю терпеть у себя в доме раздоров Каина с Авелем.

Только после этого Мартин позволил себя увести. Ему основательно досталось, — ведь он был моложе и слабее, но в душе Мартин был совершенно спокоен и ничуть не сердился. Он даже улыбался, радуясь, что самая трудная задача уже решена.

Все же в то утро было одно мгновение, когда Мартин заколебался. «Стоит ли беспокоиться из-за этой Каролины?» — подумал он. Однако четверть часа спустя он снова зашел в столовую, чтобы взглянуть на портрет девушки с распущенными волосами и глазами, полными отчаяния.

— Ладно! — проговорил он про себя. — Я заставил ее трепетать, плакать, едва не довел до обморока. Теперь я заставлю ее улыбнуться, а потом покончу с этим делом. К тому же мне очень хочется провести все это бабье!

Мартин оказался прав в своих расчетах: сразу же после обеда миссис Йорк удалилась к себе в комнату. Оставалась Гортензия Мур.

Почтенная леди устроилась поудобнее в малой гостиной и принялась штопать чулки. Мартин, который все еще представлялся больным и поэтому нежился на софе, как некий юный паша, отложил свою книгу и завел с мисс Мур ленивую беседу о ее служанке Саре. После долгих словесных маневров он как бы между прочим обмолвился, будто у этой девицы, по слухам, целых три ухажера Фредерик Мергатройд, Иеремия Пигхиллс и Джон Мэлли-Ханна-Деб — и будто мисс Мэнн уверяла, что теперь, когда Сара остается одна, она частенько приглашает своих вздыхателей и утешает их самыми вкусными вещами, какие только найдутся в доме.

Этого было вполне достаточно. Гортензия, не медля ни минуты, поспешила домой, чтобы застать негодницу служанку на месте преступления и лично во всем убедиться. Теперь нужно было еще избавиться от миссис Хорсфолл, и все.

Оставшись на поле боя один, Мартин спокойно вытащил из материнской рабочей шкатулки связку ключей, открыл боковое отделение буфета, извлек оттуда и поставил на стол черную бутылку и маленький стаканчик. После этого он проворно взбежал по лестнице к комнате Мура и постучал. Ему открыла сиделка.

— Не хотите ли спуститься в малую гостиную выпить чего-нибудь бодрящего? — проговорил Мартин. — Вам никто сейчас не помотает, наши все разошлись.

Он проследил, как она спустилась, как вошла в малую гостиную, и сам закрыл за ней дверь. Мартин знал, что больше о ней беспокоиться нечего.

Самое трудное было сделано, оставалось самое приятное. Мартин схватил свою фуражку и помчался в лес.

Было еще рано, всего половина четвертого, но день такой ясный с утра постепенно портился, небо темнело и наконец пошел снег. Дул холодный ветер, лес хмурился, старые деревья угрюмо шумели. Однако тени на тропе нравились Мартину, а в призрачных силуэтах дубов, обросших повиликой, он даже находил какое-то печальное очарование.

Ему пришлось ждать. Мартин расхаживал взад и вперед по тропе, снег валил все гуще, стоны ветра переходили в жалобное завывание.

— Что же она не идет? — пробормотал Мартин, глядя на узкую тропу. Впрочем, — заметил он, — почему, собственно, я ее так жду? Она ведь придет не ко мне! Ну и пусть! Зато сейчас она в моей власти, и я жду ее, чтобы этой властью воспользоваться.

Он продолжал расхаживать взад и вперед под дубом. Прошло еще несколько минут.

— Если она не придет, — снова заговорил Мартин, — я ее презираю и возненавижу!

Пробило четыре; Мартин услышал отдаленный бой церковных часов. Нетерпение его усиливалось. И тут он услышал шаги, такие быстрые и легкие, что различить их можно было только по шороху мерзлых листьев на лесной тропе. Ветер теперь бушевал вовсю, снегопад окутал лес белой мглой, но все же Каролина пришла, не испугалась.

— Ну что, Мартин, как его здоровье? — поспешно спросила она.

«И чего это она о нем так беспокоится? — подумал Мартин. — Даже странно! Снег слепит, холод как иголками колет, а ей словно все нипочем! Это ей-то, «хилому заморышу», как ее назвала бы моя мать! Эдак я, пожалуй, скоро начну жалеть, что не догадался захватить с собой плащ, чтобы ее укутать!»

За этими размышлениями он забыл ответить на вопрос мисс Хелстоун.

— Вы его видели? — снова спросила она.

— Нет.



— О, вы же мне обещали!

— Я хочу сделать для вас кое-что получше. Я ведь говорил, что мне с ним видаться нет охоты!

— Сколько же мне еще ждать, пока я узнаю о нем что-нибудь достоверное?.. Я и так устала от ожидания. Мартин, прошу вас, повидайте его! Передайте ему привет от Каролины Хелстоун, скажите, что она очень хочет узнать, как он себя чувствует, и спрашивает, не может ли она для него что-нибудь сделать.

— Не хочу!

— Вы переменялись... Прошлый раз вы были со мной так приветливы!

— Пойдемте! Нечего здесь стоять: в лесу слишком холодно.

— Хорошо, я уйду! Но сначала обещайте мне, что придете сюда завтра с новостями о нем!

— Ничего я не стану обещать. У меня слишком слабое здоровье, чтобы бегать зимой в лес. Если бы вы знали, как у меня болела грудь сегодня утром, как я остался без завтрака да еще получил сверх того колотушек, вы бы поняли, что звать меня сюда в такую метель просто жестоко. Пойдемте же, говорю вам!

— У вас в самом деле такое слабое здоровье?

— А разве по мне не видно?

— Щеки у вас румяные...

— Меня лихорадит. Идете вы или нет?

— Куда?

— Со мной. Глупо, что я не захватил из дому плащ, — вам было бы теплее.

— Вы идете домой, а мне ближе в обратную сторону.

— Возьмите меня под руку, я проведу вас другим путем.

— Но там впереди стена и живая изгородь, мне будет трудно перебираться, а вы слишком слабы, чтобы мне помочь, вы надорветесь!

— Вы войдете через ворота.

— Но...

— «Но», «но»! Доверитесь вы мне или нет?!

Она заглянула ему в глаза.

— Думаю, что да. Я готова на все, лишь бы узнать правду и успокоиться.

— Этого я вам не обещаю. Могу обещать лишь одно: доверьтесь мне, и вы сами увидите Мура.

— Сама увижу?

— Да.

— Но, дорогой Мартин, а он об этом знает?

— Ну вот! Я уже стал «дорогой». Нет, он не знает.

— А ваша мать и все остальные?

— Все улажено.

Каролина погрузилась в глубокое раздумье, но тем не менее продолжала идти за своим проводником. Вскоре показался Брайермейнс.

— Вы решились? — спросил Мартин.

Она промолчала.

— Решайтесь. Мы уже у цели. Я его видеть не желаю, — я уже говорил, — и только предупрежу его о вас.

— Вы странный мальчик, Мартин, и это странный поступок, но за последнее время я испытала уже немало странного. Будь что будет, я его увижу.

— Теперь вы не заколеблетесь, не отступите?

— Нет.

— Тогда идемте. Не волнуйтесь, когда будем проходить под окнами гостиной, вас никто не увидит. Отец и Мэттью на фабрике, Марк в школе, прислуга на кухне, мисс Мур убежала домой, мамаша в кровати, а миссис Хорсфолл сейчас на верху блаженства. Обратите внимание: мне не нужно звонить, я просто открываю дверь, приходящая пуста, на лестнице никого, на галерее тоже. Весь дом и все его обитатели околдованы, и я не сниму чар, пока вы не уйдете.

— Мартин, я полагаюсь на вас.

— Лучшего слова вы не смогли бы найти. Дайте мне вашу шаль, я стряхну с нее снег и высушу ее. Вы замерзли и промокли. Не беда, наверху горит камин. Вы готовы?

— Да.

— Следуйте за мной.

Мартин оставил свои башмаки у двери и в одних чулках поднялся по лестнице, Каролина бесшумно проскользнула за ним вслед. Наверху были галерея и коридор, в конце которого Мартин остановился перед

дверью и постучал. Ему пришлось стучать еще и еще, прежде чем раздался голос, знакомый одному из тех, кто стоял у двери.

— Войдите!

Мальчик быстро вошел в комнату.

— Мистер Мур, какая-то дама спрашивает вас. Никого из женщин нет, у них сегодня стирка, и все служанки в мыльной пене по самую макушку. Поэтому я попросил леди подняться наверх.

— Подняться сюда?

— Подняться сюда, сэр. Но если вы возражаете, она спустится обратно.

— Ты невозможный мальчишка! Разве здесь место для дамы и разве я могу ее принять?

— В таком случае я отправлю ее назад.

— Подожди, Мартин. Кто она?

— Ваша бабушка из Шельдского замка, о которой всегда вспоминает мисс Мур.

— Мартин, — послышался тихий шепот из-за двери, — не говорите глупостей.

— Она здесь? — быстро спросил Мур, услышав эти слабые звуки.

— Она здесь и того гляди упадет в обморок. Ваша непочтительность к предкам ее сразила!

— Ну знаешь, Мартин! Чертенок ты или паж — сам не пойму. Как она хоть выглядит?

— Она похожа скорее на меня, чем на вас. Она молода и прелестна.

— Впусти ее, слышишь!

— Войдите, мисс Каролина.

— Мисс Каролина?.. — повторил Мур.

Когда Каролина вошла, исхудалый и от этого еще более высокий и тонкий Мур встретил ее посреди комнаты и взял за руки.

— Даю вам четверть часа, не более, — проговорил Мартин, направляясь к двери. — За это время вы должны успеть сказать ему все, что вам нужно. Я буду ждать на галерее. Вам никто не мешает, и я спокойно уведу вас. Но если вы задержитесь, я ни за что не отвечаю.

Мартин захлопнул дверь и почувствовал себя на вершине блаженства. Никогда еще он не участвовал в таком увлекательном

приключении, никогда еще ему не приходилось играть такую важную роль!

— Вы пришли наконец, — проговорил Мур, вглядываясь в свою гостью ввалившимися глазами.

— Разве вы меня ждали?

— Месяц, почти два месяца мы были совсем рядом, Кэри, я страдал от тяжелой раны, боролся со смертью, тосковал... а вы все не шли...

— Я не могла прийти.

— Не могли? Но от вашего дома до Брайермейнса не более двух миль!

Печаль и радость сменяли друг друга на девичьем лице. Каролине было и горько и приятно отвечать на эти незаслуженные упрёки.

— Я хотела сказать, меня к вам не пускали. Мы с мамой были здесь в тот самый день, когда узнали, что вас ранили, но мистер Мак-Тёрк сказал, что никому из чужих нельзя вас видеть.

— Но потом? Много недель, каждый погожий день я ждал вас и все прислушивался... Сердце подсказывало, что вы не можете не думать обо мне. И не потому, что я этого заслуживал, а потому, что мы старые друзья и вы моя кузина.

— Я снова приходила сюда, Роберт, и мама тоже была со мной.

— Неужели? Давайте сядем, и вы мне расскажете обо всем.

Они сели. Каролина придвинула свой стул к его креслу. За окном почти ничего не было видно от снегопада, резкий северный ветер гнал и крутил мириады снежинок. Но Каролина и Роберт не слышали завываний ветра и не видели метели, они были поглощены одним — наконец-то они вместе!

— Итак, вы и ваша матушка снова пришли сюда?

— Да. И миссис Йорк очень странно приняла нас. Мы попросили разрешения вас видеть. «Нет, — ответила она, — не в моем доме. Сейчас я отвечаю за его жизнь и не позволю подвергать опасности его здоровье ради получаса пустой болтовни». Я не должна пересказывать вам все, что она наговорила, это было слишком неприятно. И все же мы снова пришли, на этот раз вместе с мисс Килдар. Мы рассчитывали на победу, — нас было трое против одной, к тому же на нашей стороне была Шерли. Однако миссис Йорк встретила нас в штыхы.

Мур улыбнулся.

— Что же она вам сказала?

— Ее слова изумили нас. Под конец Шерли рассмеялась, я расплакалась, а маменька очень расстроилась, но нас прогнали всех троих. После этого я каждый день проходила мимо этого дома только для того, чтобы взглянуть на окна вашей комнаты, — я сразу догадалась по спущенным шторам, где они. Но, право, я не осмеливалась войти.

— Мне так хотелось вас видеть, Каролина!

— Я не знала. Мне ни разу и в голову не пришло, что вы обо мне думаете. Если бы я могла хоть на секунду предположить...

— Все равно миссис Йорк не пустила бы вас!

— Ну уж нет! Если бы она не уступила моим просьбам, я пошла бы на хитрость. Я бы проскользнула через кухню, служанка пропустила бы меня, и я поднялась бы прямо наверх. По правде говоря, меня останавливал не страх перед миссис Йорк, а боязнь наскучить вам.

— Еще вчера я с отчаянием думал, что, наверное, больше вас не увижу. Я очень слаб, и настроение у меня ужасно подавленное, ужасно...

— Вы все время один?

— Хуже чем один.

— Но ведь вам должно быть лучше, вы уже встаете.

— Сомневаюсь, выживу ли я; у меня осталось так мало сил, что боюсь, как бы дело не кончилось плохо.

— Вы... вам лучше вернуться домой, в лощину.

— Тоска не оставит меня и там, мне неоткуда ждать утешения.

— Я все это изменю, теперь все переменится, хотя бы десять миссис Йорк стояли на моем пути.

— Кэри, вы заставляете меня улыбаться!

— Улыбайтесь! Улыбайтесь еще! Сказать вам, чего мне хочется?

— Говорите что угодно, только не молчите. Сейчас я похож на библейского Саула: без музыки вашего голоса я погибну!

— Я хочу, чтобы вас перенесли в наш дом и отдали мне и моей маме.

— Чудесный подарок! С тех пор как они меня заперли здесь, я ни разу так не смеялся.

— Вам очень больно, Роберт?

— Сейчас не очень, но я безнадежно слаб и в голове у меня творится что-то неладное. Я не могу собраться с мыслями, все они какие-то смутные, бескрылые. Разве этого не видно по моему лицу? Я, наверное, похож на привидение.

— Вы изменились, но я все равно узнала бы вас, где бы ни встретила. Впрочем, я понимаю ваши чувства, потому что и сама испытала нечто подобное. Со времени нашей последней встречи я тоже перенесла тяжелую болезнь.

— Тяжелую болезнь?

— Я уже приготовилась к смерти. Казалось, вот-вот перевернется последняя страница в книге моей жизни. Каждый раз, ровно в полночь, меня будило ужасное видение, эта последняя страница и на ней отчетливое слово «конец». Это было ужасно!

— То же самое чувствовал и я.

— Я уже думала, что никогда вас не увижу, исхудала так же, как вы, не могла есть, не могла ни встать, ни лечь без посторонней помощи. А теперь, вы видите, я совсем здорова.

— Утешительница! Печальная и прекрасная! Я слишком слаб, чтобы все высказать, но если бы вы знали, что я чувствую, когда вы со мной говорите!

— Я думала, что никогда вас больше не увижу, а теперь я здесь, рядом с вами, и вы охотно меня слушаете и смотрите на меня так ласково. Ожидала ли я этого? Нет, я совсем отчаялась.

Мур тяжело вздохнул, вздох был так глубок, что напоминал стон. Он прикрыл глаза рукой и промолвил:

— Дай мне Бог выжить, чтобы я мог искупить свою вину!

— Какую вину?

— Не будем сейчас говорить об этом, Кэри, я еще нездоров, и у меня нет на это сил. Миссис Прайор была с вами во время вашей болезни?

— Да, — радостно улыбнулась Каролина, — вы уже знаете, что она — моя мать?

— Слышал. Гортензия говорила мне, но я хотел услышать это из ваших уст. Вы стали счастливее?

— Найдя мать? Она мне очень дорога, — так дорога, что и выразить невозможно. Я была совсем обессилена, и только она поставила меня на ноги.

— Поделом мне слышать все это тогда, когда я сам едва могу поднять руку, поделом!

— Я не хотела вас упрекать.

— Каждое ваше слово, каждый взгляд, озаряющий ваше милое личико, жжет меня как огонь. Подвиньтесь поближе, Лина, дайте мне вашу руку, если вас не пугают мои исхудалые пальцы.

Она взяла эти тонкие пальцы своими маленькими ручками, наклонила головку и коснулась губами его руки. Мур был взволнован и тронут, крупные слезы покатались по его впалым щекам.

— Все это останется в моем сердце, Кэри. А этот поцелуй я сохранию особо, и придет день, когда вы вспомните о нем.

— Выходите! — громко сказал Мартин, открывая дверь. — Идемте, вы и так пробыли здесь уже двадцать минут вместо пятнадцати.

— Никуда она сейчас не пойдет, слышишь?

— Я боюсь задерживаться, Роберт.

— Вы придете еще, Каролина?

— Нет, не придет, — вмешался Мартин. — Хватит мне этих свиданий, с меня довольно своих забот. Достаточно и одного раза, я не желаю, чтобы это повторялось.

— Ты не желаешь?!

— Тс! Не обижайте его. Если бы не он, мы бы не встретились. Но я снова приду, если вы действительно этого хотите.

— Да, хочу. Это единственное, чего я хочу, других желаний у меня нет.

— Идемте сию же минуту! Моя мамаша уже откашлялась, села на кровати и спустила ноги на пол, — не дай Бог, она вас застанет на ступеньках лестницы!.. Нет, прощаться вы не будете, — сказал Мартин, становясь между Каролиной и Муром. — Вы сейчас же уйдете.

— Мартин, а моя шаль?

— Она у меня. Я отдам ее, когда вы спуститесь.

Он заставил их разойтись, не разрешив даже проститься; все, что было у них на душе, они высказали друг другу взглядами. Затем Мартин чуть ли не на руках снес Каролину вниз по лестнице. В прихожей он закутал ее в шаль, и, если бы не шаги матери на галерее, если бы не его мальчишеская застенчивость, столь естественная и

потому столь благородная, он бы потребовал награды и сказал: «А теперь, мисс Каролина, за все, что я сделал для вас, подарите мне поцелуй». Но, прежде чем эти слова успели слететь с его губ, она уже была далеко на заснеженной дороге.

— Она моя должница, и я еще спрошу с нее долг, — пробормотал Мартин.

Он обольщал себя мыслью, что ему помешали неблагоприятные обстоятельства, а вовсе не недостаток смелости. Таким натурам свойственно заблуждаться, и Мартин считал себя хуже, чем был на самом деле.



## ГЛАВА XXXIV

### Домашние неурядицы

Отведав волнующего напитка, Мартин жаждал второго глотка; раз ощутив величие власти, он хотел насладиться им вновь. Мисс Хелстоун — та самая девушка, которую он всегда называл дурнушкой и чье лицо теперь днем и ночью, и во тьме и при свете солнца стояло перед его глазами, — однажды оказалась в его власти, и ему было больно думать, что это никогда больше не повторится.

Хотя Мартин еще ходил в школу, он уже был не совсем обычным школьником, а в будущем ему предстояло превратиться в весьма своеобразного человека. Несколько лет спустя он приложил все силы, чтобы переделать свою натуру и приспособиться к окружающему миру, но это ему так и не удалось, печать своеобразия осталась на нем навсегда. А пока Мартин сидел за своей партой, не слушая учителя, и обдумывал, как бы ему продолжить начавшийся роман; он еще не знал, что большинство таких романов не идет далее первого или самое большее второго шага! Всю субботу после полудня провел он в лесу с книгой волшебных легенд и той, другой, еще не написанной книгой, созданной его воображением.

Канун воскресенья никогда не вызывал у Мартина благочестивых чувств. Его отец и мать, хотя и отрицали свою принадлежность к господствующей англиканской церкви, но тем не менее каждое воскресенье заполняли вместе со всем своим цветущим семейством вместительную скамью в брайерфилдской церкви. В теории мистер Йорк ставил все церкви и все секты на одну доску; миссис Йорк отдавала пальму первенства квакерам и моравским братьям, ибо те наиболее достойно несли терновый венец смирения. Однако никто из них и не помышлял вступить в какую-либо секту.

Как я уже сказала, Мартин недолюбливал воскресенье, потому что утренняя служба тянулась очень долго, а проповедь обычно приходилась ему не по вкусу. Однако сейчас мечты открыли ему незнакомое дотоле очарование предстоящего воскресного дня.

В воскресенье была уже настоящая зима. Намело такие сугробы, что за завтраком миссис Йорк решила не пускать детей в церковь.

Пусть лучше посидят тихонько часа два в малой гостиной, а Роза и Мартин по очереди почитают им проповеди — разумеется, проповеди пророка и реформатора Джона Весли, которого и миссис и мистер Йорк весьма уважали.

— Роза может делать что хочет, — сказал Мартин, не отрывая глаз от книги, которую он, по привычке, сохранившейся на всю жизнь, читал во время еды.

— Роза будет делать, что велят, и Мартин тоже, — заметила миссис Йорк.

— Я иду в церковь.

Сказано это было с несокрушимым спокойствием истинного Йорка, который знает, чего хочет, и знает, что своего добьется, а если встретится с непреодолимым препятствием и если не будет иного выхода, скорее погибнет, но ни за что не сдастся.

— Погода не подходящая, — вмешался отец.

Ответа не последовало. Не отрываясь от книги, Мартин медленно доедал хлеб, запивая его молоком.

— Мартин терпеть не может церковь, но слушаться старших ему, видно, еще неприятнее, — сказала миссис Йорк.

— Значит, по-вашему, я одержим духом противоречия?

— Конечно!

— Вовсе нет!

— Тогда в чем же дело?

— Причин слишком много, и они слишком сложны. Чтобы все объяснить, мне пришлось бы раскрыть перед вами все тайны моей души.

— Нет, вы послушайте, послушайте его! — воскликнул мистер Йорк. — Я должен сделать этого парня адвокатом. У него природный дар: он будет жить за счет своего языка. Эстер, твой третий сын должен стать адвокатом: у него для этого все данные — наглость, самомнение и способность говорить, говорить и говорить без конца!

— Роза, передай мне, пожалуйста, хлеба, — с глубокой невозмутимостью, спокойно, даже флегматично попросил Мартин. От природы у него был низкий, выразительный голос, который в трудные минуты становился почти неслышным, как женский шепот; чем непреклоннее был Мартин, тем печальнее и нежнее звучала его речь.

Мартин позвонил и ласково попросил принести ему зимние башмаки.

— Мартин, — убеждал отец, — вся дорога в сугробах, пробиться даже взрослому нелегко. Однако, — продолжал он, видя, что Мартин поднялся при звуке церковного колокола, — если уж ты так упрям, на сей раз я не стану тебе мешать. Иди, но доберись до церкви во что бы то ни стало! Пусть снежные вихри наметают сугробы и преграждают тебе путь! Иди сквозь метель, скользи по голому льду, если не хочешь сидеть в тепле у камина.

Мартин спокойно накинул плащ, обернул шею шарфом, надвинул шапку и уверенно вышел на улицу.

— У отца гораздо больше здравого смысла, чем у матери, — проговорил он. — Как женщинам не хватает ума! Они бьют тебя по самому больному месту, воображая, что долбят бесчувственный камень.

Мартин пришел в церковь слишком рано.

— Теперь, если непогода испугает ее, — а сейчас настоящая декабрьская метель, — или если миссис Прайор запретит ей выйти и я ее не увижу после всех этих неприятностей, я обижусь по-настоящему. Буря или метель, град или снег, она должна прийти, и если ее ум соответствует ее глазам и красоте лица, она обязательно придет, придет, чтобы встретиться со мной, так же как я пришел сюда в надежде увидеть ее. Ведь хочет же она услышать хоть слово о своем чертовом возлюбленном, так же как я хочу вкусить то, в чем, по-моему, заключен весь смысл жизни, вся ее суть. Жить без приключения для меня все равно, что пить выдохшееся пиво вместо шампанского.

Мартин огляделся. В холодной и тихой церкви не было никого, кроме одинокой старухи. Перезвон колоколов стих, еще звучал только один колокол, и под его гул пожилые прихожане один за другим смиренно занимали свободные места. Лишь самые убогие, самые старые и самые бедные остаются верны матери-церкви в любую непогоду; так и в это вьюжное утро у церкви не было ни одного экипажа, все состоятельные семейства предпочли остаться дома, передние мягкие скамьи с подушками пустовали, и только на голых дубовых сиденьях кое-где разместились седые старики, старухи да несчастные бедняки.

— Я буду презирать ее, если она не придет, — свирепо пробормотал Мартин.

Широкополая шляпа священника показалась в дверях: мистер Хелстоун и его причетник вошли в церковь. Звон прекратился, священник взошел на кафедру, двери закрылись, и служба началась. Скамья, отведенная для обитателей дома мистера Хелстоуна, была пуста: Каролина не пришла, и Мартин презирал ее от души.

— Никчемная дрянь! Пустышка! Вздорная болтунья! Тщеславная, слабовольная, ограниченная, как и все девицы!

Такова была его молитва.

— И ничуть она не похожа на портрет у нас в столовой: глаза не так велики и выразительны, и нос не греческий, и в устах нет того очарования, которое, я думал, рассеет мои угрюмые мысли, избавит меня от ужасной хандры. Что же она такое? Тощая спичка, кукла, безделушка, одним словом — девица!

Юный циник был так поглощен своими мыслями, что забыл в надлежащий момент подняться с колен и все еще оставался в благочестиво-смиренной позе, когда литания окончилась и прозвучал первый псалом. Этот промах расстроил его еще больше, и Мартин вскочил на ноги красный как рак, ибо был чувствительнее самой застенчивой девицы. А тут еще в довершение всего двери церкви приоткрылись и раздался топот сотни маленьких ног: в боковые приделы торопливо хлынули ученики воскресной школы. В Брайерфилде было принято зимой держать детей в теплом помещении и водить в церковь только перед причастием и проповедью.

Сначала рассадили самых младших, и только когда все мальчики и девочки были устроены, когда под нарастающие звуки органа голоса хора и прихожан слились в священном песнопении, в церковь, завершая процессию, неторопливо вошли взрослые ученицы. Их учительница, проследив за тем, как они расселись, направилась к скамье, предназначенной для семьи мистера Хелстоуна. Серый с розовым отливом плащ и маленькая бобровая шапочка были знакомы Мартину. Именно этот костюм он так жаждал увидеть. Буря не преградила путь мисс Хелстоун. В конце концов она все-таки пришла! Вероятно, Мартин поведал свою радость псалтырю; во всяком случае он сразу же прикрыл им лицо и просидел так минуты две. Впрочем, еще прежде чем закончилась проповедь, поведение мисс Хелстоун

снова его разозлило. Она ни разу не взглянула в его сторону, ему не удалось уловить ни одного ее взгляда.

«Если она не желает меня замечать, — подумал он, — и хочет показать, что я для нее не существую, тогда она еще хуже, еще лживее, чем я думал. Неужели она пришла сюда только ради этих ягнят, а не ради меня или этого долговязого скелета Мура?»

Проповедь окончилась, священник благословил прихожан, церковь опустела, а Каролина так и не подошла к нему.

Только теперь, на обратном пути, Мартин почувствовал, как секут лицо снежные вихри и как холоден восточный ветер. Кратчайшая дорога к дому вела через огороженные поля, протоптанной тропинки там не было, и идти напрямик было рискованно. Однако это не беспокоило Мартина, и он выбрал именно кратчайший путь. Около второй ограды росло несколько деревьев. Но что это за зонтик виднеется там? Да, какой-то зонтик с явным трудом держится против ветра, а за ним развевается знакомый розовато-серый плащ.

Мартин ухмыльнулся, карабкаясь по заснеженному склону, сейчас такому же крутому, как обрывы близ вершины Этны. Неповторимое выражение появилось у него на лице, когда он, дойдя до изгороди, спокойно устроился рядом с Каролиной и таким образом открыл переговоры, которые — будь его воля продолжались бы до бесконечности.

— Я думаю, вам лучше обменять миссис Прайор на меня.

— Я не знала, по какой дороге вы пойдете, Мартин, но решила рискнуть. В церкви или в церковной ограде никогда не поговоришь спокойно.

— Вы согласны отдать моей матери миссис Прайор, а меня взять на ее место?

— Не понимаю, что это миссис Прайор засела у вас в голове?

— Вы называете ее «мамой», не так ли?

— Она и есть моя мать.

— Невероятно, чтобы такая неумелая, такая беспечная женщина была матерью! Я был бы в десять раз лучше ее. Можете смеяться, не имею ничего против. Ненавижу плохие зубы, но ваши просто прелесть, как жемчужное ожерелье, где все жемчужины превосходны и к тому же подобраны одна к одной.

— Что с вами, Мартин? Я думала, Йорки никогда не делают комплиментов!

— До сих пор не делали, вплоть до последнего поколения, ко я чувствую, что мне суждено вывести новую породу Йорков. Мне порядком надоели мои предки; наша родословная уходит на четыре столетия в глубь веков; есть целое предание о Хайраме, сыне Хайрама, который был сыном Сэмюэля, сына Джона, который был сыном Зеруббабеля Йорка, и все они, начиная с Зеруббабеля и кончая последним Хайрамом, были точно такими же, как мой отец. До них был еще Годфри. У нас есть его портрет, он висит в спальне Мура. Годфри похож на меня. О его характере мы ничего не знаем, но я уверен, что он сильно отличался от своих потомков. У Годфри темные, длинные, выющиеся волосы, одет он тщательно и изысканно. Я уже сказал, что он похож на меня, и мне нет нужды добавлять, что Годфри был красавцем.

— Вы вовсе не красавец, Мартин.

— Пока нет, но дайте срок — придет и мое время. С этого дня я намерен развивать и совершенствовать свои способности, и мы еще посмотрим...

— Вы очень странный, непонятный мальчик, Мартин, но только не воображайте, что когда-нибудь вы станете красавцем, это вам не удастся.

— Я все же хочу попытаться. Однако мы говорили о миссис Прайор. Разве может настоящая мать спокойно отпустить дочь из дому в такую непогоду? Это совершенно противоестественно. Моя мамочка пришла в такую ярость, когда я решил отправиться в церковь, что едва не запустила в меня кухонной щеткой. Мамаша очень, очень беспокоилась обо мне, но боюсь, я оказался слишком упрямым и пошел, несмотря ни на что.

— Чтобы встретиться со мной?

— Разумеется, для чего же еще? Больше всего я боялся, что снег помешает вам. Вы не представляете, как я обрадовался, увидев вас на церковной скамье!

— Я пришла исполнить свой долг и подать прихожанам хороший пример. Итак, вы заупрямились, не правда ли? Хотела бы я посмотреть, как это бывает. Но, окажись вы в моей власти, вам

пришлось бы слушаться. Отдайте-ка мне мой зонтик! У меня нет ни минуты, меня ждут к обеду.

— Меня тоже. По воскресеньям у нас всегда горячий обед, а сегодня будет жареный гусь, рисовый пудинг и пирог с яблоками. Я всегда ухитрюсь узнать все заранее, а эти блюда люблю больше всего. Но, если хотите, я ими пожертвую.

— У нас на обед только холодное. По воскресеньям мой дядя не разрешает без нужды разводить стряпню. Однако я должна вернуться: если я запоздаю, дома будут волноваться.

— Ну и что? То же самое произойдет и в Брайермейнсе! Мне кажется, я уже слышу, как отец посылает мастера и пятерых красильщиков во все стороны искать в снегу тело своего блудного сына и как моя мать раскаивается в своих многочисленных несправедливых поступках по отношению ко мне, — это когда меня уже нет в живых!

— Мартин, как себя чувствует мистер Мур?

— Вот ради чего вы пришли, — только ради этого вопроса!

— Не томите, отвечайте скорее.

— Черт бы его побрал! Ему не стало хуже, но с ним обходятся так же дурно, как если бы он томился за решеткой в одиночном заключении. Они хотят сделать из него либо сумасшедшего, либо маньяка и установить над ним опеку. Эта Хорсфолл морит его голодом. Вы сами видели, как он отощал.

— В тот день вы были очень добры, Мартин.

— В какой день? Я всегда добр и служу примером для других.

— Когда же вы снова будете таким?

— Вижу, чего вы хотите, но не гладьте меня по шерстке, я вам не котенок.

— Но это нужно сделать. Это доброе дело, и оно совершенно необходимо.

— Какая вы бойкая! Вспомните, я тогда сам все устроил по своей доброй воле.

— И вы снова это сделаете.

— И не подумаю. Слишком много хлопот, а я дорожу своим покоем.

— Мартин, мистер Мур хочет меня видеть, и я хочу видеть его.

— Возможно, — холодно заметил Мартин.

— Очень нехорошо со стороны вашей маменьки не пускать к мистеру Муру его друзей...

— Скажите ей об этом сами!

— Его родственников...

— Пойдите и убедите ее!

— Вы же знаете, из этого ничего не выйдет. Но я не отступлюсь. Я все равно его увижу. Если вы не желаете мне помочь, я обойдусь без вашей помощи.

— Действуйте! Нет ничего лучше, как полагаться только на свои силы, зависеть только от самого себя.

— Я вижу, вы стараетесь меня обидеть, но сейчас мне некогда вас уговаривать. До свиданья.

И Каролина зашагала прочь, закрыв зонтик, — удерживать его против ветра она не могла.

«Пожалуй, она не пуста и вовсе не так уж ограничена, — подумал Мартин. — Хотел бы я посмотреть, как она обойдется без моей помощи! Впрочем, ради пятиминутной беседы с этим Муром она, кажется, готова пройти сквозь огонь и воду, а не то что через метель. Вот теперь я считаю, что утро было удачным: разочарование в начале только помогло скоротать время, а когда она наконец явилась, мои опасения и приступы злости сделали короткую беседу с ней еще приятнее. Она надеялась сразу же уговорить меня, но за один раз это ей не удастся. Ей придется просить снова и снова! Я еще помучу ее в свое удовольствие, она еще у меня поплачет. Пускай! Я хочу узнать, как далеко она пойдет, что сделает и на что отважится, чтобы добиться своего. Все-таки странно, что одно человеческое существо может столько думать о другом, как Каролина о Муре. Однако пора домой. Очень есть хочется, — должно быть, уже время обеда. Интересно, успею я к гусю и кому достанется сегодня самый большой кусок яблочного пирога, мне или Мэттью?»



## **ГЛАВА XXXV, в которой дело продвигается, но не намного**

Задумано было хорошо! Для собственного удовольствия Мартин затеял весьма искусную интригу. Однако и гораздо более умудренным годами и опытом интриганам часто приходится видеть, как судьба, эта беспощадная хозяйка, сметает своей могучей рукой паутину их самых искусных замыслов. В данном случае все планы Мартина разбились о непоколебимую стойкость и волю Мура.

Мур собрался с силами и восстал против деспотизма миссис Хорсфолл. Каждое утро он изумлял эту матрону новыми причудами. Прежде всего он снял с нее обязанности камердинера и впредь пожелал одеваться сам. Затем он отказался от кофе, который она приносила ему по утрам, и захотел завтракать вместе со всеми. В конце концов он вовсе запретил ей входить в свою комнату и в тот же день сам выглянул было на улицу под дружные вопли всех женщин в доме. А на следующее утро он пошел с мистером Йорком в его контору и попросил послать в трактир за каретой. Мур сказал, что хочет сегодня же вернуться домой, в лощину. Вместо того чтобы воспротивиться, Йорк его поддержал, хотя миссис Йорк утверждала, что этот поступок погубит Мура. Когда карета прибыла, Мур без лишних слов вынул кошелек, и звон монет заменил слугам и миссис Хорсфолл звук благодарственных речей. Сиделка прекрасно поняла и полностью одобрила этот язык, вознаградивший ее за все неприятности. Она и ее пациент расстались лучшими друзьями.

Ублаготворив обитателей кухни, Мур отправился в гостиную; теперь ему предстояла куда более трудная задача — умиротворить миссис Йорк. Хозяйка дома была глубоко уязвлена его поступком, ее обуревали мрачные мысли о глубине человеческой неблагодарности. Мур подошел к ее креслу и наклонился над ней так, что ей волея-неволей пришлось на него взглянуть, хотя бы для того, чтобы отослать его прочь. Бледное, похудевшее лицо Мура было все еще красиво, а улыбка, светившаяся в его запавших глазах, — ибо он в этот миг

улыбался, — придавала ему выражение своеобразной суровой нежности.

— Прощайте, — сказал он, и при этих словах улыбка, промелькнув, растаяла на его лице Мур уже не владел, как прежде, своими чувствами и был настолько слаб, что не мог скрыть даже малейшего волнения.

— Почему вы нас покидаете? — спросила она. — Мы бы сделали все на свете, только бы вы побыли здесь, пока не окрепнете.

— Прощайте, — повторил он и добавил: — Вы были для меня матерью; обнимите же вашего своенравного сына!

По иноземному обычаю, — ведь Мур и был иностранцем, — он подставил ей сначала одну, затем другую щеку, и она поцеловала его.

— Как много хлопот и волнений я вам доставил, — пробормотал он.

— Больше всего вы беспокоите меня сейчас, упрямый человек, — прозвучало в ответ. — Ну кто будет ухаживать за вами в лошине? Ведь ваша сестрица Гортензия разбирается в таких вещах не лучше малого ребенка.

— И слава Богу; за мной здесь столько ухаживали, что мне этого хватит на всю жизнь.

Тут в комнату вошли девочки: плачущая Джесси и спокойная, но помрачневшая Роза. Мур вывел их в прихожую, чтобы успокоить, приласкать и расцеловать на прощание. Он знал, что их мать не выносит, когда при ней ласкают кого-нибудь, и сочла бы для себя обидой, если бы он на ее глазах погладил даже котенка.

Мальчики стояли возле кареты, когда Мур садился в нее, но с ними он не попрощался, а лишь сказал Йорку:

— Ну вот, наконец вы от меня избавились. Этот выстрел принес вам столько беспокойства: он превратил Брайермейнс в настоящий госпиталь. Теперь приезжайте вы, навестите меня в моем доме.

Мур поднял стекло, и карета покатила прочь. Через полчаса он вышел из нее у калитки своего сада. Расплатившись с возницей и отослав экипаж, Мур на мгновение прислонился к калитке, чтобы перевести дух и собраться с мыслями.

«Полгода назад, когда я выходил отсюда, меня обуревали гордыня, гнев и боль обманутых ожиданий, — думал он. — Теперь я возвращаюсь опечаленным, но более благоразумным, ослабевшим, но

не отчаявшимся. Меня ждет холодная, серая, хотя и спокойная жизнь, в которой мне почти не на что надеяться, но зато и бояться нечего. Рабский ужас перед всяческими затруднениями покинул меня. Пусть случится самое худшее: я смогу честно зарабатывать себе на жизнь, как Джо Скотт, и пусть это нелегко, но никакого унижения тут нет. Прежде я думал, что разориться — значит, потерять свою честь. Теперь не то: я понял, в чем разница. Да, разорение — это несчастье, но к нему я готов и знаю, когда оно произойдет, потому что сам все рассчитал. Я даже могу отсрочить его на полгода, но не более. Если к тому времени положение изменится, — что мало вероятно, — и если наша торговля освободится от оков, которые она сейчас не в силах сбросить, — что еще невероятнее, — я смог бы еще выйти победителем в этой изнурительной схватке. Боже мой! Чего бы я не сделал ради этого! Но к чему несбыточные мечты? Надо смотреть на вещи трезво. Разорение неизбежно, и топор уже у корней древа моего состояния. Я спасу хотя бы один его живой побег, пересеку океан и посажу его в лесах Америки. Луи не оставит меня, но поедет ли с нами еще кто-нибудь? Этого я не знаю и не имею права спрашивать».

Мур вошел в дом.

Смеркалось. На небе, затянутом густыми серыми облаками, не было видно ни звезд, ни луны. Землю покрыла изморозь, фабричный пруд был скован льдом, лощина погрузилась в тишину. В доме уже было темно; лишь в гостиной Сара разожгла камин и теперь на кухне приготавливала чай.

— Ах, Гортензия, — сказал Мур, когда его сестра вскочила, чтобы помочь ему снять плащ. — Как я рад, что вернулся домой!

Гортензия не обратила внимания на то новое, что прозвучало в словах ее брата, который раньше никогда не называл лощину своим домом. Прежде Мур не чувствовал себя спокойно под защитой его стен, ему казалось, что они только стесняют его. Но Гортензию радовало все, что доставляет удовольствие брату, и она сказала ему об этом.

Муру не сиделось. Он подошел к окну, затем вернулся камину.

— Гортензия!

— Что, дорогой?

— Эта маленькая гостиная выглядит такой чистой и милой, сегодня здесь как-то необыкновенно светло.

— Так оно и есть. Пока тебя не было, я тут приказала вычистить и прибрать весь дом.

— Сестрица, может быть, в честь моего возвращения ты пригласишь кого-нибудь к чаю? Хотя бы для того, чтобы показать, каким уютным и нарядным стал этот маленький уголок.

— Пожалуй. Если бы не было так поздно, я могла бы послать за мисс Мэнн.

— Ну что ты, стоит ли беспокоить добрейшую мисс Мэнн в такое время. К тому же и на дворе слишком холодно.

— Как ты внимателен, дорогой Жерар! Хорошо, отложим это на другой день.

— И все же мне очень хочется видеть кого-нибудь именно сегодня. Давай пригласим спокойную гостью, чье общество было бы приятно и тебе и мне.

— Мисс Эйнли?

— Говорят, это превосходная особа, но она живет слишком далеко. Попроси лучше Гарри Скотта сходить к мистеру Хелстоуну. Пусть пригласит от твоего имени Каролину провести этот вечер у нас.

— Не лучше ли завтра, дорогой?

— Мне бы хотелось, чтобы она сегодня же увидела эту комнату: ее опрятность, ее тихий уют так красноречиво говорят о твоих заботах.

— Для нее это может послужить хорошим примером.

— И может и должно. Пусть непременно придет.

Мур вышел в кухню.

— Сара, подождите с чаем еще полчаса, — сказал он и поручил ей послать Гарри Скотта в дом священника с наскоро написанной запиской, адресованной мисс Хелстоун.

Сара только начинала беспокоиться, как бы не пригорели на плите ломтики хлеба, когда посланный вернулся, а вместе с ним и гостя.

Каролина прошла через кухню, спокойно поднялась наверх, чтобы оставить там шубку и капор, и, аккуратно пригладив свои чудесные локоны, так же спокойно спустилась вниз. Ее элегантное платье из тонкой шерсти и изящный воротничок были безупречно свежи, в руках она держала маленькую рабочую сумочку. По дороге Каролина задержалась, чтобы перекинуться несколькими словами с Сарой, поглядеть на нового пятнистого котенка, игравшего у кухонной плиты,

и поговорить с канарейкой, которую испугала внезапная вспышка пламени в очаге. Только после этого она направилась в гостиную.

Обмен учтивыми поклонами и дружескими приветствиями прошел весьма непринужденно, как и положено при встрече родственников. По комнате подобно тонкому аромату разлилась атмосфера душевной теплоты. Только что зажженная лампа ярко светила, чайник весело мурлыкал на подносе.

— Я так рад, что вернулся домой, — повторил Мур.

Они расселись вокруг стола. Беседой завладела Гортензия. Она поздравила Каролину с выздоровлением, заметила, что щечки ее округлились и на них вновь играет румянец. Гортензия была права. В облике мисс Хелстоун произошла явная перемена: уныние, страх и безнадежность исчезли, тоска и грусть уже не сседали ее. Каролина походила на человека, испытывающего сладость душевного спокойствия и парящего на крыльях надежды.

После чая Гортензия ушла наверх. Уже целый месяц она не перетряхивала содержимое своих комодов, и ею овладело непреодолимое желание заняться этим делом именно сейчас. Теперь нитью разговора завладела Каролина. Она поддерживала беседу легко, с необыкновенным искусством. Эта легкость и изящество придавали обаяние самым обыденным темам. Что-то новое звучало в ее всегда мелодичном голосе, приятно поражая и чаруя собеседника. Необычайная подвижность лица придавала ее речи особую живость и выразительность.

— Каролина, у вас такой вид, словно вы услышали хорошую новость, сказал Мур, несколько минут не отрывавший от нее пристального взгляда.

— В самом деле?

— Я послал за вами сегодня, чтобы хоть немного приободриться, но вы подняли мое настроение гораздо больше, чем я рассчитывал.

— Очень рада. Я в самом деле так благотворно действую на вас?

— Ваше присутствие озаряет все вокруг, ваши движения плавны, ваш голос, как музыка.

— Мне хорошо оттого, что я снова здесь.

— Да, здесь хорошо, я это особенно чувствую. К тому же видеть здоровый румянец на ваших щечках и надежду, светящуюся в ваших

глазках, само по себе большое удовольствие! Однако что это за надежда, Кэри, в чем причина такой радости?

— Во-первых, эту радость принесла мне матушка. Я очень люблю ее, и она любит меня. Долго и нежно выхаживала она меня, а теперь, когда ее заботы поставили меня на ноги, я могу весь день быть с нею. Настал мой черед ухаживать за ней, и я стараюсь ухаживать как можно лучше, и как горничная и как родная дочь. Вы бы посмеялись надо мной, узнав, с каким удовольствием я крою и шью ей платья. Знаете, Роберт, она сейчас так мило выглядит, и я не хочу, чтобы она носила старомодные платья. И беседовать с ней — наслаждение. Она очень умна, наблюдательна, хорошо знает людей и судит обо всем так здраво. С каждым днем я узнаю ее все лучше и все больше проникаюсь к ней любовью и уважением.

— Вы с таким жаром говорите о вашей матушке, Кэри, что старушке можно позавидовать.

— Она вовсе не стара, Роберт!

— В таком случае позавидуем юной леди.

— У нее нет таких претензий.

— Ладно, оставим ее возраст в покое. Но вы говорили, что матушка первая причина вашего счастья, а где же вторая?

— Я рада, что вам лучше.

— А еще?

— Рада, что мы друзья.

— Вы и я?

— Да. Было время, когда я думала, что все это ушло безвозвратно.

— Кэри, когда-нибудь я расскажу вам о себе одну вещь, которая не делает мне чести и потому вряд ли вам понравится.

— Ах! Пожалуйста, не надо! Я не могу плохо думать о вас.

— А я не могу перенести мысли, что вы думаете обо мне лучше, чем я заслуживаю.

— Но мне уже наполовину известен ваш секрет. Мне даже кажется, я знаю все.

— Ничего вы не знаете.

— По-моему, знаю.

— Кого еще это касается, кроме меня?

Она покраснела, замялась и промолчала.

— Говорите, Кэри! Кого еще?

Она попыталась произнести чье-то имя и не смогла.

— Скажите! Сейчас мы одни, будьте же откровенны!

— А если я ошибусь?

— Я вас прощу. Шепните мне, Кэри.

Он приблизил ухо к ее губам, но она все еще не хотела или не могла сказать. Видя, однако, что Мур ждет и что он твердо решил услышать хоть что-нибудь, она наконец проговорила:

— С неделю тому назад мисс Килдар провела у нас целый день. Вечером поднялся сильный ветер, и мы уговорили ее остаться ночевать.

— И вы вместе завивали локоны?

— Откуда вы это знаете?

— А потом вы болтали, и она сказала вам...

— Это было вовсе не тогда, когда мы завивали локоны, так что вы не так проницательны, как воображаете. Кроме того, она мне ничего не рассказала.

— Потом вы легли спать вместе?

— Да, мы ночевали в одной комнате и в одной постели, но мы почти не спали и проговорили всю ночь напролет.

— Я был в этом уверен. И тогда-то вы узнали обо всем. Что ж, тем хуже. Я бы предпочел, чтобы вы слышали это от меня самого.

— Вы заблуждаетесь, она не говорила мне того, что вы подозреваете. Не в ее натуре распространяться о подобных вещах. Я лишь кое-что поняла из ее слов, кое о чем до меня дошли слухи, а об остальном я догадалась сама!

— Но если она не сказала вам, что я хотел жениться на ней ради денег и что она с возмущением и презрением отказала мне, — вам нечего вздрагивать и краснеть, а тем более колоть иголкой ваши трепещущие пальцы: все это чистая правда, нравится вам она или нет. Если же не это было предметом ее откровений, так о чем вы толковали? Вы сказали, что проговорили всю ночь напролет — о чем же?

— О разных разностях, о которых мы раньше никогда не говорили всерьез, хотя уже были близкими друзьями. Надеюсь, вы не рассчитываете, что я вам о них расскажу?

— Да, да, Кэри, вы расскажете! Вы сами говорили, что мы с вами друзья, а друзья не должны ничего скрывать друг от друга.

— Но вы уверены, что не проговоритесь?

— Совершенно уверен.

— Даже Луи?

— Даже Луи. Вы думаете, его интересуют ваши секреты?

— Роберт, если бы вы знали, какое Шерли удивительное, какое великодушное создание!

— Допускаю. В ней, должно быть, сочетаются всевозможные странности и всевозможные достоинства.

— Ее чувства запрятаны глубоко, но когда они помимо воли прорываются подобно мощному потоку, то, по-моему, ею нельзя не восхищаться и не любить ее.

— А вы видели это зрелище?

— Да. Глубокой ночью, когда в доме все уснуло и лишь сияние звезд да холодный отблеск снега наполняли нашу комнату, Шерли открыла мне свое сердце.

— Свое сердце? Вы думаете, она в самом деле раскрыла его перед вами?

— Да.

— Каково же оно?

— Святое, как алтарь, чистое, как снег, горячее, как пламя, и сильное, сильнее смерти!

— Но может ли она полюбить? Скажите мне.

— А вы как думаете?

— До сих пор она не полюбила никого из тех, кто любил ее.

— Кто же ее любил?

Мур назвал целый список джентльменов, закончив сэром Филиппом Наннли.

— Да, из них она никого не полюбила.

— Хотя кое-кто из них был вполне достоин любви.

— Любви другой женщины, но не Шерли.

— Чем же она лучше других?

— Ее ни с кем нельзя сравнивать, а жениться на ней даже опасно, во всяком случае рискованно.

— Представляю...

— Она говорила о вас...

— Вот видите! Но ведь вы как будто это отрицали?



— Она говорила совсем не то, что вы думаете. Я сама спросила ее: мне хотелось узнать, какого она о вас мнения или, вернее, как она к вам относится. Я давно ждала такого разговора. Мне необходимо было это знать.

— И мне тоже! Но говорите! Верно, она обо мне самого плохого мнения и презирает меня?

— У нее о вас чуть ли не самое высокое мнение, какое только может иметь женщина о мужчине. Вы знаете, какой красноречивой может быть Шерли, — до сих пор я слышу ее горячие речи, в которых она вас превозносила.

— Как же все-таки она ко мне относится?

— Пока вы ее не оскорбили, — она просто сказала, что вы нанесли ей оскорбление, но распространяться об этом не захотела, — она относилась к вам, как к брату, которого любят и которым гордятся.

— Никогда больше я ее не оскорблю, Кэри. Мой поступок обернулся против меня самого и заставил меня уехать, но эти разговоры о братьях и сестрах лишены всякого смысла. Шерли слишком горда и богата, чтобы испытывать ко мне сестринские чувства.

— Вы ее не знаете, Роберт. Раньше я думала по-другому, но теперь мне кажется, что вы просто не смогли ее разгадать. Вы и она настолько разные люди, что вам никогда не понять друг друга.

— Может быть. Я ее уважаю, восхищаюсь ею и все же сужу о ней строго, может быть, даже слишком строго. Например, я думаю, что она не способна любить...

— Шерли не способна любить?

— ...Что она никогда не выйдет замуж, боясь поступиться своей гордыней, упустить свою власть и разделить свое состояние.

— Шерли задела ваше самолюбие.

— Да, хотя в моих чувствах к ней не было ни капли нежности, ни искорки любви.

— В таком случае, Роберт, вы поступили очень дурно, когда просили ее руки.

— И очень низко, мой маленький наставник, моя хорошенькая обличительница. Мне никогда не хотелось поцеловать мисс Килдар, хотя у нее прелестные губки, алые и сочные, как спелые вишни, — они соблазняли только мои глаза.

— Не знаю, можно ли вам сейчас верить. Как говорится, «зелен виноград»... или вишни?

— Она прекрасно сложена, хороша лицом, у нее чудесные волосы, — я признаю все ее прелести, но чувства мои молчат. А если и пробуждаются, то лишь такие, какие у Шерли могут вызвать одно презрение. Полагаю, что по-настоящему меня привлекал только блеск ее золота. Видите, Каролина, какое «благородное создание» ваш Роберт, как он велик, добр и бескорыстен!

— Да, он не безгрешен, — он совершил грубую ошибку. Впрочем, не будем больше говорить о ней.

— И не будем о ней думать, Кэри? Не будем презирать Роберта в глубине доброй, но твердой, сострадательной, но справедливой души?

— Никогда! Мы будем помнить завет: какою мерою мерите, такою и вам будут мерить, — а потому презрения не останется, только привязанность.

— Одной привязанности недостаточно, предупреждаю вас. Когда-нибудь от вас потребуются другое чувство, более сильное, нежное и горячее. Вы сможете мне его дать?

Каролина была смущена и взволнована.

— Успокойтесь, Лина, — примирительно сказал Мур. — Не имея на то права, я не стану тревожить ваше сердце ни теперь, ни в ближайшие месяцы. Не глядите на меня так, словно вам хочется убежать от меня. Хватит намеков, которые вас смущают; продолжим лучше нашу болтовню. Не дрожите, взгляните на меня! Посмотрите, я стал похож на привидение, бледное и угрюмое; теперь я скорее жалок, чем страшен.

Она робко взглянула на него.

— Даже теперь, при вашей бледности, в вас есть что-то грозное, проговорила она, опуская глаза перед его взглядом.

— Вернемся к Шерли, — настаивал Мур, — значит, вы думаете, она когда-нибудь все-таки выйдет замуж?

— Она любит!

— Наверное, платонически, только в теории. Все это — одно притворство!

— По-моему, она любит искренне.

— Она сама вам призналась?

— Не совсем. Во всяком случае, она не сказала прямо; я люблю такого-то.

— Я так и думал!

— Но Шерли не смогла скрыть своих чувств. Она говорила об одном человеке с таким пылом, что ошибиться невозможно, даже голос выдавал ее чувства. Вызвав, что она думает о вас, я спросила, что она думает о... другом человеке, о котором у меня мелькали разные догадки, впрочем самые сбивчивые и неясные. Мне хотелось заставить ее проговориться. Я теребила ее, упрекала, щипала, когда она пыталась отделаться от меня своими обычными непонятными шутками, и в конце концов добилась своего. Я уже сказала, что даже голос выдавал ее, хотя она говорила почти шепотом, — в нем было столько нежности, столько страсти! Это была не исповедь, не признание — до такой откровенности она никогда не снизойдет, но я уверена, что счастье того человека для нее дороже жизни.

— Кто же он?

— Я сама назвала ей его имя: она не сказала ни «да», ни «нет», а лишь взглянула на меня. Я увидела выражение ее глаз, и этого было вполне достаточно, чтобы я без всякой жалости отпраздновала свою победу.

— Какое же право вы имели так торжествовать? Разве вам самой чужды подобные слабости?

— Что я! Зато Шерли стала рабой, львица встретила своего укротителя. Пусть она осталась госпожой над всем окружающим, но над самой собой она уже не властна.

— Итак, вы радуетесь потому, что это прекрасное, гордое существо тоже попало в неволю?

— Да, Роберт, именно потому, что она прекрасна и горда.

— Значит, вы признаетесь, что она тоже невольница?

— Я ни в чем не признаюсь, а только говорю, что надменная Шерли попала в рабство, подобно Агари.

— Но кто же ее завоевал наконец, кто ее Авраам, кто этот герой, совершивший столь славный подвиг?

— Вы все еще говорите с раздражением и недостойной иронией. Ну погодите, я заставлю вас изменить тон.

— Посмотрим! Значит, она выходит замуж за этого Купидона?

— Купидона! Он такой же Купидон, как вы — Циклоп.

— Выйдет она за него?  
— Увидите.  
— Кэри, я хочу знать его имя.  
— Угадайте.  
— Это кто-нибудь из наших соседей?  
— Да, из Брайерфилдского прихода.  
— Тогда он явно ее недостойн. Во всем нашем приходе я не знаю никого, кто был бы ей под пару.  
— Угадайте.  
— Не могу. Вероятно, она ослеплена и в конце концов совершит какую-нибудь глупость.  
Каролина улыбнулась.  
— А вы одобряете ее выбор? — спросил Мур.  
— Да, о да!  
— Тогда я совсем сбит с толку. В вашей головке под густой копной каштановых волос скрыта превосходная мыслительная машина с безупречной правильностью суждений, унаследованной, вероятно, от матушки.  
— Я полностью одобряю Шерли, и матушка тоже в восторге от ее выбора.  
— Матушка в восторге? Миссис Прайор? Должно быть, выбор не слишком романтический.  
— Наоборот, очень романтический и в то же время очень правильный.  
— Скажите мне, Кэри! Скажите, хотя бы из жалости: я слишком слаб, чтобы так меня мучить!  
— Вас нужно помучить, это вам не повредит. Вы совсем не так уж слабы, как уверяете.  
— Сегодня мне уже дважды приходила мысль упасть на пол у ваших ног...  
— Лучше не падайте. Я не стану вас поднимать.  
— ...и молиться на вас. Моя мать была истой католичкой, а вы так похожи на прелестнейшее изображение Непорочной девы, что, кажется, я приму веру моей матери и с благоговением преклоню перед вами колени.  
— Роберт, Роберт, сидите спокойно, не дурачьтесь. Я уйду к Гортензии, если вы позволите себе какую-нибудь выходку.

— Вы лишили меня рассудка, у меня в голове не осталось ничего, кроме гимнов в честь святой девы: «O, Rose céleste, reine des Anges!»<sup>[145]</sup>

— Tour d'ivoire, maison d'or,<sup>[146]</sup> - это не оттуда же? Ну, будет, сидите спокойно и отгадывайте вашу загадку.

— Но неужели матушка в восторге? Это сбивает меня с толку.

— Когда мама услышала об этом, она сказала: «Поверь мне, дорогая, такой выбор сделает мисс Килдар счастливой».

— Попробую еще раз, но не больше. Это — старый Хелстоун. Мисс Килдар собирается стать вашей теткой.

— Я обязательно расскажу об этом и дяде и Шерли, — воскликнула Каролина, смеясь от души. — Продолжайте, Роберт! Ваши промахи очаровательны!

— Это — преподобный Холл.

— Право, нет. С вашего разрешения, он — мой.

— Ваш? Вот как! Кажется, целое поколение брайерфилдских женщин превратило этого священнослужителя в свой кумир. Не понимаю почему: он близорук, плешив и сед.

— Фанни придет за мной раньше, чем вы решите эту загадку. Поспешите!

— Не хочу больше, я устал, и мне все равно. Пусть себе выходит хоть за турецкого султана.

— Хотите, я шепну вам?

— Да, и поскорее: сюда идет Гортензия. Придвиньтесь ближе, еще ближе, моя Лина. Ваш шепот для меня дороже самих слов.

Она шепнула. Роберт отшатнулся в удивлении, глаза его блеснули, затем он коротко рассмеялся. Вошла мисс Мур, а за ней следом Сара, которая сообщила, что Фанни уже ждет. Пора было расставаться.

Роберт подождал у лестницы, пока Каролина не сошла вниз, закутанная в шаль, и, улучив минуту, шепотом обменялся с ней еще несколькими фразами.

— Должен ли я теперь называть Шерли благородным созданием? — спросил он.

— Конечно, если хотите быть правдивым.

— Должен ли я простить ее?

— Простить ее? Ах вы! Кто же из вас виноват — вы или она?

— Должен ли я в таком случае любить ее, Кэри?

Каролина пристально взглянула на него и сделала жест, в котором выразилась и любовь и обида.

— Только скажите, и я постараюсь все исполнить!

— Нет, вы не должны ее любить, это дурная мысль.

— Но ведь Шерли хороша, чудо как хороша! Правда, ее красота не бросается в глаза; в начале знакомства она кажется лишь грациозной, зато через год понимаешь, что Шерли — настоящая красавица!

— Не вам об этом говорить. А теперь, Роберт, будьте же благоразумны!

— О Кэри! Я никому не могу отдать свою любовь. Если бы даже сама богиня красоты соблазняла меня, я не смог бы ответить на ее призыв: мое сердце более не принадлежит мне.

— Вот и хорошо, без сердца гораздо спокойнее. Доброй ночи!

— Лина, почему вы всегда уходите именно в ту минуту, когда вы мне всего нужнее?

— Потому что вам нужнее всего то, что от вас ускользает.

— Еще одно слово. Берегите хоть вы свое сердце, слышите?

— Оно в безопасности.

— Я в этом не убежден. Что вы скажете, например, об этом безгрешном священнике?

— О каком? О Мелоуне?

— Нет, о Сириле Холле. Я обязан ему не одним приступом ревности.

— А вы, вы ухаживаете за мисс Мэнн: на днях она показала мне подаренный вами цветок... Фанни, я готова!

## **ГЛАВА XXXVI,**

### **написанная в классной комнате**

Луи Мур сомневался, что мистер Симпсон немедленно покинет Филдхед, и был совершенно прав. На следующий день после ужасной ссоры из-за сэра Филиппа Наннли дядя и племянница кое-как помирились. Шерли просто не могла быть или даже казаться негостеприимной к кому бы то ни было (за исключением единственного случая с мистером Донном). Она стала упрашивать все семейство Симпсонов погостить еще немного, и упрашивала очень настойчиво, — у нее явно были к тому какие-то особые причины. Симпсоны поймали хозяйку на слове; к тому же дядя никак не мог решиться оставить ее без всякого присмотра, полагая, что Шерли непременно выйдет за Роберта Мура, как только сей джентльмен поправится — мистер Симпсон молил Бога, чтобы этого никогда не случилось, — и сможет вновь просить ее руки. Итак, все семейство осталось.

В порыве озлобления против всех Муров вообще, мистер Симпсон повел себя с Луи так, что гувернер, терпеливо переносивший труды и страдания, но не терпевший грубости в обращении, незамедлительно отказался от должности. Лишь мольбы миссис Симпсон убедили его остаться до тех пор, пока семейство не покинет Йоркшир. В этом решении сыграла свою роль и привязанность учителя к ученику; но, возможно, у Луи была еще третья причина, куда более важная, чем две первых, — видимо, именно теперь ему было особенно трудно покинуть Филдхед.

Некоторое время все шло хорошо. Мисс Килдар поправилась, к ней вернулось обычное расположение духа; Луи Муру удалось рассеять ее дурные предчувствия, и она перестала думать об ожидающем ее несчастье. С того дня как Шерли ему открылась, она словно забыла все свои страхи; на сердце у нее вновь стало легко, и она вела себя как беспечное дитя, которое ни о чем не думает и во всем полагается на родителей. Луи Мур и Вильям Фаррен, через которого он узнал о состоянии Феба, в один голос утверждали, что пес не был бешеным и убежал из дому только потому, что с ним плохо

обращались: как выяснилось, хозяин частенько избивал его без всякой пощады. Правы они были или нет — неизвестно, потому что конюх и егерь доказывали обратное: если это не водобоязнь, то какая же она бывает? Однако Луи Мур их не слушал и сообщал Шерли только обнадеживающие вести. Она ему верила. Как бы там ни было, все обошлось благополучно.

Прошел ноябрь, наступил декабрь. Симпсоны начали всерьез собираться к отъезду: им необходимо было вернуться домой к рождеству. Вещи были уложены, шла последняя неделя их пребывания в Филдхеде.

Однажды зимним вечером, за несколько дней до отъезда Симпсонов, Луи Мур опять вынул свою записную книжку и занес в нее следующее:

«Она милее, чем когда-либо. После того как легкое облачко тревоги рассеялось, сразу исчезли и слабость и бледность. Удивительно, как быстро волшебная энергия юности подняла ее на ноги и вернула ей румянец!

Сегодня после завтрака, во время которого я ее видел, слышал и — как бы сказать — ощущал всеми фибрами моей души, я перешел из столовой, озаренной ее присутствием, в мрачную гостиную. Под руку мне попался маленький томик с золотым обрезом; оказалось, что это сборник лирических стихотворений. Я прочел одно или два и не знаю, виноваты в том сами стихи или они только разбудили сердце, но кровь быстрее заструилась в моих жилах, а лицо запылало, несмотря на то что в комнате было очень холодно. Значит, и я еще молод, хотя она говорит, что никогда не считала меня молодым. Мне лишь тридцать, и бывают мгновенья, когда жизнь — только потому, что я молод, предстает передо мной в самых радужных красках.

Было время занятий; я пошел в классную комнату. Там бывает очень приятно по утрам: солнце проглядывает сквозь низкие окна, все книги в порядке, нигде не разбросана бумага, веселый огонь пылает в камине, перед которым еще не насыпалось ни углей, ни золы. В комнате я застал Генри и мисс Килдар; он привел ее с собой, и они сидели рядом.

Я уже говорил, что сейчас она милее, чем когда-либо, и это действительно так. На щеках ее играет неяркий, очень нежный румянец. Ее темные глаза, всегда ясные и выразительные, изъясняются



на языке, который я не в силах воспроизвести, ибо его можно увидеть, но нельзя услышать. Должно быть, на таком языке разговаривали ангелы, когда «небеса безмолвствовали». Ее волосы всегда темные, как ночь, и блестящие, как шелк, ее прекрасная шейка, всегда такая гибкая и гладкая, теперь еще прелестней; ее локоны, легкие как тень, ниспадают на точеные плечи богини. Раньше я только видел ее красоту, теперь я ее ощущаю.

Перед моим приходом Генри повторял урок с Шерли. В одной руке она держала книгу, другою завладел он. Этот мальчик слишком многое себе позволяет: осмеливается дарить ей ласки и принимать их от нее. Сколько доброты и сострадания выказывает она ему! Пожалуй, чересчур много. Если это будет продолжаться, то через несколько лет, когда его душа созреет, Генри принесет ее на алтарь Шерли, как это сделал я.

Ее веки дрогнули, когда я вошел, но она не подняла глаз; теперь она лишь изредка удостоивает меня взглядом. К тому же она становится все молчаливее, ко мне обращается редко, да и с другими в моем присутствии говорит мало. Когда у меня тяжело на душе, я приписываю эту перемену равнодушию, отвращению и другим подобным чувствам. В светлые минуты я истолковываю ее поведение совсем иначе. Я говорю себе: будь я ей ровня, я мог бы найти в этой скромности застенчивость и в застенчивости — любовь. Но сейчас смею ли я искать эту любовь? И что я буду с ней делать, даже если найду?

Сегодня утром я наконец осмелился устроить так, чтобы мы на час остались одни. Я посмел не только желать, но настоять на том, чтобы никто не нарушал нашего уединения. Весьма решительно я подозвал Генри к двери и без колебаний сказал ему:

— Ступай куда хочешь, мой мальчик, но сюда не возвращайся, пока я тебя не позову.

Видно было, что Генри это не понравилось. Он хоть и молод, но уже достаточно сообразителен. Его задумчивые глаза иногда разгораются странным блеском; он смутно чувствует какую-то внутреннюю связь между нами, смутно догадывается, что в сдержанности, с какой Шерли обращается со мной, заключено гораздо больше, чем во всех ласках, которые достаются на его долю. Молодому, еще неуклюжему львенку то и дело хочется на меня

зарычать, потому что я приручил его львицу и стал ее повелителем. Он бы давно это сделал, если бы не привычка повиноваться и не врожденное чувство уважения к старшим. Уходи, Генри! Учись пить горечь жизни, как ее пили и будут пить все сыновья Адама! Твоя судьба не исключение из общего правила. Будь же ей благодарен, ведь она убила твою любовь в зародыше, прежде чем та успела разгореться в страсть. Минутную боль, острое чувство зависти — вот и все, что ты испытаешь. Зато избежишь ревности, жгучей, как солнечный луч на экваторе, и ярости, разрушительной, как буря в тропиках. Избежишь хотя бы сейчас — всему свое время.

Спокойный как обычно, я занял свое место за столом. Хорошо, что у меня счастливый дар скрывать волнение под маской внешней невозмутимости! Глядя на мое флегматичное лицо, никто не догадается, какая буря иногда бушует в моей груди, в каком смятении мои мысли и как трудно мне сдерживаться. Я рад, что могу вести себя сдержанно и уверенно, никого не беспокоя неуместными выходками.

В то утро я не собирался даже заговаривать о любви, чтобы она не увидела ни одной искры пожиравшего меня пламени. Самонадеянным я никогда не был и не буду, а если хотя бы заподозрю себя в корысти и эгоизме, то сразу поднимусь, возьму страннический посох, распрощаюсь со всеми и отправлюсь на край света в поисках новой жизни, бесплодной, как утес, омываемый морским приливом. В то утро я решил просто изучить ее получше, прочитав хоть страничку из книги ее сердца, чтобы до расставания знать, с чем я расстаюсь.

Я начал чинить перья. У большинства людей на моем месте, наверное, тряслись бы руки, но мои даже не дрогнули, и мой голос, когда я заговорил, был тверд.

— Ровно через неделю вы останетесь в Филдхеде одна, мисс Килдар.

— Да, пожалуй, на сей раз дядюшка не передумает.

— Он уезжает весьма недовольный.

— Дядя на меня сердит.

— Он уезжает, с чем приехал; выходит — ездил зря, а это для него смертельная обида.

— Надеюсь, неудача послужит ему уроком на будущее.

— Но ведь по-своему мистер Симпсон искренне желает вам добра. Он думал, что все, что он делал или намеревался сделать,

пойдет вам на пользу.

— Видно, вы добры, раз берете под защиту человека, позволившего себе обойтись с вами так оскорбительно.

— Я никогда не обижаюсь на то, что сказано в порыве гнева, а самые резкие и грубые слова он произнес, когда выскочил от вас вне себя от ярости.

— Теперь вы не будете учителем Генри?

— С ним я расстанусь на время, — если будем живы, мы снова встретимся, потому что любим друг друга, — но семейство Симпсонов я покидаю навсегда. К счастью, эта перемена не застала меня врасплох, она лишь поможет мне скорее осуществить один давно задуманный план.

— Вас невозможно застать врасплох! Я уверена, что при вашем хладнокровии вы готовы к любой неожиданности. Я всегда сравниваю вас с одиноким, но внимательным и осторожным стрелком в лесу; в вашем колчане много запасных стрел, и даже ваш лук о двух тетивах. И ваш брат такой же. Вдвоем вы могли бы охотиться в самых диких лесах Америки, и с вами ничего бы не случилось. Срубленное дерево дало бы вам ветви для шалаша, расчищенная девственная поляна превратилась бы в плодородное поле, бизон стал бы вашей добычей и, склонив рога, покорно пал к вашим ногам.

— И, быть может, какое-нибудь индейское племя Черноногих или Плоскоголовых подарило бы нам невест.

— Нет, — замялась она, — не думаю. Дикари — ужасные люди. Я думаю, то есть надеюсь, что ни один из вас не решится соединить свою судьбу с теми, кому вы не сможете отдать свое сердце.

— Что вас заставило заговорить о диких лесах Америки, мисс Килдар? Как вы проникли в мои мысли? Как узнали о моих мечтах, о моих планах на будущее?

Она взяла скрученный бумажный жгут для зажигания свечей, растрепала его на мелкие кусочки и стала бросать их один за другим в камин, не говоря ни слова и задумчиво глядя, как они горят.

— Откуда вы узнали о моих намерениях?

— Я ничего не знаю, только сейчас услышала об этом от вас. Я говорила наугад.

— Ваши догадки звучат как предсказания. Я никогда больше не буду учителем. После Генри и вас у меня уже не будет учеников,

никогда больше я не сяду за чужой стол, никогда не буду приложением к какой-нибудь семье. Мне уже тридцать, и с десяти лет я не был свободным человеком. Я так жажду свободы, что и днем и ночью думаю только о ней. Ради свободы. Я готов пересечь Атлантический океан, ради нее готов углубиться в девственные леса Америки. Конечно, я не возьму себе какую-нибудь дикарку: невольница не может стать моей женой. Любимой белой женщины, которая согласилась бы за мной последовать, у меня тоже нет, но я уверен, что Свобода ждет меня, сидя под соснами, и, когда я позову, она придет в мою бревенчатую хижину и упадет в мои объятия.

Я говорил без всякого волнения; для нее это было невыносимо, и она сама разволновалась. Так и должно было быть, именно этого я и добивался. Она не могла ни ответить мне, ни поднять на меня глаза. На это я и рассчитывал. Я бы искренне огорчился, если бы вышло по-другому. Щеки ее пылали, как лепестки темно-красных цветов в лучах солнца, на светлых веках и темных ресницах опущенных глаз трепетали полутона печального и сладкого смущения.

Вскоре она превозмогла волнение и взяла себя в руки. Я видел, что она готова возмутиться, восстать, но она справилась с собой. На ее лице было написано: «Я знаю границу, которую мне нельзя преступать, и ничто меня не заставит это сделать. Я знаю, чувствую, насколько можно выказывать свои чувства и где следует остановиться. Я зашла так далеко, насколько позволяет моя честь, стыдливость и гордость моей натуры, но дальше — ни шагу! Мое сердце может разбиться от разочарования — пусть разобьется, но оно никогда меня не унижит и во мне не унижит достоинства всех женщин. Лучше страдание, чем позор, лучше смерть, чем измена!»

Я же в это время думал: «Если бы она была бедна, я бы уже давно очутился у ее ног. Если бы она была не знатна, я заключил бы ее в свои объятия. Богатство и положение стерегут ее, словно два грифона. Любовь томит, влечет, но не осмеливается; страсть рвется наружу, но ее удерживают на привязи перепуганные Праведность и Благочестие. Мне ничем не нужно жертвовать, чтобы добиться ее, я ничего не теряю, а только приобретаю, и в этом самая большая, непреодолимая трудность».

Однако трудно или нет, я должен был что-то делать, что-то говорить. Я не мог и не хотел сидеть молча перед этой красавицей,

смущенной моим присутствием. И я заговорил. Я был так же спокоен, как мои слова, и мог слышать каждый звук, слетавший с моих губ, — глубокий, отчетливый и полновесный.

— Впрочем, Свобода, эта горная нимфа, скорее всего разочарует меня. Я подозреваю, что она сродни Одинокости, к которому я прежде так стремился и от которого ныне решительно отказываюсь. Эти ореады — странные создания: они привлекают вас неземной красотой, подобной красоте звездного неба; очаровывают, но не согревают душу. Их красота призрачна; в их прелести нет жизни, ее можно сравнить с очарованием времен года или пейзажей, восхищающих нас утренней росой, восходом солнца, вечерними сумерками, мирным светом луны или вечным бегом облаков. Но мне необходимо нечто иное. Я холодно смотрю на это волшебное великолепие, мои чувства леденит прикосновение этих призраков. Я не поэт и не могу жить одними мечтами. Как-то, смеясь надо мной, вы, мисс Килдар, называли меня философом-материалистом и намекнули, что я живу ради того, чтобы жить. Конечно, я материалист с головы до ног, и хотя я глубоко чту Природу и прославляю ее всей страстью сильного сердца, однако все же предпочитаю видеть ее отраженной в нежных человеческих глазах любимой и милой жены, а не в устрашающих очах величественной богини Олимпа.

— Юнона, разумеется, не смогла бы приготовить бифштекс из бизона по вашему вкусу, — съязвила Шерли.

— Разумеется; но я скажу вам, кому это удалось бы — какой-нибудь юной, бедной, одинокой сиротке. Хотел бы я найти такую девушку: достаточно миловидную, чтобы я смог полюбить ее, достаточно умную и сердечную, достаточно воспитанную, правдивую и скромную. Меня не заботит ее образованность, но мне хотелось бы видеть в ней те природные дарования, с которыми не сравнится никакая ученость. Характер же пусть будет какой угодно, я справлюсь с самой строптивой. Я хотел бы сначала быть наставником такой девушки и лишь затем ее супругом. Я научил бы ее своему языку, приобщил к своим привычкам и принципам, а потом вознаградил бы своей любовью.

— Вознаградил бы! Всемогуший Бог! Вознаградил бы! — воскликнула Шерли с презрительной гримаской.

— И был бы сам тысячу раз вознагражден.

— Если бы она захотела, милостивый государь.

— Она обязательно захочет.

— Но вы сказали, что согласны на любой характер. А на многих принуждение действует, как кремь на железо, — только искры летят!

— Но многим эти искры нравятся!

— Кому же понравится любовь, которая подобно искре сверкнет, взлетит и погаснет?

— Я должен отыскать мою сиротку. Скажите, мисс Килдар, как мне ее найти?

— Дайте объявление, да не забудьте указать, что она должна быть хорошей стряпухой.

— Я должен отыскать ее и, когда найду, сразу женюсь на ней.

— Вы? Ну нет! — Тут в ее тоне проскользнула презрительная насмешка.

Я обрадовался: мне удалось рассеять то задумчивое настроение, в котором я ее застал, и теперь мне хотелось еще более расшевелить ее.

— Почему вы сомневаетесь?

— Вам — и вдруг жениться?

— Конечно! Я могу и хочу жениться, разве это не ясно?

— Ясно как раз обратное, мистер Мур.

Эти слова привели меня в восторг. Ее большие прекрасные глаза выражали и гнев, и насмешку, и пренебрежение, и гордость, и даже оскорбленное достоинство.

— Благоволите объяснить, мисс Килдар, почему вы так думаете?

— Как же вы женитесь, хотела бы я знать?

— Очень просто. Как только найду невесту, так сразу и женюсь.

— Оставайтесь лучше холостяком! — Тут она сделала жест, как бы протягивая мне что-то. — Таков уж ваш удел!

— О нет, вы не можете дать мне то, что я уже имею. Я и так живу тридцать лет в одиночестве. Если хотите преподнести мне что-нибудь на прощанье, то выберите другой подарок.

— Другой будет еще хуже.

— Что же это?

Я разгорячился, и это было заметно по моему лицу и по моим словам. С моей стороны было неосторожностью хотя бы на миг снять спасительную маску равнодушия; я сразу лишился преимущества,

которое перешло к Шерли. Ее мимолетный гнев сменился сарказмом, на ее губах заиграла насмешливая улыбка.

— Женитесь на той, кто сама будет увиваться за вами, чтобы преодолеть вашу скромность, и сама навяжется вам в жены, чтобы не обременять вашу совесть.

— Укажите мне только, где найти такую.

— На какой-нибудь пожилой вдове, уже не раз побывавшей замужем и опытной в таких делах.

— В таком случае она не должна быть богатой. Ох, уж это мне богатство!

— Вам никогда не сорвать золотое яблоко в саду Гесперид, ибо вы никогда не осмелитесь напасть на охраняющего его дракона или призвать на помощь Атланта.

— Я вижу, вы разгорячились и стали заносчивы!

— А вы еще заносчивее! Ваше безмерное смирение хуже всякой гордыни!

— Я человек зависимый и знаю свое место.

— А я — женщина и тоже знаю свое.

— Я беден и должен быть гордым.

— А я получила определенное воспитание, и мои убеждения так же строги, как и ваши.

Разговор зашел в тупик. Мы умолкли и лишь смотрели друг на друга. Я чувствовал, что Шерли не отступит ни на шаг, чувствовал и видел только это. У меня оставалось еще несколько минут; я понимал, что развязка близка, я чувствовал ее приближение, но пока она не пришла, все еще медлил, выжидал и готов был говорить о чем угодно до последнего мгновения, чтобы только тогда сказать решительное слово. Я никогда не спешу и никогда в жизни не спешил. Торопливые люди пьют нектар жизни горячим, как кипяток, я же вкушаю его прохладным, как роса. Я продолжал:

— По-видимому, мисс Килдар, вы сами так же мало расположены к супружеской жизни, как и я. Насколько мне известно, вы отказали трем, даже четырем выгодным женихам, а недавно, кажется, и пятому. Вы ведь отказали сэру Филиппу Наннли?

Последний вопрос я задал неожиданно и быстро.

— А вы думали, что я приму его предложение?

— Я бы этому не удивился.

— Можно узнать, почему?

— Потому что вы равны по положению и возрасту, у вас общие духовные интересы, а также потому, что ваши характеры удачно дополняют друг друга, ведь он так любезен, так кроток...

— Превосходное заключение! Разберем-ка его по статьям. «Равны по положению». Он значительно богаче меня, — сравните хотя бы мою усадьбу с его дворцом! Его родня и знакомые презирают меня. «Равны по возрасту». Мы ровесники, — следовательно, он еще мальчик, а я уже женщина, во всех отношениях я старше его лет на десять. «Характеры удачно дополняют друг друга». Он кроток и любезен, а какова же я? Отвечайте?

— Вы сестра блестящего, стремительного, огненного леопарда.

— И вы собирались выдать меня за этого ягненка? Вы, видимо, забыли, что золотой век окончился сотни миллионов лет назад и сейчас так же далек от нас, как архангел на седьмом небе! О варвар несправедливый!.. «Общие духовные интересы». Он любит поэзию, я ее не переносу...

— В самом деле? Это для меня новость.

— Когда я бывала в Прайори или сэр Филипп в Филдхеде, меня в дрожь бросало при виде строф или рифм! Хороши общие интересы! Когда это я подбирала монотонные сонеты или нанизывала стансы, хрупкие, как стекла? Когда это я называла грошовые бусины бриллиантами?

— Вы смогли бы получить удовлетворение, руководя им, исправляя его вкусы...

— Руководить и исправлять! Учить и наставлять! Снисходить и терпеть! Ну нет! Мой муж не должен быть моим ребенком. Я не стану усаживать его каждый день за уроки, смотреть, чтобы он их учил, давать ему конфетку, если он послушен, и терпеливо читать ему длинные умные наставления, если он капризничает. Впрочем, только от учителя можно услышать об «удовлетворении от преподавания». Вам, наверное, это кажется самым благородным занятием в мире. А мне — нет! Я его отвергаю. Исправлять вкусы мужа! Нет уж! Пусть лучше мой муж исправляет меня, или мы расстанемся.

— Бог свидетель, вам это не мешает.

— Что вы хотите сказать, мистер Мур?

— То, что я сказал. Исправить вас совершенно необходимо.



— Будь вы женщиной, вы бы живо вышколили своего муженька; это бы вам подошло: школить — ваше призвание.

— Позвольте спросить, почему сейчас, в столь ровном и добром настроении, вы вздумали меня попрекать моей профессией?

— И профессией, и чем угодно еще, лишь бы задеть вас побольнее. Я припомню вам все ваши недостатки, в которых вы с горечью сознаетесь перед самим собой.

— Например, мою бедность?

— Разумеется! Это вас проймет. Вы страдаете из-за своей бедности и постоянно о ней думаете.

— И тем, что, кроме своей заурядной личности, я ничего не могу предложить женщине, которая завладеет моим сердцем?

— Совершенно верно! У вас дурная привычка называть себя заурядным. Вы понимаете, что не очень похожи на Аполлона. Вы ругаете свою внешность больше, чем она того заслуживает, в тщетной надежде, что кто-нибудь другой замолвит за нее хоть словечко. Не надейтесь понапрасну! В вашем лице нет ни одной черты, которой можно было бы гордиться, ни одной правильной или просто приятной линии.

— Вы сравниваете его со своим личиком?

— Вы похожи на египетского бога: огромная каменная голова, засыпанная сверху песком. Или нет, это уж слишком величественно. Скорее вы похожи на Варвара — вы двоюродный братец моего мастифа. Мне кажется, вы на него так похожи, как только может человек походить на собаку.

— Варвар ваш любимый спутник. Летом, на заре, когда вы отправляетесь гулять по полям, где роса оmyвает ваши ноги, а утренний ветерок освежает щеки и треплет локоны, вы всегда зовете его с собой и зовете посвистом, которому научились от меня. Гуляя в одиночестве по лесу, когда вы думаете, что никто, кроме пса, вас не слышит, вы насвистываете мелодии, которые подслушали у меня, или напеваете песенки, перенятые от меня. Я не спрашиваю, откуда берутся те чувства, которые вы вкладываете в эти песни, ибо знаю, что они поднимаются из глубины вашего сердца, мисс Килдар. В зимние вечера Варвар ложится у ваших ног. Вы разрешаете ему класть морду на надушенный подол вашего платья, ложиться на край вашей атласной юбки! Вы часто гладите его жесткую шерсть, а однажды я

видел, как вы целовали его прямо в белоснежное пятно, украшающее его широкий лоб. Поэтому говорить, что я похож на Варвара, весьма опасно: это значит, что и я могу требовать подобного обращения.

— Возможно, вы и получите все это от вашей сиротки, не имеющей ни денег, ни друзей.

— О, если бы нашлась такая девушка, о которой я мечтаю! Я бы сначала приручил ее, а затем воспитал, сначала укротил, а затем приласкал. Извлечь это обездоленное гордое создание из бедности, приобрести над нею власть, а потом потворствовать ее причудам и капризам, которых раньше никогда не замечал и не поощрял, видеть ее то бунтующей, то покорной, меняющейся десять раз на дню, и наконец после долгих стараний, может быть, исправить ее характер и увидеть ее примерной и терпеливой матерью дюжины ребятишек, лишь изредка отпускающей маленькому Луи добродушный подзатыльник в виде процентов за ту огромную сумму, которую она должна его отцу... О, моя сиротка не скупилась бы на поцелуи! — продолжал я. — Вечером она встречала бы меня у самого порога и бросалась в мои объятия. Наш очаг пылал бы ярким, согревающим душу пламенем. Благослови Боже эти сладкие мечты! Я должен ее найти.

Огонь сверкнул в глазах Шерли, рот ее раскрылся, но она ничего не сказала и упрямо отвернулась.

— Скажите же, скажите мне, мисс Килдар, где она?

Снова вместо ответа жест, полный высокомерия и страстного нетерпения.

— Я должен знать! Вы можете и должны мне сказать.

— Никогда.

Она встала и хотела уйти. Мог ли я и теперь отпустить ее? Нет, я зашел слишком далеко, чтобы не довести дело до конца, и был слишком близок к цели, чтобы отступать. Нужно было рассеять наконец сомнения, преодолеть нерешительность и выяснить все! Она должна принять решение и сказать мне о нем. Тогда и я смогу решить, как быть дальше.

— Еще минуту, — сказал я, взявшись за ручку двери. — Мы проговорили все утро, но последнего слова вы так и не сказали. Скажите сейчас!

— Дайте мне пройти.

— Нет, я охраняю дверь и скорее умру, чем отпущу вас, пока вы не скажете то, чего я жду.

— Вы смеее требовать?.. Что я должна вам сказать?

— То, чего я жду с нетерпением, в смертной тоске, то, что я должен услышать и услышу, то, чего вы не смеее от меня скрывать!

— Мистер Мур, я не понимаю, чего вы хотите; вы просто вне себя.

Видимо, я совершенно потерял самообладание и напугал ее. Сообразив это, я даже обрадовался: чтобы победить Шерли, ее необходимо было припугнуть.

— Вы хорошо знаете, чего я хочу. Впервые я стал с вами самим собой: перед вами сейчас не учитель, а человек, и не просто человек, а джентльмен!

Шерли вздрогнула. Она положила свою руку на мою, как будто хотела оторвать ее от ручки двери, но это нежное прикосновение ни к чему не привело, с тем же успехом она могла пытаться оторвать металл, припаянный к металлу. Видя свое бессилие, она задрожала и отступила.

Не знаю, что случилось со мной, но ее волнение перевернуло мне всю душу. Я забыл об ее поместье и ее деньгах, я больше не считал их препятствием, не думал о них и ни о чем не заботился, эти пустяки уже не могли меня остановить. Я видел только Шерли, юную и прекрасную, ее грацию, ее достоинство, ее девическую скромность.

— Дитя мое! — проговорил я.

— Учитель мой, — тихо прозвучало в ответ.

— Мне нужно вам кое-что сказать.

Она ждала, склонив голову, и локоны закрывали ее лицо.

— Я должен вам сказать, что за четыре года вы овладели сердцем вашего наставника, и теперь оно ваше. Я должен вам признаться, что вы околдовали меня наперекор здравому смыслу, несмотря на мой опыт и разницу в положении и состоянии. Меня обворожил ваш облик, ваши речи и ваши поступки: вы раскрыли передо мной все ваши недостатки и достоинства, вернее — прелести, потому что для достоинств они еще не слишком совершенны! И вот я люблю вас, я люблю вас всем сердцем и всеми силами души! Теперь вы знаете!

Она пыталась ответить, но не находила слов, пыталась обратить все в шутку, но безуспешно. Я страстно повторял, что люблю ее,

люблю, люблю.

— Хорошо, мистер Мур, но что же дальше? — наконец ответила Шерли, пытаясь скрыть за шутливым тоном дрожь в голосе.

— Вам нечего мне сказать? Вы меня совсем не любите?

— Самую чуточку.

— Не мучьте меня, мне теперь совсем не до шуток.

— А я вовсе не шучу, я хочу уйти.

— Как вы можете сейчас так говорить? «Уйти!» Никогда! Вы хотите уйти с моим сердцем, чтобы бросить его на свой туалетный столик, как подушечку для булавок? Нет, вы не уйдете, я вас не выпущу, пока вы не оставите мне залог: жертва за жертву — ваше сердце за мое!

— У меня сердца нет, я его потеряла. Пустите, я пойду его поищу.

— Признайтесь, оно там же, где частенько бывают ваши ключи, — у меня в руках?

— Вам лучше знать. Кстати, где мои ключи, мистер Мур? Я их в самом деле опять потеряла. Миссис Джилл просит денег, а у меня ничего нет, кроме вот этого шестипенсовика.

Она вынула монету из кармана передника и показала ее мне на ладони. Я мог бы пошутить над ней, но было не время: речь шла о моей жизни или смерти. Завладев одновременно и монетой и рукой, в которой она лежала, я спросил:

— Что же, мне умереть без вас или жить для вас?

— Как хотите. Не мне за вас выбирать.

— Я должен услышать приговор из ваших уст: могу я надеяться или вы обрекаете меня на изгнание?

— Уходите... Разлуку я могу перенести.

— Может быть, я тоже смогу вас покинуть, но скажите мне, Шерли, дитя мое, повелительница моя, сами скажите, что мне делать?

— Умрите без меня, если хотите. Живите для меня, если не боитесь.

— Я не боюсь вас, моя тигрица, и с этой минуты до самой смерти я буду жить с вами и для вас. Наконец-то я покорила вас! Теперь вы моя, и я уже никогда вас не выпущу. Где бы я ни жил, я уже избрал себе супругу. Если останусь в Англии — вы будете жить здесь, если отправлюсь за океан — вы последуете за мной. Мы связаны друг с другом навечно, теперь у нас одна судьба.

— Значит, теперь мы равны, сэр? Наконец-то равны?

— Вы моложе, слабее, легкомысленнее, невежественнее.

— Но вы будете со мной добрым, не станете меня тиранить?

— А вы не стесните мою свободу, позвольте мне идти своим путем? Не улыбайтесь в такую минуту! Все плывет и преобразается вокруг меня, солнце загорается ослепительным алым цветом, небо становится фиолетовым водоворотом...

Я крепкий человек, но в тот миг у меня подгибались ноги. Все ощущения усилились, обострились; цвета стали ярче, движения быстрее, сама жизнь как будто ускорила ход. Какое-то мгновение я почти не различал ее лица и слышал только голос — беспощадно нежный. Пойми она, что со мной происходит, она бы из жалости поступилась частицей своей красоты!

— Вы назвали меня тигрицей, — сказала она. — Помните же, что тигрицу нельзя укротить.

— Укрощенная или нет, дикая или усмиренная, вы — моя.

— Я рада, что знаю своего укротителя, я к нему привыкла. Отныне я буду повиноваться только его голосу, управлять мною будет только его рука, отдыхать я буду только у его ног.

Я отвел ее обратно к креслу и сел возле нее. Я хотел слышать ее снова и снова, звуками ее голоса я мог бы упиваться вечно.

— Вы меня очень любите? — спросил я.

— Ах, вы же сами знаете! Я не стану повторять, не стану вам льстить.

— Но я еще и половины не знаю! Мое сердце жаждет слов любви. Если бы вы знали, как оно истосковалось, как оно ненасытно, вы бы поспешили утолить его жажду хотя бы двумя ласковыми словами.

— Бедный Варвар! — сказала она, похлопывая меня по руке. — Бедняга, верный мой друг! На место, баловень, на место!

— Я не пойду на место, пока вы не одарите меня хоть одним нежным словом.

И наконец она меня одарила:

— Дорогой Луи, любите меня вечно и никогда не оставляйте. Жизнь потеряет для меня всякий смысл, если я не смогу пройти ее рука об руку с вами.

— Скажите еще что-нибудь!

Повторяться было не в ее обычае. Шерли переменяла тему.

— Сэр, — сказала она, вставая, — вам грозит большая опасность, если вы вздумаете снова возвращаться к таким низменным вещам, как деньги, бедность или неравенство. Не вздумайте мучить меня щепетильностью и всякими несносными сомнениями. Я запрещаю вам говорить об этом!

Кровь бросилась мне в лицо, и в который раз я посетовал, что сам я столь беден, а она столь богата! Заметив мое огорчение, Шерли так ласково погладила мою руку, что я тут же забыл про свои горести и снова вознесся на вершину блаженства.

— Мистер Мур! — сказала она, подняв на меня свой открытый, нежный, серьезный взор. — Учите меня, помогайте мне быть хорошей. Я не прошу освободить меня от всех забот и обязанностей, налагаемых моим состоянием, но прошу разделить их со мной и наставить меня, как мне лучше исполнить свой долг. Вы судите здраво, у вас доброе сердце и твердые принципы. Я знаю, что вы умны, чувствую, что вы милосердны, и верю, что вы добросовестны. Будьте же моим спутником на жизненном пути, руководите мной там, где у меня нет опыта, будьте моим судьей, когда я ошибусь, будьте моим другом всегда и везде!

Клянусь, я все это исполню!»

\* \* \*

Вот еще несколько страниц из той же записной книжки; если они тебе не по нраву, читатель, можешь их пропустить.

«Симпсоны уехали, но еще до их отъезда все открылось и разъяснилось. Должно быть, меня выдало мое поведение или то, как я смотрел на Шерли. Я вел себя ровно, но временами забывал про осторожность. Иногда я оставался с Шерли в комнате дольше, чем обычно: я не мог и минуты пробыть без нее и то и дело возвращался туда, где одно ее присутствие согревало меня, как солнце Варвара. Если она выходила из дубовой гостиной, я тоже невольно поднимался и шел за ней следом. Шерли не раз упрекала меня за это, но я поступал по-прежнему в какой-то смутной надежде обменяться с ней хоть словом в прихожей или еще где-нибудь. Вчера, уже в сумерках, мне удалось поговорить с ней наедине минут пять в прихожей у камина.

Мы стояли рядом, она подшучивала надо мной, а я наслаждался звуком ее голоса. Девушки Симпсоны прошли мимо, посмотрели на нас, но мы не разошлись; вскоре они снова прошли через прихожую и снова посмотрели на нас. Появилась миссис Симпсон; мы не тронулись с места. Затем сам мистер Симпсон открыл двери столовой. Надув губки и вскинув голову, Шерли сверкнула на него глазами, полными презрения за столь недостойное шпионство. Ее строгий взгляд недвусмысленно говорил: «Мне нравится общество мистера Мура. Посмейте только что-нибудь сказать!»

Я спросил:

— Вы хотите, чтобы он обо всем догадался?

— Да, — ответила она. — А потом будь что будет. Скандала все равно не избежать, я не стараюсь его ускорить, но и не страшусь, только вы непременно должны быть рядом, потому что мне смертельно надоело объясняться с ним с глазу на глаз. В ярости он крайне непригляден; тогда он сбрасывает с себя обычную маску учтивости и тонкого обращения и обнажает свою сущность человека, которого вы бы назвали *commun, plat, bas — vilan et un peu mechant*. [147] У него нечистые мысли, мистер Мур; их надо бы промыть хорошенько мылом и прочистить песком. Если бы он мог присоединить свое воображение к содержимому корзины для грязного белья и попросил бы миссис Джилл прокипятить все это в баке с дождевой водой и порошком для отбеливания, надеюсь, вы оцените мои способности прачки! — это принесло бы мистеру Симпсону неоценимую пользу.

Сегодня рано утром на лестнице слышались ее шаги, и я тотчас спустился в гостиную, где мы обычно завтракали. Я не ошибся: Шерли была там и заканчивала вышивку в подарок Генри. Она поздоровалась со мной холодно, так как в комнате еще убирала горничная. Временно я удовлетворился и этим; спокойно взял книгу и сел у окна. Даже когда мы остались одни, я не стал беспокоить Шерли; сидеть с ней вместе уже было счастьем, вполне соответствовавшим этому раннему утру, — счастьем безмятежным, еще неполным, но все возрастающим. Я знал, что моя навязчивость встретила бы резкий отпор. «Для поклонников меня нет дома», — было написано на ее челе. Поэтому я продолжал читать книгу, лишь время от времени украдкой поглядывая на Шерли.

Черты ее постепенно смягчились, ибо она почувствовала, что я уважаю ее чувства и наслаждаюсь спокойствием этой минуты.

Отчужденность исчезла, ледок незаметно растаял. Меньше чем через час я уже сидел возле нее, любовался ее рукодельем, упивался ее нежными улыбками и веселыми речами, которыми она щедро меня одаривала. Мы сидели рядом, на что имели полное право, и моя рука покоилась на спинке ее стула. Я сидел так близко, что мог сосчитать стежки ее шитья и различить ушко иглки. Внезапно дверь распахнулась.

Я уверен, что, если бы я отпрянул от нее, Шерли стала бы меня презирать, но — спасибо моему обычному хладнокровию — я редко пугаюсь! Когда мне хорошо, приятно и удобно, меня трудно сдвинуть с места, а в ту минуту мне было очень хорошо, и потому я остался сидеть, даже не пошевелившись и едва взглянув на дверь.

— Доброе утро, дядюшка, — сказала Шерли, обращаясь к фигуре, остолбеневшей на пороге.

— Давно ли вы спустились, мисс Килдар, и давно ли сидите здесь наедине с мистером Муром?

— Да, очень давно. Мы оба пришли сюда рано, едва рассвело.

— Это неприлично...

— Когда-то это было действительно неприлично: я вела себя слишком грубо, невежливо, но теперь — вы, наверное, это заметили — мы стали друзьями.

— Я замечаю гораздо больше, чем вам бы хотелось.

— Едва ли, сэр, — сказал я, — нам нечего скрывать. Кстати, хочу вам заметить, что отныне вы можете со всеми замечаниями обращаться также и ко мне. Я буду впредь оберегать мисс Килдар от всяких неприятностей.

— Вы? Какое отношение вы имеете к мисс Килдар?

— Я намерен ее защищать, охранять и служить ей.

— Вы, сэр? Вы, какой-то учителяшка?

— Ни одного оскорбительного слова, сэр! — вмешалась Шерли. — Ни одного непочтительного звука по отношению к мистеру Муру в моем доме!

— Вы становитесь на его сторону?

— На его сторону? О да!



С внезапной нежностью она обернулась ко мне, и я обвил рукой ее стан. Мы оба встали.

— Божжа правый! — возопила, вся дрожа, облаченная в халат фигура.

Должно быть, этот «божжа» был дядюшкиным богом домашнего очага: когда его что-нибудь выводило из себя, мистер Симпсон всегда призывал этого идола.

— Войдите в комнату, дядюшка, вы должны знать все. Скажите ему, Луи.

— Пусть только посмеет! Нищий! Плут! Лживый лицемер! Подлый, вкрадчивый, бесчестный слуга! Прочь от моей племянницы, сэр, отпустите ее!

Шерли в ответ лишь теснее прильнула ко мне.

— Со мной рядом мой будущий супруг, — сказала она. — Кто осмелится тронуть нас хоть пальцем?

— Супруг?

Мистер Симпсон всплеснул руками и рухнул в кресло.

— Еще недавно вам очень хотелось узнать, за кого я собираюсь замуж. Уже тогда мое решение было принято, но говорить о нем было еще рано. Теперь оно созрело, подрумянилось на солнце и налилось всеми соками, как спелый персик: я выхожу за Луи Мура!

— Нет, вы за него не выйдете! — дико завопил мистер Симпсон. — Он вас не получит!

— Я скорее умру, чем выйду за другого. Я умру, если он не будет моим.

Слова, которые он прокричал ей в ответ, недостойны страниц этой записной книжки.

Шерли побледнела как смерть и задрожала всем телом: силы оставили ее. Я уложил ее на кушетку, боясь, как бы она не лишилась чувств, но она открыла глаза и божественной улыбкой успокоила меня. Я поцеловал ее, а затем... Ну, хоть убейте, не могу припомнить, что произошло в следующие пять минут! Шерли потом рассказывала мне сквозь смех и слезы, что я пришел в ярость и превратился в настоящего дьявола. Она говорила, что, оставив ее на кушетке, я одним прыжком пересек комнату, мистер Симпсон пулей вылетел за дверь, я тоже, и тут раздался пронзительный крик миссис Джилл.

Миссис Джилл все еще визжала, когда я пришел в себя в другой части дома, в дубовой гостиной. Помню, я вдавил мистера Симпсона в кресло, вцепившись ему в горло; глаза несчастного вылезли из орбит, а я продолжал его душить. Помню, что экономка стояла рядом, ломая руки и умоляя меня успокоиться. Наконец я его выпустил, в тот же миг пришел в себя и стал холоден, как лед. Тем не менее я приказал миссис Джилл тотчас послать в трактир за экипажем, а мистеру Симпсону сказал, что он должен покинуть Филдхед, как только прибудет карета. Он был вне себя от страха, однако заявил, что уезжать не собирается. Повторив свое распоряжение, я велел заодно вызвать констебля.

— Хотите вы этого или нет, — сказал я, — вам придется уехать.

Он грозился подать жалобу в суд, но это меня не тревожило. Однажды я уже стоял перед ним, если не такой взбешенный, то столь же непреклонный. Это было в ту ночь, когда воры напали на дом в Симпсон-Гроуве и хозяин при его чрезвычайной трусости хотел переполошить всех соседей, вместо того чтобы обороняться. Тогда мне пришлось защищать его дом и его семейство, и я это сделал, усмирив сначала хозяина. Поэтому сейчас я не отходил от него, пока не прибыл экипаж и сам усадил его в коляску. Симпсон не переставал осыпать меня бранью, он был потрясен и обозлен, он стал бы сопротивляться, если бы знал, как это сделать. Наконец он стал звать жену и дочерей; я сказал, что они последуют за ним, как только соберутся. Невозможно передать, как он рвал и метал, но было ясно, что все это пустые угрозы; стоит проявить твердость, и он ничего не сделает. Я знал, что он не потащит меня в суд; свою жену он изводил по мелочам, но в делах важных решающее слово всегда оставалось за ней. Уже давно я заслужил ее глубочайшую материнскую благодарность своим отношением к Генри: когда он бывал болен, я ухаживал за ним лучше всякой сиделки, как она сама говорила, а этого никакая мать никогда не забудет...

Сегодня миссис Симпсон и ее дочери тоже уехали в гневе и смятении. Миссис Симпсон не сказала ни слова, но все же она меня уважает. Когда Генри бросился ко мне на шею и я поднял его в карету и усадил возле матери, когда я укутал и ее, чтобы ей было теплее, она от меня отвернулась, но я увидел, как на глаза ее навернулись слезы. Она с еще большим жаром будет защищать меня потому, что

рассталась со мной так холодно. Я очень этому рад, но не за себя, а за ту, что для меня дороже всего на свете, — за мою Шерли».

\* \* \*

Неделю спустя Луи Мур писал:

«Теперь я живу в Стилбро. Я поселился на время у одного из моих друзей. Это чиновник, и я могу быть ему полезен. Каждый день я отправляюсь верхом в Филдхед. Когда же наконец я смогу назвать это поместье своим домом, а его хозяйку — своей женой? На душе у меня тяжело и беспокойно, я испытываю танталовы муки, которые иной раз страшнее всех пыток. Теперь, глядя на Шерли, невозможно себе представить, что совсем недавно она склонялась к моему плечу, приникала ко мне с нежностью и доверием. Мне страшно, она превратила меня в несчастное существо. Она меня избегает, — когда я приезжаю, она ускользает от меня. Сегодня я заглянул в ее большие темные глаза. Трудно описать, что я в них увидел! Пантера, прекрасная дикая пантера, коварное, неукротимое, несравненное создание! Она грызет свою цепь, я вижу белые зубы, закусившие сталь! Она мечтает о диких лесах, стремится к девической свободе. Я хочу, чтобы Симпсон возвратился и снова вынудил ее искать защиты в моих объятиях, чтобы ей снова угрожала опасность потерять меня, как я сейчас рискую потерять ее. Нет, я ее не потеряю, но меня страшит слишком долгая отсрочка...

Уже ночь, скоро полночь. Весь день и весь вечер я провел в Филдхеде. Всего несколько часов назад она прошла мимо меня, спускаясь по дубовой лестнице в прихожую; она не знала, что я стою в полутьме у окна и смотрю на холодный блеск звездного неба. Как близко от меня проскользнула она! Как стыдливо сверкнули ее большие глаза! Ее взгляд, мимолетный и робкий, легкий и быстрый, был словно сполох северного сияния!

Я последовал за ней в гостиную; там уже были миссис Прайор и Каролина Хелстоун, которых она пригласила. В белом вечернем платье, с ниспадающими на плечи густыми локонами, легкой, неслышной поступью, с бледным лицом и глазами, полными тьмы и света, Шерли походила на эльфа, на дитя огня и ветра, дочь солнечного

луча к дождевой капли, на что-то неуловимое, воздушное и непостоянное. Я хотел хоть на мгновение оторвать от нее взор и не мог. Я разговаривал с другими дамами, но смотрел только на нее. Она была очень молчалива. Мне кажется, Шерли ни разу не обратилась ко мне, даже тогда, когда предложила мне чаю.

Случилось так, что миссис Джилл вызвала ее на минутку. Я вышел в прихожую, залитую лунным светом, чтобы перекинуться с ней хоть словом, когда она будет возвращаться. Надежды мои сбылись.

— Мисс Килдар, подождите минутку, — остановил я ее.

— Зачем? Здесь так холодно.

— Мне не холодно, возле меня и вы не озябнете.

— Но я вся дрожу!

— Наверное, от страха. Почему вы меня боитесь? Почему вы стали так равнодушны, так далеки от меня?

— Как же мне не бояться, когда при лунном свете вы похожи на огромного мрачного домового!

— Постойте, не уходите! Побудьте со мной еще немного, поговорим на свободе. Вот уже три дня я не разговаривал с вами наедине, — это жестоко.

— Я вовсе не хотела быть жестокой, — отвечала она с нежностью, которая сквозила во всех ее движениях, была написана у нее на лице, звучала в ее голосе, хотя все ее существо сковывала какая-то почти неприметная, неуловимая, смутная отчужденность.

— Вы меня очень огорчаете, — сказал я. — Не прошло и недели с того дня, когда вы назвали меня своим будущим супругом, а теперь я снова стал для вас учителем. Вы называете меня «мистером Муром», «сэром»; ваши уста забыли имя «Луи».

— Нет, Луи, нет; это приятное, легкое имя, его нельзя так быстро забыть.

— Тогда будьте с Луи поласковее, подойдите к нему, позвольте ему вас обнять.

— Я и так ласкова, — сказала она, ускользя от меня, как белый призрак.

— Ваш голос очень нежен и очень тих, — продолжал я, спокойно подходя к ней. — Вы, кажется, смирились, но что-то вас еще пугает.

— Нет, я совершенно спокойна и ничего не боюсь, — заверила она меня.

— Ничего, кроме своего возлюбленного.

Я встал перед ней на колени.

— Понимаете, мистер Мур, я очутилась в каком-то новом мире, я не узнаю ни себя, ни вас. Но встаньте. Когда вы так ведете себя, мне тревожно и беспокойно.

Я повиновался; мне совсем не хотелось долго оставаться в столь неподходящей для меня позе. Я только хотел, чтобы она успокоилась и вновь прониклась ко мне доверием, и я добился успеха.

— Теперь, Шерли, — продолжал я, — вы можете понять, как я далек от счастья, оставаясь в таком неопределенном, неудобном положении.

— О нет, вы счастливы! — быстро воскликнула она. — Вы даже не знаете, как вы теперь счастливы. Любая перемена будет к худшему.

— Счастлив я или нет, но у меня нет больше сил терпеть. Вы так великодушны, не подвергайте же меня столь жестокому испытанию!

— Будьте благоразумны, Луи, будьте терпеливы! Вы потому и нравитесь мне, что терпеливы.

— Я больше не хочу вам нравиться, лучше полюбите меня и назначьте день нашей свадьбы. Подумайте об этом сегодня вечером и решите.

Она прошептала что-то неясное, но достаточно выразительное, вырвалась, или, вернее, выскользнула из моих объятий, и я остался один».

## ГЛАВА XXXVII

### Заключительная

Да, читатель, пора подвести итоги. Расскажем вкратце, что случилось с героями, с которыми мы познакомились в этой повести, и затем пожмем друг другу руки и на время расстанемся.

Вернемся к нашим любимым младшим священникам, о которых мы так долго не упоминали. Кто из вас самый достойный и скромный — шаг вперед!

Я вижу, Мелоун сразу откликнулся на наш призыв: он тотчас узнал себя по нашему описанию.

Нет, Питер Огест, говорить о тебе нечего, да и незачем. Трогательная повесть о твоих делах и похождениях слишком невероятна, чтобы кто-нибудь в нее поверил. Разве ты не знаешь, что у взыскательной публики есть свои причуды? Неприкрашенная правда не встретит сочувствия, голых фактов никто просто не переварит. Визг живой, настоящей свиньи в наши дни не более приятен, чем и во время оно. И если я поведаю о постигшей тебя жизненной катастрофе, то публика забьется в истерику и раздастся истошный крик: «Скорее нюхательной соли и жженных перьев»!<sup>[148]</sup>

«Не может быть!» — кричали бы одни. «Ложь!» — вторили бы другие. «Неизящно!» — единогласно решили бы все. Заметь хорошенько, Питер! Когда говоришь чистую, неприкрашенную правду, ее всегда называют ложью. От нее отворачиваются, ее гонят прочь, отсылают в сиротский приют, тогда как плод воображения, пустой вымысел, даже просто бред, — примут, приласкают, назовут приличным, милым, необыкновенно естественным; уродливый выдуманный подкидыш получает все ласки, а на долю настоящего родного дитяти остаются одни колотушки. Таковы порядки в этом мире, Питер, и поскольку ты именно такой, настоящий, неотесанный, неумытый и непослушный, то лучше тебе не высовываться вперед.

А теперь дорогу мистеру Суитингу. Вот он идет под руку со своей миссис Суитинг, урожденной мисс Дорой Сайкс, самой великолепной и самой тяжеловесной женщиной во всем Йоркшире. Они поженились при весьма благоприятных обстоятельствах, когда мистер Суитинг

начал получать достаточное жалованье, чтобы жить в довольстве, а мистер Сайкс был при деньгах и смог дать за дочерью хорошее приданое. Суитинги жили долго и счастливо, любимые прихожанами и многочисленными друзьями.

Ну, кажется, на сей раз лакировка мне удалась!

Теперь ваша очередь, мистер Донн. Приблизьтесь!

Сей джентльмен, ко всеобщему удивлению, кончил гораздо лучше, чем можно было предполагать. Он тоже женился, причем на весьма практичной, кроткой и благовоспитанной маленькой женщине. Женильба пошла ему на пользу: он стал образцовым семьянином и весьма деятельным приходским священником — от более высокого сана он сознательно отказался. Церковные чаши и блюда мистер Донн полировал самыми лучшими полировальными порошками, о мебели алтаря и всего храма заботился с рвением обивщика и столяра-краснодеревца. Он воздвиг маленькую школу, церквушку, уютное скромное жилище, — и все это было своего рода совершенством. Если бы единообразие и вкус в архитектуре были тем же, что постоянство и серьезность в религии, то мистер Донн стал бы идеальным пастырем своей христианской паствы! И еще в одном искусстве ни один смертный не мог с ним сравниться — в искусстве выпрашивать деньги. Один, без посторонней помощи мистер Донн выпрашивал столько, что ему хватало на все его сооружения. Действовал он на диво беззастенчиво, без всякого стеснения, просил у всех подряд, и у бедных и у богатых, начиная с босоногого мальчишки-батрака и кончая титулованным герцогом. Он рассылал письма во все концы — и к старой королеве Шарлотте, и к принцессам, ее дочерям, и к наследным герцогам, ее сыновьям, и к принцу-регенту, и к лорду Каслри, и ко всем членам тогдашнего кабинета. Самое замечательное, что от каждой из этих особ он хоть немного, да получал! Говорят, что даже у старой скупой королевы Шарлотты он выклянчил пять фунтов, а у царственного распутника, ее старшего сына — две гиней.

Отправляясь за добычей, мистер Донн забывал про стыд и совесть. Если вчера вы дали ему сто фунтов, то это еще не значило, что сегодня он не попросит у вас двести. Он говорил это прямо в глаза и почти всегда выманивал у вас еще что-нибудь. Зачастую вы уступали, чтобы только от него отвязаться. Но вообще-то говоря, эти деньги он тратил и на добрые дела, принося посильную пользу ближним.

Пожалуй, здесь не лишнее упомянуть, что после преждевременного и неожиданного исчезновения Мелоуна, — вы не узнаете, как это случилось, читатель, вам придется поступиться своим любопытством ради любви к прекрасному и приятному, — его место в Брайерфилдском приходе занял другой младший священник, тоже ирландец, некто мистер Макарти. Я счастлива сообщить вам, — в полном соответствии с истиной, — что этого джентльмена в округе настолько же уважали, насколько презирали Мелоуна, что он проявил себя человеком столь же порядочным, скромным и добросовестным, сколь Питер показал себя непристойным, буйным и... последний эпитет лучше опустить, чтобы не выдать его тайну.

Макарти усердно трудился. Обе школы прихода, воскресная и ежедневная, расцвели и разрослись под его руководством, как благородные оливы. Конечно, как и у всех смертных, у него были недостатки, однако это были слабости столь приличные, простительные и понятные, что многие называли бы их добродетелями. Случай, когда он обнаружил, что его пригласили на чашку чая вместе с каким-нибудь диссидентом, мог на неделю выбить его из колеи; вид квакера, не снявшего шляпу в церкви, или мысль о некрещеном создании, похороненном по христианским обычаям, могли совершенно расстроить его здоровье и нарушить душевное спокойствие. Во всех других отношениях это был вполне здравомыслящий, старательный и милосердный человек.

Я не сомневаюсь, что любящая справедливость публика давно уже обратила внимание на то, что автор с преступной небрежностью ни словом не обмолвился о розысках, поимке и достойном наказании злодея, чуть не убившего Роберта Мура. Это было бы прекрасной возможностью показать моим доброжелательным читателям поучительный и одновременно волнующий спектакль с участием закона, религии, суда, тюрьмы и, наконец, виселицы. Вам, читатель, этот спектакль, может быть, и понравился бы, но мне нет. Я могла бы серьезно поссориться с моим сюжетом, и тогда бы все пропало. Поэтому я радуюсь, что сами факты избавили меня от столь тяжкого выбора. Убийца так и не был наказан по той простой причине, что он не был пойман, а это произошло оттого, что его и не разыскивали. Члены магистрата хлопотали и суетились, словно были полны решимости и отваги, но так как сам Мур, вместо того чтобы



подстегивать и направлять их, как бывало прежде, все еще лежал на своей узкой постели, посмеиваясь исподтишка над всеми их усилиями, — каждая черточка его бледного, странного лица выражала иронию, — они передумали и после выполнения необходимых формальностей благоразумно решили считать дело оконченным.

Мистер Мур отлично знал, кто стрелял в него, и весь Брайерфилд тоже. Это был не кто иной, как Майк Хартли, полупомешанный ткач, о котором мы уже упоминали, — неистовый сектант-антиномист в религии и убежденный левеллер в политике. Через год после покушения на Мура бедняга скончался от белой горячки, и Роберт дал несчастной вдове гинею на его похороны.

\* \* \*

Зима прошла; за нею быстро промелькнула весна, то ясная, то пасмурная, то солнечная, то дождливая. И вот мы в самом разгаре лета, в середине июня 1812 года.

Палящая жара. Небеса — бездонная лазурь и червонное золото. Эти цвета отвечают духу времени, отвечают настроению народов. Юнец-исполин, девятнадцатый век, резвится; молодой Титан для забавы играет утесами, для разминки двигает горы. Этим летом Бонапарт на щите: он идет со своей ратью по русским лесам и полям. С ним французы и поляки, итальянцы и дети Рейна всего шестьсот тысяч солдат. Он движется на древнюю Москву, но под стенами древней Москвы его ждет суровый русский мужик. Это дикий и непреклонный воин! Он бесстрашно ожидает неотвратимую лавину. Он верит в снежные тучи своей зимы. Безбрежная пустыня, ветры и метели уберегут его; Воздух, Огонь и Вода помогут ему. Кто они? Три грозных Архангела, самые грозные из всех когда-либо стоявших перед троном Иеговы. Закутанные в белое, подпоясанные золотыми поясами, они поднимают чаши, наполненные Божьим гневом. Их час отмщения, их клич — клич повелителя духов, гремящий подобно Божьему гласу.

— Вторгся ли ты в царство снега? Узрел ли сокровища, которые я сберег во дни смуты, войны и сражений? Иди своим путем, опрокинь на землю чашу Божьего гнева!

Так и сбылось: земля потрескалась от огня, моря покраснели от пролитой крови, острова потонули, горы сровнялись с землей.

В тот год лорд Веллингтон возглавил армию в Испании: ради своего спасения испанцы сделали его генералиссимусом. В том же году он взял Бадахос, сражался на полях Виттории, овладел Памплоной, штурмовал Сан-Себастьян и в том же году захватил Саламанку.

Жители Манчестера! Прошу прощения за столь краткий перечень военных действий, но ведь теперь это не имеет значения! Теперь лорд Веллингтон в ваших глазах всего лишь дряхлый старец, и я даже думаю, что некоторые из вас поговаривают, будто он выжил из ума, и попрекают его тем, что он жалок и немощен. Но лучше оглянитесь на себя! Такие, как вы, попирают ногами все, что есть смертного в полубоге. Хороши герои! Что ж, смейтесь сколько угодно, — ваши насмешки никогда не оскорбят его великое старое сердце.

А теперь, друзья, будь вы квакеры или владельцы текстильных фабрик, давайте примиримся и вырвем ненависть из наших сердец! Мы с неугасающим пылом повествовали о кровавых сражениях и жестоких полководцах. Но теперь на вашей улице праздник. Восемнадцатого июня 1812 года Приказы Совета были отменены и все блокированные гавани открыты. Если вы достаточно прожили на свете, то, конечно, хорошо помните, что весь Йоркшир и весь Ланкашир дрожали от приветственных возгласов, а на Брайерфилдской колокольне даже треснул один из колоколов, — он дребезжит и по сей день. Общество купцов и фабрикантов устроило в Стилбро обед, после которого все его члены до единого возвратились домой в таком состоянии, в каком жены никогда бы не желали их видеть. Ливерпуль волновался и фыркал, как бегемот, которого гроза застигла в тростниковых зарослях. Некоторых американских торговцев едва не хватил удар, — пришлось им пустить себе кровь. В ту пору начала процветания, будучи умудрены опытом, все приготовились с головой окунуться в спекуляции, чтобы запутаться в новых затруднениях, а быть может, и захлебнуться в этом водовороте.

Товары, накопившиеся за много лет, мгновенно разошлись, склады опустели, корабли наполнились. Работы хватало на всех, заработки увеличились; казалось, настали счастливые времена. Быть может, надежды эти были необоснованны, однако выглядели они

весьма заманчиво, а некоторые даже сбылись. В то время за один июнь было утрачено немало состояний.

\* \* \*

Когда ликует целая провинция, то даже самые бедные ее обитатели испытывают какое-то радостное чувство. Колокольный звон проникает в самые уединенные жилища, призывая к веселью всех.

Так думала и Каролина Хелстоун, одеваясь тщательнее обычного в этот день триумфа торговли. После обеда она отправилась в своем лучшем кисейном платье в Филдхед, где присматривала за приготовлениями к одному важному событию; в этом деле хозяйка целиком положила на ее безупречный вкус. Каролина выбрала венок, вуаль и подвенечное платье, а также ткани и фасоны для многих других, на все случаи. Мнения невесты она не спрашивала, ибо эта леди находилась в таком состоянии, что ничего дельного сказать не могла.

Луи Мур чувствовал, что ему предстоит преодолеть еще много препятствий, и оказался прав. Какое-то странное раздражение овладело его повелительницей. Она откладывала свадьбу со дня на день, с недели на неделю, с месяца на месяц. Сначала она заставляла его соглашаться на это ласками и нежностями, но под конец он не выдержал и восстал против этой сладостной и одновременно невыносимой тирании. Ему пришлось поднять целую бурю, чтобы вырвать у Шерли согласие. Но вот наконец мисс Килдар назначила день: теперь она была побеждена любовью и связана словом.

Покоренная и обезоруженная, она томила подобно вольной дочери пустыни, захваченной в плен. И ободрить ее мог лишь тот, кто ее пленил. Только общество Луи Мура заменяло ей утраченную свободу. В его отсутствие она сторонилась людей, говорила мало, ела еще меньше.

Шерли совсем не заботилась о свадьбе, Луи должен был обо всем думать сам. За несколько недель до того, как сделаться официальным владельцем Филдхеда, он уже стал там полным хозяином. И не было хозяина более доброго и более снисходительного. Невеста его ни во что не вмешивалась; она отказалась от своей власти без малейшего

сожаления. «Пойдите к мистеру Муру! Спросите у мистера Мура», — неизменно отвечала она, когда к ней приходили за приказаниями. Никогда еще богатая невеста не довольствовалась такой скромной ролью и не отказывалась от своих прав с такой легкостью.

Поведение мисс Килдар отчасти объяснялось тем, что это доставляло ей удовольствие, а отчасти и сознательно продуманным планом, что подтвердилось следующей фразой, оброненной Шерли через год после свадьбы:

«Луи никогда бы не научился распоряжаться, — сказала она, — если б я не выпустила бразды правления из своих рук. Бездеятельность монарха развивает способности премьер-министра».

Сначала было решено, что Каролина Хелстоун будет на свадьбе подружкой невесты, однако судьба уготовала ей иную роль.

Каролина вернулась домой к вечеру. Было время поливать цветы, чем она и занялась. Когда последний розовый куст на тихой зеленой лужайке позади дома был полит и освежен, Каролина остановилась на минутку отдохнуть. Поблизости от дома лежал обтесанный камень, быть может служивший когда-то подножием креста. Девушка взобралась на него, чтобы получше осмотреться. В одной руке она все еще держала лейку, другой подобрала нарядное платье, чтобы не закатать его водой. Она смотрела через ограду, туда, где раскинулись безлюдные поля, где три черных дерева, тесно прижавшись друг к другу, возносили к небу свои вершины, где за одиноким кустом терновника начиналась одинокая тропинка, убегавшая вдаль через мрачное болото, над которым плясали отблески праздничных костров. Был теплый летний вечер, весело трезвонили колокола, густой дым костров мягко струился вверх, а их красное пламя разгоралось все ярче. Солнце зашло, на вечернем небосклоне замерцала серебристая точка — Звезда Любви.

В тот вечер Каролина не чувствовала себя несчастной, совсем наоборот; однако, посмотрев вдаль, она вздохнула и едва успела вздохнуть, как чья-то рука обвила ее стан. Каролине показалось, что она знает эту руку. Даже не обернувшись, она проговорила:

— Я смотрю на Венеру, мама. Поглядите, как она хороша, как она светло горит по сравнению с этими темно-красными кострами!

В ответ рука еще крепче обняла ее талию. Каролина обернулась и вместо добрых черт миссис Прайор увидела смуглое мужское лицо.

Выронив лейку, Каролина соскочила со своего пьедестала.

— Я целый час просидел с вашей мамой, — сказал мужчина. — Мы с ней наговорились всласть. Но где были вы все это время?

— В Филдхеде, Роберт. Сегодня Шерли строптивее, чем всегда: что ни спроси, ответа не добьешься. Она все время сидит одна, и я, право, не разберу — грустна она или ко всему безразлична. Упрекать ее или тревожить бессмысленно, она только смотрит на тебя, и от одного ее взгляда можно сделаться такой же сумасшедшей, как она сама. Не знаю, что будет делать с ней Луи! Будь я мужчиной, я бы, наверное, не решилась взять ее в жены.

— Не беспокойтесь о них, они созданы друг для друга. Как ни странно, Луи еще больше любит Шерли за ее причуды и наверняка с ней справится, если только с нею вообще можно справиться. Она его немало помучила; сватовство было слишком бурным даже для такого спокойного человека, как он, но, видите, в конце концов брат одержал победу. Оставим их, Каролина! Мне хотелось поговорить с вами. Кстати, вы знаете, по какому случаю весь этот колокольный трезвон?

— По случаю отмены столь ненавистных вам Приказов. Теперь вы, наверное, довольны.

— Вчера вечером, в это же время, я укладывал свои книги, собираясь в далекое путешествие. Эти книги — единственное мое достояние, если не считать кое-какой одежды, семян и инструментов, которые я считал себя вправе захватить в Канаду. Я собирался покинуть вас.

— Покинуть меня? Покинуть меня?

Ее пальчики ухватились за его руку, голос задрожал, лицо побледнело от страха.

— Теперь не собираюсь, теперь не покину! Всмотритесь в мое лицо, взгляните в него хорошенько! Разве вы видите на нем следы отчаяния?

Она взглянула и увидела радостную физиономию, каждая черточка которой сияла, несмотря на присущую Муру серьезность. Это мужественное энергичное лицо вдохнуло в ее сердце надежду, наполнило его нежностью и счастьем.

— Неужели отмена Приказов принесет вам сразу такое облегчение? спросила она.

— Их отмена спасает меня. Теперь я не сделаюсь банкротом, не откажусь от своего дела и не уеду из Англии. Теперь я не останусь бедняком и смогу заплатить долги. Теперь я сбуду с рук все сукно, которым забиты мои склады, и получу новые, более крупные заказы. Этот день заложит прочную основу моего благосостояния; впервые в жизни я могу спокойно думать о будущем.

Каролина жадно внимала этим словам. Она взяла его за руку и глубоко вздохнула.

— Вы спасены? Все преграды исчезли с вашего пути?

— Да, исчезли. Я могу свободно дышать, могу действовать.

— Наконец-то! Провидение к вам милостиво! Поблагодарите его, Роберт!

— Да, я благодарю судьбу.

— И я тоже, за вас!

Каролина молитвенно возвела очи к небу.

— Теперь я смогу нанять больше рабочих, повысить им плату, действовать продуманнее и шире, творить иногда добро, быть менее эгоистичным. Теперь, Каролина, я могу обзавестись домом, который будет моим, и теперь...

Тут его глубокий голос прервался, и Роберт умолк.

— Теперь, — наконец проговорил он, — я могу думать о женитьбе, теперь я могу поискать себе невесту.

Любые слова были бы сейчас неуместны, и Каролина промолчала.

— Захочет ли кроткая всепрощающая Каролина забыть все страдания, которые я ей причинил, все болезни души и тела, которые она из-за меня перенесла? Захочет ли она предать забвению все то, что ей известно о моем жалком честолюбии, о моих корыстных замыслах? Позволит ли она мне искупить все мои грехи перед ней? Когда-то я безжалостно покинул ее, легкомысленно шутил над ней и жестоко оскорблял ее; позволит ли она мне доказать, что теперь я смогу преданно любить ее, нежно лелеять и хранить как зеницу ока?

Его рука все еще лежала в руке Каролины, легкое пожатие было ему ответом.

— Каролина моя?

— Да, ваша!

— Я сумею ее оценить, потому что сердцем постиг все ее достоинства. Без моей Каролины мне нет жизни, потому что ее счастье

и благополучие мне дороже всего на свете.

— Я тоже люблю вас, Роберт, и буду верно о вас заботиться.

— Вы будете верно заботиться обо мне? Заботиться! Как будто роза может укрыть от непогоды побуревший твердый камень! И все-таки она будет обо мне заботиться на свой лад: эти ручки создадут мне желанный уют. Я знаю, что существо, с которым я решил соединить мою жизнь, принесет с собой утешение, милосердие, душевную чистоту — все, чего не хватает мне самому.

Внезапно Каролина изменилась в лице, губы ее задрожали.

— Что тревожит мою голубку? — спросил Мур, когда она было прильнула к нему, но тут же тревожно отпрянула.

— Бедная матушка! У нее нет никого, кроме меня. Неужели я должна ее оставить?

— Я уже думал об этом, и мы с матушкой все обсудили.

— Скажите мне, как вы решили?.. Я готова согласиться на все, но я ни за что не расстанусь с ней, даже ради вас. Я не смогу разбить ее сердце!

— Она оставалась верна вам, когда я изменял, не так ли? Меня не было рядом во время вашей болезни, а она от вас не отходила, — вы это хотите сказать?

— Что же мне делать? Я готова на все, лишь бы не расставаться с нею!

— Вы никогда не расстанетесь, если это зависит от меня.

— Значит, ей можно будет жить где-нибудь возле нас?

— Не возле, а с нами. Только у нее будут отдельные комнаты и своя прислуга, — это ее неперемнное условие.

— Вы знаете, у нее есть небольшой доход; при ее скромных привычках ей этого вполне хватит, и она ни от кого не будет зависеть.

— Она уже сказала мне об этом. И с таким благородством, с такой гордостью, что невольно напомнила мне другую особу...

— Она ни во что не вмешивается и не любит сплетен.

— Я ее знаю, Кэри. Но если бы даже она была воплощением назойливости и злоязычия, я бы все равно ее не испугался.

— Даже если она станет вашей тещей?

Каролина потупилась, вызвав на лице Мура улыбку.

— Луи и я не из тех, кто боится своих тещ, Кэри. В нашей семье никогда не было и не будет раздоров. Я не сомневаюсь, что моя теща

останется мною довольна.

— Конечно, но только помните: она не выставляет своих чувств напоказ. Так что, если она будет молчалива и даже холодна, не думайте, что она чем-то обижена, только вид такой. Положитесь на меня, когда вам будет что-либо непонятно, и всегда верьте моим словам, Роберт.

— О, безусловно! Но шутки в сторону, я чувствую, что мы с ней сойдемся, *on ne peut mieux*.<sup>[149]</sup> Вы знаете, что Гортензия чрезвычайно мнительна в нашем французском значении этого слова и, возможно, иногда чересчур требовательна, но я еще ни разу не оскорбил ее чувств и ни разу не поссорился с нею всерьез.

— Да, к ней вы бесконечно внимательны, нежны и снисходительны. Надеюсь, вы будете так же внимательны к маме. Вы настоящий джентльмен, Роберт, джентльмен с головы до ног, и это особенно видно в ваших отношениях с домашними.

— Эта похвала мне очень приятна. Я рад, что моя Каролина так думает обо мне.

— Мама думает точно так же.

— Надеюсь, не совсем так же?

— Она не собирается за вас замуж, не обольщайтесь. Но на днях она мне сказала: «Знаешь, дорогая, у мистера Мура такие приятные манеры! Он один из немногих джентльменов, у которых учтивость сочетается с искренностью».

— Ваша матушка, наверно, из числа мизантропов: у нее далеко не лестное мнение о мужчинах, не правда ли?

— Она не решается судить о всех мужчинах, однако некоторые, в виде исключения, ей очень нравятся. Это Луи, мистер Холл и за последнее время вы сами. Прежде она вас недолюбливала; я это поняла потому, что она не хотела о вас говорить. Однако, Роберт...

— В чем дело? Что еще вас встревожило?

— Вы уже виделись с моим дядей?

— Да, матушка позвала его в свою комнату. Он согласен, но с одним условием: я должен доказать, что смогу содержать жену. Конечно, я смогу, гораздо лучше, чем он думает, и даже лучше, чем я сам могу теперь предположить.

— Роберт, если вы разбогатеете, вы будете делать добро людям?



— Буду, а вы мне подскажите — как. Конечно, и у меня есть планы; когда-нибудь мы их обсудим у нашего домашнего очага. Я убедился в необходимости делать добро и в полном безрассудстве эгоизма. Каролина, я словно вижу то, о чем сейчас говорю! Эта война должна вскоре кончиться. Торговля в течение ближайших лет будет процветать. Возможно, между Англией и Америкой еще возникнут какие-либо временные недоразумения, но и они скоро исчезнут. Что вы скажете, если когда-нибудь, меньше чем через десять лет, мы с Луи разделим Брайерфилдский приход между собой? Луи во всяком случае может твердо рассчитывать на положение и богатство. Его таланты не останутся втуне; он добрый малый и к тому же обладает незаурядным умом. Думает он, правда, медленно, зато основательно. Пожалуй, его выберут в мировые судьи, Шерли в этом уверена. Она бы уже начала добиваться для него этой должности, если бы он ей это позволил, однако Луи ее удержал. Он, как всегда, не желает спешить. Но когда он станет хозяином Филдхеда, не пройдет и года, как вся округа почувствует его спокойное влияние и признает его неоспоримые достоинства. Со временем сами жители выберут его мировым судьей добровольно и без всякого принуждения, — без Луи Мура им не обойтись. Сейчас все восхищаются его будущей женой, но со временем полюбят и его. Он ведь *bon comme le pain*,<sup>[150]</sup> из доброго теста, — он, как говорится, каждодневный хлеб для самых привередливых, — полезен для ребенка и для старика, для бедного и для богатого. Шерли, несмотря на все ее причуды и странности, несмотря на все отговорки и отсрочки, искренне его любит. В один прекрасный день остальные тоже его оценят и полюбят, а это как раз то, чего она желает. Люди будут уважать Луи, считаться с ним, полагаться на него, и советы его всегда будут разумны, помощь всегда действенна и доброжелательна. В нем будут нуждаться, начнут обременять просьбами, и ему придется даже ввести какие-то ограничения. Со своей стороны, я постараюсь, если дела пойдут хорошо, увеличить доходы этой четы, удвоить ценность их фабрики. Тогда я смогу застроить голую лощину рядами домиков с садами.

— Роберт! И вырубить всю молодую поросль?

— Не пройдет и пяти лет, как вся поросль пойдет на дрова. Чудесные дикие склоны оврага превратятся в гладкие спуски, а его зеленое дно — в мощеную улицу. Можно будет настроить домов и в

темной низине, и на пустующих сейчас склонах. Извилистая, каменистая тропа превратится в ровную широкую черную дорогу, усыпанную золой с моей фабрики, а мою фабрику, Каролина, я расширю так, что она займет весь теперешний двор!

— Какой ужас! Вы хотите закоптить голубое небо над нашими холмами, как в Стилбро!

— Я направлю воды Пактола через Брайерфилдскую долину.

— Ручей мне нравится гораздо больше.

— Я добьюсь разрешения огородить наннлийские земли и разделю их на фермы.

— Слава Богу, хоть Стилброская пустошь уцелеет! Что может вырасти на билберрийском торфянике? Что расцветет в топях Рашеджа?

— Каролина, бездомные, голодные и безработные начнут стекаться на мою фабрику со всех концов страны. Джо Скотт будет давать им работу, Луи Мур, эсквайр, — сдавать в аренду коттеджи, а миссис Джилл будет бесплатно кормить их до первой полочки.

Каролина улыбнулась.

— А какую воскресную школу получит моя Кэри! И еще ежедневную школу, где учительницами будете вы, Шерли и мисс Эйнли. Доходов от фабрики хватит и для хозяина и для хозяйки; тогда эсквайр-фабрикант сможет угощать всех соседей хоть каждые три месяца!

Она молча подставила губы, чем Мур явно злоупотребил, поцеловав ее раз сто.

— Все это пока лишь сладкие мечты! — сказал Мур, улыбаясь и вздыхая. Но, быть может, нам удастся кое-что осуществить. Ого, смотрите-ка, уже выпала роса! Разрешите отвести вас в дом, миссис Мур.

\* \* \*

Наступил август. Снова звонят колокола, но теперь уже не только в Йоркшире — по всей Англии. Из Испании раздается торжествующий трубный глас; он звучит все громче и громче, возвещая, что Саламанка пала.

Этой ночью весь Брайерфилд будет празднично освещен. Днем филдхедским арендаторам устраивают обед; рабочие с фабрики соберутся за столом в лощине; для школ тоже приготовлено обильное угощение, и все это потому, что утром в брайерфилдской церкви было сразу две свадьбы: Луи Жерар Мур, эсквайр, родом из Антверпена, сочетался браком с Шерли Килдар, дочерью покойного Чарльза Кейва Килдара, эсквайра из Филдхеда. Роберт Жерар Мур, эсквайр, владелец фабрики в лощине, взял в жены Каролину Хелстоун, племянницу преподобного Мэттьюсона Хелстоуна, священника Брайерфилдского прихода.

Первую пару венчал мистер Хелстоун, посаженным отцом был владелец Брайермейнса Хайрам Йорк, эсквайр. Вторую пару обвенчал наннлийский священник мистер Холл. В свадебной процессии особенно выделялись два молодых шафера — Генри Симпсон и Мартин Йорк.

\* \* \*

Похоже, что предсказания Роберта Мура, во всяком случае частично, сбылись. Не так давно я посетила лощину, где раньше, говорят, были только дикие зеленые заросли, и увидела, что мечты фабриканта воплотились в каменные и кирпичные строения, в широкую черную дорогу, в дома и сады. Там же я видела большую фабрику с такой высокой трубой, что она могла бы поспорить с вавилонской башней. Вернувшись домой, я рассказала обо всем моей старой экономке.

— Да, — сказала она, — чудные дела творятся на свете. Я еще помню, как строили старую фабрику, самую первую в нашей округе, и помню, как ее сломали. Потом со своими подружками я ходила смотреть, как закладывают первый камень новой фабрики; оба мистера Мура похлопотали тогда немало. Они были там среди нарядных гостей вместе со своими женами. Ах, какие это красавицы, настоящие леди! Только миссис Луи была покрасивее, — на ней всегда были такие красивые платья, — а миссис Роберт держалась поскромнее. Миссис Луи все улыбалась; видно, она была уж очень счастлива, и здорова, и

довольна жизнью, но уж если на кого взглянет, — так и пронзит насквозь! Нет, таких красавиц нынче не встретишь...

— Какой же была тогда лощина, Марта?

— Уж конечно, не такой, как теперь! Но я помню это место еще раньше. Тогда здесь на две мили кругом не было ни фабрик, ни домов, ни рабочих лачуг — ничего, кроме Филдхеда. Как-то летним вечером, лет пятьдесят назад, моя матушка уже в сумерках прибежала оттуда вне себя от страха: она сказала, что видела в лощине лешего, и это был последний леший в нашей стороне, разговоры о нем шли еще лет сорок. Уединенное было место и очень красивое, все заросшее дубами и орешником. Теперь здесь все не то.

\* \* \*

Наша повесть окончена. Мне кажется, я вижу, как взыскательный читатель надевает очки, чтобы прочесть в конце мораль. Но я не хочу его оскорблять, подсказывая нравоучительные выводы. Скажу только одно: да поможет ему Бог сделать их самому!

---

**notes**

## Примечания

Левиты — древнееврейские священнослужители, позже ставшие простыми храмовыми прислужниками.

...и даже англо-католик... — Англо-католицизм — одна из ветвей англиканской церкви, ближе всего стоящая к католицизму. Мысль автора сводится, собственно, к тому, что дозволенное англо-католику лишь терпимо для последователя англиканского вероисповедания.

Пьюзи Эдвард Боувер (1800–1882) — английский богослов, стремившийся приблизить англиканскую церковь к католицизму.



...триа такими жезлами Аарона... — Так автор называет трех описываемых священников. По библейской легенде, бог дал евреям знамение, что Аарон должен стать первосвященником Израиля; знамение это состояло в том, что из всех жезлов, которые были положены на ночь в храме начальниками колен израилевых, по одному от каждого колена, лишь Ааронов жезл расцвел.

Это уж слишком (франц.).

...края трилистника и картофеля. — Имеется в виду Ирландия; трилистник служит ее национальной эмблемой.

Милезианский тип. — В переносном смысле — древнеирландский. Согласно легенде, Ирландия в древности была завоевана сыновьями испанского властителя Милезия.

О'Коннел Дэниел (1775–1847) — известный ирландский государственный деятель, успешно боролся за самостоятельность ирландской католической церкви, а также за расторжение (впрочем, не полное) унии между Ирландией и Англией. Будучи консерватором по своим убеждениям, О'Коннел всегда держался лишь законных конституционных путей и не сочувствовал социальным и революционным идеям своего времени. Происходил из старинного кельтского рода и отличался весьма привлекательной наружностью. Последнее обстоятельство делает понятным намек автора на «милезианский» тип лица.

...если бы вы были диссидентом... — Диссиденты, или нонконформисты — протестантская секта, образовавшаяся в Англии в XVI веке при королеве Елизавете. Идеологи ее боролись против так называемого «Акта о единообразии», требовавшего согласия каждой отдельной секты с основными положениями англиканской епископальной церкви. (И то, и другое слово означает «несогласные с государственной церковью».)

...чудо духова дня... — евангельская легенда (Деяния, II, 1-11) о сошествии святого духа на апостолов в виде языков пламени, что якобы дало им возможность пророчествовать на различных наречиях, перечисляемых Хелстоуном.

...Иерусалим с долиной Сенаар. — Мистер Хелстоун имеет в виду XI главу Книги Бытия, где рассказывается о том, как люди решили построить город и башню «высотою до небес» в долине Сенаар. Однако Бог, решив наказать людей за столь дерзкое желание, заставил их говорить на разных языках, они перестали понимать друг друга, и башня осталась недостроенной. Город был назван Вавилоном, отсюда — вавилонское столпотворение.

...по ту сторону пролива... — Большой канал — пролив, отделяющий Ирландию от северной Англии и Шотландии.



Коннот — одна из четырех главных провинций Ирландии; занимает центр западной части страны.

Антиномист — последователь доктрины, согласно которой человек, осененный благодатью христианской веры, не обязан следовать заповедям Ветхого завета. Идеи антиномизма не были чужды и ряду других религиозных сект, в частности баптистам.

Левеллеры (то есть «уравнители») — левое крыло английских индепендентов («независимых») в эпоху первой английской революции XVII века, добивавшихся полного политического равноправия всех сословий и религиозной свободы.

Иезекииль и Даниил — ветхозаветные пророки. Первый пророчествовал о будущей судьбе израильского народа; Даниил известен толкованием снов двух вавилонских владык — Навуходоносора и Валтасара; последнему он предрек гибель его царства.

Хелстоун намекает на распространенную в то время лженауку — френологию, суть которой заключается в том, что мозг состоит из ряда отдельных центров, управляющих душевными способностями человека, причем преимущественное развитие какой-либо из них отражается на конфигурации черепа. По этим признакам («черепным шишкам») определяли характер каждого данного лица.

Саф — согласно библии, филистимский воин гигантского роста, которого победил израильтянин Совохай в битве при городе Гоб. Хелстоун ошибочно называет Сафа пастухом.

Саул — первый царь Израиля. Отличался высоким ростом, стройностью и красотой. По библейскому сказанию, Саул предложил молодому пастуху Давиду, отважившемуся на поединок с великаном Голиафом, свои тяжелые доспехи. Однако молодой герой отказался, ибо они только мешали ему.

Филистимляне — соседний о израильтянами народ, ведший беспрестанные войны с ними.



Приказы Совета явились ответом на «континентальную блокаду», которую Наполеон осуществлял против Англии, и нанесли частично удар и по английской торгово-промышленной буржуазии, вызвав в ее среде сильное недовольство.

Я что-то не вижу ни масок, ни вымазанных сажей физиономий... В начале XIX века в Англии организованные отряды рабочих (луддиты), которых развитие машинного производства лишило заработка, нападали на фабрики, а порой и на фабрикантов, и ломали фабричные машины, считая их главными виновниками своего тяжелого положения. При нападении луддиты надевали маски и мазали себе лица сажей, чтобы не быть опознанными.

Хелстоун был рьяным тори... — Виги и тори — английские политические партии XVII–XVIII веков. Тори, являясь представителями крупных землевладельцев, отстаивали привилегии аристократии; виги же, как представители городской буржуазии, были сторонниками политических и социальных реформ.

Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852), герцог — английский полководец и государственный деятель. Прославился рядом побед, одержанных над французами в Испании (1808–1813), а в дальнейшем победой над Наполеоном при Ватерлоо (18 июня 1815 г.).

Фердинанд VII — испанский король, взошедший на престол в 1814 году с помощью англичан, очистивших Испанию от французов.

...горстка израильтян... — Намек на библейскую легенду: во время бегства евреев из Египта бог якобы заставил воды Чермного (Красного) моря расступиться и дал израильтянам возможность перейти его посуху, а погнавшихся за ними египтян утопил в волнах.

По библии, еврейский народ был разделен на двенадцать колен.

Одна из битв (10 мая 1796 г.), выигранных Наполеоном во время его итальянского похода.



Гедеон — один из так называемых «судей израилевых», управлявших народом до окончательного поселения его в Палестине и до установления в Израиле царской власти.

Дурная голова (франц.).

Сами вы дурная голова; я только делаю свое дело, а что до ваших олухов крестьян, плевать мне на них! (франц.)

Смотри, дружок, как бы они не наплевали на тебя! (франц.)

— Ну и отлично. Раз мне самому все равно, то и друзьям нечего тревожиться! (франц.).

— Твои друзья, да где они, твои друзья-то? (франц.).

— Вот и я говорю, где они? И очень хорошо, что их нет. К черту друзей! Я еще помню то время, когда отец и дяди Жерары звали друзей на помощь, и одному Богу известно, поспешили ли откликнуться друзья! Знаете, мистер Йорк, слово «друг» меня бесит; не говорите мне больше о них (франц.).

— Как хочешь (франц.).

Философское учение, подробно разработанное И. Бентамом (1748–1832) и Д. С. Миллем (1806–1873). Сущность этого учения сводится к формуле о достижении «наибольшей суммы счастья для возможно большего количества людей». Поскольку основным движущим мотивом человека признается личное счастье, достигнуть гармонии интересов отдельных индивидуумов можно лишь на основе взаимной выгоды. Такая точка зрения, сводившаяся в конечном счете к охранению прав собственника в буржуазном обществе, подверглась основательной критике со стороны К. Маркса, резко отрицательно относившегося к утилитаризму Бентама и Милля.

Питт Уильям (1759–1806), Каслри Роберт Стюарт (1769–1822), Персеваль Спенсер (1762–1812) — английские государственные деятели конца XVIII и начала XIX века, организаторы войны против революционной, а потом и бонапартистской Франции и создатели Приказов Совета.

Имеются в виду король Георг III, в 1810 году впавший в полное умопомешательство, что привело к установлению регентства, и его сын, принц-регент (впоследствии — король Георг IV).



Роберт I Брюс (1274–1329) — шотландский король. Был коронован 23 июня 1306 года; но только после длительных политических и военных неудач, выиграв битву при Баннокберне (1314), отстоял свободу Шотландии и окончательно упрочил свое положение на престоле. Существует легенда, что Брюс девять раз терпел поражение и однажды, скрываясь в пещере, уже думал о прекращении борьбы. Но тут он обратил внимание на паука, у которого девять раз рвалась сплетаемая им паутина, и тем не менее он стал плести ее в десятый раз. Решив, что это хорошее предзнаменование, Брюс дал десятое сражение, которое и выиграл.

Навыкاته (франц.).

Ты что же, решил сегодня не завтракать? (франц.)

Подумать только! Позорный поступок! Сразу видно, что рабочие в этой стране глупы и злобны! Не лучше их и английские слуги, и в особенности служанки! Что может быть, например, невыносимее нашей Сары! (франц.)

Но как она дерзка! (франц.)

Вареная говядина (франц.).

Кислая капуста (франц.).

Это черные башмаки, вполне приличные (франц.).



Воображаю, как он будет выглядеть (франц.).

Кузина, все это смертельно скучно (франц.).

Господи! Неужели во всей французской литературе нет и двух строчек настоящей поэзии? (франц.)

«Молодая узница» (франц.).

Сильная сторона (итал.).

Положительный ум (франц.).

Логический разбор (франц.).

Предложения главные и придаточные (франц.).



Гораздо приличнее (франц.).

Шапочку (франц.).

Искусство (франц.).

Кофе, сваренное на молоке (франц.).

Королевский напиток (франц.).

Гнусного поведения этой злой девчонки (франц.).

Все английские крестьянки невыносимы (франц.).

Хорошую кухарку из Антверпена (франц.).



Спасибо за подарок! (франц.)

Негодяек (франц.).

Улыбка, полная доброты (франц.).

Что такое она говорит! (франц.)

Пусть будет так! (франц.)

Фу! Говоришь как маленькая!! (франц.)

Перевод под редакцией А. А. Смирнова. Остальные стихи даны в переводе Ф. Л. Мендельсона.

Богемские, или Моравские, братья — религиозная секта, возникшая в Чехии в XV веке. Проповедовала непротивление злу и общность имущества. В дальнейшем то же название носил ряд схожих по характеру сект.



В курсе дела (франц.).

Предметы (франц.).

Легенда об исчезновении десяти колен израилевых порождена тем обстоятельством, что библейские летописцы, сообщая весьма подробно о вавилонском пленении иудеев из колена Иудина и колена Веняминова, довольно туманно повествуют о судьбе остальных десяти колен израильского царства, большая часть населения которого, еще за сто тридцать лет до разрушения Иерусалима, была, по-видимому, уведена в плен в Ассирию и отчасти в Мидию.

Веслеянская секта — или секта методистов, основанная Джоном Весли (1703–1791). Веслеянство ставило своей задачей строгое проведение в жизнь христианской морали на основе созданного Весли общего правила (метода) жизни. Отсюда и другое название секты — «методисты».

Имеются в виду строки из 4-й песни «Чайльд Гарольда» Байрона, в которой последние капли, сочащиеся из смертельной раны умирающего гладиатора, сравниваются с первыми каплями дождя.

Посеять зубы дракона — то есть посеять семена будущего раздора. В греческих мифах об аргонавтах и о Кадме из зубов дракона вырастали вооруженные воины, вступавшие в сражение между собой.

Это уже становится интересным! (франц.)

Ну, друг мой, бедовые же у вас дети! (франц.)



Олухов крестьян (франц.).

Мур говорит об «Астрономическом альманахе» Фрэнсиса Мура (1657–1715?), первый номер которого вышел в 1700 году и назывался «Голос звезд» (*Vox Stellarum*). Как и многие издания этого рода, «Альманах» носил астрологический характер; в нем, в частности, содержались пророчества на следующий, 1701 год.

Ясно как день (франц.).

Галаад — местность, где, по свидетельству библии, добывался из сока росшего там кустарника целительный бальзам.

Апостольский символ веры — составлен около середины II века и несколько видоизменен на первом Никейском соборе, где в установлении символа веры принимал деятельное участие архиепископ Александрийский Афанасий (293–373); является наиболее древней формой христианского вероучения.

Тонкие, изящные, одухотворенные (франц.).

Купер Вильям (1731–1800) — известный английский поэт, один из предшественников романтизма. В лучших своих произведениях, написанных уже на склоне лет, воспевал природу.

...на лбу у меня он видит печать зверя — то есть печать антихриста. Образ, взятый из Апокалипсиса.



Лучше, чем ничего (франц.).

Смарт Кристофер (1722–1771) — английский поэт. Наиболее известное произведение его — «Песнь к Давиду». В последние годы жизни писал стихотворения почти исключительно религиозного содержания.

Строка из стихотворения Роберта Бернса (1759–1796)  
«Застольная».

Гигес — лидийский царь (вторая половина VII в. до н. э.), который, согласно легенде, передаваемой Платоном в «Республике», был пастухом, но потом нашел волшебное кольцо, делавшее его невидимым. Воспользовавшись этим, он убил своего хозяина (по другим версиям, царя Садиятту, фаворитом которого он был) и сделался царем.

Начало поговорки: «Так проходит слава мирская» (лат.).

Намек на изречение, приведенное в Книге Екклезиаста (VII, 6): «...потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под КОТЛОМ».

С глазу на глаз (франц.).

Добродушное создание (франц.).



Жизнелюбец, человек, любящий пожить в свое удовольствие (франц.).

Меланхтон Филипп (1497–1560) — правильное Филипп Шварцерд (Меланхтон — греч. форма фамилии Шварцерд, что значит черная земля) немецкий богослов-реформатор, гуманист и педагог, представитель умеренного протестантизма.

С Божьего соизволения (лат.).

Грудным голосом (франц.).

Ковенантеры — шотландская религиозная партия, боровшаяся за установление в стране единого пресвитерианского вероисповедания (пресвитерианство — одно из направлений реформации в Англии, отрицавшее епископальное устройство англиканской церкви и признававшее лишь сан пресвитера, то есть священника). Борьба приняла наиболее ожесточенные формы в середине 60-х годов XVII столетия. Вероятно, именно на это время намекает автор.

Баптисты — общее название многих христианских сект, отвергающих принятую форму крещения.

Индепенденты (независимые), или конгрегационисты — широко распространенная, главным образом в Англии и в Америке, группа, к которой принадлежат представители ряда сект, считающих, что всякая, даже и малочисленная религиозная община должна пользоваться в делах веры безусловной свободой.

Елиав — имя одного из военачальников царя Давида.



Шерли отождествляет библейскую прародительницу людей Еву с греческой богиней земли Геей, почему Каролина и называет свою подругу язычницей.

Ботани-Бей — залив на восточном берегу Австралии, где в 1788 году англичане создали колонию для каторжников.

Вне себя (франц.).

Намек на библейский рассказ о видении Иакова: он увидел лестницу, верхним концом упирающуюся в небо, по которой восходили и нисходили ангелы. Пораженный видением, Иаков назвал место, где оно ему явилось, Вефиль, что значит «Дом божий».

Симеон Столпник (390–459) — отшельник, который прожил на высоком, им самим сооруженном столпе, ни разу не сходя с него, целых тридцать лет.

Лукреция — добродетельная и трудолюбивая жена Луция Тарквиния Коллатина. В притчах Соломоновых описывается, какою должна быть добродетельная женщина.

Лучшая подруга (франц.).

Имеется в виду притча о рабах и талантах (Евангелие от Матфея, гл. XXV).



Варенье! Все подгорело? Какая преступная небрежность!  
Негодница стряпуха, дрянь несносная! (франц.)

Слома голову (франц.).

— Господи! Господи! Кто же мог ожидать? (франц.)

— А ты, сестрица, надеюсь, как всегда здорова?.. (франц.)

Идите, познакомьтесь с моим братом! (франц.)

Роберт — это лучшее, что есть на свете: по сравнению с ним все прочие люди ничего не стоят. Не правда ли, дитя мое? (франц.)

А что скажешь ты, Роберт? (франц.)

Лазарь — имя человека, которого, согласно евангельской легенде, воскресил Христос.

Спасаясь от гнева своего брата Исава, Иаков остановился в Пенуиеле и, как передает библейский рассказ (Книга Бытия, XXII, 24–32), ночью боролся с богом.



По библейской легенде, пророк Елисей излечил от проказы сирийского военачальника Неемана, велев ему семь раз омыться в реке Иордан (4-я Книга Царств, V).

Анна, мать израильского пророка Самуила, долгое время была бездетной. Муж ее, Елкана, в положенные дни приносил богу жертвы, моля его о даровании ему детей от Анны. Когда наконец родился ребенок, родители в благодарность посвятили его служению богу.

Конечно (франц.).

Ну вот, французский язык покорен! (франц.)

Парное молоко куда ни шло (франц.).

Авессалом — сын царя Давида, отличавшийся необычайно красивыми и длинными волосами, которые и послужили причиной его гибели. Сражаясь с войсками своего отца, против которого он поднял бунт, Авессалом мчался на лошади, зацепился волосами за ветви дуба и повис на дереве. Увидев это, военачальник Иоав убил его (2-я Книга Царств, XVIII, 9-15).

Калипсо и Эвхарис (греч.) — нимфы острова Огигия; особенно известна первая, державшая семь лет греческого героя Одиссея в плену.

Ментор (греч.) — воспитатель сына Одиссея — Телемака.



Я вспомнила французский, не правда ли? (франц.)

«Первая женщина, вкусившая от древа познания» (франц.).

«Укрощенный конь» (франц.).

Взгляни, вот конь, горяч и непокорен... (франц.)

«Сон Аталии» (франц.).

«Дуб и тростник» (франц.).

Фалестрис (греч.) — одна из предводительниц легендарного племени амазонок.

Вероника (точнее, Береника) — жена египетского царя Птолемея III Эвергета. Дала обет пожертвовать свои волосы Венере, чтобы ее муж благополучно вернулся из похода в Сирию. «Благороднейшая Вероника» — здесь как символ верности и постоянства жены.



Эндимион (греч.) — юноша, знаменитый своей красотой; влюбленная в него богиня Луны, Селена, даровав ему неувядаемую молодость, погрузила его в вечный сон.

Эол (греч.) — бог ветров.

Ореанды (греч.) — нимфы гор.

Вызывающая, своенравная мордочка (франц.).

Семела (греч.) — дочь фиванского царя Кадма, пожелавшая (это внушила ей ревнивая Гера) увидеть Зевса во всем величии бога-громовержца. Зевс явился ей в храме с молниями в руках, которые и превратили Семелу в пепел.

Канова Антонио (1757–1822) — знаменитый итальянский скульптор.

Загадочная огненная надпись, появившаяся на стене во время пира Валтасара, предвещавшая его гибель.

Иов — человек, безропотно сносивший многочисленные беды, какие посылал ему Бог (Книга Иова).



Фемистокл (ок. 525–460 гг. до н. э.) — афинский политический деятель и полководец. С его именем связана знаменитая морская битва при Саламине, где греки нанесли решительное поражение персам.

Леонид (годы царствования 439–480 до н. э.) — спартанский царь, храбрый защитник Фермопильского ущелья, где он сдерживал с небольшим отрядом (всего триста человек) громадную армию персов. Мужественные спартанцы все до единого пали в этом сражении.

Эпаминонд (ум. в 362 г. до н. э.) — греческий (фиванский) полководец и государственный деятель. Своими походами в Спарту и двумя победами при Левктрах и при Мантинее (в последнем сражении сам Эпаминонд погиб) сильно способствовал временному преобладанию Фив среди греческих государств.

Мезенций — персонаж «Энеиды» Вергилия, царь этрусского города Церы, отличавшийся жестокостью.

Нереиды (греч.) — морские нимфы, дочери морского бога Неря и жены его Дориды.

Изысканный (франц.).

Избранной души (франц.).

О, Небесная роза», царица ангелов! (франц.)

Башня из кости слоновой, дом из золота (франц.).

Заурядным, пошлым и низким, противным, а порой и злобным (франц.).



Эти средства применялись прежде для приведения в чувство человека, потерявшего сознание.

Как нельзя лучше (франц.).

Добрейший человек (франц.).